
илья
Эренбург
8

Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах



Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

2000
Москва
"Художественная литература"

Илья Эренбург

Собрание сочинений

том восьмой

Люди, годы, жизнь

Книги пятая (главы 14–27), шестая, седьмая

Москва
"Художественная литература"
2000

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6-4
Э-76

Составление, подготовка текста
И. И. ЭРЕНБУРГ и Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Комментарии
Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Оформление художника
Е. А. ГАННУШКИНА

ISBN 5-280-02071-0 (Т. 8)
ISBN 5-280-01055-3

Люди, годы, жизнь

Книги V–VII

Книга пятая

14

Говорят: глубокая ночь, глубокая осень; вспоминая 1943 год, мне хочется сказать: глубокая война. Мир уже забылся и еще не мерещился. В тот год все переменилось — началось освобождение нашей земли от захватчиков. В начале июля на Курской дуге немцы попытались перейти в наступление. Их остановили, потом отбросили. Две недели спустя возле Карачева я увидел указательный столб: «До Берлина 1958 километров». Было это в сердце России, немцы еще удерживали Орел, а какой-то весельчак уже подсчитал, сколько остается пройти его батальону.

Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не покушаюсь на труд летописца. Название этой книги я понимаю так: люди и годы — это жизнь, моя жизнь, одна из очень многих. Годы войны были длинными. Никогда ни до того, ни после я не встречал столько людей. Порой в течение одного дня я беседовал с десятками людей, которых прежде не знал, в блиндаже или на лесной лужайке выслушивал смешные истории, долгие реляции, душевные признания. Я хорошо помню отдельные лица, фразы, хаты, развалины, но не помню, кто мне сказал: «Злоба сердце выгрызла»; не помню, где хоронили ночью убитого офицера и кто тогда говорил: «Старший лейтенант войдет с нами в Киев»; не помню, в каком городишке, сожженном дотла, я, вдруг отчаявшись, молил девочку с жиденькой косичкой: «Да ты не плачь, не то я заплачу...» Сожженные села, разбитые города, обрубки деревьев, завязшие в тине машины, санбаты, наспех вырытые могилы — все это сливается в одно: стояла глубокая война.

Если бы я писал сейчас роман или повесть, то у меня хватило бы воображения, чтобы показать отдельных лю-

дей, окрестить их, разместить в Брянских лесах или на другом берегу Десны, но я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если связный вымысел может показаться правдоподобнее разрозненных страниц действительности. Сплошь да рядом о людях, выполнявших роль статистов, я говорю обстоятельнее, чем о героях, и малопримечательные эпизоды занимают в книге больше места, нежели патетические события, — ничего не поделаешь, я ограничен памятью, а у памяти свои законы, человек не знает, почему ему запомнилось одно и почему он запамятовал другое. Есть мемуары, в которых на помощь автору приходит беллетрист, заполняя бреши увлекательными новеллами, есть и другие — автор прочитывает много книг, старается объективно установить, чем жили люди в описываемые им годы, дать верную картину эпохи. А я говорю только о том, что запомнил.

(У меня сохранилось несколько записных книжек военных лет, но записи беглые, скудные: был там-то, говорил с тем-то, вереницы имен, названия деревень, номера вражеских дивизий, отдельные фразы.)

В июле 1943 года я был под Орлом. Лето стояло изумительное, с частыми шумными ливнями. Трава была ярко-зеленой, никогда, кажется, не видел я столько полевых цветов. В лесной гуще прятались наши танки; порой я набредал на подбитые немецкие — новинки того сезона «тигры», «фердинанды». Штаб генерала И. Х. Баграмяна помещался в построенном немцами поселке с березовыми верандами и беседками. Кругом было много деревень, сожженных еще прошлым летом за связь с партизанами; все заросло бурьяном, и только свежие надписи «Михайловка» или «Бутырки» напоминали, что здесь жили люди. В книжке названия: Льгово, Кудрявец, Стайки, Бояновичи, Пеневичи, Хвастовичи...

Осенью я увидел Украину: Глухов, Клишки, Чаплеевка, Обтов, Короп, Понорница, Коробковка, Щорс, Городня, Добрянка; кусок Белоруссии: Марковичи, Грабовка, Васильевка, Горностаевка, Тереховка, Тереха; снова Украина: Красиловка, Козелец, Остер, Летки, Бровары, Богдановичи, Семиполки; правый берег Днепра: Жары, Лютеж...

Почему я переписал эти названия? Для меня они звучат как стихи: в них и прошлое, и скромная, стыдливая красота, да и связаны они с подвигом многих, положивших свою жизнь за то, чтобы освободить старые, насиженные, надышанные гнезда, которые в сводках именовались «населенными пунктами».

Под Орлом командир батальона майор Харченко позвал меня обедать. Это был смуглый человек с большущими усами. Он рассказывал, как его старая мать пряталась среди развалин Сталинграда; хитро подмигивая, объяснял предстоящую операцию: «А мы их в клещи, мы теперь ученые...» Младший лейтенант Ионсян говорил: «Он, подлец, до Кавказа дошел, ко мне в гости навязывался — я ведь бакинец. А я вам откровенно скажу: я его и тогда презирал...» Танкист Красцов мне сказал: «Галей ее зовут. Вот фото — ничего особенного, а по-моему, исключительная. Может быть, она про меня забыла — не знаю. Я из Пскова, говорили, будто успели выбраться, а как ее найдешь?.. Я вам говорю, вы писатель, значит, должны понять. Что я такое? Обыкновенный человек, член партии, до войны работал зоотехником. А я теперь все понял. Скорей всего, убьют, воюю с начала, два раза был ранен — выкарабкался. В общем, это не главное... У меня такое в голове, что смешно сказать, будто я не Красцов Степан, а Пушкин или Есенин...»

Что стало с этими людьми? С молоденьким автоматчиком Митей Буйловым? Вернулся ли с войны лейтенант Плавник? Жив ли сапер Ефимов, который первым переплыл Сож?

Возле Орла я встретил генерала Федюнькина. Не знаю, как дальше сложилась жизнь Ивана Федоровича. В Броварах вместе с В. С. Гроссманом мы просидели полночи у генерала С. С. Мартиросяна. Он поразил нас человечностью, гуманизмом, необычайным благородством мыслей и чувств. Мы возвращались в темноте; приднепровские пески, освещаемые фарами, казались снегом. В небе висели яркие ракеты. Василий Семенович говорил: «Вот идешь и попадаешь на такого человека...» В мирное время видишь человека изо дня в день и ничего о нем не знаешь: у каждого свое дело, свой дом, своя скорлупа. А на войне все путается: люди раскрывают душу, встретил человека и сразу потерял. (Генерал Мартиросян в 1963 году написал мне, что он вышел в отставку и живет в Ереване.)

Иногда я получаю неожиданно письма от старых фронтовиков, с которыми встречался или переписывался в годы войны. В августе 1942 года, по просьбе танкистов-комсомольцев, командир первого батальона Четвертой гвардейской бригады полковник Бибиков зачислил меня «почетным красноармейцем» в один из экипажей. Отсюда пошла моя дружба с танкистами-тацинцами, особенно

со старшиной И. В. Чмилем и лейтенантом А. М. Баренбоймом. Встречался я с тацинцами и в Белоруссии, был у командира корпуса генерала А. С. Бурдейного, он меня познакомил со многими бойцами, бывали тацинцы и у меня в Москве. Сохранились некоторые письма. В 1942 году И. В. Чмиль писал: «Я еще молод, год рождения 1918, родом я из славной и любимой Полтавщины, с белыми хатами и зелеными садами. Не раз смерть заглядывала в мои веселые глаза, но я не трусил. Подумаешь — и обидно становится: как мы жили счастливо и весело! У меня было четыре сестренки, все меньше меня. У меня были папаша и мамаша. У меня была любимая девушка...» Иван Васильевич провоевал до конца, был восемь раз контужен, несколько раз выбирался из горящих танков — словом, хлебнул горя. После войны он женился, учился в техникуме, теперь он в городе Шяуляй сотрудник горфинотдела, жена его Антонина Васильевна работает на эпидемстанции. У них трое детей: Игорь, Виктор и Наташа. В 1956 году он писал мне: «...Да, никому не хочется снова пережить ужасы войны — обжились мы, все отстроили, семьи заимели, привыкли к мирной, счастливой жизни. Игорь уже ходит в первый класс. И все же есть в мире черные силы. Неужто мне еще придется сесть за рычаг Т-34?..»

А. М. Баренбойм работает в Одессе. Как-то я получил от него письмо, он просил заступиться за парнишку, поэта, попавшего в беду. И. В. Чмиль мне писал: «Я думал, что вам известно, что Александр Баренбойм погиб. Он был настоящим воином, был золотой человек. Погиб он в феврале или марте 1944 года между Смоленском и Оршей». Я ответил Ивану Васильевичу, что Баренбойм жив, послал адрес и получил вскоре письмо: «Саша — это любимец и герой всего нашего корпуса, любимец всего личного состава. Оказалось чудо: он был тогда тяжело ранен и чуть не отдал душу богу, но выжил и в нашу часть не вернулся, и мы считали, что он погиб...» Мне трудно объяснить, почему меня так радуют письма Ивана Васильевича и Александра Менделевича; ведь встречался я с ними редко, но вот их судьба меня волнует больше, чем судьба многих людей, с которыми мне приходилось встречаться слишком часто.

Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина, с которым я переписывался в военное время. До войны Гавриил Никифорович бил в тайге пушного зверя. Теперь он работает на строительстве пилорамщиком. «Стала болеть

раненая нога. А работать надо. У меня четыре иждивенца... В первые годы после войны еще ходил в тайгу охотиться на медведей, добывал соболя, белку, а сейчас не могу. Да и ружье подаренное утопил в реке, сам еле выбрался... Очень хотелось бы встретиться с вами в мирной обстановке, дома, среди семьи. Вот если бы вы приехали ко мне в гости...»

Вернусь к 1943 году. Стояла теплая осень, с грибами, с паутиной в лесу, с ясным далеким небом. Все, казалось, настраивало на мир, на любование. А приходилось видеть страшное. В Белоруссии немцы, отступая, аккуратно жгли села, убивали скот. У обочин валялись мертвые коровы со вздувшимися животами. Пахло гарью.

В селе Богдановичи остался только старик. Он сидел на солнце. Я попытался заговорить, он не отвечал. На земле лежали буханки хлеба, кусок сала, — видно, солдаты положили. Старик сидел и глядел в одну точку.

В Козельце женщина рассказывала: «Сколько Шуре было? Двенадцать годов. Она у Луши меньшая. Лушу застрелили, а Шура просила немца: «Дяденька, не убивай! Я жить хочу. Пошли лучше в Германию». Он ее сначала оставил, даже колбасы дал, а потом не выдержал — застрелил...» В маленьком Козельце гитлеровцы расстреляли восемьсот шестьдесят человек.

Возле Триполья, на дороге в Обухов, я видел яр и дощечку: «Здесь 1 июля 1943 года немецкими палачами замучено и расстреляно 700 человек — стариков, женщин, матерей с детьми. Среди них Мария Билых с пятью детьми и 65-летней матерью и Горбаха Дуня с двумя сыновьями».

Житель Пирятина П. Л. Чепурченко рассказывал, как его пригнали рыть яму. Гитлеровцы убили тысячу шестьсот евреев. Чепурченко вдруг услышал — его окликали. Среди трупов был Рудерман, ездовой валечной фабрики: лицо у него было в крови, один глаз вытек, он просил: «Добей меня!..» «Живыми зарывали, земля ходила», — рассказывала женщина.

Я видел предателя-старосту. Он держался спокойно. Из-за него убили женщину с грудным ребенком. Он мне сказал: «Зря народ волнуется. Сами сказали: «Иди в старосты». А что я плохого сделал? Давал характеристики, и только. Пальцем никого не тронул...»

Лошадей не было. Пахали на коровах. Возле Васильевки корова тащила лес. Колхозница причитала: «Ослепла коровушка! Не может она... Идет, а не видит. Да и я надорвалась, гляжу и не вижу. Да разве можно так жить?»

У коровы были очень ясные, спокойные глаза, а на спине большая плешь.

«Теперь легче будет — наша берет, — рассуждал старик, — на Покрова малина — это на жизнь...» На правом берегу Днепра крестьянка крестила солдат, грузовики, орудия: «Пять часов стою, а все идут, идут. Немой-то гуторил, что у русских нема ничего...»

Я сидел ночью у Сожа. Немцы бомбили мост — восемь прямых попаданий. Саперы не прекращали работы. Санитары уносили раненых, убитых. Все выглядело скромно, серо, работали с топорами, с пилами, с молотками. Я вспомнил понтонеров Эбро: там было много романтики, песен, шуток. Видимо, это в характере народа. Русские очень любят театр, а в жизни не терпят ничего театрального, не верят оратору, который говорит красноречиво, стыдятся патетичного: даже смерть представляют буднично. Говорили саперы о работе, о том, что для моста лучше всего бочки, что вода холодная, нужно вбить сваи, «а тут немец путается, мешает».

В Чернигове было тихо. На земле валялись каштаны, похожие на полированные камешки, и я вспомнил, как ребенком в Киеве играл с такими «камешками». Разрушенный дом, осталась только мемориальная доска: здесь помещалась гостиница «Царьград», где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о красоте старых церквей, о мире. Вдруг начали бомбить. Убили девочку.

В Васильевке из шестисот дворов уцелели тридцать. Крестьяне прятались в лесу. Фашисты поймали тридцать семь человек и убили, убили глубокого старика С. К. Полонского и тринадцатилетнего Адама Филимонова. Жена одного из расстрелянных говорила: «Ты напиши — жить мы не сможем — душа не выдержит...» «Факельщики» жгли за селом село, клали солому, не жалели горючего — жгли не от злобы, а деловито — выполняли приказ. Сожгли Тереховку. Колхозницы поймали одного «факельщика» — он залез в скирд, — закололи вилами.

У одного старосты нашли список расстрелянных, в списке: «Музалевская Римма Николаевна трех лет, Давыдов Виктор Михайлович одного года».

Повесили предателя. Он висел очень длинный, бороду теребил ветер. Женщина подбежала к нему, вцепилась в бороду, хотела вырвать — и вдруг закричала. До сих пор слышу этот крик... В Корючкове священник пошел к немцам с крестом — просил пощадить село. Его расстреляли вместе с попадьей.

Вот еще рассказ, записанный в книжечке: «Она, конечно, чужая, одни говорили, будто еврейка, другие — что с партизанами дружила, одним словом, немцы повели ее на площадь. А у нее дите, и она дите хотела укрыть. Ее, конечно, застрелили, а дите живое, ползает. Мы просили: «Дай дите». А один немец молодой выбежал, схватил и головкой о камень...»

Глухов, Козелец немцы, уходя, не успели сжечь, сожгли потом с воздуха.

Я радовался, видя чудом уцелевшую деревню. Помню, как семидесятилетний колхозник Иллистратов строил хату. Его дом сожгли. Я спросил его, не слишком ли тяжела работа. Он улыбнулся: «Ничего, дострою... Это не для себя. Мне-то помирать пора. А тут вот солдатки. Мужьев у них поубивали, а жить нужно...»

Белел песок. Фотокорреспондент Кнорринг снимал понтоны. А в воде фыркал от удовольствия солдат: «Дождался — днепровская вода, такой другой нет...» Вечером мне рассказали, что он погиб — только мы отъехали от берега, как начали бомбить переправу.

Боюсь, эти несвязные картины мало что скажут читателю. Люди постарше прошли дороги войны, видели, помнят. А молодые знают по десятку романов. Да я и не собираюсь воссоздавать облик войны. В 1943 году я раза два или три ходил на собрание московских писателей. Люди, приставленные к литературе, тогда требовали «монументальных полотен»: искусство должно было подавлять размерами. Лет пять спустя начали строить высотные здания, а во время войны было не до строительства, и вот писателям предлагали срочно изготовить литературные небоскребы. Многие писатели хмурились и молчали.

Мне казалось, что в те годы нужно было не создавать литературу, а ее отстоять — язык, народ, землю. Я продолжал заниматься неблагодарной работой — каждый день писал несколько статей. В записной книжке у меня помечено, что в октябре я написал восемь статей для заграницы, шесть для московских газет, семнадцать для фронтовых. Я не мог не писать, приходили бойцы, говорили: «Почему про Осипова нет? Когда паром затонул, он выручил», «Напишите про Хакимова — может, родные прочитают», «Товарищ Илья, расскажи про снайпера Смирнова, он вырежет, матери пошлет».

Враг был еще очень силен. Нужно было показать, что он душевно надломлен, что контратаки у Житомира —

случайный эпизод, что никакие «тигры» не спасут Гитлера. Изо дня в день продолжал я писать о зверствах фашистов: того требовали не только бойцы, но и совесть.

Желтые, полуистлевшие листы газет. Я могу по ним восстановить отдельные боевые эпизоды, припомнить, где я был, но в них нет ничего о моей личной жизни: я писал о том, чем жили тогда все, — о горе народа, о ненависти к фашистам, о мужестве.

Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и похожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании. Сейчас, сопоставляя то или иное стихотворение с короткой заметкой в книжечке, с отдельной фразой в статье, я вспоминаю, о чем думал, вспоминаю тоску, отчаяние, надежды.

Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. Еще тлели головни; бродила женщина; мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я подложил под голову шинель, она пахла дымом...

Я запомню, как последний дар,
Этот сердце леденящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла горестную тень.
Запах гари едок, как беда,
Не отвяжется он никогда,
Он со мной, как пепел деревень,
Как белесая больная тень,
Как тифозной бредовой беды
Красные и черные скирды,
Как огрызок вымершей луны
Средь чужой и новой тишины.

Мне было за пятьдесят; я невольно вспоминал первую мировую войну, Испанию. Было что-то нестерпимое в повторности и картин и чувств.

...Мой век был шумным, люди быстро гасли,
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?..

1943-й не походил на 1941-й — понемногу все становилось привычным: разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких. Но если можно ко всему присмот-

реться, даже к войне, сердце не мирится с всеобщим горем. Кто из нас не мечтал тогда увидеть другое?

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья; я это видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел в 1943 году на Украине:

Был час один — душа ослабла:
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Еще незрелые плоды.
Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли.

Много лет спустя редактор моей книги, дойдя до этого восьмистишия, уговаривал меня изменить последнюю строку: «Почему «и»? Хорошо, не сберегли искусство, но сберегли другое...» Да, но и много, очень много потеряли. Почему я вспомнил про искусство? Да потому, что яблоню нужно вывести, вырастить, это не дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла.

Кто знает, как мы ненавидели войну! А другого не было: фашисты несли с собой дикость, зверства, культ силы, смерть. Народ мужественно сражался, но мы твердо знали, что люди родились не для того, чтобы взрывать танки и гибнуть под бомбами, знали, что враг навязал нам ужасающее затемнение. Я писал (это было вскоре после того, как я увидел виселицу, бородатого предателя):

Скажи, здесь тоже жизнь была,
Дома в горячей зелени?
Молчат и небо, и зола,
И картузы расстрелянных.
И лишь повешенный суров,
Как некий важный маятник,
Отмеривая ход часов,
Без устали качается.

Точнее всего я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо связанном с причитаниями колхозницы над коровой:

По рытвинам, средь мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми — мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

В Козельце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек — хотел что-то вылепить. На его лице были то напряжение, то слабая, туманная улыбка. Я долго стоял возле него. Никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли наглядеться. Может быть, потому, что всем хотелось заглянуть в будущее и ни у кого не было уверенности, что он дотянет хотя бы до завтрашнего дня.

Неделю я просидел в сожженном селе Летки. До войны там делали стулья из камыша. Камыш шумел, а людей не было. Там я вспомнил мальчика на площади Козельца:

Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит? Какие сны?
А года чернеют, сожжены.
Вот и вечер. Нам идти пора.
Грустная и страстная игра.

Вернусь к строке, приведенной выше: мне казалось, что я освободился от того, что назвал «высокими заблуждениями». Это было еще одним заблуждением. Конечно, я не мог тогда предвидеть ни Хиросимы, ни водородных бомб, ни судьбы многих честнейших людей, о которой написал А. Солженицын, ни «убийц в белых халатах» — тех лет, когда народ, разбивший в бою расистов, увидел, как всерьез переименовывают сыры или пирожные и как мимоходом губят людей. Но разве это мерещилось малышу в Козельце, когда он смутно улыбался? Нет, не он это вылепил. Теперь ему должно быть двадцать два или двадцать три года. Он не помнит, как горел его дом, не пережил горьких послевоенных лет. Его жизнь должна быть дру-

гой. А сын Чмиля, Игорь Иванович, которому нет и пятнадцати лет... Тащить на гору камень, чтоб он оттуда скатывался? Нет, с этим не мирится совесть! И если мне скажут, что это самое наивное из всех заблуждений, я отвечу, что без таких заблуждений нет живой жизни — человек со всем может расстаться, только не с надеждой.

15

Седьмого ноября 1943 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке пышный прием; собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатели, актеры, журналисты — словом, все те, кого парикмахер Клуба писателей называл «тузами и шишками». Оглядев зал, П. П. Кончаловский шепнул мне: «Напоминает холст Эдуара Мане»... Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груди генералов изнемогали от орденов. Гарро неистово размахивал фалдами фрака и, выпив несколько бокалов шампанского, стал рассказывать об интригах англичан в Алжире: «К счастью, мне удалось сразу повидать Молотова. Мы умеем отличать подлинных друзей от фальшивых...» Английский посол Керр, забыв о присущей ему чопорности, со всеми чокался «за победу», пил водку и вскоре стал походить скорее на советского писателя, чем на британского дипломата. С. А. Лозовский обнимал генерала Пети: «Я во Франции был рабочим, я знаю вашу страну. Мы их расколотим». — «On va battre les Fritzs à Minsk et à Biarritz» («Фрицев побьют в Минске и в Биаррице»). Генерал прослезился. А. Н. Толстой явился во фраке и по-барски благодушно дразнил одного из американских дипломатов: «Конечно, Италия красивая страна, но ведь и Париж стоит мессы»... И. С. Козловский сидел на полу и пел старинные романсы. Маргарита Алигер, испуганно поглядывая на посланника Эфиопии, блиставшего позументами, сказала: «Илья Григорьевич, а вы помните сорок первый?..» Американский журналист Шапиро говорил: «Впервые за восемь лет я чувствую себя в Москве хорошо. Вот что значит союз!..»

Положение казалось обнадеживающим. Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев. Союзники были удовлетворены своими операциями в Италии. В конце октября закончилось Московское совещание министров инос-

транных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии. О чем говорили министры, мы, конечно, не знали, но опубликованные декларации подчеркивали крепость антигитлеровской коалиции. 6 ноября Сталин сказал, что бои в Италии, бомбежки немецких городов, поставка в Советский Союз вооружения и сырья «все же нечто вроде второго фронта».

Я знал, однако, что высадка союзников в Сицилии и на юге Италии совсем не то, что было обещано в 1942 году. Когда в редакции «Красной звезды» кто-то спросил, не дать ли географическую справку о Сицилии, редактор возмутился: «Совершенно ни к чему...» После сообщения, что второй фронт снова откладывается на год, были отозваны Литвинов из Вашингтона, Майский из Лондона. В редакции я читал телеграммы ТАСС, не предназначенные для опубликования, и понимал, что англичане раздражены формированием в Советском Союзе польских дивизий, американцы встревожены настроениями греческих партизан — дружба дружбой, а политика политикой.

Газеты сообщили, что на Тегеранском совещании достигнуто полное согласие о целях войны; в день рождения Черчилля ему поднесли пирог с шестьюдесятью девятью свечами — по числу прожитых лет. (На праздничном пироге прибавилось всего две свечи, когда Черчилль начал готовиться к речи в Фултоне, с которой пошла «холодная война».) Мы, конечно, не знали будущего. Но я начал гадать, как будет выглядеть мир после победы. Прежде я не мог себе позволить раздумий: мы жили одним — остановить врага. А начиная с того августовского дня, когда в небе Москвы вспыхнули созвездия первого салюта, я начал присматриваться, задумываться.

Еще летом из Лондона вернулся И. М. Майский. Я обрадовался подаркам — лезвиям для бритвы, записной книжке, вечной ручке, но рассказы Ивана Михайловича меня огорчили. Он восхищался мужеством жителей Лондона во время сильных бомбежек, говорил, однако, что союзники считают, будто они недостаточно подготовлены для второго фронта, и добавлял, что они не заинтересованы в быстром разгроме Гитлера — боятся Красной Армии. Майский рассказывал мне, что с де Голлем англичане не считаются.

В конце года С. М. Михоэлс, который ездил с поэтом Фефером в Америку, рассказывал писателям о своих впечатлениях. По его словам, американцы заражены расизмом, преклоняются перед машинной цивилизацией и не

так уж далеки от гитлеровских идей. Михоэлс, как и Майский, говорил, что союзники отнюдь не восхищены победами Красной Армии.

(Я вспомнил шутку английского корреспондента Александра Верта, который иногда приходил ко мне. Верт родился в Петербурге, прекрасно говорит по-русски, человек он нервный и остроумный. Мой пес Бузу, шотландский терьер, в начале войны был контужен воздушной волной и смертельно боялся салютов, считая, что грохот орудий связан с неприятностями; как только радио передавало позывные, он начинал неистово выть. На такую сцену однажды попал Верт и сказал: «Теперь я вижу, что это действительно английская собака — боится советских побед».)

В ноябре я был на ужине в английском посольстве. Посол Керр держался чрезвычайно светски, спрашивал Любу: «Вы, конечно, прустианка?» — и добавлял: «Я ведь сноб». Советник посольства Бальфур тем временем говорил со мной о политике, защищал невмешательство во время испанской войны, оправдывал Мюнхен и под конец признался, что уважает Салазара.

В декабре меня пригласил к себе посол Соединенных Штатов Гарриман. Я тогда еще не знал американских нравов, меня удивили и невкусная еда, и простота, порой переходящая в фамильярность, и то, что дочь посла положила ноги на столик, на котором нам сервировали кофе. Кроме меня, Гарриман пригласил генерала, который начал с литературы, похвалил Честертона, сказал о себе, что он ирландец и католик, а потом принялся расспрашивать о том, что обычно называют «военной тайной». Я понял, что ценитель литературы — разведчик, и быстро его оборвал: «Я не военный, а писатель, вернемся лучше к Честертону».

О вечере у Гарримана я рассказал Лозовскому; он нахмурился: «Лучше, когда вас приглашают в посольства, спрашивайте... А к американцам вообще не стоит ходить».

Я получил письмо от вице-президента Соединенных Штатов Уоллеса; он сообщал, что изучает наш язык и захотел мне написать первое письмо по-русски, говорил о добрых чувствах к советскому народу; его слова меня тронули непосредственностью, даже детскостью.

Совинформбюро по-прежнему требовало, чтобы я писал для заграницы о том, что мы верны нашим союзникам, но пора наконец-то открыть второй фронт. Я продолжал писать для «Красной звезды», «Правды», для фронтовых газет. Работать, однако, стало труднее: что-то изменилось. Я это почувствовал на себе.

Летом Совинформбюро попросило меня написать обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходимости как можно скорее разбить третий рейх. Один из помощников А. С. Щербакова — Кондаков — забраковал мой текст, сказал, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии: «Это бахвальство». Я счел слова Кондакова далекими от того, что мы называем интернационализмом, и написал А. С. Щербакову. Александр Сергеевич меня принял в ПУРе. Разговор был длинным и тяжелым для обоих. Щербаков сказал, что Кондаков «переусердствовал», но в моей статье нужно кое-что снять — я должен понять ситуацию, «настроения русских людей». Я ответил, что русские бывали разными — Горький или Короленко рассуждали иначе, чем Пуришкевич. Щербаков рассердился, но перевел разговор на другую, пожалуй, смежную тему; он похвалил мои статьи и вместе с тем покритиковал: «Солдаты хотят услышать о Суворове, а вы цитируете Гейне... Бородино теперь ближе, чем Парижская коммуна». Я заговорил о судьбе Лидина: с первых дней войны он стал военным корреспондентом. Почему-то его отослали в армейскую газету и ничего не печатают. Щербаков загадочно ответил: «Не умеет писать для народа». (Потом я узнал, что одна из корреспонденций Лидина рассердила Сталина.) А Щербаков усмехнулся: «Вы многого не понимаете. Прислушиваетесь к тому, что скажет Литвинов или Майский. А они оторвались от положения у нас...» Я огрызался и в конце концов сказал: «Теперь война, немцы еще сильны, — значит, я буду писать в газетах, пока вы не поступите со мной, как с Лидиным». Я встал и попрощался. Александр Сергеевич вдруг улыбнулся: «Что вы будете делать после победы?» Я ответил, что не знаю, не задумывался над этим. «А я знаю, — сказал Щербаков, — буду трое суток подряд спать». Я поглядел на него: у него было одутловатое, бледное, усталое лицо.

Должна была выйти моя книга «Сто писем» — статьи и письма, полученные от фронтовиков; мне казалось, что в этих письмах раскрывается душа народа. Книгу набрали, сверстали и вдруг запретили. Я спрашивал — почему, мне не отвечали; наконец один из работников издательства многозначительно сказал: «Теперь не сорок первый...»

Сельвинский написал хорошие стихи о России. Он показал себя храбрым, работал во фронтовой печати, но какие-то строки не понравились Сталину, и Сельвинского обругали «Известия». «Правда» обрушилась на Платоно-

ва: «Выкрутасы вместо простоты». Устроили собрание писателей, осудили (разумеется, единодушно) книгу Федина о Горьком, осудили также Сельвинского и Зощенко. Новая газетная статья пополнила ряды «вредителей», она была посвящена К. И. Чуковскому, написавшему сказку для детей «Бармалей»: «Пошлые выверты К. Чуковского вызывают отвращение». Е. Шварц, писатель, на мой взгляд, обладавший высоким даром поэтической сатиры, написал пьесу «Дракон»; он предугадал будущее: рыцарь Ланселот освободил город от дракона, а вернувшись некоторое время спустя в этот город, увидел, что жители горюют о «милом Дракоше», который дышал огнем так, что можно было приготовить без печи глазунью. «Литература и искусство» писала: «Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом». Обличали Паустовского: в сценарии о жизни Лермонтова он осмелился сказать, что поэта тяготил мундир николаевской армии. Все это напоминало тридцатые годы. А немцы еще сидели в Орше и обстреливали из орудий Ленинград...

В «Красной звезде» работал полковник Кружков. Я запомнил ночь на 11 ноября 1943 года — в редакцию пришли сотрудники ГБ, срезали с груди полковника ленточки орденов и увезли его. Час спустя приехал генерал Таленский, спросил Копылева, прочитал ли Кружков передовицу. «Кружкова арестовали...» Редактор ничего не мог вымолвить от волнения. Недавно я встретил Н. Н. Кружкова, который, разумеется, реабилитирован.

Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославляющего опричнину. С. М. Эйзенштейн, по указанию Сталина, работал над фильмом, посвященным Ивану Грозному. (Вторая часть фильма разгневала Сталина, просмотрев, он коротко сказал: «Смыть».) А. Н. Толстой мне сказал: «Я еще в Ташкенте написал пьесу о Грозном. Конечно, хочется работать над «Петром», но положение такое... Вот побьют Гитлера, тогда кончится вся эта пакость, обязательно кончится».

В конце 1943 года в Магадане вышло издание «Падения Парижа» с рисунками анонимного художника. Рисунки мне понравились, по некоторым деталям было видно, что художник знает Париж. Я, конечно, понимал, почему не указана его фамилия, но написал в издательство восторженное письмо, надеясь этим облегчить положение автора рисунков. Год спустя ко мне пришла жена художника Шребера, рассказала, что он рижанин, действительно жил в Париже, учился у мастера плаката Колена, в 1935 году вернулся в

Советский Союз, а в 1937 году была арестован, работал на рудниках, теперь делает плакаты.

Каждый день приносил нововведения, часто они казались мне возвращением к дореволюционному прошлому. В средних школах ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Один не в меру рьяный педагог доказывал, что мальчиков надо сызмальства обучать военному искусству, а девочек рукоделию. Ввели форменную одежду для дипломатов, потом для юристов, для железнодорожников, дошли до школьников. Один мой приятель шутя уверял, что скоро придумают мундиры для поэтов, на погонах будут одна, две или три лиры — в зависимости от присвоенного звания. Мы смеялись, но смех был невеселым.

Напечатали текст нового гимна, в нем прославлялись Сталин, «Великая Русь». Я вспомнил «Интернационал» и задумался.

Успел понемногу сложиться быт военных лет. Жилось людям трудно, и для того, чтобы продержаться, нужно было незаметное, будничное геройство. Я с тоской глядел на женщин, которые тащили тяжелые балки, строили дороги. На заводах работали дети, в свободные минуты они играли, как играют все дети мира. Продовольствия было в обрез. Жены ответственных работников обсуждали, кому дали лимит, кому половину, кому — ничего, — лимитом назывались карточки, по которым можно было покупать товары в закрытых распределителях на полтораста или семьдесят пять рублей. Обыкновенные граждане сокрушались: «Опять не отоварили по карточкам крупу...» Спекулянты продавали сахар по две, а то и по три тысячи рублей за килограмм. Во многих домах было холодно — подтапливали только так, чтобы не лопнули трубы. В Москву вернулись театры, и на спектаклях бывало много народу: хотели развлечься да и отогреться. В антрактах говорили о сводках, о том, что капитан Сергеев завел на фронте боевую подругу, что Маша перестала писать мужу и сошлась с хромым музыкантом, говорили, конечно, и о том, что в распределителе выдали кислое повидло, а масла вообще не будет.

В ноябре Шостакович прислал мне записку — просил прослушать его Восьмую симфонию. Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все. В 1943 году начали собираться те тучи, которые пять лет спустя обложили небо. Но враг еще стоял на нашей земле. Народ

стойко воевал, и была в его подвиге такая сила, что можно было жить честно, громко, не обращая внимания на многое. Я твердо верил, что после победы все сразу изменится. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне приходится то и дело признаваться в наивности, в слепоте. Это легче, чем в свое время было верить, порой наперекор всему. Видимо, человек устроен так, что неизменно принимает свои желания за действительность и часто, как лунатик, делает шаг в пустоту, разбивается или просыпается с переломанными костями.

Я вспоминаю беседы на фронте и в тылу, перечитываю письма, — кажется, все тогда думали, что после победы люди узнают настоящий мир, счастье. Конечно, мы знали, что страна разорена, обнищала, придется много работать, золотые горы нам не снились. Но мы верили, что победа принесет справедливость, что восторжествует человеческое достоинство. Никто тогда не представлял себе, что через три года после конца войны американцы будут грозить нам атомной бомбой и что Берия снова откроет огонь по своим. Мы можем горько усмехнуться, вспомнив мечты тех лет, но никто себя за них не осудит.

Как бы ни была страшна и жестока война, она остается в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ, и об этом говорят не славословия «гениальнейшему полководцу», не саженные батальные полотна, даже не ордена, а память о невернувшихся, неиссякающие слезы — это живая вода народной совести.

16

В декабре 1943 года умер Ю. Н. Тынянов. Познакомился я с ним еще в двадцатые годы, когда он был одним из вдохновителей «Опояза» — вместе с Б. М. Эйхенбаумом, В. М. Жирмунским и В. Б. Шкловским. Он начал с того, что не создавал литературу, а изучал ее, но изучал настолько вдохновенно, неожиданно, что его книга «Архаисты и новаторы» остается и поворотом в литературоведении, и книгой художника.

Юрий Николаевич во время первых встреч меня смущал: я был самоучкой с огромными провалами в познаниях, которые может дать средняя школа, писал романы с грубейшими ошибками и словесными, и школьными (в «Хулио Хуренито» спутал Этну с Везувием). Вместе с тем

я был задорен, искал новую форму романа, отрицал то, что защищал годом раньше, и вот Тынянов, этот воистину «петербуржец» (в старом значении этого слова), неизменно учтивый, даже в злых репликах, — меня стеснял, порой страшил.

Вспоминаю один разговор: Тынянов говорил, что время литературных школ миновало — новатор может быть архаистом, и к Пастернаку ближе всего Мандельштам. Меня рассердило, что Юрий Николаевич повторял: «синкопический пеон» — я тогда не знал, что это значит, и постыдился признаться.

Весной 1936 года Юрий Николаевич приехал в Париж — больной, его подкашивала редкая и страшная болезнь: рассеянный склероз. Я глядел на Тынянова другими глазами: передо мной был не литературовед, но автор книг, которые были большими событиями в моей жизни. Я не сразу решился написать о нем в книге воспоминаний: я ведь писал не о книгах, а о людях, но потом решил, что нельзя промолчать о человеке, произведения которого мне помогли многое понять.

Мы иначе относимся к книгам наших современников, чем к произведениям классиков, герои романов часто в нашем сознании сливаются с обликом автора. Поэзия в полвека, когда я искал, думал, писал, казалась, да и кажется мне более значительной, чем проза, требующая большого отступа, но в советское время было написано немало значительных романов и рассказов. Я встречался со многими писателями, известными еще до революции, — с М. Горьким, Буниным, А. Ремизовым, Андреем Белым, А. Н. Толстым, Е. Замятиным, с людьми моего поколения — Фединым, Паустовским, Бабелем, Тыняновым, Зощенко, Вс. Ивановым, Катаевым, Олешей, Леоновым, с теми, кто родился уже в XX веке, — Фадеевым, Шолоховым, Кавериным, Гроссманом. Гейне писал, что каждый человек — это мир и надгробные памятники высятся над развалинами исчезнувших миров. Задолго до него английский поэт Донн напомнил о связи таких миров: колокол звонит не только по усопшему, но и по тебе. Я любил одни книги, был холоден к другим, но все, что делали мои современники, было связано с моей жизнью. Я не говорю об И. Э. Бабеле — он был моим другом, и я часто вспоминаю о нем как о своем учителе, но учился я и на книгах других современников. Разобраться в эпохе мне помог Тынянов.

Эти слова могут удивить — Тынянов ведь писал исторические романы и рассказы, причем выбирал эпохи мрач-

ные: Николая Первого, Павла, конец Петра. Он превосходно знал историю и никогда не пытался вразрез правде приписать прошлому что-либо от современного. Он был человеком, сдержанным не только в жизни, — садясь за рабочий стол, он умел владеть собой, может быть, поэтому его книги казались некоторым суховатыми. Однако никогда не было крупного и притом честного автора, который мог бы хорошо писать о событиях, лежащих вне его душевного мира, о людях ему далеких и чуждых.

В романе «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянов писал: «Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы».

Юрий Николаевич любил шутить, говорить о пустяках, стойко боролся против болезни, но был он человеком очень грустным, и грусть Грибоедова была для него не страницей истории. Он родился в один год с Бабелем и Пильняком, которые умерли в углах наименее удобных. Тынянов ненадолго их пережил, хотя умер он на своей кровати.

«Подпоручик Киже» и «Восковая персона» были нам глубоко понятны. В то же самое время, зная только «Кюхлю», я писал о приключениях злосчастного Лазика Ройтшванеца, которого события носили по миру, из города в город, из страны в страну. Однажды ему предложили заняться кролиководством — это было модное в ту пору занятие. Ему послали пару кроликов, но только их выпустили из корзины, как собака их загрызла. Бедный Лазик тотчас написал о своей очередной неудаче, но в ответ пришел запрос, сколько крольчат принесли производители. Лазик понял, что есть люди, для которых всего важнее статистика, и начал подсчитывать, сколько кроликов могло бы быть у него, не будь зловредной собаки. Когда цифра стала внушительной, приехало начальство. Он повторил: «Я же вам писал, что парочку сразу загрызла собака», — но гости отмахивались: «Где же кролики?» Подпоручик Киже был куда счастливее — он родился от описки писаря — «подпоручики же», но никто не осмелился признаться в этом Павлу. Царь приказал отправить подпоручика Киже в Сибирь. Его не было, но он был, и конвойные гнали его по Владимирке. Павел его помиловал, приказал жениться на придворной фрейлине. В церкви жениха не было, но невесту обвенчали. Павел произвел его в генералы, и вот однажды он позвал его во дворец. Павлу сказали, что гене-

рал Киже заболел, в несколько дней он умер. Пустой гроб торжественно похоронили.

Восковая персона была изображением Петра, снабженная пружинами, она могла передвигаться. Ее отправили в кунсткамеру, пружины сломались, и бедная восковая персона оказалась среди различных «натуралий» — младенцев-уродов в спирту.

Тынянов прекрасно знал историю, он умнее многих других разгадывал некоторые черты современности, но то, что мы называем «политическими событиями», его мало волновало. Он приехал в Париж в весну, когда рождался Народный фронт. Я был наивен, ходил на митинги, верил, что теперь фашизму будет нанесен смертельный удар. Юрий Николаевич не спорил, он отвечал «возможно». Он попал в город, который хорошо знал по романам, документам, планам, гравюрам. Ему хотелось побродить по Пале-Рояль, как то делал В. Л. Пушкин, найти место, где выступал с докладом Кюхельбекер, он вспоминал А. И. Тургенева и Вяземского, читал карту вин, как давно знакомый текст: «Моэт... Клико... Нюи...»

Он и в Париже, где можно бросать окурки на пол, сомневаться в таблице умножения и плевать на все авторитеты, оставался сдержанным — боялся выдать свое незнание быта, осторожно расспрашивал, как вести себя в кафе. Были в нем мягкость, обаяние, которые всех разоружали.

Потом он сел за «Пушкина». Эта книга, по его словам, должна была ответить на многие трудные вопросы, показать, как разум, гений, гармония победили муштру и невежество. Однажды я спросил его: «А стихи после польского восстания, возмутившие Мицкевича?» Он кивнул головой: «И это...»

Вспоминаю нашу последнюю встречу тревожной весной 1941-го, за три недели до начала войны. Тынянов жил тогда в Пушкине, в писательском доме творчества, на бывшей даче А. Н. Толстого. В саду цвели нарциссы и тюльпаны. Мебель в гостиной была из красного дерева, на стенах висели картины. Все казалось мирным. Юрий Николаевич ласково улыбался. А говорили мы, разумеется, о войне. Помню, Тынянов сказал: «Может быть, в Германии отвратительного вида революция?..» Он все же был воспитан на логике прошлого века: ему представлялось невозможным оглупление большой цивилизованной страны.

А «Пушкина» он не написал, закончил только начало — детство, отрочество поэта. Юрий Николаевич умер, не

дожив до пятидесяти лет, а в последние годы болезнь мешала ему работать. Свою разгадку Пушкина он унес в могилу.

Я часто вспоминал и вспоминаю прекрасный рассказ о мнимомалолетнем и, увы, вполне совершеннолетнем Витушишникове, который умел одно — бить в барабан. Я порой себя чувствую именно таким недорослем, и за это тоже спасибо Тынянову.

Я был на его похоронах. После Сталинградской победы многое менялось на глазах. Звание и форма определяли положение человека. Тынянов был не ко двору и не ко времени. Газеты даже не сообщили о его смерти. Гроб стоял в маленькой комнате на Тверском бульваре, и веночки были из бумажных цветов — попроще, поскорее.

Я стоял у гроба и думал: мы хороним одного из самых умных писателей наших двадцатых годов...

17

Для простых смертных все выглядело пристойно: на театрах военных действий шли бои с общим противником, а главы правительств антигитлеровской коалиции обменивались поздравительными телеграммами. На самом деле все было куда сложнее, за кулисами шла борьба.

Американцы предпочли де Голлю адмирала Дарлана, а когда адмирала убили — генерала Жиро. Де Голль предпочитал себя. Во Франции многие из его сторонников не хотели договориться с партизанами-франтирёрами. В Италии союзники поддерживали бывшего вице-короля Абиссинии маршала Вадольо, а партизаны клялись повесить всех фашистских лидеров, в том числе и Вадольо. Англичане поставляли оружие генералу Михайловичу, в Каире существовало королевское правительство Югославии, а народно-освободительной армией командовал коммунист Тито. В том же Каире находилось греческое правительство правого толка, но в самой Греции с оккупантами боролся левый ЭАМ. В Лондоне нашло пристанище польское правительство; Советский Союз порвал с ним дипломатические отношения; возник Союз польских патриотов; в лесах Польши имелись отряды правых — Армии крайовой и левых — Гвардии людовой. Обо всем этом газеты упоминали вскользь, порой иносказательно.

Разумеется, я не был посвящен в секреты дипломатов, но по характеру своей работы кое-что знал: меня при-

глашали на приемы, приходилось бывать в различных посольствах, чуть ли не каждый день ко мне приходили иностранные журналисты. Я не собираюсь описывать историю взаимоотношений между союзниками, да я ее и не знаю. Мне хочется просто рассказать о некоторых беглых встречах, об эпизодах скорее забавных, нежели значительных.

Английский посол Керр однажды спросил меня, почему я не люблю англичан. Я запротестовал и шутя начал перечислять все, что мне нравится в Англии, — и Хартию вольностей, и пейзажи Тернера, и зелень лондонских парков. После этого Керр, представляя меня своим соотечественникам, неизменно говорил: «А вот господин Эренбург, который признает в Англии только трубки, газон и терьеров...» Керр был хорошо воспитанным скептиком, но не позволял себе говорить то, что думал; только однажды на каком-то скучном приеме после разговора о поэзии он признался: «В Москве я полюбил многообразие. Мы любим всегда то, чего лишены, не правда ли?..»

В октябре 1944 года в Москву приехали Черчилль и Иден. Не знаю, как отразилась эта поездка на англо-советских отношениях, но она неожиданно выручила из беды старого токаря Янкелевича, которого А. Н. Толстой называл «мастером трубочных дел». Янкелевич изготовлял замысловатые трубки и продавал их любителям. Его арестовали, кажется, именно за незаконную торговлю трубками. Алексей Николаевич попытался за него заступиться, но безуспешно. Наркоминдел решил поднести Черчиллю подарок — старинный ларец с потайными отделениями и хитроумными запорами. Шкатулка оказалась поврежденной, никто не мог ее исправить. Тогда кто-то вспомнил про старика Янкелевича. Он мог поблагодарить судьбу или Черчилля. А вот директору фабрики «Ява» приезд английского премьера принес только хлопоты: от него потребовали срочно изготовить первосортные сигары. На приеме Черчилль взял сигару и закурил: сигара зашипела, из нее посыпались искры, как будто это ракета. Черчилль улыбнулся. У него было лицо старого бульдога, а глаза утомленные, даже сонные, оживавшие от насмешливой улыбки. Меня ему представили. Он попробовал улыбнуться: «Поздравляю. Вас в особенности...» С чем он меня поздравлял, я не знал, но, в свою очередь, улыбнулся и поздравил его, тоже не зная с чем.

Короткий разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне: «Вы, кажется, не очень любите англи-

чан?..» Я решил, что Керр успел ему рассказать о газоне и собаках, но спросил, почему Иден так думает. Он ответил: «Мне говорили, что вы очень любите Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опытного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спросил: «Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?» Вероятно, в моем голосе почувствовалось раздражение; Иден поспешно улыбнулся: «Это шутка. Конечно, мы все союзники, и лично я очень люблю французов...»

Впрочем, другие бывали еще откровеннее. Гарриман, например, говорил: «С Францией будет трудно — там больше предателей, чем повсюду». Английский корреспондент Уинтертон признавался: «Лучше без французов...» Уилки доверительно сказал мне: «Роль Франции как великой державы кончена навсегда, не в наших интересах вернуть ей прежнее место».

Естественно, что французы — посол Гарро, советник Шмитлейн, молодой Горс, генерал Пети — частенько говорили о том, что не доверяют американцам и англичанам: боялись, что западные союзники постараются поставить снова на ноги побежденную Германию. Как-то вечером мы собрались у генерала Пети; были Торез, Жан Ришар Блок, Гарро, и Гарро начал вспоминать прошлое: после первой мировой войны, будучи офицером, он повидал оккупацию Прирейнской области; рассказывал, как союзники восхищались порядком, организацией, как влюблялись в немок; никто не сомневался, что мир обеспечен; а в Мюнхене Людендорф уже призывал к реваншу. И Гарро с пафосом убеждал Тореза: «У нас теперь одна надежда — русские не допустят повторения!..»

В декабре 1943 года я возвращался из Харькова, где судили немцев, уличенных в массовых убийствах жителей. В купе сидел А. Н. Толстой. Пришел американский журналист Стивенс. Заговорили о будущем. Вдруг кто-то трахнул бедного Стивенса по голове — на верхней полке лежал французский журналист Шампенуа. Он не мог терпеть разговоров о том, что предпочтителен «мягкий мир», к тому же успел выпить пол-литра.

(С Шампенуа я подружился. Прежде он был корреспондентом телеграфного агентства Гавас, но когда посол Бержери — в прошлом ультралевый — по указанию Виши покинул Москву, Шампенуа остался у нас, писал во французских газетах, выходящих в Лондоне. После войны он попробовал вернуться на родину, но оказалось, что он привязался к Москве. Он умеет по-русски выпить, по-русски

проговорить полночи обо всем и ни о чем, о вздоре и о самом главном. Это человек, лишенный и честолюбия, и житейской смекалки, в минуту душевной нежности он балагурит или ругается, пишет стихи — для себя, нигде их не печатает.)

Мне кажется, что не только американцы, но и англичане, с которыми я встречался, чего-то не понимали — их страны не знали фашистской оккупации. Я не говорю о политиках или дипломатах — у тех были свои расчеты; но многие офицеры, журналисты считали, что рассказы о гитлеровских зверствах преувеличены; армия Гитлера в их представлении смешивалась с армией Вильгельма. Вот почему куда легче было разговаривать с людьми из оккупированных стран.

Вряд ли норвежский посол Андворд восхищался советской системой, но он знал горе своей страны и видел, что по-настоящему сражается только Красная Армия. Иногда он приглашал нас к себе. Он был сибаритом, любил хорошее французское вино. Мы сидели у камина; Андворд вспоминал Норвегию, общих друзей, говорил: «Надеюсь, что «фау» образумят англичан. Они хотят с гитлеровцами поступить по-джентльменски, как будто это матч. А сегодня я снова получил известия о расправе с нашими студентами. Вы правы — микстуры не помогут, нужна хирургия...»

Среди дипломатов мне особенно полюбился Рене Блюм, он представлял самую маленькую страну — Люксембург, но у него было большое сердце. В 1944 году на фронте возле Минска к нам пришел перебежчик. Полковник сказал мне: «Фриц говорит, будто он не немец и не француз, а что-то вроде люксембуржца...» Меня привели к перебежчику. Это был молодой паренек-крестьянин. Он попросил у меня бумаги: «Хочу написать письмо...» Я думал, что он хочет известить своих близких и наивно считает, что письмо до них дойдет. Но он написал: «Ее высочеству великой герцогине Люксембурга. Извещаю вас, что я выполнил свой долг и перешел на сторону Красной Армии...» Когда я передал это письмо Рене Блюму, тот прослезился; он был левым социалистом, но письмо к герцогине его растрогало. Он полюбил нашу страну, научился говорить по-русски, ходил на лекции, доклады. (Раз я увидел его в толпе студентов, прорвавшихся в Политехнический, — чуть было его не задушили.) Дочь Блюма училась в Московском университете. Был он скромным, учтивым, что-то в нем оставалось от прошлого века, как и в его Люксембурге. Несколько лет назад я побывал у него в гостях. Он — предсе-

датель Общества дружбы с Советским Союзом; выступает на митингах; все его знают, уважают. Вечером за бутылкой вина мы вспомнили военное время.

Бывал я часто у посла Чехословакии Фирлингера. С ним было легко говорить: он понимал, что такое фашизм. Понимала это и его жена, милая, очень живая француженка.

Когда в Москву приезжал Бенеш, я встретил его на приеме. Он припомнил наш давний разговор: «Я уже знал, что Чехословакия обречена...» Потом он добавил: «Для нас единственное спасение — в тесном союзе с вашей страной. Чехи могут придерживаться разных политических убеждений, но в одном они, бесспорно, сойдутся — Советский Союз нас не только освободит от немцев, он позволит нам жить без постоянного страха за будущее».

Ко мне приходили югославы — один из командиров партизанской армии Терзич, скульптор Августинчич, который работал над проектом памятника и много рисовал. Мне нравились его работы — сочетание монументальности с движением, нравился и человек — он был художником и бойцом, ничем не поступался, жил в разных планах, оставаясь самим собой. Югославам дали несколько домов в Серебряном Бору. Там я встретил партизан и партизанок. Они жили на подмосковных дачах, как в горах Боснии, — чувствовался демократизм, прямота. Мне с ними было хорошо.

Иностранные корреспонденты приходили ко мне в надежде узнать что-нибудь о военном положении; я им иногда давал немецкие дневники или письма. В свою очередь, они рассказывали о сложных ходах дипломатии. Среди инкоров были видные журналисты — Стоу, Верт, Хиндус. Осенью 1942 года я взял Леланда Стоу с собой под Ржев. Он знал войну — был в Испании, в Китае, показал себя храбрым и наблюдательным; написал хорошие очерки. В 1946 году я побывал у него в одноэтажном домике неподалеку от Нью-Йорка. Начиналась «холодная война». Кругом были нарядные коттеджи. Цвели розы. Люди благоденствовали. А Стоу был печален. Он говорил: «Помните Ржев? Там мне было спокойней. Можно прожить без комфорта, без надежды труднее...»

Конечно, инкорам было нелегко: в газетах было больше статей, чем сообщений; цензура не дремала, у журналистов имелся свой противник — заведующий отделом печати. После пресс-конференции каждый старался обогнать других и первым прорваться к окошку телеграфа. Бывали драки; однажды американский корреспондент про-

колол покрышки на машине конкурента, чтобы тот не поспел на телеграф.

Корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро хорошо к нам относился, но ныл: от него требуют сенсаций, а на фронт его не пускают, непонятно, что передавать. И вот произошло событие, окончательно его подкосившее: Сталин ответил на вопросы, поставленные корреспондентом Ассошиэйтед Пресс Кессиди. Шапиро прибежал ко мне потрясенный: «Я тоже посылал вопросы... Ассошиэйтед Пресс правее, чем Юнайтед... Почему Сталин решил меня погубить?..» Успокоить его было невозможно, он и слышать не хотел, что Кессиди просто повезло — его вопросы пришли именно в тот день, когда Сталин решил нечто сообщить. В виде «утешительного приза» отдел печати МИДа разрешил Шапиро поехать на Сталинградский фронт. Вернувшись в Москву, он мне сказал: «Конечно, то, что я увидел, замечательно. Теперь я еще лучше понимаю, почему вы настаиваете на втором фронте. Но с точки зрения Юнайтед Пресс это не может сравниться с тем, что получил Кессиди. Я до сих пор не могу понять, почему Сталин предпочитает Ассошиэйтед Пресс?..» А Кессиди ходил именинником, показывал всем подпись Сталина под ответами на вопросы и ухитрился получить в «Арагви» четыре бутылки вина: «Мне пишет Сталин...»

Были среди американских корреспондентов и противные. Помню, ко мне пришел один развязный субъект и положил на стол фунт сахара. В комнату вошла Люда и, не зная, кто у меня, спросила: «Вы что, продаете сахар?..» Я потребовал, чтобы американец забрал свои дары. Несколько дней спустя я рассказал о нем Толстому. Алексей Николаевич загрохотал: «Он принес этот сахар мне, а я, дурак, растерялся, понимаешь? Решил сразу отдарить, ничего у меня под рукой не было, я отдал самопишущую ручку «ваттермана». Взял, подлец...» Мы долго смеялись. (Конечно, мы тогда не знали, что будут означать для всей Европы два слова «американская помощь»...)

О сахаре можно было забыть; но имелись вещи посерьезнее — раздоры между участниками антигитлеровской коалиции сказывались все яснее. Начиналось лето 1944 года. Салюты, возвещавшие победы, стали для москвичей будничным явлением. Союзники высадились в Нормандии. Развязка приближалась.

Первого июля я поехал на Третий Белорусский фронт, которым командовал генерал Черняховский. Возле Борисова, на правом берегу Березины, я увидел пленных фран-

цузов из «легиона», организованного изменником Дорио. Реку Березину знают по названию все французы: в 1812 году русские почти окружили армию Наполеона и только части удалось переправиться через Березину благодаря храбрости саперов, которыми командовал генерал Эбе (о генерале я знал потому, что часто в Париже проходил по улице, названной его именем). А «легионеры» застряли на Березине: они были трусливыми, но жадными наемниками, их остановили чемоданы — не хотели расстаться с награбленным барахлом. Меня попросили с ними поговорить. Один уверял, что несчастно влюбился и решил умереть «все равно как», другой описывал нужду, лишения — «в минуту слабости согласился», третий ссылался на «загадочные пути судьбы», четвертый приговаривал: «Я глубоко штатский человек. В Париже у меня маленький ресторан «А ля флёр де лис». Клиенты всегда меня хвалили. В кулинарии я не ошибался. Другое дело политика...» «Легионеров» поместили вместе с немецкими пленными, среди которых оказалось много эльзасцев. Потом мне рассказали, что эльзасцы ночью избили «легионеров».

Я побывал у летчиков «Нормандии». Французы рассказали, что, когда шли бои за Борисов, над Березиной погиб летчик Гастон. В течение трех лет он пытался выбраться из Франции, чтобы сражаться в небе; каждый раз его задерживали, наконец его посадили в каторжную тюрьму в Порт-Лиоте в Северной Африке. Когда американцы его освободили, он решил уехать в Советский Союз, чтобы сражаться в полку «Нормандии». Над Березиной было его боевое крещение, и вот он погиб... Я рассказал летчикам о владельце ресторана «Цветок лилии», они посмеялись, сказали с презрением: «Не думайте, что таких много. Это наши «власовцы»...» Я улыбнулся: твердо верил во Францию.

Да, не скрою, я верил в замечательное будущее — иначе слишком трудно было бы жить. Я говорил себе: решат дело не дипломаты, не политиканы, а народы - они-то хлебнули горя. Значит, фашизм будет похоронен навеки.

А инкоров я встретил где-то между Борисовом и Минском. Они были счастливы и потому, что видели победу союзной армии, и потому, что набрали интересный материал для передач. Особенно радовался корреспондент «Таймса» — он взял в плен троих солдат. Попавшие в окружение немцы искали, кому бы сдаться, и, увидев штатского в хорошем костюме, решили, что лучшей оказии им не найти. Двенадцатилетний мальчик Алеша Сверчук, тот при-

2 Зак. 92

гнал пятьдесят два пленных. Но корреспондент «Таймса», естественно, радовался.

Скажу откровенно: в Москве меня могли печалить телеграммы из-за границы, а возле Минска я не думал о том, как решится греческий вопрос, признают ли американцы Тито, что скажет Иден о поляках. Я думал: как пробраться в Минск — вокруг бродили немецкие дивизии.

18

В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался: почти все дома невредимы; четверть часа спустя раздались взрывы, и домов не стало.

Весь день работали саперы — вытаскивали мины; успели спасти большой Дом правительства, некоторые другие дома. Однако, бродя по городу, я повсюду видел развалины. Как же я радовался победе! За два дня до этого я был у генерала Черняховского; он мне сказал: «Теперь мы не гоним противника — мы его окружаем». Я знал, что крупные немецкие силы остались на востоке от Минска, поэтому трудно было проехать в город — на шоссе неожиданно выходили немцы, открывали минометный огонь. «Попали они в хороший котел», — сказал мне один танкист, и я подумал, что война подходит к концу, улыбнулся. Но больно было смотреть на развалины Минска. Это не Новгород, не Киев, не Ленинград — это город, который много раз жгли, разрушали; в нем не было памятников старины, прекрасной архитектуры. Но бывают минуты, когда забываешь об искусстве. Я думал не об эстетической ценности разрушенных, взорванных или сожженных домов, а о том, что люди работали, мучились, строили, и вот — щебень, обгоревшие развалины. Зрелище разрушенного жилья, разоренных человеческих гнезд мучительно, и всегда потрясает какая-нибудь мелочь — просиженное кресло, следы на уцелевшей стене от долго висевшей картины или фотографии, поломанная деревянная лошадка.

(Лет семь или восемь спустя, отправляясь на очередную сессию Всемирного Совета Мира, я застрял в Минске — погода была нелетная. Меня выручил П. У. Бровка — повез к себе. Он показал мне заново отстроенный город. Конечно, дома были пышными и некрасивыми, как все, что строилось у нас в конце сороковых годов, но я искренне вос-

хищался ими: люди ужинают, спорят, ревнуют; наверно, вон в той квартире есть дети и там спокойно спит деревянная лошадка.)

Бродя по разрушенному Минску, я вдруг подумал: мне повезло, хоть в Минск я не опоздал! Генерал Вадимов мне не давал свободы! Однажды, еще в начале войны, я с ним ездил на фронт к Брянску, и он почему-то решил, что я способен на глупое лихачество. В 1944 году, уже не будучи редактором «Красной звезды», он писал мне с фронта: «Вспоминаю вас, рассказываю о том, что с вами невозможно ездить на фронт, потому что вы обязательно хотите быть впереди всех, даже впереди боевых порядков». Конечно, это было абсолютно несправедливо, но генерал Вадимов внушил своим подчиненным, что за мной следует присматривать. Осенью 1943 года «Красная звезда» послала К. Симонова и меня на Украину. Я поехал на правый берег Днепра. Заместитель редактора полковник Карпов послал телеграмму члену Военного совета 13-й армии генералу Козлову (копию мне недавно дали): «У вас находится Илья Эренбург, в целях безопасности прошу сделать так, чтобы далеко за переправу он не уезжал». А вот в Минск я добрался вовремя; да и потом ездил куда хотел — мне удалось исчезнуть; в редакции не знали, где я, и не было генерала Вадимова, который, наверно, снова предпринял бы розыски.

Черняховский был прав: Минск наши армии окружили, в котел попало около ста тысяч немцев. Наши войска быстро продвигались к Барановичам, к Вильнюсу, а немцы, отходившие от Могилева, все еще мечтали прорваться в Минск. На этом фронте немцы были еще недобитые, и многие дивизии упорно сопротивлялись, наступали, пытаясь прорвать кольцо. Как-то я мирно ужинал у командира батальона, майора, в прошлом ленинградского профсоюзника. Батальону дали передохнуть после жестоких боев на Березине, и майор, угощая меня трофейным шампанским, рассуждал: «Фрицы у вас замечательно получаются, наверно, долго наблюдали. А вот, скажем, когда вы роман пишете, как вы разыскиваете, кого описать? Я часто думал, откуда писатель знает, что у человека на сердце? Рассказывают, что ли? Или приходится выдумывать?..» Я не успел ответить — раздалась дробь пулеметов: огонь открыл немецкий полк, пытаясь прорваться на запад.

Я поехал на запад, в Раков, в Ивенец, и, вернувшись в Минск, снова услышал пальбу: окруженные немцы, изголодавшись, напали на хлебный завод.

Я был на Могилевском шоссе, когда начали обстреливать дорогу. Пленные уверяли, что в лесу батальон, там же бродит немецкий генерал с минометом и говорит: «Я немец, а не дерьмо...» Один немецкий майор, который, помахивая носовым платком, вышел из леса на дорогу, сказал мне: «Конечно, в данный момент преимущество на вашей стороне — Германия вынуждена сражаться на двух фронтах. Но вы должны признать, что танковые прорывы, охваты — достижение немецкой стратегии, вы идете по нашим стопам...» Я ответил, что я не военный, а как человек штатский признаю приоритет немцев: войну начали они и долго к ней готовились, только гордиться этим вряд ли приходится.

Обер-лейтенант в Вильнюсе, на кладбище Рос (там был сборный пункт для пленных), говорил: «Я на Восточном фронте с самого начала. В сорок первом мы шли вперед, не обращая внимания, что вы остаетесь позади. Теперь все переменилось. Мы пробовали защищать Минск, когда вы уже подходили к Вильно. Здесь мы три дня удерживали несколько домов, а ваш офицер говорит, что вы возле Немана. Теперь вы идете вперед, как будто нас не существует». Он помолчал и неожиданно добавил: «Я себя спрашиваю, действительно ли мы существуем?..» Среди барочных херувимов и замшелых бюстов цвели чайные розы. Вдруг раздался отчаянный крик — смертельно раненная ворона упала комком к ногам немецкого офицера. Он закрыл лицо руками и сидел неподвижный, как статуя.

Тацинцев я встретил у границы Литвы: они были усталыми до смерти. Полковник Лосик, командир бригады, рассказывал, как взяли Минск: «Мы не по дорогам шли — лесом, болотами, смешно сказать — где только заяц бегает. Когда мы третьего числа ворвались в Минск, немцев там было больше, чем наших, но они растерялись...»

Стояли очень жаркие дни, дождя давно не было, и плотные тучи удушливой пыли обволакивали дорогу. Сотни машин, расплющенных, перевернутых, загораживали путь. Старшина Белькевич говорил: «Я-то спешил, у меня в Минске сестренка оставалась, Таня, семнадцать годов... Убили, то есть, буквально накануне — второго числа — соседи видели... — Он вытер рукавом лицо; пот, смешавшись с пылью, образовал маску. — Пыль-то какая!.. — Потом тихо добавил: — Как мы вошли в город, отпросился домой, бежал. А сестренки нет...» И такая была в его голосе тоска, что я ничего не мог вымолвить. Ко всему можно привыкнуть — к тоске, к беде, к одино-

честву, только не к чужому горю; много раз я это чувствовал в те годы.

А что я видел на всем пути от Орши до Вильнюса? Сколько развалин, сожженных сел, сколько я выслушал ужасающих рассказов! В Ракове я пошел к настоятелю собора ксендзу Ганусевичу. Он сидел, старый, тихий, среди молитвенников и выцветших фотографий. Он видел, как гитлеровцы подожгли дом. В отчаянии женщина выбросила из окна младенца; подбежал «факельщик», деловито, как головешку, подобрал ребенка и кинул в огонь. Священник качал головой: «Я не мог себе представить, что на земле существуют столь бессердечные люди. Из Клебани увезли старого ксендза, он болел, не мог ходить, они его замучили. В Дорах собрали всех в православную церковь и сожгли. В Першай убили двух ксендзов. В Писании сказано: «Он открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути». Я старый человек, но как будут жить после этого молодые?..»

Я ночевал у артиллеристов. Мы пили скверный венгерский ром. Все размечтались о будущем. Вдруг капитан Сергеев сказал: «Письмо пришло от жены Яблочкина, пишет, что жить ей теперь незачем — осталась одна, хочет попрощаться с товарищами Паши...» Все примолкли; вскоре уснули. Мне не спалось, я встал, пробрался к коптилке и записал в книжечку слова старого ксендза.

На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел Тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев — минских и привезенных из Праги, Вены. Обреченных привозили в душегубках (машины, в которых людей удушали газом, гитлеровцы называли «геваген»; машины усовершенствовали — кузов опрокидывался, сбрасывая тела удушенных; новые машины именовались «гекнипваген»). Незадолго до разгрома немецкое командование приказало выкопать трупы, облить горючим и сжечь. Повсюду виднелись обугленные кости. Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых; трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумки, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданеке, ни о Треблинке, ни об Освенциме. Я стоял и не мог двинуться с места, напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать — нет слов.

Наши солдаты, штурмовавшие на Могилевском шоссе окруженных немцев, видели Тростянец. Кажется, нигде война не была такой жестокой. Вечером вокруг шоссе валялись трупы врагов. Жара не спадала, и стоял сильный смрад.

Я говорил с командующим пехотной дивизией генерал-лейтенантом Окснером. Когда его взяли в плен, он был одет как солдат, а час спустя предъявил удостоверение и потребовал, чтобы его направили в лагерь для офицеров. В отличие от других пленных, он мне сказал, что идеи, которые вдохновляют вермахт, живы и рано или поздно восторжествуют. Я спросил его о Тростянце, он ответил: «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я лично детей не убивал. Мы проиграли сражение, а на побежденных все валят. Немецкая армия всегда отличалась дисциплинированностью, и я воспитывал моих солдат в духе чести...» — «А почему вы переоделись?» — «Не хотел унизить звание — немецкие генералы не сдаются». Он с наслаждением выкурил сигарету и сказал: «Мы оказались в положении маленького народа — против нас огромные государства: Россия и Америка. Это поединок Давида с двумя Голиафами...» У него был благообразный облик профессора. Потом я встретил его имя в списке военных преступников.

Другие генералы держали себя осторожнее. Командующий корпусом генерал Гельвицер с почтением поглядывал на молодого Черняховского. Иван Данилович сказал с усмешкой: «У Воронежа вы воевали лучше...» Гельвицер ответил: «Все происшедшее падает не на армию, а на Гитлера, он не слушал опытных генералов, окружил себя выскочками...» Гельвицер подписал обращение, которое две недели спустя было напечатано в советских газетах: часть немецких генералов, оказавшихся в плену, выступила против фюрера. Незадолго до того в Германии группа офицеров пыталась выступить против Гитлера; это придавало декларации пленных генералов некоторую убедительность. В чем генералы обвиняли Гитлера? Отнюдь не в том, что он начал войну, прикарманивал страну за страной, организовал массовое истребление населения, зону пустыни, лагеря смерти. Нет, кадровые генералы ставили Гитлеру в вину другое — он неумело воевал, довел вермахт до поражения. Генералы предлагали немецким командирам убрать Гитлера и добиться мира до того, как военные действия перебросятся на территорию Германии. О штабелях удушенных в Тростянце они не говорили...

Передо мной номер «Зольдатенцейтунг», я гляжу на портрет военного в мундире: генералу танковых войск фон Заукену, кавалеру ордена Железного креста с дубовыми листьями и бриллиантами, исполнилось семьдесят лет. Газета рассказывает о жизни юбиляра. В годы первой мировой войны он сражался во Франции и в России. В 1939 году он завоевывал Польшу, примчался в Париж, потом был под Москвой, у Орла. А в июле 1944 года генерал фон Заукен, командир 39-го танкового корпуса, пытался удержать Борисов... Я ничего не могу с собой поделать: я помню. Помню в разрушенном Борисове трупы советских пленных — гитлеровцы их перебили за два дня до того, как оставили город; помню рассказ Василия Везелова, который чудом выкарабкался из-под трупов; помню Разуваевку, где фашисты убили десять тысяч евреев — стариков, женщин, грудных детей. Не знаю, помнит ли это юбиляр. Да и не в нем дело. «Зольдатенцейтунг» в том же номере призывает немцев вернуть Силезию, Мемель, Данциг, Судетскую область. Значит, снова?.. С этим не мирятся ни разум, ни совесть.

В июле Третий Белорусский фронт продвигался на запад настолько быстро, что авиация часто отставала. Генерал Глаголев, старый солдат — он воевал в первую мировую войну, — говорил: «Вы про пехоту не забывайте. В двенадцать дней прошли почти четыреста километров. У пехотинца теперь свой мотор — сердце, человек падает, а все-таки идет. Мне вчера один солдат сказал: «Осерчали...» Видят, что немцы понаделали, и торопятся — кончать пора...»

Картины менялись, и картина оставалась той же: поразному говорили в Смоленской области и на границе Литвы, но все рассказывали одно и то же. Мелькали останки городов, чернели дымоходы сожженных сел. Кажется, в Ольшанах я видел дощечку «Фрайхайтплац» («площадь Свободы»). Кажется, в Красном, а может быть, в тех же Ольшанах фабрикант Рихард Садовски заставлял прохожих сходить с тротуара, подымать руку, восклицать: «Хайль!» Алексей Петрович Малько (я записал имя) рассказал, как немцы сожгли его дочек Лену и Глашу, это было в деревне Брусы. Возле Сморгони бойцы нашли в поле девочку четырех или пяти лет, и она рассказала, что ее зовут Дора и что «немцы сыпали маме песочек в рот, а мама кричала». Старый поляк в Радошковичах рассказывал, что два года назад немцы сожгли тысячу двести евреев; портной, когда немец приказал: «Танцуй!» — плюнул и крик-

нул: «Убивай скорей, ты свое еще получишь!..» Проехал я мимо одной деревни, дома были целыми и пустыми, — не знаю, убили ли жителей или угнали, а может быть, люди убежали в лес.

Все выглядело как год назад возле Глухова или Чернигова; но война была другой. 12 июля под вечер я увидел первые дома Вильнюса; отовсюду стреляли, и незнакомый мне майор закричал: «Ложись!..» В этот день наши танкисты были уже далеко — прошли полпути к Каунасу; а в лесах к востоку от Минска еще бродили группы немцев, не знавших, что от них до немецкой армии куда дальше, чем от советских танкистов до границы Германии.

Где-то возле Молодечно я заночевал у маршала П. А. Ротмистрова. Павел Алексеевич объяснял: «Прошлым летом танки играли другую роль, тогда противника выдавливали, а теперь мы его окружаем и уничтожаем, вырываемся вперед. В нашу эпоху без техники нельзя. Без головы, разумеется, тоже. Люди у нас умные, только долго раскачивались — мало места для инициативы. Вот после войны, надо надеяться, будем жить разумней». Мне понравился маршал: молодой, живой, разбирался не в одних военных операциях, но и во многом другом — в политике наших союзников, в литературе, даже в различных сортах рейнвейна. Раза два или три после войны я встречал Павла Алексеевича и убедился, что он человек смелый не только на поле боя, но и (это, может быть, еще труднее) в будничной гражданской жизни.

Никогда раньше я не был в Вильнюсе. Немцы не успели его сжечь, и было это необычайно — дома, барочные костелы, узкие старые улицы. Редко вылезет старушка из подвала и тотчас спрячется. Несут раненых. Ведут на кладбище Рос пленных. Солдат мало — они выбивают немцев из пригородной рощи. Вчера немцы еще удерживали центр города, старую тюрьму Лукишки. Да и сейчас в городе немцы прячутся, постреливают из автоматов.

Генерал Крылов сидел над картой, глаза у него были красные от бессонных ночей. Увидав меня, он покачал головой: «Зря ходите — они из окон стреляют. Конечно, я понимаю, что вам интересно, но все-таки...»

На КП я увидел писателя Павленко. Познакомился я с ним еще в 1926 году — я был проездом в Стамбуле, и он мне показывал святую Софию. Встречались мы очень редко; он был хорошим рассказчиком, я охотно слушал неправдоподобные истории, но, как это часто бывает в человеческих отношениях, когда мы годами не видались, я о

нем не вспоминал. Мы пошли вместе по городу. Немцы побросали на большой площади сотни машин, и чего только в них не было — и кинокамеры, и французские ликеры, и детективные романы, и туалетная бумага. У Остробрамских ворот женщины на коленях молились богоматери. Пошли мы к костелу святой Анны. Павленко рассказал — Наполеон жалел, что не может увезти костел в Париж. Прошли к дому, где жил Мицкевич. Кое-где лежали тела убитых горожан; помню старика с острой серебряной бородкой, похожего на ученого прошлого века; рядом лежала палка с белым набалдашником. Павленко внимательно рассматривал и набалдашник, и статуи костела, и немецкий радиоприемник; вдруг зевнул: «Дождь... Давайте-ка пойдем перекусить. У меня бутылка французского коньяка». Мы выпили, и Петр Андреевич сказал: «Помните, как я вам показывал Стамбул, святую Софию. Это было в двадцать пятом или двадцать шестом, — почти двадцать лет... Жизнь была шумной, а написать почти ничего не удалось. Вы мне сказали как-то, что я люблю приврать, когда рассказываю. Ну не так прямо, но я понял... Отнесите за счет эпохи — пар требует выхода. В литературе, хочешь не хочешь, а ври, только не так, как вздумается, а как хозяин велит. Что и говорить, он человек гениальный. Но об искусстве нечего и мечтать. А в общем, все ерунда. Выпьем лучше за победу...»

Потом я ходил один. Ко мне подошел старшина, попросил документы, прочитав, рассмеялся: «Вот на кого напал. Я ваши статьи читаю, ни одной, кажется, не пропустил. Знаете, какая у меня к вам будет просьба? Скажите вы, чтобы каждый день в газете сообщали, сколько километров до Германии. А то спрашиваю — никто толком не знает, одни говорят — сто, другие — полтораста. Ну, если нельзя в московских, пусть в армейских печатают. Я думаю, к праздникам кончим. У меня мать в Бийске, пишет, что ждет со дня на день, болеет, боится, что не дотянет...»

Я встретил группу партизан-евреев, они помогали очищать подвалы и чердаки от фашистов. Я разговорился с двумя девушками — Рахилью Мендельсон и Эммой Горфинкель. Они рассказали, что были в гетто. Немцы чуть ли не каждый день отправляли партию в Понары — там убивали. Живые должны были работать, их посылали под конвоем. В гетто была подпольная организация Сопротивления, ее участники жгли склады, закладывали мины, убивали гитлеровцев. Готовился массовый побег. Во главе организации стоял виленский рабочий, коммунист Вит-

тенберг. Гитлеровцы о нем пронюхали и потребовали, чтоб он явился, не то уничтожат все гетто. Виттенберг сказал товарищам: «Вы сможете работать и без меня. Не хочу, чтобы из-за меня всех убивали...» Его замучили. Пятистам заключенным удалось бежать; они сражались в отрядах «За победу», «Мстители», «Смерть фашизму». Рахиль и Эмма до войны были студентками, любили литературу. Теперь у них в руках были не книги, а ручные гранаты. Они весело смеялись; у меня сохранилась фотография: я с группой партизан.

На следующий день был приказ об освобождении Вильнюса: немцы в роще начали сдаваться. Я снова бродил по улицам, разговаривал с жителями; выглядели люди страшно — просидели пять дней в подвалах, часто без еды, даже без воды; но почти все улыбались — самое горькое было позади. Трупов на улицах больше не было. Солдаты выносили из немецких машин барахло. Говорили, что будут выдавать хлеб.

Я ужинал с военными. Потом майор провел меня в брошенную квартиру. По всему было видно, что здесь жили не немцы: в стеклянной банке я нашел сухари из черного хлеба, а в старинной шкатулке, где когда-то, наверно, хранили фамильные драгоценности, окурки сигарет. На стенах висели фотографии — группа гимназисток, дама с наколкой, молодой человек в польской военной форме. Под столом валялась открытка с видом Ниццы. На полке стояли книги — польские и французские. Майор мне оставил большую свечу, и я решил почитать французский роман. Прочитал страниц двадцать или тридцать — и бросил. Какое мне дело, что герой не может решиться бросить жену и переехать к возлюбленной? Я попытался уснуть, но сон не шел. И вдруг мне стало невыносимо тоскливо: Ведь мучился человек в этом романе из-за тонкостей любви. Может быть, они встретились в Ницце. Герой чеховского рассказа встретил даму с собачкой в Ялте. Счастья не было, но не закапывали живьем, не сажали в душегубки. Не жили в постоянном соседстве со смертью, как теперь. Наверно, жена майора ждет не дождется письма от него. Ужасна война, даже теперь, когда близка победа! А может быть, именно оттого, что победа близка, можно задуматься, затосковать?..

Я приподнял ковер, которым майор завесил окно. Светало, утро было пасмурным. Время от времени раздавались выстрелы. Из дома, что напротив, выбежала кошка и пронзительно закричала. Я лег и уснул.

19

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришел Жан Ришар Блок. Он был взволнован событиями. Я рассказал ему о минском котле, о боях в Вильнюсе, о летчиках «Нормандии». В свою очередь, он поделился новостями: «Судя по радиоперехватам, партизаны начинают занимать города в Дофинэ, в Лимузене, — и, суеверно понизив голос, добавил: — Кажется, мы сможем скоро вернуться во Францию...»

Россия рано вошла в мир Жана Ришара; говоря это, я думаю не только о книгах Льва Толстого, которые долго были вехами на его пути, я вспоминаю также послание французских студентов к русским после 9 января 1905 года, подписей было много, а текст написал студент Сорбонны, двадцатилетний Ж. Р. Блок. Он восторженно встретил рождение Советской республики. Впервые он увидел нашу страну в 1934 году, когда его пригласили на съезд советских писателей; он пробыл у нас полгода, потом рассказывал на различных собраниях о своих впечатлениях. Конечно, это были рассказы доброжелательного туриста, который увидел то, что может увидеть турист в любой стране, — достопримечательности, образцово-показательную жизнь.

Вторично он приехал в Москву весной 1941 года, приехал с женой из оккупированной Франции и прожил в Советском Союзе трудные годы войны. Он узнал людей и привязался к ним. Пережил эвакуацию. А. Н. Толстой рассказывал мне, как осенью 1941 года, проезжая через Казань, он разыскал Блока, который снимал комнату в татарской семье; комната была подвальной. Жан Ришар утешал хозяйку, муж ее был на фронте: «Скоро немцев расколотят...» «Да что ее, — добавлял, смеясь, Алексей Николаевич, — он и меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное — сводки, хлеб не убран, люди повесили нос — словом, пакость, а француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречен, это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьет чай без сахара и улыбается...»

Два-три раза в неделю Блок обращался по радио к своим соотечественникам: рассказывал о мужестве Красной Армии, старался приободрить французов. Были у него в Москве друзья, всех не перечислить, назову Лидию Бах, Игнатьевых, Толстого. Никогда Блоки ни на что не жаловались. Однажды Жан Ришар захворал; пришел врач и

ужаснулся, мне позвонили: «Истощение на почве длительного недоедания...» А не простудись он, мы не узнали бы, что Блоки живут впроголодь.

Жан Ришар мучительно переживал вынужденную разлуку с родиной. Теперь слышишь голос человека из космоса. А в те годы был грохот бомб и молчание. Блок не знал, что делается во Франции. Не знал он и что стало с его близкими — с матерью, с детьми. Но тоску, тревогу он умел скрывать, как никто: окружающие видели неизменно бодрого, веселого человека. В 1944 году ему исполнилось шестьдесят лет, выглядел он моложе, может быть, потому, что жил в постоянном напряжении. Очень худой, среднего роста, с резко обрисованными чертами лица, он походил на старый портрет Монтескьё, который когда-то висел в моей комнате. Глаза его не уставая улыбались, и только при одной из последних наших встреч в Париже он позволил себе шутку: «Бывают эпохи, когда человеку необходимо обзавестись двумя парами глаз — для других и для себя...»

Два или три часа мы проговорили о положении на фронте. Потом он неожиданно сказал: «Мне перевели новый указ о браке...» Увидев мой огорченный вид, он начал меня успокаивать: «Теперь война, не стоит об этом задумываться...»

Я знал, что многое его озадачивало, тревожило. Указ, о котором он вскользь упомянул, я прочитал где-то под Минском; кругом стреляли, я засунул газету в карман и, как Блок, сказал себе: не нужно об этом думать. У войны свои законы: стоит человеку усомниться, как он выбывает из строя. Конечно, указ о браке продолжал линию, которая наметилась год назад: обязательная регистрация, судебное разбирательство для развода, понятие матери-одиночки, все это было куда ближе к дореволюционному законодательству, чем к декретам первых лет революции, но я жил тогда одним — разгромом фашизма, все остальное мне казалось второстепенным.

Я не случайно упомянул об одной фразе, оброненной Блоком в августе 1944 года: он был рожден поэтом и мыслителем, а война слишком часто вмешивалась в его жизнь, и люди видели солдата со штыком или с пером.

Он был всего на семь лет старше меня, но это многое предопределило. Я едва осмотрелся в жизни, как разразилась первая мировая война, и с нею началась новая эпоха. А Жан Ришар успел и написать хороший роман «...и компания», и вобрать в себя воздух прошлого столетия, успел сложиться. Он рано увлекся социализмом, и для него это

было связано не с подпольем, не с провокаторами и «провалами», не с тюрьмой, а с благородными речами Жореса, с верой в разум, в прогресс. Я приезжал во Флоренцию зеленым юношей, духовно неприкаянный, всегда голодный и восхищенный красотой чужого мира. А во Флоренции жил Жан Ришар, профессор французского института, отец троих детей, эрудит и гуманист; искусством кватроченто он любовался не как воришка, прокравшийся в богатый дом, а как законный наследник.

Может быть, именно поэтому первая мировая война была для него катастрофой, — он должен был решить, что ему делать. О том, как он пережил те годы, я знаю не только по его переписке с Роменом Ролланом, но и по его рассказам. В первой части этой книги я писал, что капрал Жан Ришар осмелился поспорить с человеком, которого не только почитал, но и обожал. Вернее сказать, Блок спорил с самим собой — он знал, что Роллан из своего швейцарского далека рассуждает правильно; но знал и другое — немцы вторглись во Францию, нужно не раздумывать, а сражаться. Он сражался, был трижды ранен — на Марне, в Шампани и у Вердена, последнее ранение было тяжелым, долго опасались, что он потеряет зрение. Чашу он выпил до дна. Ромен Роллан любил Блока, но поведение его осуждал: считал, что молодой Жан Ришар, подобно многим, культивирует в себе слепоту. А дело было не в любви к слепоте, но в тех законах войны, которые тридцать лет спустя продиктовали Блоку слова: «Теперь не стоит над этим задумываться». Накануне второй мировой войны Блок, редактор коммунистической газеты, писал Ромену Роллану про роман Барбюса «Огонь»: «Он создал произведение захватывающее, но недолговечное. Он удовлетворился замечательным показом декорации и силуэтов. Но он не показал, почему миллионы людей оставались там, а это — главное».

Двадцатые годы, первая половина тридцатых были для Блока, как и для многих его современников, периодом затишья, передышки. Мыслящему тростнику история разрешила на краткий срок не только сгибаться, но и мыслить. В этот период писатели писали. Писал и Жан Ришар — романы, рассказы, пьесы для театра, стихи. Я никак не хочу отрицать ценности его романов или пьес; но в те годы было немало и добротных романов, и увлекательных пьес, и мастерски написанных стихов. Была, однако, область литературы, в которой Блок достиг совершенства, область, издавна облюбованная французами, — эссе.

Кажется, другие народы, более одаренные поэтической настроенностью и менее увлеченные поэзией мысли, считали эссе второстепенным жанром, предпочитая ему литературную критику или художественную публицистику. А французы от Монтеня до Сартра, от Стендаля до Жана Ришара Блока видели в эссе возможность объединить обостренную чувствительность художника и разум. Из всего, что написано Блоком, мне особенно дорога книга «Судьба века». Она вышла в свет в 1931 году, и удивительно, что эссе, часто посвященные не только искусству, но и политике, не устарели. Перечитав их недавно, я убедился, что вопросы, которые мучили Блока тридцать лет назад, стоят передо мной, когда я пишу эту книгу.

В предисловии автор «Судьбы века» говорил: «Я не обращаюсь к политикам. Беседуя со мной, они потеряли бы время. Они это хорошо знают. Я обращаюсь к людям моей породы, к людям, обладающим ремеслом. У нас есть ремесло, и мы работаем внутри этого ремесла, в его сердце. Мое ремесло связано со словом, со знанием веса, объема, плотности слов, их точного применения. И как бы это ни было смехотворно для многих, я считаю наше ремесло самым прекрасным...» Может показаться, что книга посвящена проблемам литературы, а в ней, пожалуй, меньше всего страниц, связанных с судьбой романа или поэзии. Блок пытался предугадать судьбу человека, вступающего в новую эру. Он не был равнодушным арбитром; задолго до этого выбрал себе место, вступил в партию он много позднее, но называл себя и тогда коммунистом. В конце двадцатых годов он предвидел предстоящее затемнение: «Снова рабочий Калибан и музыкант Марсий — хранители подлинной культуры. Им нужно быть зоркими, потому что мы видим начало второго средневековья. Подымается волна нового нашествия... Эти новые варвары уже обосновались у нас. Они управляют нашей промышленностью, нашей экономикой, и Америка их щедро снабжает теориями, лозунгами, идеалами».

Говоря о новом веке, о том, что его отличает от революционной романтики прошлого, Блок так определял современного человека: «Социальная революция ему больше не кажется мессианской мечтой, это одно из неизвестных его личного уравнения. Он начинает считать, что предпочтительнее оказаться в лагере возможных победителей». Он говорил, что для человека 1930 года характерно преувеличение роли личности. Он видел связь между социальными проблемами века и невиданной страстью к спорту. До

Гитлера, до многого другого он предостерегал: «Итак, мы идем к чудовищному воскресению пещерного человека, покрытого амулетами, но освещенного электричеством... Восемнадцать лет назад я написал рассказ «Ересь усовершенствованных ванн», эта ересь становится религией...» И далее: «Мы идем к диктатуре всемогущей полиции — я имею в виду полицию дорог, полицию тел, полицию душ». Он говорил также о развитии точных наук и техники — без возмущения, но и без самообольщения. Я вспомнил об этой книге, конечно, не для того, чтобы в нескольких цитатах объяснить ее содержание, — мне хотелось показать Жана Ришара Блока таким, каким молодые читатели его не знают.

В жизни Блока, как и в жизни многих других, Испания означала объявление войны. На этот раз никто его не призвал. Да и был он в Испании недолго — видел только самое начало. Но Блок понял, что передышка кончена: «Мне тоже хочется писать о женщине, о любви, мне хочется выразить в словах, так, как это не выражали прежде, свист иволги и душу танцовщицы. Я испытываю потребность быть простым человеком, наивно счастливым среди щедрот мира. И вот я слышу свист снарядов, крики раненых, мои товарищи отступают под самолетами, перед танками, и у меня во рту горечь этого отступления...» Для раздумий больше не было места.

Начиная с той поры Жан Ришар снова жил как солдат. Год спустя в Париже начала выходить газета «Се суар»; ее редакторами были Блок и Арагон. Жан Ришар писал не о свисте иволги, а о «невмешательстве», о Мюнхене, о трусости, о предательстве. Осенью 1939 года правительство запретило выход «Се суар». Вскоре на процессе депутатов-коммунистов Блок вместе с Ланжевеном и Валлоном выступили в защиту обвиняемых. Когда немцы подошли к Парижу, он пытался уйти пешком к себе в Пуатье — это не близко, и немецкие танки его опередили. Он начал писать для подпольной прессы. В начале 1941 года был арестован его сын Мишель; полиция пришла и за Жаном Ришаром, случайно его не оказалось дома. Он перешел на нелегальное положение и весной 1941 года приехал в Москву. О советских годах я рассказывал. Блоки вернулись в Париж в январе 1945 года. Жан Ришар узнал, что его мать, восьмидесятишестилетнюю старуху, гитлеровцы сожгли в Освенциме; дочь Франс увезли в Гамбург и там казнили. Начала выходить «Се суар», и Жан Ришар продолжал писать статьи. Его выбрали в Национальную ассамблею. Он

почти каждый день выступал на митингах — надвигалась реакция. Он составил книгу статей «Москва — Париж», правил корректуру, и в марте 1947 года скоропостижно скончался.

Вероятно, такая биография довольно обычна для подпольщика, солдата, коммуниста. Но для писателя она исключительна, а я уже говорил, что Жан Ришар был прежде всего художником. В Москве на Первом съезде писателей он напомнил, в чем призвание людей того ремесла, которое казалось ему самым прекрасным: «Писатель не только официальный прославитель завершенных дел. Будь это так, он играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания «инспектора законченных работ». Он превратился бы в общественного паразита; таковые имелись при дворах старых королей, их работа заключалась в прославлении... К счастью, у писателей другое назначение!» В той же речи Блок выступил против канонизации лжеклассических и лженародных форм, которая обозначилась в речах Жданова и некоторых «инспекторов законченных работ»: «Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами, и другие, ищущие новых форм. Среди летчиков есть пилоты исполнительные и смелые, которые ведут серийные машины, и есть другие — летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч». Блоку хотелось быть летчиком-испытателем, сказать то, чего не говорили до него, но у войны свои законы; он писал о том, о чем писали многие: что Мюнхен — измена, что нельзя жить под игом фашизма, что американское золото хочет заменить германский булат. Он был бунтарем, а приходилось соблюдать военную дисциплину. Он это делал с улыбкой и, только оставаясь сам с собой, «заменял» глаза образцового солдата и оптимиста на свои — на глаза обреченного художника.

Я не помню, когда с ним познакомился, кажется, в 1926 или в 1927-м. Мы встречались тогда не очень часто, но разговаривали подолгу и откровенно. У меня сохранился экземпляр «Судьбы века» с надписью Жана Ришара, — по ней я вижу, что в 1932 году он меня считал своим другом. Потом наши отношения стали еще более тесными. Нас сблизила и общая работа: подготовка антифашистского конгресса, защита Испании, борьба против наступающего фашизма. В начале 1940 года, когда я болел, сидел один на улице Котантен, Блоки меня навещали, поддерживали.

А во время войны в Москве мы встречались часто. Помню утро, когда пришло первое известие о восстании в Париже. Я тотчас побежал к Блокам. Жан Ришар ничего не мог сказать от волнения, только обнял меня. Что нас сближало? Да то, о чем мы редко говорили: общность судьбы.

Жан Ришар писал: «Нужно ли говорить, что Советский Союз не рай и что там можно встретить не только праведников...» Он не был слепцом. В книгу «Москва — Париж» он включил статью «Илья Эренбург — наш друг». Я ее сейчас перечитал и нашел эпизод, который я сам позабыл. В 1944 году, говоря о вандализме фашистов, я перечислял некоторые разрушенные памятники искусства и под конец упомянул о холстах Пикассо, изрезанных молодыми фашистами. Блок писал: «Восемьдесят три русских художника академического направления подписали протест против бесстыдства — как можно ставить рядом с сокровищами национального искусства «чудовища Пикассо»!» Конечно, это мелочь, но это сердило Блока. Сердило и многое иное. Если, однако, он мог разобраться в одном, то вынужден был верить на слово в другом. О том, что Пикассо — большой художник, он знал, и переубедить его было невозможно. Когда в одной редакции он услышал разговоры о том, что «евреи предпочитают фронту Ташкент», он спокойно ответил, что во время процесса Дрейфуса он уже слышал такие разговоры и в лицее бил за них по лицу будущих фашистов. Он видел чванливых бюрократов, взяточников; несколько раз говорил мне, что есть семьи фронтовиков, которым не оказывают помощи. Но откуда он мог знать, что Тухачевский был не предателем, а жертвой мании преследования и самодурства?.. Блок был солдатом, армией командовал Сталин, и солдат не мог усомниться в разуме и совести командира. Он поверил в версию «пятой колонны». Он начал писать биографию Сталина. Он ведь знал, что война продолжается...

Чем он утешался в часы, когда ему становилось невмоготу? Иногда писал стихи. Иногда переводил стихи. Во время первой мировой войны, раненный, в полевом госпитале, он начал переводить Гёте. В годы второй мировой войны он переводил вторую часть «Фауста». Этим многое сказано.

Конечно, доброта — прирожденное свойство, и, наверно, процент добрых и злых тот же среди людей различных убеждений; но мне думается, что доброта среди фашистов была скорее недостатком, уродством, нежели добродетелью. Как должен был себя чувствовать добрый эсэсовец в

Освенциме? Никого не удивит, что капиталист, попирающий своих конкурентов, человек злой. Но слова «он был злым коммунистом» не только режут слух, они оскорбляют совесть. Так вот, Жан Ришар был человеком редкой доброты.

Даже самый страстный противник детерминизма не станет утверждать, что человек свободно выбирает эпоху. Ж. Р. Блок писал: «Теперь время для военных корреспондентов, а не для писателей, для солдат, а не для историков, для действий, а не для размышлений по поводу действий». В этих словах не только трагедия Блока, в них также объяснение и оправдание нашего поколения.

20

Приехал в Москву на короткую побывку Василий Семенович Гроссман. Мы просидели до трех часов утра, он рассказывал о фронте, мы гадали, как сложится жизнь после победы. Гроссман сказал: «Я теперь во многом сомневаюсь. Но не в победе. Пожалуй, это самое главное...»

Война раскалывала семьи, разводила довоенных друзей, и война завязывала новые узлы. С Василием Семеновичем я подружился в первые месяцы войны. До этого я знал только его книги. Помню, как в Париже я прочитал напечатанный в «Литературной газете» один из его первых рассказов — «Четыре дня». Вероятно, он мне понравился не только потому, что был хорошо написан, но и потому, что в манере письма я почувствовал нечто от Бабеля. Потом я начал читать «Степана Кольчугина», он показался мне «классическим», а я еще не умел радоваться успеху произведения, написанного в чуждой мне манере.

Война отодвинула в сторону литературные распри. Кажется, обо всем мы говорили с Гроссманом, но меньше всего о форме или языке романа.

Я нашел в старой записной книжке такие строки: «17 ноября 1941. Немцы передают, что взяли Керчь, начали наступление на Москву и Ростов. Утром в колхозе. Бессарабская девушка-свинарка, в беличьей шубке. Аэродром без охраны. Районный центр Кинель. На вокзале толстяк обгладывает курицу, показывает удостоверение — эвакуируется в Уфу. «А почему здесь сидите?» — «Простыл». Потом тихо: «Они и в Уфу придут». В Куйбышев приехали Гроссман и Шкапская. Приехали на санях. Гроссман говорит: «Все в голове перепуталось».

Нам как раз тогда отвели квартиру; в ней разместились Гроссман и Габрилович. Начались бесконечные ночные разговоры — днем мы сидели и писали. Василий Семенович прожил в Куйбышеве две недели; потом пришел приказ от редактора «Красной звезды», и он улетел на Южный фронт. Я вскоре уехал в Москву. Он много рассказывал и о растерянности и о сопротивлении — отдельные части дрались стойко, а хлеб не убран. Рассказывал о Ясной Поляне. Начал повесть «Народ бессмертен», когда я потом ее прочитал, многие страницы мне показались хорошо знакомыми.

Разные у нас были не только литературные приемы или восприятие живописи (Василий Семенович любил то, что мне казалось неприемлемым), но и характеры разные — нас сделали в разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я «минималист»: от людей да и от лет требую малого. Может быть, это верно — человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку: в гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Ибсена: «Все или ничего!»; очевидно, «минималистами» люди становятся с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался «максималистом» в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе.

В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества придаточных предложений (Фадееву это было близко, и он долго, страстно защищал роман «За правое дело»). Повествование Гроссман прерывал долгими размышлениями. После войны я как-то сказал ему, что он все уже доказал мыслями, чувствами, поведением героев, авторское отступление только ослабляет силу главы. Он рассердился: «То, что вы называете «отступление», для меня главное, это наступление...» Я не стал спорить: я считал его крупным и честным художником, который вправе писать так, как ему хочется. Он нашел себя в годы войны, написанные прежде книги были только поисками своей темы и своего языка.

Он был доподлинным интернационалистом и часто меня упрекал за то, что, описывая зверства оккупантов, я говорю «немцы», а не «гитлеровцы» или «фашисты»: «Нельзя отнести эпидемию чумы к национальному характеру. Карл Либкнехт был тоже немцем...» (Только однаж-

ды он вышел из себя. Это было в сожженном немцами селе Летки — мы ждали наступления на Киев. Я разговаривал с пленным — одним из «факельщиков». Со мною были Гроссман и немецкий писатель-эмигрант, которого Василий Семенович знал. Гроссман все время молчал. Когда мы ушли, он сказал мне: «Может быть, вы и правы...» Я удивился, чем поразил его пленный, — он отвечал, как тысячи других. Василий Семенович сказал, что дело не в пленном, а вот его знакомый все время старался найти оправдание для «факельщиков».)

Гроссман с огромным уважением относился к истории, обычаям, литературе всех народов Советского Союза. О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал: «Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?» Василий Семенович сердито ответил: «Вы многого не понимаете. Для вас жизнь — это поэма, и чем запутанней, тем лучше. А жизнь — это притча».

Говорят, есть люди, которые рождаются под счастливой звездой. Таким баловнем судьбы можно, например, назвать Пабло Неруду. А вот звезда, под которой родился Гроссман, была звездой несчастья. Мне рассказывали, будто его повесть «Народ бессмертен» из списка представленных на премию вычеркнул Сталин. Не знаю, правда ли это, но Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова, — за все пристрастия Василия Семеновича, за его любовь к Ленину, за подлинный интернационализм, да и за стремление не только описывать, но попытаться истолковать различные притчи жизни.

Гроссман оказался в Сталинграде в конце лета. Он написал оттуда ряд очерков, которые мне кажутся самыми убедительными и яркими из всех наших очерков военных лет. Почему генерал Ортенберг приказал Гроссману отправиться в Элисту и послал в Сталинград Симонова? Последнее — по любви к молодому и талантливому писателю, это понятно. Но почему Гроссману не дали увидеть развязку? Этого я до сих пор не понимаю. Месяцы в Сталинграде и все, что с ними связано, запали в душу Гроссмана как самое важное. Писали об этом многие другие, но только Некрасов, который был офицером-сапером, и Гроссман, которого сталинградцы считали не журналистом, а своим боевым товарищем, смогли передать весь трагизм и все величие духа участников Сталинградской битвы.

Первая часть романа Гроссмана «За правое дело» была напечатана в 1952 году, а в феврале 1953 года в «Правде» появилась статья одного писателя, напоминавшая не критику романа, а обвинительное заключение. В редакции мне говорили, что Сталину прочитали отрывки романа и что он возмутился. Это неровный роман, в нем все достоинства и все недостатки Гроссмана: есть люди, почти насильно выведенные на сцену, длинные рассуждения, но есть и главы потрясающей силы. Я никогда не забуду ночь перед переправой на правый берег Волги и подростка-офицера, который перебирает вещицы в вещевом мешке; это мог показать только большой писатель.

В 1946 году была первая репетиция: Гроссман опубликовал пьесу, написанную им еще до войны, «Если верить пифагорейцам». Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса». Ругать Гроссмана было беспроигрышной лотереей.

Характер у него был трудный: чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг, посмеиваясь, говорил пятидесятилетней женщине: «А вы за последний месяц очень постарели...» Я знал эту его черту, и, когда он вдруг замечал: «Вы что-то стали очень плохо писать», — я не обижался. В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я ни старался, не могу вспомнить, на что он обиделся, не помнит и Люба. Вероятно, это было пустяком, и не в нем нужно искать объяснения. Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходить? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне «дело», пришел, сидел долго, но разговора не вышло. Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие послевоенные годы. А потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой.

Василий Семенович продолжал работать. Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли те, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману. Я увидел военных корреспондентов «Красной звезды» — пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль: почему не под-

держали, не согрели? Вспомнились годы войны. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Это старая история: судьба, видимо, не любит максималистов.

21

В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно называли «Черной книгой». Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета «Конногвардеец»), В. Соболев («Вперед на врага»), Т. Старцев («Знамя Родины»), А. Левада («Советский воин»), С. Улановский («Сталинский воин»), капитан Сергеев («Вперед»), корреспонденты «Красной звезды» Корзинкин, Гехман, работники военной юстиции полковник Мельниченко, старший лейтенант Павлов, сотни фронтовиков.

На Нюрнбергском процессе было установлено, что гитлеровцы в Германии и на захваченной ими территории других стран убили всё еврейское население — около шести миллионов душ. В 1941 —1942 году в нашей печати об этом мало писали: фашисты в своих листовках уверяли, будто они воюют не с русскими, не с украинцами, а только с евреями. Передо мною одна из бесчисленных листовок, которыми немцы закидывали наш передний край: «Товарищи! Видели ли вы когда-нибудь сами эти «немецкие зверства» по отношению к русскому народу, о которых денно и нощно твердит советская пропаганда, все эти эренбурги?.. Да! Немцы безжалостно истребляют жидов. Туда им и дорога!» Советские журналисты (в том числе и я) считали своим долгом показать лживость таких утверждений. Я написал сотни статей, в которых рассказывал, как гитлеровцы убивали русских детей, вешали девушек Белоруссии, жгли украинские села. В 1944 году мне казалось, что пришло время обнародовать документы об уничтожении фашистами еврейского населения.

Я знал, что сухие цифры перестали производить впечатление, и начал собирать дневники, письма, которые

передавали мучения, пережитые отдельными людьми. Много сил, времени, сердца я отдал работе над «Черной книгой». Порой, когда я слушал рассказы очевидцев или читал пересланные мне письма — к сыну, сестре, друзьям, мне казалось, что я в гетто, сегодня «акция» и меня гонят к оврагу или рву. Я писал в 1944 году:

...Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня...

Я хочу, чтобы мои слова о «несметной родне» были бы правильно поняты. Мне чужд любой национализм, будь он французский, английский, русский или еврейский. Я испытываю глубокое отвращение к расовой спеси, все равно к какой — к немецкой или к американской. Притом я не верю в таинственные свойства крови. Тургенев, которому удалось видеть живого Пушкина, вспоминал: «Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом, почти без бровей и курчавые волосы...» «Африканские губы» не помешали Пушкину стать самым ярким выразителем русского национального гения. Правда, в домах некоторых американских негров я видел рядом с портретом Александра Дюма портрет Пушкина — хозяева их почитали вдвойне — в их жилах текла африканская кровь. Я не мог осудить негров — они хотели противопоставить все, что могли, расовой надменности «белых» американцев. Не могу я осудить и евреев, которые, сталкиваясь с антисемитизмом, начинают к месту и не к месту вспоминать, что еврейская кровь текла в жилах Маркса, Гейне или Эйнштейна. Над тем, что я еврей, меня заставили задуматься не воображаемые зовы моей крови, а вполне реальные антисемиты. Есть нерушимый человеческий закон — солидарность униженных и оскорбленных. Если какой-либо сумасшедший диктатор начнет убивать людей с рыжими волосами, возникнет солидарность рыжих. Если люди, падкие на суеверия,

вдруг уверуют, что все зло в веснушках, один веснушчатый, встретив другого, будет относиться к нему как к товарищу по беде, не станет пудрить лицо, а, наоборот, постарается найти доводы в пользу веснушек.

Осенью 1944 года, когда я рассказывал о Тростянце, один из литераторов с усмешкой сказал: «Кровь заговорила...» Да, конечно. Я вспоминаю слова Юлиана Тувима — заговорила кровь, не моя, а жертв Тростянца.

Я говорил, что в составлении «Черной книги» принимали участие многие русские писатели, военные, юристы, ученые. Хочу напомнить о тех знаках солидарности, которые меня глубоко волновали. Помню, как я обнял узбекского поэта Гафура Гуляма, когда осенью 1943 года он приехал в Москву: в самом начале войны, возмущенный гитлеровскими зверствами, он написал стихотворение «Я — еврей». Помню страстные строки Павло Тычины, выступления Паустовского, Вс. Иванова, Сейфуллиной, стихи Мартынова о нюрнбергском портном, написанные еще накануне войны.

У меня сохранились сотни писем, дневники, записи. Я перечитал их и, хоть прошло двадцать лет, снова испытал ужас, смертельную тоску. Не понимаю, как мы это пережили и как хватило сил жить: не о смерти я говорю, даже не о массовых убийствах, а о сознании, что нечто подобное могли совершить люди в середине XX века, жители высокоцивилизованной страны.

Один из узников рижского гетто писал в своих записках, что в том же бараке находился известный историк С. М. Дубнов, которому тогда исполнилось семьдесят один год. Среди комендантов гетто был Иоганн Зиберт, человек, когда-то учившийся в Гейдельбергском университете. Дубнов читал в Гейдельберге до первой мировой войны лекции по истории Древнего Востока. Зиберт, узнав, что в гетто находится его бывший учитель, пришел к нему и долго смеялся: «В молодости я был настолько глуп, что ходил на ваши лекции. Какой вздор вы нам рассказывали! Хотели, чтобы мы размякли и поверили в торжество гуманизма. Смешно!..» Иоганн Зиберт не отказал себе в удовольствии лично присутствовать при убийстве Дубнова. Вот это страшнее всего. Значит, мало всеобщей грамотности, университетских аудиторий, высокоразвитой техники, чтобы оградить людей от одичания.

Я мечтал издать «Черную книгу» и теперь приведу несколько страниц из нее не для того, чтобы помучить себя и читателей, — нужно помнить о том, что было, в этом одна из порук, что люди не допустят повторения.

Эвакуация почти повсюду проходила беспорядочно и в трудных условиях. Здоровые мужчины были далеко — сражались. В самом начале войны немцы захватили Белоруссию, Украину, Литву, Латвию — земли, где издавна жило много евреев. В некоторых городах, как Вильнюс, Рига, Минск, гитлеровцы убивали евреев постепенно, в течение двух-трех лет. Молодым иногда удавалось бежать из гетто, и они воевали в партизанских отрядах. В других городах, как в Киеве или Харькове, все евреи были убиты вскоре после прихода немцев. Из десятков тысяч людей спаслись десятки; одних прятали местные жители, другим удалось перейти линию фронта. Немало городов и местечек, где никто не спасся. Часто после освобождения города русский или украинец сообщал своему земляку-еврею, бывшему на фронте, о судьбе его семьи.

Вот письмо учительницы поселка Борзна (Черниговская область) В. С. Семеновой Я. М. Росновскому: «...18 июня 1942 г. глубокой ночью, когда все спали, пришли в еврейские дома, забрали всех — 104 человека и повезли к селу Шаповаловка, где был противотанковый ров. Глубокого старика Уркина спросили перед тем, как застрелить: «Хочешь жить, старик?» Он ответил: «Хотел бы увидеть, чем все это кончится». Двадцатидвухлетняя Нина Кренхауз умерла с годовалой девочкой на руках. Учительница Раиса Белая (дочь переплетчика) видела, как расстреляли ее шестнадцатилетнего сына Мишу, сестру Маню с детьми (младшему было несколько месяцев), она уже не понимала ничего и только волновалась, что потеряла очки...»

Письмо лейтенанту Выпиху от Соколовой из Артемовска: «...В их число попали и ваши близкие родственники — мать, Бетя, Роза и Софочка. Их загнали в карьеры Военстроя и замуровали заживо. Надо еще вам передать слова Софочки, она плакала, говорила: «Почему наших так долго нет? Когда придут, расскажите». А мать ваша говорила, что одного хотела бы — увидать перед смертью сыновей...»

Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):

«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали зем-

лей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»

Город Хмельник (Винницкая область) был захвачен немцами 18 июля 1941 года. Из десяти тысяч евреев здесь спаслись относительно многие — двести шестьдесят, часть сражалась в партизанских отрядах. Спасся и А. К. Беккер, который прислал мне описание того, что пережил; там были такие строки: «...Сколько я ни умолял разрешить мне идти вместе с семьей, чтобы жене было легче вести детей на смерть, ничего, кроме ударов прикладами, не вышло... Погнали в сосновый лес за три километра от города, там уже были приготовлены ямы. Все растеряли друг друга. Ребенок четырех лет Шайм — отца у него не было, а мать убили раньше — шел, как взрослый, в колонне... У ямы людей поставили в ряд, заставили раздеться и детей раздеть догола, так стоять при страшном морозе, а затем сойти в яму. Дети кричали: «Мама, зачем ты меня раздеваешь? На улице очень холодно...»

Розовая школьная тетрадь; это дневник студентки Сарры Глейх. Изумительно, что она бегло, порой бессвязно, изо дня в день записывала все. По первым записям видно, что она 17 сентября, через месяц после того, как эвакуировалась из Харькова в Мариуполь, где жили ее родители, поступила на работу в контору связи. 1 сентября сестры Фаня и Рая, жены военнослужащих, ходили в военкомат, просили их эвакуировать; им ответили, что «эвакуация не предвидится раньше весны». 8 октября она пишет: «Начальник конторы Мельников утром сказал мне, что завтра эвакуируемся, нужно подготовить документы, можно взять семью, значит, отъезд обеспечен...» В тот же вечер она продолжает: «В 12 часов дня в город вошли немцы, город отдан без боя...» Через много страниц запись: «19 октября. Завтра в 7 часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе...» «20 октября... Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли смерть 9000 еврейского населения. Велели раздеться до сорочки, гнали по краям траншеи, но края уже не было — все было заполнено трупами, в каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом — мой папа, но подойти ближе не удалось. Мы начали прощаться, все поцеловались. Фаня все не верила, что это конец: «Неужели я никогда не увижу солнца?» А Владя спрашивал: «Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем, мама, домой, здесь нехорошо». Фаня взяла его на руки,

ему было трудно идти. Бася шептала: «Владя, тебя-то за что?» Фаня обернулась, ответила: «С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту». Я не выдержала, схватилась за голову и начала дико кричать. Мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: «Тише, Сарра». На этом все обрывается. Когда я пришла в себя, были уже сумерки, трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы стреляли, уходя, чтобы раненые не могли уйти, так я поняла из разговора немцев, они боялись, что много недобитых, и они не ошиблись. Было много заживо погребенных. Кричали маленькие дети, которых матери несли на руках, а стреляли нам в спину, и малыши падали невредимые, а на них валились трупы... Я начала выбираться из-под трупов, встала, оглянулась. Раненые копошились, стонали. Я начала звать Фаню. Оказался рядом Грудзинский. Он был ранен в обе ноги, попытался встать и упал. Какой-то старческий голос напевал «лайтенах», это было ужасно...» Сарра Глейх 27 ноября, после месяца блужданий в степи, узнала, что наши войска в пяти километрах от Большого Лога, куда она пришла, ей удалось добраться до отряда красноармейцев.

Письмо двадцатилетней Буси, которая жила в Краматорске, оно датировано августом 1943 года и начинается словами: «Милые мои, дорогие тетушки!» Это письмо показывает, что переживали те немногие, которым удалось спастись; может быть, это было еще страшнее, чем ожидание смерти. (Да и Буся пишет: «Я сейчас думаю над бедным цензором, который прочитает это письмо, а пусть знает, что «жизнь — замечательная штука», как сказал Киров, и в то же время жизнь не стоит и копейки, совсем не страшно знать, что тебя через несколько минут не будет...») Она рассказывает тетушкам о 20 января 1942 года: «...Мороз 30 градусов. По улице идут женщины с вещами. Их подгоняют полицейские. Потом сажают в машины, везут к противотанковому рву. Среди них были и Мина, и Гриша с семьей, и семья Шнейдера, жены братьев Браиловских с детьми, был Рейзен с Полиной, он хоть перед смертью настоял на своем — в могилу она пошла с ним, а не с Кузнецовым. Хватит! Я хочу только знать, не презираете ли вы меня за то, что я оставила Мину? Оправдываться не буду. Я сказала маме: «Ты как хочешь, а я бегу». Как я могла сказать такое маме? Очевидно, в такие минуты не рассуждаешь. Она пошла со мной, несколько раз порывалась вернуться — с другими на казнь, заговорила о долге. Я как сейчас помню, осмотрелась — дома закрыты наглу-

хо, никто не пустит обогреться. Пусть замерзнем, пусть поймают, повесят, только не идти самой!.. Судите меня сами, и если признаете виновной, пусть будет по-вашему, не считайте меня больше «любимой племянницей». Это будет ужасно, но я буду знать, что это правильное суждение, и я это перенесу, как вынесла многое, как, наверно, вынесу еще много неожиданного и страшного».

Я спрашивал себя не раз, что чувствовали немецкие солдаты, видя, как убивали беззащитное население, или узнав о расправах от своих товарищей. Вероятно, были такие, что ужасались происходящим, но молчали от страха, да и нужно было жить — идти в бой, шутить, пить и петь на отдыхе — лучше было не думать о растерзанных детях. Мне известен, однако, случай, когда немецкий солдат спас женщину с детьми; было это в Днепропетровске в 1941 году; обреченные ждали, когда их погонят ко рву. Тогда к Б. Тартаковской подошел солдат и тихонько сказал: «Я вас сейчас отсюда выведу»; он добавил: «Кто знает, что еще случится с нами...»

У нас почти ничего не писали о предателях; во время войны упоминали мимоходом — были военные суды, которые выносили приговоры, а потом совсем замолкли. Может быть, потому, что тогда занимались другим: обвиняли честнейших людей, зачисляли в преступники Лозовского, Майского, Переца Маркиша, драматурга Гладкова, писателя А. Исбаха, Рубинина, Квитко, Бергельсона. А настоящие предатели, разумеется, были: Власов и его помощники, бендеровцы, различные бургомистры, члены управ, полицейские. Не понимаю, почему о них нужно молчать; было их немного, и набирались они среди отбросов общества. Достаточно заглянуть в газеты, выходившие в оккупированных городах, — «Голос Ростова» или «Пятигорское эхо», чтобы увидеть, как низок был не только моральный, но и культурный уровень предателей. Во Франции оккупанты нашли маршала Петена, Лаваля, Дорио — это не наши «старосты». Гитлеровцам повсюду нужны были писатели, готовые их поддержать и оправдать. У них были Гамсун, Дрие ля Рошель, Селин, Эзра Паунд. А за русского писателя им пришлось выдавать некоего Октана, который клялся, что бывал в Клубе писателей и пил там водку. Мелкота, человеческий мусор. Разумеется, различные «полицаи» усердствовали, вытаскивали из подвалов обезумевших старух, волокли к месту казни детей и для того, чтобы успокоить себя, лихо улюлюкали.

Были и мародеры, жаждавшие поживиться на чужой беде, занять квартиру семьи, которую не сегодня-завтра убьют, вытащить из домов барахло; они торопились, боялись прозевать. Жадных и бесчестных людишек было не много, но они бросались в глаза.

За укрывательство евреев немцы вешали или расстреливали; и все же нашлось немало советских людей, которые, рискуя жизнью, прятали у себя евреев. М. М. Файштог, которой удалось убежать из Евпатории, писала мне: «Некоторые из тех, кого я считала друзьями, струсили, отшатнулись, а спас меня незнакомый мне человек Н. И. Харенко». Так в жизни бывает часто — цену человеку узнаешь в трудный час. Во всех письмах, дневниках, воспоминаниях спасшихся — имена русских, белорусов, украинцев, литовцев, латышей, которые помогли человеку уйти от смерти. Есть в Днепропетровской области село Благодатное, в нем бухгалтер колхоза П. С. Зиренко скрывал тридцать две души — семь еврейских семейств из Донбасса. Конечно, колхозники догадывались, кто в хатах, но на вопросы немцев или «полицаев» отвечали: «Здешние».

В марте 1944 года я получил письмо от офицеров части, освободившей Дубно, они писали, что В. И. Красова вырыла под своим домом убежище и в течение почти трех лет прятала там одиннадцать евреев, кормила их. Я написал об этом М. И. Калинину, спрашивал, не сочтет ли он справедливым наградить Красову орденом или медалью. Вскоре после этого Калинин вручал мне орден. Когда церемония кончилась, Михаил Иванович сказал: «Получил я ваше письмо. Вы правы — хорошо бы отметить. Но видите ли, сейчас это невозможно...» М. И. Калинин был человеком чистой души, подлинным коммунистом, и я почувствовал, что ему нелегко было это выговорить.

В часы больших испытаний — все проверяется: и душевная чистота, и смелость, и любовь. Гитлеровцы повсюду объявляли, что при смешанных браках «эвакуации» (так они называли массовые казни) подлежат только лица еврейского происхождения и дети, у которых отец или мать евреи. В документах «Черной книги» я нашел несколько рассказов о том, как русская жена или русский муж шли на смерть, говоря, что они — евреи.

Я возвращаюсь к мысли, которая меня преследует, когда я вспоминаю прошлое: человек способен на все. Однажды ко мне в редакцию «Красной звезды» пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты Семен Мазур. Он рассказал мне необычную историю. В битве

под Киевом он был ранен, попал в окружение и, переодевшись, пришел в Киев, где жила его жена. Дома никого не оказалось; он пошел к сестре жены; та испугалась, начала уговаривать его покинуть город. Он ответил, что попытается добраться до своих, но хочет повидать жену и ребенка. Когда он подходил к своему дому, жена его увидела и закричала: «Держите жида!..» Какие-то прохожие оглянулись, но прошла колонна грузовиков, и Мазуру удалось скрыться. Он побрел на восток, дошел до Таганрога. Там его спрятала русская женщина — К. Е. Кравченко. Незалеченная рана дала осложнение, Мазура отвезли в больницу. Русский врач Упрямцев, узнав, что Мазур еврей, снабдил его паспортом одного из умерших. Мазур снова пошел на восток. Кравченко немцы арестовали, выдали ее. Упрямцев спас многих, а летом 1943 года немцы его расстреляли. Мазур перешел линию фронта на Дону, сражался под Сталинградом, получил орден, был снова ранен. Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди и хотела выдать врагу жена. Я отвечал, что не знаю, как они жили вместе. Мазур говорил, что жили хорошо, когда он уезжал на фронт, жена плакала, он успел получить от нее несколько писем. Я повторял: «Вы ее знаете. Откуда мне знать, почему она так поступила?..» Он стукнул кулаком по столу: «Вы обязаны знать — вы ведь писатель!»

Теперь я должен рассказать о другой чете. Это было в местечке Монастырщина, Смоленской области. Иссак Розенберг, служащий загса, был тяжело ранен в бою неподалеку от Монастырщины; ночью он дополз до своего дома. Жена Наталья Емельяновна спрятала мужа в подполье под печкой. У них было двое маленьких детей; матери удалось их спасти — она заявила немцам, что это дети не от Розенберга, а от первого мужа. От детей она скрыла, что в доме прячется отец, — боялась, что они проговорятся. Розенберг ночью выходил из подполья, выпрямлялся, ел. Однажды четырехлетняя девочка увидела в щель чьи-то глаза и в страхе крикнула: «Мама, кто там?» Мать спокойно сказала: «Разве ты не видишь, что это крыса, у нас много крыс...» Розенберг на обрывках немецких газет вел дневник, записывал, что рассказывала ему жена, свои ощущения. Одна из страниц дневника посвящена кашлю — он простудился, его душил кашель, но он сдерживался, писал: «Я никогда не думал, что может быть еще такая свобода — кашлянуть...» Наталья Емельяновна заболела сыпняком. Детей взяли соседи, а она терзалась — муж умрет с

голода. Она вернулась домой через две недели и нашла мужа ослабевшим, но живым.

В сентябре 1943 года наши войска подошли к Монастырщине. Немцы оказывали сильное сопротивление, они прогнали жителей местечка, и Наталья Емельяновна с детьми убежала в лес. Она вернулась, когда увидела первых красноармейцев. Дома не было, еще дымилась зола, чернела печь. Иссак Розенберг задохся от дыма. Он прожил под печкой двадцать шесть месяцев и умер за два дня до освобождения. Наталья Емельяновна сидела у печи, и в руке у нее была газета — кусок дневника.

Работая над «Черной книгой», я все время удивлялся — то бесчеловечности, то благородству. Я глядел на развалины, на обугленные человеческие кости, на немецкие склады с детской обувью, с губной помадой, выслушивал людей, искалеченных навсегда пережитым, читал предсмертные письма, написанные на старых квитанциях, на клочке газеты, на немецкой листовке, и все яснее понимал, что ничего не понимаю, да и не пойму, хотя, по словам Семена Мазура, я должен, как писатель, все понимать. В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман; она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали от немцев. С нею была дочь одиннадцати лет. Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты трудные роды. Любовь Михайловна пошла, спасла роженицу и младенца. Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели на расстрел, она сказала: «Не убивайте ребенка...» А потом прижала дочь к себе: «Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами...» Не знаю, что меня больше потрясло — поведение врача или старосты...

«Черная книга» была закончена в начале 1944 года. Ее читали, перечитывали, редактировали. Я поместил в «Знамени» несколько отрывков. В Румынии издали перевод первой части. Наконец книгу сдали в производство. В конце 1948 года, когда закрыли Еврейский антифашистский комитет, рассыпали набор «Черной книги», забрали гранки и рукопись.

У меня хранилась часть документов — дневники, письма, записанные рассказы. В 1947 году я передал их в Вильнюсский еврейский музей. Этот музей год спустя закрыли, и я считал, что документы пропали. Они оказались у меня: назадолго до ликвидации музея его директор принес две большие папки ко мне; меня в Москве не было, и папки десять лет пролежали между старыми рукописями и книгами.

В 1956 году один из прокуроров, занятых реабилитацией невинных людей, приговоренных Особым совещанием за мнимые преступления, пришел ко мне со следующим вопросом: «Скажите, что такое «Черная книга»? В десятках приговоров упоминается эта книга, в одном называется ваше имя».

Я объяснил, чем должна была быть «Черная книга». Прокурор горько вздохнул и пожал мне руку.

В начале 1965 года ленинградский журнал «Звезда» напечатал дневник четырнадцатилетней девочки Маши Рольникайте, заточенной в гетто Вильнюса, потом отправленной в лагеря смерти и чудом уцелевшей. Дневник снабжен предисловием поэта Эдуардаса Межелайтиса; он пишет: «Чтобы этого больше не повторилось...» О том же думали двадцать лет назад Василий Семенович Гроссман и автор этой книги воспоминаний.

22

В записной книжке среди военных новостей (а их осенью 1944 года было немало), среди цитат из иностранных газет и заметок — с тем-то обещал встретиться, туда-то дать статью — я нашел такую запись: «6 октября. Вечер у Кончаловских. Разговор о Париже. Каков он теперь? П. П. о том, как учился в Париже. Академия Жюльена. «Стога» Моне. Сезанн — ключ. Французская живопись была и осталась реалистической — ничего религиозного. О Пикассо. Художник — это форма, цвет плюс мысль».

Мы поздно засиделись. Петр Петрович увлекся, и я как-то ожил — почувствовал, что кроме «душегубок», развалин, сводок есть на свете природа, цветы, хлеб, искусство.

Познакомился я с Кончаловским в двадцатые годы, но по-настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле, это меня притягивало к нему. Я заметил, что устойчивость присуща либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало.

Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным — движения, чувства, мазки на холсте. Я сказал о его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку — он не был ни обязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне час-

то приводилось слышать, что он писал не задумываясь, как светит солнце или как цветет его любимица сирень. А это неверно: Кончаловский был человеком глубокой мысли, он не только работал, он и шутил умно; в жизни он знавал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было нетрудно огорчить — он обладал чувствительностью художника, а вот повалить его не удалось никому, хотя были люди, которые об этом мечтали.

Я расшифрую короткую запись, с которой начал рассказ о Кончаловском. О Париже мы говорили часто: Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника. Когда ему было восемнадцать или девятнадцать лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жюльена была чем-то вроде московской гимназии Креймана — ее выбирали молодые художники потому, что там не было муштры, которая изводила всех в Государственной художественной школе; а профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменитостями академического направления. Вспоминая академию Жюльена, Кончаловский смеялся: «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вийяр, Матисс. Рядом со мной сидел Глез, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дерен. Матисс мне рассказывал, что его учитель, кажется, он назвал Бугеро, в свое время знаменитость, сказал ученику: «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать. Лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоранс, его картины висели в Люксембурге — огромные батальные сцены, у нас он был бы трижды сталинским лауреатом. Однажды он меня похвалил. Я встревожился и понял, что делаю дрянь. Впрочем, потом, в петербургской школе, я жалел даже о Лорансе...»

Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня, порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись: «Это были восхитительные «Стога» Клода Моне. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Моне. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было... В 1891-м...» Вот тогда-то я про себя усмехнулся: в тот самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под восемьдесят, он не только просиживал над холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал с внуками.

Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова, Коровина, относился к ним с глубоким

3 Зак. 92

уважением, но считал, что эпоха изменилась, изменилось и зрение, он искал свой путь или, как он любил говорить, «метод». Он увидел Ван Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество в Арль, был счастлив, что может купить краски в лавочке, куда приходил Ван Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, исступленным Ван Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским; но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван Гога: «Я постоянно питаюсь природой. Иногда преувеличиваю, изменяю все данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскрытия».

Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался: перевел с французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывания Сезанна о живописи.

Кончаловскому было тридцать четыре года, когда на первой выставке «Бубнового валета» его работы вызвали одобрение одних, издевку других.

Я заглянул в том Большой Советской Энциклопедии, изданный в 1951 году, и нашел там строки, посвященные «бубнововалетцам»: «Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма. Выступая врагами идейности и реализма, порывая с высокими традициями искусства прошлого (отсюда вызывающее, крикливое название объединения), «бубнововалетцы» маскировали свои реакционные позиции требованием «новой» формы. Однако их космополитическое «новаторство» сводилось к подражанию П. Сезанну и А. Матиссу». Правда, буква Б — вторая в азбуке, будь она тридцать второй — о «Бубновом валете» были бы строки несколько более грамотные. Однако если теперь восстановлены некоторые истины в истории архитектуры, литературы или музыки, то с живописью дело обстоит хуже. «Бубнововалетцы» умерли, но к их картинам пришиты волчьи билеты, выданные людьми, сведущими в чем угодно, только не в искусстве.

Энциклопедия, обличая «Бубновый валет» и назвав в списке виновных Кончаловского, указывает даты —1910 — 1926. Это, на мой взгляд, самая яркая эпоха в творчестве Кончаловского.

Я не могу никак привыкнуть к тому, как порой мы пренебрегаем достижениями нашего искусства. Недавно я был в фондах Третьяковской галереи (попасть туда нелегко, но

говорят, что и в рай не каждый вхож). В тесных темных коридорах хранятся замечательные картины, относящиеся к годам расцвета русской и советской живописи: холсты Кончаловского, Лентулова, Машкова, Сарьяна, Шагала, Фалька, Ларионова, Рождественского, Гончаровой, Куприна. Я вспоминаю натюрморты, портрет Якулова, мост через Нару и другие работы Кончаловского эпохи «Бубнового валета». При чем тут империализм? (Можно, кстати, добавить, что французский империализм никогда не вдохновлялся Матиссом, как Матисс никогда не вдохновлялся французским империализмом.) Официальная Россия встретила выставки «бубнововалетцев» издевками, улюлюканьем, а благожелательно к ним отнеслись такие «сторонники империализма», как Луначарский и Маяковский. Конечно, название «Бубновый валет» довольно бессмысленно, но в те времена были в ходу нелепые наименования. («Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Дюфи, Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи.)

Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты «бубнововалетцев» и обрадовался. В Париже я знал о новой русской живописи только по статьям «Утра России» или «Русского слова» и думал, что «бубнововалетцы» слепо подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор.

Конечно, Кончаловский, как все «бубнововалетцы», многому научился у Сезанна, но может ли художник XX века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений, но вряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты, светлость, глубину русского характера, а учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искусства. Я хорошо помню вывески в наших дореволюционных городах: парикмахер мылит щеки клиента, турок курит трубку, разрезанные арбузы окружены гроздьями винограда. Кончаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года «Хлебы» он написал после того, как увидел вывеску с головами сахара. Он рассказывал также, что, когда после поездки в Испанию стал писать бой быков, думал о старых троицких игрушках.

Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его хол-

сты выставили в Париже, некоторые критики говорили о «грубости», «стихийности»: они не поняли, что перед ними — выражение иного характера, иной природы, иных традиций.

Осенью 1944 года Петр Петрович с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров; это может удивить — ведь люди, которые в течение десятилетий его «прорабатывали», делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую — иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто «фотография служит подспорьем». Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт «Хлебы» в 1912 году: «Я подвесил шутки ради настоящий калач на нитке, под цвет фона, долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности». Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи «Бубнового валета» (конечно, без подвешенного калача) остается воплощением «примитивизма», «формалистических кривляний» и «антиреализма».

Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь; это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым; много ездил по свету, много работал — написал тысячу семьсот холстов; всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике; был у него дом в Буграх, сад с сиренью, гости — он был большим хлебосолом; с женой Ольгой Васильевной жил душа в душу, обожал детей, внучат; ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками — с А. Толстым, с С. Прокофьевым, с Пикассо, с Мейерхольдом; умер в восемьдесят лет и почти до самого конца сохранял бодрость; любил родину, видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так, жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она скорее иллюзорна, нежели реалистична.

Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством; об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Париж и продал там несколько работ, он накупил красок весом семьдесят килограммов: не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самое важное — холсты, путь живописца.

Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло, — достаточно вспомнить мытарства Лентулова, Фалька, Татлина, Древина, Удальцовой. Кончаловский стал академиком; периодически устраивались его персональные выставки. Опять скажу: все это так и не так.

Среда, естественно, влияет на художника или писателя; нужно обладать фанатическим упорством Фалька, чтобы не поддаться похвалам и хулам, премиям и проработкам, докладам, книгам отзывов, диспутам («диспуты» в те времена состояли в одном — все хвалили или все ругали). Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, тем-то поступился. Мне кажется, что с начала тридцатых годов в некоторых работах Кончаловского проступает иллюзорное сходство с природой. А он не халтурил, работал честно и много; но, по его признаниям, прежнего «полного удовлетворения» не было.

Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил: «Пикассо выше всех» — и мудро объяснял другим, почему Пикассо — великий реалист нашего века.

Ему устраивали юбилеи, присудили премию, но художники, которые в те времена ведали искусством, его едва терпели.

Вот слова из записной книжки Кончаловского: «Пушкин в письме к брату, Льву Сергеевичу, писал 14 марта 1825 года: «У нас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос «Один сижу в компании»...» И у нас ересь! Говорят, в живописи живопись не главное! Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток — живопись, увлечение живописью, хотя тут же указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи — живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природа искусства».

Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему «иллюзорного сходства» (так он говорил). Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюрмортах, и в удивительно молодом «Полотере», которого Петр Петрович написал в 1946 году.

...Он оставил много прекрасных холстов и все же, мне думается, не дал того, что мог бы дать при огромном таланте, высокой культуре, редкой работоспособности, — путались в ногах «еретики», блюстители иллюзорного реализма навешивали на большие, крепкие ноги далеко не иллюзорные пудовые гири.

Характер у Петра Петровича был чудесный; он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее, говорила: «Я — сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором...»

Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников: «Он ведь был за границей — примчался — снял лучшие работы — и «Полотера», и «Буйвола», и ранние «испанские» холсты. А сейчас будет выступать — приветствовать...» Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко.

В 1949 году я был в Тамбове; сотрудница музея рассказала мне, что приключилось с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что «безыдейная» сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцену из заводской жизни. Неожиданно рабочие запротестовали: «Оставьте нам нашу сирень!»

Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу и увидел в его глазах слезы. Он тихо сказал: «Вот это — награда...»

Многие прекрасные работы Кончаловского и теперь можно увидеть только в раю, куда очень трудно проникнуть. Непонятно. Издают ранние стихи Маяковского, произведения Хлебникова, а картины покойного академика и лауреата, отнюдь не абстрактные — каждый разберет, что именно на них изображено, — старательно скрыты от глаз посетителей.

Конечно, пройдет год, два — и лучшие вещи Кончаловского переедут в музейные залы. А для друзей, знавших и любивших Петра Петровича, он остается в памяти необычайно живым, зеленым пятном среди пустыни: повалить его все-таки не удалось.

23

В этой книге я пытаюсь рассказать о людях, которых я встретил в жизни и — одних лучше, других хуже — узнал. Сейчас мне хочется рассказать о девушке, которой я никогда не видел.

Вскоре после моего возвращения из Вильнюса ко мне в гостиницу «Москва» пришла В. В. Константинова, преподавательница, жившая в Кашине; она рассказала, что ее дочь Ина была партизанкой и погибла в марте месяце. Вера Васильевна попросила меня прочитать дневник Ины. Я положил школьные тетрадки в ящик стола и вспомнил о них только два месяца спустя — было много газетной работы. Начав читать дневник, я не мог от него оторваться.

Дневник начинался с 1938 года — Ине тогда было четырнадцать лет; она записывала свою жизнь в течение четырех лет; это раннее утро жизни. Читая, я невольно вспоминал мои школьные годы: похоже и не то, детство оставалось детством, но изменилась эпоха.

После войны мне захотелось навестить Константиновых. Я побывал в Кашине. Это небольшой город Калининской области; там мало заводов, большая базарная площадь, старые церквушки, деревянные домики. В одном из таких домиков жили Константиновы; и Александр Павлович и Вера Васильевна были педагогами; кроме Ины, у них была вторая дочь — Рена, младшая.

Ина с детства много читала, но она любила и проказы, игры в «свадьбу», в «бутылку-указку», в «американку», танцы, любила кататься на коньках, ухаживала за кошками, за щенками, работала в саду. Отличницей она не была и часто угрызалась, получая плохие отметки («Математика мне всю жизнь портит»), старалась наверстать потерянное. Ничего в ней не было болезненного, экзальтированного, исключительного.

У нее была подруга детства Люся, с нею Ина делилась всем и, когда родители увезли Люсю в Магадан, страдала, что некому поверить свои тайны. Однако она отнюдь не была замкнутой, дружила со многими, всегда находила в товарищах хорошие стороны. Она училась в восьмом «А», попала в девятый «Б» и сразу подружилась с Таней и Леной. В детдоме, куда она часто ходила, ей нравились Валя Амбражунас и Оля Руманова. «Вообще мне в этом году везет на людей. Максим с Федором, Аленка, Таня Волкова — все чудные, славные, хорошие. Вот жаль только, что Люся уехала». «Лидочка Кожина. Какая она прелесть. Идеаль-

ная девушка. Красивая, умная, отлично учится, прекрасный товарищ». «Подружилась с Кларой Калининой». Когда началась война, Ина пошла в санитарную дружину, работала в госпитале. «Ростовчанин Заславский, молодой, ранен в ногу, плечо и голову. Славный он человек и патриот». В школу поступили новые ученики: «Москвич Женя Никифоров и Рэм Меньшиков, ленинградец. Чудесные, милые ребята». «Саша Куликов, кажется, останется у нас. Хорошо бы! По-моему, он прекрасный мальчик, умный, начитанный». В ноябре 1941 года — эвакуация. Ина попадает в далекий город, в чужую школу; два месяца спустя ей уже жалко расставаться с новыми друзьями — с Людой, Геркой, Галей, Вовкой. В июне 1942 года Ина становится партизанкой; ее посылают в тыл врага. Она говорит о первом своем начальнике: «Каких чудесных людей ставит судьба на моем пути! Он умный, чуткий, тонкий!» О комиссаре Абрамове: «Удивительно интересный человек, такой образованный и тоже... тонкий (это мое выражение, я-то его хорошо понимаю)». Вот ее товарищи по партизанскому отряду: «Гриша Шевачев. Высокий, худой, еврейского типа мальчик... славный парень. Игорь Глинский. Чудесный мальчишка... поразительное чувство юмора. Умный, начитанный... Макаша Березкин. Ну, прелесть!.. Всегда весел, всегда улыбается. Не отказывается ни от какого дела...» Потом она пишет сестре: «Зоя была моей лучшей подругой. Замечательная девушка! И она погибла геройской смертью. Именно геройской. Погибло много замечательных людей. Самыми близкими я считаю Зою, комбрига Арбузова, радиста Геньку, Игоря Глинского и Гришу Шевачева. И вот из их остался только Игорь». В отряде был пятнадцатилетний Вадик Никоненок. Девушки удивленно спрашивали Ину: «О чем ты с ним разговариваешь?» Она отвечала: «А он такой интересный...»

Она была веселой, прыскала, как и полагается девчонке. «У Феди Германа на щеке были две замечательные кляксы. Я как их увидела, так уж успокоиться не могла, чуть не до слез хохотала... И вдруг меня вызывают. Я даже не знаю, что и отвечать. Кое-как по подсказкам ответила и получила «хорошо». Но среди ответа вдруг меня такой смех разобрал, я не удержалась и фыркнула на весь класс. Так нехорошо получилось...» «Сегодня был в пионердоме вечер, посвященный 35-летию какой-то стачки... Сначала танцевала девочка в шелковых панталонах. Затем сел на стол и провалился какой-то десятиклассник. Потом кто-то снаружи разбил стекло, и Питанов через окно стал ловить разбойника. Хохотали неимоверно...»

Ина читала много и беспорядочно. В пятнадцать лет она записывает: «Взяла Шиллера «Статьи по эстетике»... Жаль только, что я там некоторые вещи не понимаю. Нужно прочитать Канта, Гегеля и других философов, а затем уже и эту книгу». Философией, кажется, она не увлекалась. Как многие ее сверстницы, восхищалась «Мартином Иденом», плакала над «Оводом». Ее волновали самые несхожие авторы — Мамин-Сибиряк и Гайдар, Шпильгаген и Ю. Герман, Вербицкая и Андре Жид. Ина любила стихи. В шестнадцать лет ей нравился Надсон, и она отрицала Маяковского — знала его только по школьным хрестоматиям. Потом она узнала и полюбила другого Маяковского, повесила его портрет в своей комнате. Она писала, что Гейне так хорош, что мирит ее с немецким языком. Она часто повторяла стихи Блока; в старой «Ниве» нашла его ранние стихи.

Она увидела в московском музее картины старых итальянцев. «Картины современных художников, на которых физиономия не отличается от помидора и темы которых однообразны, как песчаные холмы, никогда нельзя назвать живописью. Это мазня. Современные скульптуры, в которых красота заменена динамичностью и «выразительностью», нельзя причислить к произведениям благородного искусства. Никогда не появится «Джиоконда», фрески итальянских мастеров... Никто не напишет «Божественной комедии» и «Анны Карениной». Мир теряет самое лучшее — красоту...»

В шестнадцать лет ей казалось, что виноваты в этом вкусы народа. Год спустя над этой фразой она надписала: «Неправда!», над осуждением Маяковского: «Заблуждение!»

А любовь к красоте оставалась, ее Ина никогда не считала заблуждением.

Подростки часто мечтают стать актрисами или писателями. Ина хотела учиться в юридическом институте. Потом, будучи партизанкой, она переменила планы и в 1944 году просила мать послать документы в авиастроительный институт. Я ее не вижу ни прокурором, ни авиаконструктором, но хорошо, что ее не тянуло ни в театральное училище, ни в Литературный институт, хотя, разумеется, она участвовала в школьных спектаклях и, влюбляясь, тайно писала стихи.

Влюблялась она часто, страстно и каждый раз считала — «вот это настоящая любовь». В пятнадцать лет она влюбилась в товарища по школе: «Мне стоит огромных усилий воли не сесть на скамью, откуда видно его... Я любу-

юсь им только тогда, когда он проходит мимо по коридору. Но если я замечаю на себе его взгляд, то делаю гримасу презрения. Зачем? Неужели это правда бессознательная тактика Жюльена Сореля? Не может быть! Ведь он действовал из гордости, а я люблю...»

Левушка уехал, Ина о нем тосковала. «Мама говорит, что я не его люблю, а идеал, который я создала... По-моему, нет. Ведь я вижу все его недостатки, знаю все плохие стороны и все-таки люблю. Люблю все в нем, даже недостатки». Прошло три месяца, и Ина в страхе спрашивала себя: «Я не понимаю — неужели можно любить несколько раз и всегда одинаково сильно? Только разница в том, как любить. Левочку мне хотелось чувствовать около себя, хотелось держать его руки, целовать его. А этот... Нет, совсем не то. С этим я больше всего в жизни хотела бы быть друзьями, знать, что он меня любит...» Николай, по ее словам, был к ней равнодушен. «Я танцевала с ним! Вдруг подходит он ко мне, и я пошла танцевать с ним. Я все время путалась, сбивалась, пролепетала что-то, что я не умею, и все... Я все-таки стараюсь показать, что он мне совершенно безразличен, и кажется, выходит...»

Ина узнала ревность: «Опять он провожал ее домой!» Она сердилась на себя: «В любви надо быть гордой, и если ему нравится другая, так я не хочу быть пайщиком». Но вскоре после этого поняла, что не все в жизни подчинено разуму: «Очевидно, это чувство сильнее гордости и самолюбия. Да и могут ли они существовать вместе с любовью? Нет, никогда!»

В 1940 году она подружилась с двумя одноклассниками, воспитанниками детдома — Максимом Пирушко и Федей Германом. «Они рассказали о том, как арестовали их родителей, причем так спокойно, что можно подумать, что это случилось не с ними. У Максима сначала взяли отца, а затем в поезде мать. Он даже не простился с ней. У Феди сначала мать, потом отца. Теперь обе матери в Караганде, а где отцы — неизвестно. Они, оказывается, как мы, когда особенно есть о чем поговорить, когда сильные переживания, уходят куда-нибудь, где никто не мешает, и говорят обо всем». Ине в 1937 году было тринадцать лет; беда обошла ее родителей. Мир девочки узок, а для Максима и Феди аресты невинных были будничным явлением, бытом. Легко понять, как это всполошило Ину, которую больше всего возмущала несправедливость. Федя стал ее лучшим другом. Она часто ходила в детдом. Федя показал ей фотографии отца, матери, сестры. «Вчера они ска-

зали мне самую неприятную вещь — пришел приказ из наркомата, чтобы воспитанников детдомов старше четырнадцати лет отправлять в ремесленные училища. Значит, скоро они уедут...» Она пишет дальше: «Вчера был вечер в детдоме, посвященный Дню Конституции... Когда я прихожу туда, то для меня это действительно праздник. Только там мне по-настоящему хорошо и весело... Я танцевала немножко... Но больше сидели в углу с Федей и разговаривали. Он был какой-то грустный. Как он говорит, потому что вспоминал, как три года тому назад в эти дни были арестованы его родители. На наше «tête-à-tête» обратили внимание учителя, и сегодня со мной мама говорила об этом... Думаю, что это только дружба, не больше. Но эта дружба мне очень дорога и незаменима...» «Сейчас Федя мне сказал, что у него 19 марта умерла мама. Боже мой, как это тяжело и как трудно пережить!..»

В дневнике Ины меня поражают душевная взыскательность, честность, прямота. Еще ученицей седьмого класса она ненавидела «подлиз». Она была комсомолка, входила в совет Осоавиахима. Осенью 1940 года она писала: «В нехорошее, темное, неясное время начала я эту тетрадь. Сегодня живем так, а что будет завтра — неизвестно...» Ина болезненно относилась к любой фальши; в дневнике она размышляет над несоответствием между различными трудностями, связанными с надвигавшейся войной, и неискренними, чересчур радужными речами, которые раздавались на собраниях в Кашине: «Ведь это ложь!.. Ну зачем это?.. Люси нет, и не с кем поговорить на эту тему...» В шестнадцать лет она умела думать, умела взглянуть правде в глаза и три года спустя погибла, сражаясь за правду.

В дневнике Ины много обычного, сближающего его с дневниками девочек ее возраста; есть и не столь обычное. Может быть, любовь к искусству, к поэзии придавала ей особую душевную настроенность? В четырнадцать лет она писала: «Сейчас очень тихий, не по-январски мягкий вечер. Все кажется особенно хорошим, все покрыто розовато-кремовым светом. Скоро зайдет солнце. Все должно было бы быть легким, приятным, но нет этого. Наоборот, появляется какая-то тоска. Отчего? Кажется, нет никаких видимых причин, но... Вот это «но» и мешает. Людям без него легче. Например, Лиза, Нюра — они живут настоящим, реальным миром, а я не могу. Для меня гораздо важнее мечта, фантазия. Что же делать, если я не могу жить в исключительно романтических условиях, например, в Италии или хотя бы на Дальнем Востоке, а живу в каком-

то затхлом городишке, где никаких событий...» Полгода спустя она вернулась к раздумьям о своем характере: «Я имею двойную душу. Первое «я» появляется по вечерам. Это «я» живет только будущим — мечтами. Эта душа, грустная, тоскливая, покидает меня иногда. И тогда я становлюсь современной девочкой. Тогда меня интересуют злободневные вопросы... Трудно будет мне жить с такими противоположными наклонностями в душе. Это как бы два разных человека...»

О смерти Ина впервые подумала, прочитав «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева: «Какая это жуткая вещь — чувствовать неизбежность, близость смерти! Я пробовала представить себя на их месте, но ничего не вышло. То мне казалось, что я буду спокойно ждать конца и даже не думать о нем, то казалось, что я буду кого-то умолять, бесцельно метаться».

В Кашине покончил с собой один педагог. Ина была потрясена, хотя почти не знала самоубийцы: «Какой ужас! Сейчас узнала, что отравился В. В. Жигарев, учитель из техникума... Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Как жутко сознавать безвыходность положения, видеть смерть неизбежную и близкую!»

«Луна... Снег... И тишина, тишина. Как в сказке. Когда-нибудь в такую же ночь я пойду в лес. И наступит сказка... Как мелко все то, о чем мы плачем, чему радуемся! Как бедна и прозаична наша жизнь! Есть только одно действительное событие в жизни каждого, одно, стоящее того, чтобы перед ним преклониться, — смерть, шаг в неизвестное и несуществующее».

Май 1941 года был в жизни Ины счастливым: «Мы случайно сели рядом с Мишей Ушаковым и случайно разговорились. И... и я, что называется, по уши! Ну можно ли выразить все чувства, которые внезапно возникают в такие минуты?..», «Он иногда даже странным кажется, но я люблю в нем и эту странность...», «Мы все время сидели рядом с Мишей. Провозгласили нас женихом и невестой и кричали нам «горько». Опять целовались...», «Как хорошо жить, когда за спиной у тебя шестнадцать лет и девять классов, яркое солнце и хорошие отметки, большая дружба и светлая любовь, а впереди... А впереди жизнь!». Миша читал Ине стихи Фофанова:

Все тает, надежды и годы...
И память о милом когда-то,
Как лед пробужденной природы,
Растает... уйдет без возврата.

Но могли ли эти печальные строки смутить семнадцатилетних влюбленных?

Двадцать второе июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня... Боже мой!..»

Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет... На фронт — это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!»

Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?»

Вернувшись из эвакуации в Кашин, Ина узнала, что Миша Ушаков умер от раны, полученной в бою. Она поняла (а может быть, убедила себя), что Миша был ее большой, настоящей, единственной любовью. Она подала заявление в райвоенкомат, просила отправить ее на фронт, говорила, что кончила курсы сандружинниц и «неплохо стреляет». Ответа долго не было. Ина ходила в школу, увлекалась молодыми людьми, плакала тихонько по Мише, спрашивала себя: «Когда же кончится эта проклятая война?», старалась развлечься: «Иногда танцуем под патефон. Мама называет это легкомыслием, она не может понять, как мы сейчас можем думать о развлечениях. А на самом деле хоть на минуту хочется забыться от всех ужасов... И так скупы наши развлечения, что на них не следовало бы и обижаться. Да и скоро они кончатся...»

Развлечения действительно скоро кончились: в июне 1942 года Ину послали в тыл врага. Она уехала, не сказав ничего родителям, написала из Калинина: «Я знаю — это подлость по отношению к вам, но ведь так было лучше. Я все равно не выдержала бы маминых слез...»

Сражалась она хорошо, об этом рассказывают уцелевшие товарищи; ходила в разведку, участвовала и в боях с карательными отрядами, и в «заданиях» — взрывали мосты, нападали на склады. Я не стану говорить о ее боевой жизни: героизм был в те годы буднями многих. Я переписывал отрывки из школьных дневников, чтобы показать истоки этого героизма. Многое предрешила взыскательность к себе, прямота, честность.

Однажды Ину послали как разведчицу собрать сведения о немецком гарнизоне. Когда она шла назад, гитле-

ровцы ее задержали. Офицер бил девушку по лицу, потом начал жечь сигарой ее руку. Ина молчала. За полгода до начала войны ей вырывали зуб: «Я так плакала, и сама не знаю, когда и как это кончилось. Казалось, что если боль увеличится хоть на йоту, то я сойду с ума». А когда фашист ее пытал, она молчала: «Я думала только об одном — как бы не показать свою слабость».

Она писала матери нежные, простые письма: «Иногда ночью вдруг проснусь оттого, что живо-живо представится, что ты сидишь у меня на кровати, как когда-то дома. И мне так хорошо, так тепло. Проснусь — и нет никого, и все пусто», «Мне теперь все время вспоминается домашнее, прошлогоднее. И Мишу жаль так, как, пожалуй, в прошлый год не жалела, потому что теперь я по-настоящему оценила жизнь», «Вы все-таки считаете меня чуть ли не героем. Напрасно. Я всего только советский человек».

Отец Ины, Александр Павлович, был направлен во вражеский тыл. Он встретил Ину и рассказывал мне, что, когда он назвал ее девочкой, она запротестовала: «Папа, я уже не девочка, я разведчица Второй Калининской партизанской бригады». Однако, узнав, что у отца в вещевом мешке сласти, Ина попросила: «Дай сладенького...»

Партизанка оставалась самой собой. В письме к школьной подруге Лене она рассказывала: «Безумно влюбилась в одного товарища, и он любил. А потом он погиб. Думала, с ума сойду. Ты ведь знаешь мой характер...»

Портрет Ины был бы не полным, если бы я опустил одну запись в ее дневнике. Она, как я говорил, участвовала в боях, стреляла из автомата; это казалось ей легким. Она записала в дневник, как расстреливали предателя-старосту: «Держался он твердо. Ни слова не сказал. Только концы пальцев чуть дрожали. И умер он спокойно. Стреляла в него Зойка. И рука не дрогнула. Молодец! А мне было чего-то жутко. Чувствовала себя отвратительно».

В ночь на 4 марта 1944 года несколько партизан спали в лесной землянке. Перед рассветом часовой разбудил их: «Немцы!» Ина поняла, что всем уйти не удастся. Она крикнула товарищам: «Уходите!» — и, встав на колено, стала стрелять из автомата. Она погибла в том снежном лесу, под звездами, о котором писала три года назад. Ей не было и двадцати лет.

Я написал об Ине вскоре после того, как прочитал ее дневник. После войны дневник издали — чуть приглаженный: не хотели, чтобы героиня говорила об изнанке жизни, а это яснее показывает ее верность, душевное муже-

ство. В этом, как и во многом другом, она была — повторяю ее слова — «советским человеком»: она многим до войны возмущалась, а в трудный час пошла защищать советскую землю.

Я дал дневник Ины Э. Ю. Триоле, она его перевела на французский язык. Вышли переводы и в других странах.

В 1958 году при автомобильной катастрофе погибла мать Ины. А отец живет в том же деревянном домике с Реной, со внуком, мальчик уже ходит в школу. Недавно я видел Александра Павловича, и, конечно, мы снова говорили об Ине. Мне кажется, что я ее знаю лучше, чем некоторых людей, с которыми прожил долгие годы, не только потому, что она умела хорошо исповедоваться в дневнике, но и потому, что мне душевно близка эта девочка или девушка, с которой я встретился только после ее смерти. Прежде открывали материки, острова, скоро, наверно, начнут открывать планеты, но для писателя во все времена было и будет самым важным открытие человеческого сердца. Вот почему я включил рассказ об Ине Константиновой в книгу, посвященную моей жизни: Ина помогла мне многое еще раз проверить в трудное время, когда война вытаптывала в человеке все, что мы обычно называем человеческим.

Мне кажется, что короткая жизнь Ины помогает понять, почему советские люди выдержали испытание и победили. Это исповедь поколения, которое было скошено раньше, чем успело всколоситься. И вместе с тем, как это ни звучит странно, рассказывая о некоторых сторонах душевной жизни Ины, я говорю и о себе.

24

В 1944 году один из военных корреспондентов «Красной звезды» писал обо мне: «На забрызганном грязью «виллисе» ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто, в меховой штатской шапке, с сигарой. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни секунды не стараясь скрывать то обстоятельство, что он глубоко штатский человек».

Когда в конце января я сказал генералу Таленскому, что хочу поехать в Восточную Пруссию, он улыбнулся: «Только придется вам надеть форму, а то, чего доброго, вас при-

мут за фрица». Звания у меня не было, и новенькая офицерская шинель без погон выглядела на мне, пожалуй, еще смешнее, чем мешковатое коричневое пальто. Впрочем, об этом я подумал только тогда, когда немцы начали меня упорно именовать «господином комиссаром».

Наши войска быстро продвигались на запад, оставляя позади островки, в которых держались окруженные гитлеровцы. В городе Бартенштейн еще горели дома; рядом были немецкие позиции. Я встретил генерала Чанчибадзе; он усмехался: «Это не Ржев...» Говорил, что солдаты рвутся вперед, жаловался: мало снарядов. (Немцы продержались в том «котле» еще два месяца.) В Эльбинге, когда я туда попал, продолжались уличные бои, хотя накануне сводка сообщала о взятии города. Враг порой поспешно отступал, порой отчаянно сопротивлялся. Мины были заложены повсюду — в зданиях школ, в крестьянских амбарах, в магазинах обуви. Генерал кричал в телефон: «Слушай, прибавь огонька — он, черт, огрызается...» А солдат рассказывал о товарище: «Говорил: «Фрицы выдохлись», — а дня не прошло — я его притащил в санбат, посмотрели и говорят: «Поздно»...»

Все понимали, что дело идет к концу, но никто не был уверен, что до него доживет. В начале февраля погода резко изменилась — пришла ранняя весна, на солнце было тепло, в брошенных садах зацветали подснежники, лиловые крокусы. Близость развязки делала смерть особенно нелепой и страшной.

От мысли, что мы продвигаемся в глубь Германии, у меня кружилась голова. Я столько писал об этом, когда гитлеровцы были на Волге, а теперь я ехал по хорошей гладкой дороге, обсаженной липами, глядел на старый замок, на ратушу, на магазины с немецкими вывесками, и все не верилось: неужели мы в Германии? Как-то повстречался я со старыми друзьями — тацинцами. Мы долго, улыбаясь, бессмысленно повторяли: «Вот, значит, где...»

Почти у каждого было свое горе: погибли два брата, сожгли дом и угнали сестер в Германию, убили мать в Полтаве, всю семью замучили в Гомеле — ненависть была живой, не успевшей притихнуть. Бог ты мой, если бы перед нами оказались Гитлер или Гиммлер, министры, гестаповцы, палачи!.. Но на дорогах жалобно скрипели телеги, метались без толку старые немки, плакали дети, потерявшие матерей, и в сердце подымалась жалость. Я помнил, конечно, что немцы не жалели наших, все помнил, но одно дело фашизм, рейх, Германия, другое — старик в

нелепой тирольской шляпе с перышком, который бежит по развороченной улице и машет клочком простыни.

В Растенбурге красноармеец яростно колол штыком девушку из папье-маше, стоявшую в витрине разгромленного магазина. Кукла кокетливо улыбалась, а он колол, колол. Я сказал: «Брось! Немцы смотрят...» Он ответил: «Гады! Жену замучили...» — он был белорусом.

В том же Растенбурге комендантом города назначили майора Розенфельда. Гитлеровцы убили его семью. А он делал все, чтобы оградить население немецкого города. Он оставил меня ночевать. В доме богатого фашиста на стене висела любительская фотография: дочь хозяина подносит букет Гитлеру. Местные жители рассказывали, что в этом доме останавливался фюрер, когда приезжал в Восточную Пруссию. Майор Розенфельд горевал, что его оторвали от полка, но работал чуть ли не круглые сутки. При мне к коменданту привели маленькую девочку — родители погибли. Майор ласково и печально глядел на нее, может быть, вспоминал свою дочку. Сколько раз он, наверно, повторял про себя слова о «священной мести», а в Растенбурге понял, что это была абстракция и что рана в его сердце не заживет.

Радость победы и здесь смешивалась с той печалью, которая неизменно рождается, когда видишь войну — не на полотне баталиста, не на экране, а под носом: расщепленные дома, пух от перин, беженцы, узлы, недоеные коровы, а чей-то долгий пронзительный визг застревает надолго в ушах.

Некоторые города были разбиты артиллерией; в Крейцбурге уцелела только тюрьма; среди развалин Велау я не нашел ни одного немца: все убежали. Другие города уцелели; в Растенбурге жители очищали улицы от обломков мебели, разломанных телег. В Эльбинге оказалось шестьдесят тысяч человек — треть населения осталась.

Восточная Пруссия издавна считалась самой реакционной частью Германии. Здесь было мало заводов, мало рабочих; зажиточные крестьяне голосовали за Гинденбурга, потом дружно кричали «хайль Гитлер». Помещики были подлинными зубрами, любая либеральная поблажка казалась им оскорблением родовой чести. В городах жили коммерсанты, чиновники и адвокаты, врачи, нотариусы, люди интеллигентских профессий, которых трудно причислить к интеллигенции. Дома были чистыми, благоустроенными, с мещанским уютом, с рогами оленей в столовой, с вышитыми сентенциями о том, что «порядок в доме —

порядок в государстве» или что «трудись — и увидишь сладкие сны». В кухне стояли фаянсовые банки с надписями «соль», «перец», «тмин», «кофе». На полке красовались книги: Библия, стихи Уланда, иногда том Гёте, доставшиеся в наследство, и десяток новых изданий — «Майн кампф», «Поход на Польшу», «Расовая гигиена», «Наша верная Пруссия». В таких городах, как Растенбург, Летцен, Тапиау, не было городских библиотек. В Бартенштейне мне сказали, что здание музея невредимо. Я всполошил коменданта: «Сейчас же поставьте охрану». Пошел в музей, и стало не по себе: кроме чучел животных, там были весьма однообразные экспонаты — огромный портрет Гинденбурга, карта военных действий в 1914 году, трофеи — погоны русского офицера, фотография разрушенной Варшавы, портреты местных благотворительниц.

Наши солдаты разглядывали обстановку. Один, помню, усмехнулся: «В такой берлоге можно жить». Другой выругался: «Сволочи, жили хорошо, чего они к нам полезли? Ты посмотри, ведь полотенца наши», — он показал на вышитые украинские полотенца в нарядной кухне.

Я ужинал в Эльбинге у командира корпуса генерала Г. И. Анисимова, когда прибежал лейтенант: «Разрешите доложить?» Лейтенант сказал, что в одном из подвалов обнаружены тридцать — сорок человек, которые отказываются выйти наружу, кричат, что они швейцарцы, и требуют, чтобы их оставили в покое. Недоразумение вскоре выяснилось — к генералу привели человека в костюме, перепачканном углем, давно не бритого, который представился: «Карл Бренденберг, вице-консул Швейцарии». Оказалось, в Эльбинге проживало довольно много швейцарцев, они здесь обосновались как специалисты по изготовлению сыров. Генерал приказал напоить и накормить голодного вице-консула, а потом вывести всех швейцарских граждан из подвала. Меня удивило, что охранная грамота, которую нейтральный сыровар предъявил, была написана на русском языке и выдана швейцарским правительством осенью 1944 года. Вице-консул объяснил: «В Берне предвидели события. — И, чуть усмехнувшись, добавил: — В Берне, но не в Эльбинге...»

Генеральный викарий жаловался мне, что при Гитлере немцы растеряли веру (о том же говорили и два пастора). Мне же казалось, что они просто сменили предмет культа. Непогрешимость папы перестала интересовать католиков, зато они свято верили в непогрешимость фюрера. Вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию застало жите-

лей врасплох: они верили не только Гитлеру, но и его помощникам, а гаулейтер Эрих Кох еще в начале января писал: «Русские никогда не прорвутся в глубь Восточной Пруссии — за четыре месяца мы вырыли окопы и рвы общим протяжением 22 875 километров». Цифра успокаивала. В Либштадте я нашел незаконченное «свидетельство об арийском происхождении» — 12 января некто Шеллер, решив жениться, заполнил анкету о своих предках, но не успел представить справку об одном из дедов: 26 января в Либштадт вошли советские танки.

В 1944 году я часто спрашивал себя: что произойдет, когда Красная Армия войдет в Германию? Ведь Гитлеру удалось убедить не отдельных изуверов, а миллионы своих соотечественников, что они — избранная нация, что плутократы и коммунисты, объединившись, лишают талантливых и трудолюбивых немцев жизненного пространства и что на Германии лежит великая миссия установить в Европе новый порядок. Я помнил некоторые разговоры с пленными, дневники, которые поражали не только жестокостью, но и культом силы, смерти, помесью вульгарного ницшеанства и воскресших суеверий. Я ждал, что население встретит Красную Армию отчаянным сопротивлением. Повсюду я видел надписи, сделанные накануне прихода наших войск, проклятия, призывы к борьбе: «Растенбург всегда будет немецким!», «Эльбинг не сдастся!», «Граждане Тапиау помнят о Гинденбурге. Смерть русским!». Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции «вервольфов»; я спросил капитана, занятого пропагандой среди войск противника и, следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое «вервольф»; он ответил: «Фамилия генерала; кажется, он сражался в Ливии...» Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал: «В древних германских сагах вервольф обладает сверхъестественной силой, он облачен в волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое». В Растенбурге я нашел школьную тетрадку, какой-то мальчик написал: «Клянусь быть вервольфом и убивать русских!» Но в том же Растенбурге не только подростки или старики, но и застрявшие жители призывного возраста вели себя как пай-дети. Гитлеровцы изготовили маленькие кинжалы с надписью на клинке: «Все для Германии». В инструкции говорилось, что эти кинжалы помогут немецким патриотам бороться с красными захватчиками. Я взял такой кинжал, он мне служил консервным ножом. А про заколотых крас-

ноармейцев я не слыхал. Все это было разговорами, фантазией Геббельса, зловещей фашистской романтикой. Конечно, среди гражданского населения были не только безобидные старики и ребята, были и волки, но, в отличие от мифических вервольфов, они предпочитали временно нарядиться в овечью шкуру и аккуратно выполняли любой приказ советского коменданта.

Я побывал в десятках городов, разговаривал с разными людьми: с врачами, нотариусами, учителями, крестьянами, трактирщиками, портными, лавочниками, токарями, пивоварами, ювелирами, агрономами, пасторами, даже с одним специалистом по изготовлению генеалогических деревьев. Я искал ответа у католика-викария, у профессора Марбургского университета, у стариков, у школьников — хотел понять, как они относятся к идее «народа господ», к мечте о завоевании Индии, к личности Гитлера, к печам Освенцима. Повсюду я слышал то же самое: «Мы ни при чем...» Один говорил, что он никогда не интересовался политикой, война была бедствием, Гитлера поддерживали только эсэсовцы; другой уверял, что на последних выборах в 1933 году он голосовал за социал-демократов; третий клялся, что был связан со своим шурином, который коммунист и участвует в Ганновере в подпольной организации. Возле Эльбинга, в селе Хоэнвальд, один немец поднял кулак, приветствуя «господина комиссара»: «Рот фронт!» В его доме нашли альбом любительских фотографий: вешают русских, возле виселицы доска с крупной надписью: «Я хотел зажечь лесопилку, подсобник партизанов»; еврейские женщины со звездами на груди ждут в вагоне расстрела. Находка не заставила мнимого «ротфронтиста» примолкнуть, он продолжал говорить о своей борьбе против нацистов: «Эти фото оставил неизвестный штурмовик, который, наверно, приходил к моему брату, мой брат был очень наивным, его убили на Восточном фронте, а я воевал в Голландии, во Франции, в Италии — в России я не был. Можете мне поверить: в душе я коммунист...»

Конечно, среди сотен людей, с которыми я беседовал, были и такие, что говорили искренне, но я не мог отличить их от других — все повторяли одно и то же. Я в ответ вежливо улыбался. Пожалуй, наиболее искренним мне показался пожилой немец, который возвращался с запада в Прейсиш-Эйлау, он сказал: «Герр Шталин хат гезигт, их гее нах хаузе» («Господин Сталин победил, я иду домой»).

Люди, с которыми я разговаривал, вначале отвечали, что они ничего не знали об Освенциме, о «факельщиках», о сожженных деревнях, о массовом уничтожении евреев; потом, видя, что ничто непосредственно им не угрожает, признавались, что отпускники о многом рассказывали и осуждали Гитлера, эсэсовцев, гестапо.

Третий рейх, еще недавно казавшийся незыблемым, рухнул сразу, все (на некоторое время) схоронилось, залезло в щели — упрощенное ницшеанство и разговоры о превосходстве немцев, об исторической миссии Германии. Я видел только желание спасти свое добро да привычку пунктуально выполнять приказы. Все почтительно здоровались, старались улыбнуться. В районе Мазурских озер моя машина завязла; откуда-то прибежали немцы, вытащили машину, наперебой объясняли, как лучше проехать дальше. В Эльбинге еще стреляли, а корректный упитанный бюргер проявил инициативу — принес складную лесенку и переставил на больших часах стрелку на два вперед: «Они идут замечательно, сейчас три часа двенадцать минут по московскому времени...»

Комендантом города назначили строевого офицера, и, конечно, он не был специально подготовлен для такого рода должности. Расклеивали стереотипное объявление — правила. Один наш комендант, смеясь, говорил: «Я и не прочитал, что там написано, а они изучили от первой буквы до последней — что можно, чего нельзя. Часа не прошло, как начали приходить: один спрашивает, может ли забраться на крышу и залатать дыру, другой — куда ему доставить русскую работницу, она лежит больная, третий ябедничает на соседа...»

В Эльбинге я увидел необычайную очередь: тысячи немцев и немок, старухи, маленькие дети жаждали проникнуть в тюрьму. Я обратился к одному, на вид самому миролюбивому: «Зачем вам здесь стоять на холоду? Покажите мне город, вы, наверное, знаете, в каких кварталах еще стреляют...» Он вначале сетовал — потерял свое место в очереди, говорил, что тюрьма теперь самое безопасное место: русские, наверно, поставят охрану и можно будет спокойно переждать; он несколько успокоился, только когда я обещал вечером его доставить в тюрьму. Это был вагоновожатый трамвая. Я его не спрашивал о Гитлере — знал, что́ он ответит. Он рассказал, что его дом сгорел, он едва успел выскочить в одном пиджаке. День был холодный. Мы проходили мимо магазина готового платья, на улице валялись пальто, плащи, костюмы. Я сказал, чтобы

он взял себе пальто. Он испугался: «Что вы, господин комиссар! Это ведь трофеи русских...» Я предложил ему выдать письменное удостоверение; подумав, он спросил: «А у вас есть печать, господин комиссар? Без печати это не документ, на слово никто не поверит».

По Растенбургу меня водил мальчик Вася, которого немцы пригнали из Гродно. Он рассказал, что работал в доме богатого немца, на груди у него была бирка, все на него кричали. Теперь он шел рядом со мной, и встречные немцы учтиво его приветствовали: «Добрый день, господин Вася!»

Позднее в западногерманской печати много писали о «русских зверствах», стремясь объяснить приниженное поведение жителей естественным ужасом. По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в нашей стране красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить — мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа — в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия. Не произволом русских солдат следует объяснить угодливость гражданского населения, а растерянностью: мечта рухнула, дисциплина отпала, и люди, привыкшие шагать по команде, заметались, как стадо испуганных овец. Я радовался победе, близкому концу войны. А глядеть вокруг было тяжело, и не знаю, что меня больше стесняло — развалины городов, метель из пуха на дорогах или приниженность, покорность жителей. В те дни я почувствовал, что круговая порука связывает свирепых эсэсовцев и мирную госпожу Мюллер из Растенбурга, которая никого не убивала, а только получила дешевую прислугу — Настю из Орла.

Глядя на улыбки обывателей Растенбурга или Эльбинга, я не чувствовал злорадства, во мне смешивались брезгливость с жалостью, и это порой отравляло то большое счастье, которое я испытывал, видя наших солдат, прошедших с боем от Волги до устья Вислы. Отдыхал я, беседуя с освобожденными людьми — с советскими девушками, с гражданами и солдатами порабощенных Гитлером стран. В Бартенштейне мне довелось быть свидетелем редкостной встречи: один боец, смоляк, среди освобожденных советских женщин нашел свою сестру с двумя детьми — одиннадцати и девяти лет. Еще недавно эта женщина рыла

те рвы, которыми хвастал Эрих Кох. Она ничего не могла вымолвить, только плакала: «Вася!.. Васенька!..» А старший мальчик восхищенно разглядывал две медали на груди дяди Васи.

Кого только не привелось мне встретить! Среди освобожденных были люди разных стран, разных профессий: французы-военнопленные, бельгийцы, югославы, англичане, несколько американцев, студент из Афин, голландские актеры, чешский профессор, австралиец-фермер, польские девушки, священники, экипаж норвежского парусника. Все кричали, шутили, не знали, как выразить свою радость.

Французы раздобыли немецкие велосипеды и катили на восток — им хотелось поскорее вернуться домой. Среди них всегда находился человек, умевший хорошо стряпать, и, зарезав барана, они устраивали пир, приглашали наших солдат, пели, балагурили, смешили даже невозмутимых англичан.

В плену все научились немного говорить по-немецки, бельгиец рассказывал чеху, что он пережил, а югославы и англичане обсуждали, как теперь быть с Германией. Здесь было куда легче договориться, чем на Ялтинской или Потсдамской конференции: люди понимали друг друга.

В Эльбинге, в бараках, где содержались военнопленные, я видел правила, напечатанные на десяти языках. В районе Мазурских озер французы должны были рубить лес и строить военные укрепления. В имении фон Дингофа работали французы, русские, поляки — сто пять душ. Железнодорожник Чудовский из Днепропетровска подружился с марокканцем, научил его немного говорить по-русски. В маленьком захолустном Бартенштейне каждая семья, имеющая троих детей, получала работницу — русскую или польку. Одна фермерша мне говорила, что она жила скромно, у нее работали только одна украинка и один итальянец; за них она вносила шестьдесят марок в «арбейтсамт». Теперь это известно всем, а тогда это меня потрясало: воскресили рабство античного мира, но вместо Еврипида — Бальдур фон Ширах, а вместо Акрополя — Освенцим.

Француз, военный врач, рассказал, что неподалеку от их лагеря был другой, где держали советских военнопленных. Началась эпидемия тифа. Гитлеровский врач говорил: «Лечить их нечего, все равно умрут...» Каждый день зарывали умерших. «Я видел, — говорил француз, — как вместе с трупами зарывали еще живых, вспомнить не могу без ужаса...»

В Бартенштейне наши саперы нашли в кухне тетрадку — это был дневник русской девушки. Тетрадку я увез. В ней были простые и поэтому убедительные записи: «26 сентября. Воспользовалась тем, что ее нет, и навела радио на Москву. Харьков наш! Я потом весь день плакала от радости. Говорю себе: дура, ведь наша берет, и плачу, плачу. Вспомнила Петю. Где он теперь, жив ли? Может быть, забыл меня? Все равно, лишь бы жил! Я знаю, что мне не дожить до свободы. Но теперь я наверно знаю, что наши победят... 11 ноября. Мой день рождения. Вспомнила, как приходили Таня и Ниночка. Мы пили чай с пирожными, спорили о книгах. Таня расхваливала своего И. Думала ли я, что буду выносить ее ночные горшки и выслушивать насмешки!..»

Не знаю, как звали девушку, не знаю, дожила ли она до свободы, что с нею приключилось потом, но я не мог без восхищения глядеть на людей, воистину освобождающих человеческие души, и невыносимо грустно было думать о погибших в киевском окружении, под Ржевом, у Сталинграда.

В Гутштадте я заночевал, утром собирался поехать дальше. Командующий дивизией уговаривал меня, чтобы я задержался, пообедал. Он сказал, что мне необходимо посмотреть на старинный монастырь. Я уступил. Вместо монастыря я увидел развалины: по монастырю била артиллерия. На земле валялась груда книг — маленьких, в кожаных или пергаментных переплетах, я видел такие в других городах: молитвенники, Псалтыри, Библии, труды отцов церкви. Я хотел было уйти, как, сам не знаю почему, наклонился и поднял маленькую книжицу. Я обомлел — первое собрание стихов Ронсара, изданное в Париже в 1579 году! Второй том, третий, четвертый... Стихи одного из друзей Ронсара — Реми Белло. Томик произведений Лукиана во французском переводе. (Лукиана я потом подарил Я. З. Сурицу, а Ронсара и Белло берегу.) На первой странице отметка: такой-то купил там-то, заплатил столько-то. В XVI веке монахов, которые чрезмерно любили женщин и вино, посылали в отдаленные монастыри, на окраину католического мира. Естественно, что человек, которому нравились стихи Ронсара и сатиры Лукиана, не был аскетом. Вероятно, когда провинившийся монах умер в забытом всеми Гутштадте, его книги попали в монастырскую библиотеку — немцы не разобрали, что это за книги; в них никто не заглядывал, и они изумительно сохранились.

В машине я раскрыл томик Ронсара и снова обомлел — раскрыл как раз на той поэме, отрывки из которой вставил в «Падение Парижа» — их читает Жаннет Дессеру:

Признает даже смерть твои владенья,
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля...

Все было несовместимо: развалины, танки, санбат и Ронсар, любовь, Елисейские поля — не парижские, другие, те, о которых писал Пушкин: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах...»

Две недели спустя, возвращаясь в Москву, в Вильнюсе я рассказывал Ю. И. Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу: «Теперь скоро конец!..»

Потом я проехал через разрушенный Минск. Знакомая дорога — сожженные села, Борисов. Кожевенный завод, где гитлеровцы убивали... Снег еще милосердно прикрывал сожженную, изрытую землю, ржавую проволоку, пустые гильзы, кости.

Я вдруг удивился: вот и победа, почему же к радости примешивается печаль? Раньше этого не бывало. Видимо, близость конца позволяет задуматься. Я вспомнил о томиках Ронсара. В 1940 году в Париже я писал:

Не раз в те грозные, больные годы,
Под шум войны, средь нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара.

Короткое стихотворение кончалось словами:

Как это просто все! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны, — потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое — радость, подснежники, искусство?.. Я больше не думал о Растенбурге или Эльбинге — думал о жизни.

25

Во вступлении к моей книге я писал четыре года назад: «Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них идет речь о живых людях или о

событиях, которые не стали достоянием истории»; многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю. Расскажу теперь о последних неделях войны.

Вокруг Кенигсберга, на подступах к Берлину, в Венгрии шли кровопролитные бои. Почти каждый вечер в Москве громыхали салюты; они были трех классов — первый из трехсот двадцати четырех орудий двадцать четыре залпа, а третий из ста двадцати четырех двенадцать залпов. Москвичи к ним привыкли — бывали вечера, когда небо три-четыре раза обряжалось ракетами. «За что салют?» — спрашивала в фойе театра девушка подругу, та отвечала: «Маленький — за какой-то венгерский город...» Но если люди успели привыкнуть к победам, то страстно, мучительно они ожидали Победу. Ждали письма с фронта от близкого человека, терзались еще больше, чем в предшествующие годы. Наступали те последние четверть часа, которые кажутся вечностью.

В марте генерал Таленский покинул «Красную звезду». С новым редактором мне было нелегко. Я утешал себя мыслью, что газетной работе подходит конец, скоро можно будет сесть за книгу. Пока что я продолжал писать статьи для «Красной звезды», для «Правды», для еженедельника «Война и рабочий класс».

Еще осенью 1944 года я получил письмо из Англии, от леди Гибб. Ею руководили религиозные чувства, она призывала меня предоставить богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мести. Я напечатал это письмо в «Красной звезде» с моим ответом, писал, что чувство мести мне чуждо, что солдаты Красной Армии, овладевая городами Трансильвании, в которых было много немецких семейств, не убивали безоружных, что мы хотим справедливости, уничтожения фашизма, подлинного мира и поэтому не можем предоставить господу богу судить гитлеровских злодеев. Я напоминал, что, когда слепые политики отдали Чехословакию в руки фашистских палачей, их именовали «ангелами мира», на самом деле они были глупыми хитрецами и хитрыми глупцами.

Я получил много писем от фронтовиков, возмущенных обращением леди Гибб. (Кажется, еще больше писем получила леди — мне потом рассказывали, что почтальоны в небольшом городе, где она проживала, были подавлены лавиной русских писем.) Между тем леди Гибб случайно оказалась в центре внимания: дело было, конечно, не в ней; начиналась борьба между людьми, решившими унич-

тожить фашизм, и вчерашними «мюнхенцами», сторонниками «мягкого мира». Не сердобольные христиане, а вдоволь циничные политики восставали против решения Ялтинской конференции отдать под суд военных преступников, разоружить Германию и заставить немцев участвовать в восстановлении разрушенных ими городов. Как это ни звучит парадоксально, но уже в конце 1944 года, когда немцы контратаковали в Эльзасе и в Арденнах, нашлись американцы и англичане, озабоченные тем, чтобы оставить Германии, «способной преградить путь коммунизму», хотя бы часть ее военной силы.

Брэйлсфорд, автор книги, изданной в Англии в 1944 году, предлагал прежде всего помочь немцам восстановить города Германии, отказавшись от каких-либо репараций, обязать чехословаков обеспечить равноправие судетским немцам, а вопрос о том, должна ли Австрия составлять часть Германии, решить плебисцитом. Различные телеграммы ТАССа выводили меня из себя. В Америке открыли довольно необычную школу: военнопленные немцы готовились к карьере полицейских в оккупированной Германии; по словам американских газет, слушатели этой школы соглашались на замену фашистского режима демократическим, но настаивали, чтобы американцы финансировали восстановление немецких городов, разрушенных союзной авиацией.

Начиная с февраля 1945 года Гитлер начал спешно перебрасывать дивизии с Западного фронта на Восточный. Вполне понятно, что из двух зол гитлеровцы выбирали меньшее. Они успели убедиться, что союзники, занимая немецкие города, снисходительно относятся ко вчерашним нацистам. В Рейнской области сплошь да рядом на посту бургомистра оставался гитлеровец. Газета «Дейли телеграф» осудила английского офицера, позволившего итальянским и русским пленным уйти из имения немецкого помещика: «Такие меры разваливают сельское хозяйство Германии». В различные экономические органы, создаваемые союзниками, включались крупные промышленники Рура, представители треста «ИГ». Видный американский публицист обнародовал книгу, где впервые провозглашал «атлантическую общность».

Бог ты мой, я никак не дипломат, да и не политик — литература мне всегда была понятнее и ближе сложной политической игры. Если я писал о том, что некоторые западные политики хотят оставить впрок микробы фашизма, то только потому, что помнил Испанию, Мюнхен,

знал, какими жертвами оплачена победа над гитлеровской Германией.

Я продолжал писать, что мы пришли в Германию не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы вырвать фашизм с корнем. Вспоминая отдельные случаи насилия в городах Восточной Пруссии, возмутившие нас всех, я привел в «Красной звезде» письмо, полученное мною от офицера Б. А. Курилко: «...Немцы думают, что мы будем делать на их земле то, что они делали на нашей. Эти палачи не могут понять величия советского воина. Мы будем суровы, но справедливы, и никогда, никогда наши люди не унизят себя...» Я писал дальше: «Я видел, как русские солдаты спасали немецких детей, мы не стыдимся этого, мы этим гордимся... Советский воин не тронет немецкой женщины... Он пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами...»

«Холодная война» еще находилась в засекреченном инкубаторе, и многие люди на Западе говорили, что нужно понять резоны народа, понесшего больше всего жертв. В марте 1945 года «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «То, как Эренбург в последнее время подвел итоги военного положения, стоит многословных трудов пятидесяти конгрессменов, двадцати комментаторов и дюжины политических экспертов... Это не кабинетная стратегия, а конкретная тактика; это прямой жестокий характер войны, в которую немцы вовлекли мир. Никто из нас этого не хотел. Русские, заключившие в 1939 году пакт о ненападении, этого не хотели. Мистер Чемберлен, который со сложенным зонтиком прибыл в Роденсберг, этого не хотел. Поляки, французы, англичане, американцы этого не хотели, но немцы настояли на своем и теперь получают то, что они затеяли. Только те, что знают, какова эта война, способны обеспечить при победе мир для нашей истерзанной цивилизации. Эренбург знает, о чем говорит... Красная Армия знает, что она делает... Многие из наших конгрессменов, дипломатов, публицистов этого еще не знают. Мы не привыкли к войне, но мы участвуем в величайшей в истории войне, и рано или поздно мы это поймем. В Америке должны больше читать Эренбурга...»

Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!», мало чем отличавшуюся от предшествующих. Рассказывая, что Маннгейм сдался союзникам по телефону, а в Бранденбурге продолжаются тяжелые бои, я говорил, что фашисты куда более страшатся

советской оккупации, чем англо-американской. «Хватит!» относилось к тем политическим кругам Запада, которые после первой мировой войны сделали ставку на сохранение и развитие германского милитаризма.

Двенадцатого апреля умер Рузвельт. Это было тяжелой потерей. Теперь у нас перспектива времени, и мы видим, что Рузвельт принадлежал к тем немногочисленным государственным деятелям Америки, которые хотели обновить климат мира и сохранить добрые отношения с Советским Союзом. Москва убралась траурными флагами. Все гадали, что будет делать новый президент Трумэн.

Тринадцатого апреля я был в Славянском комитете на ужине в честь маршала Тито. Ко мне подсел Г. Ф. Александров, спрашивал, не устал ли я, лестно отзывался о моей газетной работе. На следующий день, раскрыв «Правду», я увидел большой заголовок «Товарищ Эренбург упрощает», статья была подписана Г. Александровым. (Я, конечно, сразу понял, что Александров выступил не по своему почину и что накануне не рассказал мне об этом потому, что испытывал некоторую неловкость; может быть, поэтому он и расхваливал мои статьи.)

Г. Ф. Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, говорю, что в Германии некому капитулировать, что все немцы ответственны за преступную войну, наконец, что я объясняю переброску немецких дивизий с запада на восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время как это — провокация, маневр Гитлера, попытка посеять недоверие между участниками антигитлеровской коалиции.

Конечно, я не рассказывал бы обо всем этом, если бы писал историю эпохи, но я пишу книгу о своей жизни и не могу промолчать об эпизоде, который причинил мне много трудных часов.

Я еще раз оказался наивным, а мне было пятьдесят четыре года: я не могу сослаться на молодость, неопытность; видимо, такого рода наивность лежит в моем характере. Я понимал, почему появилась статья Александрова: нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав рядовым исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность, нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем и с другим — хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес лишних жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое: почему мне приписали не мои мысли, почему нужно было осу-

дить меня для того, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней давно забыта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббельс меня изображал как исчадие ада, и статья Александрова могла оказаться правильным ходом в шахматной партии. Моя наивность была в том, что я считал человека не деревянной пешкой.

«Красная звезда», разумеется, перепечатала статью Александрова. Редактор со мною разговаривал сурово, как с солдатом-штрафником. В редакцию посыпались запросы с фронта, почему нет статей Эренбурга; об этом толковали и за границей. Мне предложили написать статью о боях за Берлин. Я знал, что статью редактор пошлет в ЦК, тому же Г. Ф. Александрову, и предпочел это сделать сам. Копия письма Георгию Федоровичу у меня сохранилась: «...Иной читатель, прочитав Вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписывала фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъяснив так или иначе этого недоразумения. Как Вы увидите, я сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительна расовая теория...» Ответа я не получил.

Только 10 мая — на следующий день после Победы — «Правда» поместила мою статью «Утро мира». Я уже понимал, что мне не дадут оправдаться, и для людей, обладающих памятью, вставил без кавычек цитаты из моих статей — о том, что нам чуждо чувство мести и что для немецкого народа найдется место под солнцем, когда он очистится от фашизма.

К сожалению, статья Г. Александрова не произвела должного впечатления на немцев. Они были деморализованы задолго до этой статьи, но имелись еще боеспособные дивизии, которые продолжали упорно сопротивляться. Что касается союзников, то некоторые из них в первую минуту всполошились: уж не попытаются ли русские перетащить немцев на свою сторону? Впрочем, они быстро успокоились — понимали, что реки крови не бутылка чернил и что одна статья не изменит ни отношения советского народа к гитлеровцам, ни страха немецких бюргеров перед коммунизмом. Конечно, солдаты и офицеры союзных армий были настолько потрясены зрелищем Равенсбрюка или Бухенвальда, что фашистским главарям не прихо-

дилось рассчитывать на пощаду, но промышленники Рура, генералы рейхсвера, крупные чиновники третьего рейха, гитлеровцы не очень приметные, те, что поспешно жгли партийные билеты, понимали, где они найдут влиятельных защитников.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление статья Г. Александрова произвела на наших фронтовиков. Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем. На улице незнакомые люди жали мне руку (не скрою: я этого побаивался и старался поменьше бывать на людях).

Фронтовики присылали мне в утешение подарки; об одном расскажу. Это было поломанное охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли в год VII республиканской эры консулу Бонапарту. Ружье было красивым, с монограммой республики, с барельефным портретом молодого Наполеона, с изображенной чернью на серебре морской битвой против англичан. Надпись «Свобода морей!» напоминала о борьбе революционной Франции против блокады. Но как мне ни нравилось ружье, еще больше обрадовало меня письмо от солдат, которые его нашли на прусской дороге и прислали мне. В нем были добрые слова о моих статьях трудного времени, сердечность, ласка.

Пришел Суриц, сказал: «Зря огорчаетесь. Это не против вас, просто в его нравах. Узнаю почерк...» В общем, он оказался прав. Несколько недель меня не печатали, потом все забылось, и теперь о статье Г. Александрова вспоминают только реваншисты из «Зольдатенцейтунг».

А вот вопросы, которые меня волновали в последние месяцы войны, увы, не устарели. Приветствуя в апреле 1945 года союзных солдат, гитлеровцы знали, что они делают, — требовалось крылышко, под которым можно укрыться, отдышаться, переждать, чтобы потом, выйдя на свет божий, снова заговорить о «красной опасности», о «защите Запада», об «исторической миссии Германии». На моем столе свежие газеты — сообщения о маневрах германской армии, о демонстрации судетских немцев, о выступлении военного министра Штрауса. Тяжело читать. Тяжело и вспоминать. Сказку про белого бычка можно не слушать. Но я пишу эту книгу в Новом Иерусалиме, рядом — братская могила, давно заросшая травой. Сегодня светлый осенний день; впервые идут в заново отстроенную школу важные малыши. Я не могу не думать о том, что их ждет.

26

В конце апреля сводка Совинформбюро сообщила, что в западном предместье Берлина войсками Первого Украинского фронта освобожден из немецкого плена Эдуар Эррио. Два дня спустя мне позвонили: «Эррио спрашивает, в Москве ли вы, он хотел бы вас повидать».

Эррио обнял меня: «Малыш, это было нелегко!..» Рассказывая о пережитом, он взволновался и вдруг перешел на «ты».

Я с ним познакомился в середине двадцатых годов. Встречались мы редко — в посольстве у В. С. Довгалевского, в палате депутатов, в Лионе, в Марселе во время съезда радикальной партии, раза два или три вместе обедали. Он охотно рассказывал, я охотно слушал; я чувствовал, что он ко мне расположен, но смешно было говорить о дружбе: между нами были два десятка лет, позволившие ему называть меня «малышом», да и жили мы в различных мирах — для премьер-министра, председателя парламента, мэра Лиона литература была отдыхом, а для меня политика являлась скорее военной службой, чем страстью или профессией.

У него было одно из тех лиц, которые остаются в памяти: большая голова, жесткие волосы, выпуклый лоб, мясистые щеки — все это напоминало работу современного скульптора, пуще всего боящегося пригладить ком глины. А голубые глаза ласково мерцали. До войны карикатуристы изображали Эррио с огромнейшим животом. Родился он в Шампани, но полвека прожил в Лионе, который славится тонкой кухней, любил вкусно поесть, не заботясь о своей талии. Я нашел его сильно похудевшим, пиджак на нем висел. Хотя немцы обращались с ним куда лучше, чем с обычными арестованными, приехав в Москву, он все время хотел есть. Когда его пригласили в ВОКС, он спросил меня шепотом: «Как вы думаете, нам дадут перекусить?..»

Улыбаясь, он рассказал мне, как его освободили красноармейцы: «Вошел ваш офицер, солдаты. Я закричал: «Француз! Эдуар Эррио!» И можете себе представить, он знал мое имя, пожал руку, смеялся, повторял «Эррио» на русский лад...» (Эррио постарался произнести свою фамилию с ударением на первом слоге.) Он говорил, что видел панику, понимал: не сегодня-завтра наступит развязка — убьют или освободят. «Но хорошо, что меня освободили ваши — ведь вся моя политическая биография

связана с идеей франко-советской дружбы. Вы-то это знаете... А я начинаю думать о биографии — нужно, чтобы все увязалось...»

Он долго рассказывал, что пережил после разгрома Франции. Многое из того, что он говорил, я знал, но мне было интересно, как это воспринимает Эррио. Я увидел, что не ошибался, считая его одним из самых ярких представителей Франции прошлого века, той, что продержалась до первой мировой войны. Дело не только в возрасте, но и в идеях, в характере, в привычках. Конечно, как политический деятель он должен был проиграть — со своей отсталой стратегией, с устаревшим оружием, со словами, вышедшими из обихода, но именно эти анахронизмы меня к нему притягивали.

Кажется, на следующий день ему показали в маленьком просмотровом зале ВОКСа военную кинохронику. Он восхищенно смотрел на наши танки, продвигавшиеся по немецким дорогам. Потом на экране появились трупы, печи Освенцима, тюки с женскими волосами, подготовленные для отправки в Германию. Я переводил: «Шесть тонн женских волос», — и вдруг увидел, что Эррио закрыл глаза, по его щеке катились слезы. Когда мы вышли из зала, он сказал: «Я об этом не знал... Мне, видимо, время умереть — я ничего не понимаю... Вы знаете, почему я увлекся политикой? Из-за Дрейфуса. Я был преподавателем, мечтал о литературной работе. И вдруг «Дело». Одного человека неправильно осудили только потому, что он был евреем, и вся Франция раскололась. Мне было двадцать шесть лет, я кричал до хрипоты. Золя, Жорес, Анатоль Франс... Шли телеграммы — Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, все протестовали... Одного невинного послали на Чертов остров!.. Скажите, вы понимаете, что произошло с человечеством? Я лично ничего не понимаю. «Шесть тонн женских волос...» Я знаю, что это — нацисты, немцы, но ведь это наши современники, соседи. У них был Бетховен...»

Немцев он не любил, говорил: «Больше всего меня удивляет их коварство. Даже больше, чем жестокость. Я говорил с Штреземаном, и в течение четверти часа он трижды мне солгал. Он мечтал об одном — после короткой передышки отыграться, восстановить первенство «великой Германии». Однако нелюбовь к немцам у Эррио не связывалась с расизмом или шовинизмом: он обожал старую немецкую музыку, помогал антифашистским немецким беженцам. Это может звучать удивительно, даже чудовищ-

4 Зак. 92

но — для человека, который часто стоял во главе правительства большой державы в середине XX века, еще имели первостепенное значение вопросы вполне старомодные, например, «сдержать данное слово», «спасти честь»: «Нужно платить долги Америке — мы ведь дали слово», «Англичане допускают перевооружение Германии, где же их обещания?», «Мы обманули чехов, это пятно на чести Франции», «Бельгийский король, сын «короля-рыцаря», поступил недостойно: капитулировал, не запросив союзников», «Нельзя сложить оружие — мы связаны договором с Англией».

В трагические дни июля 1940 года Эррио поддерживал проект отъезда правительства в Алжир, где можно будет организовать сопротивление. Одновременно он показал всю свою слабость: просил, чтобы его Лион объявили открытым городом. Говоря, что Петен коварнее немцев, Эррио все же взывал к его чувству справедливости. Собрали Национальную ассамблею, депутатам было предложено отречься от себя и похоронить республику. На первом заседании председательствовал Эррио, в своей речи он сказал: «Наш народ, переживающий великую беду, объединился вокруг маршала Петена, имя которого вызывает общее благоговение...» Рассказывая мне о том времени, он признавался: «Это было одной из самых больших ошибок в моей жизни. Конечно, я знал, что Петен ненавидит республику, но мне казалось, что в нем есть понятие чести и он не осмелится поднять руку на свободу...» Эррио не протестовал против капитуляции. Он примирился с передачей всей власти Петену. Но он не мог принять обвинений, выдвинутых против депутатов, которые уехали в Алжир: «Они повиновались долгу, чести...» Профашистские депутаты возмущенно прерывали его, и, вспоминая об этом, Эррио мне говорил: «Настоящие каннибалы!..» (То же слово вырвалось у Золя, когда сиятельная чернь во время дела Дрейфуса улюлюкала под его окнами.) В начале июня 1941 года Эррио потребовал от Петена, чтобы тот оградил достоинство Франции: помилуйте, немцы лишают депутатов Эльзаса и Лотарингии права называть себя членами французского парламента! В августе 1942 года, когда Германия казалась непобедимой, когда ее войска дошли до Волги, до Северного Кавказа, до границ Египта, Эррио выступил трижды: он протестовал против расстрела немцами заложников, ссылаясь на Гаагскую конвенцию; возмущался преследованиями французских евреев; наконец, вернул свой орден Почетного легиона после того, как такие же ордена

были выданы двум изменникам, сражавшимся в России на стороне Германии. Эррио арестовали, а осенью 1944 года передали гитлеровцам, которые отправили его в Германию.

Если подойти к этим противоречивым поступкам как к политике крупного государственного деятеля, то останется только развести руками. Да, конечно, Эррио был одним из лидеров радикалов — этой чрезвычайно пестрой, рыхлой партии, объединявшей бедных крестьян юга и крупных дельцов, свободолюбивых учителей и полуфашистов, называвших себя «младорадикалами», и все же удивительно, как столь противоречивый человек, смелый и растерянный, образованный и наивный, мог в течение многих лет возглавлять правительство великой державы. Но если вспомнить, что Эррио сформировался в прошлом столетии, что он был автором книг, посвященных госпоже Рекамье, философу Филону Александрийскому и молодой Советской Республике, что он мог в перерыве между двумя заседаниями Совета министров беседовать с русским писателем о Декарте или о вкусах советской молодежи, что каждую неделю он лично принимал в мэрии Лиона всех просителей, терпеливо выслушивая их жалобы, что он гордился знакомством не с королями, не с магнатами промышленности, а с Горьким и с Эйнштейном, то многое в его биографии станет понятным.

После второй мировой войны правые упрекали Эррио за то, что он якшался с «красными», а левые говорили о его неблагодарности: «Он забыл, как танцевал от радости, когда его освободили советские солдаты». Эррио ничего не забывал, просто он оставался самим собой — непоследовательным в политике и верным в своих привязанностях. Весной 1954 года я был у него в Лионе. Среди прочего мы заговорили о советском искусстве. Я сказал ему, что считаю обращение французского правительства с Улановой и другими артистами московского балета позорным; их пригласили на гастроли и вдруг запретили выступать, ссылаясь на события в Индокитае. Эррио внимательно слушал, подошел к письменному столу и написал здесь же письмо, адресованное мне: «Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как я сожалею об инциденте с балетом и как я его осуждаю. Злая судьба как бы чинит все препятствия франко-русскому сближению, которого я, как старый демократ, страстно желаю. Я заверяю Вас, что большинство французов в этом согласны со мною». Он дал мне листок: «Можете напечатать...»

Вскоре после этого болезнь Эррио обострилась — он не мог передвигаться. В августе 1954 года Национальное собрание должно было ратифицировать договор о «Европейском оборонительном сообществе», говоря проще — о согласии Франции на ремилитаризацию Западной Германии. Эррио приехал на заседание палаты; он не смог подняться на трибуну и выступал, сидя в кресле. Он резко осудил внешнюю политику Франции, сказал, что залог европейской безопасности во франко-советском сближении, и обратился к депутатам с предостережением: «Видите ли, дорогие коллеги, вы не найдете мира, если будете его искать на дорогах войны».

В 1956 году в Лионе состоялось совещание представителей различных миролюбивых организаций, посвященное опасности возрождения германского милитаризма. Мы заседали в кабинете Эррио. Его здоровье ухудшалось с каждым месяцем; он все же захотел приветствовать нас. Он шел с трудом, его поддерживали. Он сказал о том, что нужно бороться за мир; что оружие в руках боннского правительства — угроза всей Европе; он выглядел слабым, дряхлым, но глаза по-прежнему ласково мерцали, и голос был молодым, звонким. Больше я его не видел.

В Москве в 1945 году он хотел побеседовать с одним из руководителей советской политики. Отношения между союзниками были, скорее, натянутыми. Состав французского посольства успел перемениться. Французские дипломаты сказали Эррио: «Русские справлялись, когда вы предполагаете уехать, — это больше чем намек...» Видимо, кому-то хотелось рассорить Эррио с его друзьями.

У него тогда не было трубочного табака. Я долго искал, наконец раздобыл несколько пачек «золотого руна», позвонил Эррио, но мне ответили, что он «неожиданно уехал». Я послал табак вдогонку и вскоре получил письмо: «Ваш табак я получил в Тегеране. По моим расчетам, его хватит до конца моей жизни. Я очень сожалею, что пришлось уехать, не простившись с вами, что не удалось провести вместе исторический День Победы, не удалось завершить должно пребывание в Москве. Но в десять часов вечера мне сказали, что я должен вылететь в четыре часа утра».

Он дожил до восьмидесяти пяти лет и умер за год до конца Четвертой республики. Его пристрастия и отталкивания не менялись. Он не любил военщину, клерикалов, пруссаков, шовинистов, антисемитов, не любил коварства,

мюзик-холлов и строгой диеты; а любил он традиции якобинцев, Лион, Декарта, русских, Бетховена, красноречье, популярность и вино «божоле».

В 1954 году, когда я был у него, он вдруг заговорил о поэзии, рассказал, как в молодости встретил старого, спившегося Верлена, который хлопотал о пособии. «Вы любите Вийона, — сказал он, — а знаете ли вы стихи лионской поэтессы шестнадцатого века Луизы Лабэ?» И он прочитал начало одного из ее сонетов:

Живу и гибну и горю — дотла,
Я замерзаю, не могу иначе —
От счастья я в тоске смертельной плачу,
Легка мне жизнь, легка и тяжела.

Может быть, этими стихами лучше всего закончить рассказ об Эррио. Но чтобы вернуться к нити повествования, напомню: второго мая он говорил мне: «Скоро я чокнусь с вами, со всеми русскими друзьями за одержанную победу», а девятого мая на заре его посадили в самолет.

27

Я хорошо помню последние дни войны. В Берлин мне поехать не удалось из-за статьи Александрова. Я сидел у приемника и ловил Лондон, Париж, Браззавиль: ждал развязки.

Войны начинаются почти всегда внезапно, а кончаются медленно: уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут.

В апреле я писал: «В Германии некому капитулировать. Германии нет, есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности». Гитлеровская Германия умирала, как и жила, — бесчеловечно. Не было теперь кильских моряков, не было даже принца Макса Баденского. Не нашлось ни одного полка, ни одного города, который хотя бы в последнюю минуту восстал против нацистских главарей. Один немецкий остряк потом говорил, что красные гардины повсюду остались невредимыми, зато не было больше простынь — белые тряпки выползали из всех окон. Союзники теперь продвигались быстро: один немецкий город сдавался за другим. А в Берлине шли бои, и в Берлине сдавался дом за домом. Ветераны, помнившие империю Гогенцоллернов, школьники, одураченные дешевой романтикой, эсэсовцы, боявшиеся расплаты, стреляли в советских солдат из окон, с крыш. А

фашистские главари закатывали истерики в бомбоубежищах или тихонько пробирались на запад, переодевались, гримировались.

Первого мая немецкое радио сообщило, что Гитлер погиб, как герой, в Берлине. День или два спустя Лондон передал, что фюрер покончил жизнь самоубийством вместе с Геббельсом, Геринг и Гиммлер скрылись. Адмирал Дениц объявил, что возглавляет новое правительство; однако составить его было трудно — оппозиции в Германии давно не было, а люди, еще вчера поддерживавшие Гитлера, мечтали скорее о швейцарском паспорте, чем о министерском портфеле.

Вечером 7 мая я слушал Браззавиль: в Реймсе представители Деница и германского командования подписали акт о капитуляции; от Советского Союза документ подписал полковник... Три раза я прослушал сообщение, но так и не разобрал, о каком полковнике идет речь, — диктор не мог выговорить русское имя (оказалось, это был полковник Суслопаров, которого я знал, — он был военным атташе во Франции). Браззавиль сообщил также, что 8 мая объявлено праздничным днем. Я взволновался, позвонил в редакцию; мне сказали, что нельзя доверять слухам, возможно, это провокация — попытка сепаратного мира, так или иначе военные действия продолжаются.

Восьмого мая из Лондона, из Парижа передавали радостный гул толпы, песни, описания демонстраций, речь Черчилля. Вечером были два салюта — за Дрезден и несколько чехословацких городов. Однако с двух часов дня не умолкал телефон — друзья и знакомые спрашивали: «Вы ничего не слыхали?» — или таинственно предупреждали: «Не выключайте радио...» А московское радио рассказывало о боях за Либаву, об успешной подписке на новый заем, о конференции в Сан-Франциско.

Поздно ночью наконец-то передали сообщение о капитуляции, подписанной в Берлине. Было, кажется, два часа. Я поглядел в окно — почти повсюду окна светились: люди не спали.

Начали выходить на лестницу, некоторые неодетые — их разбудили соседи. Обнимались. Кто-то громко плакал. В четыре часа утра на улице Горького было людно: стояли возле домов или шли вниз — к Красной площади. После дождливых дней небо очистилось от облаков, и солнце отогревало город.

Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром. Это был необычайный день и в своей радости, и в печали:

трудно его описать — ничего не происходило, и, однако, все было полно значения — любое лицо, любое слово встречного.

Пожилая женщина показывала всем фотографию юноши в гимнастерке, говорила, что это ее сын, он погиб прошлой осенью, она плакала и улыбалась. Девушки, взявшись за руки, что-то пели. Рядом со мною шла женщина и мальчик, который все время повторял: «Вот это майор. Ура! Старший лейтенант, орден Отечественной второй степени. Ура!..» У женщины было милое изможденное лицо; вдруг я вспомнил, как в начале войны на Страстном бульваре сидела женщина с сыном, который шалил, а она плакала. Мне показалось, что это она; наверное, и сходства не было, просто два лица сливались в одно. Девочка сунула моряку букетик подснежников, он хотел ее обнять, она фыркнула и убежала. Старик громко сказал: «Вечная память погибшим»; майор на костылях поднес руку к козырьку, а старик рассказывал: «Жена просила: «Скажи», — она простыла, лежит... Гвардии старшина Березовский. Две личные благодарности от товарища Сталина...» Кто-то сказал: «Ну, теперь скоро вернется...» Старик покачал головой: «Погиб смертью героя, восемнадцатого апреля, командир написал... Жена просила: «Ты расскажи...»

Я говорил, что было много печали: все вспоминали погибших. Я думал о Борисе Матвеевиче, и мне казалось, что в ту ночь, когда мы читали роман Хемингуэя, он хотел что-то рассказать, но мы торопились, и разговора не вышло; думал о том, что мы жили рядом, а я с ним мало разговаривал, то есть говорили мы много, но все о другом — не о главном. Я думал о добром Жене Петрове, вспоминал, как он, смеясь, говорил: «Вот кончится война, напишу классический роман в семи томах о героизме комиссара государственной безопасности третьего ранга Юстиана Иннокентьевича Прокакина-Стукала». Вспомнил, как он уговаривал меня надеть теплое белье: «Вы не пижон, и Можайск не Ницца...» Вспомнил товарищей по «Красной звезде», молодых поэтов Михаила Кульчицкого, Павла Когана, тацинцев, Черняховского, Юрия Севрука из «Знамени», ездового Мишу, который под Ржевом читал мне свои стихи. Почему-то все время перед моими глазами вставал Ржев, дождь, два дома — «полковник» и «подполковник», как будто не было потом ни Касторной, ни Вильнюса, ни Эльбинга. Все Ржев да Ржев...

Кажется, не было в нашей стране стола, где люди, собравшись вечером, не почувствовали пустого места. Об этом потом написал Твардовский:

...Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

Днем на Красной площади подростки веселились, их веселье передавалось другим. Да и можно ли было не радоваться: кончилось! Качали военных. Один офицер протестовал: «Ну меня за что?..» В ответ кричали «ура». Несколько военных узнали меня, кто-то крикнул: «Эренбург!» Начали и меня качать. Неприятно, когда тебя подкидывают вверх, а главное, неловко: я молил «хватит», но это только подзадоривало солдат, и меня подбрасывали еще выше.

«Кончилось», — я повторял это Любе, Ирине, Савичам, знакомым, чужим. Слов нет, чтобы сказать, как я возненавидел войну. Из всех человеческих начинаний, порой жестоких и безрассудных, это самое окаянное. Нет для него оправдания, и никакие разговоры о том, что война в природе людей или что она школа мужества, никакие Киплинги и киплингствующие, никакая романтика «мужских бесед у костра» не прикроют ужаса убийства оптом, судьбы выкорчеванных поколений.

Вечером передавали речь Сталина. Он говорил коротко, уверенно: в голосе не чувствовалось никакого волнения, и назвал он нас не как 3 июля 1941 года «братьями и сестрами», а «соотечественниками и соотечественницами». Прогремел небывалый салют — палила тысяча орудий, дрожали стекла; а я думал о речи Сталина. Отсутствие сердечности меня огорчило, но не удивило. Он — генералиссимус, победитель. Зачем ему чувства? Люди, слушавшие его речь, благоговейно восклицали: «Сталину ура!» Это тоже давно перестало меня удивлять, я привык к тому, что есть люди, их радости, горе, а где-то над ними — Сталин. Дважды в год его можно увидеть издали; он стоит на трибуне Мавзолея. Он хочет, чтобы человечество шло вперед. Он ведет людей, решает их судьбы. Я сам писал о Сталине-победителе. Ведь это он привел нас к победе. Древние иудеи никогда не думали, что бог любит людей: они знали, что, поспорив однажды с сатаной, Иегова убил всех сыновей и всех дочерей праведного Иова, разорил его, наслал на него проказу только для того, чтобы доказать, что Иов останется верным своему хозяину. Они не считали бога добрым, они считали

его всемогущим и в благоговении не решались выговорить его имя. Когда-то В. В. Вересаев говорил мне: «В соборе святого Петра есть статуя апостола, туфля стерлась от поцелуев — металл поддался. Можно, конечно, не верить в святость Петра, но туфля производит впечатление — губы оказались сильнее бронзы...» В отличие от обычая иудеев имя Сталина произносилось постоянно — не как имя любимого человека, а как молитва, заклинание, присяга. Вересаев был прав, говоря о туфле. Когда я писал о Сталине, я думал о солдатах, веривших в этого человека, о партизанах или заложниках, о предсмертных письмах, заканчивающихся словами: «Да здравствует Сталин!» Борис Слуцкий много позднее написал:

Ну, а вас, разумных и ученых, —
о, высокомудрые мужчины, —
вас водили за нос, как девчонок,
как детей, вас за руку влачили.

Вероятно, это справедливо. Вспоминая вечер девятого мая, я мог бы приписать себе другие, куда более правильные мысли — ведь я помнил судьбу Горева, Штерна, Смушкевича, Павлова, знал, что они были не изменниками, а честнейшими и чистейшими людьми, что расправа с ними, с другими командирами Красной Армии, с инженерами, с интеллигенцией дорого обошлась нашему народу. Но скажу откровенно: в тот вечер я об этом не думал. В словах, произнесенных (вернее, изреченных) Сталиным, все было убедительно, а залпы тысячи пушек прозвучали как «аминь».

Наверно, все в тот день чувствовали: вот еще один рубеж, может быть, самый важный, — что-то начинается. Я знал, что новая, послевоенная жизнь будет трудной — страна разорена и бедна, на войне погибли молодые, сильные, может быть, лучшие; но я знал также, как вырос наш народ, помнил мудрые и благородные слова о будущем, которые не раз слышал в блиндажах и землянках. И если бы кто-нибудь сказал мне в тот вечер, что впереди «космополиты», ленинградское дело, обвинение врачей, свирепый обскурантизм, — словом, все, что было разоблачено и осуждено десять лет спустя на XX съезде, — я счел бы его сумасшедшим. Нет, пророком я не был.

Начиная с середины апреля я располагал досугом и много думал о будущем. Порой меня охватывала тревога. Хотя в последние недели из наших газет исчезли сообщения о распрях между союзниками, я понимал, что подлинного согласия нет и вряд ли оно будет. Меня удивля-

ло, как снисходительно говорили американцы и англичане о Франко, о Салазаре. Я боялся, что западные союзники будут добиваться такого мира, при котором немецкая военщина сможет быстро встать на ноги. В моем блокноте записана передача французского радио — беседа с одним немецким генералом, который сдался в плен американцам. Его любезно приняли в ставке; отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Гитлер совершил непростительную ошибку, направив удар на Запад, мы за это расплачиваемся. Я надеюсь, что ваши правительства поступят разумнее, ведь через десять лет вам придется в войне против русских опираться на Германию». Репортер возмущенно добавлял, что такие декларации могут вызвать улыбку презрения. Я слушал и не улыбался. Радиопередачи сообщали о том, что американцы ведут переговоры с адмиралом Деницем, который наконец-то нашел министров и обосновался в небольшом городе Фленсбург возле датской границы. Все поздравляли Сталина, прославляли Красную Армию, и все-таки на душе было неспокойно.

А что будет у нас после войны? Об этом я еще больше думал. Удастся ли победить зародыши национализма, расизма, которыми гитлеровцы заразили многих. Война показала не только душевную отвагу народа, но и цепкость, жадность, равнодушие; люди закалились, но и огрубели; нужны новые методы воспитания — не окрики, не зубрежка, не кампании, а вдохновение. Нужно вдохнуть в молодых начала добра, доверие, огонь, исключающий безразличие к судьбе товарища, соседа. Главное — что теперь будет делать Сталин? По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу — оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказала, что их встретили как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря. Я думал о различных указах, продиктованных Сталиным, и минутами спрашивал себя: не повторится ли тридцать седьмой? Но опять меня подводила логика, я говорил себе: в тридцать седьмом был страх перед фашистской Германией и открыли огонь по своим. Теперь фашизм разбит: Красная Армия показала свою силу. Народ пережил слишком много... Прошлое не может повториться. Еще раз я принимал свои желания за действительность, а логику — за обязательный предмет в школе истории.

Я говорю об этом потому, что хочу понять, почему поздно вечером того необычайного дня я написал стихотворение с заголовком «Победа». Оно недлинное, и я его приведу целиком:

О них когда-то горевал поэт;
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали —
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: «Почему?» Я честно признался: «Не знаю». Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине.

Я стараюсь как можно точнее восстановить тот далекий день. Я перечитал написанное и вдруг смутился: читатель может подумать, что я только рассуждал, тревожился. А я радовался вместе со всеми, улыбался, поздравлял. Победа! Я вспоминал ночи Мадрида, эсэсовцев на парижских улицах, Киев. Бог ты мой, какое счастье! Что там ни говори, начинается новая эпоха. Наш народ показал свою силу, — плохо подготовленный, застигнутый врасплох, он не сдался, стоял насмерть под Москвой, у Волги, повернулся лицом к захватчику, повалил. Я вспомнил статью в «Крисчен сайенс монитор»: «Может быть, последующую эпоху окрестят «русским веком»...»

Все это размышления над будущим. А хочется мне кончить рассказ о девятом мая другим: это был день необычайной близости всех, и сказывалась она не только в том, что незнакомые люди на улице целовались, — в улыбках, в глазах, в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город.

Последний день войны... Никогда я не испытывал такой связи с другими, как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, повести, поэмы. А

что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно добросовестный историк, да несколько десятков коротеньких стихотворений. Но я пуще всего дорожу теми годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их полюбил — столько было беды, столько душевной силы, так прощались и так держались.

Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни и женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей, — о горе, о мужестве, о любви, о верности.

Книга шестая

1

Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лаваля, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас — что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно — он сыграл слишком видную роль в уничижении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX веку, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война — держались, а только спало напряжение — многие слегли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа — жили трудно, многие впроголодь, работали через силу и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи — забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат...» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется, — у него ведь второй аттестат, вторая зрелость... Мы слишком хорошо помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали — и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался — не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно...» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж — тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллин — там демобилизовался, а по дороге зашел ко мне «отвести душу».

Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились...» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го — долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться — мы все ею отравлены.

Прежде я мечтал: кончится — отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы — а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество — отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят

в городской пейзаж.) Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом — то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть — люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли...»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг — библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны — у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо не понимая, почему на нее смотрят, — ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко — одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать — маленькие, отощавшие дворняжки; их держали хозяйки — тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках — «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю: моя книга — сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело

вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах.)

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей — Урса и Куса: они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб — паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи — здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня-завтра пройдут по улицам Ленинграда... Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царскосельском парке:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни...

Статую Пушкина нашли в земле — ее успели закопать; нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки:

О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубили три тысячи старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники — Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л. А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные

годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать:

Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно...»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том о сем. Берии присвоили маршальское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может...» Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас неуверенный...»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне — для меня это память...» Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра... Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь — «Анну Каренину», «Ночь напролет «Госпожа Бовари»...». Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрялись читать ночью? Ведь света не было». — «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью...» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее подействовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства — в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой — ее «благодеяния». О первом списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благодеяний», то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте, в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась

моему удивлению, связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умиляешься, пробуешь подтрунить над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву, и сразу же захотелось уехать. Пришел П. И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут...»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась — большие площади, Гостиный двор. Табачные ряды. Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился.) Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени — кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, что виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит — нечего торопиться, но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте — он меня

в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства...»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость.

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину,
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.

Писал о мужестве:

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту...

Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать:

...Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вязы.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны в журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь — моя молодость меня искала...

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что

Ядвига мало изменилась — и голос такой же, и глаза. Дочь, жених... Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех настигает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?», «Чей будет Триест — югославский или итальянский?», «Как вы относитесь к статье Александрова?», «Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»?». На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань, и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской — вот здесь стоял дом, где я родился, — груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал: скоро сяду за книгу, — значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, в сердце. Побывал у Тычины, Бажана, Голованивского, А. Кагана. На Подоле просидел вечер у офицера — он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?.. Жена застряла в Киеве. В Бабьем Яру...» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю — не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрянул, — к вам трудно дозвониться. Я — болгарский коммунист Коларов...» У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взбирался? А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе...» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г. Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я понимал, что это ни к чему, — ничего он не сможет мне объяснить.

Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый известинец...» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка, — привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в «Известиях», не осталось... Впрочем, это безразлично, в «Известия» так в «Известия»...» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материю, купит муку, сало. Она — студентка текстильного института, муж тоже студент — филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то что — я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный...» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по блату. Денег у нее мало — только на носильщика, могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы — писатель, должны понять... А может быть, не стоит брать носильщика?..» (Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?..» Я сразу вспомнил. «Ну как — взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила».)

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей — родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны

я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат — руку повредило. Ну, ничего — как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два... Девочка-то хорошая. Жена обрадуется...» Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном запущенном доме — во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю...

Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом...

Вот это — правда, слишком часто говорил о другом — не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу, скорее, мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать... Прежде мне казалось, что старость легка, естественна — постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени — железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал — про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу — встре-

чали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С. А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

2

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое, — за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете, ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед...» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать — о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымаливал выходной день или, как школьник, убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся поли-

тикой. Потом?.. Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревнивой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии, бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского Учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победа»; Георгиу Деж был всего-навсего министром путей сообщения.

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены — одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Были и в 1945 году на Балканах партии или группы, открыто нападавшие на коалиционные правительства — в Румынии сторонники Маниу, в Болгарии — Петкова, в Югославии — Грола. Я встречался с некоторыми из них и понял, что они рассчитывают на обострение отношений между Советским Союзом и западными державами; им хотелось, чтобы твердь поскорее отделилась от хляби (или наоборот), и они не понимали, что мечтают о своей гибели.

Для того чтобы разъяснить положение читателям газеты, мне приходилось многое изучать, встречаться с румынскими помещиками, с болгарскими экспортерами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» —

это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт. Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умилительные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик Константинеску отберет землю назад, да еще выпорет за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное...» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!..»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединявший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буды, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно,

для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя возвратить никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви, встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков — нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку — кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденскими ленточками — кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу — пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русе. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признать-

ся, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегáли площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел, усталый, из машины после рытвин, ухабов — и сразу меня втолкнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, непохожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили, как звери, — в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканой одежде, волы задерживали министерский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха; 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плака-

ли, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит...»

Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку — сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я — русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость — это на счастье...»

В Румынии было много одаренных художников. Я запомнил полотна Изера, Паллади, Топицы. Один министр поспешно сказал мне: «Это, знаете, продукция прошлого, влияние Сезанна и других формалистов. У нас художники издавна были искалечены французской живописью...» Услышав, что холсты мне нравятся, он просиял: «Мне тоже нравится — я ведь люблю живопись».

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргези. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргези; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргези!..»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов; люди,

не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну — вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргези и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили — слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному, — кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей... Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать — тридцать, когда вырастут другие люди, с другими нормами. Но я не ропщу — хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства...» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный — никакой «души нараспашку», страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел «читалище» — библиотеку; крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые — даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задолго до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей Константиновым. Несмотря на свой пост, он

говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альшех — племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен — рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязаешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, газета...» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой...» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым.

Я поехал в Бояну — посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а, скорее, почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева. Однажды на приеме я разговаривал с К. Е. Ворошиловым. К нему подошел художник, чьи полотна (или копии полотен) висели тогда во всех официальных местах, и, услышав, что я назвал Рублева, усмехнулся: «Он иконки любит...»)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI—XIII веков. Эта живопись на сто — двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского Возрождения было

только раннее утро — в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождения; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своебразную страну или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперника Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Любляну, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве — на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье.

Другой крупный писатель Югославии — Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?..» Это был друг

моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца: судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке: каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев, — олива живет долго, триста — четыреста лет, — и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не раз в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали:

Этот мир — тиран даже для тирана,
И он вдвойне тяжек для благородных сердец.
Море воюет с берегом, зной с морозом,
Ветер с ветром, зверь со зверем,
Народ с народом, человек с человеком...

Я трясся в машине и повторял горькие слова: война не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацо Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое — «Деветсил» и «Дав», шутили, пили вино...

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил: «Плохо...» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» — у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарека. Копецкий вздыхал: «Формализм», а потом он подарил мне натюрморт Филлы; Незвал неистовствовал: «Это не

формализм, это революция!..» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился — отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Меня повезли в замок Добриш, который отдали писателям. Все было парадно и натянуто. Незвал шепнул: «В «Куманове» было веселее. Ничего не поделаешь — чехам не к лицу роскошь. А писателям не к лицу почет...»

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого...»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти — Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились — их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась...

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился — и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к этому чувству примешивалось другое — отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности.)

В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север — декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед.) А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники — в общем, то, без чего будапештцы

5 Зак. 92

могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной — уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто...» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей...»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно — дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я вспомнил, как дрались два старика — венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что отплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были под номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!..» Я видел на руках судетских немцев белые повязки — знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу...»

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги...» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять... Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак — стоит на дороге и стреляет...» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины — не скажешь, что город. «А куда нам ехать?..» Я задумался: ночь, никого не найдешь... Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?..» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали», — и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет...» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпеж, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал... Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся — майор скоро придет...» Солдат зевнул и сказал: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице — в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое — когда меня наконец-то отправят домой?.. Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора...»

3

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песни (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался наверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай, город жил, но какой-то ирреальной, рас-

терянной жизнью. На уцелевшем заводе изготовляли портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись — Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал — стоял часами, глядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «Железную деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба:

Но путь науки строгой
Я в юности отверг
И вольною дорогой
Пришел я в Нюрнберг...
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча!

Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги; на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, я вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге...

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в то время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов...

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом — все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану — не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой — понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии — «планом Отто», захват Чехословакии — «зеленым планом», захват Югославии — «Маритой», уничтожение Польши — «делом Гиммлера», предполагавшееся нападение на Гибралтар — «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз — «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать заурядных злодеев — нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь, — я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знатоком считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до акции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: «Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами...» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподоз-

рили в растлении малолетней, но он выкрутился — грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину...»

Я глядел на них и видел одно — страх. Одно дело — убить миллион людей, — это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт; другое — чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя — Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре — Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье, и все — на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный», — сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» — и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, — предприятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал — мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?..» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться: состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшедшего Горгулова — там мы ви-

дели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге, — кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается «достоевщина» и начинается ужасающий мир роботов.

Полночи я проговорил с Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. Виоллис рассказывала о печали Франции — ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле — в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают...» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны... Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная структура Франка ничем не отличается от самого жесткого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей — сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго — десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее — до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой — от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильяни — он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал...», «Геринг не согласен...», «Риббентроп предлагает...»? От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчуры, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников!..

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства...» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой — мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Я вспомнил статью Марины Цветаевой — рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь — победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них — и на душе стало как-то спокойней.

4

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды», Гехман, позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе было живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политехническом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлехс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу, Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно — вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлехс». Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре одного убьют на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?..

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на Большую землю.) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами — в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не сразу понял, что все переменилось. Мне запомнился смешной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литератором и хотел познакомиться с

советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина — колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое — Ф. Кельин, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изъяли из библиотек — в ней четыре раза упоминалось имя маршала Тито.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично...» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово — очень уж мрачно...») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б. Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М. М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю... А главное, у нас этого не любят...»

Я стал ее успокаивать — теперь не тридцать седьмой... Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать треть романа — две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это — кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев — честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео — было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части — случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет...» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего...» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали» — это зачеркнули... В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете — у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого...», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой...» О каких «неприятностях» идет речь — стало непонятным. Прерываю список «опечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым — на конференцию редакторов газет. Я сказал В. М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомню о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля-Башелле-

ри, где долго жил Анатоль Франс; повез нас туда внук писателя, Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом — я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Потом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба — прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко». Я взволновался и все же цеплялся за надежду — может быть, это очередная газетная утка? (Люба потом долго издевалась над моей наивностью.)

В Париже я прежде всего побежал в посольство, попросил газеты и увидел, что телеграмма французского агентства была не выдумкой. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, я узнал подробности. На этот раз гром грянул среди ясного неба: в конце июня утвердили новую редакционную коллегию журнала «Звезда», включили в нее М. М. Зощенко; в июльском номере журнала «Знамя» была помещена вполне благожелательная статья о поэзии Анны Ахматовой. А в середине августа опубликовали постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое на восемь лет определило судьбы нашей литературы.

Н. С. Тихонов рассказывал, как Сталин вызвал руководителей Союза и заявил, что Ахматова и Зощенко — «враги». А. А. Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о М. М. Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество», «пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган»; об А. А. Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». Удивительно было многое. Жданов, например, сказал: «Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», — что от них осталось в нашей родной русской, советской литературе?» Видимо, никто не решился ему объяснить, что «бубновый валет» объединял не писателей, а художников, среди которых был будущий академик Кончаловский, что за месяц до доклада Жданова все газеты умиленно говорили о поэзии Блока (исполнилось двадцать пять лет со дня его смерти) и что Блок, как и Брюсов, причислял себя к символистам, что «желтую кофту» придумал и воспел не кто иной, как Маяковский, объявленный Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи». (Одну ошибку Жданов все же успел

исправить — доклад напечатали полтора месяца спустя. В напечатанном тексте есть такая фраза: «И у акмеистов и у «серапионовых братьев» общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма». В своем выступлении Жданов принял за одно лицо знаменитого немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которого любил Маркс и который скончался в 1822 году, и мало кому известного эпигона Бальмонта, русского поэта Виктора Гофмана, родившегося в 1844 году.) После доклада Жданова Анну Ахматову и М. М. Зощенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее — собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л. И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», ее статьи выглядели как обвинительные заключения. Зощенко и Ахматова изображались главными врагами, о них говорили и писали куда резче, чем о Черчилле, призывавшем показать русским военную мощь англосаксов, или чем о некоторых американских сенаторах, уже поговаривавших о «превентивной войне».

Тогда же и в докладе Жданова, и в статьях, ему посвященных, впервые была объявлена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А. А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству — и еще в 1934 году поручил направить писателей на путь истинный, но тогда мы слушали и не пугались. Снова я увидел Жданова в 1947 году — он пригласил пять или шесть литераторов, среди них меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания — Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что в связи с очередным постановлением — на этот раз о музыке — Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное — это мелодия, которую можно напевать. Помню, как

в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А. А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение — умер Жданов! Сойдите вниз, мы в ресторане...»

С М. М. Зощенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды, в начале пятидесятых годов, я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала: Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить Международную премию, и в Оксфорд, где ей дали «докторскую мантию».

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач — меня окружили видения военных лет, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного, — вероятно, события были чересчур свежи, и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа — Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей — мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи — был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «...Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург... Просто либеральные буржуа не понимают и клевещут на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть... Но ведь тов. Эренбург — не либеральный

буржуа... При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские... Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?..»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что́ именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным...» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К. М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет. По-моему, все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее исступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по Сталинским премиям, докладывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему «Бурю» выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом, нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом, так в жизни бывает... А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями...» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», — и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пановой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я — нет...» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещавший браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм: помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над нею издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его слова-

ми, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть...

Из книг, вышедших в свет с 1946-го по 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Для писателя это были годы запечатанных уст, и я хорошо понимаю К. Г. Паустовского, который недавно возмущался людьми, утверждающими, что «культ личности» никак не ущемил нашей литературы.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»:

Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

А «Буря» остается для меня слабым приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

5

Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись — мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в

самолете американского посла Бидл Смита — «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмешались в гармонию, и Магдебург казался холстом «ташиста» — беспорядочные мазки. М. Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко — вы привыкли, а я никогда не разговаривал с иностранцами...»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас — на этом перекрестке прошла моя молодость! Я хотел загрустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссинаки; я жадно слушал их рассказы о годах оккупации, о Сопротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим — и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал взволнованный Фотинский, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские — победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цадкина, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?..»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине — до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России?..» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти...» Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине, на устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа...» Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомолов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсон, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи — вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость; мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на часы в ресторане — по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая — американская.

Когда рассвело, я увидел большой город — Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста — владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и названием газеты. М. Р. Галактионов представлял «Правду», К. М. Симонов — «Красную звезду», я — «Известия».

У меня сохранилось удостоверение: «Предъявитель сего Эренбург Илья Григорьевич является членом редколлегии

газеты «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» (читатель легко догадается, насколько это соответствовало истине). Хоть за редактора меня не выдали, и на том спасибо!.. Впрочем, в перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем — мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли...» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки»... Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!..»

Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог; я нажимал различные кнопки — шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец я свалился, измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решался — подумают: ну и дикари эти русские! Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание». Я ответил: «Нет, вы откройте окно...» Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, объяснила: «Окно не открывается — на улице пыль,

чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось: «Техника у них замечательная!..» А мне стало неуютно — даже окна нельзя открыть, наверно, таким будет новый век...

Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в Новом Свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман — бестселлер, и тем, что ему тридцать лет. О том, что происходило с М. Р. Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов — легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой — настоящая человеческая сложность».

С некоторыми американцами мне удалось подружиться; и все же признаюсь: отдыхал я с европейцами, будь то мои старые друзья — Тувим, Шагал, Стефа Херасси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле Корбюзье, де ля Пуап, или те, которых я увидел впервые, — Эйнштейн, Кусевицкий, Шолом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я, счастливый, заулыбался.

В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Пять лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно — начальной школой. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях.

6

Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе; все чрезмерно — зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-пре-

зидент США Уоллес вывез из Советского Союза кустики «русской клубники» (фрагария моската) — невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород, и я не сразу узнал мою землячку — ягоды были втрое больше, но запах исчез.

Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на восемнадцатом этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог — рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна; небо над Бродвеем пылало, высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо.

Я как-то обедал с Ле Корбюзье в маленьком французском ресторане Сорок второй улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Он был необычайным человеком. Он тогда с усмешкой сказал: «Скоро мне стукнет шестьдесят, а я еще очень мало построил — не дают. Я — человек поражений...» Как всякий новатор, Ле Корбюзье создавал эссенцию, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идеи Ле Корбюзье побеждают повсюду, побеждают архитекторы, которые у него учились, ему подражали и вместе с тем трезво подходят к делу. А Ле Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания-манифесты — в Марселе и в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Боготе, в Нью-Йорке и в Пенджабе, огромные небоскребы и поселки из небольших домов, воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Он умер, узнав всеобщее признание. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся: «Вы всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм. Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия».

Самое опасное — составить себе представление о человеке или о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой. Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем «американизацией», и у меня было условное представление о Новом Свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным — порой поверхностным, порой односторон-

ним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это скорее форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестолочи, и бюрократизма, и нерасчесанных человеческих страстей.

На улице толкались; журналисты садились на мою кровать; люди жестикулировали не только руками, но и ногами; когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли; ругались; дружески хлопали по плечу; вели себя нецеремонно, порой, на мой европейский аршин, и бесцеремонно. Я слышал рассказы, как быстро делаются карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в «кадиллаке». Все это было связано не столько с корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества.

В течение моей жизни я видел не раз детей, низвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей; это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. До чего они молоды! — говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверно, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры, те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидают игорный притон. Шолом-Алейхем писал: «В Америке люди не живут, в Америке люди спасаются». Народ образовался из «спасавшихся». Приезжали англичане, итальянцы, евреи, ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось. Люди привозили с собой смену белья и волю к жизни; что касается вековых традиций, то их не погрузишь ни на какое судно. Иммигранты начинали с азов. Так родилась нация, которой суждено в будущем выйти на авансцену истории.

В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир — американцы его посещают как достопримечательность. Дому почти сто лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом; они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина — камин, дрова, это ведь нечто невиданное, глубокая древность, Помпея!

С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветрен-

ным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель — дороже перевезти, чем купить новую, а европейской привязанности к старому семейному хламу нет. Переезжают из города в город, из штата в штат.

Я почти не видел малолитражек: рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы? Человек грузит семью, скарб и едет за счастьем (у нас в тридцатые годы говорили: за «длинным рублем»). Один американец решил меня покатать; подошел час ленча; он остановился возле ресторана, погудел. Принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине, а мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон: автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы; иногда полиция устраивает облавы.

В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на Юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку, говорил, что это проще, чем отдавать в стирку.

В Америку я приехал не из древней Эллады, не из Италии или Испании, и все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статейка хлесткого журналиста печаталась одновременно в пятидесяти газетах; повторялись сплетни, анекдоты, проповеди.

Казалось бы, выводы напрашивались, вставал классический образ мистера Бэббита. Но я не торопился с выводами, говорил себе: все это так и не так.

Меня смешили объявления в газетах о воскресных богослужениях — зазывали, как в балаган; одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабаме мы заехали к профессору; нас оставили пообедать; все сели за стол; профессор встал и прочитал импровизированную молитву — просил господа о мире между двумя великими народами; по лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде, устроенном издателем «Нью-Йорк таймс», возле каждого прибора лежала карточка, я подумал, что это

меню; оказалось — на одной стороне реклама газеты, на другой молитва, но здесь уже никто не молился...

Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин, устроенный одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны быть — эта организация собрала свыше двух миллионов долларов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришло много, хотели послушать «красных» — так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости — внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег (не раввин, а пастор) выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали сто — двести долларов. Некоторые выписали чеки на тысячу, пастор их прочувствованно благодарил, и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшиеся в большом долгу перед советским народом и что, когда выплачивают крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют, сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки — решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием.

Нового, конечно, Синклер Льюис ничего не выдумал, и я сам услышал в Бирмингеме комплимент: «Вы выглядите на сто тысяч долларов». Конечно, культ доллара был весьма распространен. Но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею «мирового правительства». Потом эта идея была использована политиками для целей отнюдь не гуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу; там мы обедали, и сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину для механизации уборки хлопка; ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение — боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энтузиастов, выступавших в Миссисипи против притеснения негров, видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце сороковых годов в Движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными: хотел понять все тонкости марксистского толкова-

ния событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих собеседников. Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дарр стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку и там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для него со всяческими неприятностями. Летом 1965 года на конгрессе в Хельсинки было много американцев-пацифистов: священники, квакеры, сторонники всеобщего разоружения, женщины, возмущенные войной во Вьетнаме, люди смелые и бескорыстные.

Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста — шесть-семь этажей, а в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой — Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом — в городке Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы: Хемингуэй или «дайджест», Фолкнер или дурацкие «комиксы». Я видел прекрасные фильмы Форда, Уайлера, Уэллеса, Мамуляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патоку и пакость.

Я давно хотел поглядеть на собрание членов Клуба львов — этот клуб имеет разветвления во всех городах. Как раз на Юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед «львов». Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали «ууу!». Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, «львы» вернулись к своим делам, а я шел по длинной Мэн-стрит и думал: хорошо, но откуда у них Фолкнер?..

В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме — это было роскошью: в Голливуде сделали несколько фильмов по его романам; он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерс-

кой (жена Стейнбека — художница). Он сказал мне: «Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным...» (Эти слова я потом не раз вспоминал — они верны по отношению ко львам различных мастей.) Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске, он захотел там посмотреть мастеров, которые вырезывают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготовлять соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся: «Хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись...» А Стейнбек восхищался: «Вот это искусство!..» И добавил: «Когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться...»

Прошло еще пятнадцать лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня, большой, крепкий, и я все время думал: до чего он связан с Америкой! Молодая страна, люди в ней не стареют — живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман; я его не стал об этом спрашивать, — кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя: писатели заняты своими героями, им недосуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее, я почувствовал тяжесть и снисходительность седьмого десятка, все же он остался громким, неуемным, похожим на свою страну.

Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя: чем живет Стейнбек? Чем живет Америка? Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа — я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна.

Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициативой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Трумэн — ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду; на дорогах несколько раз нашу машину останавливали и брали деньги за проезд, — оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору; мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампа-

нию против расточительства. Я видел повсюду рекламы: «Не забывайте, что на свете пятьсот миллионов человек голодают. Гейнц — пятьдесят семь соусов». Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гейнца рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Председатель покачал головой: «Напротив, фирма Гейнц старается помочь правительству. Официальным декларациям не верят, а у Гейнца большой авторитет...» Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке, в гостинице на Бродвее, где я прожил неделю, ночью была облава; арестовали провинциалов-молодоженов — у них не было при себе удостоверения о браке. Имелись штаты, где венчали без волокиты, а штат Невада разбогател потому, что там легко развестись. В вагоне-ресторане официант забрал стакан с виски: «Мы проезжаем через сухой штат...»

Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и Ферми обязаны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон ночь напролет говорил мне о будущем новой науки — изобретены «мыслящие машины». В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки.

В Джексоне, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин.

Разноречивые впечатления я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного, были, наверно, и ошибки — трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году «холодная война» быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фельетонам, напечатанным в наших газетах. Журнал «Харперс мэгезин», участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал перевод моих очерков, но в своих комментариях признал: «Важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель. Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например Андре Зигфрид... Статьи мистера Эренбурга появлялись в «Известиях» с июня по сентябрь — во время ныне знаменитой «культурной чистки», от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры... «Известия» писали в передовой: «Чему

же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры у «модных» деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строя?» Читая это, мы в испуге вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга: «Мы можем мно́гому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже (несмотря на потрясающую пошлость средней продукции) у американских кинорежиссеров». Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры предосторожности и снял с себя галстук». (Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых.)

Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь «холодной войны». Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев — в пристрастии к комфорту, в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя, и, думая о новой интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев: «Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастениками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Нью-йоркер», высмеивающий «американизм». Вообще, так издеваться над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец; и в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклинающие Америку, на самом деле страстные патриоты. Они — новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не «золотая»: они ищут духовные ценности; им мало высоких домов, и если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств».

Вероятно, все это правильно, но «быстро сказка сказывается», а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники; однако это было связано скорее с выкладками политиков и военных, чем с поисками «высоких дум и высоких чувств».

В годы, называемые теперь года́ми «культа личности», кибернетику у нас называли шарлатанством. Впервые Большая Советская Энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с

возмущением вспоминают прошлое: один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно «анахроничное увлечение Бахом или Блоком». Между тем люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с «американизмом». С увлечением я прочитал книгу Винера (хотя не все в ней понял); я слышал электронную музыку, охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить.

Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке, больший комфорт, чем теперешние «кадиллаки» или «бьюики»; не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Но я хочу думать, что люди грядущего будут обладать той культурой эмоций, которая отличает любовь героев Шекспира, Гете или Льва Толстого от случки питекантропов.

Древние изображали богиню мудрости с совой, и Гегель говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни.

7

Наш приезд в Америку рассматривался как «ответный визит» — в 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. «Холодная война» только начиналась. Американцы вели переговоры с Советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка», выходившего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили: «Трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов». От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке, где было много советских работников, но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго, и, когда нас пригласил заместитель Бирнса Бентон, Михаил Романович объяснил, что намерен познакомиться с работой

крупных чикагских газет. Симонов сказал, что выбрал Западное побережье — Голливуд. Пришел мой черед: «Я хотел бы поехать в южные штаты». Бентон попытался меня отговорить: далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеются хорошие гостиницы. Я возразил: от Москвы до Вашингтона еще дальше, я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы. Бентон повторил, что мы свободны в выборе.

Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, «колумнистов», статьи которых печатают одновременно десятки газет, Марквиз Чайлдс, писал: «Совершенно ясно, почему Эренбург — самый яркий и агрессивный из трех — выбрал «Табачную дорогу». В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй...» (Говоря о «Табачной дороге», журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к курению, а книгу Колдуэлла.)

Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков; мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным: положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от суеверий и нетерпимости. Я знал, что южные штаты Америки далеко отстали от северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал не далеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров перестала быть исключительным явлением; расизм вошел в быт века. Решив поехать в южные штаты, я думал не о газетных статьях, а о только что закончившейся, еще не отошедшей от меня войне, думал о многом темном, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху.

В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что Новый Свет забит хламом старых предрассудков.

В киосках можно было увидеть десятки газет, выходивших в Америке на различных языках — итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и других. Я попал в итальянский квартал; там сушилось на веревках белье, в тратториях люди накручивали на вилку длинные макароны, кто-то пел, — мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой, были вывески и русские и польские; ста-

рик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал: «Сульцбергер пишет, что он любит бога, если не еврейского, то американского, но, наверно, этот бог с таким вниманием читал «Таймс», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто...»

Названия городов напоминают, что люди пришли сюда отовсюду: Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толедо, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова... В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился — кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия.

Аристократия знала родовую иерархию: потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина; во Франции выше всего стояли принцы, за ними шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец — обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «де». Считалось, что в жилах аристократов течет «голубая кровь». Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот, загадочным для меня образом, создалась своя иерархия крови: выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских, голландских; несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, поэрториканцы, и всех ниже негры. Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый американец: «С ними обедают, но не ужинают», — обед — это деловая встреча в ресторане без жен, — с евреями можно делать дела, но не якшаться. Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев; обычно это на курортах, у моря или у озера.

Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем; там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами; с некоторыми из них я подружился.

Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме, и что ни говори — это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что даль-

ше ему ехать не стоит — не найдет назад пассажиров, окликнул такси с белым шофером, и я пересел. Конечно, были богатые негры, были даже занимавшие государственные посты (таких было мало, и посты были некрупными, но видимость соблюдалась); однако большинство черных выполняло черную работу: носильщики, мусорщики, сторожа, лифтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел «госпиталь рубашек» — так называлась мастерская, где на месте латали рубашку, клиент сидел полуголый и ждал: у него была всего одна рубашка.

Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей-негров. Меня предупредили, что их не подымут наверх — я жил на шестнадцатом этаже, скажут, что лифт не работает.

Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские труппы часто играли на Бродвее. В партере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан — в американском им сказали бы, что все столики заняты...

Расизм заразил даже тех, которые от него терпели: я встречал негров-антисемитов. А обиженный кем-то еврей кричал: «Почему вы со мной так разговариваете? Я, кажется, еще не негр!..» Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде — его дочь влюбилась в негра.

Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует, куда поехать. Дэниэл Гилмор был южанином, сыном адмирала; до войны издавал левый литературный журнал «Пятница» (под таким же названием выходил еженедельник в Париже, его редактировали Жан Ришар Блок и Шамсон). Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей — никогда бы я не разыскал тех захолустий, куда меня повез мой новый друг.

Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились добрые отношения.

Нельсон обращался к местным властям; меня приглашали на официальные обеды — то председатель торговой

палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, в заштатные городки, на хлопковые плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей — с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими.

Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что «колумнист» Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по Югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже вчетвером в утомленном, но поместительном «бьюике».

Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниэл Горацевич Гилмор, Билл Бенедиктович Нельсон и Сэм Ноэмович Графтон. Мы подружились, и южане не раз принимали нас всех за «красных». Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в «мотелях», то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло — я ездил как американский турист.

В Нашвилле я провел день в частном негритянском университете Фиск. Там училось около семисот юношей и девушек, они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами, но знали, что смогут лечить, учить, защищать только «цветных». Среди профессоров был крупный химик Брэди. Он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти, не может он пользоваться и университетской библиотекой: когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Брэди посылают: для Нашвилла — он негр, для заграницы — видный американский ученый.

(Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященную умершему в начале войны биологу Дзосту: «Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста — он был негром в Соединенных Штатах... В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке не смогли найти приложения на его Родине...»)

Среди студентов Нашвилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками, она заговорила со мной по-русски. Ока-

залось, отец ее негр, а мать одесситка, звали ее Лилиан Вальтфильд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилось: «цветная».

Мы осматривали плотину Теннесси — огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику шести южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками, но повсюду я видел надписи «Для цветных» и угрюмо думал: да бог с ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека!..

Когда мы ехали на Юг, Билл Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли, или сельские рабочие. В темных лачугах копошились огромные семьи, спали на полу. Мы встречали много неграмотных — школ для негров не хватало, встречали людей, никогда в жизни не видавших доктора: врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в три месяца.

А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами Юга, говорил: «Неграм у меня хорошо. Я их даже в церковь отпускаю...»

Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный — никогда прежде он не бывал на Юге. Я ему сказал: «Видите, и я пригодился — благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом...» Нельсон тоже впервые увидел южные штаты и был подавлен; больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании.

Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опоэтизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей Салтычихе, и темные, зловонные хижины, едкое человеческое горе — голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство: «Куда лезешь, грязный негр!..» (Эти слова я услышал на трамвайной остановке — вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было.)

Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету, — это я не раз чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижения. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей — знакомых Гилмора. Один из гостей, высокий, светловолосый, оказался архитектором. Мы го-

ворили сначала об урбанизме, о Ле Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда — было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал: ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту «цветной» и не может войти в бар — его в городе знают. Мне стало стыдно: ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотелось пить и, если говорить откровенно, не хотелось жить.

Другой раз я испытал нестерпимый стыд, когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она «цветная», посадил ее в вагон для белых; поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подозвал проводника и сказал, чтобы он выкинул «цветную». Девушка никак не походила на мулатку; проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной: «Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы...» Девушка смеясь добавила: «А я так испугалась, что двинуться не могла...» Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей, хотелось стать черным евреем.

Сторонники «расового разделения» или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки: есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых; теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. (Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал.) Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца — он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами, — она кормила грудью сына хозяев...

В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них; он жил бедно, но чисто, в маленькой комнате помещались пять человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношения с белыми товарищами. «На работе хорошие». — «Бываете вы у кого-нибудь из них?» — «Нет». — «А к вам приходят?» — «Никогда. Вы — первый белый, который зашел в этот дом...»

В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют «красным»: у них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для «цветных» имеются особые секции. «Вот места для негров», — сказал секретарь. Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно.

Помню долгий откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация, он старался как мог помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась негром, которого звали Вилли Меги, он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала: «Помогите, меня насилуют!..» Все, включая судей, знали, что женщина лжет, но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Меги — его приговорили к смертной казни. В городке Олбезилл шестеро белых изнасиловали негритянку; все знали, что они виновны, но их оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил: «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства, мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли — живое существо, а все-таки не белый... Я сам себе неприятен...»

Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Треблинки. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в южных штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке (еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место). Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. Семь параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали Мудрым и который действительно покровительствовал астрономии и другим наукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничения для евреев, весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в южных штатах для негров.

Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и

что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых отношений с новорожденными государствами Африки. Да и внутри самой Америки наблюдаются сдвиги сознания. Конечно, хорошо, что ровно сто лет спустя после победы Севера над рабовладельцами-расистами принят закон о предоставлении избирательных прав неграм Юга. Но это событие совпало с кровью на улицах Лос-Анджелеса, с выстрелами в Алабаме и Миссисипи, с накопившейся ненавистью угнетенных к угнетателям и с затаенной неприязнью либеральных «освободителей» к освобождаемым.

Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей: мы слишком хорошо знали, что никакое, даже самое передовое, законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков; они порой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной наготе.

О поездке на Юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев, эта книга — не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил, мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму, только в те далекие годы я принимал образование за воспитание, а знания за совесть. Выход, наверно, в гармоничном развитии человека, что требует много душевных сил, много разума, да и много времени; но если люди сейчас же не возьмутся за это, то они погибнут смертью, недостойной человека, — от превосходства ядерного оружия над хрупкостью немыслящего тростника, и погибнут они независимо от цвета кожи или от формы носа.

8

Мне казалось, что я потерял возможность изумления; перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил три войны, революцию, тридцать седьмой, фашизм, Победу, и вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы, — меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов, но эти часы мне запомнились лучше,

чем некоторые крупные события моей жизни, — можно забыть радости, напасти, а изумление не забываешь, оно врезается в память.

Конечно, я видел фотографии Эйнштейна, кто их не видел, но выглядел он иначе, — может быть, потому, что снимки были давнишними, может быть, потому, что фотообъектив не глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было шестьдесят семь лет; очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными, и вдруг они начинали задорно смеяться, скажу, не страшась слова, — по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться — как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы, он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять...»

В «Хулио Хуренито», написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении. Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен (к счастью, я это понимаю) — сказывается «незаконченное среднее». Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах, скорее, догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я волновался: о чем я смогу говорить с великим ученым — я ведь неуч?.. О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн человек простой, он меня пригласил потому, что интересуется Россией, угрозой новой мировой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал, и если раскрывал рот, то от изумления.

Все меня изумляло — и его внешность, и биография, и мудрость, и задор, а больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн.

(Как-то я сидел рядом с Жолио-Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторя-

ли общеизвестные истины. А Жолио, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. (Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли.) «Физики похожи на поэтов, они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теорию бета-распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год, Дирак — в двадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть!» Глаза Жолио лукаво заблестели, вдруг он насупился: «Нужно послушать, что он говорит...» А я записал слова Жолио на проекте очередной резолюции.)

Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевен мне говорил: «Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика — новая наука...»

Он разбивал старые представления о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Ролланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе.

(Много позднее я прочитал его «Автобиографические наброски», воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта: он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и, наконец, американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился «экспертом третьего ранга в бернском бюро патентов». Три года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего два студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекций в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Пасадене, в Принстоне; побывал во многих странах Европы; ездил в Индию, в Палестину, в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел задушевных бесед! Я не говорю об ученых, — естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, о которых он писал или упоминал в разгово-

ре: Ромен Роллан и лорд Бертран Рассел, Кафка и Чарли Чаплин, Рабиндранат Тагор и наркоминдел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернард Шоу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аплодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту (даже написал статью «Вопросы управления парусной яхтой»), и вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы первой мировой войны, узнав, что Ромен Роллан выступает против националистического ослепления, он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом — ни немецким, ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил: «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школа, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях евреях веру в себя...» Он сделал все, что мог, для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, боровшихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела Лиги Наций, заявив, что она потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он — сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров: «Это темное пятно на совести каждого американца». В годы второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал анафеме «холодную войну», настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жолио-Кюри.

У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, которые, как им казалось, подрывают их небольшую, заработанную всеми правдами и неправдами, репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты: для них он был прежде всего евреем. Была образована организация «Антиэйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей Эйнштейна — срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквили, листовки. В 1922 го-

ду «королевские молодчики», узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни, за его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ренкин в палате представителей предложил правительству «покарать агитатора, некоего Эйнштейна», осмелившегося выступать против режима Франко. Пять лет спустя тот же Ренкин говорил: «Старый шарлатан, некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря...» Эйнштейном занялась знаменитая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.)

В записной книжке я нашел некоторые фразы Эйнштейна — записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах: «Это дети, иногда милые, иногда распущенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками... Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европеец, но читает другое и, главное, читает иначе. Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу, он ответил: «Кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько лет назад, наверное, она устарела...» Такому интересно только новое... Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс — снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс: показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании... В Центральной Африке существовало небольшое племя — говорю «существовало» потому, что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена Гора, Пальма, Заря, Ястреб. Когда человек умирал, его имя становилось запретным (табу), и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд, следовательно, оно не могло развиваться — чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени... Я прочитал в журнале «Ньюйоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня, в восторге сказал: «Бомба чудесная!..» Конеч-

но, есть и другие. Но все это очень тяжело... Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется...»

Он еще вернулся в разговоре к бомбе: «Видите ли, самое опасное — рассчитывать на логику. Вы убеждены, что дважды два — четыре? Я нет... Несчастье, что умер Рузвельт, — он не допустил бы...»

(Опять-таки позднее я узнал о том, что называют «драмой Эйнштейна». За месяц до начала второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работают над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту — умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо. А новый президент Трумэн несколько месяцев спустя отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки.)

Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги». Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза, я увидел в них скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал: «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания безграничны и безгранично то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ...»

Он спросил, куда я собираюсь поехать. Я ответил, что послезавтра уезжаю на Юг — хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал: «Живут они ужасно. Постыдно! Действия правительства южных штатов подпадают под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса...» Через несколько минут, когда мы спустились в сад и нас там мучил фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос: «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» Я ей ответил: «Не знаю. Захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверно, лишился бы сна и аппетита». (В его глазах загорелся задорный огонек.)

Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал: «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь

со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. «Жалко — мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал — преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности. И все же личность играет крупнейшую роль... Я куда лучше представляю себе Ленина — читал о нем, видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение — не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями...»

Еще записана одна фраза — не могу вспомнить, в каком месте разговора он это сказал: «На меня очень большое впечатление произвели «Братья Карамазовы». Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла...»

Прощаясь, он сказал: «Главное теперь — не допустить атомную катастрофу... Хорошо, что вы приехали в Америку, пусть побольше русских приезжают, рассказывают... Человечество должно оказаться умнее, чем Эпиметей, который раскрыл ящик Пандоры, а закрыть его не смог... До свидания! Приезжайте снова...»

Десять дней спустя я услышал по радио знакомый голос: Эйнштейн говорил о смертельной опасности, нависшей над человечеством, — необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться — он хотел захлопнуть ящик Пандоры.

Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки, — все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос, которые трепал весенний ветер.

9

Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской я примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память, конечно, эта фотография не будет опубликована; и, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Жур-

налист сообщал, что Эренбург отказался от застежки «молния», предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь игривую фотографию, — я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку», — объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?..» Он удивленно посмотрел, потом захохотал: «Здорово! У вас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер...»

Вначале меня удивлял характер многих американских газет; потом я привык и перестал обращать внимание. Беспокоило меня другое — первые признаки того, что год спустя было окрещено «холодной войной».

Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел: прочитал, что в псалме сто девятнадцатом говорится о Мосохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что пророк Иезекииль указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а Мосох и Мешех не что иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл — небольшой провинциальный город, можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне: «Вот беда — только отвоевали и снова придется воевать, теперь уж не с немцами, а с русскими...» Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают: «Красные танки идут на Тегеран...» Опровержений никто не помнил, помнили страх. Я спрашивал людей, разбиравшихся в иностранной политике: почему они считают третью мировую войну неизбежной? Они не ссылались на Библию, а говорили: «Русские собираются захватить Персию... Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию... Москва претендует на Грецию... Красные грозят начать войну, если Тито не получит Триеста...»

Мы пробыли в Америке два с половиной месяца, и за этот короткий срок многое изменилось: газеты все чаще выказывали неприязнь, люди, с которыми мы встречались, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало «холодной войны». Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, —

с бывшим вице-президентом Уоллесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппером, Коффэ, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдисон-сквер пришли двадцать тысяч американцев; выступали и посол Громыко, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масленой полутьме огромного зала дружеские улыбки.

Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту: они писали небылицы о нас, хотя мы были рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ, и милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его: «Тайный агент красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон». Я приехал с Симоновым в Бостон, ехали мы ночь, на вокзале нас встретил член Совета американо-советской дружбы. Накинулись репортеры; мы отвечали; наконец член Совета сказал: «Дайте им позавтракать, передохнуть»... Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы». Я спросил редактора, почему он печатает в своей газете бессмыслицу — ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение: говорили «каунсел» (совет), а репортеру послышалось «кенсел» (консул). Может быть, так и было на самом деле, а может быть, и не так: я не раз замечал, что, когда в дело замешана политика, недоразумения объясняются разумением и бессмыслицы полны смысла.

Херстовские газеты меня называли «замаскированным агитатором», «товарищем циником», «Ильей из Коминтерна». Это звучало почти академично. (Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям, помню хорошо два из них: «кремлевский недоносок» и «наемный микроцефал».)

Один из друзей Рузвельта объяснил мне новую политику Америки: «Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Непримиримая политика Соединенных Штатов, испытания атомных бомб заставят Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники «твердого» курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям».

Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку.

В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы, мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях, и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого действия. В Канаде нам показали сцену из следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу — нас туда приглашали, но из Москвы пришла телеграмма: нам советовали принять приглашение канадско-советского общества дружбы — выступить в Торонто и Монреале; пришлось согласиться.

Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть: гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений.

Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был бывший сотрудник посольства Гузенко — его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком, газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума, газеты сообщают, что задержанные лица «работали в пользу одной иностранной державы». На этот раз канадское правительство (вряд ли по своей воле) подняло ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о «красной опасности». В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера, таким образом, была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной.

Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин «Комитета помощи России в войне», и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально — с деревянным молотком председателя, с благородными речами, с чеками

и с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владелец газеты жил за городом в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное. Галактионов сидел неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, будто рассматривает гравюры на стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе, я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал: «Таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика...» Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край, и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут десять и ушли.

Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из Общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал: «Мне нравятся страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас журналисты только и говорят что о новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как воевали, как восстанавливаем разрушенные города? И второй вопрос: по конституции Канада — двуязычная страна, а на границе не понимают, когда говоришь по-французски, на почте тоже, да и среди журналистов — я вижу по лицам — большинство меня не понимает».

Мои слова были медом для французской печати Монреаля и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей: «Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски». Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых.

В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы Канадского легиона в десятый раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер «Ля патри», где напечатан мой ответ: «Советское правительство заявило, что оно думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я — один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона, ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы

первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во второй мировой войне — на Шельде. Мне кажется, что в словесной войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место, но вряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей? Думаю, что нам лучше договориться и дружить».

Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг — готовятся беспорядки. М. Р. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся.

Я хотел поехать на один день в Квебек — посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал: «В Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать»...

Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в нашем посольстве, там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели как в бесте.

В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я прошу прощения — устал, плохо себя чувствую: меня ведь атаковали больше других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая, и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался: слава богу, кончилось!.. В Олбани самолет приземлился. Нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде.

В Олбани мы провели несколько часов — без программы, без журналистов, без друзей. Это был обыкновенный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках. В барах на высоких табуретах сидели крикливые и в то же время молчаливые люди — они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие, скрипучие звуки — то заказывали «бурбонсода», то ругались, то, осклабясь, восклицали «иесс». В витринах магазинов красотки из пластмассы, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне лет-

них платьев и о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили: ждали поезда.

Я запомнил этот вечер в Олбани потому, что там я неожиданно разговорился с одним из посетителей бара. На вид ему было под пятьдесят; его медно-красное лицо сверкало от пота — вечер был жарким. Он прожил два года в Брюсселе и говорил по-французски. Он рассказал мне свою биографию: его отец был мелким плантатором в штате Небраска, он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги — послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател — попался прекрасный мастер-венгр, убежавший из тюрьмы. Салями ему вскоре надоела, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал издавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис, он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но, в общем, все приходит и уходит, кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска, увлекся политикой — участвовал в предвыборной кампании, правда неудачно: агитировал за республиканцев, а прошел снова Рузвельт. Он вторично женился — на вдове, получил в придачу пасынка-шалопая, но и сбережения, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг — Пирл-Харбор, завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность — забраковали поставки, газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов, все пировали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо, в его бюро одиннадцать служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности — он изобрел машину для световых реклам, которые сообщают также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнца, сигарет «Кэмел», трех банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы; а в бюро останется пасынок.

Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся: «Я не бельгиец, не француз и не русский, я настоящий американец. В мае мне исполнилось пятьдесят четыре года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу взобраться на вершину». Потом он начал философствовать: «Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверно, они хорошие бизнесмены. Но я читал в «Таймсе», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалованье. Это неслыханно скучно! Да если бы во время великой депрессии (так он называл кризис конца двадцатых годов) мне сказали: дадим тебе приличное жалованье, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, — я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно! Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются: там каждый молодой человек — духовный импотент...»

Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал.

В пульмановском вагоне было темно — все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной — там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собутыльника.

Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Иль-де-Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и они привели нарядные залы, каюты в состояние, соответствовавшее их душевному разору.

В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили «желтые», а багажа было много: Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на «Иль-де-Франс»! Жюль Ромен (которого ждали звание академика, или, как говорят французы, «бессмертного», мундир, шпага) и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме шесть лет, бельгиец, фабрикант сигар, и чешский профессор. Ехали все в разоренную, голодную Европу, везли меховые манто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент, горячась, кричал, что пора покончить с «проклятыми клерикалами». Старая аристократка из Пуатье вздыхала: «Зять написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что Бидо — честнейший человек, но тряпка, допустил, что Торез теперь во дворце Матинь-

он. А партизаны припрятали оружие... Конечно, в Америке спокойнее, но я хочу умереть у себя дома...» Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить наново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, с оставленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но «Иль-де-Франс» увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке.

Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе — то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицему американцу, которого встретил в Олбани: «В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам «Донской речи». Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот: в горах Черногории люди кричат: «Белград — Москва!» — а в Америке капитализм переживает если не молодость, то «прекрасный возраст для мужчины», как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться — революции там в ближайшие десятилетия не будет. Остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, но уж очень азартные...»

Я думал о том, что слышал в Канаде, думал с ужасом: тоже получилось не по программе — послевоенные годы начинают оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым — для них буря только-только начинается, ветер кружит столбы пыли...

Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны, но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре «Иль-де-Франса» чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми, с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню... Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами, — о прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги...

Помню только, что в одну из ночей ко мне подошел Галактионов. Он пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо — морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать: «...И звезда с звездою говорит...» Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал: «Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко, наверно, куда реже, чем звезда со звездой»...

10

Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека; мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям, иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века: мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей, говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим — старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое.

Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом» — обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пятидесяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален — и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы не беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать, — о мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком, как тогда пренебрежительно говорили «прапором» или «фендриком». Хотя Галактионов в 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску.

В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из «колумнистов», на любую мелочь, которой Симонов или я даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно.

В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сгорбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он ответил: «Все в порядке», — и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед Юнайтед Пресс. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами... Это пытка!..»

Он честно выполнял порученную ему работу: выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя «холодная война» усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах — на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной Армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены». В другой раз журналист задал Галактионову вопрос о наших потерях: «Вы сказали — семь миллионов, входят ли в эту цифру военнопленные, погибшие в нацистских лагерях?» Генерал взволновался и попросил меня ответить.

В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель, — сказал он, — кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату № 6». Чуть ли не наизусть знаю, но, когда дохожу до

сцены, как Никита выдает доктору шутовской халат, не могу дальше читать... Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым. А здесь принесли мне его рассказы, не могу читать — смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре»... Меня точность поражает — ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте: «Постное есть вредно, а скоромное нельзя...» Или еще вот это место: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться...» В дверь постучали, Михаил Романович поспешно захлопнул книгу.

На моей совести грех, — сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание: стоило ему выйти на улицу — как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять и никто на него не смотрел, даже рассмеялся: «Наверно, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена...» А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии, перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы!..» Нужно сказать, что «колумнисты» усиленно нами занимались: один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих гаванских сигар. И вот один из «колумнистов» написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился... Мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен: «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить!..» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича — умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «При чем тут жена?.. Я вам говорю: что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить: мало ли писали вздора обо мне, Симонове, у нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился: «Вам все сойдет — вы писатели. А я человек военный...» И вдруг не удержался: «Я слишком много пережил...» Сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Крон-

штадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям.

Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах «культа личности», вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован; он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он десять лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной «ежовщины». Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимися словами «я слишком много пережил». Послужной список Галактионова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было двадцать лет, пошел на фронт, остался в армии, подымался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе Совнаркома. Разразилась гроза: арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с «вредителями». В его шкафу нашли книги «врагов народа». Партийное собрание единогласно постановило исключить его из партии. Он лишился военного звания, работы. Ему повезло: полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в «Красную звезду». А в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный и старательный человек, и Галактионову присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию «Красной звезды», потом перевели в «Правду», послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен: он помнил, как на собрании его называли «трусом», «подхалимом», «лицемером», как ночью он прислушивался к шуму на лестнице.

Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь. Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих Галактионов. Его травили, а он помнил, что не следует подливать масла в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен.

Он пробыл, кажется, неделю в Париже, повеселел, ходил в книжные магазины; как-то мы просидели с ним часок в Люксембургском саду возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о Герцене, о парижских рабочих. Я подумал: пройдет, человек жив...

В 1947 году в «Правде» я встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врывались в чужие номера — не знали, что цифры те же, но есть «W» и «E» — «запад» и «восток», это походило на водевиль. Но он не улыбнулся, угрюмо сказал: «А я теперь на один этаж выше...» (потом я узнал, что он мучительно переживал перемещение — считал, что если его посадили дальше от кабинета П. Н. Поспелова, значит, ему больше не доверяют).

Конечно, психиатр объяснит все по-своему. Но теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь не тому, что Михаил Романович погиб от контузии, а тому, что многие из моих друзей и знакомых, да и я сам, выжили.

В этой книге я рассказал, как покончили с собой писатели и художники, которых я знал: Есенин, Андрей Соболь, Маяковский, Паскин, Рене Кревель, Паоло Яшвили, Толлер, Марина Цветаева, Хемингуэй. Галактионов стихов не писал. Он опубликовал «Верден, 1916 год», «Темп операции» и другие труды, в которых старался логично проанализировать различные военные операции. Он не был поэтом, он был честным и добрым человеком. А судьба в те годы не задумывалась над логикой. Игра была злой и зачастую нечестной. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством.

11

Я остановился в гостинице на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен; мне отвели мансардную комнату с балконом, откуда был виден Париж — черепица, трубы, старые дома, сбившиеся, как овцы, в смутное, серое стадо. Порой в сумерки я любовался знакомой мне картиной, порой ее не замечал.

Мне сказали, что Дениз приехала на несколько дней из Аннеси, где жила с сыном. Мы пошли в кафе «Фрегат» на берегу Сены, там мы иногда встречались пятнадцать лет назад. Она рассказывала про годы оккупации. Глаза ее по-прежнему казались лунатическими. Я спросил, не рассердилась ли она, что актриса Жаннет из «Падения Парижа» напоминает ее. Она ответила: «Мне об этом говорили. Я не стала читать...» В чернильной Сене бились красные и зеленые круги.

Арагон и Эльза Юрьевна позвали Симонова и меня на «Чердак» — так называлось помещение Комитета писате-

лей. Еще жила память о годах оккупации, спайка военного времени. Я увидел много старых знакомых — Элюара, Вильдрака, Кассу, Кокто, Авелина, Мартен-Шоффье, Полана, Сартра. Молодые, с которыми я встречался, обязательно заговаривали о Сартре, — видимо, он выражал беспокойство тех лет. Париж и вправду изменился: мало кто из писателей говорил о реализме, сюрреализме, персонализме — рассказывали о Сопротивлении, о книгах, выходивших в подполье, о неразберихе — искали, где свои, вероятно, многие в громких и противоречивых событиях искали себя. Здесь мне хочется сказать хотя бы коротко об Арагоне. Познакомился я с ним в 1928 году, когда он был молодым, красивым сюрреалистом. На Монпарнасе много говорили и о его прекрасной книге «Парижский крестьянин», и о различных шумливых демонстрациях: задором сюрреалисты напоминали наших футуристов, Арагон был одним из самых боевых. Потом он стал сторонником реализма, коммунистом, создавал различные организации, редактировал журналы, газеты. Мы продолжали с ним встречаться и порой отчаянно спорили. В 1957 году Арагон возмутился нападением на меня одного критика в «Литературной газете» (это было после моего очерка о Стендале) и выступил в «Леттр франсез» с ответом. В статье он, между прочим, писал: «Я привык, и уже говорил об этом, спорить с Ильей Эренбургом в течение тридцати лет. Мы расходимся во всем, кроме самого существенного — мира и социализма, войны и фашизма...» Может быть, я заговорил об Арагоне именно в этой главе потому, что в 1946 году «самое существенное» поглощало всех и мы с ним даже мало спорили. А в общем, Арагон прав: порой мне бывало с ним трудно, но ни разу наши споры не переходили в размолвку.

Не стану говорить о том, что всем известно: это большой поэт и большой прозаик; одни его книги мне близки, другие нет, но я сейчас не об этом хочу сказать. Он человек очень сложный, он часто меняет свои оценки, но справедливо сердится, когда пробуют противопоставить один его период другому, — он всегда оставался Арагоном. В нем есть одержимость, даже когда он пишет классическим стихом или посвящает страницы романа описанию одежды героя. Выбрав линию жизни, с начала тридцатых годов он защищал от врагов и то, что называл «самым существенным», и то, с чем по-человечески не мог примириться, защищал искренне и неистово. К «самому существенному» нужно добавить любовь к Франции: она орга-

нична и всепоглощающа — она продиктовала и его стихи в годы Сопротивления, и роман «Страстная неделя». Мне кажется, что он преемник Гюго, только нет у него ни внуков, ни уютной бороды, ни некоторых идиллических картин, которыми утешался Олимпо, а близок ему Арагон блистательностью, красноречием, неугомонностью, ясностью, гневом, романтикой реальности и реализмом романтического. Конечно, у Арагона куда больше горечи — на дворе другое столетие...

Помню, как я пришел к нему в начале 1963 года. Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в баре «Куполь». Вот только волосы побелели... Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне исступленное стихотворение о трагедии мавра, который говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему Коран.

А в 1946 году Арагон был веселым — еще свежей была победа.

Приехала из Москвы Люба. Фотинский повел нас на Монпарнас. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся, она, как когда-то, смеялась, но рассказывала грустное — как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишняков отправили в Освенцим. Замучили художника Федера. Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам, и умер без медицинской помощи.

Андре Шамсон позвал нас к себе, он был директором музея Пти Пале. Мы ходили по пустым залам — музей был закрыт, и я долго стоял перед холстом Ватто; снова думал о непонятной силе искусства. Когда Ватто было двадцать лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев; пять лет спустя он нашел себя — вот паяц, в котором все горе художника, да и трагедия внешне легкомысленного века, профессионал-комик, забывший про свое амплуа...

Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией; он молча глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее.

Окна квартиры Пьера Кота тоже выходили на Сену. Вода никогда не надоедает, она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем — о поэзии, о Бидо, о времени и о минуте. Пьер Кот объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна; предстоит междоусобица, неизве-

стно, кто победит, — Франция разорена, а деньги у Америки...

Нас позвал к себе Эффель, печально дурачился, показывал новые карикатуры.

Ланжевен плохо выглядел, постарел, его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. (Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев.) Он сказал мне: «Все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди»...

Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись; говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции (в Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского — шли споры о мирном договоре с Италией). Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное.

На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты. Только Вольтер исчез: немцы соблазнились — не усмешкой, а бронзой.

Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за шесть лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц. Все меня спрашивали, изменился ли Париж, я отвечал «нет» — город тот же, но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным.

«Париж очень изменился, — сказал я Дениз и тотчас поправился: — Наверно, изменился я...»

Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке: французы понимали, что такое война. (В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения, она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые.) Во Франции было трудно с обувью; на улицах еще раздавалась чечетка деревянных подошв; в одном бретонском городе я видел, как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельческих районах, где до войны кабатчик

ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Ла-Боль развлекались богатые парижанки, американские военные, и тут же ютились жители разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых бараков. Говорили о том, что нет масла, нет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо.

Те, что разбогатели за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. В Анже владелец ликерного завода мосье Куантро, показывая мне различные цеха, говорил: «Немцы очень ценили наши изделия»... Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени: «1942-й был замечательным!..» Они говорили о достоинствах вин — один год не похож на другой. Но я вспоминал Ржев, сожженную Старицу, голодных солдаток... Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались остроумием Кокто, Жироду, Салакру. В доме Анатоля Франса я увидел на стене размашистую подпись: «Здесь побывал солдат Клотцке».

Всего год прошел после окончания войны, а многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фаржа. Я его встретил 14 июля во время демонстрации, он сказал: «Я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в Бикини, там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться. Бикини — это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много...» Фарж объявил войну крупным мародерам, богатевшим на вине, мясе, хлебе. На своем посту он продержался всего четыре месяца — короли «черного рынка» оказались сильнее.

Все путалось — былые мюнхенцы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет», выведенные краской, дегтем, мелом, — ответы на референдум.

Передо мной фотография — президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом — Эррио, премьер Бидо, Торез, Ланжевен, посол Богомолов.

Торез жил во дворце Матиньон; как-то он позвал нас ужинать. Сановитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказалась неприязнь: конечно, Торез был заместителем премьера, но для привратника он оставался подозрительным заговорщиком.

Я был в Париже во время очередного референдума. За два года французов в седьмой раз приглашали к урнам; многим это надоело, и процент непроголосовавших был высок. Де Голль предложил отвергнуть текст новой конституции. В «Известиях» за октябрь 1946 года я нашел мою статью о Франции, в ней я писал: «Де Голль — человек, перенесенный из 17 века в 20-й. Он вовремя понял значение моторов в войне, но значение тех, кто изготовляет моторы, осталось для него скрытым. Может быть, он считает себя новой Орлеанской девой, призванной спасти Францию? Люди, которые несколько лет тому назад кричали, что де Голль «изменник», «террорист», «коммунизан», теперь кричат: «Вся власть де Голлю!» (события разворачивались быстро, и жизнь газетной статьи эфемерна; но вот прошло 16 лет, и сегодня я мог бы написать о де Голле то же самое).

Новая конституция была одобрена незначительным большинством: Пьер Кот был прав — я увидел Францию, расколовшуюся на две половины. Впрочем, это началось давно — еще в середине тридцатых годов: рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге. Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938—1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю.

Мы провели несколько недель в Рошфор-сюр-Луар, где нас приютил владелец аптеки поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слывшего «красным». Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил: «Этот кабатчик «сотрудничал»...» Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах, — крупный землевладелец и торговец вином: большинство голосовало за правых. А меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов.

Я много бродил по окрестным холмам. Кругом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой Луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдыхал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне рассуждали о том о сем, как мне передавалось общее беспокойство, духота слишком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы.

В другом городке, который славится вином, Вуврэ, в пещерах — погреба́, там зимой не холодно, а летом не жарко. Вуврэ, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил: «Зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые... Мое богатство оплачено по́том трех поколений». Дочь другого винодела Бедуар была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в Учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом, он говорил: «Мой отец был коммунаром»... А двенадцатилетняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов: в точности определяла год вина и откуда оно — с холма или с участка возле кладбища.

В Лимузене я познакомился со многими участниками маки́. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках — в моей голове рождались многие герои «Бури»: Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню: «Свисти, свисти, товарищ...»

Я побывал в Орадуре. Жителей этого городка гитлеровцы собрали в церкви, детей — в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы шоколада Менье. При въезде в город плакат предупреждал: «Тише!» — развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Орадур, и его мэр был коммунистом.

Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье — там праздновали пятидесятилетие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал: «Я выступал в Эймутье сорок лет назад, помню, на собрание пришли трое. А сейчас здесь не меньше двух тысяч...» Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз — победитель, он сможет спокойно восстанавливать города; расцветет культура; никогда американцы не посмеют напасть — Западная Европа восстанет. Потом он спросил, правда ли, что в Москве закрыли Музей западной живописи: «Я там несколько раз был — чудесная коллекция. Особенно наших импрессионистов...» Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка, и вместо ответа заговорил о только что открывшейся в Париже выставке картин, похищенных гитлеровцами и вернувшихся во Францию, — там были прекрасные пейзажи Синьяка.

В Дордони можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люрса, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли кре-

стьяне и старик сказал: «Товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал — мы решили создать парторганизацию...»

Отдыхать мне пришлось недолго. «Известия» торопили с очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы «Франция — Советский Союз» просило поездить по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможе. Приходилось выстаивать на различных приемах — в мэриях, в отделениях Общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможе я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор «Клошмерля» Шевалье хотел, чтобы я ему объяснил, чем страшен Зощенко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик «Нормандии» Жоффр, с ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков — все стояло на своем месте: отвага, могилы, дружба.

Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась; я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью.

Несколько раз я заходил в Люксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь не мирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эватт. В глазах журналистов он вскоре стал «звездой» — знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал, и в буфете для прессы оставляли недопитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал: «Сейчас выступит Эватт...»

Я на себе почувствовал, что такое «холодная война». Когда я остановился в Париже по дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или по меньшей мере вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен — у меня в Москве квартира из десяти комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французов против американцев, уверяю, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы, наверно, мне поставят памятник в Черной Африке, но из Франции мне лучше убраться. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов «укра-

денные у них деньги». В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали: «Москва готовится оккупировать Францию!» В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан; одна из местных газет уверяла, что у преступников найдены русско-французские словари; в очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я, часом, в Нанте.

Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось: «холодная война» шла в любом французском городе. Пьер Кот говорил: «Исход неизвестен...» Человеку не хочется огорчать себя, и мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень, в октябре цвели розы. Люди улыбались — характер у французов легкий, они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, миловидной женщиной, прошедшей мимо.

Я зашел к Жан Ришару Блоку в редакцию «Се суар». Он предложил пойти в соседнее кафе, выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды: социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя партиями большинство — и в парламенте и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку: «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «перемелется — мука будет». Перевести было нелегко, но я перевел и шутя добавил: «У нас иногда говорят вместо «мука́» му́ка»...» Он сердито посмотрел: «Му́ка — когда мелют. А когда перемелют — должна быть мука́».

12

В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Суридьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом — в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже — работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали — вырезали желудок, он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет.

В сентябре Арагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы «Ницца», где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хоро-

7 Зак. 92

шо мне знакомое по многим фотографиям, но, когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза.

Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей, да и они были всего на восемь — десять лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было семьдесят семь лет.

Он поздно начал. Пикассо в четырнадцать лет рисовал, как опытный мастер; а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было двадцать лет, после операции аппендицита он со скуки начал перерисовывать картинки. Великий мастер Возрождения Мазаччо умер в возрасте двадцати семи лет, столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые «станцы». Пикассо успел до двадцати семи лет написать холсты «голубого периода», «розового», «Авиньонских девушек» и пришел к кубизму. А умри Матисс в двадцать семь лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом.

Я позировал Матиссу три раза. Во время первого сеанса он мне рассказал: «Когда меня понесли на операционный стол, я про себя простился с жизнью. Случилось чудо — судьба мне подарила вторую жизнь. Надбавку... И, знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему — людям, деревьям, краскам...»

Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно: «В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю...»

За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около пятнадцати рисунков, два подарил мне и под лицом красивого юноши, чуть улыбаясь, надписал: «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что, рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее: «Таким я вас представляю»... В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал: «Это — голова, глаза, рот плюс то, что я о вас знаю...» Работая, он все время разговаривал, точнее, спрашивал, хотел, чтобы я говорил: «Это мне не мешает, а помогает». (А он рассказывал многое, отдыхая между двумя рисунками.) В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня, но тотчас поправился: «Лучше сказать: вижу и чувствую». Когда я спросил его,

почему он привязан к натуре, он улыбнулся: «Я всю жизнь учился и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы...»

Меня поразила точность линии — рука не колебалась. (Потом я увидел документальный фильм о Матиссе, там применен способ замедленного показа, видно, как точно художник проводит линию.) Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой: «Конечно, за шестьдесят лет кое-чему я научился. Далеко не всему... Помню, я читал книгу о Хокусаи, он прожил девяносто лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться... Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении. А мы говорим: «Сегодня хорошо работается». Это связано с внутренним состоянием: иногда чувствуешь — значит видишь, а иногда не выходит... Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст!..»

Во время последнего сеанса он много говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, Л. Н. Делекторскую, которая помогала ему в работе над картонами: «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную, — скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» — спросил Матисс. Я ответил: «Очень». — «И вам ничто не мешает?» — «Нет». — «Мне тоже. Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра: «Почему у слона подняты вверх бивни? Хобот слон может поднять, а бивни — зубы, они не двигаются». Негр послушался...» Матисс снова позвонил: «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы: «Бивни на месте. Но искусство кончилось».

Тогда же он начал говорить об истоках современной живописи: «Арагон считает, что все началось с Курбе. Может быть. Может быть, позднее — с Мане. А может быть, и куда раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников, каждый из них расходится с другими, и я не знаю, какой рот был у Энгра. А Гюго я знаю по дагерротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анато-

мию, если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подыматься...»

Он много курил, на кровати лежали пачки различных сигарет — французских, египетских, английских. «Моя жидкая пища однообразна и ничего не говорит нёбу. Различный вкус сигарет — это то чувственное наслаждение, которое мне оставили, беру одну, потом другую. Ну и глаза... Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине...»

Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров «Полинезия» были почти закончены. (Много позднее я увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги — он не мог сидеть у мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность, и, глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке, прикованном к кровати, видишь крылья творчества.)

Матисс расспрашивал меня о Москве. «Я там был ровно тридцать пять лет назад — в октябре тысяча девятьсот одиннадцатого, — меня пригласил Щукин... Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи... В Москве я кое-что понял, почувствовал... Я не разбираюсь в политике, но не скрываю моей симпатии к вашей стране. Наверно, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми, ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок...»

(Матисс всегда чуждался политики, однако после начала «холодной войны» он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо спасти мир. В 1947 году я написал для «Литературной газеты» статью о борьбе за мир. В ней были такие строки: «Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых Франции — покойного Ланжевена и Жолио-Кюри, крупнейших ее художников — Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов — Арагона и Элюара». Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в «Леттр франсез». А несколько дней спустя в Париж пришел номер «Литературной газеты», и антисоветская печать с восторгом поместила примечание:

«Редакция считает неправильным, что тов. И. Эренбург обходит молчанием вопрос о формалистско-декадентском направлении творчества Пикассо и Матисса». Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие Вроцлавскому конгрессу, а в 1950 году подписал Стокгольмское воззвание.)

Редко я встречал человека, который и внешностью, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов, мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потомственного картезианца.

Он рассказывал о русских коллекционерах: «Щукин начал покупать мои вещи в тысяча девятьсот шестом году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, всё... Говорят, что есть художники, глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расстаться с холстом, я говорил: «Это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие...» Он глядел и в конце концов говорил: «Беру тот, что не вышел». Морозов был куда покладистее — брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи...»

«Лидия, принесите портрет Щукина»... Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал: «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в Музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей как мой дар». Я знал, что Музей западной живописи закрыт, холсты Матисса хранятся в фондах. Куда я его отвезу?.. Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз, — наверно, скоро снова приеду в Париж. Потом я упрекал себя — нужно было взять и сохранить у себя, теперь бы он висел в Эрмитаже или в Музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят: «Крепок задним умом».

Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара, сказал и про то, как тяжело было читать стихи о радости среди могил и развалин. Матисс ответил: «Я вас понимаю... Я думаю,

что поэт похож на художника. А живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью, и ничем иным. Можно обладать гением, но, если художник не в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует...»

Матисс родился на севере Франции, но почти сорок лет прожил и проработал в Ницце, там и умер — влюбился в цвета юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шалях, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы, — он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача и я увидел творца радостного ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить и который продолжал работать — мудро, скажу, не страшась, что слово может резнуть, — весело.

Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью и уроком.

13

В последней части этой книги еще меньше, чем в предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать события ни к чему — они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, «Ротонда», кафе, где «ничевоки» провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны, но вряд ли стоит перечислять все эпизоды «холодной войны» или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться понять время, себя. Но объяснить все, что я видел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, взобравшимся на гору, откуда все как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее, это не могло никого удивить: я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом: задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю, а главное — из того, что знаю, далеко не все понимаю.

Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже приподымать занавеску исповедальни, я думал о своей частной жизни — хотел предупредить, что

если я мог рассказать про первую любовь гимназиста, то не стану исповедоваться в «кружении сердца» взрослого человека. А в последней части книги то и дело опускается не только занавеска исповедальни, но и занавес театра, на сцене которого разыгрывалась трагедия моих друзей, сверстников, соотечественников. Когда-то я бывал всюду младшим; из людей, описанных мною в первых частях, мало кто остался в живых. В послевоенные годы редко где я не был старшим, и почти все люди, с которыми я встречался, живы. Скажу и о событиях. У писателя есть своя внутренняя цензура, она хватается за ножницы не только когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, казалось бы, давно рассекреченных историй. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отшельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои сегодняшние идеи, пытаюсь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или из другого века, — битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали; но, конечно, о самом главном я не хочу, да и не могу умолчать.

Наконец, меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту — окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал «Оттепель». «Последнее сказанье», таким образом, написано не будет — я не старец Пимен, и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь.

Возвратившись в Москву, я вернулся к «Буре» и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что не скоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман, то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать — не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне не позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг

Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал «Бурю», мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколикой. Во Франции рабочие проиграли массовые забастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали верх. Я слышал новые слова: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Это было неправдоподобно и страшно: ведь не прошло и трех лет со дня общей победы, люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал по радио псевдоученые разговоры о необходимости «отстоять западную культуру от советской экспансии», слушал и возмущался. Один видный французский писатель заявил, что существует «атлантическая культура», его выступление совпало с созданием Североатлантического союза. Все это слишком напоминало рассуждения гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной «северной расой».

В ответах на военную пропаганду Запада мне порой в газетных статьях удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал: «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать, как пирог, на куски. Отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века. Белинский сто лет назад писал, что европейские народы «нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных».

Западные газеты меня называли «беспечным шулером» и «остроумным циником» (знакомые слова). А у меня на сердце скребли кошки.

К. М. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства перед Западом. Кампания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще Фонвизин — это очень старая болезнь: восхищались немецкой техникой, уверяли, что «немец луну сделал», и одновременно залихватски повторяли: «Русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися, что трудно было определить, где начинается одно и кончается другое. Часто, выслушивая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданную Мятлевым мадам де Курдюкофф. Комплекс неполноценности порождал комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире, и сообщение о том, что какому-то голландскому негоцианту понравился русский балет.

Достаточно заглянуть в Большую Советскую Энциклопедию, точнее, в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, к каким искажениям приводила кампания против низкопоклонства: о работах иностранных ученых говорилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Даже хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр «камамбер» был переименован в «закусочный».

Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому не ведомого радиотехника Попова. (Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел: «Беспроволочный телеграф изобретен в 1895 году Поповым (Россия) и Маркони (Италия)».) В палате депутатов Бидо издевательски сказал: «Нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов». Я ответил в «Правде»: «Мне отвратителен национализм, я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением г. Бидо, я отстаиваю пиетет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бидо».

Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дым отечества», в ней он хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевные богатства жителей Смоленщины. На обсуждении «Дыма отечества»

К. А. Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило — попытка Симонова иметь собственные суждения или название повести, но только «Культура и жизнь» обругала «Дым отечества», а заодно Федина и меня.

Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который справлялся о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело, а потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок — антисоветские газеты торжествующе сообщали о «новой расправе с советскими писателями»; одна даже спрашивала: «Интересно, отделается ли Эренбург Сибирью, или его ждет петля?»

Очередной жертвой стал молодой писатель Э. Г. Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое в степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сторожил солдат-казах. Поскольку отступление продолжалось, казаху и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои, процесс их сближения показан правдиво. Я считал (и считаю) «Двое в степи» одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании, и у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича: «Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи». Казакевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством, убеждения для него были выше успеха, и служение народу он никогда не менял на прислуживание.

Смерть еще меньше считается с логикой, чем история, слишком часто она замахивается косой на зеленую, невызревшую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиком и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до пятидесяти лет.

В 1949 году праздновали пятидесятилетие С. П. Щипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта, особенно нравился он сам — были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Щипачев сумел оградить свою поэзию «в эпоху инфляции слов». Это было сказано на писательском вечере, и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом, —

видимо, клеймо лживой риторики отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи, есть в нем душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Щипачева и с бо́льшим доверием думал о жизни.

Пока я писал «Бурю», меня выручала работа. А потом пришлось прибегнуть к старому лекарству: поезда с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные ночевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, пропадающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года! Приведу список из записной книжки: Орша – Минск – Вильнюс – Каунас – Клайпеда, Шяуляй – Паланга – Лиепая – Елгава – Рига – Тарту – Таллин – Нарва – Ленинград – Новгород – Валдай; Калинин – Кашин – Калязин; Варшава – Вроцлав – Лодзь; Киев – Погар – Брянск; Владимир – Суздаль – Иваново; Тула – Орел; Пенза – Белинский; Ленинград – Таллин; Варшава – Вроцлав – Кельцы – Краков; Кишинев – Бельцы – Сороки – Фалешты – Бендеры – Белград – Килия – Измаил...

Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Н. Н. Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал нештатным сотрудником Общества по распространению политических знаний.

В одном селе устроили доклад; я должен был рассказать о поездке в Америку; в самую патетическую минуту в сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Погар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготовляют сигары на Западе; была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. В Кишинев я попал, когда там неожиданно началась кампания против молдавских писателей — Букова, Истры, Лупана, Корняну. Я попробовал лишний раз вступиться за литературу, разумеется, безрезультатно. Я увидел много интересного, хорошего и плохого — большие заводы и непроезжие дороги, богатства древнего Суздаля, работы эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии; не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область.

Праздновали столетие со дня смерти Белинского, меня включили в писательскую делегацию. Руководителем был

Фадеев. Ф. В. Гладков часто хмурился: «Все это правильно, только нравы мне не нравятся».

В Пензе открыли памятник Белинскому; Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди. Они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве, больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салтыкова-Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о Коровине, о «Бубновом валете», о Сезанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой; кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве: «Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается, а может быть, наоборот — тысячелетие сгущается в один час, кончится — и чувствуешь, что прожил несколько жизней...»

Новое повсюду перемежалось со старым. В Лермонтове (в Тарханах) колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова; разговорившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но, когда ему сказали об этом, он ушел в лес.

Учительница истории О. С. Вырыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково: там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинский на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много народу: колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии — с них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грузят, а по пути в Чембар половина товара бьется. Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе: хлестаковствую — ведь все говорят: «Расскажи Сталину»... Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил: «Писатель... Он тебе опишет — не изба, а дворец, не горшок —

ва-аза»... Он долго повторял, кашляя и ругаясь: «Ва-а-за!..» Мы вышли. Учительница, по уши влюбленная в литературу, растерянно говорила: «Представить себе, что это в 1947 году! Безобразие!»... А я подумал: пожалуй, он прав.

(Год спустя я поехал с В. Г. Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством (там среди прочего хранилась замечательная скульптура Донателло); в городе была прекрасная библиотека. А в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил: в одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу — надпись объясняла: «Жизнь и быт княгини Оболенской»; в другой — стояла ничем не примечательная скульптура с ярлычком: «Произвольный бюст неизвестного мастера». Мы побывали в Пойме у писательницы А. П. Анисимовой, влюбленной в народнос творчество. Она нас повезла в Невежкино, где сохранились мастерицы русской вышивки. Мы увидели бедные покосившиеся избенки; школа казалась полуразвалившейся, все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина — на открытие книжного магазина. Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Невежкино рядом...)

В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир», «Анну Каренину»; но в доме видишь Льва Николаевича, старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего «толстовцев», того Толстого, который пахал со смирением, что паче гордости, и завещал похоронить его без имени, без плиты; может быть, больше всего меня взволновала его могила — он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером — природой. Я поехал в Спасское, там под тенистыми кленами Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж; когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флигелек и написал Виардо, что живет как ссыльный. В Орле я видел его диван, книги с пометками; поглядел на дом Лескова. Постоял у заброшенной могилы Фета. В Чембаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина, и я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах, или, говоря по-новому, в селе Лермонтово.

Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы В. А. Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский, нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. А я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство; она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу — там ведь театр... До железной дороги больше тридцати километров, иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков, сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов: «Ох, как я испугалась!..»

Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли.

Музей был смешанным: отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к «Демону», в другой висел большой портрет Сталина.

Ночью я написал стихотворение. Никогда я его не печатал, а теперь приведу, потому что оно — клочок обещанной исповеди.

Тарханы — это не поэма —
Большое крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на хранение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир,
Изгрызенную в муке трубку
И опереточный мундир.
И каждому немного лестно,
Что это — Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А под окном заглохший сад
И «счастье», скрытое в сирени.
Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.
Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка,
И каждый год в тот день июля,
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приодета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,

И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.
Здесь нет ни топота, ни свиста...
Давно забыт далекий выстрел,
И только в склепе, весь продрог,
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглох, шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Все тот же сердцу милый стих,
И страсть в ее глазах глухих,
Приподняты углами брови.
А ночь, как некогда, темна.
Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Все выпито — до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...»
А что тут странного? Она — одна.

Конечно, я люблю родину не только потому, что она — одна, люблю и потому, что потомок выходца из Шотландии написал «Тамань», перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок, люблю и за то, что колхозницы села Лермонтова, смелые, измученные и гордые солдатки, пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел народа, за «перемены», о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно», которая пошла на «Гамлета» и повстречала волков, за то, что в захудалом Чембаре вырос неистовый Виссарион, равно преданный справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд мечтал о древнем балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями — Волчий Враг, Соседка, Верхозим, Шемышейка, за цветистость ругани и стыдливость ласки, за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком признании: «Она — одна».

14

В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу, туда отправляют делегацию писателей: Твардовский, Тычина, Бровка, Эренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся: «Да вы сами знаете... Прожили полжизни за границей». Я подумал: одно дело жить — другое входить в делегацию... В купе я оказался с

П. Г. Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской республики. Мы долго спорили, как разместиться, — каждый пытался взобраться на верхнюю полку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только в тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу: он — министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговорился с Твардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал: «Будет обязательно помылка...» Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве; многие украинские слова мне кажутся загадочными. «Помылка» — это «ошибка», потом мне объяснили, а тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы: это была вторая моя поездка за границу в составе делегации, и я тоже побаивался.

На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидал другую Польшу, не ту, что видел двадцать лет назад в эпоху санации. Тогда ведь не только власть, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно.

Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал: характер народа не меняется — меняется жизнь. В 1947 году я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было: погибли и всем известные, прославленные, и те, которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бой-Желенским. Мы проспорили весь вечер — о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которая обезоруживает. Ему было шестьдесят семь лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в тридцатые годы я встречал на Монпарнасе молоденького архитектора Сениора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в нужде, а когда мать присылала ему из Польши посылку (он говорил «пачку»), угощал нас рябиновой водкой и полендвицей. Летом 1939 года он уехал домой, чтобы сражаться против гитлеровцев, и погиб. Я познакомился с молодыми писателями, художниками, с сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы часто бывал в Варшаве, и хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, вы-

краивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер, и эта глава, наверно, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях.

В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров — память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша погибла оттого, что каждый пан в сейме кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувим говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабеля: «Это поэтический народ...» А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против Советской России. Я задумался и только в 1928 году, побывав в Польше, коечто понял.

Человеческие ценности — радость труда, борьбы, любовь, искусство — осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а по житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое глоток воды. Я писал, что значение родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей: они пережили или слышали от своих родителей длинную летопись попрания национального достоинства.

Я рассказывал, как Тувим, бродя со мною среди развалин Варшавы, повторял: «Посмотри, какая красота!..» Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, дело и в страсти.

Меня притягивает к полякам страстность — она в национальном характере, она сказалась и в старой скульптуре Ствоша, и в поэзии — от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинского, страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях, она в Домбровском, о котором когда-то мне рассказывал старик коммунар, и в Янеке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, но дивному Кракову, или услышать в

заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковинный клубок судеб.

Я читал много суровых оценок барокко — чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришлось по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Гонгоры, Марино или Грифиуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. «Здесь похоронено сердце Шопена» — чужестранец дивится, а и это в характере Польши.

В 1947 году польское правительство подарило нам, четырем советским писателям, произведения народного искусства. Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Галковскими в Кракове. Этот ковер с тех пор радует меня в трудные часы. Я гляжу на зверей, которых нет и не было, но которые живут, резвятся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диковинных рыцарей и вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силу искусства.

Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников. Однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир. Начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимежа Брандыса, он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии, — я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал.

Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины — в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи. Если зайти в магазин утвари, то поражаешься не только вкусу, но и фантазии. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше? Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщину, которая таскала камни на стройке в Варшаве.

Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из «Скамандра», с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким, а за его иронией скрыты доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная — Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть, слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич на первый взгляд кажется баловнем судьбы, он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в тридцатые годы, — польский писатель едет во Флоренцию на какой-то конгресс (видимо, и писатели и конгрессы всегда были — это как дождь). Новелла напоминает тургеневские «Вешние воды», но в ней воздух нашего века — любовь не та, да и не то отчаяние.

В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу двадцать лет назад, когда мы жили в разных мирах, — старался быть особенно вежливым, обходить темы, связанные с трудностями того времени, — словом, частенько вел себя как дипломат. Расскажу о смешном и потому, что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому, что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен.

Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к Октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Налковская (ей было за шестьдесят), драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онёрами, а в Бресте нас никто не встретил. (Потом я узнал, что телеграмма опоздала.) Все выглядело катастрофично: в «Интуристе» наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Налковская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. (На беду, в ту самую минуту в вагон вошел генерал, адъютант тащил его чемоданы.) Я позвонил секретарю обкома... Рабочий день кончился, и разыскал я его дома. Он выслушал, пособолезновал, но объяснил, что в обкоме

никого нет — где же он достанет деньги? Я начал увещевать, молить, даже глухо пригрозил «дипломатическими осложнениями». Он отвечал: «Попробую, но за результаты не ручаюсь...» Прошел час, два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Кручковский учтиво молчал. Добровольский что-то говорил о стихах Галчинского и Пастернака. Но мне было не до поэзии, я то и дело убегал — звонил секретарю обкома, глядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал: «Достал на три спальных...» Я попросил его приветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь. А мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня — ужин, завтра — завтрак, обед, ужин, послезавтра мы приезжаем в одиннадцать, — значит, еще один завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровка сказал, что завтра утром сойдет в Минске, жалко, что до города далеко...

Я попытался попросить в вагоне-ресторане, чтобы нас кормили в кредит, в Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено — в пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку. Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал: «Я хотел бы увидеть поэта, который может превратить пустую бутылку в полную...» Я убежал, снова пересчитал наши капиталы и заказал еще одну бутылку. Утром мы сказали, что не завтракаем — пьем только чай. В Минске Бровка распрощался со всеми, и вдруг я увидел Петра Устиновича, который несся обратно, как чемпион по бегу: «До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет, вот все, что нашел в ящике стола...» Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо — в вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его: «Сколько у вас денег?..» Он ответил: «Ничего нет. Я обрадовался, увидев вас, думал, поужинаем, выпьем бутылочку вина...» В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены.

Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся: «Да ведь это чисто польская история...» Смеялся потом и Кручковский.

Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отдаляет от поляков, я меньше всего думаю об «Интуристе».

В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувим, даже Броневский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1947 году, я почувствовал, что ничто больше нас не разделяет. Слонимский, Ивашкевич — это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и, беседуя с ними, не ощущал границ стран или границ поколений.

Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, ни впоследствии в Польше я не знавал одиночества, — это сухая справка, но она говорит о многом.

15

Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть, самые тяжелые в моей жизни, и я надолго прервал работу: не решался начать эту главу. С какой радостью я опустил бы ее! Но жизнь не корректура, и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло пятнадцать лет. Я не хочу бередить заживающие раны, не назову некоторых — меньше всего меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю, ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом.

Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью С. М. Михоэлса, и прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в двадцатые годы, но мало его знал, а понял и полюбил в годы войны; одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым — в жизни он был небольшого роста и лицо у него было не короля, а, скорее, насмешливого интеллигента, с выпуклым лбом и выпяченной нижней губой. Но на сцене, высокий и трагичный, король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гневе. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений; я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейерхольд, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом, он любил русский язык, и его друг А. Н. Толстой иногда говорил: «Не понимаю, почему Соломон не хочет играть в русском театре...» Но у Михоэлса было любимое

дитя — Еврейский театр. На спектакли этого театра приходили и зрители, не знавшие еврейского языка. Игра Михоэлса и Зускина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон Кихота или бедой Тевье-молочника.

Во время войны С. М. Михоэлс был душой Еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии и старых героев Шолом-Алейхема, и девочек-пионерок. Михоэлса послали вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула эстрада — слишком много людей хотели подойти поближе к советским гостям. Михоэлс и Фефер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома.

После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей — в их глазах он оставался мудрым ребе, защитником обиженных.

И вот Михоэлса убили...

Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым-Потаповым по поручению Комитета, присуждавшего Сталинские премии, — он должен был дать отзыв о постановке, выставленной на премию. Ночью его позвали в гости — он шел опять-таки вместе с Голубовым-Потаповым по одной из окраинных улиц, и там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года; полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зускина, все задумались: а как погиб Михоэлс?.. Недавно советская газета, выходящая в Литве, рассказала, что Михоэлса убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке; конечно, не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего, развлекался.

Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали. Произносили речи. Помню выступление Фадеева. На улице стояла толпа, многие плакали.

Двадцать четвертого мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. Было очень горько.

Но я еще ничего не предвидел.

В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о «еврейском вопросе», о Палестине, об антисемитизме. Вот несколько цитат:

«Мракобесы издавна выдумывали небылицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, непохожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радостей и горестей тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи — это люди, лишенные чувства родины, вечные перекати-поле. Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями.

...Да, евреи жили отдельно, обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изуверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман, были среди евреев фанатики, как они были среди католиков, протестантов, православных и мусульман. И как только раскрылись ворота гетто, как только дрогнул туман средневековой ночи, евреи разных стран вошли в общую жизнь народов.

Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому, что насилия и оскорбления лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты?..

...Мало общего между евреем-тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая: эта связь рождена антисемитизмом... Невиданные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбления сначала, печи Майданека потом — все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных...

...Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство — за тридевять земель...»

В статье я приводил высказывания Горького, Ленина об антисемитизме, цитировал и Сталина: «Антисемитизм,

как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Газетная статья не исповедь, в ней многого не скажешь. Теперь, когда я дописываю книгу о моей жизни, мне хочется сказать, как я понимаю то, что часто называют «еврейским вопросом».

Начну с конца. Один американский писатель, негр, справедливо заметил: «Нет в Америке проблемы черных, есть проблема белых». К словам американского негра я могу добавить, что еврейский вопрос — это вопрос о живучести антисемитизма.

Ребенком я слышал разговоры о деле Дрейфуса, о еврейских погромах. Я знал, что Лев Толстой, Чехов, Горький возмущаются натравливанием русских на евреев. Несколько лет спустя я прочитал в подпольной газете статью Ленина. Мой отец говорил, что антисемитизм — пережиток, порождение фанатизма и невежества, и в этом я разделял его суждения.

Как читатель знает, я родился в Киеве, мой родной язык русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. Никогда я не молился ни в синагоге, ни в православной церкви, ни в костеле. Меня восхищали и восхищают некоторые художественные памятники, которые для верующих связаны с религией, а для меня с человеческими мыслями и чувствами, — Книга Иова, Песнь Песней, Экклезиаст, Евангелия, в том числе «запретные», Апокалипсис, Шартрский собор, Акрополь, иконы Андрея Рублева, живопись фра Беато, индусские богини в Эллоре, фрески в древнем буддийском монастыре Аджанта. Однако все это для меня не мертвые каноны религий, а живое искусство. Детство и отрочество я провел в Москве, и мои товарищи были русскими. Когда я работал в подпольной организации, мы называли друг друга по кличкам, меня не интересовало, были ли среди моих товарищей евреи. Потом я очутился в Париже. Я встретил двух чудесных поэтов, — один из них, Аполлинер, был по происхождению поляком, другой, Макс Жакоб, евреем, но для меня оба были французами. Я полюбил итальянца Модильяни; однажды он мне рассказал, что он еврей, но для меня он оставался связанным с тревогой предвоенных лет и с искусством итальянского Возрождения, а не с древним Ягве.

Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождения. Были времена, когда я о нем редко думал, были и другие, когда я повторял всюду, где мог: «Я

еврей», — мне кажется, что солидарность с теми, кого преследуют, — азбука человечности.

Я смотрел фильмы Чаплина, и мне не приходило в голову, что он еврей; об этом мне сообщили гитлеровцы. Они приводили черные списки. Евреями оказались композитор Дариус Мийо, философ Бергсон, люди, с которыми я встречался, не задумываясь над их происхождением, — Бенда, Анна Зегерс, писатели, которых я читал, как, например, Кафка.

Есть ли какой-то особый, присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заостряли иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейне полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется — происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников — Модильяни, Кафки, Сутина, — я вижу прежде всего трагичность: она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом, языком или традициями. Однако в Германии в начале тридцатых годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как «еврейские штучки».

В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления: «Евреи распяли Христа». Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды.

В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса, оно показало, что антисемитизм, прятавшийся в щели́, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франс, Метерлинк, Энсор, Клод Моне, Жюль Ренар, Синьяк, Пеги, Мирбо, Маллар-

ме, Шарль Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты — Баррес, Моррас, Дерулед. Антидрейфусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами; в своих газетах и листовках они называли Золя «итальяшкой».

До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила; еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Среди моих друзей было много смешанных браков. Бабель, Михоэлс, Ильф, Пастернак, Фальк, Гроссман, многие другие были женаты на русских девушках, а Федин, Щипачев, Катаев, Вишневский женились на еврейках. (Я называю первые пришедшие в голову имена, можно было бы продлить список.)

Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла «расовая теория» Гитлера.

Конечно, разговоры о существовании «низших рас» не были новыми. Рассказывая о поездке в южные штаты Америки, я хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в двадцатые годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существуют высшие расы, прежде всего «арийская», или «северная», и низшие, среди которых самая низшая — евреи.

В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком: «Бей жидов, спасай Россию!» — хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне казалось это естественным: призраки прошлого отстаивали власть тьмы.

В конце двадцатых годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших нэпманов и захолустных начетчиков, польских ротмистров эпохи санации, немец-

ких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли «обетованной», оказывается похожей на другие — богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать «Союз возвращения на родину», говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли «еврейским Швейком». (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным.)

Приход Гитлера к власти меня поразил: цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь» (так называли гитлеровцы ночь грандиозных погромов) была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы жгли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Ромена Роллана, Золя, Барбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов «арийского» происхождения. В Испании я увидел свирепую сущность фашизма.

Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества зверств. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев, нужно было опровергнуть эту ложь.

Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали. Государство Израиль, однако, существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований, подобных инквизиции, в различных калифатах Андалузии жили, работали такие люди, как философ Маймонид и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля, да они и не хотят туда уезжать — они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки, они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков.

Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расист-

ских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я — еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм — отвратительный пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки; только теперь, увы, я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков — дело очень долгое.

Вернусь ко времени, о котором я рассказываю. Мне сказали, что статью посылали Сталину и он ее одобрил. А несколько месяцев спустя закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету «Эйникайт», издательство, разбросали набор «Черной книги». Первым эшелоном жертв стали писатели, писавшие на идиш, — Перец Маркиш, Квитко, Бергельсон, Фефер и другие.

В январе 1949 года газеты сообщили «о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков» (об аресте писателей, о закрытии газет, а потом и театра газеты не упоминали). Почему кампания началась со второстепенного вопроса — с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург, а может быть, случайно, — не все ли равно, в какое место пруда бросить камень — лишь бы от него пошли круги.

Характер новой кампании был ясен; в первой же статье имелась такая фраза: «Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?» Газета клеймила «ура-космополитов». Два дня спустя появилась новая статья, в ней «гурвичи и юзовские» писались со строчных букв и обличались критики А. Эфрос, А. Ромм, О. Бескин, Д. Аркин, другие. Прошла еще неделя, и в космополитизме начали обвинять критика Данина за то, что он похвалил М. Алигер; заодно напали на поэта Антокольского. Перешли к кино, в этой области тоже «выявили беспачпортных бродяг» — Л. Трауберга, Блеймана, Коварского, Волькенштейна. Замелькали имена «отщепенцев»: Дрейден, Березарк, Шнайдерман, Л. Шварц, Вайсфельд, Ф. Левин, Бровман, Субоцкий, Оголевец, Житомирский, Мазель, Шлифштейн, Шнеерсон, Мотылева, Бялик, Кирпотин, Гордон... Прошли еще две недели, и начали разоблачать «безродных космополитов», укрывавшихся за псевдонимами: Стебун (Каценеленсон), Санов (Смульсон) и так далее. Многие из «выявленных

космополитов» были мало кому известны — били вслепую, для примера: вот, мол, «безродные»...

Начались «оргвыводы». Как-то ко мне пришел возмущенный С. В. Образцов: «Вызвали, говорят, что в театре слишком много евреев. Отвратительное юдофобство!..» Образцов не был одинок в своем возмущении. Несмотря на то, что время не благоприятствовало откровенным разговорам, многие мои русские друзья мне высказывали свое негодование: Кончаловский, Федин, Сурков, архитектор Руднев, Гладков, Вс. Иванов, скульптор С. Д. Лебедева. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе и антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди?

Преследование евреев не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из эмиграции, репрессированных в тридцатые годы, имеющих за границей родственников; произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ.

Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще «проверяли»: знакомые поосторожнее звонили из автомата — хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал «слушаю», клали трубку.

В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту: мне тогда хотелось жить; как у многих других, у меня стоял наготове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому, что мне было уже не сорок семь лет, а пятьдесят восемь — успел устать, начиналась старость. А может быть, потому, что все это было повторением, и после войны, после победы над фашизмом, происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно — под утро: мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в два часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова — его прислала жена Константина Михайловича, полагая, что Симонов у меня.

В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: «Значит, неправда!..» Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: «Могу сообщить хорошую новость — разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург».

Я написал короткое письмо Сталину: писал, что уже два месяца лишен газетной работы и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я, однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного — чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку.

На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. «Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло?..» — «Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить». — «Но почему вы не предупредили нас раньше?» — «Я говорил с товарищем Поспеловым, это все, что я мог сделать». — «Странно, товарищ Поспелов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал...» (П. Н. Поспелов несколько лет спустя говорил мне, что это неправда, он все передал, но его слова не возымели действия.)

Сразу затрещал телефон: различные редакции говорили, что «произошло недоразумение», статью напечатают, просили еще написать.

У меня в то время были А. М. Эфрос и Л. Н. Чернявский. На диване лежал Г. М. Козинцев, заболевший гриппом. Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили. На следующий день я узнал, что из одной газеты вечером сняли очередную статью о космополитах.

Задним умом все крепки. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. А. А. Фадеев говорил мне, что кампания против «группы антипатриотических критиков» была начата по указанию Сталина. А месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо — это пахнет антисемитизмом...» Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано. Арестованных еврейских писателей не освободили. Уволенных с работы на прежние места не взяли. Пятый параграф в анкетах, где проставлялась национальность,

продолжал незаметно действовать, а грубых статей или карикатур больше не требовалось.

В мае 1949 года я получил на адрес «Литературной газеты» телеграмму из Нью-Йорка: «Здешняя печать развертывает сильную антисоветскую кампанию, утверждая, что критика «космополитизма» носит в действительности антисемитский характер. Упоминание в числе известных советских критиков фамилий некоторых евреев в скобках расценивается как факт, аналогичный антисемитской практике в капиталистическом мире. В качестве доказательств ссылаются также на закрытие еврейских газет и на карикатуры. Мы считаем, что было бы полезно, если бы вы сами в большой статье ответили бы на эту клевету. Редакция «Дейли уоркер». Телеграмму сопровождало письмо: «Мне поручено передать вам пожелание — написать для «Дейли уоркер» статью на эту тему. Надеюсь, что вы это сделаете». Я статью, конечно, не написал и на письмо не ответил.

От злорадства зарубежных врагов нашей страны мне было вдвойне горько. Я видел народ, который тридцать лет подряд боролся за идеи Октября, за братство, против интервентов и белогвардейцев, против фашистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был неповинен в тех газетных статьях, о которых я говорил, он трудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути. Я не мог опровергнуть то, что было жестокой правдой, и не хотел поддержать врагов Советского Союза.

Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Фефера, который будто бы ему сказал, что я повинен в расправе с еврейскими писателями. Клевету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод: «Выжил? Значит, предатель».

Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж, на Конгресс сторонников мира. Защита мира казалась мне прекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии — да ведь это пытка! Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие строки: «Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры — кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут

учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность». Меня вызвал Григорьян, занимавший довольно высокий пост, жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, перепечатанное на хорошей бумаге, и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово!». Почерк показался мне мучительно знакомым...

Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внукова еще белел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлекусь; я отвечал: «Конечно».

На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Юрьевну. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером — мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснил политическое положение. Я старался слушать — и не мог. Вдруг я понял, что заболел — весь в поту, наверно, температура. Это уж совсем глупо!.. Потом меня повезли в гостиницу на правом берегу возле зала Плейель, где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел — сильный жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал: «Ну и жарища!..» Я вытаращил глаза: «Вам, значит, тоже жарко?..» Он в свою очередь удивился: «Да ведь тридцать градусов, все газеты пишут, что такого в апреле не было сто лет...» Я обрадовался: значит, не болен. Я увидел то, чего прежде не замечал: на верандах кафе люди без пиджаков жадно пьют пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно.

Арагоны повели меня в ресторан «Медитерране»; там было шумно, тесно; люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. А Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит — «космополиты»? Почему раскрывают псевдонимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор, я старался улыбаться. Ворочали усищами огромные лангусты. Соседи смеялись. Было нестерпимо жарко.

В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет — мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать — что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты — заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: «Хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш та-

ким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: «Домой!»...

Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно — самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе».

16

Утром, когда я брился, в комнату вбежал Фотинский: «Я прочитал в газете, что ты приехал, а в посольстве сказали, где ты...» Фотинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забастовках, о том, что все против правительства, о Монпарнасе, о Дусе, о художниках. «Много интересных выставок. Ты сейчас свободен?..» Мы пробродили до обеда. Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблони Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фотинский вдруг встревоженно спросил: «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть, мне трудно было разговаривать — отвечал невпопад.

Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул, мне бросилась в глаза заметка: «Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которой поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской «конгресса за мир». Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Эренбургу, который написал клеветнический «роман» «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Эренбургом «защищать мир» будут уполномоченный Тореза расторопный Арагон, английский «ученый» Бернал, неизвестный в научных кругах, но слишком хорошо известный полиции, некто Цвейг, выдающий себя за писателя, разумеется, Жолио-Кюри, решивший окончательно променять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и старый клоун Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, но, увы, беззащитного Парижа».

8 Зак. 92

Я засунул газету в карман и сказал Фотинскому: «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять.

Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих «ультра», «Фигаро», даже «Орор» говорили языком более сдержанным, но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что, как бы ни были горьки события последних месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день — я как-то очнулся, даже повеселел.

На следующий день открылся Конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале Плейель — в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и модистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жолио-Кюри, Пикассо, Ива Фаржа, Арагона узнавали, приветствовали. Разглядывали яркие народные костюмы некоторых полек и словачек, юбочки шотландцев. Гадали, откуда приехал бородатый епископ в ослепительно белом клобуке — из Греции или из Болгарии? А это был митрополит Крутицкий Николай. (Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного Совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук.)

Зал был набит и делегатами, а их было около двух тысяч, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шумливым, южным — самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было внове. Речи то и дело прерывались возгласами, смехом, аплодисментами.

В 1949 году «холодная война» перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы: в том же году в Бонне была провозглашена федеральная республика, а полгода спустя образовалась демократическая республика. На одном из заседаний конгресса огласили сообщение, что Народная армия освободила Нанкин; Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия вынуждена была признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои. Сражались и в Греции, перед открытием конгресса партизаны снова заняли гору Граммос, но исход гражданской войны

был предрешен «доктриной Трумэна». В Италии то и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернутся события. Мне казалось, что и в самой Франции борьба разгорается; только год спустя я понял, что грандиозные забастовки 1947—1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги («план Маршалла»). Заводы начали обновлять обветшавшее оборудование. В магазинах стало больше товаров. Правда, цены росли и многие французы еще жили очень плохо. Но все понимали, что страна экономически встает на ноги.

Однако и читатели «Фигаро», и читатели «Юманите» боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939 года: «Мы решили провести каникулы возле Брива, там у жены тетка. Конечно, если не начнется война...» О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей — слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня-завтра русские танки двинутся к Атлантическому побережью.

Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать конгресс, но не выдержали. Передо мною заметка в «Пари-пресс»: «На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Эренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира: «Нельзя делать два дела вместе — говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу». Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером атташе государственного департамента г. Мак-Дермотт заявил: «Участники Парижского конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы». Французская газета «Ле монд» писала, что коммунисты «нашли лозунг, понятный всем».

Был ли конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По-моему, нет. Если просмотреть состав инициативного комитета, приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ларусса, следовательно — известны

даже французским школьникам: бывший президент Мексики Карденас, бельгийская королева Елизавета, Генрих Манн, Матисс, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Салакру. Среди различных организаций, поддержавших созыв конгресса, я нашел такие: Союз часовых мастеров Женевы, университет Панамы, Союз художников Аргентины, Объединение мелких коммерсантов Туниса, Ассоциация норвежских домашних хозяек, Лига защиты детей в Сирии и другие, мало напоминающие компартии.

На конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, но и к социалистам. Американского юриста Рогге я встретил впервые на Вроцлавском конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с путаными идеями, деловым и в то же время наивным — я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские американцев, мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства; молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели. Однако проводили Рогге аплодисментами и выбрали в постоянный комитет конгресса. (На Втором конгрессе, в Варшаве, Рогге протестовал против нападок на Югославию, обвинял в корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных делегатов. Он отошел от движения.)

Английский юрист Мур с юмором, напоминающим «Пиквикский клуб», обличал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи делегатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения, приемлемого для обеих сторон. «Холодная война» приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала.

Пожалуй, наиболее возмутила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седергрен. Я сейчас просмотрел стенограммы конгресса. Седергрен сказала: «Нам угрожают два гиганта — американский капитализм и русский большевизм». (Шум в зале.) Кончила она словами: «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». (Шумные аплодисменты.)

На конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики: итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зиллиакус. Делегаты знали, что Жолио-Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду — коммунисты, но для всех они были большими учеными или художниками.

(Как всякое движение, Движение сторонников мира пережило и приливы и отливы, было текучим — одни уходили, приходили другие. В 1956 году от Движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Бломберг, Веркор, Мартен-Шофье, Кассу, Итало Кальвино. В 1952 году на конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули д'Астье, шведский писатель Лундквист, депутаты индийской партии Конгресса, японский профессор Ясуи, многие другие. Пожалуй, всего характернее для Движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками, — ученых Жолио-Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или д'Астье.)

Если в 1949 году социальная борьба в Западной Европе начала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском конгрессе было немало людей известных (перечислю хотя бы писателей: Арагон, Неруда, Элюар, Амаду, Арнольд Цвейг, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич), но это был прежде всего конгресс людей, которых газеты называют «простыми», хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей.

В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны; ее фамилия была Кере. На конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир: «Мой Луи был матросом, он погиб, в 1942 году. У него была невеста. Он был такой веселый... Мой Жозеф ушел в маки. Он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле не знаю зачем, и один мерзавец его выдал, его пытали, потом убили и сожгли, это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррез, а потом, как Луи, возле Лориана. Он был ранен, ему ампутировали обе ноги, он умер накануне победы — седьмого мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочки. Его расстреляли возле нашего дома... Я здесь познакомилась со многими матерями, я понимаю, почему они приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый

день войны, а потом и руки ни к чему — некого обнимать...» Я записал ее рассказ.

Я встретил на конгрессе некоторых моих старых друзей — итальянского писателя Бонтемпелли, Пабло Неруду, я их не видел после войны; познакомился с людьми, с которыми потом подружился, — с Жолио-Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегю (о них расскажу в следующих главах). Мои дни были полны впечатлениями — многое и для меня было внове.

На конгрессе были и югославы; но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли «изменниками». Милый Андрич прислал мне гаванскую сигару с записочкой: «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом».

На второй день конгресса французы устроили в баре зала Плейель мою пресс-конференцию. Собралось полтораста журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на девяносто два вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Ле монд», относившаяся к конгрессу, скорее, неприязненно, писала: «У г. Ильи Эренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Джиорнале д'Италия» сообщала: «Удивительно спокойно Илья Эренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из воды». На самом деле я очень волновался, может быть, поэтому казался спокойным.

После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочитать переводы и, улыбаясь, повторял:

Ах, Куба, скажи мне, откуда
Взяла ты эту лазурь...

Мы говорили о сути поэзии — о непонятном притяжении и отталкивании слов, и я не вспоминал пресс-конференцию.

Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и, разочарованный, сказал: «Вы уже одеты? Ничего не выйдет...» Вечером я ужинал с итальянскими писателями, пригласил меня издатель Эйнауди. По его просьбе я выбрал ресторан — ту «Жозефину», куда водил генерала Галактионова и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой

комнате, когда муж Жозефины, чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне: «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в щелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», — ответил я. Донесся шум — это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо, аппарат. В «Самди суар» появилась фотография с пояснительным заголовком: «Илья Эренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я походил на злого старого каторжника — фоторепортер умел работать.

На третий день конгресса выступил митрополит Николай. Он говорил немного по-французски и в конце речи произнес по-французски несколько слов. Это растрогало зал. Я подумал: ему можно, а мне нельзя — стоит начаться очередной кампании, и кто-нибудь обязательно припомнит: низкопоклонствовал перед французами, известное дело — космополит!

В тот же день на вечернем заседании выступил я. В моей речи было такое место: «По древнему преданию, к мудрому судье пришли две женщины, они спорили: кому принадлежит ребенок? Та женщина, которая прикидывалась матерью, сказала судье: «Разруби ребенка пополам». Она так говорила, потому что это был не ее ребенок...» Когда я вернулся на свое место, митрополит Николай меня поздравил: «Хорошо. Мне особенно понравился образ двух женщин из Библии. Вам-то можно, а мне нельзя...»

Если просмотреть стенограммы конгресса и припомнить климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь — не понравится и не пошлют на конгресс. Я не только открещивался от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о «священных камнях» Европы. В конце речи я сказал: «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру! Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кантианцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу, а говорил я искренне:

считал (и теперь считаю), что только при таком объединении можно сохранить мир.

На следующий день, в воскресенье, был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буффало. Из провинции прибыли «караваны мира» — поезда, автобусы, добрались «караваны» из Италии с мэрами двадцати городов, из Бельгии, Голландии. Делегации проходили перед трибуной президиума конгресса. Стадион вмещает восемьдесят тысяч человек, а демонстрантов было, судя по газетам, четыреста — пятьсот тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами — сохранили их как реликвии.

К вечеру сразу после конца митинга разразилась гроза с проливным дождем. На улице предместья я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконном платье — так одеваются крестьянки, отправляясь в город; лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню — ведь дождей не было с февраля при необычно ранней и знойной весне: «Вот даже бог почувствовал!..» По уличке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала: «Теперь они увидят, что люди не дураки...»

Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо. У него был Элюар, и мы пообедали втроем — отпраздновали радостное событие: накануне у Пикассо родилась дочка. Он улыбался, как молодой отец, хотя ему было под семьдесят. (Впрочем, с Пикассо я всегда забываю о возрасте: когда он был молод, он мне казался умудренным стариком, теперь в нем задор юноши.) Пикассо сказал, что назовет дочку Палома (по-испански это значит «голубка»). Мы поглядели на десяток живых голубей в огромной клетке, они ссорились и довольно противно кричали.

Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на Пикассо и Матисса: «Они не могут нарисовать дерево. Кстати, господин Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, поможете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется».

Пикассо сделал вид, что он испугался: «Хорошо, что я не в Лондоне! Их ведь двое. А вдруг и маршал бы присоединился...»

Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты, вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе — всем. Это как воздух...»

Пикассо поглядел на часы: «А ведь пора на конгресс...» Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком, — словом, вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек.

Меня повезли на улицу возле театра «Комеди Франсез». В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Неруда. Увидев его, я обомлел: никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Неруда похож на Будду, другие шутя сравнивали его с муравьедом; во всяком случае, усы ему не подходят, да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Чили он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плейель до того, как власти легализируют его въезд во Францию — об этом шли переговоры.

Мы долго хлопали друг друга по спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Важный лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вина получше. Пообедав, он начал засыпать.

На конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительной овацией. Не все, конечно, читали стихи Неруды, но все знали, что он — знаменитый поэт, что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через Анды (одни говорили — пешком, другие — на коне, третьи — на осле). Бог ты мой, как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым сухарям. А в зале было много молодых, они в восторге кричали — перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии и даже не речь, посвященная Уставу ООН...

После конца конгресса мне не удалось побродить по Парижу, отдохнуть. Французские сторонники мира попро-

сили Фадеева выступить в Лиможе, а меня в Дижоне. Я думал, что все пройдет спокойно, и утешал себя, что снова увижу город, который люблю.

В Дижоне мне сразу сказали: «Ваш приезд — бомба. Наверно, вечером будет драка». Мне дали местные газеты, и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который во время посещения Франции Н. С. Хрущевым проявил себя смелым человеком и горячим сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, поддался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы «Эпок» или «Орор», уверяли, что «Падение Парижа» — «грязная, клеветническая книга», что Конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что Советская Армия готовится к походу на Париж. В двенадцатом часу ночи приступили к голосованию. Восемнадцать советников голосовали против предложения, шесть коммунистов — за, а пять социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосуют закон, постановление, даже регламент, но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет, и социалисты все же воздержались. Я смеялся, а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть химер на дижонском соборе Нотр-Дам.

Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет — не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайной аварией, но положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку, тогда всем придется уйти... Я решил прибегнуть к маневру. В самом начале речи я сказал, что приехал в Дижон, хотя во Франции останусь всего несколько дней. Я — офицер Почетного легиона, но визу мне не продлевают. А награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздались аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул: «Это аплодируют голлисты, я знаю, где они сидят...» Вечер кончился благополучно.

Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романэ, Вужо, Нюи. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее двух часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики; принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром. А мне приходилось дегустировать натощак, я боялся, что опьянею, и все же пил: отказаться — значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами.

В Нюи меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям. О конгрессе она ничего не знала: «Я не читаю газет. Там такой ужас, что теряешь голову. А мне нужно присматривать за вином... Я люблю читать романы, там если даже герой погибает, то красиво, благородно...» Она начала приносить бутылки, к счастью, дала хлеб и сыр, обрадовалась, когда увидела, что я разбираюсь в вине, отмечаю лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил: я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа». Женщина всплеснула руками: «Но я читала этот роман! Это ужасно грустная книга, я даже заплакала, когда убили бедную актрису». Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густым слоем пыли: «Это самое лучшее вино в Нюи. Случайно уцелела одна бутылка... Я хотела ее поднести канонику Киру. Но я уверена, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писателя, — он мне говорил, что русские замечательно воевали...»

Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в «Мютюалите» — я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал Антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило Общество дружбы. Говорить мне было легко, а когда я кончил, ко мне подошел Элюар: «Знаешь, через две недели я, кажется, поеду с Фаржем в Грецию — в район, который наши удерживают. Это счастье!..»

На следующий вечер я выступал в Версале; не знал, как меня там встретят: Версаль — город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества «Франция — Советский Союз», почетный председатель государственного банка Франции Эмиль Лабейри. Это был человек немолодой, с тем скрытым ог-

нем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки — он любил искусство. (Десять лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок Коро — драматический пейзаж. Я не хотел брать слишком ценный подарок: «Почему вы решили подарить его мне?» Он улыбнулся: «Потому что я стар и потому что я вас люблю».) Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире, и все оказалось проще, чем я думал.

В Постоянный комитет конгресса включили девять советских делегатов, в том числе и меня. Я подумал: вывеска... Герой — Маресьев, мать Зои, митрополит, писатель. Когда я прощался с Ивом Фаржем, он мне сказал: «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении...» Я ответил, что вполне с ним согласен.

В самолете я вспоминал дни конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились (некоторые из них потом стали моими близкими друзьями). Да и дело было чистым: постараться убедить всех, что третья мировая война уничтожит цивилизацию.

«Холодная война» проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, всех, кто осмелился вымолвить «мир», она осуждала за «сочувствие к коммунизму». В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала «четырех молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали: «Мы хотим мира» и другие оскорбительные слова».

Я прочитал «Правду» от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли «грязной душонкой», Хемингуэя — «потерявшим совесть снобом», Фейхтвангера — «литературным торгашом». Это было несправедливо и бессмысленно: в те годы мы как будто толкали людей к апологетам американской «комиссии». Я вспомнил слова Фаржа. Конечно, никто у нас не хочет войны: ни обыкновенные советские люди, ни Сталин. Но полагается ругать Запад, вот и стараются...

Конечно, я не мог тогда подумать, что Парижский конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совеща-

ниям больше времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского конгресса прошло пятнадцать лет. Движение сторонников мира узнало и романтику и бюрократию, и победы и неудачи, и мудрые решения и грубые ошибки, но оно превратилось в подлинную силу.

Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жолио-Кюри мне однажды сказал: «Бизнесмену, богатеющему на уране, безразлично, что будет после него, но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертвы, чтобы юноши двадцать первого века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков...» Радуясь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли Движения сторонников мира. В темные, глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности. Мне радостно, что в океане доброй воли — капля моих лет... А началось все в Париже в ослепительную, но нерадостную весну 1949 года.

17

В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом — культурным атташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвала с лирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о конгрессе. Прямого сообщения Париж — Москва тогда не было, ночевали в Праге, и я согласился.

На пражском аэродроме молодой человек сказал мне: «Ваш доклад завтра. Министр иностранных дел товарищ Клементис просил вас прийти к нему сегодня вечером».

Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владо.

Это было в Братиславе, в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной «Правды» и вдохновитель литературно-художественного журнала «Дав», Владо Клементис повел меня «под вехи». (В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином рас-

пивочно. Над дверьми он вывешивал «веху» — сухую ветку.) В комнате было людно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и копченым сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня расспрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхольд, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песню про разбойника Яношика, который грабил богатых и раздавал награбленное голытьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущение и гордость: «Вот мы, словаки, какие...»

В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали, Клементис спрашивал про конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые хотят начать войну. За несколько лет он изменился — потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал: наверно, нелегко быть министром...

Лида принесла бутылку. Я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух: «У твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка и еще настойка, которую я называл «зубровкой»...» Владо оживился, повеселел. Мы начали вспоминать далекое прошлое, прекрасные пустяки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоящем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, былые споры, шутки. Только когда я уходил, Владо вдруг сказал: «А ты помнишь, как в тридцать девятом я пришел к тебе на улицу Котантен? Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно; если нас что-то спасает, так только верность...»

Случайно у меня сохранился том «Литературной энциклопедии», выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку: «Дав» — еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основную работу ведет молодой талантливый журналист коммунист Владимир Клементис». Энциклопедия называет среди сотрудников «Дава» Поничана, Новомеского, Илемницкого, Даниила Окали.

В Праге мне говорили, что «Дав» — это нечто вроде словацкого варианта «Деветсила». С «деветсилцами» я познакомился еще в конце 1932 года; среди них были круп-

ные писатели — Незвал, Ванчура, Библ, Галас, Сейферт; талантливые художники, режиссеры, архитекторы. К концу двадцатых годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбюзье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Деветсила» был Тейге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон Кихота; он умел найти марксистское объяснение словотворчества Хлебникова или «каллиграмм» Аполлинера. Чехия была богатой индустриальной страной, коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветры. Художники «Деветсила» ездили в Париж. Незвал влюбился в Бретона. А Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе «Дава» был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы — для «давовцев» любой сотрудник «Лефа» был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира.

В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал: «Постараюсь», — словаки мне сразу пришлись по душе, в них было много бескорыстности, порой наивности, той, что связана с душевной широтой.

Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки «запекачки» и писал: «Ту запекачку, что завернута отдельно, я получил так: я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услыхав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже тридцать лет, он хочет ее отдать, так как любит русских (конечно, на старый лад, как любили наши отцы). Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было двадцать семь лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запекачку не следует закуривать как обыкновенную трубку, тогда внизу остается «мочка», то есть несгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в запекачке образовалась «мочка». Он встал и вышел во двор, чтобы отдать «мочку» работнику Юро — тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал булькание. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын — врач в нашем селе. Вот и вся исто-

рия. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать ее вам вместе с запекачкой».

Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке. Запекачка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогую ему трубку потому, что «любит русских», волнует меня и теперь. Волнует и оговорка Клементиса: «конечно, на старый лад, как любили наши отцы» — в этом противопоставлении история «Дава», судьба Клементиса, Новомеского, многих моих друзей.

Летом того же, 1928 года я снова приехал в Словакию. «Давовцы» мне показали страну, глухие деревушки Оравы, Татры, Прешов, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав — тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В «Славянской матице» висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались онемечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не строили заводов, они пили в ресторанах Братиславы и Кошиц крепкое вино «ассу» и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. (До первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным.) Все надежды словацких патриотов связывались с Россией. В Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали не только Толстого, но и генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям «Славянской матицы» казалась загадочным и преходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне: «Прислали стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают!.. Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора... Есенин...» (Не знаю, дожили ли эти «славянофилы» до сороковых годов и как они вели себя — пытались с помощью Гитлера «освободить русских братьев» или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам?..)

«Давовцы» любили Россию по-другому — любили народ Октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого; это было двойной любовью — к близкому

народу и к революции. В увлечении «давовцев» Маяковским, теориями «Лефа», современным искусством было что-то от романтического бунтарства, — кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне: крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты; и вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом.

(В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали из быта в костюмерные ансамблей, новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые «фартучки» молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века, и, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вздыхать о прошлом.)

В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левоча или Кежмарок с ратушами и готическими церквами, с аккуратными абонентами журнала «Ди вохе» казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили словаки, — Брезно, Зволен, Ружомберок, Мартин — походили на большие села: несколько городских домов — и здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясеновой меня повели в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В такой же избе я увидел Илемницкого — он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Лацо Новомеский повез меня на Рождество в село Сеници, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт-«давовец» Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами. А Лацо и Хорват говорили о Маяковском, Незвале, Арагоне, Пастернаке...

Клементис возил меня в свое село Тисовец, его родители потчевали нас галушками, сливовицей, зубровкой, радушно суетились. «Давовцы» мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных, но душевно благородных, не прошедших через уродующую души печь капитализма. В этом и было своеобразие «Дава», его трудности. Клементис мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в

горы отару, или о Яношике, мог восхищаться красотой старого чепрака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился «ряд идеалистических заблуждений», нужно к тому-то «подойти по-марксистски»...

Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Владо заговорил о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство, для меня он был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементис говорил, что главное — борьба, пока чехословаки не сбросят капитализма, не будет ни справедливой жизни, ни настоящего искусства. «Мое дело — партия...»

В 1940—1941 годах Владо сидел в английском лагере на севере Шотландии, времени у него было много, и он написал для своей жены Лиды о своем детстве и отрочестве, о родителях, о родном Тисовце. Теперь эти тетрадки издали, назвав их «Незаконченной хроникой». Книга показывает, насколько ее автор близок к стихии искусства, но для Клементиса это было только вылазкой из крепости — между винтовкой солдата и министерским портфелем.

О том, что Лацо Новомеский — поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, просто взглянув на него. А если измерить его жизнь аршином, окажется, что больше всего времени он отдал политической деятельности. С 1925 года по 1939-й он редактировал партийные газеты. В годы оккупации входил в подпольный ЦК КПЧ, который подготовлял словацкое восстание. После победы был членом ЦК и министром народного просвещения. Однако его подлинной страстью была поэзия. Однажды он мне сказал: «Совесть подсказывает...» Совесть для него не случайный собеседник, а постоянный суфлер. Архитектор на войне может оказаться в саперной части и взрывать мосты — это его долг, но не призвание.

Клементис и Новомеский были разными людьми, но они любили друг друга, и судьба у них оказалась схожей.

В 1936 году в курортном местечке Тренчанске-Теплице по инициативе «Дава» состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели различных толков, некоторые из них потом пошли за сепаратистами-католиками, поставившими на победу Гитлера, другие участвовали в Сопротивлении, партизанили. Клементис и его друзья «давовцы» убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоци-

ацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов, и подымал кулак. Я сказал Владо: «Совсем как в Испании...»

Вскоре началась испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомеского. Мы говорили о боях, о Комитете по невмешательству, об интербригадовцах, только на минуту я припомнил Владо, хаты, светлую зелень Словакии. Лацо писал стихи:

Хотел пересчитать я звездные отары:
покуда не сгорят.

Но тут — о-та-ра-ра! — забили пулеметы,
и звезды новые взлетели к старым,
отары-ра-та-та,
о господи, —
отары.

Пришел Мюнхен. Гитлеровцы заняли Прагу. Мир почернел.

Когда началась «странная война», я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне: одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Владо и Лида, огорченные, печальные. Потом пришел снова Клементис, он был мрачен, но старался меня приободрить: никогда он не расставался со своим талисманом — верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме; он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Петена капитулировала.

Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни, но был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух потчевал меня едкой запекачкой.

В феврале 1949 года в Клубе писателей устроили мой вечер — сорокалетие литературной работы. Чехословацкий посол Иржи Горок переслал мне телеграмму «Государственного секретаря Клементиса»: «Дорогой Илья, пьем за твое здоровье тисовскую зубровку. Владо и Лида».

О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал: у Владо были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается?

Приехав год спустя в Прагу, где помещался секретариат Всемирного Совета Мира, я узнал от Гофмейстера, что арестовали Лиду, Лацо Новомеского, Ивана Хорвата (он был до этого послом в Будапеште).

Лиду освободили два года спустя. Я встретил ее в Праге, на улице, хотел поговорить, но она пожала руку, сказала: «Не нужно со мной разговаривать» — и убежала.

Выпустили Новомеского, Ивана Хорвата. Лацо я видел в Праге, он работал — переводил, но его стихов не печатали. Иван Хорват умер вскоре после освобождения.

В книге стихов Новомеского, написанных в тюрьме и после, есть стихотворение «Мудрость»:

Лучше стать на колени, чем стоять на костре,
лучше спрятать правду в глубинах души,
словно в ларе,
лишь бы снова потом заявить,
что все-таки вертится...
Как, товарищ Галилей,
может быть, в этом — мудрость?

Но мудрей мудреца смелый, веселый
мальчик из сказки, кричавший тогда:
— Король голый, совершенно голый! —
Так громко кричал, что просто беда!

Шли годы, многое на свете менялось. Пришла весна 1963 года, когда Лацо Новомеского восторженно встретили на съезде писателей. Окали написал мне: «Вы, наверно, знаете, что организатора и душу «Дава» товарища Владо Клементиса ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после десятилетнего заключения... Теперь, после устранения несправедливостей, пересматривают значение «Дава» для нашей литературы и культуры в широком смысле слова...» Передо мною словацкий журнал, в нем фотография Владо...

Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи:

...Пройдут по тебе.
Верность сердцу и верность судьбе...

Накануне казни он сказал Лиде, что умирает честным коммунистом.

Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучшие думали об истории. Ложь всесуща и всесильна, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь

многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Владо, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой; но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед.

А сейчас я думаю о далеком вечере «под вехами», когда молодые словацкие писатели пели песню о Яношике. Некоторых нет, другие хлебнули горя, до времени состарились. Вспоминаю и шалаш над Тисовцем, молодого Владо, его очень чистые, светящиеся глаза, слова о борьбе; смеркается, все голубеет, и над мягкими, округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда.

18

«Как вы провели последний вечер в Париже?» — спросил меня А. А. Фадеев. Я ответил, что был со старыми друзьями. Он сказал: «А меня замучил Фаст — хотел, чтобы я ему все объяснил... Эх, Илья Григорьевич!.. — Он оборвал себя: — Давайте лучше выпьем коньяку». Я поглядел на него и увидел не те глаза, что привык видеть на собраниях и заседаниях, а мягкие, печальные.

О Фадееве говорят, что он был очень талантлив, умен, что он обладал железной волей, что его ценил Сталин. Все это правильно; но слово «талантлив» не справка в послужном списке, оно связано с сотнями помарок на листе рукописи, с внутренними терзаниями, с душевной природой, не всегда подходившей для общественной работы, которую выполнял Фадеев, выполнял не только старательно, но и с увлечением. Все писатели, да, кажется, и все руководители Движения сторонников мира знали его глаза — ясные, холодные, его эрудицию, память, умение придать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона. Мне хочется рассказать о другом Фадееве — менее известном.

Познакомился я с ним давно, еще в годы, когда он был одним из лидеров РАПП. Мы встречались в Москве, потом в Мадриде и Париже. «Разгром» мне понравился, но человека я не понимал, вернее, не знал; и в 1940 году, когда я беседовал с ним, он был для меня скорее начальником, чем писателем. Вспоминая прошлое, он в свою очередь как-то признался: «Я вас считал человеком издалека. В Мадриде я говорил нашим военным, — они вас защи-

щали: «Может быть, он и готов умереть за наше дело, но жить с нами он не хочет, да и не может...»

После войны мы начали приглядываться друг к другу. В Пензе, во время юбилея Белинского, я с ним проговорил весь вечер. Потом мы встретились в Москве, говорили о книгах, о судьбах писателей. Я начал понимать, что Фадеев не такой, каким он мне казался. Но по-настоящему я его узнал в те пять-шесть лет, когда мы вместе работали в Движении сторонников мира; мы разговаривали в самолетах, в вагонах, часто — то в Осло, то в Вене, то в Праге — Александр Александрович ночью приходил в мой номер и говорил, говорил. Именно поэтому я начал писать о нем после того, как рассказал о Парижском конгрессе.

Я не скажу, чтобы мы подружились, — уж очень разными мы были; но, может быть, поэтому Фадеев порой бывал со мною откровеннее, чем со многими из своих близких друзей. Очевидно, представление о «человеке издалека» где-то в нем оставалось, и, беседуя со мной, он чувствовал себя свободнее, чем со своими друзьями. Друзей у него было немало (я говорю сейчас не о лицемерах, старавшихся угодить человеку, обладавшему властью, а о людях, искренне любивших Александра Александровича). Но мне кажется, что с друзьями он не всегда и не обо всем заговаривал. Вот одно из его признаний: «Уж я-то знаю, что такое одиночество!..» Со множеством людей он был на «ты», его называли Сашей; а мы величали друг друга по имени-отчеству.

Рассказать о Фадееве трудно — он был человеком очень сложным, наверно, многое от меня ускользало. Да и события слишком свежи. Мне не хочется строить догадки, и я себя ограничу, попытаюсь выписать из записной книжки, а порой восстановить по памяти некоторые его слова, показать его отношение к некоторым явлениям, рассеять миф о «железном человеке», немного помочь тому, кто через пять или десять лет сядет за книгу о человеке, сыгравшем важную роль в истории нашей литературы.

Фадеев писал в течение тридцати пяти лет, а оставил после себя два законченных романа, два незаконченных, несколько рассказов, сотню статей. Александр Александрович говорил: «Писал много, а написал мало...» Я слышал такое объяснение: «Фадееву не дают писать — Союз писателей, борьба за мир, заседания, митинги, конгрессы...» Действительно, руководство писательскими организациями и Движение сторонников мира отнимали у Александра Александровича много времени, но ведь работал он не

поневоле, а по охоте, и когда в последние годы его освободили от некоторых обязанностей, почувствовал не облегчение, а досаду. В Движении за мир он был неутомим, входил во все детали. У меня случайно сохранилось несколько его записок, написанных во время заседаний. Писал он обстоятельно: то просил поговорить с Ненни, то беспокоился, что выступление одного из американцев рассчитано на полтора часа — делегаты могут начать шуметь, хорошо бы попросить укоротить речь, то излагал свои мысли о расширении Движения.

Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза.

Я как-то сказал Александру Александровичу, что из его книг мне больше всего нравится «Разгром» — первый роман, написанный двадцатипятилетним юношей. Он ответил: «Естественно: «Разгром» — пережитое. Конечно, сознание своей ответственности иногда приподымает, а иногда оно и вяжет...»

За «Последнего из удэге» он брался чуть ли не каждый год в течение двенадцати лет: составлял планы, переделывал, считал, что романа не вышло.

Когда Фадеев сел за «Молодую гвардию», ему было уже не двадцать пять, а сорок четыре. История краснодонских подростков его взволновала — он заново пережил свою молодость. Хотя он всегда причислял себя к реалистам, в нем было много романтики.

Судьба романа «Молодая гвардия» связана с тем, что мы называем «культом личности». Роман был написан, издан, пользовался успехом, получил Сталинскую премию. Один из друзей Александра Александровича, С. А. Герасимов, сделал по роману фильм...Тут-то и разразилась гроза. Сталин читал много, но, конечно, далеко не все и «Молодой гвардии» не прочитал; а фильмы он все просматривал. Он возмутился: в картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. Где же организация комсомола? Где партийное руководство? Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде»: он признавал справедливость критики и обещал переделать роман. Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы — о старых большевиках, о

роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»

Я заговорил о «Молодой гвардии» потому, что хочу показать отношение Фадеева-романиста к действительности. Задумав написать роман, он поехал в Краснодон, расспрашивал сотни людей, старался восстановить и события, и внешность героев, огорчался, что не смог найти точного описания внешности некоторых персонажей, это показывает, насколько он подчинял себя законам не поэта, а летописца. Роман Стендаля «Красное и черное» родился от газетной заметки о преступлении молодого карьериста, автор не только в толковании Жюльена Сореля не зависел от «факта», он переделал интригу. Стендаль никогда не увлекался описанием внешности своих героев, говорил, что предоставляет это фантазии читателя. Золя уверял, что «лишен воображения», изучал детали быта, который хотел изобразить, или, как говорят теперь, «собирал материал». Работая над романом «Нана», он впервые в жизни пошел в притон с записной книжкой. Учителем Фадеева был Лев Толстой: раскрывая характер героя, он останавливался на какой-либо детали его внешности. Толстой мог сделать уши Каренина настолько реальными, что по ним мы знаем его лучше, чем наших друзей. А Фадееву хотелось узнать, какие черты лица были у всех краснодонцев.

Я вспоминаю одну из наших бесед — в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он «кончен», и рассказал трагическую историю недописанного романа «Черная металлургия». «В пятьдесят первом меня вызвал Маленков. «Изобретение в металлургии, которое перевернет все. Грандиозное открытие! Вы окажете большую помощь партии, если опишете это»... Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов-вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале. Писал медленно. Написано свыше двадцати листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственное, за что я смогу ответить... И вот оказалось, что «изобретение» было шарлатанством, обошлось государству в сотни миллионов рублей, геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал...» Я изумился: «Да что вы, Александр Александрович! Я читал отрывки в «Огоньке», это очень хорошо... Измените немного. Пусть они изобретают что-нибудь дру-

гое. Ведь вы пишете о людях, а не о металлургии...» До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева: обычно сдержанный, холодный, вспылив, он краснел и кричал очень тонким голосом. Он закричал и в самолете: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе. А мой роман построен на фактах...» Успокоившись, он тихо сказал: «Мне остается одно — выбросить рукопись. Да и себя — новой книги я уже не начну...»

Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над «Последним из удэге», и над «Черной металлургией» связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, с борьбой между писателем и государственным деятелем, между былым партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне: «На меня многие писатели в обиде. Я их могу понять. Но объяснить трудно...» Я ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева...»

В ранней молодости Фадеев был партизаном на Дальнем Востоке, позднее участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Ему было семнадцать лет, когда он вступил в партию, и двадцать, когда читинская организация отправила его делегатом на X съезд. Для него Троцкий или «рабочая оппозиция» были не страницами «Краткого курса», а живыми воспоминаниями. В биографии некоторых писателей политическая борьба была страстью месяцев или лет. Для Фадеева политика была делом всей его жизни.

Помню небольшое совещание «актива» Всемирного Совета Мира. Происходило оно в Праге, в домике на окраине города, где остановился Жолио-Кюри. Мы обсуждали, что теперь делать: успех Стокгольмского воззвания всем вскружил голову: говорили о том, что нужно собирать подписи. Фадеев приехал с предложением: потребовать от правительств пяти великих держав заключить Пакт мира. Он выслушал различные выступления, а потом блистательно доказал, что все, о чем говорили другие, подходит под Пакт пятерых — страх перед войной, экономические трудности, ущемление национального суверенитета, одичание. Идея была не его, но говорил он настолько умно, что в маленькой комнате, где было человек десять, может быть пятнадцать, раздались громкие аплодисменты, как на мно-

голюдном собрании. Жолио-Кюри предложил напечатать выступление Фадеева и разослать во все национальные комитеты.

Летом 1956 года я был в Париже, меня пригласил к себе Жолио-Кюри. Мы долго беседовали о XX съезде, обо всем, что тогда нас радовало и волновало. Потом Жолио-Кюри сказал: «Фадеев... И в этом сказалась его невероятная воля... Для нас это очень большая потеря. Он бывал порой резок, у меня с ним были трудные разговоры. Но я всегда восхищался его умом. Он мыслил политическими категориями, и это меня побеждало. Я, Бернал, мы рассуждаем как ученые. Вы для меня остаетесь писателем. Не только вы... Возьмите д'Астье, многие его считают политиком, а он — поэт, хотя стихов, кажется, не пишет. А разговаривая с Фадеевым, я часто думал: да, его призвание — политика...»

Конечно, в последнем я не мог и не могу согласиться с Жолио-Кюри: я знал не только книги Фадеева, я знал их автора: я понимал, что нельзя оторвать Александра Александровича от искусства. Но Жолио-Кюри был прав, говоря, что Фадеев мыслил политическими категориями. Это потом предопределяло те противоречия в оценках, которые иным обиженным казались лицемерием.

Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Порой Александр Александрович не мог удержаться: в Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда, потом, незадолго перед смертью Сталина, припомнил Якира, Штерна, повторял: «Его обманывают...» В конце сороковых годов многое ему претило, и опять-таки он находил объяснение: «Мутная волна... Сталин ее удерживает...» К вере примешивался страх. Раз полушутя он сказал: «Я двух людей боюсь — мою мать и Сталина. Боюсь и люблю...»

Фадеев иногда говорил о какой-либо книге: «Конечно, талантливо... Но поймите меня правильно — дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная...»

Я говорил, что учителем Фадеева был Лев Толстой; это всем бросалось в глаза. Длиннейшие фразы с изобилием придаточных были (или стали) для Фадеева естественными. Он не умел писать иначе. Иногда ему нужно было отправить телеграфный отчет о сессии Всемирного Совета или о беседе с одним из руководителей Движения. Он просил меня помочь; садился за стол — у него был разборчивый почерк: «Диктуйте — вы можете все это описать короткими фразами...»

Однако влияние Толстого было куда глубже, чем одни приемы письма. В Пензе Александр Александрович мне долго доказывал, что у Чехова можно поучиться только наблюдательности: «Как он может научить? Он и не хотел учить... Вот Толстой понимал назначение литературы, он был учителем. Конечно, мы теперь рассуждаем иначе, но я преклоняюсь перед романом, который обычно считают неудавшимся: Толстой написал «Воскресение», чтобы доброе начало победило. А Диккенс? Разве в своих лучших романах он не поддерживал добра? Конечно, если за этим не было бы взлета, то это осталось бы скучной дидактикой. Из бездарного писателя не сделаешь и сотой Толстого, но гений должен служить добру, гуманизму. А в наш век это значит подчинить себя строительству коммунизма».

Здесь был мост между писателем и руководителем Союза писателей, мост, а порой и пропасть.

Еще будучи одним из руководителей РАПП, в 1929 году Фадеев выступил со статьей: «Столбовая дорога пролетарской литературы». В этой статье он защищал подход к роману, который был ему близок. Категоричность суждений никого не могла удивить: рапповцы тогда нападали не только на «правых попутчиков», но и на Маяковского. Удивительно название «Столбовая дорога» не само по себе — романтики, реалисты, натуралисты, символисты считали свой путь новым и единственно правильным; название удивительно по своей судьбе. РАПП распустили, писали о необходимости разнообразия литературных течений — и при этом зорко следили за тем, чтобы все писатели шли по одной литературной дороге; тропинки приравнивались к тупикам. При этом шоссе или, говоря языком Фадеева, столбовая дорога была отнюдь не прямой, она петляла в зависимости не только от крупных политических событий, но и от вкусов Сталина, от его настроения, от его отношения к различным авторам. В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу. Не знаю, сколько лет в нем прожили эти иллюзии. А в 1949 году, рассердившись на одного критика, он сказал мне: «Считает, что я придираюсь, провожу свою линию, да я регулировщик, и только...»

Конечно, это было сказано в сердцах. Он не прокладывал дорогу, но и не был регулировщиком. Порой ему удавалось создать построение, выходившее за пределы принятых формулировок. Он, например, одно время давал такое объяснение социалистическому реализму: показать людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к

реалистам прошлого века, но есть в такой постановке пафос, масштаб.

Вокруг Фадеева всегда имелись критики, способные повторить идеи Александра Александровича, показать их на разборе книги. Помню, как на собрании писателей Фадеев в докладе обличил одного из таких критиков в коварстве: «Есть восточная сказка о скорпионе и лягушке. Преследуемый врагами, скорпион попросил лягушку переправить его на другой берег речки. «Ты меня ужалишь», — сказала лягушка. «Зачем мне тебя убивать, — мне грозит смерть, если я не переправлюсь на тот берег». Он убедил лягушку. Они почти достигли цели, когда скорпион ужалил ее. Они пошли ко дну. «Зачем ты это сделал?» — спросила, погибая, лягушка. «Не знаю, такой у меня характер», — ответил скорпион». Критик сидел рядом со мной, он громко сказал: «Дело не в характере. Просто скорпион не доверял лягушке...»

У Фадеева были свои вкусы; все чаще они расходились с оценками Сталина, и Александр Александрович то и дело противоречил себе. В 1928 году Фадеев яростно нападал на поэму «Хорошо» Маяковского. В 1938 году он назвал эту поэму «историческим событием». Изменилась не оценка поэзии, а подход к литературе, в речах Фадеева появилась «государственная линия». Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего.

В беседах со мной он часто любовно отзывался о писателях, которых был вынужден публично осуждать. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил «отход от жизни» некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?..» Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только для того, чтобы спросить: «Хорошо?» Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым.

Он любил поэзию, но еще сильнее любил основную линию своей жизни, и не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идее он, как и миллионы его современников, связывали с каждым словом, справедливым или несправедливым, Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не «шпион», что Зощенко не «враг», что непри-

язнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна, но он знал и другое: для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина — закон. «В годы гражданки я был дважды ранен, — сказал мне Фадеев при нашей последней встрече, — врачи говорили, что ранения тяжелые. Но была молодость... Да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом?..»

Иногда он обрывал признания шуткой. «Вы знаете, какой художник мне нравится? Ренуар. — И, увидев мое изумление, добавил: — Но я вам признаюсь — я дальтоник...» И он засмеялся своим незабываемым смехом.

Он казался суровым, но много раз я видел, как смягчались его глаза. Он пытался помочь писателям, попавшим в беду. В начале 1938 года он показал мне несколько стихотворений Мандельштама, хотел, чтобы их напечатали в одном из журналов. Ничего из этого не вышло. Десять лет спустя он сказал мне: «Помните Гарри? Он обрушился на ваш «День второй»... Так вот, он вернулся из концлагеря. Написал интересную повесть, чем-то напоминает «Смерть Ивана Ильича». Положение у него тяжелое... Попробую протолкнуть...» При следующей встрече он мрачно сказал: «С Гарри ничего не вышло».

Порой Фадееву удавалось отстоять книгу, которая ему нравилась, предотвратить беду, нависающую над неугодным. На несколько дней он приободрялся. Потом снова мрачнел, и глаза выглядели пустыми. Он начал чаще и больше пить; пил он главным образом с людьми, далекими от мира литературы, — хотел забыться.

В марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, я прочитал в «Литературной газете» статью Фадеева, в которой он резко нападал на роман Гроссмана «За правое дело». Это мне показалось непонятным: Александр Александрович несколько раз с восторгом говорил мне об этом романе, ему удалось напечатать это произведение. Роман рассердил Сталина, «Правда» напечатала резкую статью. Фадеев продолжал отстаивать книгу. Гроссман кое-что переделал. И вдруг эта статья...

Появилось сообщение о реабилитации врачей: что-то явно менялось. Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: «Вы в меня не бросите камень... Я попросту испугался». Я спросил: «Но почему после его смерти?..» Он ответил: «Я думал, что начинается самое страшное...» Он это повторил потом много раз: ему хотелось каяться. Год спустя я встретил переводчицу Л. С. Фактор, которую Фадеев всегда брал с собой для трудных

политических разговоров с французами. Лидия Самойловна мне сказала: «С Александром Александровичем что-то неладное — он несколько раз приходил ко мне и убивался, что написал нехорошо о романе Гроссмана...» В конце 1954 года, на Втором съезде писателей, Фадеев, говоря о романе «За правое дело» и своей статье, покаялся на людях: «Я очень жалею, что проявил слабость...»

Александр Александрович был человеком крепчайшим; много ел, много пил; мог пробежать десяток километров; просиживал ночи на заседаниях, и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать. В декабре 1952 года он писал мне: «...Я, увы, все еще болен и, должно быть, еще недели три пробуду в больнице. Если человек со стороны взглянет на вас и на меня, то он, конечно, скажет, что я исключительно здоров, а вы больны. На деле вы оказались человеком железного здоровья. Однако поберегите его! Это ведь все на нервах, и все до поры до времени. Вы как-то не привыкли отдыхать, а вы попробуйте...»

При последней нашей встрече Фадеев говорил, что болен — «ноги болят, не могу ходить», «роман, как я вам рассказывал, пропал», «словом, плохо». Я пытался его ободрить, говорил, что болезнь пройдет, он на десять лет моложе меня, еще напишет несколько романов. Он покачал головой: «Мотор отказывает...»

Через два месяца позвонили: «Фадеев покончил с собой...»

Как всегда в таких случаях, люди начали гадать, искали резонов, вспоминали хорошее и плохое. Наверно, причин было много — в жизни он не щадил себя; пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал раздумывать о пережитом, ненаписанном: как-то все обнажилось; тут-то начал отказывать мотор.

Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно вижу фигуру Фадеева. Роста он был большого, выделялся на любом собрании. Да и человеком был большим — и в беспощадности, и в нежности, и в вере, и в беде.

19

Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим: сессия Постоянного комитета Парижского конгресса. Это было в нравах того времени: поздно решали, поздно запрашивали визы; то и дело

мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги, как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетев из Праги рано утром, мы приземлились в Риме часов в десять. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было: оказалось, что нам всучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фадеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание — сессия уже началась. Я плохо слушал доклад д'Арбузье о борьбе за мир в Черной Африке — мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол.

Фадеев, Василевская и Корнейчук сели в посольскую машину, а меня предложил подвезти Эмилио Серени, депутат-коммунист. Это тучный, черный и веселый человек. Он знает множество языков — французский, русский, испанский, польский, английский, древнееврейский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то (забыл какие). Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол; иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить — придумывал что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал: он на ухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара — я выпью у стойки кофе. Но Серени сказал, что посол нас сейчас накормит, и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута.

Посол принял нас в кабинете; никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корнейчуку и мне, что капитализм не похож на социализм и что в Риме нужно вести себя иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злобы краснел. Я все время глядел на часы — половина второго, через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не выдержу... Вдруг Корнейчук прервал посла: «Мы, знаете, вылетели в семь утра — натощак...»

Столовая посольства помещалась в полуподвальном помещении. Пахло капустой. Свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корнейчуку: «Я лучше похожу по городу». — «Ты с ума сошел — ведь у тебя нет ни одной лиры...» Я понимал, что поступаю неразумно, но заупрямился — обидно было стоять и ждать.

Когда я выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня: «Вы Илья Эренбург?» Он представился: «Вишневский, корреспондент ТАССа» — и стал хвалить мои книги. Я взмолился: «О книгах поговорим в другой раз. Но, может быть, вы одолжите мне немного лир — столько, сколько нужно, чтобы пообедать: нам еще не выдали денег...» Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед, все мне казалось на редкость вкусным, — может быть, потому, что после вермута я обезумел от голода. Да и сотрапезник достался интересный — Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях.

На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корнейчука, кто выступал. Он взревел от зависти: «От тебя пахнет вином!.. Ты, значит, обедал?..»

В зале можно было курить. Человека трудно удовлетворить. Я успел выкурить все, что было в моем кисете, а лир не было. Я начал «стрелять» сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательным: интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции...

Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились; изменился я — впервые был подготовлен понять величие этого города, где двадцать веков мирно сосуществуют.

На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции; тот же «план Маршалла», тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, беспрерывные забастовки и одновременно восстановление экономики, американские военные и надписи на стенах: «Да здравствует мир!» Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из Бутырской тюрьмы? Двадцать пять лет Италия была придавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражения не вызывали разуверения. (Я написал эти строки и задумался: может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я — турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей; да и грусть, наверно, охватывает меня потому, что в этом городе прошла моя молодость.)



Фотокорреспондент С. Лоскутов
и И. Эренбург по дороге на
фронт. 1943 г.



Генерал армии П. Батов (слева)
и И. Эренбург под Гомелем.
1943 г.



И. Эренбург на фронте. 1943 г.
Фото С. Лоскутова



И. Эренбург и маршал
И. Баграмян (справа). 1943 г.
Фото С. Лоскутова



В Белоруссии. 1943 г.



К. Симонов и И. Эренбург
на берегу Сожа. 1943 г.
Фото А. Капустянского



А. Толстой и И. Эренбург
в поезде Москва – Харьков.
Декабрь 1943 г.



И. Эренбург и Р. Морган
в редакции «Красной звезды».
1943 г.



Ю. Тынянов. Фото
М. Наппельбаума



И. М. Майский и И. Г. Эренбург.
Москва, февраль 1956 г.
Фото А. Лесса



Ю. Н. Тынянов, И. И. Эренбург,
И. Г. Эренбург. Москва, 1934 г.
(собрание И. И. Эренбург)



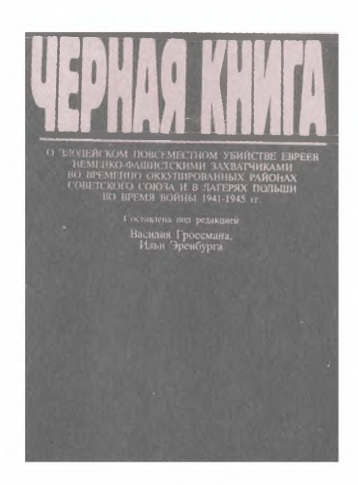
Фляжка, подаренная
И. Эренбургу американским
журналистом Л. Стоу



Василий Гроссман



И. Эренбург и В. Гроссман
на фронте. 1943 г.



Суперобложка «Черной книги»
(Вильнюс, 1944 г.)



Маша Рольникайте. 1940 г.



Л. М. и И. Г. Эренбурги беседуют с О. В. Кончаловской на посмертной выставке П. П. Кончаловского. Москва, 1959 г.



Обложка книги «Дневник и письма Ины Константиновой» (Калинин, 1957 г.)



И. Эренбург с еврейскими партизанами. Литва, 1944 г.



И. Эренбург и маршал
П. Ротмистров. Москва, февраль
1956 г. Фото А. Лесса



И. Эренбург с танкистами.
1944 г.



Иван Чмиль



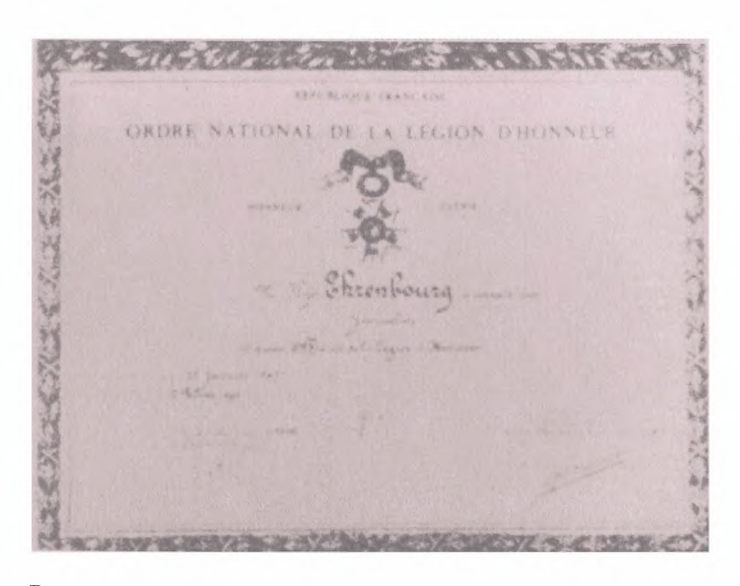
Александр Баренбойм



Жан Ришар Блок и Илья Эренбург. Москва, 1934 г. Фото О. Игнатович



И. Эренбург и полковник полка «Нормандия – Неман» Пуярд. Под Орлом, 1943 г. Фото С. Лоскутова



ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR

Ehrenbourg

Грамота о награждении И. Г. Эренбурга орденом Почетного легиона, подписанная 22 января 1945 г. Шарлем де Голлем



И. Эренбург в гостинице «Москва». 3 января 1945 г.



Эдуард Эррио после освобождения из гитлеровского концлагеря. Весна 1945 г.



Front und Heimat

Die deutsche Soldatenzeitung

„Adolf Hitler die Standhaftigkeit selbst"

Worte müssen zu Taten werden



e Pflicht ist!"

cheidenden Stunden

Feind ohne Maske:

Ilja Ehrenburg

die Sensationsmache

Гитлеровская газета «Front und Heimat» (№ 99, апрель 1945г.) с заметкой об И. Эренбурге в рубрике «Враг без маски» (собрание Б. Я. Фрезинского)



И. Эренбург на приеме
в Белграде. 1945 г.



И. Эренбург и М. Садовяну.
Румыния, 1945 г.



И. Эренбург в Болгарии.
Пловдив, 1945 г.

▲2



И. Эренбург беседует
с Л. Новомеским и другими
писателями. Прага, 1945 г.



И. Эренбург в Будапеште
(слева – М. Ракоши). 1945 г.



Вс. Вишневский, Вс. Иванов
и И. Эренбург на Нюрнбергском
процессе. 1946 г.



И. Эренбург и М. Галактионов
после прилета в США. 1946 г.

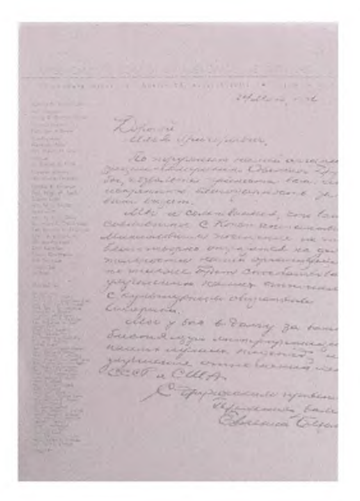


Выступление И. Эренбурга
в Мэдисон-сквер гарден.
Нью-Йорк, 29 мая 1946 г.



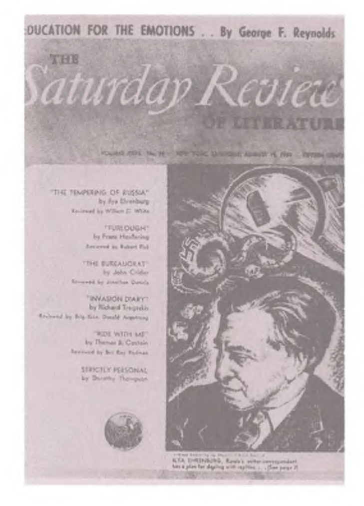
Вашингтон, 1946 г. Сидят: И. Эренбург, К. Симонов, М. Галактионов. Стоят: редактор газеты «Крисчен сайенс монитор» Э. Кэнхем, сотрудник посольства СССР Ф. Орехов и издатель Дж. Найт

И. Эренбург в гостях у
А. Эйнштейна. Пристон, 1946 г.


Дорогой
Илья Григорьевич,

СССР и США.

Приглашение И. Эренбургу.
Июнь 1946 г.


EDUCATION FOR THE EMOTIONS . . By George F. Reynolds

THE
Saturday Review
OF LITERATURE

"THE TEMPERING OF RUSSIA"
by Ilya Ehrenburg
Reviewed by William L. White

"FURLOUGH"
by Franz Hoellering
Reviewed by Robert Pick

"THE BUREAUCRAT"
by John Crider
Reviewed by Jonathan Daniels

"INVASION DIARY"
by Richard Tregaskis
Reviewed by Brig.-Gen. Donald Armstrong

"RIDE WITH ME"
by Thomas B. Costain
Reviewed by Ben Ray Redman

STRICTLY PERSONAL
by Dorothy Thompson

Обложка американского журнала «Saturday Review» (август 1944 г.) со статьей И. Эренбурга «Закал России».



Т. Тцара, П. Элюар, И. Эренбург, К. Симонов, Л. Арагон, Э. Триоле. Париж, 1946 г.



Портрет И. Эренбурга работы
А. Матисса (8 октября 1946 г.)
(собрание И. И. Эренбург)



Ж. Р. Блок, Л. М. и И. Г. Эренбурги.
Париж, 1946 г.



Выступление И. Эренбурга на
Парижском конгрессе
сторонников мира. Май 1949 г.



Французская афиша,
посвященная роману И. Эренбурга «Буря».



Выступление И. Эренбурга
в ГОСЕТе на вечере памяти
С. М. Михоэлса
16 февраля 1948 г.



Соломон Михоэлс



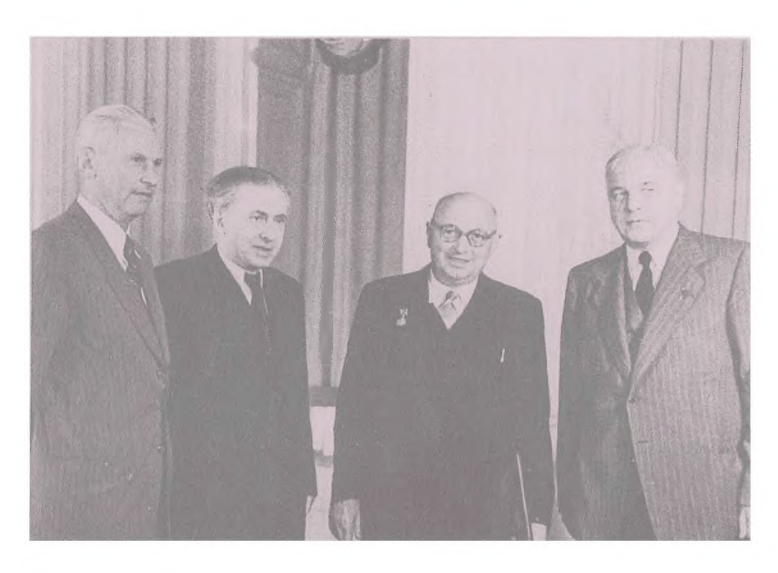
А. Твардовский и И. Эренбург
в Варшаве. 1947 г.



И. Эренбург и А. Фадеев
на заседании Комитета
по Международным
Сталинским премиям мира.
Москва, Кремль, 1951 г.



В. Клементис и И. Эренбург
в усадьбе А. Франса. 1946 г.



А. Фадеев, И. Эренбург,
П. Ненни и Д. Скобельцын.
Москва, Кремль. 11 июля 1952 г.

Кажется, на второй день сессии художник Ренато Гуттузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин: мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гуттузо — страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя: хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит; он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо; писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты (особенно его увлекала картошка в плетеной корзине).

Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка, мы получили их дня за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил: «Разреши мне сегодня заплатить», даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник, — у меня билось сердце: вдруг не остановит вовремя?.. Однако Гуттузо всякий раз брал меня за руку: «Брось! Ты здесь в гостях». Люди, которые с нами ужинали, были интересными: поэты, живописцы, режиссеры; но неизменно приходил кто-нибудь, представляя которого Гуттузо не указывал его профессии. А я не мог понять: откуда у Ренато столько денег? В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет: каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливый тем, что сидит за одним столом с Пикассо.

Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто, там нам подали «артишоки по-еврейски» (их кипятят в оливковом масле, они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему понравится», — сказал Карло Леви. Она смутилась: «Боюсь — он у меня ревнивый». Все рассмеялись, кто-то посоветовал девушке продать рисунок: «За него дадут по меньшей мере двести тысяч — у тебя будет хорошее приданое». Она вспыхнула: «Что вы!.. Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью...»

Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил

9 Зак. 92

обедом Пикассо, Гуттузо и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане. Мы любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: «Знаменитый мастер», — а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело!.. Не понимаю, как он написал руку Сибиллы...» Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные щипцы для каминов. По парадным залам с бокалами прогуливались делегаты — болгары, сенегальцы, японцы: все напоминало маскарад былых времен.

Карло Леви — писатель и художник (а теперь ко всему и сенатор). Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым — ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекали центральную площадь Колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф — нарушение было серьезным. Я попытался вмешаться в драматический диалог: «У нас полицейские снисходительнее к писателям», — рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня: «Где это «у вас»?..» — «В Советском Союзе, в Москве». Полицейский восторженно схватил мою руку: «Ваш человек полетел на Луну!..». Он отпустил нас, не взяв штрафа.

Карло Леви живет возле парка Пинчио в большой захламленной мастерской. Просыпается он не раньше десяти часов. Он написал несколько моих портретов; у мольберта он тоже кажется ленивым — кистью едва касается холста, похоже, что кошка умывается лапкой. Но, бог ты мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимоленивый человек! В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболи»; она автобиографична — молодого Карло, врача-антифашиста, отправили в ссылку на юг, в нищую, пустынную Калабрию, где говорят, что «Христос остановился в Эболи» — дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карло Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность — сразу чувствуешь, что она написана живописцем: читатель видит пейзажи, сцены, людей.

Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать: он изъездил далекие страны, участвовал в различных кампаниях, положил много времени, что-

бы отстоять тишайшего бунтаря Данило Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карло Леви — пешеход, оно бредет, как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами; может быть, дело не только в цвете, Карло должен любить этих животных — они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карло Леви далек от куцых истин, воистину абстрактных, и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять.

На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе; жил он тогда на верхнем этаже старого дворца; внизу шевелился разгоряченный Рим. Я рассказал Карло, что мне нужно выступить на митинге в театре «Адриано» и я не знаю, что сказать. Карло улыбнулся: «Что сказать — вы знаете. Но я хочу вам посоветовать: говорите по-итальянски». Я засмеялся: «Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски». Он предложил перевести мою речь на итальянский, я ее прочитаю. Я решил рискнуть — когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл, понимаю наполовину. Мы гуляли по старому Риму. Карло сказал: «Здесь живет один мой знакомый. Он был фашистом, но, в общем, человек неплохой, у него есть машинка, я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу...»

Карло Леви оказался прав: когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предрешено — я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски, — это было неслыханно, об этом написали даже антисоветские газеты.

Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы — с Альберто Моравиа. Очень давно, в 1939 году, я писал о его романе «Безразличные» — это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма: безразличие, равнодушие, скука. Моравиа — писатель трудный, и не по форме, а по содержанию; вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель — Боккаччо.

Однако Моравиа мало занимает интрига действия, своих героев он показывает как коллекцию забавных насекомых — не ярких бабочек Возрождения, а озверевших печальных тараканов. Его «Римские рассказы» чем-то напоминают один из фильмов, который меня покорил, — «Слад-

кую жизнь», — может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу, мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые, потом сказал: «Я люблю рисовать стариков и старух — к старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков — я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников — над ней я смеюсь...» У Моравиа часто на лице скука, он машинально отвечает: «Знаю... знаю...» Но иногда его лицо светлеет — мне кажется, от подавленной нежности; так и в его книгах вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, как прогалины в темном лесу.

Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю по облику, а большинство его жителей виноделы; в Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор — «фраскати», «альбано», «джензано». (Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещения, вина окрестностей Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат и вкус.) Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели в мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи.

Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких уличках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком «фиате» ехали два журналиста из «Унита». Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся: «Может быть, в вашей гостинице?.. Я никогда не был в римском ресторане...» — «Вы что, здесь недавно?» — «Скоро год. Но мы ведь обедаем в нашей столовой». Мы остановились, и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня, они там несколько раз ужинали: хозяин — товарищ.

Ресторан был переполнен; посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину: «Покорми нас. Это русские товарищи...» Хозяин принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню ворожить над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивший ни слова, вдруг восторженно сказал: «Вот как они едят!» — и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяина то и дело подзывали посетители. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне: «Я вас сразу узнал, не говорил, чтобы вас не стеснять. Да и все вас узнали...» Он попросил меня надписать фотографию в газете. Когда мы хотели заплатить, он рассердился: «Не нужно меня обижать!..» Он сказал посетителям: «Выпьем за писателя, за советский народ! Вино ставлю я». Люди подходили, чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Джованно, кто о своих дочках, и все это было просто, сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал: «Кажется, я за три часа узнал больше про итальянцев, чем за год...» А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку: «Вот они какие!..»

Два дня спустя один из сотрудников «Унита» повез меня во Фраскати — винодельческий городок неподалеку от Альбано: руководители Итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше — в Москве, в Париже или в Испании, других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены политбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших киноработников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг: «Нет конца». Тольятти усмехался: «Но если, показав мост без перил и человека, который падает в воду, заставить тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески...» Слушая Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товари-

щи связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик, там крестьяне, много женщин с детьми, поджидали Тольятти. Одна крестьянка подвела к нему пяток малышей: «Вот, погляди на моих...» Тольятти разговаривал с ними так же естественно, как со мной. В последующие годы я несколько раз беседовал с Пайетой, с Аликатой, часто встречался с Донини, в Движении сторонников мира работал с покойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке.

Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди, по своим мыслям, по складу бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной дружелюбно, с итальянской непосредственностью. Вспоминаю, как принимал меня в старом Палаццо Веккио мэр Флоренции, набожный католик Ля Пира. Мне сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в траттории я встретил сотрудников левой католической газеты; они расспрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах; споры походили скорее на поиски себя вслух, чем на словесные поединки.

Мне везло: после 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии — то заседание бюро Всемирного Совета Мира, то ассамблея Общества европейской культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча «Круглого стола». Правда, поездки были недолгими и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на уличках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной Лукке, опоясанной древними крепостными стенами, — там что ни дом, то музей, а живут в музейных домах живые страстные современники.

Впервые я увидел Италию полвека назад; многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы; построили современные рабочие поселки; а туринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. Поднялся уровень жизни. Возросли тиражи книг — начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся: исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой

Италия опередила другие страны Запада, переводят много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая волов и осликов, несутся вереницы маленьких «фиатов», мотоциклов. Но характер народа, который меня поразил и покорил, когда я был зеленым юношей, остался тем же.

С некоторыми писателями я познакомился — с Витторини, Квазимодо, Павезе, Пазолини, другие, как, например, Пратолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно: эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил: «Лет через двадцать — тридцать мыслящие машины будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми». Я вполне допускаю, что в недалеком будущем машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной — ведь то, что машине покажется «ошибкой», может оказаться находкой, открытием, началом творчества.

Мне обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника — Моранди. Это главным образом натюрморты — бутылки, скромных три-четыре неярких тона; при всей их философской глубине, в них нет рассудочности, сухости — они взывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был, этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии. Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник, — он жил уединенно в Болонье и писал бутылки. Летом 1964 года я поехал во Флоренцию на встречу «Круглого стола». Я надеялся: поеду потом в Болонью и увижу Моранди... А Моранди уже не было, он умер за месяц до того.

Итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами; кроме Де Сика, узнал Феллини, Висконти, Де Сантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо, но есть еще одно свойство — итальянские фильмы искренни; а искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников.

Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья! Я думаю прежде всего о Карло Леви и Ренато Гуттузо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было под шестьдесят, в этом возрасте слишком часто теряют друзей и неохотно обзаводятся новыми. Мы видимся редко — порой несколько дней в году, порой один день за несколько лет, но всегда говорим о вещах, нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью, непохожей на мою, да и поколение другое — Карло много моложе меня, а Ренато мог бы быть моим сыном, я их понимаю, и они понимают меня, мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли по той же орбите.

Во время одной из моих последних поездок в Италию я оказался в городке Рокка-ди-Папа над Римом. Автобус, взобравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие улицы, белье на веревках, детвора. Мы подымались медленно, то и дело глядели вниз: виноградники, долины, где-то далеко — сизоватая пустота моря. На крутых уличках шла жизнь, женщины судачили, щепля фасоль. Прошел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на древний форт, висела дощечка: местный комитет Итальянской компартии. На другом таком же доме была изображена лира: музыкальное училище. Наконец мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это двадцать лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, в Сиаме? У слонов необычайные глаза. А здесь ослики — как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю! Неделя — это очень много, особенно когда человеку за семьдесят. Странно — время умирать, а я об этом не думаю, на сердце совсем другое. Неделя — это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей или, вернее, за клочьями картин во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья, наверно, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг, оглянувшись, я увидел циферблат: через пятнадцать минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал: вот только дополз, и пожалуйста — вниз!.. Слишком часто так бывало... Суеверно я повторял старым, оглохшим домам, ослику, вывескам «до свидания», короче, как говорят итальянцы, «чау!».

Вернусь к 4 ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию — итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию потому, что там никогда не был, а Гуттузо говорил: «Значит, ты не видел Италии...» Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку: «Завтра мы вылетаем в Москву — есть указания. С нами поедет Жолио, мы должны приехать до праздников. Желаю вам хорошо провести последний вечер. А. Фадеев». Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу — на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась — как вчера, как много веков назад.

В пражской гостинице «Алькрон» в пять часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете, в Легнице через час нам дадут чай. На аэродроме чешка приговаривала: «Да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета...» Александр Александрович повторял: «Нужно лететь — мы должны сегодня быть в Москве».

Я сел в самолете рядом с Жолио: он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал: «С югославами было нелегко — некоторые члены комитета возражали...» Я вдруг уснул. А проснулся оттого, что Жолио-Кюри схватил меня за руку: «Смотрите!..» В маленькое оконце я увидел купы деревьев с последними редкими листьями — они были не внизу, а выше нас. Самолет резко развернулся: «Возвращаемся в Прагу — туман»...

На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в Комитет защиты мира, но никто не отвечал — рано, еще нет девяти. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился: «У нас нет крон. Понимаете?..» Жолио-Кюри шепнул мне: «Как бы раздобыть чашечку кофе? Мне что-то не по себе...» Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину (последнюю — для Фадеева). Александр Александрович пробовал запротестовать: «Вы с ума сошли! Вдруг мы не дозвонимся до чехов?..» Я махнул рукой. Жолио-Кюри выпил две чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил: «Вы думаете иногда о смерти?..»

Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме: туман держался. Все же мы долетели до Москвы.

20

«Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаюсь уйти от ответа», — говорил мне Жолио-Кюри на пражском аэродроме. «Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное — неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим, и пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества... Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь поколений, она продиктована природой. Но есть и другая — работа, творчество, любовь, то, что остается, когда исчезают и человек, и его имя, и даже кости...»

Эти слова я записал, но Жолио выразил свою мысль куда лучше восемь лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки»: «Не раз мне приводилось бывать свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но... Я хотел бы сказать — но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом, потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность не живая, ощутимая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника — очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, я видел картины, свидетелем которых, наверно, был старый подсвечник... Как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего. Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник, вижу лица... Конечно — это фантазия, но подсвечник помог увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми, и я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будь то дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с выемками от шагов, люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность...»

(Я начал рассказ о Жолио с разговора о смерти, а кажется, я не встречал человека более живого, чем он. Прошло немало времени с его кончины, но мне трудно себе

представить, что его нет, часто я ловлю себя на мысли: жалко, что Жолио не приехал, он сказал бы, что делать...)

Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жолио вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание бюро Всемирного Совета. Жолио в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической («Рассуждения специалиста. С политической точки зрения это неправильно...»). Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее, чем Жолио: ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жолио — Роже Мейер: «Жолио говорит, что ему придется уйти с поста президента, — он не может поступиться убеждениями ученого...» Инцидент был быстро улажен, Жолио успокоился, но, когда мы встретились, он сразу сказал: «Поймите — это дело совести! Политика — высокая человеческая функция. Но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю — некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего... Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие... Я еще не отдавал себе отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы, все же я закончил речь предостережением: осторожно! Силы, освобожденные человеком, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут, это было скорее образом, чем научной гипотезой... Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает — я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на глупость, она объясняется младенчеством человечества: всего шесть тысяч лет, как оно начало думать, двести поколений, — да, несмотря на глупость, есть прогресс, движение вперед... Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли... Но если вопреки всему произойдет атомная катастрофа... Что будет тогда? «Новая звезда»? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету — я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение шести тысяч лет? Вакуум... Вы мне сами говорили, что я — оптимист. Но я повторяю: осторожно!.. Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль... Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У неко-

торых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний: они воображают, что освобождение атомной энергии — очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора внутреннего сгорания...»

Нельзя отделить биографию Жолио-Кюри (так его называют в книгах и газетах), Жолио (так его называли люди, его знавшие), Фреда (так звали его друзья) от проблем, вставших перед нами в связи с рождением новой физики. Утро новой эры человечества я увидел в вечер моей жизни. Конечно, открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале двадцатых годов, хотя я их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себе отчета в происшедшем. Атомная бомба меня возмутила оттого, что она была в тысячу или в десять тысяч раз сильнее обыкновенных бомб. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудаком, с длинными кудрями и с человеколюбием прошлого века, а вполне благообразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента.

Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жолио я часто встречался в течение восьми лет. Я его полюбил — его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен — он помог мне понять то, что дотоле оставалось для меня закрытым. Его слова, да и его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. Над гробом Жолио его друг Бернал сказал: «Трагедия Жолио была трагедией благородства...» Вечером Бернал добавил: «И трагедией науки...»

Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жолио-Кюри походил на свои труды, не знаю — я слишком невежествен в современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жолио по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям — словом, по душевной структуре — никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет: меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жолио как-то сказал мне: «Я сам удивляюсь, почему я стал ученым? В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом, мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе... Вероятно, что-то притя-

нуло меня к науке. Я колебался — химия или физика? Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения... В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я — ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя естественнее, чем на научных заседаниях...»

Вполне возможно, что Жолио не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вложил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, по его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши; он пережил и расплату. Говоря это, я думаю не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жолио создал атомный реактор «Зоэ», это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жолио с поста верховного комиссара по атомной энергии: политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. (Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жолио-Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жолио снова приехал в Стокгольм в марте 1950 года — на сессию Постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жолио с чемоданом, — оказалось, его попросили освободить номер: не хотели держать в гостинице «красного».) Говоря о расплате, я думаю не об административных гонениях — они связаны не с открытием искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жолио. Его мучило другое — он много раз повторял: «Простые люди начинают ненавидеть науку». Он понимал свою ответственность, говорил и в публичных докладах, и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье — освободить их от подневольного труда — и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но, помимо научных открытий, существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жолио-Кюри, Нильса Бора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено, — сказал мне Жолио во время одной из наших последних встреч, — люди видят только зло — стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели...»

Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности, но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний и решусь признаться, что Движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жолио, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей, различно мыслящих. Он часто говорил: «Это не враг, это противник», — к врагам он причислял только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему.

В начале пятидесятых годов климат был суровым: шла корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы я помню, как Жолио пытался защитить то итальянскую католичку Пьяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападок на политику Запада, то американского пастора Дарра, — Жолио говорил: «С ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир...»

Конечно, не будь на свете Жолио, наше движение все равно возникло бы, но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Всё политика — и война, и борьба против войны, но люди, для которых политика — профессия, и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул (именно поэтому Жолио особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика).

Движение сторонников мира отнимало у Жолио очень много времени. Однажды он признался мне: «Минутами я сомневаюсь... Близкие мне говорят: «Ты не можешь так продолжать...» Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях в секретариате? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса — на следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем... Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу: то-то делаю я, то-то другие. Тем более что все привыкли обращаться ко мне, скажут: «Значит, движение теперь отходит на второй план». Люди, которые меня упрекают, правы — мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь, — сказать «потребовать» или «предложить». Там на месте политики — Лоран, Серени, Ненни... Но я хочу, чтобы наше движение расширилось, только тогда мы смо-

жем повлиять на политику Запада. Значит, я должен сидеть в комиссиях...»

Политические проблемы пятидесятых годов остаются и ныне актуальными, живы люди, работавшие вместе с Жолио-Кюри, и мне приходится о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь, не всегда Жолио удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне: «X. меня упрекнул в чрезмерном оптимизме... Для того чтобы быть оптимистом, стоит только призадуматься над историей. Но бывает, что и товарищи-коммунисты удивляются моему оптимизму, вероятно, это связано с характером, — не только философия — физиология...» А между тем я знаю, что Жолио порой переживал очень трудные для него недели, но он умел приободрить не только других — самого себя.

У него была внешность не кабинетного человека, а, скорее, спортсмена; он любил ходить на лыжах, был страстным рыболовом. На стенах его дома в Антони красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жолио исполнилось пятьдесят лет; было это во время сессии Постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жолио сразу догадался: «Спиннинг!..» На его лице была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и, восхищенный, шепнул мне: «Это какой-то особенный бамбук!..»

Летом 1951 года Жолио отдыхал под Москвой; однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил, перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг — какая-то травка, которую сыплют повсюду: в суп, на картошку, на мясо (оказалось, что его враг — укроп). После обеда он спросил, нету ли у нас самовара. Таковой оказался: года три назад мне его подарили на тульском заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щепки, они сгорали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жолио дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справились с самоваром. Жолио восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал: «Подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о Рогге!.. Вот это настоящий день мира!..»

А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жолио предоставили вагон-салон; с ним ехала Ирэн Жолио-Кюри. В Ленинграде Жолио попросил меня

отвезти его в Эрмитаж. «Мне сказали, что там часть картин, которые я видел пятнадцать лет назад в московском Музее западной живописи...» В то время импрессионисты, не говоря уже о Матиссе и Пикассо, считались противопоказанными для посетителей музея, и ценнейшая коллекция хранилась в фондах; картины висели на щитах. Жолио восхищался, особенно ему нравились пейзажи Сислея, Моне, Писсарро. Когда мы уходили, он сказал: «Я как будто провел целое лето в деревне — другой человек...» Нагнувшись ко мне, он тихо добавил: «Нехорошо лишать такой радости советских людей...» И тотчас добавил: «Это ненадолго, я убежден».

В 1955 году Жолио серьезно заболел, его поместили в госпитале Сент-Антуан. (Он умер в том же госпитале три года спустя.) Это очень старое, мрачное здание. Жолио отвели отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке — теперь как раз время попытаться расширить движение... Вдруг он взял холст, повернутый к стене, и, смущаясь, сказал: «Я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начинаю с азов...» На холсте был пейзаж, который он видел в окно: двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст, третий... Жолио спросил: «Очень плохо?..» Я ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал: «Забавы пятидесятичетырехлетнего ребенка...»

Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирэн Жолио-Кюри. Для Жолио это было тяжелым ударом: они прожили и проработали вместе тридцать лет — в 1926 году молодой лаборант, работавший в Институте радия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень несхожими. Ирэн была сдержанной, молчаливой, и Жолио, обычно разговорчивый, в ее присутствии часто замолкал. Помню ночь, которую мы провели в вагоне-салоне. Ирэн вскоре ушла в купе, а Жолио остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей «плебейской природе», о том, как порой человеку хочется вырваться из своей жизни: «Мы все машины, буксующие в колее...» В 1956 году Жолио приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне: «Ирэн умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее, а в

тридцатые годы...» Он помолчал и тихо добавил: «Все это нелегко...» Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз, последние тюльпаны. «Ирэн очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой весной они зацвели, а ее уже не было...» Несколько минут спустя он сказал: «Мною овладела торопливость — хочется успеть что-то сделать. Я не мнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным...»

Еще раньше — в 1956 году — он заговорил со мной о Сталине: «Многие наши интеллигенты после XX съезда заколебались. А мне кажется, что наше дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как некоторые другие, — о Сталине говорили как о полубоге. Помню, я сказал тогда X.: «Осторожно! Мы не должны верить в непогрешимость, оставим это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъянов — они первые начали, не удивительно...» Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. А сейчас поговорим о прошлом... Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял...»

Коммунистом он стал в очень страшное время — в 1942 году — и до смерти сохранял верность избранному пути. В его выборе сказались не только эмоции, героизм коммунистов в Сопротивлении, борьба против фашизма советского народа, но и логика, размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жолио сказал: «Однажды мы поспорили — вы помните, это было в Вене, — он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете, он повторял: «Мы знаем вас как верного друга». Я ему ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить друзьям, но и думать...»

У Жолио было лицо француза, — с тонкими, хорошо вырисованными чертами, да и в характере его было много национальных черт: он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая, всегда был точен, логичен.

В Антони я видел, как он возился с внуками — детьми Элен, и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей, за обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей, во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жолио в последний раз.

На похороны я летел вместе с Д. В. Скобельцыным, который в тридцатые годы работал в лаборатории Жолио: мы знали двух разных людей, а любили одного.

После долгих переговоров между детьми Жолио и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал: «Во дворе древней Сорбонны перед часовней XVII века, между памятниками Гюго и Пастера, был установлен катафалк... Стояли, как статуи, солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. Стояли министры и послы, академики и сенаторы. Стояли члены ученого совета Сорбонны в красных тогах, отороченных горностаем... А потом уехали министры, ушли гвардейцы. В предместье Парижа Со возле кладбища собрались друзья и товарищи Жолио, сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали; рядом с парадными тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисадников Франции...»

Вечером некоторые члены бюро Всемирного Совета, приехавшие на похороны, собрались: нужно было обсудить, что делать дальше. Помню Бернала, Казанову, Спано, Изабеллу Блюм. Мы не могли говорить — слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я не мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, много лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается: умер... Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом — это, скорее, рана, рана и веха.

21

Движение за мир организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме двести тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, а в Дели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстреливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетев в Вену, один из делегатов Бразилии умер от инфаркта: не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы услышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон, на третьем получитал-полунапевал поэму, прославлявшую братство, старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парла-

ментских ораторов — Пьера Кота и Ненни, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в девять часов утра, и только на следующий день в восемь часов утра мы пришли к соглашению — проспорили двадцать три часа подряд в душном, накуренном зале. Пять лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение; это вывело из себя китайских делегатов, и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в поле боя.

Все же, оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехало человек полтораста. Заседали мы в подвальном зале ресторана (шутя мы говорили: «В катакомбах»). Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались. Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения Стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или неуспеха нашего призыва зависит многое, и когда Жолио-Кюри прочитал текст (кажется, самый короткий из всех, которые мы когда-либо принимали), нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом.

За несколько месяцев до Стокгольмской сессии Советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О третьей мировой войне говорили как о событии завтрашнего дня. Одна французская газета устроила анкету: «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называла Стокгольмское воззвание «троянским конем». Журналисты спрашивали меня: не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы? Перепуганным обывателям мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, как атомные бомбы уничтожат «красных», спросила: «А мы не можем уехать куда-нибудь, где нет неба?..» Взрослые рассуждали иначе: атомная бомба многим казалась защитой, спасением.

Датский журналист, радикал прошлого века Киркеби, с которым я познакомился еще в двадцатых годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под Стокгольмским воззванием: он ненавидел войну, но считал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне: «Я спросил мою жену: не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону?» Она ответила: «Может быть. Но атомная бомба косится на наших детей». И она подписала...» Наверно, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же чувством.

Произошло чудо: обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана, облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фирмина, она собрала восемнадцать тысяч подписей, она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящики с листочками — неграмотные крестьяне ставили крестики. Представители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей.

Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что пятьсот миллионов подписей под Стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время корейской войны встал вопрос об использовании атомных бомб. Конечно, весной 1950 года мы не могли этого предвидеть, но мы расходились из «катакомб» взволнованные.

Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски — радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Ненни говорил о Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о «Скандинавском союзе». Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам, и все же стеснялся.

Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски: «Я училась в Москве...» Оказалось, что она родилась в Германии; когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлотта встретилась с Мэром. Мне сразу стало легче: училась в Москве, — значит, не чужой человек...

Брантинга я смутно помнил по Испании. В тридцатые годы о нем много писали — он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовывал помощь испанским республиканцам. Коллонтай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное оставшееся еще от книг Стриндберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. Потом я подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч «Круглого стола». Мифический викинг был старым одиноким человеком; только в одном я оказался прав — он действительно писал стихи о смерти. А летом 1965 года он умер, и на минуту встали в памяти тридцатые годы.

Была еще по-прежнему холодная ночь. Я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме — чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей, в море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на набережных, беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами, под злым ветром Балтики. Длинные пустые улицы. В некоторых окнах свет — там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют... Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал: «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню любой жизни.

Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме (или в других шведских городах) происходили различные конгрессы, конференции, сессии Всемирного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Норчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда; познакомился с некоторыми министрами, с учеными — Густавсоном и Мюрдалем, встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна — баловень судьбы: дважды мировые войны ее пощадили. Из сельской идил-

лической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно — и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает, засасывает и выводит из себя.

Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лундквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе Мира. Он сын батрака из Скании, и лицо у него, скорее, мягкое, лирическое. А в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует, изъездил полмира, и нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил (и говорит) о торжестве будущего — это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услыхав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лундквист оказался там: по-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие.

Я был с академиком Д. В. Скобельцыным в Стокгольме, когда Лундквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе «холодной войны»: за неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лундквисту состоялась в Малом зале Концертного дома Стокгольма. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил: «Музыкальной части не будет — в связи с событиями квартет распался...» (Оказалось, один из участников знаменитого квартета, «в связи с событиями», отказался играть.) На торжественном ужине — разумеется, со свечами — Лундквист встал, сказал: «В общем, писателям всегда плохо», — постоял, потом сел.

Почему же в Швеции много и «проклятых поэтов», и мрачных пропойц, и самоубийц? Не знаю, не хочу отделываться парадоксальными гипотезами. Верно одно: «Все дело в людях». А человеку, видимо, мало и артистически приготовленных селедок, и рая из пластмассы.

В середине пятидесятых годов, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время «ежовщины». В школу порой приходил

то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидала Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве.

Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре, у нас его звали Андреем, я не назову его фамилии, — может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика, баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец «Потемкин». Он знал, что его отец в Москве, и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт советского художника Штеренберга, и он попал в Москву — к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с нею поссорился и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза.

При облаве милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе; пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Роллану, а от него на Капри к Горькому. Времена еще были легкими, и Андре отправили в Болшево — в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Болшева в Москву, спрашивал меня про мать, про отчима. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждающих, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь.

Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски,

не имел профессии, жил то у профессора, то у инженера — товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию.

В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет, рассказал, что вначале ему докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе, он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает. Живет с матерью. Помолчав, он тихо сказал: «Но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уж не глупые мечтания мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих людей...» Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала: «Я его понимаю...»

Вернусь к городу, с которым связано и Движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город — там холодно летом, а в декабре куцые дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера. Я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством.

«Все дело в людях»... В 1950 году мне было под шестьдесят. Конечно, я был много крепче, чем теперь, — мог проработать десять часов подряд, пройти, не останавливаясь, десять километров; но на душе у меня часто бывало смутно; я думал, что не живу, а доживаю, и душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях — о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилен помочь. В 1950 году я начал «Девятый вал», писал много, но без внутреннего огня. Меня выручило Движение сторонников мира: чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех Стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жолио-Кюри или Ива Фаржа знали миллионы. Но, вероятно, мало кому известная итальянка Фирмина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей.

Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день, беседуя с Лизлоттой, я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась она или нет, автору трудно судить о своей работе, но это действительно моя книга, я пишу ее по внутренней необходимости, пишу искренне, без давней

желчи, которая не раз меня спасала, да и без пайкового меда. Я помню, как мне пришло в голову ее написать: вдруг стало страшно, что умру и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом — оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях: передо мной встала вереница людей ушедших, но близких, теплых, живых.

В суеверном страхе я спрашивал себя: хватит ли сил, времени? В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиков резолюции я нашел стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства.

В январе 1963 года я был у Пикассо. Пабло вдруг вздумал меня наставлять: «Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду. Вспомни молодого человека в Палестине, ему за это пробили руки гвоздями...» Я усмехнулся — Пабло старше меня на десять лет, но в нем больше страсти, даже неистовства, чем в любом юноше, он только то и делает, что отстаивает правду...

Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость: мотор износился. Я чувствую старость, но о ней почти не думаю. Дело не в возрасте: задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается, — казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях...

22

В начале 1950 года я написал заявление: для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездку мне разрешили, это было удачей; но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель министерства иностранных дел сообщил прессе: «Г-ну Эренбургу отказано в визе не потому, что он — коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь к Франции».

Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь к Франции! Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже «бес-

принципного буржуа Лансье»... И вот, извольте видеть, Бидо выдает меня за врага Франции!

Тысяча девятьсот пятидесятый год был годом, когда «холодная война» ежечасно грозила перейти в горячую. Летом загремели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне: «Без соли не проживешь. А если придется умереть, нужно в чистой рубашке преставиться...» Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии — повсюду я видел исступление, ненависть, страх. События того времени еще хорошо памятны, и я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить своеобразный климат конца сороковых — начала пятидесятых годов.

Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада, не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газетку «Руж э нуар», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно десять тысяч рублей и перееду в «дом в роскошном предместье Москвы, в так называемой «запретной зоне», где проживают высшие сановники». Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об «исчезнувших»: «Исчезла Тамара Мотылева, еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Софронов, на него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге...»

Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен-Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам Сопротивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен-Шофье опубликовал открытое письмо «Прощайте, Бидо!». Однако на Бидо больше не действовали никакие письма — ни закрытые, ни открытые.

Я решил попытать счастья в Бельгии и Швейцарии — туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на две недели, по тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы «Бель-

гия — СССР» устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Народу повсюду было много, и аудитории были бурными: все тогда теряли спокойствие — и враги и друзья.

В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но, будь она нетитулованной, все равно я изумился бы; ей было семьдесят четыре года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о «Буре», которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Ролланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживают Оборин и Ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал: трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. У нас нашлась общая страсть — садоводство, я сказал, что очень люблю туберозы, искал в Брюсселе луковицы, но не нашел. Месяца три спустя в Москве я получил из ВОКСа пакет с сопроводительным письмом: «Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой». В конце беседы королева сказала, что придет на мой доклад: «Я сяду в королевской ложе, обычно я сижу в партере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать...»

Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе.

В Антверпене возле «Зала Рубенса» было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры; помимо экономических требований, они отказывались разгружать американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зее-Брюгге и там выгрузить оружие. Желая обескуражить забастовщиков, власти арестовали стачечный комитет, и среди его членов депутата парламента, докера Франса ван ден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась, а ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. Первого мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения «нашего Франса». Мой доклад состоялся в тот самый день, когда ван ден Брандена осво-

бодили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир. Кругом толпились рабочие. Ван ден Бранден, высокий, худой фламандец, говорил: «Можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружия!..» Потом ван ден Бранден и его товарищи пошли в «Зал Рубенса» на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, о единстве культуры, о Стокгольмском воззвании.

Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. «Может быть, завтра начнется война» — это можно было услышать на любом перекрестке любого города. Пять послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеративная Республика была годовалым младенцем, да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий-металлист Раймонд Агасс: он хотел рассказать мне о драме города Ля-Рошелль. Докеры Ля-Рошелль отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти «желтых». Тогда в порт двинулись рабочие. Агасса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агасс восклицал: «На войну мы не будем работать! Не выйдет!..» Рассказал он мне о событиях в салоне гостиницы «Палас», и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали.

Две недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно «Эмпир Маршалл» металось по Средиземному морю — ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы. Там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы, но кто-то обнаружил закамуфлированные установки; завыла сирена, рабочие ринулись в порт.

Бог ты мой, сколько в этом было романтики! Раймонда Дьен отпраздновала в тюрьме день рождения — ей исполнился двадцать один год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. Но ее имя повторяли сотни миллионов людей, юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком.

Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного Запада. В Лондоне в центре города чернели развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные

карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается.

Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Бовуар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали: «Что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу, — уедете или останетесь в оккупированной Франции?» Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать — они вас не только убьют, но и обесчестят...» Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о «пятой колонне». Антверпенских докеров не поддержали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы.

В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Валлонцы — люди темпераментные, и после доклада меня не отпускали — я должен был расписываться на книгах, своих и чужих, на листочках из записных книжек, на членских билетах общества «Бельгия — СССР», на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул: «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение: решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян.

А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции продлить мне визу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам о русской литературе, министр отказал. Но это было в нравах времени.

Бельгия жила лучше соседней Франции: в магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли: «Все дело в Америке...» Директор «Атомного центра» профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там

я увидел кусок темного минерала, под которым значилось: «Уран, Катанга, Шинколобве». Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии.

Теперь, вспоминая музей и дощечку «Катанга», я думаю о другом: о драме, разыгравшейся десять лет спустя, о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его туземцев: благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые, дикие негры. Уран, золото, медь, олово, слоновая кость, каучук... Десять лет спустя к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови.

Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Ролленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит Стокгольмское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Роллен станет одним из инициаторов встреч «Круглого стола», что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит Жюль Мок и скажет: «Мой друг Эренбург предлагал...» Я говорил, что политика часто вмешивалась в человеческие отношения — рвались дружеские связи; бывало и наоборот — вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал: такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Эренбург; наверно, мы все менялись, а больше всех менялось время.

Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа, световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону — и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чепцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии сплетницы с помощью прикрепленных к окнам зеркалец видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в Пен-клубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматовой и Зощенко, а потом начинали спорить о Сартре, о Кафке, о Маяковском.

Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля-Панн, я вспомнил, как писал «Хуренито». Где же та гостиница?.. Чернел кусок обугленной стены.

В Брюсселе я пошел к Элленсу. Он говорил, что кругом бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказав: «Самое трудное, что мы противоречим самим себе...»

Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах «Верхней Катанги», о том, как американский трест «Группа А — Б» купил миллион шестьсот тысяч акций у англичан и бельгийцев: злоба дня продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энсора, я погрузился в другую стихию — исчезли и уран, и Ван-Зееланд, и Ачесон. Я глядел на пустынные пейзажи, на шествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Малларме. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах, два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно; в тот год я это чувствовал особенно остро.

Швейцарскую визу я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии: визу мне дадут, но я должен подписать заявление: «Я, нижеподписавшийся, Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности не выступать с докладами и не появляться на собраниях, как публичных, так и частных, также не устраивать пресс-конференций».

Я исправил текст и перед словом «собраниях» вставил «политических». Дипломат сказал, что запросит по телефону Берн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино.

Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлене шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях. Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки.

Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот «холодной войны». В Цюрихе мне дали циркуляр биржевого агентства «Аффида»: «...Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «младенцами войны», то есть с акциями предприятий, которые во

время второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание «Локхид эйркрафт корпорейшн», акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7 процента...»

Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными ученикам старшего класса сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий: «...Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушенных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчизну, они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп...»

Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть: в Женеве — дирижера Ансерме, в Базеле — теолога Барта, в Люцерне — художника Эрни. Мне хочется сейчас рассказать о замечательном эллинисте Андре Боннаре. С ним я познакомился на Парижском конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встречал Боннара и позднее — побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе потому, что вечер его жизни тесно связан с «холодной войной». Он был на три года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к Движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессию Всемирного Совета, его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны. Судили его полтора года спустя и приговорили условно к пятнадцати дням тюремного заключения; приговор достаточно показывает вздорность обвинения — оправдать его судьи Берна все же не решились: боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию.

Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего и чистейшего человека, каким был Боннар. Он любил поэзию Древней Греции, ее памятники, жизненность ее искусства, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал: «Вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста... Здесь говорили о моем гуманизме, но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое — законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист по-

дозрительно сосуществует с другой половиной — с тем, кого слишком обобщенно называли «коммунистом». В действительности эллинизм для меня был долгой всепоглощающей школой. Пытаются отрезать переводчика «Антигоны» от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали... Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали, она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь...»

Страшная была эпоха, когда к книгам относились, как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость, Андре Боннара, и попытаться его замарать. А он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей: «Им будет легче...»

Я пробыл в Швейцарии десять дней: приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Лиона, Ниццы; я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе, озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь — это очень странная пьеса — трагедия, которая сбивается на фарс, один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора.

Приехала на несколько часов Дениз. Мы долго глядели друг на друга, — может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал: «Это было в другой жизни...» Она ответила «да» и улыбнулась смутной улыбкой — как когда-то.

Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там «холодная война» была бытом. В Восточном Берлине на Троицу проходила «встреча молодежи». Юноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона Потсдамерплатца принадлежала демократической республике, на другой стояли американские солдаты. Парни в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурш в клетчатой рубашке вопил: «Апельсинов-то у вас нет...»

Границу все время переходили люди — шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в Западный Берлин. Напротив «Романишес кафе», где я когда-то сиживал с Моголи Надь, Маяковским, Вальтером Мерингом, Тувимом, была биржа — меняли «восточные» марки на «западные». Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим — за одну «западную марку» требовали семь «восточных». Побриться стоило одну марку в обеих частях города. Экономные бюргеры западных секторов брились в восточном — у них оставалось после этого шесть марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овощи, хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потсдамерштрассе бойко торговали английской материей; в витринах красовались надписи: «Принимаем восточные марки»; а расчетливые бюргеры Шарлотенбурга несли шевиот портным на Александерплатц — костюм обойдется втрое дешевле. На Курфюрстендам танцевали самбу, пили рейнвейн, разглядывали полуголых визгливых певичек. А в Восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В Западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег — перед ними был не город, а выставка капиталистического рая, безработным давали пособие — сто марок в месяц, и безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в Восточном Берлине: «Мы ничего не делаем и получаем семьсот ваших марок».

В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши — «Разбойники» Шиллера, диспут «Нужно ли нам искусство». В Западном Берлине пестрели рекламы; маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендам были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом: «Ликеры Маппе», «Ресторан Кемпинского». Мне было десять лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло: империя Вильгельма, Веймарская республика, третий рейх — и вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то — закусочная в полуобвалившемся доме, но бюргеры довольны: жизнь восстанавливается, старая, надышанная, хорошо знакомая.

Громкоговорители двух Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало

фронт. Печать Западного Берлина уверяла, будто «красные» устраивают «встречу молодежи», чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов.

У войны свои законы, она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в святого, а врага в плакатное чудовище. В этом «холодная война» напоминала все войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае. А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами.

В Восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зегерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты Западного Берлина на них нападали, называли «продавшимися Москве», «карьеристами», «приспособленцами». Это было глупо — ведь любой житель Восточного Берлина мог перейти Потсдамерплатц и оказаться в том мире, который на Западе именовался «свободным», а подкупить было куда легче на «западные» марки, чем на «восточные». Анна Зегерс приехала в демократическую республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть, и враждебно искусство. Мой собеседник уверял, что в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты; Цвейг — «полусионист-полумистик», который смотрит одним глазом на Израиль, другим на Запад; что касается Брехта, то это «неисправимый формалист», упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах «нарочитая фантастика». Я возражал, говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что Анна Зегерс не может быть антисемиткой — она еврейка, ее мать гитлеровцы убили в Освенциме, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать — этот город превосходит фантазию и Брехта, и По, и Гойи. Горячился, конечно, зря: есть люди, которые умеют говорить, но не слушать.

Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим, такое впечатление обманывало — он слушал, многое подмечал, порой усмехался. Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил, — не Парижа или Берлина, а некоей стра-

ны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека.

Вспоминаю последнюю встречу у Анны Зегерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала: «Кого из писателей реабилитировали после Бабеля?..» Я ей привез старый лубок: Бова-королевич вызвал на поединок Смерть. Брехт попросил перевести текст и насторожился, я почувствовал знакомое мне беспокойство.

Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт «хитрил», был «расчетлив» в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка и все его «расчеты» — просчетами поэта.

В Москву я вернулся в начале июня, рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил: «Ну как по-твоему, будет война?..» Я ответил: «Ни в коем случае». Еще раз я оказался плохим пророком: две недели спустя началась война в Корее, которая долго угрожала стать мировой.

23

Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым, и я почти весь день писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили: нужно ехать в Лондон на конференцию мира — вопреки ожиданиям, англичане дали визу.

На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. В «Ивнинг ньюс» на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?». Я считал, что англичане скорее чопорны, чем фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили какие-то крики; в полусне я смутно думал: почему англичане кричат ночью на улице? Раньше такого не было... Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума. Один из участников фашистской организации Мосли принес портативную три-

буну и начал меня проклинать: я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку Хартия вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу.

В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс да еще большой футбольный матч. Просидев полдня на заседании и выступив (то есть убедив убежденных в том, что мир лучше войны), я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница, меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мною пришли — в Вестминстерском дворце меня ждут депутаты-лейбористы.

Корейская война взволновала всех — люди боялись, что она может перейти в третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы так же мало знали о том, что произошло 25 июня на 38-й параллели, как я, но считали, что коммунисты — зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, и некоторые депутаты говорили, что если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сын Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки. Однако таких было мало (помню двоих — Э. Хьюза и С. О. Дэвиса). Большинство возмущалось «корейскими сателлитами Москвы». Напоминало все это скорее допрос, чем беседу, и продолжалось до девяти часов вечера.

В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Э. Хьюз провел меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство, нас угостили рижскими шпротами и крабами «чатка»; это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство, там все спали; дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидают приема посетители, но ни постельного белья, ни подушки у него нет.

Утром за мной приехал Айвор Монтэгю, повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать: назначена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется заехать в посольство. Лондон очень большой город, и Монтэгю ответил: «Это невозможно. Лучше купить рубашку». — «Но где я могу ее надеть?» — «В уборной». Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что полтораста журналистов уже ждут меня. Монтэгю показал себя умелым полководцем: вместе с двумя сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться.

Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку: зал был набит журналистами, и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не видел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул: «Нечего выворачиваться. Отвечайте прямо — «да» или «нет»?»

На Трафальгар-сквер устроили митинг. Народу пришло много. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что присутствовало десять тысяч, ТАСС назвал цифру «двадцать», наверно, было тысяч пятнадцать. Я оглядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, толпа начала редеть. Когда митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой — серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией: «Спички, которыми Илья собирается поджечь Англию». В другой газете я прочитал: «Илье Эренбургу хочется написать новый роман «Падение Лондона».

Монтэгю нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили, — это было великим делом. Вообще Монтэгю много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлавском конгрессе. С тех пор в течение пятнадцати лет я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира; он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает не благопристойного джентльмена, а одного из посетителей той «Ротонды», куда я ходил юношей; на нем множество пест-

рых свитеров и жилетов, которые на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве; потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным, рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу — он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией и обогатил зоопарк Лондона различными зверьми. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе медвежонка. На третий день медведь лег в каюте Монтэгю и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел, бродил по судну, гадил, и матросы решили его напоить — отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтэгю занялся кино; помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжал работать над проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать, — пинг-понг, он председатель всемирного объединения ревнителей этого спорта. Айвор любит искусство; он очень доверчив и вместе с тем упрям; словом, это человек, который мне всегда казался понятным, хотя рассуждает он путано, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтэгю спокойно беседовал с политическими противниками: его необычность, очевидно, многих обезоруживала.

Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с «большой немецкой овчаркой» и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не называю этого писателя — мы познакомились с ним позднее, а лет шесть или семь спустя он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне.

Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. (Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать, к климату «холодной войны».) Сотрудники журнала «Нью стейтсмен» пригласили меня на ленч; там я с ним познакомился. Разговаривали мы долго — три часа, переводил с французского на английский Монтэгю. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рассказал об интересной

статье во французской газете «Ле монд» и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать, настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков, да и от того, что пишут в газетах. После этог депутат выступил с речью в палате общин. Он сказал, что недавно обедал со мной. Один консерватор его прервал: как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат-лейборист ответил, что хотел узнать врага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в «Таймс». Написал письмо и Монтэгю. Но всякие такого рода опровержения мало кого интересуют, дело было сделано: Эренбург — это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготовляет нападение «красных» на Великобританию.

За полгода до этого правая французская газета писала: «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви к Франции, был квартирмейстером вермахта. Автор «Бури» прокладывает дорогу сталинским легионам. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И каким! Он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстетов и снобов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа».

Меня пригласил Английский совет мира — эта организация объединяла дюжину пацифистских движений, лиг, обществ: и квакеров, и толстовцев, и противников воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зиллиакуса, человека, с которым десять лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность — такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь, разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортила дело секретарша английского Комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила: «Может быть, вы устали? Я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая...» Настроение собеседников изменилось; они не знали, что речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой: овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки...

В субботу часов в пять, то есть именно в то время, когда все англичане, богатые и бедные, правые и левые, пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину: толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за пять минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна; полиции тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против «красных», продолжающих агрессию в Корее. Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекол. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бевину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые, и Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевином он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее...

Я побывал в Кембридже: Монтэгю повез меня к одному из крупнейших физиков — Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Дирак сказал, что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать «Падение Парижа». Дирак сказал: «Вот это — новое поколение, он у меня красный...» Я ответил, что для «Дейли мейл» и сам Дирак «красный» — ведь ему не нравится «холодная война» и он с уважением говорит о Жолио-Кюри. Дирак рассмеялся. (Жолио-Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было тридцати лет.) На два или три часа я забыл о «холодной войне», слушая интересного, своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей, в газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица (чем-то рассердивший Сталина) продолжает работать, и я ответил Дираку, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы — она любит вязать. В меня впились четыре глаза. Я ответил, что охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время, и таковы были человеческие отношения...

В Лондоне я впервые по душам поговорил с Берналом. Он был и во Вроцлаве и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого — все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны, ему даже специально заказали военную фуражку — у него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришло в голову открытие, которое он сделал. Это было в тридцатые годы; делегация научных работников Англии приехала в Москву. Уезжали они с Центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернал стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком, физиком Р. Фоулером. В самолете они рассказали об этом друзьям-коллегам. Те выслушали и сказали Берналу: «Сейчас же, когда прилетим, запишите это...»

Бернал тратил много времени, сил на движение за мир. Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Берналом в сентябре 1954 года (как автор письма указывает — в четыре часа утра): «Меня поместили в гостинице излишне роскошной. Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом, я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят моторы, то громко беседуют: если бы я понимал язык, наверно, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа: турне по метро, улица Горького и в воскресенье осмотр архитектуры на Сельскохозяйственной выставке... Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных, интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову...»

Он очень живой человек: все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона: «От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне рассказал о замечательном английском поэте начала XVII века Джоне Донне, стихи которого Хемингуэй взял эпиграфом

для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо.

Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять, Бернал увидел возле одного домика груду камней, начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала: «Но это ведь кто-то привез — хотят, наверно, вымостить дорогу»... Бернал выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виновато озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон.

Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь XVI века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охраняет. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью; в храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный осенний день; машина забуксовала, нам пришлось пройти километр по вязкой глине, обувь то и дело застревала, и Бернал вытаскивал туфлю, поджав одну ногу, как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день.

Я старался уйти от убийственного климата «холодной войны», то беседуя с Берналом, то бродя по набережным Темзы и вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинной галерее на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись.

В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется восвояси?». Это было в день моего отлета.

Я глядел в оконце самолета — мы летели низко над Лондоном: игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины — макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернала, который в разговоре то и дело вздыбливает свои и без того вздыбленные волосы, вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол...

Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой, но я хотел рассказать о несуразности «холодной войны» и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью, спокойствием, сопротивлением мнениям и настроениям, окружавшим их. Десять лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась конференция «Круглого стола»; не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому

теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех пор прошло всего пятнадцать лет... Конечно, с нашей стороны тоже было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку. Но хорошо будет, если некоторые люди Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью», я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось, они умиленно его повторяли, но в 1950 году они делали все, что могли, для усиления крепчайших морозов, и об этом также не стоит забывать.

24

Я рассказал о том исступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях: я не наблюдал со стороны за «холодной войной», я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер «Кольерс», посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, «Кольерс» рисовал идиллические картины Москвы, оккупированной американцами: заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям, театр Красной Армии переименуют в театр Нового Света, в нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины», крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джемс «Как я любила и разлюбила в Сараваке». Я отвечал резко, и поступать иначе не мог.

Это было в 1949 году, я тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада, и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание «всемирного правительства». Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой: она привела бы к мировому господству капитализма, но глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класса.

Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его «хлестским, рассудочным, салонным». Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки» — талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра «салонным»? Я тогда его плохо знал, две встречи — перед войной и в 1946 году — носили случайный ха-

рактер. Во Франции, да и в других странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в различных гостиных и на приемах: «О, Сартр!..» Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее «дурацкой», — он хорошо знал, что многие, говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг.

В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто общеобязательное — редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой — столько в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем «третьей силы», думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако «ничьей земли» не оказалось, и «Грязные руки» обернулись в оружье Америки и буржуазии.

На Вроцлавском конгрессе Фадеев обозвал Сартра «гиеной»; четыре года спустя я получил письмо от аббата Булье, который писал, что церковное начальство запретило ему участвовать в Движении сторонников мира: «Я не могу приехать на конгресс в Вену — вряд ли поп-расстрига представит большую ценность для Всемирного совета... Мы вам посылаем на этот раз Сартра. Мне обидно, что я не увижу, как Фадеев заключит в свои объятья гиену»...

В Вене Сартр был звездой: его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали.

С 1952 года по 1956-й Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки.

После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями — советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал.

Все это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснение хочу сказать о некоторых свойствах Сартра, — подружившись с ним и с Симоной де Бовуар, я многое понял.

Сартр по любви, да и по таланту — писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависят от дру-

гой стороны его деятельности — от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строят предположения, не веря тому, что «другой» говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположения — так-то поступит одна позиция, исходя от предположения — так-то поступит противник. Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «хочешь мира — готовься к войне», а это — триумф абстракции. Люди становятся абстрактными. Каждый — это «другой», то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека — преобладают наименования, этикетки...»

Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком: я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен...» Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» — «Боюсь ответить — я не специалист». — «Это мы понимаем, что они пишут книги. Но, скажем, пятьдесят литров в день дает?» — «Кажется, таких коров выставляют на выставках». — «А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по пятидесяти литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек!..» В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась: «В общем, он прав — Сартр действительно наивен...» А Сартр стесненно улыбался.

Рассудочность, в которой я пятнадцать лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века, но, будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером: то, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молча-

ния, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью — словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года.

Поездки на Запад, о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат «холодной войны»; я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов, которые нельзя разрешить соглашением, — писал я в «Правде», — мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей... Мы дорожим ценностями любой цивилизации — «восточной» и «западной», «северной» и «южной». Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят, — для всех найдется место под солнцем, а кто прав — рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир — за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумэна и господина Ачесона... Планета одна, однако она довольно поместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома, и чтобы никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе... Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы для мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам, нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов... Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие».

Теперь такие рассуждения — азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. (Несколько лет спустя положение изменилось. В «Литературной газете» была напечатана статья одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. В запале (психологически понятном) он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо — говорил, что в Америке есть своя — и значительная — культура, крупные

ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1957 году, а не в 1950-м...)

В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло, Стокгольме; потом на конгрессе в Варшаве; в 1951-м — сессия Всемирного Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходят пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей, — гонка вооружений, рождение бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на Вокзальной площади, в Вене возле здания парламента. Секретариат Всемирного Совета помещался в Праге; там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться по нескольку недель.

Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей; порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Элин Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе, кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с нею беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. (После этого были выборы, и ее не переизбрали в парламент.) Выступая в Варшаве, Элин Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила «представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю над своими заблуждениями». Два года спустя она выступила на конгрессе в Вене; сказала, что я ей «открыл на многое глаза», но со многим в моей речи не согласилась: «Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?..»

В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал окрестностей города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с двухчасовым опозданием. Однако разговор был благоприятным. (Я рассказал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую.)

Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь Шведского комитета мира Ценнстрем, автор превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей — я должен был убедить его подписать Стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиную, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришло в голову спросить Ценнстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценнстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить: «До вас только двое...» Я постыдно убежал.

Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микробиологу Т. Мадсену. Ему тогда было восемьдесят два года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись: «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте — это может рассмешить студента-первокурсника...» Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек», — мне тогда пошел седьмой десяток и давненько никто меня так не называл.

Генеральным секретарем Всемирного Совета был Жан Лаффит — человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лаффит казался флегматичным, даже ленивым, но на деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эми Сяо, американский пастор Дарр, бразилец Борсари, итальянский социалист Феноалтеа и П. В. Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком; он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале тридцатых годов, не обюрократился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении.

Секретариат помещался в большом доме на берегу Влтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками; работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лаффит, угощал достопримечательным ужином: он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржетт, может потягаться с премированными поварами. Мы

не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились.

Иногда в воскресенье я ездил в Добриш — там в Доме писателей жил Жоржи Амаду с женой Зелией и маленьким сынишкой. Жоржи — живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жоржи и сиживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспособлялся к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду, худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марсельского жулика, а грузный, веселый, порой с лукавством, Дрда напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски: «Шулер!», «Мошенник!», «Конокрад!»...

Амаду — коммунист и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев различных направлений, и он не захотел выступить: «Пусть говорят они...»

Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было двадцать два года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос, — Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы — в них сочетание жестокой правды с поэзией; это не литературная манера, а сущность Амаду — любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он глодал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал — съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью.

Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне: «Я три раза фотографировал Жоржи Амаду, но только один раз одна газета взяла у меня фото...» Слава пришла к Жоржи после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари: «Эмма — это я». Некоторые удивлялись — уж очень не похож был холостой скептик с его иронией на ветреную, влюбчивую провинциалку. А Габриэлла — это воистину Амаду, все люди, знаю-

щие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.

Из друзей моей молодости мало кто остался — одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом, я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет, а это очень много.

Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии; ее назвали, как дочь Пикассо, Палома (Голубка). Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок: он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него — елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас, одна из них попросила Гильена надписать книгу его стихов. Он сразу повеселел и, когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже!..»

Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает; может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала — он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуно. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине:

Птица прилетела неживая,
прилетела с песенкой печальной.
Ах, Куба, тебя я знаю!
На крови растут твои пальмы,
слезы — вода голубая.

«Холодная война» была в разгаре, и это порой придавало нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде; однако за два месяца до назначенного срока мы получили из Англии неутешительные вести: по всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помеще-

ние; забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь: Жолио-Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон, ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона: «Жолио не впустили»... На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много — где же Жолио: в Кале, в Булони, в Гавре?.. Мадемуазель Булонь (так называют телефонисток) была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жолио-Кюри, и вскоре сообщила, что Жолио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жолио — он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарж, потом я. Это было своеобразное заседание — по телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение: конгресс переносится в Варшаву.

Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жолио, Фарж, Ненни, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали и скучные заседания. Хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания, под утро председатель боролся со сном, а оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности!..»

Помню, в один из тусклых дней я увидел Д. Д. Шостаковича; он сидел с наушниками; лицо его было очень мрачным. Я подошел к нему, он шепнул, что его оторвали от работы, и вот приходится слушать... Я сказал: «Да вы не слушайте, снимите наушники». Дмитрий Дмитриевич отказался: «Все знают, что я не владею иностранными языками, скажут — «неуважение к общественности»... На следующий день я снова увидел его с наушниками, но счастливым. Он объяснил: «Догадался — вынул вилку из штепселя... Теперь я ничего не слышу. Удивительно хорошо!..» Говорил он, как всегда, скороговоркой и походил на ребенка, которому удалось перехитрить взрослых.

Участие в Движении сторонников мира многим обошлось дорого: аббаты Булье и Гаджеро лишились духовного звания, некоторые профессора — кафедр, а Изабелла Блюм — места в парламенте: бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию. Ее отец был пастором, ее сын — коммунист, а она осталась партизанкой.

Пьера Кота я знал давно, мы познакомились в Париже в годы Народного фронта, встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам «Нормандии», и все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии — птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому, что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и, кроме политических установок, знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации (мало кто потом вспоминал об этих текстах, но, бывало, люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества). В классических резолюциях часто попадаются слова «принимая во внимание». Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека; эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречьем, — он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал-социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов, и вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом, видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства, причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами.

У д'Астье очень длинное имя: Эммануэль д'Астье де ля Вижери. Сам он еще длиннее своего имени, — входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон Кихота. Он образцовый дилетант — и в политике и в литературе. Он написал несколько хороших книг — это наполовину воспоминания, наполовину размышления; его книги нравятся, но писатели, хваля их, не забывают, что д'Астье — дилетант. О политиках и говорить нечего: Дон Кихот в парламенте или в редакции политической газеты — это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследишь. Может быть, поэтому в Движении сторонников мира первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная рабо-

та самодеятельной дипломатией, д'Астье оказался на своем месте. В кабинете д'Астье я видел портреты его предков; по иронии судьбы все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни — его назначили министром внутренних дел в первом правительстве свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и д'Астье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного Совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, все мы — догматики, а он не разучился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю; подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтеня или раскладывал два пасьянса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям, и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой — что ни говори, донкихотство в наше время дефицитный товар.

Я не могу сейчас говорить о Движении сторонников мира как о прошлом: оно продолжается, и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее ощутимой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена. Горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска Севера заняли почти всю Корею. Вмешалась Америка, ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружия. Некоторые сенаторы требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех.

Конечно, Движение сторонников мира знало и удачи и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные люди — Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Анри Матисс и квакеры. Окрыленные успехом, мы предложили подписываться под обращением пяти вели-

ким державам: Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции — пусть они заключат Пакт мира. Однако для простых людей это было абстрактной формулой — все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении, Пакт мира казался утопией — в 1951 году трудно было себе представить Трумэна и Мао Цзедуна за круглым столом. Притом подписи дают один раз — это не ежегодное занятие; лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корее нашло отклик повсюду.

Почему я отдавал (и отдаю) столько времени работе, которая не диктовалась ни призванием, ни ремеслом? Никто меня на заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем, и ответить почему — трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал «нет», такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я, заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца; причем мне некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов.

Оглядываясь назад, я об этом не жалею: что-то мы делали, что-то сделали. Через тридцать — сорок лет историк, который теперь учится читать, посвятит Движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить — я в этом человек пристрастный, следовательно, слепой.

25

В 1951 году мне исполнилось шестьдесят лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писателей прорабатывали, чествовали и хоронили. Воспоминаний было достаточно.

На вечере председательствовал А. А. Фадеев, с докладом выступил К. А. Федин. Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой: «пламенный трибун»,

«отточенное перо», «неутомимый борец за мир», «книги, вошедшие в золотой фонд советской литературы»... На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые высились предо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного Совета Мира, от Тувима, Незвала, Неруды, Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало: «Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие и глубоко человечные предшественники. Можно писать хуже, чем они, — таланты не распределяются ни в каком распределителе, — можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они... Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте: «Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же как ему же принадлежит по праву преследование ложных неразумных основ общественности, искажающей человека». Бороться против тех ложных основ, о которых говорит Белинский, во имя человеческого достоинства — таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложение, не составляет опись существующего, он открывает сокровища человеческого сердца... Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав, а порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег с эстафетой продолжается, и огонь Прометея переходит из рук в руки... Человек стареет, быстрее устает, реже загорается. Но для писателя нет старости: он живет неоткрытыми страстями, ненаписанными книгами, он молод до той минуты, когда его оторвет — на этот раз навсегда — от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать».

Секретариат Союза писателей решил по случаю юбилея издать пять томов моих сочинений. С этим изданием я намучился: почти на каждой странице произведений, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года, — я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях «День второй» и «Не переводя дыхания»: «В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит

заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц не коренных национальностей». Следовал список семнадцати фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в «Не переводя дыхания». Я подумал: а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?

На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе «НИЛ», что означает «Наука, искусство, литература». Места не похожи на окрестности Москвы: мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет Малая Истра. Это ручеек, но в апреле, когда тают снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче что наша станция называется Новый Иерусалим. Звенигородский уезд москвичи когда-то шутя называли «Московской Швейцарией». Поселок получил имя от Ново-Иерусалимского монастыря, построенного по указу Никона в XVII веке. Немцы, уходя, взорвали колокольню и сильно разрушили собор; в 1950 году еще валялись на земле цветные изразцы — сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске (ныне Истра), работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из Истринского горсовета: «Ваша дача сгорела».

Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом — кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире было людно, беспокойно, и начиная с 1952 года мы большую часть времени проводили в Новом Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче Тимирязевки, у профессора В. П. Тимофеева, повзрослели. Эту книгу я писал у окна; зимою все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета.

Я был правди́в, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал, — о горе, сомнениях, надежде. Конец сороковых и начало пятидесятых годов были, кажется, самым трудным временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ слабый духом или отчаявшийся не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград казались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю не только, да и не столько

о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей тупостью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А я сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства «Трансок», о старости профессора Дюма, о том, как глупый портняжка Маккорн пел:

Говорит она ему:
Ты целуешь почему?
Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я упоминал, что в 1917—1918 годы писал скверные стихи; мне тогда не было и тридцати. А «Девятый вал» написан шестидесятилетним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги, но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал «Девятый вал»? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно, — я судил по тем данным, которые у меня тогда были, это — детали, и не в них дело. Начиная с двадцатых годов критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили: я искал новую форму романа — не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру: писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы порой в сердцах называем «злобой дня» и что десять лет спустя иногда оказывается главой истории. «Хулио Хуренито», «День второй», «Падение Парижа», «Буря» рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг — он часто добавляет к тому, что написано, то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью. А почему я в 1950 году сел за «Девятый вал»? Я мог бы ответить: не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне: знал, что это невозможно. В 1950 году «холодная война» была ожесточенной, оставалось прославлять ее или проклинать,

разжигать огонь или попытаться его погасить, но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь. А писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое — показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать толику правды.

Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные, бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствия, то люди с ними быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проницательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев «Бури», перешедший в «Девятый вал», Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне; в книге приведены короткие записи к задуманной книге, например: «Очень голая у нас любовь, — сказала Вера, — если убьют — ничего, а если выживем — нужно будет что-нибудь придумать»; другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман.

Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. («Литературная газета» опубликовала несколько приглаженный текст.) Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова — суровый приговор «Девятому валу»: я мог бы его не написать.

А. А. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о «Девятом вале»; он кое-что кри-

тиковал, но говорил, что в целом роман «мощен, гуманистичен, в нем клокотание народных сил, людской потоп». В то же самое время Арагон поставил «Девятый вал» рядом с «Падением Парижа» и «Бурей». Я все же не поверил добрым отзывам — я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного:

Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я недавно проглядел подшивки «Литературной газеты» за 1951—1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось «о невиданном расцвете творчества». Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей: Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере, Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось, вспомнили, что в 1945 году у Рыльского были «вредные стихи», вернулись снова к Первомайскому — оказалось, что он одновременно и «космополит», и «буржуазный националист». Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». А. А. Фадеев и А. А. Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала «рецидивом антипатриотических взглядов»... Редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский «полностью признал свою вину». Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах; только трудно теперь понять, в чем был состав преступления.

«Литературная газета» печатала некрологи: умерли Вишневский, А. Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилеи — Гюго, Гоголя.

Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым. Поставили новый памятник — на цоколе красовался образцовый оптимист. Обычно считается, что памятники великим людям ставит народ. На новом памятнике Гоголю написали: «Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза».

Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости: Гроссман написал роман о войне, в котором были

прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года», впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверно, я пропускаю многое — трудно припомнить, когда попалась в руки та или иная книга.

В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже — косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Нерудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях, — богатырем, мифическим Баяном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт — перед его глазами второй мир — искусства...» Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга.

Читали мне стихи и молодые — Винокуров, Межиров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове — он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие, умные строки.

Приходил студент Литинститута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло: его сослали на три года в дальнее сибирское село. Отец Манделя — переплетчик, мать — врач, они посылали сыну толику денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим; он рассказал, что решил

уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят, поступил в горный техникум, стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкусов редакций; он прочитал мне вступление к поэме — писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов.

В Москве устроили совещание молодых писателей, мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десяток рукописей — повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, что они знают жизнь, понимают людей; один признался: «Я сам знаю, что плохо... Но что тут делать — трудно писать роман в стол...»

Меня тянуло к новому поколению. В течение двух лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру, и я старался это выполнить. Мне было интересно разговаривать с двадцатилетними, почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил: «Почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так?..» В конце разговора он сказал: «Вот кончу академию, стихи, может быть, и научусь писать, а может быть, нет, но читать стихи буду всегда. Наверно, через пять лет начнут печатать и про любовь...» Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду.

В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать «Бурю», кто-то принес мне толстую рукопись — заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной:

Кони шли ко дну и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался ее определить, говорил о народности, ссылался на Некрасова. За статью меня обругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе — его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне:

Эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен у штурмовавших небо.

Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким еще до «перекура».

Чужие стихи помогали мне — поэзия жила (порой, как некогда, устная). Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни.

В начале 1950 года меня выбрали депутатом в Совет Национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски; девушки подносили мне цветы — белые каллы, будто сделанные из материи, и делали при этом книксен. Избиратели ко мне обращались редко: они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховный Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не синекура.

До войны Энгельс был столицей Автономной республики немцев Поволжья. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке: украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховей. Я уже говорил, что в те годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила подтянув кушак. Саратов снабжался лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко: зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова. Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не вышло. Зато я достал санитарные машины; министр меня принял, может быть из любопытства, — как-никак писатель, он го-

ворил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс — длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало хождения по мукам, то есть по различным министерствам, долгих бесед, терпения. Помог я и библиотеке; в ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было непросто: требовались разрешения различных центров, подписи людей, к которым трудно было прорваться.

Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных — один доказывал, что он с семьей не может больше жить на восьми квадратных метрах; другой жаловался, что его отца неправильно осудили; третьему не давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела (десятки других моих просьб лежали без движения), раздобыл протез для военного инвалида, купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку, добывал книги, семена. Все это было «малыми делами», но на час мне становилось легче, да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей.

Принимал я в горисполкоме, и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков: «Вы-то уедете, а они на мне выместят»... Несколько лет спустя жизнь изменилась. Я стал депутатом Даугавпилса, по-русски Двинска, города, разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, приходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м, а я рассказываю про 1952-й...

Я ездил по степи Заволжья, в селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артезианские колодцы, деньги взяли, а воды нет; в другом жаловались — не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди; в третьем молодежь возмущалась: «Из Энгельса обещали, что пришлют театр, а приехали три актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная — звеньевая знает, как сеять, а председатель упирается. Это мы

сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр». Один добавил: «Пусть привезут «Гамлета». Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал...»

В одном колхозе меня оставили ужинать, дали глазунью, брагу. Председательница сказала: «Вот вы помогите нам решить, мы с нею несколько вечеров проспорили...» «Она» оказалась бухгалтером, и она говорила: «Помоему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву Мадо. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут — страна та же, язык понятный, и то не могу себя унять, ночью вспомню избу — немец сжег — и реву, как дура... А привези француженку — ей и поговорить не с кем, иссохнет...» Председательница, энергичная женщина с властным лицом, возражала: «Человеку нужно помечтать. Иногда проснешься — что-то приснилось хорошее, и зло берет: почему нельзя сон с собой взять, с ним и в поле легче...»

Росло сознание людей. В степи в сельской школе малыши читали:

А он, мятежный, просит бури...

Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им по двадцати лет, и, глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русого первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверно, у него спина чесалась — прорастали крылья. Школьницы седьмого класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского; одна рассказала мне: «Я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко...»

Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет пятидесяти, весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал: «Подумайте — на такой город, как Энгельс, всего пятнадцать!..» Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал «чего», гадал — коек в одной из больниц, торговых точек? Наконец он объяснил. В связи с юбилеем Гюго Гослит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобиться собрание его сочинений? Да их не поместишь в комнате. А посетитель негодовал: «Люди собрались с вечера, и вот, извольте видеть, пятнадцать на

11 Зак. 92

весь город!..» Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя — как член юбилейного комитета, я имею право подписаться, буду посылать книги ему... Он покачал головой: «Мне не нужно — я был третьим, подписался. Я вам про город говорю. Обидно: Энгельс, большой город — и вдруг пятнадцать!..»

В другой раз пришел молодой рабочий, лицо у него было еще по-детски припухшее, он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в Дом инвалидов, там при нем старая женщина жаловалась, что ей прописали специальные очки, а ей говорят: «Ничего, без очков обойдешься», она сорок два года проработала учительницей: «Вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может. Я так считаю, что это безусловная несправедливость». В руках у него была книга, я спросил, что он читает; он еще больше застеснялся: «Я знал, что вас долго придется ждать...» Оказалось — учебник алгебры.

Нет, не зря сорок два года проработала учительница, не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели. Народ думал, учился, рос. Маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки — все это казалось обездоленным и спящим, а жизнь бурлила, и если «Литературная газета» приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней.

Я увлекался садоводством, огородничеством. Посадил два конских каштана — один погиб, другой вырос и теперь весной цветет, как будто он в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие: с книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом — и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает, нельзя при этом думать об очередных неприятностях, нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут.

Иной читатель удивится: почему я после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачества пожилого любителя растений? Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прерваться. Народ пережил мно-

го дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния.

26

В 1950 году был образован Комитет для присуждения Сталинских премий «За укрепление мира», в него вошли Арагон, Го Можо, Андерсен-Нексе, Келлерман, Бернал, Дембовский, Садовяну, Неруда, Фадеев и я; председателем комитета стал Д. В. Скобельцын.

Среди награжденных в первый же год рядом с Жолио-Кюри была вдова Сунь Ятсена госпожа Сун Цинлин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия, и Люба. До Иркутска мы ехали поездом — Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруде захотелось поглядеть на Байкал — он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на ихтиологическую станцию; нам показывали диковинных глубоководных рыб. Пабло потребовал, чтоб ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб, и Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме.

Вразрез с выбранным мною правилом я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним; кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых: я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой, о нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах: в Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сантьяго, в Исла-Негра.

Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной: старость, как издавна говорят, не радость, да и время — с 1945-го по 1953-й — вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруды, нежели о его замечательной поэзии, — мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло, может быть, со мною улыбнется и читатель.

Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом в жизни и в творчестве поэта. Мне кажется, что «переломы» редкая вещь. Неруде тогда было тридцать два года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано и в одной из первых книг «Двадцать стихотворений о любви и одно об отчаянии» не только нашел себя, но и показал высокое мастерство; он писал тогда:

Облака как белые платочки расставания,
ими размахивает путник-ветер,
и сердце ветра колотится
над нашим молчаньем любви.

Неруда и тридцать лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруды расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде; к нему приходили друзья — Гарсиа Лорка, Альберти, Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы.

И по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце», я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на десять лет.

В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды: Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Неруда стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях; о нем узнали рабочие Сантьяго и Вальпараисо.

Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделу. Новый президент вскоре забыл свои обещания. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверно, известна всем читателям: он был обвинен в государственной измене и после этого, в начале 1948 года, явился на заседание сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать — работал над книгой «Всеобщая песнь». Я рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе.

Неруда любит Уитмена не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству — это поэты одного континента. О столь распространенной теме, как мир, Неруда писал иначе, чем европейские поэты:

Мир наступающему вечеру,
мир переправе, и мир вину,
мир словам, которые меня ищут
и которые в моей крови,
как очень старая песня.
Мир городу рано утром,
когда просыпается хлеб,
мир рубашке моего брата.

С тех пор Неруда написал десятки книг, изъездил десятки стран, узнал подлинную славу, однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне.

Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешностью напоминает статую Будды, если бы ее высек из камня древний инка. (Боги инков, однако, сердитые, а Пабло благодушен.) Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил, покейфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что диву даешься. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо, и голос у него не трибуна, а, скорее, обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Балтасар Кастро, хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела; будто издалека раздался голос, полный скорби: «Балтасар, победа!..»

Неруда — страстный коллекционер, собирает он различные вещи, но главным образом — огромные деревянные статуи, украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме в Исла-Негра на берегу Тихого океана — старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает — матросом или капитаном. Пабло ответил: «Я — капитан, но мое судно затонуло». Это было поэтической фантазией: никогда я не видел корабль Неруды не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что радушные хозяева подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным прискорбия, однако счаст-

ливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неописуемо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. (Мы тогда не знали, что десять лет спустя китайцы будут называть американский империализм «бумажным тигром».)

Неруда — человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я ни пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди: чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. В Сантьяго я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться: все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек пятнадцать — двадцать. Однажды он тихо спросил меня: «Ты не знаешь, кто это — последний налево от тебя?..»

В Чили я поехал по просьбе Неруды летом 1954 года: я должен был вручить ему премию Мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Любе. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали пятидесятилетие Неруды. Да и «холодная война» шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Коту, все было торжественно, пришли депутаты различных партий.

Я забывал, что до Чили далеко — мы летели из Стокгольма сорок восемь часов; это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла «холодная война». На аэродроме Сантьяго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, таможенники взглянули на раскрытые чемоданы, и мы уже шли в зал, где нас ожидали Пабло, Делия и Жоржи Амаду, приехавший на юбилей, когда неожиданно появились настроенные воинственно чины особой полиции, почему-то именовавшейся «международной». Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все; я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруде, но один из полицейских, обладавший мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли — она была в сумке Любы; попади она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее: это был человек нечистый на руку, вскоре его арестовали за махинации с каракулевыми шкурками.

На аэродром приехал председатель парламента Балтасар Кастро, но перед «международной полицией» и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили.

На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиция сообщала, что я пытался провезти грампластинки с секретными инструкциями компартиям Чили и других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и пять миллионов песо. Последнее министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать — их у меня не было. Не было и грампластинок ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений — я надеялся раздобыть семена на их родине — и французские кроссворды, которые я решал в самолете.

Началось нечто невообразимое. Однажды ночью дом Неруды закидали петардами, пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. «Здесь даже выспаться не дадут», — сказала Люба и тотчас заснула. Утром мы узнали, что к дому подъезжала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник Неруды увещевал: «Как вам не стыдно народ будить?..» Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил: «Мы через пять минут кончим и уедем». В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне «выбрать свободу» и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо «красные» не простят мне «Оттепели», что они взывали к Любе: «Спаси Илью и себя!»; что Люба хотела якобы спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали «два гиганта-чекиста». Газеты напечатали все это, хотя Сантьяго небольшой город и дом Неруды известен всем, а он одноэтажный.

Стены города покрылись надписями: «Эренбург, убирайся домой!», «Чили — да, Россия — нет». Газеты сообщали, что я в Москве повесил много неповинных. «С Эренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка «Люба». Наверно, большое впечатление на читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют «Епида» — так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски.

На неделю я стал самым популярным человеком в Сантьяго. Друзья советовали мне сидеть в бесте — фашисты

хотели меня избить. Все же я уезжал в город (дом Неруды на окраине) иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, который час спустя взмолился: «Если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца...» Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался — уж не фашисты ли?..

Казалось, все потеряли голову. Только Пабло сохранял полное спокойствие, писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет — янки распоряжаются тут, как у себя дома, вскоре это кончится, тогда я смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараисо, юг Чили, и я пойму, что нет страны прекраснее.

Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. Дня три спустя Юнайтед Пресс сообщило, что московские газеты пишут о «самоуправстве чилийских властей». Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, я с Нерудой отправился к послу Аргентины, которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми, потревожившими посла; он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами.

Однажды в дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых почитателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде — газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам. Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал: «Я тебе говорил, что мы победим...»

Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко — фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет — пришли и коммунисты, и Балтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жоржи Амаду. Зал мы сняли в большой гостинице, но как

обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих.

Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чествуют Неруду, а не меня, начал медленно по-русски считать: «Один... Два... Три... Четыре...» Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продекламировал монолог Чехова «О вреде табака».

Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра — юстиции и информации, первый за пять дней до того объявил, что меня будет судить чилийский суд, второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост — просил меня не смешивать правительство Чили с «международной полицией».

(Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья — Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели. Мы разговаривали стоя: нам объяснили, что сидеть нельзя — тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки, вместе с нами был секретарь посольства. Аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали, а я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот: напротив посольства — крутая улица, оттуда двое исчезнувших людей спустили на нашу машину «пикап». Посольскую машину исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили.)

Все это относится к 1954 году, но если откинуть некоторые живописные подробности, то это — картины «холодной войны», о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло больше десяти лет, многое изменилось и в мире, и на родине Неруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и М. И. Алигер рассказывала, как их там радушно принимали.

Пабло Неруде в 1964 году исполнилось шестьдесят лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины», в нем он просит:

А теперь оставьте меня в покое.
А теперь обойдитесь-ка без меня...

Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни. Он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений: когда тонули корабли, он снова брался за топор — он ведь кораблестроитель:

Моей религией те были корабли.
Нет выхода иного у меня, чем жить.

Я столько писал в этой книге о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать, хотя бы коротко и шутливо, о большом поэте, который счастлив. Конечно, Неруда знал и часы отчаяния и разочарования, и горести любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно — нашел и врагов, но ругали его только враги, никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил: «Пабло, почему индейцы голубые»... Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев под вечер на берегу озера, и они казались голубоватыми. «Но в поэме этого нет...» Он ответил: «Ты прав... Но пусть они останутся голубыми». Прав, конечно, был он.

Могут сказать: человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Неруда никогда не выбирал легкого пути, но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел не низость, а благородство, не лопухи, а розы — так устроены его глаза, такое у него сердце.

Вот он загрустил; он пишет не о борьбе народа, не об Андах или вулканах, он разрешает себе пожаловаться:

Я очень устал от кур:
мы не знаем, что они думают,
они смотрят сухими глазами
и не придают нам значенья...
давай уставать хотя бы
раз или два в неделю,
оттого что дни зовутся всегда одинаково,
как блюда на столе...

Это не брюзжание старика, а шалости ребенка, и кончает Неруда стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет, — дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгоизме, а в чудесной природе этого человека.

27

Мы пробыли в Китае немного больше месяца; кроме Пекина, побывали в Шанхае и в Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели Великую стену, могилы династии Мин.

Для меня все было внове: я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали — говорили, что время еще неспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. (Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу.) Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было немало. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новое переплеталось со старым; и вместе с тем я увидел достаточно, чтобы понять, что я ничего не понимаю, — это меня удержало от поверхностных суждений.

В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой: на старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверно, наивно рассказать о своих впечатлениях — никто их не примет за попытку дать картину Китая.

В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно; так бывало и со мной.

В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли меня «Эйленбо», и я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает «Эренбург». В китайском языке почти все слова состоят из одного слога, собственные имена — это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными — в зависимости от отношения к человеку. «Эйленбо» свидетельствует о добрых чувствах, это значит

«крепость любви». Фадеев по-китайски Фадефу, и Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют. Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо, удивлялись, что я его не знаю, пока наконец я не догадался, что речь идет о Барбюсе.

Грамота в Китае — сложная наука: для того чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько тысяч иероглифов. Го Можо знает десять тысяч, он может написать все, но прочитать это «все» смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящиков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того как лист напечатан, значки плавят, отливают новые — раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики — люди очень образованные, они знают больше иероглифов, чем средний читатель, а знание иероглифов — это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Мне объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере чай — «ча», на юге — «тэ», а иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирного Совета Мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами — разговаривать они не могли, но иероглифы понимали.

На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет защиты мира, там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премий. «Одно нам неясно, — сказали китайские друзья, — как вы вручите медаль госпоже Сун Цинлин — двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения — могу одной, могу двумя. «Это имеет очень большое значение — нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве». Хотя Д. В. Скобельцын несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы, и существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать.

Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной Республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили: «Вы подойдете к товарищу Мао Цзэдуну и поздравите его с праздником». Первой в ше-

ренге оказалась Люба. Войдя в зал, она направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы вовремя ее остановили — нужно было описать полукруг.

На первом же банкете я обомлел — нам подавали различные блюда часа три, а блюд было не менее тридцати; их порядок для европейца загадочен, — когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, и я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, позвала повара, который сделал небольшой доклад; переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений, и блюдо осталось для меня загадочным.

Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной — его жена была тяжело больна, три дня назад она умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сяо мне говорил: «Когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются — это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться».

В Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения. Почему европейцев изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей? Европейцы, здороваясь, протягивают руку, и китаец, японец или индиец вынуждены пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, машинально целует ее руку. Англичанин, возмутившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским — ширма не позволяла войти прямо; это

связано с преданием о том, что черт идет напрямик; а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет — того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается — нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы.

В 1951 году в Китае было много советских специалистов — инженеров, агрономов, врачей; они работали самоотверженно и вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условностях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов; станки были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить — они поставят перед станками подмостки. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу — вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю: сколько размолвок и обид рождается от случайностей, оттого, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов.

После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку, она меня поразила; удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами, они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая, начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму — он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немыслимо без условностей: те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова, — на сцене все время поет; что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют; что колокольчик — это «дар

Валдая», а бессонница — «парки бабье лепетанье». Я рассказывал, как меня когда-то рассмешил французский трагик Муне-Сюлли, который патетически завывал, играя Эдипа, — я тогда знал только такой театр, где все «всамделишное». А некоторых москвичей смешили постановки Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Муне-Сюлли, мне было восемнадцать лет, а Мэй Ланьфана я впервые увидел в шестьдесят. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын — служанки: все актеры были мужчины. В опере Шанхая играли только женщины, они исполняли роли полководцев и бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли потому, что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер трясет руками над головой, — значит, он испытывает страх; флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует; если он делает вид, что пьет чай, — значит, он начал переговоры с противником; красное лицо свидетельствует о порядочности персонажа, а белое — о его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра.

Мне во многом помог Н. Т. Федоренко — он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу, его рассказы мне часто открывали глаза.

Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать — иегроглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал «каллиграммы»: стихотворение было чашей, крестом, башней; он обладал скудным материалом — латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты.

На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор — поэт, но он оказался директором Народного банка. В свое оправдание он сказал, что он — человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем «каллиграммы» одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня великий поэт, но стихи, которые он писал по-французски, могли бы быть написаны любым французским студентом.

Я видел в Пекине произведения старого художника Ци Байши; ему тогда было восемьдесят лет. Он рисовал в тра-

диционной манере, но был талантливым художником — его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами: стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад?.. Действительно, Ци Байши не внес в живопись ничего нового, лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Ци Байши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. (В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески Аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае.)

В старом китайском искусстве поражают не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное терпение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках «деревьями любви» или «деревьями дружбы» — два дерева или пять срастаются в одно: для того чтобы подчинить человеку рост дерева, нужны и знание ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия, — улица корзин, улица щеток, улица чайников для лечебных трав, улица театральных бород, улица игрушек — бумажных тигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а подражания европейской утвари мне показались уродливыми.

Я увидел Китай, когда Народной Республике было всего два года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских платьях, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы — куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повязками — эту моду принесли японцы, которые хотели оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем — музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем.

Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иног-

да я шутил (боялся, что слушатели устали), записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными — четыре часа, пять. (Спектакли тоже для европейца непомерно длинны, иногда пьеса идет два вечера — начало и конец истории.)

В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараке я видел небольшие собрания — двадцать—тридцать человек; там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил: «Это критика и самокритика». Вряд ли содержание таких собраний было традиционным: обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской — один длительно каялся, другие слушали и записывали.

Возле города Ханчжоу в идиллическом пейзаже я увидел могилу знаменитого полководца XII века Ио Фэя. Он отразил атаки племени чжурчжэней, потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленях стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя, тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разбирался в древней истории и не знал, кем были названные им чжурчжэни, но поведение школьников он одобрил и добавил: «Он предал восемьсот десять лет тому назад»... Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых»...

В Китае буддизм, да и другие религии играли, скорее, второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, отнюдь не толстые монахи; верующие пили чай, некоторые спали. Место религии занимала упрощенная мораль конфуцианства: будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов.

В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленях помещика разрешить похоронить отца на помещичьей земле. Помещик продиктовал условия: за могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев.

Народная Республика первым делом провела аграрную реформу — покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом.

Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость — это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил: «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества» («старшим братом» китайцы тогда называли советский народ). А в деревнях я еще видел древнюю соху. Домики крестьян были крохотными; на низкой печи спала вся семья. Ели скудно — чашка риса, иногда сладковатая редька или листик капусты. Женщины в деревнях еще держались приниженно. Я видел босых крестьян, видел детей с язвами на голове. Пять лет спустя в Индии я понял, что все относительно — отощавшие крестьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездомные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было, но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось: построили тысячи школ, больниц, родильных домов, яслей. Я видел раннее утро нового Китая: прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала китайская делегация, трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили.

Исторические пути Индии и Китая различны, и вместе с тем есть между ними много сходства. За триста лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В третьем веке до нашей эры китайцы построили Великую стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за две тысячи лет до нашей эры; в пятом веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготовлять бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатания подвижным шрифтом (за четыреста лет до Гутенберга). Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в третьем веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в

Движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодальные распри, вторжения, навязанные войны истощили два великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львиную долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявили ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского содружества. Китай стал Народной Республикой за год до того. Американцы создали «второй Китай» на острове Тайвань.

Каждый китаец помнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы «опиумные войны», когда англичане, возмутившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев; это было в эпоху чартизма, роста тред-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народов Азии есть свои счеты с обидчиками, есть счета, которые нелегко погасить.

Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище — положили цветы на могилу Лу Синя. Там мы встретили знакомую китаянку: открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала — расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Ай Цин говорил мне о том, как трудно быть поэтом, и его слова напомнили мне некоторые страницы моей биографии. Я встретил читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики.

Я влюбился в Индию, там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети «страны чудес».

Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале двадцатых годов, принадлежит японскому быту.

Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует. Моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народов Азии и Африки открывают новую эру. Многое я понял в конце моей жизни. Теперь

часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету.

В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь Древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался Возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил по книгам европейцев да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными: Блаватская рассказывала о таинственной Индии, Киплинг писал о джунглях и об отважных белых, автор истории буддизма (книгу мне дал Волошин) восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусаи и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сэссю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пильняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора да по безделкам, выставленным в витринах антикваров, — чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Роллана о Ганди и его последователях, стихи Рабиндраната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, о йогах. Когда в 1917 году я увидел «Сакунталу», которую играли в Камерном театре, я восхитился — я ничего не знал о Калидасе, и пьеса, написанная пятнадцать веков назад, показалась мне современной. В двадцатые годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве потому, что незнание Азии было общим грехом европейцев, и оно позволяло образованному индийцу или китайцу относиться к интеллигенции Запада с некоторым презрением.

Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена.

Киплинг писал, что Восток и Запад никогда не встретятся. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но, видя Индию, он ее не видел: на его глазах была повязка — идея превосходства Запада над Востоком.

Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным — он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников

XVIII века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов старого Китая. Английские филологи в середине XIX века многое почерпали из древнейшей индийской грамматики. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров.

У Востока и Запада общие истоки, и как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше.

Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм (безразлично, от кого он исходит), с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу, думаю и теперь, слушая по радио поучения некоторых китайских догматиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической, но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения, осмелятся от словесного расщепления своих спорных истин и чужих, столь же спорных, заблуждений перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины.

28

В 1949 году я кончил одну из моих статей строками: «Думая о судьбе века, я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета, озаглавленные «XX век»:

Нет, не страшит меня мой век,
мой жалкий,
                мой великий век,
нет,
    я не дезертир.
Я не жалею, что пришел
так рано в этот мир,
и века моего
                я не стыжусь
                и не страшусь,
я — сын его,
                и этим я горжусь!

Это написал коммунист после двенадцати лет тюрьмы, зная, что его приговорили к двадцати восьми годам за-

ключения и что у него болезнь сердца... Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу, хочется пожать далекую руку, сказать: «Никогда они не победят жизни, если есть у нас столько друзей, чистых, честных, смелых!..»

Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. Два года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив «Правды», в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не знали друг друга, но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. (Он слишком часто говорил то, что думал; некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Один товарищ как-то сказал мне: «Но ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладки...») В тот первый вечер, который мы провели вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки: «Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство! Но ничего не поделаешь — квартира казенная, я здесь гость...» Он рассказал, что ему предоставили машину: «Утром выхожу, шофер спрашивает: «Куда поедем, начальник?» Я отвечаю: «Какой я начальник? Я — поэт, коммунист, сидел в турецкой тюрьме...» Он говорит: «Ну не начальник — хозяин»... «Маяковский — гений», а я посмотрел стихи в журналах — при чем тут Маяковский?.. Меня повели в театр. Как будто не было ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова...»

Это старая трагедия — человек на десятилетия выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старинные французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердца, как ягоды клубники, это вопрос сроков... Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал, не знал, что поют вместо «ни царь, ни бог и не герой» «нас вырастил Сталин», не знал, что картины, которыми он восхищался в музеях, спрятаны, он очень многого не знал.

В тюрьме он писал стихи о Сталине как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году: «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем, это не только плохие стихи, это плохие чувства...» А в 1962 году Назым Хикмет написал:

Он был из камня, из бронзы, из гипса и бумаги,
от двух сантиметров до нескольких метров.
На всех площадях мы были под его сапогами,
под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги...

Очутившись в Москве, он отвечал невпопад — плясал на похоронах и плакал на свадьбе.

Повсюду его встречали овациями — большой поэт, герой, просидевший тринадцать лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямотой, искренностью. Порой наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году — ему тогда не было двадцати лет, а Советской республике четыре года. То была эпоха «памятника Третьему Интернационалу» Татлина, споров между футуристами и имажинистами, мейерхольдовского «Великодушного рогоносца», эпоха голода и уличных карнавалов. Назым прожил у нас восемь лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил: «Одним знакомы виды трав, другим — виды рыб, а мне — виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я — имена расставаний». (О том же когда-то говорил Осип Мандельштам: «Я изучил науку расставаний...») Жизнь Назыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведал горечи разрыва: до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности юношеских лет.

Конечно, он повзрослел (слово «постарел» к нему не подходит), многое понял и за год до смерти писал: «Я разучился верить, я учусь пониманью...» Но, учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил: «Когда я спросил в Румынии, жив ли Мейерхольд, мне сказал один товарищ, что, кажется, умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейерхольд живет на юге, кажется в Крыму или возле Сочи, там климат лучше... Я никогда не отступлюсь от коммунизма — для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей?»

В 1956-м, а может быть, в 1957-м Назым мне рассказал, что при «культе личности», незадолго до смерти Сталина, арестовали старого турецкого коммуниста, ветеринара, которому было под семьдесят, он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил: «Я часто думаю о судьбе N... Мне повезло — конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было другим...»

Назым гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским: «Это было, конечно, в Политехническом. Я очень

боялся, а Маяковский мне сказал: «Ты, брат, не бойся, читай по-турецки, никто не поймет, и все будут аплодировать...» Он вспоминал выставки, театры и все удивлялся. «На улице Воровского, — рассказывал он, — я разговаривал с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, что Элюар — замечательный поэт, а они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Неруды, по-моему, это очень большое явление. Опять улыбаются. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю: «Элюар — коммунист, Неруда — коммунист». Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты».

Дед Назыма Хикмета был пашой, губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После XX съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнения, он говорил: «По-моему, у всех сняли с сердца камень...» Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал: «Есть удивительные люди. Когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм — это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой».

О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем, но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком. Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав об Орадуре, в первую минуту усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детей в школу и там их сожгли. Назым сказал: «Я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей, бывала страшная резня, кто-то рассказывал, что резали даже детей, и всегда мне казалось — может быть, выдумка, то есть преувеличивают...»

В Риме я разглядывал два тома его произведений: один иллюстрировал Гуттузо, другой — друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду — всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал: «Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать...»

Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский, а сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости, человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распро-

щался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет скорее звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я слышал, как он читал по-турецки, я читал французские и русские переводы; конечно, этого мало, чтобы судить о поэте, и все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Элюар.

Его любовь к левому искусству двадцатых годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ, а в пьесах есть что-то архаическое — приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она — труднейшее для восприятия искусство, что нелегко разгадать «сладость яблок Сезанна»: для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь двадцатых годов в пятидесятые годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом.

Мы встретились в Риме; я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне доказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости; иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии, и он протестует, когда одних ставят выше других. «Нельзя доверить уход за всеми розами директору завода, изготовляющего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта, дело не только в масле, у розы цвет, запах. Некоторые люди — эстеты — хотят, чтобы розу поставили выше пшеницы или кукурузы, а для других розы — это крохотная цифра в большом бюджете...» Он вдруг остановился у окна цветочного магазина: «Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы!»...

Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаяние. А Назым Хикмет просидел тринадцать лет в каменной клетке вдвоем с надеждой. В тюрьме он написал «Человеческую панораму» — эпопею турецкого народа. Дважды Назым объявлял голодовку, — связанный, продолжал бороться за человеческое достоинство.

Внешне он походил скорее на человека с севера, чем на турка, — очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно — в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материей; повел меня в ресторан «Баку»: «Здесь еда немножко похожа на нашу»; встречаясь на сессии Всемирного Совета Мира с турком, он не мог от него оторваться. Раз он сказал мне: «Прислали мои

стихи на исландском языке. Удивительно!.. А в Турции меня не печатают. Да и печатали бы, те, для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать — неграмотные...» В стихотворении «Завещание» он писал:

Если я умру на чужбине, товарищи,
похороните меня на деревенском кладбище Анатолии
рядом с батраком Османом, которого убил Хасан-бей...
Хорошо, если вырастет чинара,
а без камня и надписи я обойдусь...

В 1952 году мы все с тревогой спрашивали: «Как Назым?..» Он сам потом писал: «С разорванным сердцем четыре месяца, лежа на спине, я ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли, но с тех пор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче — он был прекрасным рассказчиком, — и вдруг его лицо покрылось крупной росой пота. В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти:

Под дождем по московскому асфальту
идет весна,
на своих тонких зеленых ногах,
стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями
и камнями.
Сегодня утром
моя кардиограмма была плохая.
Та, которую ждут, придет неожиданно,
придет одна,
не принеся с собой то, что ушло.
Концерт Чайковского играют под дождем.
Ты будешь подниматься без меня
по лестнице...

С одной стороны — строчи стихи
один другого светлее,
с другой — беседуй со смертью,
что рядом с тобой стоит.

Когда праздновали его шестидесятилетие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей — в Политехническом; на последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его: «Устали?» Он виновато ответил: «Немножко... Но я очень счастливый...»

Он страстно любил жизнь, детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал:

Дадим шар земной детям, дадим хоть на день,
дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют.

Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьику и оттуда писал письма в стихах — о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви.

В 1962 году он писал стихи своей любимой:

Я снял с себя идею смерти,
надел на себя
июньские листья бульваров...

Он умер ровно через год, в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся — сел и умер.

Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка, всхлипывая, говорила девочке: «От разрыва сердца» — так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба, и кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли: нет больше Назыма!

29

Тысяча девятьсот пятьдесят второй год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер М. М. Литвинов.

Максима Максимовича я встречал в разные годы и при различных обстоятельствах, бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке, встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги Наций, видел его в опале, провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон, несколько раз разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал, — он был человеком, скорее, молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмехался — то с легкой иронией, то благодушно; изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчальника, он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты, а Литвинов был человеком веселым, но зачастую, особенно к концу своей жизни, с весьма мрачными мыслями.

Некоторые слова Максима Максимовича я запомнил, некоторые черты его разглядел и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком, об этом можно судить хотя бы по тому, что во времена Сталина, когда любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие «дипломатов литвиновской школы».

Почти всех дипломатов этой «школы» я знал — одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую Советскую республику: угрозы, полицейские налеты на посольства, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов или мирили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола: Красин, Довгалевский, Кобецкий, Дивильковский. Другим повезло — Коллонтай, Суриц, Штейн умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин, Гнедин, претерпев мытарства, вернулись из тюрьмы или лагеря живыми. А многие погибли. Антонов-Овсеенко, Раковский, Крестинский, Сокольников, Розенберг, Гайкис, Марченко, Аренс, Гиршфельд, Аросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония (я назвал только некоторых).

Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пощадил П. Л. Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивого Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер — если позвонят ночью, не станет дожидаться последующего...

У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность: толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями — за границей, когда выпадали два-три свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы, «страсти-мордасти». Он любил хорошо покушать, и приятно было на него глядеть, когда он ел, — так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой атлас, — наверно, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить. Однако этот добродушный человек умел полемизировать,

и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге Наций облетели мир. Жолио мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безнравственность, но глупость западной политики — за несколько лет до Мюнхена. А слова Литвинова о «неделимости мира» я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях.

Литвинов с благоговением говорил о Ленине: «Такого не было и не будет». Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время — в 1919 году, в разгар интервенции, говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее движение, аппетиты возможных концессионеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад, он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине: «Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд-Джорджа или Вильсона...»

Литвинов был на три года старше Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно, ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул: «Не знает Запада... Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил...»

Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Я. З. Суриц рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Сурица вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил свою точку зрения, Сталин с ним согласился, подошел и, положив руку на плечо Литвинова, сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча: «Ненадолго...»

В старой записной книжке я нашел слова Литвинова: «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным, подхалимы его называли «прелестью рода человеческого». В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора: в Помпее было много влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками». Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался Литератур-

ный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается, вспоминал Рузвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком, он ответил: «Конечно, Сталина». Потом он почему-то заговорил об истории Древнего Рима, написанной английским автором, и, посмеиваясь, сказал об императоре Тите. Вечером я записал его слова.

На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина: «Что же, вы считаете меня врагом народа?» Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Не считаем».

Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором. Однако в то время это не удалось. После нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встречался с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом, опять наладил дипломатические отношения. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу.

В 1943 году, после Сталинградской победы, Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, но вел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером — не по своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. Максиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток; он мог бы разглядывать атлас и вспоминать прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела, а жить он хотел и понимал, что, если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича: «Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе Комитета по делам искусств». Максим Максимович возмутился: «Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать...» Жданов рассердился: «Какую же работу вы имели в виду?» — «Чисто хозяйственную». Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов, каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица, они отводили душу.

За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами; жена тихо спросила его: дремлет он или задумался? Он ответил: «Я вижу карту мира», — то, что называется «дипломатией», было для него творчеством, он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты, карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер поневоле умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света.

В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто-то по бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже благодушным. Ко мне подошла дочь Сурица, Лиля: «Папа сегодня скончался...»

Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудников министерства; кто-то прочитал речь. На Немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов.

С Сурицем я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки; у него были самые различные вещи — Роден и Левитан, Матисс и Коровин, Марке и Бенуа. Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения «Мира искусства», недооцениваю Левитана, не хочу признать Грабаря.

Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал: «Подумать, что я учился в Гейдельбергском университете! Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы... Мы часто говорим абстрактно. А может быть, слова меняют значение. «Одичание». Ну, что это для меня означало в те годы? Политический просчет. Или успех «Санина», оргии, «кошкодавы». А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели...»

Он был, кажется, первым советским послом: Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Амануллахан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоминани-

ем о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Суриц пробыл недолго, его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников.

История судит дипломатов, как полководцев, — по выигрышам или проигрышам. А у каждого даже самого одаренного дипломата бывают свои Аустерлицы и свои Ватерлоо — многое зависит от ситуации. Когда Сурица послали в Анкару, новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее, если не предотвратить, то хотя бы затормозить и смягчить плохое. Суриц завоевал доверие Кемаля, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум! По сравнению с ним Даладье — невежественный провинциальный политик...»

Что мог делать Суриц в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурицем, а дочь Додда, Марта, говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял.

Летом 1937 года, приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски; сказал: «Здесь все разворачивается отвратительно»... Потом он признавался, что после Берлина наслаждается «воздухом Парижа». В свободное время он ходил на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомства с художниками.

(Его всегда тянуло к людям искусства. В Москве я встречал у него А. Н. Толстого, И. Э. Грабаря, А. Я. Таирова, А. Г. Коонен, В. Г. Дулову, многих других.)

Обстановка во Франции была неблагоприятной: Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском буфете несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перепуганные забастовками, начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Суриц пытался отсрочить развязку, он беседовал с Эррио, встречался с французским националистом, ненавидевшим третий рейх, Кериллисом, с журналистом Бюрэ, но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители

Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа.

Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбышеве в номере «Гранд-отеля» Суриц хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он приютил меня на ночь и перед тем, как показать рисунок, три часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах: «Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Виноваты французы, англичане и, конечно, Бек. Но как Сталин использовал два года? Ужасно это выговорить — он верил в подпись Риббентропа. Он подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил!..» Сурицу казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился, только когда вытащил из чемодана рисунок.

После войны его хотели послать в Японию; запротестовали врачи — не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным, — Бразилию. Он пробыл там недолго — под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом.

Суриц вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго: «Вы моложе меня на десять лет, но не мешает и вам о многом задуматься...»

У него были тонкие черты лица, борода клином, большие усы, которые он, волнуясь, пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя — говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорывалось — он мог говорить два часа подряд, не останавливаясь, что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов: «Вчера мы с Максимом Максимовичем говорили...» Следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина «патологическим раздвоением личности». Старый революционер, интернационалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкования «низкопоклонства» и «космополитизма», ни многих других событий конца сороковых годов. Я не пересказываю его историй о Сталине — они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Суриц многое объяснял характером Сталина, расхождением в нем самом теории и практики; может быть, он был прав; но сейчас мне хочется передать терзания старого, больного, душевно чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Раз он тихо выговорил: «Беда даже не в том, что он не знает, как

12 Зак. 92

живет народ, он не хочет этого знать — народ для него понятие, и только...»

Он уходил, а месяц или два спустя приходил — не мог дольше молчать — и начинал: «Вечером мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лозовского...»

Было только одно средство успокоить Якова Захаровича — повести его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи Фалька, холсты Шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с ним не спорил — не потому, что боялся взволновать его, нет, он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал: «Жизнь — это тоже линия...» Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. До чего человеческая линия!.. Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть, заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить, дела и страсти исчезнувшего со сцены актера?

30

В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Элюара и внука Виктора Гюго, художника Жана Юго. (Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы «г», — это относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной «h», снабжались «г» — Гюго, скульптор Гудон, город — Гавр; потом стали писать правильнее — поэт Эредиа, композитор Онеггер, Эррио.)

Жан Юго — прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез в подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастлив провести знаменательные дни в столице Советского Союза.

Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома: «Прилетел француз, фамилия Элюар. Никто его не встретил. По-русски он

не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга...» Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довезти его до квартиры. Элюар пришел за десять минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство, тут он запротестовал, из всех его слов поняли только «Эренбург». Жена приедет через два дня — когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился: почему никто не сообщил о его приезде? Он смеялся: «А зачем сообщать? Я и так добрался...»

Элюар был очень скромным. Один из участников Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил пришедшему посидеть возле печурки. «Вдруг я понял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил: «Вы поэт?» — «Да». Это был Элюар. Я не мог удержаться: «Вы не должны зря рисковать... Мог бы принести другой». Он удивился: «Почему «другой»? Все мы рискуем. А товарищи устали, набегались за день...» Ив Фарж ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года — за несколько месяцев до конца Сопротивления. Шли жестокие бои: люди уже защищали не гору Граммос, а человеческое достоинство. Фарж мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть, а когда Фарж ему говорил: «Посидим часок», — он возражал: «Пойдем с бойцами — зачем их задерживать?..» Однажды он выхватил у двух девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фаржа: «Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть».

Он выступил в Колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался: «Самое трудное выйти на сцену, когда все на тебя смотрят...» Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом чествовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне: «Поль очень волнуется, когда выступает...» Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы: если юбилей — двадцать пять речей, если банкет — пятьдесят тостов, страна большая, людей много...

В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность: он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. «Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию. Он — председатель Французского юбилейного комитета, и вот уехал со мной в Москву. Досадно!.. Может быть, ему вернут альбом?..»

Я позвонил Григорьяну, он мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и здание Министерства обороны: «Это совершенно недопустимо...» Часа два или три спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго, художник на первой странице акварелью нарисовал Кремль, я увидел «недопустимую» верхушку здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго — нежные и наивные: стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать, и, конечно, куда точнее! Я рассердился, снова позвонил Григорьяну, сказал все, что думал. Вечером Григорьян сообщил мне, что альбом решили возвратить Юго: «А к вам просьба — постарайтесь его успокоить». Скрепя сердце я пошел к Юго, долго мялся и наконец начал: «Произошло недоразумение...» Юго увел меня в ванную и там сказал: «Можете быть уверены, что во Франции я не скажу об этом ни слова...» В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой, его чудесно принимали и он увидел, как в Советском Союзе любят Гюго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели», которую публикует французский журнал «В защиту мира». Рисунки были лирическими: лесок, прогалины, влюбленные... Юго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось.

Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые сорок лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого: «Это не человек, это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот...» Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы я его плохо знал, и только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих

увлечений и сомнений, хотя он был на пять лет моложе меня. В раннней молодости он болел легкими, его послали в Швейцарию в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война. Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 году она приехала в Париж, вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел «Балаганчик» Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали — «известной русской поэтессе Марине Цветаевой».

Тысяча девятьсот тридцатый год мы с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры — прав или не прав Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно.

Четыре года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной, хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата. А фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на Антифашистский конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался.

Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом, я поглядел — Элюар. Мы оба смутились. Он первый сказал: «Здравствуйте!.. А Пикассо говорил мне, что вы в Испании...» Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть, нехотя, потому что он вдруг остановился: «Мне нужно в другую сторону...» Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым.

В годы войны я прочитал во французском журнале, выходившем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись — Жан дю О — явно была псевдонимом. Мелькнула мысль: может быть, Элюар?.. Вскоре после этого один из летчиков «Нормандии» прочитал мне те же стихи и еще другие: «Это Поля Элюара...»

Мы встретились летом 1946 года в Париже и обняли друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в на-

чале тридцатых годов в личной жизни Элюара произошли перемены: он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет, она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш, она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер. Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее!..

Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед по длинной улице Де-ля-Шапелль. Если мы нашли наконец дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали, догадался: «Наверно, у вас старый адрес — часть улицы переименовали, поищите на улице Макс-Дормуа». Я ругал Элюара: почему он записал не ту улицу? Нуш смеялась: «Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице Де-ля-Шапелль. Вы понимаете — это ведь целый мир. Даже говорят так: «Человек — с улицы Де-ля-Шапелль...»

Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве, по ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам Варшавы. Иногда с нами был Пикассо, иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился — сказалось пережитое: в конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуш. Друзья рассказывали мне, как тяжело он пережил потерю; а мне он сказал в одну из вроцлавских ночей: «Я стоял одной ногой в могиле...»

Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале — марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало, но, видимо, у сердца свой хронометр; я потерял не только большого поэта — близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей.

Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее непременной трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит: «Это было ошибкой... Теперь правильно... Опять неверно... Хо-

рошо, что поняли... Пожалуй, дадим вам диплом...» Что за напасть и что за ограниченность! В 1925 году Элюару было тридцать лет, а в 1945-м пятьдесят. Дело не только в том, что поседели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями? Да одни ли поэты меняются? Разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее, они были годами его жизни, его поэзии, и, наверно, без них он не стал бы автором последних книг.

Юношей на фронте он начал стихотворение словами:

Меня покинула лазурь, и я развел огонь...

О том же он писал и в годы Сопротивления, и перед смертью: о ночи и огне. Он всегда писал о любви. Перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом — Нуш, в последние годы — Доминика; но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление петрарковской Лауры или другой женщины — это стихи о любви, и любой любящий может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений — это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований, она позволяет «самовыражению» стать выражением современников, а порой и правнуков.

Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостиший, каждое кончается словами «я пишу твое имя»:

На моих разбитых укрытиях,
На моих рухнувших маяках,
На стене моего уныния
Я пишу твое имя...

Элюар сказал, что писал эти стихи о Нуш, и кончал стихотворение словами:

Я родился для того, чтобы тебя узнать,
Чтобы назвать тебя по имени.

У него было поразительное свойство: этот якобы замкнутый, даже «герметический» поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял, — рассказывал он, —

что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было в 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная.

Поэзия Элюара неизменно считалась трудной, о нем говорили как о «поэте для немногих». Но стихи Элюара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции — стихи оказались убедительнее листовок, хотя Элюар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился — стихи военных лет так же «трудны», как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие «доходчивости» условно, часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвые наставления литературного критика.

Сложность поэзии Элюара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непереводимы — они слишком зависят от облика слова, его звучания, связанных с ним ассоциаций. (Незвал, Альберти, Тувим, Назым Хикмет, Неруда читали его стихи в подлиннике, их любовь к человеку была связана с ощутимостью, реальностью его поэзии.) Трудно объяснить, в чем сила стихов Элюара, — внешние приметы поэзии отсутствуют: нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов, ни пышности образа. В стихотворении «Габриэль Пери» он говорил:

Есть слова, которые помогают жить,
И это простые слова:
Слово «тепло» и слово «доверие»,
Слова «любовь», «справедливость» и слово «свобода»,
Слово «ребенок» и слово «доброта»,
И некоторые названия фруктов и цветов,
Слово «мужество» и слово «открытие»,
Слово «брат» и слово «товарищ»,
И некоторые названия стран и деревень,
И некоторые имена друзей и женщин...

Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листвы или утренняя роса, и, однако, они остаются в памяти, стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи.

Элюар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, непохожие один на другого, — Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки, но я понимаю, что он видел в их работах: чертежи поэм, зримый мир своих сновидений. В стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет — верил в

магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию.

Больше всего, больше всех Элюар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Под «Герникой» Пикассо — стихи Элюара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов — чертом и младенцем, но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже простодушным, а младенец побывал в аду и многое узнал. Наперекор видимости, наперекор законам возраста и ремесла, они были близкими феноменами, и когда Пикассо вспоминает: «Это Поль мне сказал», — его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце.

Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел во Французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения, и вот что поразительно — сила его поэзии, ее человечность, великодушие обезоруживали политических противников. Правда, правительство пыталось запретить похоронное шествие, но это было механическим актом «холодной войны», поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти, о нем уже никто не спорит — его поэзия переросла и биографию и события.

Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказывать о муках или о радости — глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей, и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех:

Мы идем вдвоем, взявшись за руки.
Нам кажется, что мы повсюду дома —
Под ласковым деревом, под черным небом,
Под всеми крышами, у всех каминов,
На пустой улице, на ярком солнце,
В смутных взглядах толпы,
Среди мудрых и безумных,
Среди детей и среди взрослых,

В любви нет ничего таинственного,
Мы здесь, все нас видят,
И влюбленным кажется,
Что они у нас в гостях.

Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью — не оттого, что решил так поступать, а потому, что не мог иначе.

В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил, потом замолк. Люба говорила с Доминикой. Вдруг он сказал мне: «Я вспоминаю молодого рабочего. Помните — он прорвался после вечера в комнату за сценой?.. Он сказал: «Мне тоже хочется писать стихи, но я боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, а писать боюсь...» Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии — в жизни...»

Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. Восемь месяцев спустя в холодное туманное утро я услышал по радио: «Вчера скончался французский поэт Поль Элюар...» Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты: Розенбергам, несправедливо осужденным в Америке, отказано в пересмотре дела. Поль сказал: «Только бы их спасли!..» Четверть часа спустя он позвал Доминику: сердце перестало биться. Ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Я пишу, и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей, когда перевал позади и они спускаются вечером по темной крутой тропинке.

31

Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым; вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался «Девятый вал», критики его хвалили; но я чувствовал, что книга не вышла, и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку: «Видимо, разумнее всего оста-

вить работу писателя. Через три месяца мне будет шестьдесят два года, это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир — хоть здесь я могу что-нибудь сделать».

В октябре собрался XIX съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков; он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных, и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет. Один ленинградский писатель мне говорил: «Управдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься на ступеньку выше — скажут: «Нетипично». Интересно, каким путем будут устанавливать «типичность», — может быть, статистикой или шагистикой?»

Я просмотрел подшивку «Литературной газеты»; все выглядит идиллией. Газета отмечала, что в «Новом мире» напечатан роман Гроссмана «За правое дело», но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант «Молодой гвардии» Фадеева, одобрительно писали о романе Кочетова «Журбины». Газета сокрушалась, что недостаточно учтен «гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании». Разоблачали «лженауку» кибернетику. Писателей ругали мягко, почти по-отечески. Праздновали юбилеи: Паустовскому и Федину исполнилось шестьдесят лет, Назыму Хикмету и Каверину пятьдесят. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали «новых творческих успехов». Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова, редакцию за это поругали. Под тусклыми, похожими одно на другое стихотворениями пестрели незнакомые имена молодых; теперь я заметил под одним из них подпись Е. Евтушенко. Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились радищевские дни, отмечали пятидесятилетие со дня смерти Золя, потом столетие со дня рождения Мамина-Сибиряка.

В апреле в Москве состоялось Международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойд-Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганди, об Эйнштейне.

На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много

средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминаю смешной эпизод. Из секретариата совещания мне позвонили. «Что значит французское сокращение АПТ?» Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо: Апт оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты продавали России ежегодно восемь тысяч тонн охры, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт охры. Шовен оказался живым симпатичным южанином, участником французского Движения сторонников мира и неисправимым фантазером. Его принимали в Комитете защиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, но, глядя на облупившийся фасад особняка, повторял: «Вам совершенно необходима охра!..» В Москву он привез образцы промышленности Апта — глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но с сердцем, полным любви к нашему народу, писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале Апта, — словом, оставался наивным мечтателем.

Жизнь шла своим ходом. Народ трудился. Строили новые заводы. Учителя учили грамоте малышей, которые теперь стали юношами, работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого, Чехова, Горького. На сцене тысячи театров ежевечерне Гамлет говорил о флейте и лжи, герои Чехова тосковали, а бессмертный Хлестаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого «среднего человека».

В Праге осенью проходил процесс группы видных коммунистов. В «Литературной газете» их назвали «жабами у чистого родника», которые «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях». Я никогда не увлекался идеями доктора Герцля, но не мог поверить, что сионисты жаждут превратить Чехословакию в свою вотчину. (Весной 1963 года Верховный суд Чехословацкой Республики

отменил приговор и реабилитировал осужденных.) Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться.

Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о шестидесяти пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе — порядке репатриации военнопленных. На Генеральной Ассамблее ООН Вышинский и Ачесон произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт силой оружия невозможно, однако бои продолжались, причем они шли в районе, который, согласно одному из шестидесяти одобренных пунктов, должен был стать нейтральной зоной.

Шли бои и в Индокитае. «Холодная война» не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корее «началом третьей мировой войны», говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться «полным уничтожением коммунизма». Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белоянниса; он держал в руке гвоздику и улыбался.

Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали, но даже завзятые оптимисты предпочитали помалкивать.

Я был занят подготовкой Конгресса народов; дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, просидел несколько недель в Вене.

Жолио-Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жолио дал гарантии, что участники конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Терранова, итальянский депутат-республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перона в Аргентине, члены индийской партии Конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты, националисты из Марокко, тунисские друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организации сторонников «всемирного правительства» и пацифисты различных толков.

В отличие от Парижского и Варшавского конгрессов, ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушали спокойно, многие даже аплодировали; в некоторых из таких речей говорилось о чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Элин Аппель, итальянской католички Пьяджио и шведского писателя Бломберга.

Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали, на заключительном заседании пели, махали платочками и закрыли конгресс в три часа утра. Все же атмосфера была более деловой, да и более миролюбивой, чем на Варшавском конгрессе. Вступительную речь произнес Жолио, он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, а он умеет улыбкой, дружеским словом, благожелательностью позолотить любую пилюлю (а наши пилюли подчас были очень горькими).

В тексте обращения к народам не было резких обвинений; он заключал требование немедленного прекращения военных действий, признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения — словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций семь или восемь лет спустя.

После окончания конгресса был устроен ужин в большом зале, где смогли уместиться две тысячи человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее — прокричал, только что полученный из Москвы список новых лауреатов премии «За укрепление мира»: «Ив Фарж, Китчлу, Поль Робсон...» Я аплодировал и вдруг услышал: «Илья Эренбург». Я скорее растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премий нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корнейчуку?.. Ко мне подходили, чокались, обнимали. Серени сказал мне на ухо: «Хорошо, что он вам дал премию. Именно сейчас...» Я спросил, что значат его слова, но он не ответил.

Два дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цинлин и китайским делегатам, в двух других разместилась советская делегация и наши гости — Китчлу, Амаду, Эндикотт, Саломеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались

до Будапешта. Денег у нас не было, а на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнейчук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять два часа. На вокзальном перроне мы увидели Ракоши и других важных товарищей, нас повели в правительственный зал. Корнейчук шептал: «Сейчас дадут гуляш...» Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнейчук помялся, потом сказал: «Мы весь день ничего не ели»... Венгры засуетились: ресторана на вокзале не оказалось, полчаса спустя принесли сосиски, очень вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро — на советской границе, где простояли часов пять. Два дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Серени, — может быть, он знает что-то?.. Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно позевывал.

Пять дней спустя мы встречали Новый год с Ириной, Лидиными, Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости. Рассказывали пустяки. На сердце у меня было смутно, я сам не знал почему.

Тринадцатого января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул «Правду». «К новому подъему нефтяной промышленности». «Упадок внешней торговли Франции». Вдруг на последней странице я увидел: «Арест группы врачей-вредителей». ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова. Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных — агенты «международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», которые получали указания через врача Шимелиновича и «еврейского буржуазного националиста Михоэлса». В списке арестованных были известные медики — трое русских, шесть евреев.

Я поехал в Москву, пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать два месяца назад; другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агроном, тот, что беседовал с Сартром, проводил отпуск в Ялте. Он приехал до срока, рассказал мне, что его жена перепугалась: «Сегодня же уедем из санатория — нас здесь отравят»... Женщина-врач гово-

рила: «Вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней — больные боялись, что я «заговорщица»...» На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал: «Евреи хотели отравить Сталина!..»

Я говорил, что наш народ духовно вырос; но и мыслящий тростник порой перестает мыслить; можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил. Последний холерный бунт был в 1893 году. Да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке. Однако о врачах-убийцах сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м; тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее — ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками — перед тем врачом, который их лечит: может ошибиться, недосмотреть... Если его завербовали враги, может убить и безнаказанно. А евреи?.. Конечно, антисемитизм — предрассудок. «Глупо все валить на евреев. У нас работает Коган, хороший человек. Но ничего не скажешь — это не наши люди, у многих родственники в Америке. Да и живут они иначе, один тянется к другому, встретит, и о чем-то шепчутся...» Сообщение взывало к темному миру, я сказал бы, к подсознательному, если б это слово с легкой руки критиков не стало у нас признаком идеалистической философии.

Кто-то прибежал и тихо сказал мне: «Говорят, что Сталин болен. Ужас!..» Слух оказался вздорным: два дня спустя Сталин принял Сун Цинлин и Го Можо. Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии — церемония была назначена на 27 января: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках...» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать...»

Двадцать первого января, в день годовщины смерти В. И. Ленина, под его портретом в газетах было кощунственно опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Саломеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира». Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих...» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной — к словам о преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.

Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая «убийц в белых халатах». Во многих письмах говорилось: «русская женщина», «русская душа».

Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Се суар», которую долго редактировал Жан Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов. Однако Эрве превзошел все и всех: его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы Второй империи, «Протоколы сионских мудрецов»; он доказывал, что козни «Джойнта» и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что два года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, Эрве порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне с трогательной надписью. В книжке среди прочего Эрве возмущался «делом врачей», не упоминая о своем личном вкладе.

Скажу откровенно, я предпочитаю горлодера с Тишинского рынка такому моралисту.

В «Правде» появилась резкая статья о романе Гроссмана. Тотчас и другие газеты обрушились на роман. Один сотрудник «Правды» рассказал мне, что статья напечатана по указанию Сталина. Не знаю, так ли это, но в те дни она выходила из рамок литературной критики.

События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось и Сталин не успел сделать того, что хотел. Конечно, эта история — глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить...

Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел — переводил Вийона. Вдруг пришел сторож Иван Иванович: «По радио, значит, передавали, что Сталин заболел, паралич, положение тяжелое...»

Помню, как ехал в Москву. Было много снега. В сугробах тонули детишки. В голове вертелись слова: «Товарищ Сталин потерял сознание». Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение.

32

«В девять часов пятьдесят минут вечера...»

Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин — человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным.

Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь, и, если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали, и все начиналось сначала.

Траурный митинг писателей состоялся в Театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растерянны, говорили сбивчиво, как будто это не опыт-

ные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверно, то, что и другие: «выиграл войну... отстаивал мир... ушел... скорбим... клянемся...»

На следующий день нас повезли в Колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный — без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями.

Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда. Не думаю, чтобы история знала такие похороны.

Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет?.. Я боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки; я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя».

Я никогда не разговаривал со Сталиным (кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал). Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним, случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэдун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан «Метрополь», а Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много, и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись, я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах, старый человек небольшого роста с лицом как бы исколотым годами; низкий лоб, живые, острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверно, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть.

Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, назы-

вал его «хозяином». Древние евреи тоже не произносили имени бога. Вряд ли они любили Иегову: он был не только всесилен, он был безжалостен и несправедлив, он наслал на праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой, и все это только для того, чтобы показать, как заживо гниющий, брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы. Бог бился об заклад с сатаной, и бог выиграл. Проиграл Иов.

В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. Как многие поступки в моей жизни, это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту главу, черкал, рвал написанное и наконец понял, что не смогу выполнить обещанное: конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, я зачастую не понимаю. Я не могу дать портрет Сталина — я его лично не знал; видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией. Ограничусь тем, что поделюсь с читателями своими мыслями и чувствами в марте 1953 года, а если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны с характером работы писателя, которого больше всего волнуют судьбы человеческого сознания и совести.

Обожествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал: по его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности; художники писали огромные полотна, посвященные кануна́м революции, Октябрю, первым годам Советской республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным; в газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина «гениальным» и «мудрейшим» предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я — интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать.

Святой Петр для католиков — камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая, для меня он — герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды: я глядел на ногу Петра — от поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуренито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал:

Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ.
Мертвого будит вера.
Я — человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле,
Вере не верю я.

Я был в андалусском отряде, где люди сражались насмерть, они назвали свою часть «Батальоном Сталина». В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев Сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна француженка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, — Элюар, Жан Ришар Блок, Эрнандес, Незвал — прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством.

Шла борьба, и места «над схваткой» не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком; говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форрестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе.

В тридцатые годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено: фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили «невмешательство», и только гор-

сточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию: Чемберлен и Даладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась «странная война», правители Франции воевали не столько против рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной Армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что «красные» ослабят рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит «красных». Не успела кончиться вторая мировая война, как начали поговаривать о третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина.

Я не сразу разгадал роль «мудрейшего». Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина, приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравам.

Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о «головокружении от успехов», и о том, что «сын не отвечает за отца». После разгула «ежовщины» он публично сокрушался: в таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя, в разгар кампании против «космополитов», он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. М. С. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаренце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаренца арестовали и убили.

Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал: «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Роллан после встречи со Сталиным говорил: «Он удивительно человечен!..» Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверно, про себя посме-

ивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил...

Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлером был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны — об этом мне говорили и военные и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных «врагов народа», почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся — не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога. Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени — в газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега».

Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели. С. М. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха недорубил...» Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина.

Меня упрекали за то, что я будто бы проповедовал «культ молчания», ставили мне в пример Льва Толстого, осудив-

шего в статье, озаглавленной «Не могу молчать», царское правительство, которое вешало революционеров. Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью, и, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать.

Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в умах. Я пытался утешить себя: Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева, или о Семене Ляндресе, — если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве.

Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь «Последние новости» или «Тан» охотно опубликовали бы такую статью, даже если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранит зло, но он и не думал о защите царской России, — напротив, он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожитой жизни я не мог об этом умолчать.

Один из участников французского Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, жег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому, — говорил он, — это значило бы нанести удар всему Сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы...»

Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах. Да о чем тут говорить: пресечь преступления не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные. 30 июня 1956 года было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»; в нем были такие строки: «...Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возник-

нуть вопрос: почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что «Сталин повинен во многих беззакониях», но его авторитет был таков, что «всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества».

Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я не случайно вспомнил времена итальянского Возрождения. Макиавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши — яд, доносы, убийства из-за угла; он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым, как человек, и хищным, как зверь. Для Медичи или Борджии такие советы были, наверно, полезны, но для коммуниста они неприемлемы.

Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется абстрактным. Цель не указатель на дороге, а нечто вполне реальное, это действительность, не картины завтрашнего дня, а поступки сегодняшнего; цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив народ в «колесики и винтики», а себя в мифическое божество. Средства всегда отражаются на цели, возвышают или деформируют ее. Мне кажется, что после XX и XXII съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина.

Как миллионы моих соотечественников, прочитав доклад Н. С. Хрущева на XX съезде, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество должны были узнать горькую правду — того требовали и разум и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа, но, говоря о них, может быть, правильнее сказать не «благодаря Сталину», а «несмотря на Сталина» — уж слишком часто он направлял свой государственный ум, свою редкостную волю на дела, которые противоречи-

ли тем идеям, на которые он ссылается, ранили совесть любого честного человека.

Вернусь к мартовским дням. На Мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности «в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами», а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам «охранять их права, записанные в Сталинской Конституции».

На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицу Горького, как шли люди на работу, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали. Все было знакомым, и я говорил себе: как неделю назад... Вот это и было неправдоподобным: Сталин умер, а жизнь продолжается.

Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками; люди стояли, пытались прочитать надписи на лентах, потом молча уходили.

Я поехал с Фадеевым в «Советскую» гостиницу — там остановились друзья из Всемирного Совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал нас приободрять, говорил: «Все образуется», — таков был его характер: он должен был утешать других. Ненни меня обнял и в тревоге спросил: «Что же теперь будет? Это ужасно!..» В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше, но пример Фаржа оказался заразительным, и я ответил: «Через неделю мы увидимся в Вене. Не нужно отчаиваться — все образуется...»

Я шел по улице Горького. Было холодно: зимний вечер. Вдруг я остановился — простая мысль пришла в голову: не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое...

33

Венский конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о Пакте мира. В комиссию вошли Жолио-Кюри, Фарж, Ненни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксбаум, Тихонов, другие; включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта.

Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к обществен-

ному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали: «Как у вас?..» Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина. С Альп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло десять дней, я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет, может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета, но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова, я ее переводил друзьям; в речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком.

Самолет вылетал из Праги 20 марта, и мы вместе с Фаржами должны были добраться 19-го до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана: «Фаржу должны вручить Сталинскую премию, мы не можем его отпустить без охраны...» Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе. Рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарж удивился: «Ничего не поделаешь — вы теперь лауреат Сталинской премии...» Он засмеялся: «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса...»

Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хорошо мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился, — очевидно, мы поехали не по той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал: «Как-нибудь доедем...» Конечно, мы доехали, но не к тому пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену, и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. У них есть автомобиль, говорили они, но сегодня похороны Готвальда, и начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину. Пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать.

Часа два спустя приковыляла престарелая малолитражка, которая с великим трудом довезла нас до города Ческе-Будейовице. Мы трижды меняли машины и наконец добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к Национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было как в Москве —

саркофаг, венки, Булганин в мундире, Чжоу Эньлай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча. Не было ни давки, ни плача.

Шесть дней спустя Иву Фаржу вручили в Кремле премию. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул: «Спасибо за Прованс»... (Он родился, учился, провел молодость в Провансе, там у него был домик «Ле Туретт».)

На следующий день Ив и его жена Фаржетт приехали к нам в Новый Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время: Фарж восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я ему рассказывал про древнюю архитектуру, про картины Пиросманашвили, про грузинские вина. Он радовался: «Отдохнем — год был нелегким...»

Это было в пятницу, а в понедельник утром мне позвонили из Москвы: «Высылаем машину — с Фаржем несчастье...» Я вошел в кабинет Григорьяна и увидел Фадеева; обычно он сидел выпрямившись, а теперь сгорбился. Григорьян сказал: «Пишите некролог». Зазвонил телефон, он взял трубку: «Еще жив?.. Хорошо... Понятно...» Он снова повернулся к нам: «Пишите некролог». Я возмутился: «О живом?..» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что Фаржа повезли в Гори, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарж сидел рядом с шофером, у него разбит череп. Другие невредимы, только жене Фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но что вы хотите от такого человека? Он перепуган — ему может влететь...» Я не ответил: думал о Фарже. Замолк и Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал: «Скончался...»

Помню страшное утро на Центральном аэродроме. Было холодно. Едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза Фаржетт. Говорили речи: Лоран Казанова, Скобельцын, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз: меня душили слезы. Вдруг я увидел в оконце машины Григорьяна; он, видимо, издали наблюдал за порядком. Он ступал подняв ворот-

ник пальто — наверно, все еще боялся ответственности, маленький, черненький, но важный, похожий на сановного пигмея.

Фаржу было всего пятьдесят два года, но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше.

Никогда не принимаешь смерть друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 года в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра: «Фарж напишет в газете...» Студенты повторяли: «Фарж-художник... Фарж-писатель...» Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал: «Обязательно поговорите с Фаржем, таких, как он, мало...» Беседа не вышла; он все время зажигал гаснувшую трубку, спрашивал, а я торопился: скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции — его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал: «Люди гибли в маки, в гестапо, и это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом!..» Я понял, что он смелый человек, но разговор был коротким. Два года спустя я увидел его на Вроцлавском конгрессе. Мне понравилось его выступление: он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились друг с другом и ушли — каждый в свои житейские дебри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели вместе несколько дней, ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу, — словом, подружились. И вот весной 1953 года Фарж бессмысленно погиб. Но и не в этом дело.

Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, Фарж мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знавал немало людей, жаждавших стать именно такими — независимыми, оригинальными котами. А Фарж, наоборот, хотел быть как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто, в ней он говорил, что великий живописец XIV века считал себя не гением, а рядовым мастером и выразил при этом мысли, чувства всех своих современников. Фарж говорил, что его дом — улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным — котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены —

взводы, полки, армии, когда специализация стала законом — рабочий повторял годами один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как закон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моде, — Ив Фарж не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных по своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили: «Вот это человек!»...

Чего только он не делал! Еще школьником он увлекался живописью. У него было двадцать профессий. В Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили: он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржетт мне рассказывала, как он написал портрет одного бербера и тот, желая отблагодарить художника, застрелил орла, вынул еще горячее сердце и заставил Ива и Фаржетт съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала Барбюса, потом уехал в Гренобль, стал сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах (тогда он еще был социалистом), требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью.

Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать Сопротивление. Итальянцы разыскивали «террориста Бонавантура» — Фарж сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Фаржетт арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти, и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружье. Его разыскивало гестапо. Он работал с коммунистами и с голлистами, с Пьером Вийоном и с Амоном, с Бидо и с Ролем. Родился Национальный фронт, и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной сорок четвертого года Дебре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Ли-

она, первое обращение к гражданам комиссара республики подписано: «Ив Фарж (Грегуар)».

Фарж мне рассказал, как в освобожденный Лион прилетел генерал де Голль: «Я ему сказал, что ужинать он будет с участниками Сопротивления. Он меня прервал: «Где местные власти?» Я ответил: «В тюрьме». Это ему, видимо, не понравилось... — Помолчав, он добавил: — А мне не понравился его тон...»

Год спустя Фарж попросил освободить его от обязанностей комиссара: война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Бидо отправил его в Бикини — представлять Францию на первом испытании атомной бомбы. Фарж поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа: Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила впроголодь. Фарж объявил войну черному рынку. Он явился на заседание национальной ассамблеи, и депутаты услышали нечто невероятное: Ив Фарж, министр продовольствия, обвинил вице-премьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарж пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэн возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы» — черновик Движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию. Писал рассказы. Выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Жолио он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарж стал душой Всемирного Совета Мира.

Такой послужной список или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь не часто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарж: ему были безразличны и титулы, и деньги, и слава. Дело в другом: у кота, который ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы Сопротивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей, и когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему

доверены важные задания, он отвечал: «А для меня это важно...» После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей; он говорил: «Правительство покрывает знатных мерзавцев и хочет отыграться на судьбе ничтожных людишек». Рассказывая об этом, он говорил: «Тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову, хотели раздеть. Я прибежал вовремя... Потом меня наставляли: «Конечно, вы правы, но это мелкое происшествие, а вы — комиссар республики...» У них все по графам. Вот если бы я вздумал отстаивать Петена — это показалось бы соответствующим моему положению...»

Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым: Ив возмущался — на заседании бюро публично оскорбляли секретаря Совета Мира Дарра. (Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже, слухи пошли из Китая и дошли до Сталина.) Фарж говорил: «Я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека...» Потом я сказал Фаржу: «Напрасно вы накинулись на Фадеева...» Он не дал мне договорить: «Вы думаете, что я этого не понимаю? Я поддерживаю мирные предложения Сталина — я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике, — я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей — это растленные перья. Но с Дарром дело другое — я его знаю, и пока не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать...»

Да, второго такого кота я не встречал.

Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге, и вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай, но я не знал в точности, кем он был, — Герцен о нем упоминал как об одном из революционеров сорок восьмого года, а кто-то мне сказал, что Распай был ученым, химиком. Фарж обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпентрас. Ему было восемнадцать лет, когда его приговорили к смерти, — это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый — без лаборатории, без инструментов; он открыл роль сахара в организме за сорок лет до Клода Бернара, зна-

чение микробов задолго до Пастера, но никто не хотел слушать о его открытиях: он слыл чудаком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало Учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распая приговорили к шести годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме над книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны, ткачи Лиона его выбрали в парламент. В 1874 году ему был восемьдесят один год, и его присудили к двум годам заключения за прославление Парижской коммуны. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет. Фарж мне рассказывал о нем с восхищением, — наверно, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял: «Это душевная щедрость Прованса!..»

Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ламартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие слова о нем: «Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти»... Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд, но в одном его можно было назвать фанатиком — в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарж всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других.

Шестого февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарж создал в Гренобле Комитет бдительности — с ним были два его друга. Трое... Комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля тридцать тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарж пригласил бывших участников Сопротивления собраться и создать организацию, способную отстоять свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарж говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки, каждый должен говорить всюду, где может, и Фарж вложил столько надежды в свои слова, что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу — французских сторонников мира.

Говорят, что заразительны суеверия, страх, недоверие, злоба; это правда; но надежда тоже может стать зарази-

13 Зак. 92

тельной. В те годы я не раз бывал подавлен, мрачен, опускались руки, и Фарж неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживал других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость Фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и зла.

Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1951 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячи раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарж вынул изо рта трубку и ошарашил всех: «Нужно начать с самого простого: «Так дольше не может продолжаться...» Некоторые запротестовали: «Мы обращаемся к взрослым, а не к детям...» После долгих споров приняли текст Фаржа, и обращение, расклеенное на стенах различных городов, останавливало прохожих, заставляло их задуматься.

Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники: жители городков и деревень в округе Апта (фабрикант охры Шовен не без помощи Фаржа стал сторонником мира), почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные Демосфены и новые Распаи, Фадеев и аббат Булье, Элюар и марсельские авантюристы, — у Ива были ключи ко всем сердцам.

Он недаром прозвал свою жену Фаржетт. Когда они поженились, Фаржетт была подростком. Он зарядил ее своей энергией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда оккупанты посадили Фаржетт в тюрьму, Ив ей писал: «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга... Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно. И потом, то, что осталось, то, что останется навсегда, — это наша гордость: мы знаем, что мы оба выше страха»...

Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя сказать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей; тогда в фондах, точнее, в подвальном помещении были свалены полотна французских импрессионистов, Сезанна, Боннара, Пикассо и заодно многие кар-

тины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, Фарж начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновременно говорил: «Сезанн напомнил о значении формы...» Вдруг другим голосом он сказал: «Обидно!.. Я убежден, что, если бы рабочим показать сад Боннара или семейный портрет Пуркине, они не дали бы вернуть их в подвал, абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти холсты вернутся на свое место...» Так и в Москве перед огромной картиной, где был изображен Сталин в поле, он сказал мне: «Я держу пари, что через год или два это уберут, — это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства...»

После смерти Фаржа я получил из Парижа пакет с семенами, на конверте было написано: «По поручению г. Ива Фаржа». Я посеял их поздно, в апреле, и вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мимюлюсы, звезды гаярдии, голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, настурция. Они продержались неделю и почернели после морозного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые страницы «Оттепели». Я видел улыбку Фаржа, слышал его слова: «Все образуется...»

Я разговариваю с ним и теперь. Для старости мало одних утешений, да и надежда у человека, которому за семьдесят, уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа, — он мне однажды сказал: «При нас или после — в общем, это не так уж существенно...»

Я задумался: что осталось от Фаржа? Он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе; его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать, историк упомянет о нем мимоходом: в серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через десять или двадцать лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Но, кажется, продление человека в другом — не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарж что-то заронил в миллионы людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок, иначе разговаривали со своими детьми, и Фарж, может быть, сделал большее для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники.

Все это — рассуждения. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием: он помог мне освободиться от многого дурного, помог надеяться, любить, жить.

34

Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич голосом, который срывался от волнения, сказал: «Возьми «Правду» — сообщение о врачах...» Не знаю, сколько раз я перечитал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из пятнадцати врачей, о которых шла речь, но я понимал, что случилось нечто необычайное. В сообщении говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны и что их признания получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Это было напечатано в «Правде», передавалось по радио, это было сказано прямо, громко на весь мир.

Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя я увидел маленькую заметку под этой статьей: у женщины-врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить «убийц в белых халатах», орден отобрали.

Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева С. Е. Голованивского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать; кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклеенную на стене газету. Голованивский попросил: «Остановимся! Я должен сам прочитать...» Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал: «Вот оно как», — и улыбнулся.

Два дня спустя в той же «Правде» была напечатана передовая; в ней рассказывалось, что во главе Министерства государственной безопасности стоял Игнатьев, снятый теперь с работы, и что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. «Правда» писала о том, что меня тревожило и раньше: «Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». Газета писала: «Только люди, потерявшие советс-

кий облик и человеческое достоинство, могли дойти до беззаконных арестов советских граждан...» Первой моей мыслью было: удивительно — Берия выдает своих!.. Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, но что-то на свете переменилось.

Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги, что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно рос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы тогда ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать. Мы знали, что одновременно с большими делами, о которых сообщали газеты, делаются несправедливые, злые дела — о них люди говорили шепотом и только с близкими друзьями. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми дружил, — писателей, художников, некоторых старых большевиков, некоторых военных — может быть, сотню, может быть, две сотни; но мне думается, что такие же чувства испытывали очень многие советские люди. Почти у каждого был друг или товарищ, сослуживец или сосед, арестованный и пропавший без вести, в вину которого ему трудно было поверить. Люди молчали или шептались, и вдруг они заговорили — не озираясь испуганно по сторонам, не глядя на телефон, как на опасного врага, заговорили просто, по-человечески, с той добротой и совестливостью, которые всегда лежали в характере нашего народа. Это казалось чудом, и не раз в те апрельские дни я вспоминал Ленина, его благородство и душевную чистоту.

Я прерву размышления: просятся на бумагу неожиданные признания о прелести, о волшебстве апреля в наших местах, не избалованных теплом юга. Еще кое-где сереет снег, а видишь — начинается праздник: прорезают землю травинки, нежные звезды будущих одуванчиков, зацветают вербы, стрекочут налетевшие отовсюду птицы; шумливо, неспокойно и радостно — после дол-

гих месяцев молчания, после холода, который сродни одиночеству, после искуса зимы. Может быть, я так чувствую потому, что в старости осень, а за нею зима мучительны, слишком они похожи на свое собственное увядание, на все то, что знакомо любому человеку, перевалившему за шестьдесят. А весна — это мир молодости, и есть ли что-нибудь слаще для старого человека, чем глядеть на ребятишек, которые ломают лед подмерзшей за ночь лужицы, чем слушать их крики, нестройные и милые, как птичья болтовня, чем увидеть под вечер робких влюбленных, которые как будто стыдятся своего счастья и держатся за руки, а еще холодно по вечерам, пальцы зябнут. Все это происходит именно в самом начале апреля, в дни перелома, когда на одной стороне улицы холодно и пусто, сосульки не двигаются с места, а на другой стороне солнце, гам, весна. Мой дом на северном склоне холма, и в начале апреля у нас горы снега, и все-таки он поддается, оседает, я его раскидываю, сбрасываю и всем своим существом чувствую, что жизнь побеждает. Если даже подумаешь на минуту, что у тебя все позади, остались считанные весны, все равно берет верх веселье, хочется смеяться, делать глупости, мечтать о будущем — не о куцем своем, а о будущем мира. Так переживаю я апрель в Подмосковье.

А тот апрель, о котором я рассказываю, был особенным. Он отогревал стариков, озорничал, как мальчишка, плакал первыми дождями и смеялся, когда снова показывалось солнце. Вероятно, я думал об этом апреле, когда осенью решил написать маленькую повесть и на листе бумаги сразу же поставил заглавие «Оттепель». Это слово, должно быть, многих ввело в заблуждение; некоторые критики говорили или писали, что мне нравится гниль, сырость. В толковом словаре Ушакова сказано так: «Оттепель — теплая погода во время зимы или при наступлении весны, вызывающая таяние снега, льда». Я думал не об оттепелях среди зимы, а о первой апрельской оттепели, после которой бывают и легкий мороз, и ненастье, и яркое солнце, — о начале той весны, что должна была прийти.

Второго мая мы с Корнейчуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного Совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда»; в ней я писал: «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Паньмыньчжоне... Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудни-

чать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир... Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за полтора месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро: идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран.

Помню, Лизлотта сказала мне, что я помолодел, вероятно, оттого, что многое в жизни начинало меняться; весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотте, что поговорка, существующая у многих народов об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть, но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются.

Сессия Всемирного Совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казнь Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, а петляет по путаным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах: не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показалась всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За два месяца до этого Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в «Правде», и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их маленьких детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты «Фигаро», которая обычно восхищалась Америкой. «Так могут говорить только люди с большим и чистым сердцем». Кардиналы и президент Франции, Томас Манн и Мартен дю Гар, Эррио и Мориак — все они просили Эйзенхауэра не казнить Розенбергов. Жизнь двух невинных людей оборвал вздорный политический акт, уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жолио мне сказал: «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сто-

ронники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что идея переговоров проникла во все слои общества, даже в южные штаты...»

(Жолио был прав: месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий в Индокитае.)

В Новом Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, «О работе писателя». В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «...Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией. А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь — зачем это написано? Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не такими, как на самом деле...»

Моя статья была попыткой разобраться в психологии художественного творчества (потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове). Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы; я упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года: «...Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых (увы, многочисленных) критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви... Мне могут сказать, что героика реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму «Про это» тоже не в заурядное время... Я могу продолжить вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? (Обычно действие происходит в «погожий летний день», или в «душистый майский вечер», или в «ясное, бодрящее осеннее утро».) Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека». Статья была напечатана в журнале

«Знамя»; два члена редакционной коллегии, Л. Скорино и А. Макаров, меня как-то спросили, почему я все валю на критиков, я им посоветовал перечитать повесть о принце и нищем.

Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?..» Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделю спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя: неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели, рассказывали о нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком.

Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать, — это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал передовую «Правды», посвященную аресту Берии: «Из неприязни ко всякому культу личности, — писал Маркс, — я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран, — я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом». Ясно было, что «культ личности» или «суеверное преклонение перед авторитетом» относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть XX съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач —

начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет.

Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. «Нормализация рабочего дня» была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности. Но Сталин был не человеком, а богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до двух-трех часов уйти с работы: Сталин может позвонить по «вертушке». Министры задерживали начальников отделов, начальники — секретарей, секретари — машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям: он уходил на работу в двенадцать часов дня, возвращался в два часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятие «дня» и «ночи» исчезало, и вот в конце лета этому был положен конец.

В сентябре был Пленум ЦК. С докладом о сельском хозяйстве выступил Н. С. Хрущев. Я прочитал и перечитал доклад, он меня поразил. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно: все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему; а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот Хрущев подверг резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказал о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе коров теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но Хрущев сказал об этом правду. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар, и это очень многих обрадовало.

Я сел за «Оттепель» — мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об «Оттепели» много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого, их сердили и упоминание о деле врачей, и осторожная ссылка на тридцатые годы, и особенно название повести. В печати «Оттепель» неизменно ругали, а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать

действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели».

Теперь я перечитал эту книгу. (Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955-м я совершил еще одну ошибку — написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений.) Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся: пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Сабуров и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять им нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась...» Инженер Коротеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не в жизни»... Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?.. Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует — это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали...» В повести много разговоров об искусстве. В Сабурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Р. Р. Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет «Оттепель», но она написана с любовью к героям, с желанием показать, почему некоторые из них ведут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству: увидев работы Сабурова, он понимает, что́ именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом, может быть, залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что я ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу: «Вера, вот и оттепель...» Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов.

Пять лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за «Оттепель». Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав: мне было труднее говорить о месяцах, породивших «Оттепель», о судьбе этой повести, чем о различных, куда более драматичных событиях предшествовавших лет. 1953 год — первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмещаются в историю прожитой жизни. (О некоторых из этих событий, а также о людях живых или умерших после 1953 года я все же написал.)

Пять лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет, были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье и горе еще острее, чем в молодости, но силы уменьшались, и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время и если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой.

35

Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки: «Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев». «...Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно: приходится таскаться по ночевкам, несмотря на множество знакомых, найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще и нашими знакомыми в частности, то, как ни печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но, во всяком случае, не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности в Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы зна-

ете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего расскажу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы: общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, ублюдочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной «реформы» правительства, невозможность успешной экономической борьбы — выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский и более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создания крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Эта последняя стала держать себя приличнее: приняла резолюцию о подчинении ЦК, и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально выступила с заявлением о своем несогласии с отклонившимися большевиками. Эти последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голос социал-демократа», то есть кавказские меньшевики во главе с Костровым, с ними не согласна. Вот и все о партийных делах. 8 — 9 номера «Голоса с.-д.» в Москве нет, зато получили № 30 «Пролетария»...»

Читая, я не сразу понял, кто автор письма, — может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет? А дойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка: «По мнению ДП, автор настоящего письма поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург». Департамент полиции не ошибся — это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, сколько языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии.

Давно уже нет в живых ни Вали Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной думы, ни Х., который возмутил меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита, и я могу только добавить, что есть линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в воз-

расте пятнадцати лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что три года спустя, фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев Школу социальных наук, но и это забросил, читал с утра до ночи стихи старых и новых поэтов, глядел холсты, слушал споры о кубизме и о «Научной поэзии».

Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в пятнадцать лет простой и единственной правдой, с волнением слушал рассказы людей, приезжавших из России, ходил в мае к Стене коммунаров, ненавидел мишуру и ложь мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Эренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого, это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства.

Критики редко стремятся понять писателя, у них другие задания — изредка (главным образом в юбилейные даты) они прославляют автора, а чаще его поносят. Западные журналисты осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивам. Некоторые советские журналисты, напротив, утверждали и утверждают, что я страдаю избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, покрываю формализм.

Я не стану защищать написанные мною произведения, о некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово; но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. «Люди, годы, жизнь» не роман, и я не мог переделать фабулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. В свое оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников; видимо, это было связано с эпохой.

Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах XIX века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я исписывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко,

Франс, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синг, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарг, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох... Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал «отклонистов» и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечение поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмутился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства; теперь я понимаю обоих.

Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными, они многое предопределили в моей жизни, и если они помешали мне получить среднее образование — вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере, — то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик Первой гимназии, и книги; но в выборе прежде всего сказались черты моего характера.

В 1917 году я не узнал того, за что боролся десять лет назад: в эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечения различными ценностями, действительными и мнимыми, которые показались мне попираемыми. Два года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне вначале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником, — в 1957 году я писал:

...В глухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей...
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

Я вложил в уста, вернее, в дневник одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился — это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать: то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют «культом личности», к добровольному молчанию примешивала и вынужденное.

Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель, он был одним из тех, молчание которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы, до XX съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучили злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Н. С. Хрущева о культе личности.

Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшее ни «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале сороковых годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол — это значит укрепить идеи Октября. А для меня нет большей радости, чем слушать порой незрелые, но искренние и задорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь.

С годами я понял, что моя любовь к искусству, и моя верность идее социализма связаны с одним — с судьбой культуры. Когда я начинал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение сорока лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем: мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли «проклятыми»; такие письма меня учили и вдохновляли.

В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других, были ошибки и у общества, их список длинен, о нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники.

В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным, победил

новый, индустриальный стиль в архитектуре, в утвари, жизнь стала комфортабельней и беспокойней. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула Четвертая республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма, а политики Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытаются уверить, что, даже стоя на месте, можно шагать в ногу с веком.

Я думаю, что наши ошибки, и материальные и духовные, связаны с тем, что раннее утро не полдень и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном «бьюике». А к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь, и спросить, как лучше пройти, некого.

Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодурам или реакционерам ставили в вину отсутствие логики — картезианство еще было живым. Полвека истории, опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась; безупречные гипотезы опровергались событиями; жизнь разворачивалась не по законам Декарта, а зачастую наперекор им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом: как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели ни любимые им авторы, ни различные конференции или дискуссии?

Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью; школьники знали на память десять заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет — «мораль»: десять заповедей были обновлены с помощью басен Лафонтена, а статьи уголовного кодекса украшены цитатами из Гюго. Дом строят не с крыши, и потомки будут говорить о середине XX века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека: в наши дни образование повсюду опережает воспитание, физика оставляет позади себя искусство, и люди, приближаясь к радиоактивным двигателям, не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть — понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи ве-

рующим, обладал (как и другие представители русской литературы XIX века) обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести; однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги.

Я помню одного нашего лектора, который в 1932 году уверял, будто открытия Эйнштейна — попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий: роды всегда трудны. За тридцать лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука XIX века теперь кажется тесной уютной квартирой. Вероятно, нечто подобное, хотя и в меньшей степени, переживали люди позднего Возрождения, поняв, что Земля не центр вселенной. По-новому встало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашняя абстракция становится реальностью.

Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и простых людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода — накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конференции сторонников мира, на встречи «Круглого стола». Скептики порой мне напоминают прошлое — и Гаагскую конференцию, и конгресс в Амстердаме, организованный перед второй мировой войной, — говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией идеалистов или лицемерием грабителей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные отары овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы, не вопрос о том, у кого больше нефти, стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжаются споры о его осуществлении, то только потому, что традиции в международной политике куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном: обгонят ли предостережения физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу.

Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы (к счастью, на словах) взорвать бедную передовую планету потому, что не могут договориться с другими людьми о статуте нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор силой побуждают теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание.

Во второй половине XX века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось: тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, крепло кино, родилось телевидение. Однако в частной жизни множества людей роль искусства уменьшилась. Может быть, это произошло оттого, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть, эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству — люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями, неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы Лукулла.

Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзацы искусства. Люди реже идут в театр и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькают бои в Конго и олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, Гамлет и боксеры, концерт и светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, ссорятся, восприятие постепенно притупляется.

Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о Толстом, глядели на него как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались к голосу Ромена Роллана. В парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декораций Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче.

Лет пять назад по моей вине в «Комсомольской правде» началась дискуссия: обречено ли искусство на смерть в «атомном веке». Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и, по его словам, вздыхают: «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства; но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие естествознания; их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом тургеневского Базарова.

Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, то освоением космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишенные культуры чувств, которые, наверно, мало чем отличались бы от мыслящих машин XXI века. Открытие огня, то есть способов его добывания, относится к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эсхил написал «Прикованного Прометея». Эта трагедия жива и теперь, она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы оно стало любовью, потребовались тысячелетия искусства — от древних критян и Калидасы до Гёте, Стендаля, Толстого и дальше — до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака.

Я думаю, что новое сознание, новые чувствования требуют от искусства нового языка. Людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рютбефа, Вийон, Рабле или Учелло показались падением искусства, а четыреста лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Мане, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту.

На ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кафки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор — чьим эпигоном он предпочитает быть.

Читателя не удивит, что столько места в книге воспоминаний я уделял искусству: это связано не только с моим ремеслом, но и с моим мироощущением, — я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям

подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание и форма искусства диктуются обществом, при всей их правильности кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники, и, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но, прославляемые или преследуемые, они были философами, открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов конца XV — начала XVI века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль проницательнее, глубже своих современников — подданных «доброго короля с зонтиком»? При жизни «Красное и черное» прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня-другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном! Стендаль вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали, они порой сердили даже Бальзака и Гёте, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина, «Герой нашего времени», «Мертвые души» — это только гениальное отображение России Николая Первого, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи?

Книга Винера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется. Изменится, наверно, и литература или живопись. Хуже всего начать по-стариковски брюзжать, осуждать время и молодых — они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, как их деды. Я во многом повинен, но только не в этом.

Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней и о которой слишком трудно писать, — это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло больше десяти лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся.

Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени.

В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение сабинянок». На

композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые «Герники», причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской я стоял завороженный и только ночью подумал: удивительно — ведь ему за восемьдесят!..

Я увидал много новых для меня стран — Индию, Японию, Чили, Аргентину, мир для меня стал шире: ведь в молодости я знал только Европу да понаслышке Соединенные Штаты — полторы части света вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые показались мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амриты Шер-Гил в живописи, — органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада.

Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее; своей розоватой сухостью она напомнила мне Кастилию, понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем не ограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. М. С. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей, безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и кобальтом. В 1965 году Мартиросу Сергеевичу исполнилось восемьдесят пять лет, и его старые полотна, спрятанные в фондах музеев, были показаны на выставке — константинопольские собаки, пальмы Египта, персианки. Сделали фильм, посвященный Сарьяну. Я написал текст. Я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как в 1948 году он снял свои лучшие холсты со стен — начал их резать.

Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии — заслуга техники, но когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сцена, книга или холст.

Меня обрадовала своей точностью повесть Сэлинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых — Казакова, Аксенова. Прочитав короткий

и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына, я почувствовал себя богаче: автор иначе, чем Чехов, но с чеховской глубиной ввел в мой мир прекрасную русскую женщину, прожившую трудную жизнь.

За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жолио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назым Хикмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни, нежно и суеверно гляжу на живых друзей, а вечером утешаюсь тенями подростков.

Я узнал К. Г. Паустовского, — прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и смелого человека. Мы подружились на старости. Меня поддерживает сознание, что Константин Георгиевич жив, что завтра он, наверно, еще что-то скажет, что он мой ровесник и пережил многое из того, что написано в этой книге, что он не только высокий мастер и человек встревоженной совести, что весной 1963 года он пришел ко мне и поддержал меня в трудные дни.

Я полюбил Виктора Некрасова, крепкого, неуступчивого и чрезвычайно совестливого писателя, оказалось, что возраст не стена: есть и у старости свои окна и двери.

Я не разучился ни любить, ни надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека — иссякают силы. Зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы.

Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях, о себе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые, по хорошим словам Жолио, противны человеческой природе.

Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать: одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга — рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи...»

Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызнова я не могу. Я не собирался никого поучать, не ставил себя в при-

мер. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии, признавался в своих ошибках, чтобы взяться за амплуа старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил: это может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять.

Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием: я ненавижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего; я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом, мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догоревал, не долюбил. Но таковы законы природы: зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: «Завтра я...» А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои.

Книга седьмая

1

Мне снова приходится признаться читателям в своем легкомыслии или, если угодно, в недомыслии: в 1959 году, написав первые страницы книги воспоминаний, я решил, что закончу повествование той порой, когда сел за «Оттепель». Это было понятно: период, начавшийся весной 1953 года, был все еще незаконченной главой истории, да и я не мог предвидеть, что судьба мне подарит еще несколько лет. Недомыслие оправдывалось незнанием. Однако в 1965 году, внося в шестую часть некоторые дополнения, я уже видел, что десяток прожитых мною лет — это новая седьмая часть книги, и все же обрывал рассказ на «Оттепели». Правда, я частенько нарушал хронологию, прежде всего рассказывая о людях живых — о Пикассо, о Неруде или об ушедших после 1953 года — о Жолио-Кюри, Фадееве, Фальке, Назыме Хикмете, Пастернаке и других; в заключительной главе шестой части я коротко перечислял некоторые события последующих лет. Почему я обрывал книгу воспоминаний? Некоторые читатели, рассердившись, приписывали это решение страху. Когда-то поэт А. К. Толстой закончил шутливую историю России откровенным признанием:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Однако издание предшествующих частей стоило мне немало усилий, и не страх перед трудностями останавливал меня. Нужно было время для того, чтобы кое-что разглядеть и понять. Теперь я знаю, что последнее десятилетие многое изменило и в жизни мира, и в моей внутрен-

ней жизни, мне есть о чем рассказать, и молчание было бы справедливо истолковано читателями как желание отмолчаться, духовно выйти на пенсию.

Я помню, как меня поразил в детстве оборванец, который, попросив у моей матери двугривенный, сказал: «Бедность, сударыня, не порок, но большое свинство». То же самое можно сказать и о старости: сил становится меньше, впечатлительность ослабевает, мир невольно сужается. Да и с тобой вместе стареют, болеют, а потом уходят твои близкие, друзья, сверстники. Это ощущение если не духовного одиночества, то бытовой одинокости грозит отъединением. Человеку моего возраста, который сознает такую опасность, приходится все время спорить не столько с другими, сколько с самим собой: он должен отстранить искушение брюзжать на новые нравы, отворачиваться от современного искусства, считать ошибкой все, что бурно, бесцеремонно врывается в налаженную жизнь.

Многие черты нашего времени могут казаться спорными, порой немилыми, но теперь я понимаю происходящие перемены куда отчетливее, чем десять лет назад. Я уже говорил, что XX век начался, если забыть про календари, в 1914 году, но только пятьдесят лет спустя он окончательно распрощался со своим предшественником; его лицо теперь резко обрисовано, и человеку, как я, засидевшемуся в жизни, глупо рассуждать о том, что искусство потускнело или что молодые люди чересчур рассудительны. Река истории, ставшая в сороковые годы подземной, начинает вырываться из темноты. Молодые люди различных европейских стран еще не созрели, они еще не уверены в своем назначении, но они уверены в своем пренебрежении к доверчивости, многословию, сентиментальности своих отцов. Они не похожи на подростков 1936 года, которые мечтали добраться до Испании, чтобы отстоять от фашистов Мадрид. Многие слова звучат по-другому: «баррикады», например, стали реквизитом романтического театра, «война» связана не с окопами или танками, а с атомным грибом, «космос» рождает дорожную лихорадку. Разворачивая газету, молодые люди начинают со спортивных новостей. Они любят выставки и на полотна Пикассо смотрят как на электронные машины, реже спорят о романах, хотя много читают, охотнее говорят об очередном полете космонавтов, о новой строительной технике или о футбольном матче. Их не обольщают кумиры прошлого, они хотят все проверить на ощупь, и многие если не «вечные», то многовековые

идеалы расползаются под непочтительной рукой, как пышные древние ткани.

Я встречал в разных странах отцов, валивших многое на детей: люди, пережившие ужасы войны, годы боев, фашистскую оккупацию, считают, что послевоенному поколению досталась куда более завидная судьба, с негодованием они говорят о росте хулиганства и преступности, о скептицизме и карьеризме молодежи. Что, однако, могли унаследовать от отцов молодые люди, которые начали выходить на сцену истории в послевоенные годы? Наивность одних, осторожность других, равнодушие третьих. Вчерашний героизм солдат заслонялся будничным малодушием и растерянностью демобилизованных. Еще нужно было отстраивать разбомбленные города: для молодых рук было вдоволь работы, а для серьезных размышлений оставалось мало времени.

Наращивалось ужасающее ядерное оружие. В ООН, в различных парламентах и комиссиях все говорили о необходимости разоружения, и все продолжали вооружаться. Хиросима открыла новую школу, морали в ней не обучали. Юноши, слышавшие каждый день разговоры о том, что третья мировая война может начаться через год или через месяц, привыкли к жизни, связанной с ощущением возможности катастрофы. Люди привыкают ко всему — к соседству с вулканом, к землетрясениям, к циклонам, они привыкли и к возможности ядерной войны. Однако, под прикрытием буден, работы или лекций, футбольных матчей или фильмов, зреет новое сознание, набирает силы еще недавно высмеиваемая совесть.

Вьетнамская война может казаться различным государственным деятелям выгодной или глупой, нападением или защитой загнивающего строя, однако молодые люди повсюду, даже в самой Америке, видят прежде всего ее безнравственность.

Ханжеский пуританизм, иго церкви сдались перед послевоенным поколением в большинстве западноевропейских стран. Начался культ тела, освобожденного не только от былых запретов, но и от былых эмоций. Фильмы передовых кинорежиссеров показывали встречи, где мужчин и женщин сводит скука, случайная прихоть, ранняя пресыщенность. Газеты заполнили свои полосы детальным описанием убийств, истязаний, изнасилований. Романтическая тоска подростков приносила доходы авторам скандальных репортажей, торговцам наркотиками, продюсерам дурных кинокартин. Когда я был подростком, я часто слышал слова

«сорвать фиговый листок». Подростки в пятидесятые годы старательно обрывали капустные листья.

Теперь как будто намечается перелом: молодежь понимает, что наука или политика без морали, любовные похождения без любви — это тот заячий соус без зайца, о котором как-то говорил Достоевский. Что могла вынести французская молодежь из долголетней войны в Алжире, где представители мнимой культуры совершенствовали пытки? Да только отчаяние и взрывчатку. Могли ли перестать «сердиться» сердитые молодые люди Англии, читая о расправах в Кении?

Прошлый век оставил нам в наследство многие высокие принципы, и в молодости я считал, что расовые или национальные предрассудки доживают последние дни. Можно, конечно, отнести изуверство немецких фашистов к безнадежным попыткам изменить ход истории, однако и другие события последних двадцати лет говорят о росте национализма, порой расизма. Колонизаторы и американские рабовладельцы слишком долго попирали национальное и человеческое достоинство: накопилась лютая ненависть, счет представлен, и расплата проводится в той же монете. «Освободители», разумеется, лицемернее и гнуснее освободившихся. Я встречал бельгийских социалистов, проклинавших Лумумбу и требовавших военного вмешательства во внутренние дела Конго. Их английские единомышленники теперь отказываются вмешиваться во внутренние дела Родезии: не хотят применять силу к сторонникам расового насилия. Толстовцы в одном, каннибалы в другом, они сами приписывают к кровавому счету новые цифры. Да что говорить о социал-демократах, великая держава Азии, считающая себя блюстителем коммунизма, ежедневно твердящая на сотне языков о святости братства и интернационализма, воспитывает свою молодежь в духе подлинного расизма. Необходимо видеть мир таким, каков он есть, и не принимать желаемое за действительно существующее. Я не хочу этим сказать, что идея человеческой солидарности не верна, я по-прежнему убежден в ее правоте; но теперь я вижу петли длинного пути, которые порой выглядят как поворот назад, я знаю, что многое казалось нам куда более легким, быстрее осуществимым, чем оказалось на деле, и что потребуется немало времени, прежде чем принцип интернационализма станет обязательным для разномыслящего и разновозрастного человечества.

В повести «Скучная история», написанной Чеховым, когда ему не было еще тридцати лет, герой с горечью дума-

ет об отсутствии у него «общей идеи». Некоторые критики пытались истолковать эту повесть как тоску автора по религии, хотя Чехов был атеистом и никогда не пытался обмануть себя прикладной метафизикой. Старый медик в «Скучной истории» называл «общей идеей» некую сумму философских и моральных понятий своего времени.

Различные религии долго претендовали на монопольное обладание «общей идеей». Однако живое тело постепенно превращалось в мумию, катехизис оказался куда долговечнее веры. Я с любопытством читал отчеты о заседаниях вселенского собора, созванного Ватиканом, они напоминали прения в одном из западноевропейских парламентов, хотя собор обсуждал не параграфы конституции, а догмы, слывшие прежде непогрешимыми: непорочность зачатия Святой девы или ответственность евреев за распятие Христа. Либеральные епископы предлагали заменить железные цепи поясами из каучука. Приспособление древних догматов к современному сознанию вряд ли спасет их от смерти.

Середина пятидесятых годов означала для многих миллионов людей кончину различных мифов, воскресить их никому не дано. Конечно, жить под небом, где кружатся спутники, труднее, чем под небом, заселенным богами или ангелами. Труднее уверовать в силу человечности, чем в мудрость человека, возведенного в вожди. Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров — их не выбирают.

Когда я говорил о критическом отношении молодых людей нашего времени к идеалам прошлого, я думал о разномастных «общих идеях», которые их отцы принимали на веру, заучивали в младенчестве, как таблицу умножения. Юноши и девушки нашего времени отнюдь не удовлетворены неполнотой, необщностью «общей идеи», они хотят ее пополнить или создать из суммы точных познаний, личного опыта, частных или порой спорных обобщений.

После всего, что я писал в предыдущих частях моей книги, мне незачем настаивать на однородности развития нового поколения. Молодые люди знают куда больше, чем чувствуют; с этим связаны не только оскудение философии да и других гуманитарных наук, но и падение роли искусства в жизни общества, обеднение чувствований, изображения, этики. Прежде гуманитарные факультеты представляли элиту наций, юноши искали ответа на мучившие их вопросы не только у Льва Толстого, но даже у Стриндберга, Леонида

Андреева, Поля Бурже. Теперь математические и физические факультеты притягивают лучших людей нового поколения, там можно убедиться, что любовь к точности не убивает фантазии. Даже в области музыки, поэзии, живописи молодые физики куда более осведомлены и более требовательны, чем их товарищи — студенты философского, исторического или юридического факультетов. Видимо, надежды на гармоничного человека, на «общую идею», которая родится из раздумий и поисков молодых людей, нужно теперь связывать не с трудами запоздалых философов, будь они экзистенциалистами, неопозитивистами или неотомистами, и не с «культурной революцией», предпринятой догматиками, которые видят в любом движении критической мысли преступный «ревизионизм», а с дальнейшим развитием точных наук, с пробуждением в носителях знания морального сознания, совести.

Эта глава может озадачить некоторых читателей: чего ради, отметая запоздалых философов, автор сам расфилософствовался? Такие обобщения полагается давать разве что в эпилоге, а я их выложил в начале последней части книги о моей жизни. Я буду говорить о событиях, и о людях, и о себе. Поздний вечер был трудным и неспокойным, но я жадно приглядывался к молодым: человеку свойственно думать о будущем, даже если он знает, что для него там не будет места. Но мне хотелось до того, как начать рассказ, обрисовать хотя бы в самых общих чертах климат эпохи.

2

С того дня, когда я отнес в «Знамя» рукопись «Оттепели», до XX съезда партии прошло всего два года. В памяти многих события тех лет потускнели: 1954—1955 годы кажутся затянувшимся прологом в книге бурных похождений, неожиданных поворотов, драматических событий. Это, однако, не так. В моей личной жизни то время отнюдь не было тусклым: сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. В шестьдесят три года я узнал вторую молодость. Названные годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливостей прошлого не было случайностью, оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того или иного политического деятеля. Годы, прошедшие после смерти Сталина, многое предопределили. Просыпалась критиче-

ская мысль, рождалось желание узнать об одном, проверить другое. Сорокалетние постепенно освобождались от предвзятых суждений, навязанных им с отрочества, а подростки становились настороженными юношами.

Происходило это не по указке. Просматривая старые газеты, я нашел в декабрьских номерах 1954—1955 годов восторженные статьи о «великом продолжателе дела Ленина», в них превозносились не только политические добродетели И. В. Сталина, но также его скромность, даже гуманность. Слова «культ личности» толковались по-разному. Критик В. В. Ермилов корил Первенцева за то, что он в романе «Матросы» окружил героя «культом личности». «Литературная газета» за два месяца до XX съезда писала: «Сталин выступал против культа личности», далее говорилось о благородном влиянии Сталина на развитие советской литературы. (За год до того мы узнали о посмертной реабилитации Бабеля, Чаренца, Тициана Табидзе, Яшвили и многих других.) Статьи ничего не выражали, да и ничего не отражали. Сразу такие дела не делаются, и если люди еще побаивались говорить о многом, что оставалось несказанным, в глубине их сознания подготовлялись события 1956 года.

Второй съезд писателей собрался через двадцать лет после первого, и его шутя называли по роману Дюма «Двадцать лет спустя».

Накануне открытия съезда в Центральный Комитет пригласили сотню писателей, в том числе и меня. Выступили многие писатели с самыми различными оценками современной литературы. Последним в списке был крупный писатель, неизменно причисляемый к классикам советской литературы. Я не называю его имени, потому что в книге воспоминаний избегаю всего, что могло бы показаться читателю сведением личных счетов. Этот писатель нападал на мою «Оттепель», вынув из кармана листок, он прочел мои стихи, написанные весной 1921 года:

...Но люди шли с котомками, с кулями шли и шли
и дни свои огромные тащили как кули.
Раздумий и забот своих вертели жернова.
Нет, не задела оттепель твоей души, Москва!

Стихи эти, слабые, как и другие, написанные мной в то время, не содержали криминала, а вырванные из книжки строки прозвучали иначе, и оратор легко связал их с повестью «Оттепель». Однако главный сюрприз был впереди: писатель-классик, припомнив мой давний роман «В Про-

точном переулке», сказал, что в нем я изобразил дурными русских людей, а героем показал еврейского музыканта Юзика. Я вздохнул, но не удивился: мне было уже шестьдесят три года. Поэт А. И. Безыменский потребовал слова. Н. С. Хрущев ответил, что совещание кончилось. На следующее утро газеты сообщили о совещании, но, разумеется, о прениях ничего не говорили. Я позвонил П. Н. Поспелову и сказал, что не хочу идти на съезд. Петр Николаевич ответил, что двум товарищам (классику и Безыменскому) указано на недопустимость их поведения, а мое отсутствие будет плохо истолковано. Хотя я и написал «Оттепель», я сам еще не успел по-настоящему оттаять — и пошел на съезд.

Стенографический отчет всех выступлений был опубликован. Когда просматриваешь шестьсот страниц убористого шрифта, невольно вспоминаешь, что было за двадцать лет до этого — в 1934 году.

В 1934 году писатели горячо спорили, съезд проходил во время больших, хотя и неоправдавшихся надежд. Были иллюзии о значении съезда для развития литературы, все было внове. А второй съезд выглядел куда бледнее. Многие писатели умерли: Максим Горький, А. Н. Толстой, М. М. Пришвин, Ю. Н. Тынянов, И. А. Ильф, Л. Н. Сейфуллина, Ю. И. Яновский, А. С. Серафимович. На войне погибли Е. П. Петров, А. Гайдар, Ю. Крымов, Б. Лапин, З. Хацревин, Чумандрин, Борис Левин, Афиногенов; в годы беззакония навеки исчезли Бабель, Чаренц, Тициан Табидзе, Яшвили, Бруно Ясенский, Пильняк, Артем Веселый, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, Квитко, М. Кольцов, И. Микитенко, И. Фефер. Многие крупные авторы — Паустовский, Пастернак, Олеша, Вс. Иванов, Сельвинский, Светлов, В. Гроссман — значились в списке делегатов, но они не выступали, их даже не выбрали в президиум.

Среди иностранных писателей, приехавших на съезд, было немало известных, даже знаменитых — Арагон, Пабло Неруда, Анна Зегерс, Гильен, Назым Хикмет, Жоржи Амаду, Майерова, Садовяну, Артур Лундквист; но, в отличие от гостей первого съезда, они ограничивались приветствиями или коротким обзором литературы своих стран, не принимая участия в обсуждении проблем, поднятых докладом и содокладами, — соблюдали нейтралитет.

Открыла съезд О. Д. Форш, ей тогда было за восемьдесят; она прочитала по бумажке: «Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти И. В. Сталина. Почтим память Иосифа Виссарионовича вставанием».

Докладчики не забывали давних оценок. К. М. Симонов, например, охарактеризовал повесть Казакевича «Двое в степи», которая в 1948 году рассердила Сталина, «не просто ошибкой талантливого писателя, а его решительным отходом от самого существа метода социалистического реализма». (Теперь в «Литературной энциклопедии» можно прочитать, что критика повести была «необоснованной».) Докладчик и содокладчики отзывались с похвалой об авторах не очень одаренных, но зато благонравных, хвалили и друг друга. В докладе Пастернак и Заболоцкий были названы только среди двадцати переводчиков. О Зощенко, разумеется, никто не упомянул.

Однажды на съезде было произнесено имя Марины Цветаевой. Полемизируя с С. Кирсановым, поэт Н. Грибачев сказал: «...если таким образом произвести цитатную операцию над некоторыми произведениями самого Кирсанова, то он на глазах почтенной публики легко может превратиться в нечто среднее между Мариной Цветаевой и купцом Алябьевым, который, по свидетельству Горького, писал такие стихи: «Пароходы, моровозы, гыр-гыр, гар-гар, гадят Волгу, портят воду, дым-дым, пар-пар...» (В 1954 году советские читатели не знали поэзии Цветаевой, теперь они смогут оценить слова Н. Грибачева.)

Докладчик А. А. Сурков, содокладчик К. М. Симонов осуждали мою «Оттепель» и «Времена года» Веры Пановой. Потом в разной форме такие же порицания были высказаны М. А. Шолоховым, В. В. Ермиловым, представителем ЦК комсомола А. А. Рапохиным, В. А. Кочетовым. Каждый из присутствующих понимал, что осуждение двух книг не было случайным совпадением писательских оценок. Для того чтобы уравновесить осуждения, был принесен в жертву роман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», его называли «лакировкой действительности», все это было отнюдь не новым и показывало, что писатели не зря прожили двадцать лет после первого съезда. Да и выступавшие охотно ссылались на XIX съезд партии, припоминали слова Г. М. Маленкова о «наших Гоголях и Салтыковых-Щедриных». Некоторые, то ли по рассеянности, то ли от избытка рвения, защищали кампанию 1949—1950 годов против «космополитов», забывая, что многое в нашей стране изменилось. Доклады были длинными, порой я скучал, но уйти не решался — я ведь был обвиняемым и это могло быть истолковано как бегство.

Добрые (или недобрые) пастыри, которые пасли писательское стадо, менялись. Некоторым это занятие нрави-

14 Зак. 92

лось. При Сталине все было просто: нужно было только узнать, как он отнесся к той или иной книге. После его смерти стало труднее. Были писатели, слишком доверявшие своему нюху: их оценки книг диктовались тем, как они видели завтрашний день. Я вспоминаю старый одесский анекдот: еврей спрашивает свою жену: «Что мне взять, зонтик или палку?» — «Возьми зонтик — может пойти дождь». — «А если дождь не пойдет? Я буду выглядеть дураком». — «Тогда возьми палку». — «Ну, можно ли слушать женщину! То она говорит — «возьми зонтик», то «возьми палку». А я ничего не возьму — я и не собираюсь выходить из дому». Предсказывать погоду — дело трудное, и во всех странах мира посмеиваются над просчетами институтов прогноза.

Писатели, доверявшие своему нюху, в конце концов поняли, что ошибались больше других, танцевали, когда гробовщик обмерял покойника, и плакали навзрыд, когда мамаши пекли пироги на свадьбу. Пастыри мало-помалу становились обыкновенными пастухами — без излишних теорий и без рискованных прогнозов.

В. Ф. Панову обвиняли в «объективизме». Эта формулировка К. М. Симонова прижилась. (Десять лет спустя мою книгу «Люди, годы, жизнь» упрекали одновременно и за «объективизм», и за «субъективизм», вероятно, потому, что два греха тяжелее одного.) Вера Федоровна не смогла приехать на съезд, и судили ее заочно. Я в своем выступлении сказал, что обвинение в «объективизме» Пановой мне кажется недопустимым. Вскоре после конца съезда я получил от Веры Федоровны письмо, она желала мне хорошего Нового года и добавляла: «... для всех нас желаю, чтобы и у нас, в нашем ремесле, наконец наступила оттепель».

На седьмой день съезда выступил М. А. Шолохов. Его речь меня не удивила, и до того, и после я не раз слышал или читал его выступления, выдержанные в том же тоне. Но кто-то наверху, видимо, обиделся или рассердился. Забыли даже «Оттепель» и «Времена года»; почти все выступавшие осуждали речь Шолохова — и Ф. В. Гладков, и М. Турсун-Заде, и В. Ермилов, и С. Антонов, и К. А. Федин, и А. А. Фадеев, и Б. С. Рюриков, и К. М. Симонов, и А. А. Сурков. Для меня было непонятно такое единодушие, не понимаю его и теперь.

Все же я был не прав, сравнив второй съезд с первым. Одно дело первый бал, где танцуют, краснеют и влюбляются семнадцатилетние девушки, другое — чувства трид-

цатисемилетней женщины, прожившей нелегкую жизнь. Начиная с 1936 года и до весны 1953-го судьба не только книги, но и автора зависела от прихоти одного человека, от любого вздорного доноса. В течение двадцати лет и писателей и читателей старались отучить от неподходящих мыслей. Однако многие выступления на втором съезде были интересными: писатели защищали достоинство литературы. В. А. Каверин говорил: «Я вижу литературу, в которой редакции смело поддерживают произведения, появившиеся в их журналах, отстаивая свой самостоятельный взгляд на вещи и не давая в обиду автора, нуждающегося в защите... Я вижу литературу, в которой любой, самый влиятельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому что судьба книги — это судьба писателя, а к судьбе писателя нужно относиться бережно и с любовью... Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позорным и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». М. С. Шагинян сказала: «У критика, знающего, что роман хороший, знающего, что доводы против него неубедительны и бездоказательны, не хватает простого гражданского мужества встать на защиту романа и страстно за него бороться. Тем самым критик показывает, что ему, в сущности, очень мало дела до действительной оценки вещи, до ее правильного раскрытия, а главное, к чему он стремится, — это попасть в тон установившейся конъюнктуры...» Вот слова М. И. Алигер: «А виноваты общие условия литературной жизни, обстановка, сложившаяся в последние годы в Союзе писателей, где творческий разговор подменяется нередко начальственным стучаньем кулаков по столу, а всякое раздумье, попытка по-своему осмыслить и решить тот или иной вопрос, всякое доброе критическое намерение сразу именовались разными страшными словами». О. Ф. Берггольц привела пример: «Еще в 1949 году мы с вами знали, что пьеса Сурова «Зеленая улица» плохая пьеса и тоже лежит, по сути, за гранью литературы. Однако что было при обсуждении этой пьесы? Я перед съездом нашла номер «Литературной газеты» и руками развела, прочитав на одной странице высказывания Софронова, что у него при чтении этой пьесы «растут крылья», на другой странице — К. Симонова, который говорит, что Суров «прокладывает новую лыжню в искусстве».

С. И. Кирсанов взывал: «Нам противопоказан учрежденческий стиль работы, и в нашем Союзе не должно быть ни начальников, ни просителей, ни условий, порождающих тех и других». Поэт А. Яшин высмеивал рассуждения «критиков»: «Замордовали лирику — и нас же в этом винят... Из любовной лирики у нас не вызывали ничьих возражений и прославлялись разве только стихи о вечной верности собственной супруге. Но чтоб не было никаких ссор, никаких размолвок и подозрений, насаждался своеобразный лирический бюрократизм». В. К. Кетлинская, рассказав, как роман В. Пановой «вдруг» начали чернить, так закончила свое выступление: «Мы хотим и требуем, чтобы любители проработок и убийственных ярлычков просто не могли просочиться на страницы печати, чтобы каждая такая попытка рассматривалась как нарушение норм социалистического общежития».

Мне было трудно говорить в полный голос — я был проработан по первому разряду, весь облеплен ярлычками. Все же я сказал: «Можно только горько усмехнуться, представив себе, что стало бы с начинающим Маяковским, если бы он в 1954 году принес свои первые стихи на улицу Воровского... Один из руководителей Союза писателей, резонно говоря о значении «средних писателей», сказал, что без молока не получишь сливок. Продолжив это несколько неудачное сравнение, можно сказать, что без коров не получишь и молока».

На первом съезде нас глубоко трогали делегации читателей, порой наивных, но чистосердечно говоривших о своей любви к советской литературе. На втором съезде мы редко слышали читателей, но мы хорошо знали, как они выросли, знали, что порой они отбрасывают скверные книги, ждут правды и красоты. Однако и мы, писатели, успели освободиться от многих иллюзий. Мы уже понимали, что нелепо толковать на съездах о том, как писать книги, и что художнику косноязычие зачастую более свойственно, чем красноречие. Мы знали, что дело не только в секретариате Союза писателей, да и не только в критиках, которые противоречат себе, начинают вдруг поносить то или иное произведение, а в общих условиях нашей работы.

Я не стану останавливаться на произведениях советских авторов, лучше расскажу о судьбе перевода книги Хемингуэя «Старик и море». Это, по крайней мере, смешная история. В 1955 году решили выпустить журнал «Иностранная литература»; редактором назначили

А. Б. Чаковского; мне предложили войти в редакционную коллегию. Я долго колебался, и все же согласился — может быть, смогу помочь опубликовать ту или иную хорошую вещь. Александр Борисович говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрания редколлегии, и вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить — Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать «Старика и море»: «Молотов сказал, что это — глупая книга». Недели две спустя я был у В. М. Молотова по делам, связанным с борьбой за мир. Я рассказывал о росте нейтрализма в Западной Европе. Когда разговор кончился, я попросил разрешения задать вопрос: «Почему вы считаете повесть Хемингуэя глупой?» Молотов изумился, сказал, что он в данном случае «нейтралист», так как книги не читал и, следовательно, не имеет о ней своего мнения. Когда я вернулся домой, мне позвонили из редакции: «Старик и море» пойдет...» Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который рассказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя — о нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать «Старик и море». «Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели». — «А дальше что?» — «Дальше ничего, конец». Вячеслав Михайлович сказал: «Но ведь это глупо!..» Вот резоны, которые чуть было не заставили редактора отказаться от опубликования повести Хемингуэя. Легко понять, как в наступающем десятилетии жили проработчики и писатели. Судьба книги зависела от любого обстоятельства внешней или внутренней политики; но об этом мне придется еще не раз говорить в последующих главах.

(Случай с Хемингуэем в 1955 году не был единичным, и я вышел из редакционной коллегии «Иностранной литературы» еще до выхода первого номера. Два года спустя я дал в этот журнал очерк «Уроки Стендаля». На очерк обрушились самодеятельный проработчик Н. Таманцев, потом Е. Книпович. Мечты Каверина оставались мечтами, и Чаковский поспешил заявить на заседании президиума

Союза писателей (отчет был опубликован): «Ошибкой редакции была публикация статьи И. Эренбурга «Уроки Стендаля», содержащей полемику с основополагающими принципами советской литературы».)

Недавно ко мне пришел В. А. Каверин. Мы заговорили о нашей литературе. Вениамин Александрович остался оптимистом, хотя той литературы, о которой он мечтал в 1954 году, не увидел, может быть, и не увидит. Он говорил, что любой средний писатель в любом журнале пишет теперь свободнее и что конъюнктурщикам пришлось потесниться. Это правда, и объясняется это прежде всего духовным ростом читателей. Сто лет назад писатели учили молодую русскую интеллигенцию мыслить и чувствовать. Положение изменилось, и, как это ни парадоксально звучит, я решусь сказать, что теперь читатели многому научили среднего писателя.

3

Я просмотрел старые подшивки газет. 1954, 1955 и 1956 годы — последний до событий в Венгрии — были помечены некоторой разрядкой международной напряженности или, как говорили западные обозреватели, началом «оттепели». Газетная бумага быстро дряхлеет, стареет, и листы кажутся хроникой далекого прошлого, однако слишком многие статьи могли бы быть написаны вчера. В те годы мы слишком предавались иллюзии, да и слишком легко отчаивались.

В мае 1954 года я попал в Париж — должен был вручить Пьеру Коту премию Мира. После Парижского конгресса мне не давали французской визы, это было неизменным, хотя правительства во Франции менялись каждые полгода. Я увидел Париж после пятилетней разлуки. Поехал я с Любой, и Кот уговорил нас поселиться в отдельной квартире, служившей ему рабочим кабинетом. Жил он в старой части Парижа — на острове Сен-Луи, где любой дом казался историческим памятником.

Конечно, город изменился: площади, набережные, улицы еще гуще были запружены и заставлены машинами; росли огромные пригороды; бары с едким голубоватым светом, или «снек-бары», по-нашему забегаловки, вытеснили старые уютные кафе. Однако Париж трудно изменить, слишком много в нем старых домов, цепких привычек, надышанного воздуха.

Рано утром я бродил по узеньким улочкам Сен-Луи; влюбленные, расставаясь, долго, старательно целовались; на ручных тележках лежали букетики ландышей; старики прогуливали собачонок, а вечная чешуя Сены, что ни мгновение, менялась.

Клод Руа повез нас через всю Францию в Валлорис, где жил тогда одинокий Пикассо. Весь день он работал в мастерской, а домик казался нежилым, запущенным. На полу я увидел груду нераспечатанных писем. На площади стояла статуя Пикассо «Человек с бараном». Шел дождь, но мы не могли оторваться от чудесной скульптуры. (Год спустя я увидел в парижской лавчонке открытку: «Пикассо показывает свою скульптуру приезжему художнику» — дождь не помешал профессиональному фотографу.) Там же я увидел заброшенную часовню, на стенах которой Пикассо написал «Войну и мир».

На обратном пути мы остановились в Лионе. Я навестил Эррио. Французы спорили о политике, о войне в Индокитае (одни называли ее «злосчастной», другие «грязной»), о планах восстановления германской армии. Спорили долго, но без былого ожесточения: заводы начинали менять устаревшее оборудование, безработицы не было, в магазинах толпились покупатели, довольство чувствовалось повсюду.

Однажды Пьер Кот сказал мне, что со мной хочет побеседовать депутат-радикал Мендес-Франс: «Это человек с будущим». Люба ушла к друзьям, и мы долго разговаривали. Мендес-Франс оказался молодым — ему тогда было сорок семь лет. Говорили мы о международном положении. Я сразу понял, что для Мендес-Франса я скорее почтовый ящик, нежели собеседник. Он сказал, что, по всей вероятности, скоро станет премьер-министром, говорил о том, что сможет сделать и чего нельзя от него ожидать; нужно во что бы то ни стало покончить с войной в Индокитае; лично он против «европейского оборонительного сообщества», то есть против создания многонациональной армии Западной Европы, однако необходимо считаться с пожеланиями Соединенных Штатов, да и глупо озлоблять канцлера Аденауэра. Мендес-Франс хочет улучшить отношения с Советским Союзом, но, помолчав, он угрюмо добавил: «Пусть русские не предаются чрезмерным иллюзиям — теперь не времена Народного фронта». Помню, вечером я сказал Любе: «Он скептик вдвойне — как Мендес и как Франс».

(Мы встретились с Мендес-Франсом двенадцать лет спустя. Многое успело измениться, и прежде всего отно-

шения Франции к Вашингтону, Бонну, Москве. Но Мендес-Франс остался скептиком. Это умный и волевой человек, только сомнения или осторожность его часто останавливают. Политические противники говорят о нем с уважением. Один крупный голлист сказал мне: «Мендес мог бы стать министром финансов де Голля с большими полномочиями, но он предпочитает оставаться в оппозиции». Без соли не проживешь, но из одной соли никто не изготовит блюда.)

Поражение Франции при Дьенбьенфу помешало французам полюбоваться танцем Улановой — власти в запальчивости запретили спектакли московского балета, — но поражение привело к власти Мендес-Франса. Месяц спустя в парламенте он получил четыреста девятнадцать голосов, против него проголосовали всего сорок семь депутатов. Женевская конференция министров иностранных дел, в которой участвовали Мендес-Франс, Фам Ван Донг, Молотов, Иден, Чжоу Эньлай и Даллес, положила конец войне в Индокитае. Конференция признала единый и независимый Вьетнам, но приняла компромиссное решение — временно разделить его на две зоны, гарантируя общие свободные выборы в 1956 году. (С тех пор прошло не два года, а свыше двенадцати лет. Место Франции в Южном Вьетнаме заняли американцы. Что ни день, в Сайгоне менялись марионеточные правительства. Началась гражданская война. Американцы давно позабыли о решениях Женевского совещания, они заняты не выборами, а бомбежками Северного Вьетнама. Мир потрясен сопротивлением маленькой страны со слабой промышленностью нападению двухсотмиллионной индустриальной державы. А летом 1954 года не только я, но даже скептический Мендес-Франс считал, что в Юго-Восточной Азии воцарится спокойствие.)

Газета «Ле монд» писала: «Было бы бессмысленным обеспечить мирное сосуществование в Юго-Восточной Азии, если холодная война будет продолжаться и обостряться в Европе. Один вопрос сейчас главенствует: будет ли вооружена наново Германия, и если будет, то во имя чьих интересов».

В осень 1954 года было много надежд и много тревоги. Впервые за тридцать лет примолкли пушки, не падали бомбы.

В ноябре в Стокгольме собралась сессия Всемирного Совета Мира. Недавняя победа приподымала четыреста человек, приехавших из разных стран. Мы помнили, как

издевались газеты, когда мы предлагали представителям пяти великих держав сесть за круглый стол, и вот в Женеве именно это и произошло, некоторые сели неохотно, на самый краешек стула, но многолетней войне в Индокитае все же был положен конец.

Однако было достаточно оснований и для тревоги. Гонка ядерного вооружения усилилась. Америка настаивала на перевооружении Германии. Правда, в августе французский парламент значительным большинством отказался ратифицировать «европейское оборонительное сообщество», но вскоре французам поднесли новое блюдо — «парижские соглашения» — Германской Федеративной Республике предоставлялось право сформировать двенадцать дивизий и войти в Западный военный блок. Французы волновались: все понимали, что ограничение вермахта — увертка, что дивизии растут быстрее, чем дети, и все вспоминали оккупантов на двух берегах Сены.

На сессии Всемирного Совета видное место занимал вопрос об европейской безопасности. Бог ты мой, этот вопрос волнует европейцев и теперь! Говорят «безопасность», а думают об опасности. В 1954 году американские и английские политики пытались успокоить всех разговорами о том, что немецкий милитаризм якобы похоронен навсегда. Двенадцать лет спустя их ждал неприятный сюрприз: на выборах в некоторые региональные парламенты Западной Германии (в провинции Гессен — отнюдь не худшей) новая партия национал-демократов, вдоволь воинственная, набрала много голосов, получила десять мест в парламенте. Название никого не обманет: Гитлер окрестил своих приверженцев «национал-социалистами», хотя социалистов они предпочтительно убивали, «национал-демократы», разумеется, никакого отношения к демократии не имеют.

Легко догадаться, как я относился к воскрешению рейхсвера. Я знаю, что многие люди в Западной Германии считают меня человеком с предвзятым мнением, слепо ненавидящим немцев. А мне ненавистен любой национализм, и немецкий, и французский, и русский, и еврейский.

Осенью 1966 года я был на праздновании столетия со дня рождения Ромена Роллана в прекрасном местечке Везеле. Там собрались люди из разных стран, говорили о гуманизме, о широте писателя.

В Везеле вдова писателя, Мария Павловна Кудашева, та самая Майя, с которой я подружился в Коктебеле почти полвека назад, устроила дом «Жан-Кристоф», в котором летом

гостят и беседуют друг с другом разноязычные студенты Европы. Мария Павловна попросила меня поговорить с одним студентом из Западной Германии. Мы встретились на открытой веранде гостиницы. Студент был на вид милым мечтательным немцем, с ним пришла студентка, похожая на классическую Гретхен, она молчала и только восторженно поглядывала на своего товарища. Немец мне объяснил, что изучает русский язык, а девушка английский (говорил он по-русски еще плохо, и мы беседовали по-французски). Я спросил, что его прельстило в русском языке. Он ответил, что хочет пойти работать в министерство иностранных дел, как и студентка. Далее разговор перешел на общие темы: я заговорил о нацизме. Не только я, но и все гости, пришедшие после конца очередного заседания, были потрясены немецким студентом: он не защищал зверства нацистов, но упорно отвечал, что противники Германии вели себя не лучше и что в Нюрнберге победители судили побежденных. Он отстаивал право Германии на ядерное вооружение, говорил, что только отсталые агрикольные страны вроде Швеции могут отказаться от водородных бомб. Он очень плохо знал недавнее прошлое своей страны, и дело было не в генах, не в крови, а просто в том, что ему не сделали антинационалистской прививки, которая могла бы его оградить, как прививка ограждает от эпидемии оспы. Беда не в том, что в Федеральной Республике существуют национал-демократы, а в том, что молодое поколение не защищено от их пропаганды.

Вернусь к осени 1954 года. Я выступил на сессии Всемирного Совета с речью: в те годы мы еще тратили много сил, убеждая убежденных. Передо мной были и старые друзья, и люди, которых я видел впервые: Пабло Неруда, английский физик Бурол, Донини, д'Арбузье, французские депутаты-прогрессисты Менье и де Шамбрен, чилиец Альенде, японец Мацумото и многие другие. Речь свою я кончил словами: «Советский гражданин, русский писатель, человек, переживший две мировые войны, видевший пепел Реймса и Новгорода, европеец, любящий Европу, ей преданный, я хочу сказать всем европейцам: сбережем то прекрасное, что нам досталось...»

Мы заседали в Скансене; внизу маячили абстрактные рисунки мачт. Дни были куцыми, в тумане просвечивали круглые масляные фонари. Счастье да и беда человека, что он почти всегда живет разными жизнями. Мы сидели в маленьком кафе возле гостиницы «Мальме» и разговаривали не о германских дивизиях, не о предстоящем съезде

советских писателей, а о той душевной оттепели, которая продолжалась среди ранних заморозков северной зимы. Кругом долговязые шведы скупо улыбались девушкам, проглатывали слоеные булочки, разворачивали тяжелые газеты, а за окном мелькали легкие снежинки. Я думал: сколько неожиданного в жизни! Моя старая ветла от осенних бурь неизменно расщепляется, и вот некоторые ветви, упав на землю, весной укореняются, дают побеги.

Мое выступление, видимо, понравилось; его поместили в «Правде», а несколько недель спустя мне позвонили и попросили участвовать в собрании, посвященном десятилетию франко-советского договора. Открыв дверь служебного входа в Колонный зал, я смутился: почему столько милиционеров? Меня попросили предъявить документ. Поднявшись наверх, я увидел в комнате, которая обычно служит буфетом, правительство, членов Президиума ЦК. Что за диковина?

На эстраду пригласили посла Франции Жокса: он явно был смущен происходящим. Когда я говорил об Эдуарде Эррио, Жокс аплодировал вместе со всем залом, но не мог же он аплодировать моим размышлениям о том, что нельзя одновременно договариваться с пастухом и с волком.

Зал прерывал речи аплодисментами и когда я говорил о моей любви к Франции, и когда Молотов сказал, что договор с Францией поставлен под угрозу парижскими соглашениями.

Предупреждение Москвы не подействовало. Четвертая республика не могла похвастаться постоянством: 23 декабря Национальное собрание отклонило первый пункт парижских соглашений. Депутатов начали обрабатывать: одним говорили, что, ратифицировав соглашение, будет легче договориться с Москвой, другим — что нельзя рассориться с Америкой и Великобританией. Тридцатого декабря парламент одобрил соглашения скромным большинством в двадцать семь голосов.

Газеты сообщали, что ратификация Францией парижских соглашений вызвала резкий подъем всех ценностей на нью-йоркской бирже: «31 декабря было самым счастливым днем за четверть века. В экстазе биржевики подбрасывали вверх бумаги с заказами на 1955 год».

1955 год начался грозно. Все гадали, что означает совещание НАТО, о котором Спаак сказал: «Военные требовали разрешения готовиться к атомной войне. Это разрешение им дано». В январе собрали Бюро Всемирного Совета Мира. В порядке дня стояли два вопроса: угроза атомной

войны и вооружение Западной Германии. Жолио-Кюри был встревожен, говорил, что американцы обезумели: «Термоядерное оружие угрожает жизни на нашей планете». Фадеев его умолял «смягчить прогноз». Жолио сердился. Обсуждали парижские соглашения. Я выступил все о том же — о судьбе нашей беспокойной Европы: «Не развяжет ли снова Германия мировую войну, третью и последнюю?» Фадеев сказал мне: «О «последней» не говорите. На это есть резоны...» Мы еще раз попробовали открыть кампанию по сбору подписей: не могли забыть успех Стокгольма. (Подписей собрали много, кажется, даже больше, чем под Стокгольмским обращением, но изменилось время и впечатление было не то, что в 1950-м.)

В Москве собрался Верховный Совет. Маленков подал в отставку, его место занял Булганин.

Что будет через год, через месяц? Зима и весна были полными противоречий. Раскрывая утром газету, люди не знали, что в ней найдут: может быть, соглашение, а может быть, ультиматум. Да и природа дурила. Над оливами Италии бушевали снежные бури. Штормы топили корабли — то в Средиземном море, то возле берегов Японии. Многие французские города пострадали от наводнений. Весна была поздней, и в Америке плодовые сады обожгли заморозки.

Старое путалось с новым. Первого мая 1955 года в Праге на берегу Влтавы торжественно открыли памятник Сталину. Поэт Лацо Новомеский еще сидел в тюрьме. Его выпустили год спустя, и он написал стихи: Сталин смотрит с другого берега Влтавы «на дни весны, что наконец настали». Ко мне пришел военный прокурор, который собирал материал для реабилитации Мейерхольда. Он сказал, что Всеволода Эмильевича судил военный трибунал; ему предъявили три пункта обвинения: он был агентом Интеллидженс сервис, работал в японской разведке, поддерживал дружеские отношения с писателями Андре Мальро, Эренбургом, Пастернаком и Олешей. Прокурор был несведущ в писательских делах и спросил, живы ли Пастернак и Олеша. Я дал ему номера телефонов.

В мае мы отпраздновали пятидесятилетие Леонида Мартынова: его стихи почти десять лет не печатали. Помню четверостишие, прочитанное на вечере: «И вскользь мне бросила змея: у каждого судьба своя! Но я-то знал, что так нельзя — жить, извиваясь и скользя».

Май, что ни день, подносил сюрпризы. В десятую годовщину Победы над Германией в зал Шайо, где заседал

совет НАТО, вошел канцлер Аденауэр, и тотчас над зданием взвился флаг Германской Федеративной Республики. Советское правительство объявило договоры о взаимной помощи с Францией и Англией утратившими силу. В Варшаве собрались представители восьми социалистических государств и 14 мая подписали договор о совместной обороне. 15 мая в Вене был подписан договор о независимости и нейтралитете Австрии. Канцлер Рааб дал обед, на котором присутствовали Молотов, Макмиллан, Даллес и Пинэ.

Я был тогда в Вене — собралось Бюро Всемирного Совета. Работали мы в роскошном дворце, превращенном в ресторан. В зимнем саду корчились лиловые и оранжевые орхидеи, а в салонах пылились кресла середины прошлого века. Мы поздравляли австрийцев. Все верили в успех предстоящей Ассамблеи мира. Май не походил на январь.

Венцы повели меня по садикам и подвалам, где было шумно, весело, люди пили легкое, но коварное вино, пели песни. Оккупанты начинали собираться домой, и венцы, поглядывая на роскошные гостиницы, еще занятые военными, улыбались: «Ничего, почистим...»

В конце мая в Югославию направилась советская правительственная делегация. Высказав глубокое сожаление о недавнем прошлом, Хрущев приписал долю вины Берии: вероятно, он забыл, что среди других, и правильных, обвинений два года назад Берию обвинили в попытке сблизиться с Тито.

Наши войска оставили Порт-Артур, передав его Китаю. «Правда» печатала китайские статьи, разоблачавшие «преступную клику» писателя Ху Фэна. Писательница Дин Лин утверждала, что Ху Фэн был опасным и коварным врагом. (Несколько лет спустя разоблачили Дин Лин; против нее выступал Го Можо; а семь лет спустя Го Можо, разоблачив себя, начал кататься в пыли и грызть землю.)

В том году я много ездил — то в Вену, то в Стокгольм, то в Хельсинки, то в Париж, то в Женеву. Как-то в Париже д'Астье сказал мне, что премьер-министр Эдгар Фор приглашает нас пообедать. Фор и его жена оказались веселыми, живыми собеседниками. Год спустя, приехав в Москву, они у меня ужинали, и мы считали себя старыми знакомыми. В Москве неожиданно в квартиру ворвались фотографы, сняли нас за столом, Фор смеялся: «Ваши репортеры могут потягаться с парижскими...» А обед в Париже я вспомнил по листку настольного календаря Фора. Я вдруг

увидел: 11 часов — посол США, 1 час — Эренбург, 5 часов — Аденауэр. Я не выдержал и рассмеялся: Эренбург между американским послом и канцлером! Когда-то в гимназии, увидев товарища между двумя гимназистками, мы пели: «Барбос между двух роз».

Седьмого июня в Москву приехал Джавахарлал Неру. Он понравился москвичам — высокий, красивый, задумчивый, много лет просидел в английских тюрьмах. Я видел, как люди кидали под его машину букетики цветов, купленных на рынке. Менон устроил прием в саду посольства. Неру обворожил и меня.

Мы стояли у входа в сад, когда я увидел маршала Г. К. Жукова; он тогда был министром обороны. Я поздоровался с ним, и тут подошел посол Франции Жокс. Я оказался самодеятельным переводчиком. Жуков говорил о своих встречах с французским генералом де Латтр де Тассиньи, посмертно произведенным в маршалы. Разговор был светским, и я забыл бы про него, если бы Г. К. Жуков, когда посол откланялся, не сказал, повернувшись к Любе: «Главное — умереть вовремя...»

23 июня в Хельсинки собралась Всемирная ассамблея. Трудно сказать, почему мы придумали такое название. Для русского уха оно звучит забавно — невольно припоминаются увеселительные ассамблеи Петра Первого, но мы не думали в Хельсинки развлекаться, хотели облегчить участь людей, далеких от движения сторонников мира. Каждый раз большие усилия давали скромные результаты. За нами прочно сохранялась репутация прокоммунистического движения. Сторонники мира сделали все, чтобы привлечь другие миролюбивые силы. Результаты были скромными: за нашим движением твердо укрепилась репутация коммунистического. Все же Эррио согласился числиться почетным председателем Ассамблеи, прислал своего представителя и приветствие — жалел, что болезнь не позволяет ему присутствовать на Ассамблее. Приехали французские депутаты Капитан, Валлон, Дюбю-Бридель, итальянский христиодемократ Джаппули, бразилец Жозуе де Кастро, представители индийской партии Национальный конгресс.

Открыл Ассамблею Жолио-Кюри умной и сдержанной речью. Комиссия порой работала до утра — белые ночи позволяли забыть про время. Тон выступлений был миролюбивым, все старались понять друг друга. Лю Нини дружески беседовал с американским священником, Сартр любезничал с финскими аграриями, французы устроили встречу с алжирской делегацией.

Кажется, Ассамблея была последним Всемирным конгрессом, на котором наша маленькая Европа оказалась в центре внимания: все помнили, где начались две мировые войны. Я вспоминаю, что в моей речи больше всего аплодировали простым словам: «Мне хочется спросить делегатов европейских стран, неужели мы не можем договориться между собой, как договорились делегаты азиатских стран в Бандунге?» (События опровергли мою ссылку на Бандунг, но вопрос об общности Европы воскрес десять лет спустя.)

После моего выступления Пьер Кот, обычно скупой на похвалы, сказал: «Это ваша лучшая речь, так вы не говорили да и больше не скажете...» Похвала скорее относилась ко времени, чем к моему красноречию: мы все искали язык мира. Когда один американец сказал, что «мирное сосуществование» — коммунистический термин, все охотно согласились заменить эти слова другими.

После того как Ассамблея проголосовала обращения и рекомендации, в университете состоялось заседание Всемирного Совета Мира. Выбрали президента Жолио-Кюри, выбрали и десять вице-президентов. Вдруг вместо имени Фадеева я услышал свое. Я растерялся, а потом огорчился. Фадеева уже оттеснили от руководства Союзом писателей. Теперь он не вице-президент, а член бюро. Полгода спустя его перевели из членов ЦК в кандидаты. Вечером Фадеев меня поздравил. Я начал оправдываться: «Александр Александрович, для меня это было неожиданностью!» Он засмеялся: «Для меня тоже, но я вам тоже ничего не сказал бы — в общем, это не ваше дело».

Три недели спустя в Женеве собралось совещание руководителей четырех великих держав, участвовали в нем Эйзенхауэр, Даллес, Булганин, Хрущев, Молотов, Иден, Макмиллан, Эдгар Фор, Пинэ. Совещание продолжалось пять дней, ни по одному из поставленных вопросов не было достигнуто соглашение. Надежды народов были так велики, что нельзя было просто разъехаться по домам, и главы правительств объявили, что поручают министрам иностранных дел тщательно обсудить вопросы разоружения, европейской безопасности, контактов между Востоком и Западом. Каждый день кто-либо приглашал других на обед или на ужин; все говорили мирно, избегая неосторожного слова. Так родился «дух Женевы». Он был хорошим духом, но духу нужно тело, и вежливость не могла заменить соглашение хотя бы по одному второстепенному вопросу.

Министры иностранных дел собрались, они тоже угощали друг друга, тоже говорили учтиво, но уже полемизируя друг с другом. Заседали они три недели и ни о чем не договорились. Перепоручить дело было некому. «Дух Женевы» стал испаряться. Год спустя события в Венгрии все перечеркнули.

Но в августе 1955 года «дух» казался почти ощутимым. Созвали сессию Верховного Совета, посвященную Женевскому совещанию. Я — член нашего парламента вот уже шестнадцать лет, но только один раз меня попросили выступить — о Женевском совещании. Конечно, тогда я видел будущее в розовом свете, но полемизировал я не с представителями Запада, а с неисправимыми пессимистами: «Мы тоже знаем пословицу об одной ласточке, которая не делает весны. Я не считаю ее чрезмерно мудрой. Конечно, одна ласточка не делает весны, но ведь ласточки прилетают весной, а не осенью, и если показалась одна ласточка, то за ней должны последовать и другие. Ласточки вообще не делают весны, весна делает ласточек». Я припомнил движение сторонников мира, Жолио-Кюри, недавнюю Всемирную ассамблею. Дальше я говорил: «Не пора ли повсеместно покончить с привычками вводить в заблуждение, выдавать карикатуру за портрет, подменять наблюдения догадками, а эти догадки излагать как обвинения? Мне кажется, что журналисты и писатели всего мира должны стоять у еще не погасшего огня холодной войны скорее с бочками воды, нежели с бочками керосина».

С тех пор прошло больше десяти лет, и ни один из поставленных в Женеве вопросов еще не разрешен. Мы пережили немало опасных кризисов. Однако «дух Женевы» не был призраком, что-то в мире изменилось, ослабевало взаимное недоверие, исчезал страх, и как бы ни были резки дипломатические ноты или газетные статьи, люди перестали гадать, не упадет ли на них завтра или послезавтра водородная бомба. Да если я и ошибаюсь, то так ошибаться горько, но не стыдно — бочки керосина я больше не коснулся.

Я рассказываю о 1955 годе путано, переходя от одного к другому, то о бузине, то о дядьке в Киеве, ничего не поделаешь: таков был год. Он был кануном и напоминал клубок шерсти, который очень трудно распутать.

В сентябре я оказался на «Женевской встрече»; ничего общего с Совещанием глав правительств или министров она не имела. «Женевские встречи» — культурная организация, раз в год собираются специалисты, или, как гово-

рят у нас, деятели культуры различных стран, и обсуждают какую-либо проблему. В 1955 году предстояла юбилейная, десятая встреча, и впервые устроители пригласили советского человека — как-никак, «дух Женевы». Я должен был прочитать доклад в большом зале и участвовать в обсуждении как моего, так и других докладов в кругу постоянных участников «Женевских встреч» перед сотней пожилых дам, свободных в рабочее время.

Тема была такая: угрожают ли культуре различные изобретения: кино, телевидение, радио, иллюстрированные еженедельники? Одним из докладчиков был Жорж Дюамель, который начиная с тридцатых годов говорил об угрозе кино и радио для подлинной культуры и даже полушутя, полусерьезно предлагал устроить пятилетку, свободную от дальнейших технических изобретений.

Мне предоставляли возможность сказать людям Запада о наших трудностях, успехах, надежде. Разумеется, я отвел нелепое утверждение, что технические изобретения могут как таковые принести оскудение духовной жизни человека: есть хорошие и дурные фильмы, обогащающее или принижающее людей телевидение. Я говорил о том, что не раз в истории человечества культура гибла, потому что была достоянием немногих. Акрополь или трагедии Еврипида были понятны узкому кругу афинян, и призыв отстоять Афины от римских варваров не нашел ответа у рабов. Когда произошла Октябрьская революция, две трети населения России не знали азбуки. Расширение базы культуры вначале шло за счет ее глубины. Люди читали первый или десятый роман в жизни и многого не понимали. Появился противный термин «доходчивость». Начали изготовляться романы, рассчитанные на сегодняшнего читателя, они неизменно устаревали: читатели духовно росли. Последующие события, прежде всего войны, настолько изменили духовный облик людей, что зачастую читатели с пренебрежением захлопывают книгу.

Я указывал также, что демократизация культуры происходит и на Западе: книги дешевеют, еженедельники дают репродукции хороших живописцев, радио передает не только танцевальную, но и симфоническую музыку. (Этот процесс неизмеримо возрос за десяток последующих лет. Дешевые издания не только классиков, но и современных авторов позволяют рабочим читать книги. Сначала в Италии, потом во Франции стали появляться монографии художников с хорошими репродукциями, чрезвычайно дешевые; тираж их очень высок.)

Доклад был напечатан во французском сборнике и в «Литературной газете». Я теперь перечел его и увидел, что разделяю былую мою позицию.

Обсуждение докладов было куда менее интересным, чем я думал. Каждый день я встречал женевскую социалистку — учительницу. Она нас не любила, и часто ее вопросы мне напоминали прокурора на процессе: говорила она не о росте культуры, а о тех злодеяниях, которые творились у нас в еще недавнем прошлом.

Месяц спустя я очутился в мэрии Лиона; там состоялось совещание о европейской безопасности. Эррио был болен: когда он пришел к нам, его поддерживал его помощник — не мог ходить. На совещании были лорд Фардингтон, Кот, Ломбарди, д'Астье, Оскар Ланге, английский лейборист Пламмерн, Лю Нини и другие.

Мы говорили, разумеется, все о том же — о «духе Женевы». Возвращался я в Париж поездом в одном купе с лордом Фардингтоном. Лорд-лейборист был приятным собеседником, и путь прошел быстро. Подъезжая к Парижу, мы поспорили по вопросу, не имевшему отношения ни к европейской безопасности, ни к нашей предшествовавшей беседе, а именно — какие уши у скотчтерьеров. Лорд утверждал, что уши у них длинные и падающие, а я говорил — короткие и стоячие. Мы держали пари, и по условиям выигравший мог потребовать от проигравшего все, что ему вздумается. В Париже я тотчас нашел собачью энциклопедию на английском языке, сообщил лорду Фардингтону о том, что он проиграл и просил его в той форме, которую он найдет лучшей, рассказать англичанам, что советский писатель знает лучше, как выглядят шотландские терьеры, чем британский лорд. Фардингтон мне любезно ответил, что действительно он проиграл пари, но об этом он рассказал не своим соотечественникам, а только мне.

4

Эта глава будет самой короткой в длиннющей книге. Я хочу рассказать о небольшом дорожном злоключении, и, прочитав главу, читатели поймут почему.

В октябре 1955 года мы отправились с Н. С. Тихоновым в Вену на заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Погода казалась нелетной, но самолет благополучно перелетел Карпаты и приземлился, как полагалось, в Будапеште. Нам сказали, что Вена не принимает, нужно подождать

час-другой. Мы разговаривали о том о сем: о поэзии Мартынова, о пакистанских обычаях, о здоровье Жолио-Кюри. Прошло четыре часа. Нам объяснили, что Вена не принимает вполне обоснованно — там сильный туман. Мы бродили по длинному аэродрому, из одного зала неслись соблазнительные запахи — там помещался ресторан, но денег у нас не было, суточные нам должны были выдать в Вене. Нас начал мучить голод, который, как известно, не тетка. Николай Семенович вел себя как старый стоик, а я в итоге не выдержал и позвонил в Венгерский Комитет защиты мира.

Не прошло и часа, как появились незнакомые мне люди, почему-то они извинились: в Вене туман не по их вине. Нас провели в небольшой зал, где стоял стол, изобилующий яствами. Встретил нас Ракоши. Он дружески с нами разговаривал о движении за мир, о Женевском совещании, о жизни в Москве. Я уплетал чудесный гуляш. В конце обеда Ракоши попросил нас провести вечер с венгерскими писателями. Разумеется, мы согласились.

В Союзе писателей было людно. Нам принесли кофе, на столе стояли бутылки с душистым балатонским вином. Однако я сразу почувствовал некоторую напряженность. Первым выступил Н. С. Тихонов. Он подробно рассказал о декаде латышской литературы в Москве. Я видел, что венгры чем-то озабочены. Не успел Николай Семенович кончить, как все повернулись ко мне, просили что-нибудь рассказать. Я решил выбрать спокойную тему: писатель, когда он пишет для газеты, должен видеть перед собой не редактора, а читателя, найти слова, которые дойдут до него, должен отстаивать право говорить своим языком и не давать редактору вычеркивать красным или синим карандашом любое незатасканное слово.

Когда я кончил, один из венгерских писателей спросил меня, можно ли купить в Москве мою «Оттепель». Я ответил, что повесть была напечатана в журнале «Знамя», а потом вышла отдельным изданием; тираж был небольшой — сорок пять тысяч, книгу быстро распродали, и теперь ее можно найти только в букинистических магазинах. Тогда другой писатель спросил меня: «А почему в Венгрии ваша «Оттепель» издана в количестве ста экземпляров для партийного руководства?» На этот вопрос я, конечно, не мог ответить и попросил Николая Семеновича рассказать еще что-нибудь.

Я разглядывал писателей, некоторых я встречал прежде — одних в Москве, других два года назад в Будапеште.

Вот Дьердь Лукач, Петер Вереш, Бела Иллеш, Юлиус Гай... Все были возбуждены, начали говорить друг с другом по-венгерски; только Лукач спокойно курил сигару.

Я так и не понял, что приключилось с венгерскими писателями; ясно было одно: они недовольны. Когда мы вернулись в гостиницу на островке, я спросил Тихонова, почему Ракоши нас отправил к писателям, Николай Семенович ответил: «А бог его знает. Атмосфера действительно странная...»

В номере было жарко — почему-то уже топили. Я открыл окно — тепло, сыро. Накрапывал мелкий дождик. Яркий фонарь вырывал из ночи последнее золото деревьев.

Завтра придется выступать в Вене, говорить о «духе Женевы», о европейской безопасности. Хорошо, но что здесь происходит? Писатели озлоблены. Почему Ракоши нас не предупредил?..

Я понял все, но не в ту ночь — год спустя.

5

14 января 1956 года мы с Любой вылетели из Москвы в Индию. Тогда не было прямого сообщения через Гималаи, и мы летели долго — Париж — Рим — Каир — Карачи — Дели. Вернувшись в Москву, я написал очерк «Индийские впечатления» и не буду повторять сказанное в нем. Мне хочется сказать о том, что мне дала Индия. Наступивший год был чрезвычайно бурным и для нашей страны, и для людей, с которыми я встречался, да и для меня самого. Однажды я шел по дороге в Альпах, вдруг спустилось облако. Остановились машины, пешеходы; полчаса мы пробыли в другом мире. Сравнение, конечно, неправильное: Индия была миром живым и цветистым. Я нашел в ней не только изумительное древнее искусство, но и бури нашего века, политические демонстрации, беженцев из Пакистана, писателей и художников, которых мучили многие проблемы, томившие их европейских собратьев. Индия отнюдь не была изолированным миром, но я, потрясенный этой страной и ее людьми, оказался оторванным на месяц от бесед и мыслей, поглощавших меня накануне отъезда. Индия меня многому научила. Добрая госпожа Рамешвари Неру, которую я встречал в Стокгольме и Хельсинки, от кого-то узнала, что двадцать седьмого января — мой день рождения, и на очередном приеме подвела меня к огромному торту, на

котором горели шестьдесят пять свечей — я должен был их задуть. Люди в таком возрасте редко чувствуют себя учениками, но в Индии я многое понял и многому научился.

Мы говорили и продолжаем говорить о мирном сосуществовании. Обычно под этими словами понимают мирное сосуществование государств с различным социальным строем, с различной идеологической направленностью. Меня удивило в Индии сосуществование не только в одном городе, но и в одном человеке различных, порой противоречивых мыслей и чувств.

Разумеется, такие внутренние контрасты можно наблюдать и в любой европейской стране, но там для меня они были привычными в тусклости привычного быта, а в Индии они бросались в глаза, так же как европейца удивляют попугаи или обезьянки на улицах Дели — он привык к голубям или воробьям.

Перед поездкой в Индию и потом я прочитал много книг, написанных о ней французами, англичанами, русскими. Все говорили о контрастах, но применяли к ним свой привычный метод — картезианство или диалектику, английское право или теософию; вместо ключа были неудачные отмычки.

Начну с самого затасканного. На улицах индийских городов, особенно в Калькутте, меня поражали очень тощие коровы, которые блуждали в поисках пропитания, заставляя покорно останавливаться автомобили, экипажи, велосипедистов. Их было очень много, они разыскивали рынки, лавки, где продавали овощи и фрукты, жадно подбирали сгнившие плоды дынного дерева, кожуру бананов, листья. Их нельзя было обидеть, но можно было их не кормить. Святость распространялась на быков и телят. Говядину не ели индусы, свинину мусульмане, люди побогаче ели баранов и кур, а большинство были вегетарианцами, одни по убеждениям, другие по привычке, третьи по нужде. На юге я видел бедного крестьянина, который уводил тощую корову подальше от своего дома: у нее не было больше молока, она не могла работать, и бедняк волок ее, чтобы она ела рис или просо на земле другого бедняка. Автомобилист, который задавил бы человека, мог спастись, но горе тому, который задавил бы или ушиб корову. В начале ноября 1966 года в Дели бушевали демонстрации: индусы требовали не штатного (областного), а общегосударственного законодательства, запрещающего убой коров; при этом были убиты несколько человек.

Судя по статистическим данным, в Индии с ее населением около пятисот миллионов душ существуют двести пятьдесят миллионов тощих, порой бездомных, но священных коров.

(Много лет спустя я написал стихотворение «Коровы в Калькутте», кончив его так:

Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Но никогда я не был священной коровой,
И на том спасибо.)

Трудно объяснить судьбу священных коров религиозным фанатизмом. Индуизм не воинствующая религия, да и место веры порой занимают привычки, суеверия, присущие всем людям. Конечно, в Индии много странностей. Я помню большую площадь в Калькутте, залитую кровью барашков — приносили жертву одному из многочисленных индуистских богов. По площади проходили люди с марлевой повязкой на рту: они боялись нечаянно совершить тягчайший грех — проглотить мушку.

В Бомбее живут парсы-огнепоклонники: огонь, земля и вода для них священны, и умерших они кладут на высокую Башню Молчания, чтобы их расклевали хищные птицы. Над городом летают грифы и другие стервятники. Иногда птицы теряют кусок человеческой руки или живота.

Сикхам не разрешено стричься и бриться. Есть ученые, депутаты, писатели, которые носят тюрбаны, чтобы скрыть чересчур длинную шевелюру, бороды подтягивают резиночкой.

Я встречал ученых, которые изредка ходили помолиться богине Знания. Шофер покойного доктора Балиги, выдающегося хирурга, не был верующим, но когда мы ехали по ужасающей дороге из Аурангабада в Бомбей, он вдруг остановился у одного их храмов и, подозвав брахмана, сунул ему в руку четверть рупии. Повернувшись к нам, он виновато сказал: «Туман, ничего не вижу...» Ганг — священная река, в ней купаются, чтобы смыть грехи, кувшины с водой уносят или увозят в далекие деревни. Однако со священной рекой обращаются не более милосердно, чем со священными коровами, — огромные фабрики джута загрязняют ее воды.

Индуизм отнюдь не культ одного бога: богов и богинь множество. А сонм обожествленных увеличивается. Когда я был гимназистом, мне попалась в руки книга «Из

пещер и дебрей Индустана». Там рассказывается о диковинных людях Индии. Автором была Блаватская. В мадрасском храме теософов много богов, рядом с Брахмой Будда, Иисус Христос, и тут же статуя пожилой женщины с русским лицом, под ней подпись: «Елена Петровна Блаватская».

А в общем, ничего нет тут удивительного. В католических церквах Франции висят крохотные модели рук и ног — благодарности за исцеление. Газеты ежедневно печатают гороскопы, каждый может прочитать, как ему надлежит вести себя завтра, если он родился под знаком Водолея или под знаком Рыб. Во многих гостиницах вслед за комнатой номер 12 следует 14 — цифра 13 пугает. Да и к лику святых не устают причислять различных особ. Несколько лет назад в соборе Брюгге я увидел объявление, призывающее совершить паломничество в португальский городок Фатима, где проживала простая девушка, которая после посещения ее Богородицей предсказала нашествие коммунистов. Словом, обрядов, застрявших привычек и суеверий много и в Европе, но я к ним привык с детства. Незнакомые нравы помогают приезжему понять то, что чересчур ему знакомо.

Расскажу про вечер, который я провел в доме Неру. Премьер-министр пригласил нас к ужину. За столом сидели Неру, его дочь Индира, леди Маунтбатензе, гостившая в доме премьера, Кришна Менон, подвергшийся незадолго до этого операции и тоже живший у Неру, индийская переводчица, Люба и я. После ужина Неру предложил мне выпить чай за маленьким столиком, и там мы добрый час толковали о мире и о движении за мир.

Что меня удивило? Необычная простота человека, которого почти все индийцы обожали, его человечность. Всю свою жизнь он отдал освобождению Индии, он встречался и беседовал с различными людьми, с учеными (о своей беседе с Неру рассказывал мне Эйнштейн), писателями, не только с Роменом Ролланом, но с молодым немецким поэтом Толлером, с Андре Мальро — они говорили о буддийском искусстве. Неру запросто позвал меня к себе. Это была та простота, которая диктуется внутренней сложностью. Он нашел общий язык с Эйнштейном, а когда он вмешивался в толпу, беседовал с индийскими крестьянами, говорил так же естественно, как с профессорами Кембриджа.

В завещании, написанном за десять лет до смерти, Джавахарлал Неру просил, чтобы его тело сожгли и пепел

развеяли в Аллахабаде, где течет Ганг; он оговаривал, что это не связано с обрядом, так как он чужд религиозным чувствам. Да, есть в Индии нечто отличное от Европы или Америки — например, поэтическая настроенность.

На аэродроме в Дели мне повесили на шею длинные гирлянды цветов; приехав в гостиницу, я поспешил положить их в воду. Потом я привык к тяжести и к запаху туберозы, роз, гвоздик, других неизвестных мне цветов тропиков, иногда на собраниях на меня навешивали десяток гирлянд. Час спустя я их бросал, как это делали индийцы: цветов в Индии много. Мало риса и хлеба. Страна большая, разнообразная: и Гималаи, и джунгли, и плодородные степи, и сухие выжженные пустыни. Обрабатывают землю как в древнейшие времена — волы тащат соху, удобрений нет, несмотря на множество коров; крестьяне делают из навоза лепешки, ими освещают свои лачуги.

На улицах Калькутты часто человек лежит, и непонятно, спит ли он, болен или умер, лежат прокаженные, женщины унимают голодных детей. А прохожие не удивляются — присмотрелись к нищете, к эпидемиям. В Мадрасе нас повели в землянки, где живут портовые рабочие. Это звериные норы, и к этому тоже привыкли. Люди, с которыми я подружился в Индии, мне говорили, что индийцы — фаталисты, каждый понимает, что умрет, когда придет его срок. Если можно привыкнуть к ожиданию своей смерти, то к чужому горю привыкнуть нельзя, оно как облако слезоточивого газа обступает пестрые бугенвиллеи, красавиц в шелковых или ситцевых сари, древние храмы и современную живопись. Нет, никогда человек не скажет всего, что у него на сердце, не только чужестранцу, но и близкому другу, наверное, не скажет даже самому себе — ведь фаталистам и нефаталистам нужно жить, пока за ними не пришла смерть, а жить, договорив все, невозможно.

Нас отвезли в Дели в гостиницу для именитых иностранцев, во дворец раджи начала века. Все там казалось шатким, действительно, как-то ночью матрац моей кровати провалился, и я очутился на полу. Я долго бродил по внутреннему двору, по коридорам, но никого не нашел, поджал ноги и устроился на коротком диване. Утром пришел слуга, увидел матрац на полу, добродушно рассмеялся. Каждое утро один из слуг срезал две пышные розы и подносил их Любе и мне.

Напротив гостиницы был большой сквер, там сидели на корточках люди. Я подошел поближе, оказалось, что они ногтями подстригают газон. Потом я увидел много

других чудес. В Индии были современные заводы, они изготовляли не только паровозы, но и самолеты. Рамешвари Неру показала нам мастерские, устроенные для беженцев из Пакистана; там, например, изготовляли руками ведра, котелки, чайники. Конечно, проще да и лучше изготовлять утварь на фабрике, стричь газоны машинкой, но тогда миллионы и миллионы людей будут лежать на улице, ожидая, когда за ними придет смерть. Ручной труд чрезвычайно дешев, дивный платок стоит меньше, чем пакет бритвенных ножиков.

Я считал раньше, что привязанность индийцев к домотканой одежде объясняется традициями, а она связана с экономикой. Ганди думал не столько об упрощении нравов среди зажиточных слоев общества, сколько о голодной смерти, которая ждет миллионы и миллионы, если люди станут одеваться по-европейски. Я пробыл день в гостях у крупного экономиста Махаланобиса, создателя Института статистики возле Калькутты. Он был другом Рабиндраната Тагора. Там я узнал, что многие противоречия современной Индии продиктованы экономическим состоянием страны.

Конечно, не все противоречия объясняются экономикой. На празднике Дня независимости в Дели был военный парад: пехота, зенитки, авиация, а потом показались слоны, они вели себя отменно, даже кланялись президенту Республики.

Старое органически сплетается с новым, может быть, потому, что английские колонизаторы на века заморозили жизнь огромного народа, может быть, и потому, что огромные заводы, иллюстрированные еженедельники, радиопередачи, кинотеатры не мешают индийцам любить расфуфыренных слонов, религиозные праздники и танцовщиц, которые знают древнейший язык танца.

В музее бывшей французской колонии Пондишерри собраны статуи богов и богинь, а среди них бюсты Марианны — Первой и Третьей Французской Республики, древние манускрипты и фотографии Жореса, Ромена Роллана. В Мадрасе собрались писатели, которые пишут на языке телугу. Председатель что-то говорил, слегка напевая; мне объяснили, что он прочитал молитву. После этого мне поднесли перевод «Оттепели» и начали спрашивать, почему меня критиковали на Втором съезде советских писателей. Я встретился в Мадрасе и с писателями, которые пишут на тамильском языке, в Калькутте с бенгальскими писателями, а в Дели с писателями языков хинди и урду. Когда

переводили вопросы, мне казалось, что я в Риге или в Ереване. В Калькутте меня повели к художнику Джемини Рой. Он походил на старого монаха. Я видел его вещи, равно связанные с новой французской живописью и с народным искусством Индии. В музее Дели поражает комната, где висят холсты Амриты Шерл Гил. Она была дочерью сикха и венгерки, училась в Париже, вернулась на родину, вдохновилась фресками Аджанты, умерла молодой (в двадцать восемь лет) и положила начало современной живописи Индии. Я подружился с молодыми художниками. Рам Кумар в Париже был учеником Леже, участвовал в Движении сторонников мира, и, однако, в его работах было нечто традиционное. Когда мы с ним поехали в Матхуру, я видел, как ему близка скульптура эпохи Гуптов. Хеббар работает в Бомбее, мы с ним ездили в Аджанту и Эллору. Его холсты вполне современны, и, наверное, некоторые из наших критиков его обвинили бы в «модернизме», но такой «модернизм» идет прямо от V — VI веков.

Не знаю почему, немецкие расисты ссылались на Индию, называли себя арийцами, даже перенесли на свои флаги один из древнейших знаков индуизма — свастику. В действительности Индия — смесь различных народов, рас, языков — есть и жители юга, похожие на негров, и скуластые узкоглазые северяне, и смуглые красавицы Декана с горбатым носом и сжатыми губами.

В Индии я лишний раз убедился, что никакие законы, никакие пункты конституции не могут чудодейственно изменить сознание сотен миллионов. Индийская республика отменила бесправие парий, или, как говорили, касты «неприкасаемых», но в селах, где жизнь двигается куда медленнее, чем в городах, устанавливали особые урны для «неприкасаемых» — иначе остальные не голосовали бы, да и в Мадрасе были особые храмы для парий. Я видел в университетах студенток, но еще повсюду положение женщин было далеко от провозглашенного равноправия; в деревнях вдовцы женились, а вдове брили голову, и никто не вздумал бы на ней жениться. Законы могут мчаться вперед, как самолеты, не приземляясь, а повседневная жизнь плетется по ухабам дороги со скоростью вола. (Об этом я много думал в 1957 году, в 1963-м, думаю об этом и теперь.)

Подавляющее большинство индийцев неграмотны, хотя повсюду я видел новые школы, видел я и как учили детей на воздухе. Здесь мне снова пришлось задуматься над прилагательным «культурный», которым у нас любят пользо-

ваться в любом удобном и неудобном случае. Толпа в Индии очень «культурна». В день праздника на огромной площади в Дели негде было яблоку упасть, но никто не толкался, сидели на земле, поджав под себя ноги, и старались занять поменьше места. В тот же день был прием у президента, европейские и американские дипломаты показались мне варварами. Образование или материальная культура — количество автомобилей, состояние дорог или полиграфии — еще не определяют духовного уровня народа; достаточно вспомнить третий рейх или «белых» в штатах Алабама, Миссисипи, Техасе. У неграмотных крестьян юга, у ремесленников Насика, у бедняков Калькутты были и такт, и душевная сосредоточенность.

В последний вечер (самолет отлетал около полуночи) я пригласил моих бомбейских друзей поужинать в ресторане. Пришли председатель Общества дружбы Индия — Советский Союз профессор Балига, его жена, сотрудники общества, писатель Мулк Радж Ананд, художник Хеббар, другие друзья. В середине февраля в Бомбее уже было очень жарко, и я выбрал ресторан с кондиционированным воздухом. Я вспомнил, как Балига встречал нас в Карачи, и сказал ему: «Вы для меня много сделали — я стал умнее...»

В самолете я вскоре задремал — последний день в Индии был утомительным — и, проснувшись, увидел высоко солнце. Мы летели над Грецией, а внизу был снег, много настоящего снега. Зима в тот год была лютой; снегом были занесены сады Италии. Мы приземлились в Женеве. Две индийские женщины в легких сари пробежали к вокзалу. В Париже было шестнадцать ниже нуля. Сена замерзла.

Я купил в киоске вечернюю газету и прочитал: «Вчера утром в Кремле открылся XX съезд Коммунистической партии...»

Отпуск, подаренный мне судьбой, кончился.

6

Когда я вернулся в Москву, все говорили о выступлении Микояна на съезде — он упомянул об одной ошибочной концепции Сталина, смеялся над фальсификацией истории и назвал имена большевиков, убитых в эпоху культа личности, — Антонова-Овсеенко и Косиора. В резолюции съезда говорилось о разоблачении преступной деятельности «врага партии и народа» Берии, о вреде

культа личности, о необходимости коллективного руководства. На следующий день «Правда» коротко сообщила о последнем заседании съезда 25 февраля: решено было подготовить новую программу партии, после чего Н. С. Хрущев объявил повестку дня исчерпанной.

В старой записной книжке я нашел такие строки: «На закрытом заседании 25/II во время доклада Хрущева несколько делегатов упали в обморок, их тихо вынесли». Рассказал мне об этом один из делегатов съезда.

Прочитав доклад Хрущева, я не упал в обморок: со времени смерти Сталина прошло три года, кое-что мы узнали, над многим успели задуматься. Ко мне приходили военные прокуроры, занимавшиеся реабилитацией Бабеля и Мейерхольда, приходили также друзья, вернувшиеся из концлагерей, по вечерам мы долго беседовали о недавнем прошлом. Однако не скрою: читая доклад, я был потрясен, ведь это говорил не реабилитированный в кругу друзей, а первый секретарь ЦК на съезде партии. 25 февраля 1956 года стало для меня, как для всех моих соотечественников, крупной датой.

Я сказал, что был в некоторой степени подготовлен к докладу Хрущева, но я хорошо понимаю, как были поражены многие делегаты съезда, приехавшие из далеких совхозов и колхозов. Еще за две недели до первого заседания они видели в газетах поздравительные телеграммы К. Е. Ворошилову, в которых некоторые зарубежные главы социалистических государств называли Климента Ефремовича «соратником» Сталина.

Начали читать доклад (или письмо ЦК) сперва партийным, потом и беспартийным. Месяц-два спустя десятки миллионов уже знали, как они прожили четверть века. Повсюду говорили о Сталине — в любой квартире, на работе, в столовых, в метро.

Встречаясь, один москвич говорил другому: «Ну, что вы скажете?» Он не ждал ответа: объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании. Дети слушали. Они знали, что Сталин был мудрым, гениальным, что он, и только он, спас Родину от нашествия; на уроках географии они учили, что высочайший пик нашей страны называется пиком Сталина, что такие же пики имеются в Чехословакии и Болгарии, что столица Таджикской Республики — Сталинабад, что в Осетии есть город Сталинири, в Кузбассе — Сталинск, в Подмосковном угольном бассейне Сталиногорск, в Донбассе Сталино, и вдруг они услышали, что Сталин

убивал своих близких друзей, что, не доверяя старым большевикам, он заставлял их признаваться, будто они пообещали Гитлеру Украину, что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали: «Папа, как ты мог ничего не знать?»

Всего три года тому назад москвичи давили друг друга, чтобы добраться до Колонного зала, люди несли на плечах детей, проходя мимо гроба Сталина, женщины голосили. Кажется, история не знала таких похорон. Сталин еще покоился набальзамированный рядом с Лениным, его статуи продолжали красоваться на площади любого города, его портреты по-прежнему висели в кабинетах, в столовых, школах, магазинах. Мальчик по-прежнему отвечал, что высочайшая вершина Советского Союза — это пик Сталина, а девочка повторяла заученные стихи:

Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по вас, товарищ Сталин!

Мифы создавались веками и веками гасли, рассеивались, забывались. Люди постепенно и мучительно начинали понимать, что на небесах нет господа бога или, по меньшей мере, что его наместник в Ватикане незаконно присвоил себе это звание. А ранней весной 1956 года миф о Сталине был сразу разбит. Тот, кого люди называли великим, мудрым, гениальным, чье имя повторял Якир, когда его вели на расстрел, кому французская мать послала единственное, что у нее осталось, — шапочку замученной гестаповцами дочки, этот сверхчеловек оказался честолюбивым, подозрительным и жестоким. Иностранцы удивлялись, как советские люди выдержали такое испытание.

Две недели спустя заграничные корреспонденты начали передавать из Москвы отдельные подробности о деятельности Сталина, иногда правильные, иногда перевранные. 4 июня Государственный департамент США опубликовал текст доклада. Вскоре в «Правде» появилась статья Генерального секретаря Коммунистической партии Соединенных Штатов Ю. Денниса, перепечатанная из газеты «Дейли уоркер». Под текстом была сноска:

«Говоря о докладе Н. С. Хрущева, Ю. Деннис имеет в виду текст, опубликованный Госдепартаментом».

Однако то, о чем писал Деннис, не опровергалось, кроме упоминания об аресте еврейских врачей; газета сделала вторую сноску, напоминая, что среди арестованной груп-

пы врачей были не только евреи, но и также русские и украинцы.

О докладе на закрытом заседании писали все газеты мира. 30 июня 1956 года ЦК принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий».

В этом постановлении говорилось, что «Сталин повинен во многих беззаконных действиях» и что следует помнить о «серьезных ошибках, допущенных Сталиным в последний период жизни». Хрущев, однако, говорил о «беззаконных действиях» Сталина начиная с декабря 1934 года, таким образом, «последний период жизни» длился восемнадцать лет.

Доклад, который сделал на XX съезде Н. С. Хрущев, был посвящен одному человеку, его подозрительности, жестокости, властолюбию. Перед всеми вставал вопрос, почему Сталин, доверяя Ежову или Берии, не задумывался над трагическими письмами старых большевиков Эйхе или Постышева.

Борясь с «культом личности», легко было вернуться к этому же культу: слишком многое приписывалось воле, характеру, мрачным чертам разоблачаемого. Персонаж был сродни некоторым героям Достоевского.

Не знаю, привлечет ли внимание романиста будущего Сталин и удастся ли автору дать глубокий психологический анализ человека, одно имя которого вызывало восторг или ужас у сотен миллионов его современников. В шестой части этой книги я признавался: «Я не могу дать портрет Сталина — я его лично не знал, видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому». Дальше я писал: «Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства». (Один из сотрудников «Литературной газеты» распространил «Открытое письмо Илье Эренбургу»; он писал, что дело не в моральной оценке и что нельзя назвать умным государственного деятеля, совершившего много неумных поступков. Письмо меня не переубедило. Историки обнаружили достаточно неумных поступков у людей, которые были умными: у Цезаря, Наполеона, Людовика XIV, Петра Великого. Однако трудно себе представить, что неумный человек смог очернить, а потом уничтожить почти всех руководителей своей партии и четверть века единолично управлять великим государством, такое предположение мне кажется оскорбительным для нашего народа.)

Моральная оценка не деталь, а суть вопроса. Рассказывая о «беззаконных действиях» Сталина, Хрущев огова-

ривал, что Сталин был честным коммунистом и что дурные дела он совершал во имя хорошей цели. Именно это мне кажется неприемлемым. В шестой части я писал, что цель не может оправдывать средства и что средства способны изменить цель. Труды Маркса и Энгельса, философская концепция и государственная практика Ленина гуманистичны. Сталин, не расставаясь с идеями, воспринятыми им в молодости, применял средства, которые им противоречили, он был бесчеловечен.

Я не политик, а писатель, казалось бы, что меня должна была увлечь сложная и противоречивая натура Сталина; однако я куда больше думал о том, как Сталин мог столь долго определять чертами своего характера развитие советского общества. Я сказал, что я писатель, но я также советский гражданин, и не раз в моей жизни я забывал о своем ремесле ради защиты тех идеалов, которые мне казались высокими. Хрущев говорил о «серьезных ошибках Сталина», но он не объяснил, какие обстоятельства позволили Сталину столь длительно и глубоко ошибаться. Мы так и не узнали, почему Тринадцатый съезд партии, несмотря на предостережение Ленина, обладавшего огромным авторитетом, переизбрал Сталина Генеральным секретарем. Я не знаю, как могло получиться, что Сталин, договариваясь с одной группой Политбюро, чернил, а потом уничтожал другую группу, чтобы два или три года спустя унизить и убить своих вчерашних союзников. Каким образом «Коба» революционного подполья, известный только тысяче-другой партийных работников, десять лет спустя превратился в «отца народов»? Почему партия, показавшая подлинное мужество в отражении вражеских диверсий в индустриализации отсталой страны, в обороне Родины от слывшего непобедимым рейхсвера, не воспротивилась культу Сталина, шедшему вразрез и с марксизмом, и с демократическим духом Ленина? Мне казалось, да и теперь кажется, что куда важнее разгадать не характер Сталина, а то, что позволило превращение грубого, по словам Ленина, и малоизвестного человека в «вождя», «кормчего», «полководца», которого ежедневно восхваляли члены Политбюро и лишенцы, маститые академики и ученики первого класса.

XX съезд сделал невозможным возврат к культу Сталина. Римский император Юлиан в IV веке нашей эры пытался восстановить культ древних богов; однако мало кто задерживался у новых статуй обитателей старого Олимпа.

Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей, осуждавших разоблачение культа; они говорили о «роковом ударе», якобы нанесенном идее коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания. Особенно страшила скрытых защитников Сталина молодежь. Я помню ужин в индийском посольстве, где я встретил нескольких советских деятелей, которые за чашкой чая, не очень громко, чтобы не расслышали хозяева, говорили о «разнузданности» студентов: «К ним нельзя показаться...» Я был несколько раз на собраниях студентов и видел всю несправедливость таких суждений: меня спрашивали, слушали, разумно отвечали. Именно в 1956 году показалось то новое поколение нашего общества, которое трудится, может быть, с менее пышными словами, но с большей взыскательностью.

В мае 1965 года я возвращался из Москвы в Новый Иерусалим и включил радио — передавали торжественное заседание по случаю двадцатилетия победы над фашистской Германией. При имени Сталина я услышал хлопки. Не знаю, кто аплодировал; не думаю, чтобы таких было много. Наверно, с именем Сталина у них связывалось представление о величии и неподвижности: Сталин не успел их арестовать, а оклады были выше, да и не приходилось ломать голову над каждым вопросом. Люди легко забывают то, что хотят забыть, а теперь ничто не мешает им спокойно спать.

Вернусь к весне 1956 года. Ко мне пришел молодой студент Шура Анисимов, приглашал меня выступить перед его товарищами. Вдруг он сказал фразу, которую я записал: «Знаете, сейчас происходит удивительное — все спорят, скажу больше — решительно все начали думать...» Конечно, он не знал, что молодому поколению предстоит еще многое пережить. Не знал этого и я. Но вспоминаю я о той весне с большой нежностью, как будто и я был моденьким Шурой, на спине которого прорезались крылья.

7

Вдова моего друга Роже Вайяна дала мне прочесть часть его дневников, которые готовятся к опубликованию. Вот страница 1956 года — она относится ко времени действия моей книги:

«*8 июня.*

Возвращение из Москвы.

Две недели назад, когда я приехал, статуя Сталина стояла в зале аэродрома. В день моего отъезда она еще была на месте, но покрытая белым чехлом. Скоро ее снимут...

Я любил даже словечки, которыми он злоупотреблял. Он закладывал фундамент речи и потом говорил: «далее». Мне это нравилось. Но теперь мне пришлось снять его портрет над письменным столом...

Никогда больше я не повешу на мои стены чьего-либо портрета.

В углу над полкой с книгами о французской революции висели две большие гравюры той эпохи — «21 января 1793 года» и «16 октября 1793 года». Я их тоже снял. На одной палач показывает толпе голову Капета; на другой — палач подымает нож гильотины, его помощники ведут на эшафот Марию-Антуанетту, толпа аплодирует. Будь я членом Конвента, я голосовал бы за казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты, я хочу сказать, что и теперь при подобных обстоятельствах я проголосовал бы за смертный приговор. Но Мейерхольд, которого я любил и люблю, был расстрелян по несправедливому приговору Сталина, которого я любил. Никогда больше я не смогу радоваться крови моих врагов, разве только если она пролита мною в честном бою.

Сердце у меня не чувствительное. Когда я порвал с женщиной, которую любил больше всего, я смотрел, как она спускалась с чемоданом по лестнице. Она повернула ко мне заплаканное лицо. Но я не заплакал...

В июне 1940 года при разгроме моей страны я не пролил ни одной слезинки, я скорее был доволен — французы меня возмущали своей любовью к загородным домам и маленьким автомобилям.

Но я плакал, узнав о смерти Сталина. И я снова плакал в Праге, возвращаясь из Москвы, всю ночь я проплакал — я должен был вторично его убить в своем сердце, прочитав про его злодеяния.

В одну и ту же ночь я плакал над Мейерхольдом, убитым Сталиным, и над Сталиным, убийцей Мейерхольда. Я повторял слова Брута из шекспировского «Юлия Цезаря»:

«Я любил Цезаря, и я его оплакиваю. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но им овладело властолюбие, и я его убиваю».

Я повторяю: «Я любил Сталина, и я плакал над ним. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он

15 Зак. 92

был отважным, и я его чтил. Но он стал деспотом, и я его убиваю...»

Я себя чувствую мертвым.

Кажется, что ты на гребне времени и вдруг видишь, что История вступила в новую фазу, а ты этого не заметил...»

Я переписал эту страницу из дневника Вайяна и задумался: какое у нас проклятое ремесло! Даже разговаривая с самим собой, писатель невольно пропускает слезы, желчь, кровь через колбы литературной лаборатории. В той же тетрадке дневника Вайян вспомнил о своей тяжелой болезни: «Очень важно вот что: как только я понял, что я не умираю, я начал подыскивать слова, чтобы описать свою смерть. То же самое случилось, когда меня настигла беда любви... Нет, я не скажу, как сказал мне французский товарищ в Москве: «Мы уже никогда не сможем быть счастливы». Я — писатель, следовательно, я не имею права на полное несчастье».

А в действительности Роже Вайян был вдвойне несчастен — и как писатель, и как человек. Два существа жили в одном теле. Иногда автор романа навязывал Роже свою концепцию жизни, иногда человек вмешивался в план романа. Нужно ли говорить, что в ту ночь в Праге, о которой упоминается в дневнике, Вайян не думал о Цезаре и Бруте — он не писал, он плакал.

Вайян любил людей XVIII века, увлекавшихся, но не увлекаемых, упоенных — однако в то же время трезвых, — кардинала Берни, авантюриста Казанову, автора романа в письмах «Опасные связи» Лакло. Среди писателей прошлого века он особенно чтил Стендаля. Но и Стендаль, описывая стратегию любви, вдруг поддавался чувствительности Анри Бейля — и когда рассказывал, как к осужденному Жюльену приходит его школьный товарищ крестьянин Фуке, и когда в письме из Чивитавеккья признавался своему двоюродному брату: «У меня две собаки, я их очень люблю. Английский спаниель, черный, красивый, но печальный меланхолик, другой «лупелло» — волчонок, цвета кофе с молоком, веселый, находчивый характер молодого бургундца. Мне было бы слишком грустно, если бы не было никого, кого я могу любить...»

Когда Вайян умер, все газеты писали о его «холодном взгляде». Так он назвал сборник эссе, и так он старался выглядеть перед журналистами или критиками. Я никогда не видел «холодного взгляда» — его глаза веселились или отчаивались, но холода в них не было.

Нет, однажды я увидел «холодный взгляд». Это было летом 1948 года. После Вроцлавского конгресса, в котором Вайян участвовал, поляки повезли меня в Краков; там в кафе «Комедиантов» я встретил Вайяна, Гуттузо, польских друзей, молодую женщину, приехавшую на конгресс из Бразилии. Эта женщина нравилась Вайяну, он пил «Старку» и настойчиво ухаживал, то ласково, то слегка пренебрежительно — того требовала традиционная стратегия. Именно тогда я случайно перехватил леденящий взгляд Роже.

Мейерхольда он мог увидеть в 1930 году. Он был тогда молоденьким поэтом-сюрреалистом, а я познакомился с ним позднее — его мне представил, кажется, Рене Кревель в одном из кафе Монпарнаса. Вайян попросил Любу давать ему уроки русского языка. Из учебы ничего не вышло. Вайян бросил писать стихи, стал журналистом. Газета «Пари суар» посылала его в экзотические страны. Он много пил. Я хорошо помню его взгляд не холодный, но затуманенный наркотиками, длинные упрямые волосы и профиль птицы.

Я надолго потерял его из виду. Вскоре после конца войны я прочитал первый роман Вайяна «Странная игра». Это была книга об одной группе Сопротивления. Героя романа звали Маратом, а одного из его товарищей, коммуниста, — Родриго. Роман имел успех, Вайян сразу вошел в литературу, но слава его не прельщала — он думал о другом: не описать жизнь, а ее переделать.

Утром в краковской гостинице он говорил мне тихо, почти стесненно: «Я должен буду от многого отказаться...»

В 1952 году правительство Пино хотело запретить коммунистическую партию. Дюкло был арестован по вздорному обвинению. Тогда Вайян послал ему в тюрьму заявление с просьбой принять его в партию.

Вчерашние читатели и почитатели отшатнулись от Вайяна. «Завербованный» — таково было стандартное клеймо эпохи. Вайян хотел быть дисциплинированным. Перед отъездом в Египет он выбросил наркотики. Корабельный врач удивился непонятной болезни пассажира, но Вайян скорее умер бы, чем рассказал бы ему о причине заболевания. В Египте его арестовали, потом выпустили; он написал о том, что увидел. Он продолжал противоречить себе, товарищи то восхищались им, то негодовали. Я его полюбил.

Мы встретились на несколько часов в Жюльена — у меня там были старые друзья — виноделы, а Вайяну было

недалеко, он поселился в деревне возле Бурже. Он женился на милой и заботливой итальянке Элизабет, много работал. У нас оказалась и общая страсть — Роже разводил розы, гвоздики, подсолнухи, говорил о влиянии света и влаги, о гибридах, о работе селекционера.

Кажется, за год до этой встречи он увлекся театром Расина, утверждал, что необходимо единство места и времени действия, мечтал о новом Возрождении и, увидев впервые Москву, писал: «Я предвижу Возрождение в 1960 — 1970 годы, оно расцветет в России, и тогда в московских театрах начнут ставить трагедии, вдохновляясь французским театром XVII века, разумеется, с новым содержанием, соответствующим строительству коммунизма. Уже архитектура в стране социализма нашла нормы больших ансамблей абсолютной монархии».

Год спустя он написал хороший роман «Бомаск» и не думал больше о классиках. Он описал жизнь рабочих и крестьян в поселке, где поселился. Это и по форме нечто новое: повествование, записки автора, письма, газетные заметки, экономика — рассказ о крупном тресте. Я написал предисловие к русскому переводу («Пьеретта Амабль») и в нем говорил: «Особенно удалась Роже Вайяну героиня книги. Мы ее видим и когда она прилежно записывает в тетрадку партийные задания, и когда она сурово отвечает на любовные признания представителя той династии, которой принадлежит фабрика, и когда отдается «Бомаску». В ней слиты воля и смущение, суровость и нежность... Любви посвящены сотни современных французских романов. В одних мы видим состязание самолюбивых партнеров, в других скуку, повторность приевшихся слов и жестов, в третьих — самомучительство. Сцена в лесу, когда Пьеретта и «Бомаск» дают волю своим чувствам, — редкая находка в современной литературе, столько в ней страстности и чистоты».

Осенью 1955 года Вайян и Элизабет заехали за мной в Савойю, где я ночевал у Пьера Кота, — мы сговорились, что Роже отвезет меня в Париж. Он обожал скорость. Я сидел рядом с ним и видел, как стрелка добегала до цифры 200. Мы пообедали в чудесном ресторане, там нас попотчевали лягушачьими лапками с чесноком. Беседа была извилистой и долгой. Перед тем как уехать, мы пошли посмотреть на лягушек: они сидели в яме, их было очень много, и те, что находились в верхнем ряду, глядели черными, неподвижными глазами. Жить им оставалось недолго. Роже глядел на них. Потом мы снова мчались. Вайян

командовал: «Сигарету!», Элизабет закуривала и вставляла ему в зубы. Иногда мы останавливались. Роже заказывал виски. Элизабет выпивала почти всю его порцию, он не спорил и вскакивал в машину. Он хотел показать мне, как начинается Сена: «Маленький ручеек...» Мы сидели в темном пустом баре. Он говорил о том, как писал когда-то стихи, о Рембо, о смерти: «Она входит в жизнь. Гримаса, и только...» Потом неожиданно спросил: «Помните глаза лягушек?» Я рассказывал о Хемингуэе в Испании, о реабилитации Мейерхольда, о Москве. Опустилась ночь. Роже гнал машину, и вдруг отказали фары. Он резко затормозил. Мы вышли из машины. Я закурил и при свете спички увидел его лицо, покрытое капельками пота. Мы добрались до Труа и решили там заночевать — утром исправят фары. Он вдруг признался: «Это было здорово страшно».

Я дошел до времени, с которого начал, — XX съезд, осень, Венгрия. Один из близких друзей Вайяна потом рассказал мне, что Роже думал о самоубийстве. Держался он хорошо, не было того духовного эксгибиционизма, которым страдали некоторые интеллигенты Запада, в том числе друзья Вайяна, уходившие из партии, возвращавшиеся, снова уходившие и выкладывавшие все свои душевные терзания чуть ли не в каждом номере левых еженедельников. Вайян, да и то нехотя, подписал одно из многочисленных коллективных заявлений и несколько лет спустя признавался в дневнике, что жалеет об этой подписи. Он хотел молча отойти в сторону и задуматься над тем, что приключилось не только с ним, но и с миром.

Элизабет повезла его в Южную Италию, в Абруцци. Там он написал, кажется, свою самую совершенную книгу — «Закон»; я не называю ее лучшей, но выполнена она лучше других. В романе нет никаких прямых или скрытых объяснений того, что мучило Вайяна. Это мрачная и безысходная книга. Заглавие относится к игре, которая процветает на юге Италии. Игроки бросают кости или играют короткую партию в карты. Тот, кто выигрывает, становится «хозяином». У него право говорить или не говорить, допрашивать и отвечать за допрашиваемого, хвалить и осуждать, оскорблять, злословить, клеветать, унижать достоинство других: проигравшие, подчиненные его закону, должны молча переносить все. Таковы правила игры «закон».

Та же злая игра определяет жизнь городка. Есть один мудрец — разорившийся помещик Дон Чезаре. Он собирает уже по привычке реликвии некогда процветавшего древнегреческого города. Давно все стало ему «неинтерес-

ным». В игре выигрывают худшие. Гангстер Бриганте после смерти Дона Чезаре договаривается с образумившейся девчонкой Мариеттой — они совместно откроют великолепный бордель для иностранных туристов.

Книга получила Гонкуровскую премию. Былые читатели и почитатели снова потянулись к Вайяну: они считали, что семидесятилетний Дон Чезаре говорит за автора, которому тоже все «неинтересно».

А Роже в своем домике разводил растения, писал и терпеливо искал ответа на многие вопросы, которые продолжали его страстно интересовать. «Закон» свирепой игры не стал для него законом жизни.

Три года спустя он прислал мне новый роман «Праздник». Теперь я вижу, что некоторые фразы выписаны из дневника 1956 года, например, мысли главного героя, стареющего писателя Дюка: «Он вдруг понял, что после XX съезда КПСС История вступила в новую фазу без того, чтобы он это заметил... Дети большевиков управляют третьей частью земного шара, и они посылают ракеты на Луну». Молодой писатель Жан-Марк возражает: «Революция вышла из моды». Дюк говорит: «Она переменила имя. Она примет формы, которые нельзя себе представить».

Он заболел в ноябре 1964 года и уже тяжело больной написал статью «Похвала политике», в ней он говорил: «Мне надоели разговоры о планировании, об изучении рынков, о кибернетике, об оперативных операциях: это дело специалистов. Как гражданин я хочу снова найти, я хочу словами вызвать политические действия (действительно политические), я хочу, чтобы мы все снова стали политическими людьми».

В конце февраля 1965 года я был в Париже. Вернувшись в гостиницу «Пон рояль», где я обычно останавливался и где останавливался Вайян, когда приезжал на несколько дней в Париж, я оказался в лифте с человеком, который показался мне необычайно знакомым. Он со мной заговорил, я отвечал смущенно, думал: кто это? Он вышел на третьем этаже, я жил выше. Мальчик-лифтер сказал: «Мне кажется, что вы не узнали мьсе Роже Вайяна...» Я тотчас спустился в его номер: «Роже!..» Он, улыбаясь, сказал: «Меня не узнают многие. Я заболел каким-то вирусным бронхитом. Вот уже три месяца... Меня лечили, стали выпадать волосы, вот я и побрил голову наголо».

Его лицо было ярко-красным, как будто он обжегся на тропическом солнце. Голова без привычных волос выглядела другой. Но глаза горели по-прежнему.

Он сказал мне, что чувствует себя лучше, начал новый роман. Хочет поехать в Латинскую Америку — там народы приподымаются, борются... Он заговорил со страстью давнего Роже. Вдруг закашлялся. А когда я уходил, он спросил: «Как ваши цветы? Мы это одинаково понимаем: сеять, пикировать, они растут, цветут, потом умирают». Помолчав, он добавил: «Помните лягушек в яме?..»

Элизабет сказала Любе, что Роже дотянет только до весны — у него рак легких; ни врачи, ни она ему об этом не говорят.

Он, наверно, не хотел выпытывать медицинскую тайну — знал свою: «Смерть — это жизнь, ее последняя гримаса».

Он умер в мае 1965 года в домике с розами.

8

Французы говорят, что дни следуют один за другим и не похожи друг на друга, это можно сказать и про годы. 1956 год ни на что не походил. Обычно я корю себя за легкомыслие, но в ту весну, в то лето чрезвычайно легкомысленными были все, и все надеялись, умные и дураки, честные и бесчестные. Каждый, конечно, на свой лад. Одни надеялись на память, другие на забывчивость. Чересчур много было надежд, и длинные трудные разговоры о прошлом неизменно кончались улыбками. Роже Вайян плакал, что был не на склонах Олимпа, а в театральном зале. Что касается нас, то эту трагедию мы не смотрели, мы в ней играли, и мы не плакали.

Конечно, жизнь продолжалась, люди работали, влюблялись, расставались, болели. В тот год умерли Фадеев, Брехт, Ирэн Жолио-Кюри. Но цифра «1956» мне кажется абстрактной: трудно объединить быстро сменявшиеся события, и мне хочется написать о том времени, не следя за нитью повествования, чтобы напомнить читателям о лихорадочном состоянии, в котором находились я, мои друзья и знакомые.

Ранней весной в Стокгольме собралась очередная сессия Всемирного Совета Мира, и я убедился, что чрезмерный оптимизм был болезнью, свойственной не только моим соотечественникам. Все говорили о разоружении. Итальянский сенатор Корона, близкий к Ненни, утверждал, что в борьбе за разоружение можно объединить все миролюбивые силы. Выступавшие, в том числе китайский министр

водного хозяйства, говорили то же самое, и все друг другу улыбались.

В мае Фадеев покончил с собой. Москва полнилась слухами: хотели разгадать, почему человек с железной волей вдруг выстрелил в себя. Рождались фантастические версии. В сообщении собирались указать, что Александр Александрович выстрелил себе в грудь в состоянии запоя; между тем писатели знали, что последний месяц он не выпил ни одной рюмки; некоторые запротестовали, М. С. Шагинян куда-то звонила, угрожала, что последует примеру Фадеева. В итоге газеты, сообщив о его хронической болезни, не попытались объяснить самоубийство состоянием опьянения.

Я стоял с другими в Колонном зале у гроба. Когда человек умирает, перестаешь думать о том или ином его поступке, он вдруг встает во весь рост, и мне было тяжело, что от нас ушел большой писатель. Эта смерть как бы врезалась тенью в ту весну, когда почти все люди, с которыми я встречался, были настроены радужно.

А. Е. Корнейчук сказал мне, что нам нужно посоветоваться с Н. С. Хрущевым по некоторым вопросам, связанным с расширением Движения сторонников мира; он добавил, что Никита Сергеевич хочет познакомиться со мной. Деловая сторона разговора заняла четверть часа, и я хотел было встать, когда Хрущев заговорил о моей «Оттепели». Он сказал, что случайно прочитал мою повесть, не со всем со мной согласен, а потом добавил: «Не знаю, почему они на вас накинулись?.. Вероятно, из-за заглавия. А заглавие хорошее...» (Я не спросил Никиту Сергеевича, кого он имеет в виду, говоря «они».) Потом Н. С. Хрущев начал рассказывать про Сталина, рассказывал он интересно, и многое для меня было новым, но я не хочу об этом писать — разговор был частным. Когда он устал от рассказа (просидели мы у него часа два), я попробовал вступиться за М. М. Зощенко, которого продолжали обвинять в мнимых преступлениях.

Хрущев нахмурился и сказал, что «Зощенко плохо себя ведет»: в Ленинграде нажаловался английским студентам. Тогда я рассказал, что произошло в действительности. В Советский Союз приехала делегация какого-то союза английских студентов; может быть, они хорошо распределяли между товарищами стипендию и разбирались в хоккее или футболе, но общий культурный уровень их был невысок. Однако в Москве они захотели побеседовать с С. Я. Маршаком и мной. Меня долго уговаривали, наконец

я согласился и пошел в Союз писателей. Разговаривали студенты отнюдь не по-джентльменски. Я отвечал резко, а Самуил Яковлевич астматически дышал. Меня возмущало, что двух далеко не молодых писателей уговорили прийти и отвечать на вопросы развязных юнцов. Потом студенты отбыли в Ленинград и там потребовали встречи с Зощенко. Михаил Михайлович пытался отнекиваться, но его заставили прийти. Один из студентов спросил его — согласен ли он с оценкой, которую ему дал Жданов. Зощенко ответил, что Жданов назвал его «подонком» и что он не мог бы прожить и одного дня, если бы считал это правильным. Так была создана скверная версия — «Зощенко нажаловался англичанам».

Н. С. Хрущев не дипломат, и, глядя на него, я сразу понял, что он мне не верит, да он и сказал: «У меня другая информация...» Я ушел с горьким привкусом: намерения у него хорошие, но все зависит от «информации» — кого он слушает и кому верит.

В начале лета в Москву приехал бразильский архитектор с письмом от моего друга Жоржи Амаду. Его хорошо приняли, и он увидел все, что может увидеть иностранный турист. Он долго со мной беседовал, спрашивал, что думают о XX съезде обыкновенные советские люди. На следующий день в одной из районных библиотек должна была состояться читательская конференция о моей «Оттепели». Я дал молодой переводчице билет и сказал, чтобы она не говорила, кто с ней: «Сядьте в уголок и переводите шепотом, на ухо».

Конференция была интересной; люди, не попавшие в зал, толпились на улице возле раскрытых окон. Выступавшие рассказывали о том, что пережили, говорили о больших переменах и об еще больших надеждах. Помню, как все насторожились, когда слово попросил милиционер в форме. Он сказал, что хочет выступить как читатель, и растрогал всех, рассказав, что стоял на посту на Красной площади, когда подошел старый большевик, вернувшийся из Колымы, и попросил помочь ему дойти до Мавзолея: «Он, товарищи, знал Ильича, вот что...»

В углу сидели красивая девушка и молодой человек, они все время о чем-то шептались. Им начали посылать записки — «уходите», «здесь не место для любовных объяснений», «хватит, убирайтесь!». Когда конференция кончилась, я увидел на улице бразильца и переводчицу, окруженных толпой. Я бросился к ним, объяснил, что пригласил бразильца, а это — его переводчица, и люди, только

что грозившие избить рослого парня, начали его обнимать. А он благодарил меня: за один вечер он многое понял.

В конце июня я поехал в Париж на Бюро Всемирного Совета Мира. Все только и говорили что о докладе Хрущева. Я не понимал почему — для меня то было давней историей. Только на следующее утро я узнал, что газета «Ле монд» напечатала текст доклада. Большинство людей, с которыми я встречался, ужасались прошлым, но верили в будущее. Были и другие, один даже сказал мне: «Это закамуфлированный термидор!»

Жолио-Кюри держал себя умно и сумел объединить участников сессии: необходимо добиться сближения всех миролюбивых сил. В декларации говорилось: «...Всемирный Совет Мира будет постоянно искать контакта со всеми организациями, работающими для дела мира. Он стремится вступить в диалог с этими организациями и предпринять с ними некоторые совместные действия на основе уважения особенностей и позиций каждого участника. Совет Мира считает, что такая деятельность должна проводиться в условиях полной независимости по отношению к правительствам и политическим партиям и единственно на пользу делу мира. Совет Мира предпримет, со своей стороны, все преобразования и изменения, способные облегчить такие совместные действия». Мы брали на себя серьезное обязательство, это было, кажется, единственной попыткой обновить и расширить движение. Однако четыре месяца спустя изменилась не только международная обстановка, но и позиции любого участника сессии.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришли сотрудники «Литературной газеты» и предложили написать о стихах Бориса Слуцкого: «Наш редактор в отпуску, и мы статью напечатаем». Я написал небольшую статейку, и ее напечатали. Я говорил о «гражданственности» поэзии Слуцкого, он писал о минувшей войне, о связистках и пленных, о трудной жизни и героизме народа, без ура-барабанов и без сентиментальности. «Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа, его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, его смертельная усталость и непобедимая сила жизни». Я вспомнил музу Некрасова, оговаривая: «Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства...» Я удивлялся, почему не издали книги Слуцкого, почему печальное стихотворение о военном транспорте с лошадьми, потопленном немцами, напечатал только журнал для детей «Пи-

онер». Кончал я статью словами надежды, продиктованными годом: «Хорошо, что настало время стихов».

Редактор вернулся из отпуска, и десять дней спустя в газете появилась статья, подписанная преподавателем физики одной из московских десятилеток. По своей специальности автор статьи мог не разбираться в поэзии, да и в родном языке; но, будучи, видимо, человеком достаточно уверенным в себе, он обвинял Бориса Слуцкого в дурном мастерстве и даже в незнании русского языка. Он возмущался моей статьей: «Совершенно неясно ваше утверждение о том, что народный поэт должен воспевать и какую-то «смертельную усталость» народа. Ее, этой самой «смертельной усталости», я не замечаю ни у себя, ни у окружающих меня людей».

Статья была написана в хорошо мне знакомом тоне и подана под заголовком «Читатели о литературе». Это также не было новым: при Сталине, когда хотели очернить писателя, печатали индивидуальные или коллективные отзывы то учителей, то кочегаров, то агрономов.

В конце сентября я поехал в Венецию на ассамблею Европейского общества культуры и там прочитал доклад «О некоторых чертах советской культуры». Общество мне показалось несколько провинциальным. Его душой был итальянский профессор Умберто Кампаньоло. В своем докладе он говорил о культурной политике, говорил на том языке, на котором изъяснялись почти все участники ассамблеи. (В частных беседах все они, будь то философы, юристы или социологи, говорили куда проще.) Многие возражали Кампаньоло, говорили о том, как понимали слово «политика» Платон и Аристотель, надлежит ли применять категории Канта к морали современного общества. Кампаньоло тотчас отвечал каждому. Потом началось обсуждение влияния колониализма на культурную политику; здесь дебаты стали куда яснее: некоторые профессора защищали колонизаторов, — в Индии они помогали борьбе с эпидемиями, а в Африке открыли первые университеты. Колониализм все же осудили. Прения после моего доклада были мирными — даже люди, настроенные антисоветски, старались говорить вежливо — такова была политическая погода.

На ассамблее я встретил двух моих приятелей: французского писателя Клода Руа и немецкого поэта Стефана Хермлина. Клод Руа был тогда коммунистом и после XX съезда потерял душевное равновесие. Напрасно я пытался его урезонить, он меня измучил своими мучениями.

Хермлин был спокоен, поехал со мной во Флоренцию, в Рим; древности Италии ему, кажется, представлялись более актуальными, нежели события минувшей весны.

После конца заседаний я бродил по улицам Венеции. Это удивительный город — в нем нет автомобилей. Ночью кошки поедают рыбьи отбросы, дерутся, отчаянно мяукают. Зеленоватые тона пробираются в комнаты, даже в зрачки глаз. Венецианцы, члены Общества дружбы с Советским Союзом, пригласили меня провести с ними вечер. Я поделился с ними своим оптимизмом. А в моей голове засели стихи Мандельштама, написанные когда-то в Коктебеле:

Адриатика зеленая, прости! —
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Заключительное заседание ассамблеи состоялось в Падуе. Я впервые увидел этот город и долго простоял перед фресками Джотто. Подражать им нельзя: у человечества другой возраст, но удивительно, как не стареют произведения искусства — фрески Джотто написаны в начале XIV века — все с тех пор изменилось, а живопись восхищает нас, как некогда восхищала паломников.

Несколько дней в Риме прошли в беседах — Моравиа, Карло Леви, Пратолини, Малапарте, Унгаретти, обеды и ужины, споры о корнях слов и о фактуре живописи, словом, все, без чего я не мог провести дня в каком-либо европейском городе. А здесь еще предстояло серьезное политическое объяснение: когда я был в июне у Жолио, он говорил мне, что итальянские социалисты собираются покинуть Движение сторонников мира, просил поговорить с ними, когда я буду в Италии. Джанкарло Пайетта, когда я сказал, что хочу повидаться с Ненни, усмехнулся: «Что ж, попробуйте...»

Ненни жил в новом доме; на стене большой комнаты висела картина, написанная итальянцем, видимо, разделявшим эстетические концепции А. М. Герасимова. Впрочем, о живописи мы не говорили: с Ненни трудно было беседовать о чем-либо, кроме политики. Он человек обходительный, приятный, но политик с головы до ног. Впервые я увидел его в Испании в годы гражданской войны, а потом, начиная с 1949 года, мы встречались часто на различных заседаниях и конгрессах мира. Он умел прекрасно выразить сбивчивые выступления разноплеменных сторонников мира, а председателя лучше я не видел — он

вежливо, но категорически обрывал словоохотливых людей, жаждавших повторить давно им известные истины.

Ненни сначала пожаловался мне, что Москва не понимает его позиций, а потом сказал, что времена меняются, социалистам с коммунистами не по пути и он хочет добиться объединения с социал-демократической партией Сарагата. О своих будущих партнерах он говорил далеко не благожелательно, но, поскольку речь шла о браке не по любви, меня это не удивило.

Когда он выложил все, я сказал, что влечение к социал-демократам никак не может помешать дальнейшему участию итальянских социалистов в борьбе за мир. Ненни обещал подумать и предложил мне на следующий день пообедать с ним.

Меня повезли по старой Аппиевой дороге, и, глядя на изумительный пейзаж, я чуть было не забыл, какой разговор мне предстоит.

В ресторане оказались Ломбарди и Мартино. К моему удивлению, Ненни оказался самым сговорчивым, он упомянул о последней резолюции Бюро Всемирного Совета, указывающей на необходимость реорганизации движения, и посоветовал Ломбарди поехать на очередную сессию. Ломбарди не верил в реорганизацию, но согласился. Я считал, что дело сделано, и на обратном пути в Рим спокойно любовался древностями. Осень в Риме была не золотой, а серебряной — цвета олив и пахла чайными розами.

Я задержался на несколько дней в Париже и вернулся в Москву незадолго до выставки Пикассо. Еще весной при ВОКСе организовали Секцию друзей французской культуры, меня выбрали ее председателем. Выставка Пикассо была одним из первых мероприятий секции. Организовать ее было нелегко. Кроме картин, имевшихся в Эрмитаже и в Пушкинском музее, Пикассо прислал нам сорок новых холстов. Художественными делами тогда еще ведал А. М. Герасимов, и он пытался воспрепятствовать выставке. Но 1956-й не походил на 1946-й, и выставка открылась.

На вечере, посвященном семидесятипятилетию Пикассо, скульптор Конёнков огласил послание художника: «Я давно сказал, что пришел к коммунизму как к роднику и что все мое творчество привело меня к этому. Я рад, что выставку, включающую мои последние работы, увидит в Москве широкая публика. Я часто получал письма из Москвы, в том числе письма от художников. Пользуюсь случаем, чтобы выразить им свою любовь...»

В перерыве приятель рассказывал мне, что на выставке шумно, вызвали даже милицию. Один из посетителей кричал: «Это не искусство, а мазня, шарлатанство!» Его пробовали унять, но он продолжал шуметь. Тогда молодые люди его выбросили вон.

Впрочем, все это было присказкой, сказка была впереди.

9

День открытия выставки Пикассо совпал с первыми сообщениями о событиях в Венгрии. По газетам трудно было понять, что там происходит. 24 октября ТАСС сообщило: «На собрании венгерского ЦК первым секретарем переизбран Эрне Гере. Политбюро назначило премьер-министром Имре Надя». «Жизнь постепенно входит в нормальную колею».

25 октября. «Янош Кадар сменил Эрне Гере на посту первого секретаря». «Порядок восстановлен».

26 октября. «Объявлена амнистия всем участникам вооруженной борьбы, которые сложат оружие». «Сегодня снова вышли газеты».

27 октября. «Как указал в своем выступлении премьер-министр Имре Надь, в борьбе против фашистских элементов принимают участие, наряду с венгерской армией, советские войска, дислоцированные в Венгрии». «Составлено новое правительство».

28 октября. «Ночь прошла спокойно». «Отдан приказ, запрещающий открывать огонь».

29 октября. «Жизнь постепенно входит в нормальную колею».

30 октября. «В некоторых районах города происходит перестрелка. В тех же районах, где спокойно, население включается в деловую жизнь города». «Имре Надь заявил, что возглавляемое им правительство реорганизуется на основе коалиции демократических партий».

31 октября. «Советские войска выведены из Будапешта». «К вечеру жизнь в городе стала оживляться».

1 ноября. «Вышла газета «Кмшуйшаг» — орган независимой партии мелких сельских хозяев». «В Будапеште открыты все продовольственные магазины».

2 ноября. «Промышленные предприятия продолжают бездействовать. Закрыты школы, театры, магазины, музеи, стадионы».

4 ноября. «Воззвание к венгерскому народу Революционного рабоче-крестьянского правительства. 23 октября в нашей стране началось массовое движение, благородной целью которого явилось исправление антипартийных и антинародных ошибок, совершенных Ракоши и его сообщниками, защита национальной независимости и суверенитета. Слабость правительства Имре Надя и растущее влияние контрреволюционных элементов, проникших в движение, поставили в опасность наши социалистические завоевания... Премьер-министр Янош Кадар».

Я слушал передачи из Парижа, Лондона. Они были пространны, но, разумеется, тенденциозны. «Дух Женевы» сразу выдохся. Соединенные Штаты считали, что народные демократии распадаются. «Свободная Европа», работавшая в Мюнхене, день и ночь науськивала, обещала военную помощь Запада, призывала покончить с коммунизмом. Кардинал Миндсенти требовал возвращения церкви монастырских угодий и от теологии легко переходил к политике. В Венгрию начали прибывать эмигранты. Через Австрию переправляли оружие сторонникам Хорти, совершались самосуды, о каждом убитом коммунисте говорили, что он — охранник. За двое суток родилось семьдесят политических организаций. Лишенное авторитета правительство не могло действовать: никто не выполнял его приказов.

Я не собираюсь дать исторический анализ событий 1956 года, не обладаю нужными данными, да это и не входит в рамки моей книги. Для меня было ясно, что в Венгрии, как в Польше, накопилось много недовольства: пришлось платить по счетам сталинской эпохи. В Польше оказался человек, сочетавший большой престиж с не меньшей волей. Ему удалось удержать народное волнение, обеспечить права Польши и закрепить ее верность социалистическому лагерю. Имре Надь не обладал ни авторитетом Гомулки, ни его волей. Он то призывал советские войска, то требовал их вывода, не мог остановить самосуды, признал политические партии, враждебные социализму, и, наконец, объявил о выходе Венгрии из Варшавского блока, а это означало бы коренное изменение сил в центре Европы.

Трагедия многих рабочих Венгрии в том, что, возмущенные режимом Ракоши и Гере, они вышли на улицы, боролись с оружием в руках за чуждые им цели; а трагедия советских солдат в том, что им пришлось стрелять в этих рабочих. Скажу о себе: ноябрь 1956 года был, кажется, самым трудным месяцем в моей жизни: чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи.

Я побывал в Будапеште в 1964 году. Люди свободно разговаривали; в книжных магазинах было много переводов и западных авторов и наших; каждый мог получить заграничный паспорт. Осенью 1963 года я встретил на ленинградском симпозиуме писателей Тибора Дери. Он просидел некоторое время в тюрьме, потом его освободили. Он побывал в Париже. Выступая на симпозиуме, он сказал, что в прошлом не сожалеет ни о чем. Лукач работает в Будапеште, его книги издаются. Юлиус Гай, которого я знал в Москве, уехал на Запад. А молодые писатели, с которыми я встречался, спорили о том же, о чем спорят их сверстники в Праге, в Москве, в Варшаве.

Вернусь к осени 1956 года. Воспользовавшись сумятицей, Израиль, а тотчас за ним Англия и Франция напали на Египет. Англо-французская авиация бомбила египетские города, израильская армия заняла Газу. Соединенные Штаты в ООН осудили агрессоров. Советский Союз потребовал немедленного прекращения военных действий. 7 ноября кровавая затея была остановлена.

2 ноября мне позвонил в Новый Иерусалим П. Н. Поспелов, сказал, что он и Л. М. Каганович хотят срочно со мной побеседовать. Я ответил, что у меня нет машины. Поспелов сказал, что машину тотчас пошлют, и три часа спустя я оказался в ЦК. Кагановича не было. Поспелов сказал, что он ушел час назад — у него срочные дела, но он поручил Поспелову побеседовать со мной.

Я думал, что разговор будет о Венгрии. Петр Николаевич, однако, показал мне текст обращения, протестующего против нападения израильских войск на Египет. Меня удивило, что речь шла почти исключительно об Израиле. Англия и Франция упоминались мимоходом. Я сказал об этом Поспелову. Петр Николаевич, несколько стесненный, объяснил мне: по мнению Кагановича, с которым он согласен, воззвание должно быть протестом советских граждан еврейского происхождения против действий Израиля. Потянуло февралем 1953 года. Я сказал Поспелову, что я не больше отвечаю за Бен-Гуриона, чем он, и охотно подпишу этот текст, если он, советский гражданин русского происхождения, его подпишет.

Воззвание было опубликовано в «Правде» 6 ноября. Инициатор Л. М. Каганович своей подписи не поставил, но подписали текст тридцать два человека, среди них журналист Заславский, писатель Натан Рыбак, академик Минц и другие.

Секретарь Поспелова вызвал машину, которая должна была доставить меня в Новый Иерусалим. Водительница, узнав, куда меня нужно везти, воскликнула: «Не поеду!» — и добавила: «Боюсь одна возвращаться...» (В это лето было несколько случаев бандитских нападений на шоферов.) Я сказал, что попрошу другую машину, она вдруг запротестовала: «Да я вас отвезу. Просто разнервничалась...» Когда мы выехали из Москвы, она сказала: «А как тут не нервничать? Ведь что делают — людей убивают, рабочих...» Я решил, что она возмущена бомбежками Суэца. Она усмехнулась: «Да я про другое... Капиталисты иначе не могут. Я про наших... Что в Венгрии делается?» Она минуту помолчала, а потом снова заговорила: «Вот объясняют, что виноват Ракоши. А я его во время войны возила. Знаете, у меня грудного ребенка убили. Осколок бомбы... Он у меня на руках был... Я от горя с ума сошла, не ела ничего, не спала. Вот кто-то из шоферов мне сунул в рот папиросу. Я затянулась, и легче стало — туман в голове. Начала курить. Ракоши от кого-то услышал про мою историю и, когда получал папиросы — половину давал мне. Он со мной вежливо разговаривал, не как наши... А выходит, что рабочие его не захотели. Мне один из отдела рассказывал, что большой завод против нас. Ничего я не понимаю, голова кругом идет!..»

Шла голова кругом и у меня.

18 ноября в Хельсинки состоялось расширенное заседание Бюро Всемирного Совета. Я видел немало сессий и заседаний, происходивших в трудных условиях, но ничего похожего на то заседание не мог себе представить. Нужно было сохранить единство движения, хотя приехавшие не только по-разному рассматривали венгерские события, но неприязненно поглядывали друг на друга. В западных странах чуть ли не ежедневно происходили антисоветские демонстрации. Я знал, что Эррио, Мориак и Сартр вышли из Общества франко-советской дружбы. 18 ноября рано утром ко мне пришел д'Астье. Я позвал Корнейчука, д'Астье сказал, что необходимо предотвратить раскол, предложил компромиссную формулу. Мы посоветовались и решили согласиться.

Началось длительное и хаотическое обсуждение венгерских событий. Итальянские социалисты требовали решительного осуждения Советского Союза. Австралийцы их поддерживали, но в более мягкой форме. Были и другие представители Запада, которые осуждали советское вмешательство. Бог ты мой, сколько пылких речей и гневных реплик я выслушал! Мы пообедали, а вечером поужинали

в том же помещении. Настала ночь, споры разгорались. Наконец в восемь часов утра мы проголосовали единогласно за резолюцию, которую составил д'Астье; вот абзац, где шла речь о том, что нас разделяло: «Совещание обсудило прискорбные события в Венгрии. Совещание признает, что как во Всемирном Совете, так и в национальных движениях за мир по этому вопросу существуют серьезные разногласия и есть противоположные концепции, что не позволяет сформулировать общую оценку. Несмотря на эти расхождения, совещание единогласно признало, что первой причиной венгерской трагедии были, с одной стороны, холодная война с долгими годами ненависти и недоверия, политики блоков и, с другой стороны, ошибки предшествующих правителей Венгрии и использование этих ошибок зарубежной пропагандой. Совещание единодушно сожалеет о трагическом кровопролитии в октябрьские и ноябрьские дни и выражает венгерскому народу в этих испытаниях свою братскую симпатию...»

Итальянские социалисты не участвовали в голосовании — они приехали, чтобы обосновать свой уход из Движения. Все остальные проголосовали за текст д'Астье — и советские делегаты, и польские, и австралийские, и генерал Карденас, и Марк Жакье, и Китчлу.

Когда я возвращался в гостиницу, было темно. Блистала огнями большая предрождественская елка. Финны шли в банки, в учреждения, в магазины. Я заказал в гостинице кофе. Не хотелось спать, да и трудно было себе представить, как провести день в этом чужом городе. На столике стояла нелепая ваза начала нашего века, в нее милая секретарша Финского комитета мира поставила две хризантемы. Ваза была с трещиной, скатерка оказалась промокшей. Я сидел и думал: что-то изменилось не только в нашем движении, но и в каждом из нас.

Мысли путались — от усталости и от глубокой невыразимой печали. Я понимал, что Венгрия — расплата за прошлое, но она стала преградой к будущему, и в то утро мне казалось, что преграду не сломить.

Мне повезло, я на час задремал: можно было не думать.

Когда я вернулся в Москву, я увидел в «Литературной газете» письмо — ответ советских писателей французским. И текст мне не очень понравился — был пространен и порой недостаточно убедительным. Однако шла война, и рассуждать о том, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо. Вместе с Паустовским и другими писателями я присоединился к письму.

Я видел имена французских, итальянских писателей под различными обращениями, связанными с событиями в Венгрии: Сартр, Клод Руа, А. Шамсон, Симона Бовуар, Моравиа, Пратолини, Витторини, Вайян, Веркор, Ж. Мадоль, Моруа, Ж. Превер, Клод Морган, Кассу, Ломенак, Пьер Эмманюэль и другие протестовали против действий Советского Союза; среди них были и наши вчерашние союзники, и люди умеренных воззрений, еще вчера стоявшие за расширение культурных связей, мои друзья и лица, которых я едва знал. После оттепели, показавшейся не только мне, но и миллионам людей началом весны, наступали заморозки. Я пытался сделать все, что мог, для того, чтобы помешать возобновлению «холодной войны». 1 декабря «Литературная газета» поместила мое «Письмо в редакцию», я кончал его словами: «Мне кажется, нужно уметь отделить наших друзей, которые в том или ином вопросе расходятся с нами, от людей, призывающих к разрыву с Советским Союзом и с коммунистами. Некоторые круги Запада теперь стремятся возродить климат холодной войны и разъединить деятелей культуры, преданных делу мира и прогрессу. Я считаю, что в наших интересах, в интересах мира сделать все, чтобы этому воспрепятствовать».

Еще летом я предложил от имени Секции друзей французской культуры писателю Веркору привезти в Москву выставку современной художественной репродукции. Веркор, как я упоминал, подписал один из протестов. Он думал, что мы отложим выставку до лучших времен. Я предложил ему, наоборот, ускорить свой приезд в Москву и открытие выставки. Он согласился. Обмен письмами был опубликован во Франции и у нас.

Жолио-Кюри решил собрать в Париже вице-президентов Всемирного Совета Мира — обсудить, что дальше делать. Французское правительство дало визу Корнейчуку, а меня в Париж не впустили. Видимо, боялись не жесткости, а мягкости.

Зимой тоскливо просыпаться по утрам в маленьком домике, сдавленном сугробами. Дни куцые, кругом никого, только синицы и воробьи прилетают, соблазненные крошками хлеба. Я вылечился от недавнего простодушия: понял, что понадобятся долгие годы, может быть десятилетия, прежде чем мы окончательно растопим огромные льдины «холодной войны», прежде чем у нас весна войдет в свои права. Я думал, что вряд ли до этого доживу, но этим нужно жить, за это бороться.

10

После «Оттепели» я не написал ни одного романа, ни одного рассказа. В 1957—1958 годах я отдавал все свое время очеркам о литературе, об искусстве. Сейчас я задумался: почему? Может быть, мне надоело «выдумывать»? Александр Дюма, когда ему стукнуло шестьдесят, перестал писать, он иронически поглядывал на своего сына, который незаметно клал на письменный стол отца чистые листы бумаги, и однажды не выдержал: «Не старайся зря. Больше писать не буду. Хватит!» А я продолжал изводить бумагу. Право же, я мог бы «выдумать» еще один или два романа. Это, пожалуй, легче, чем писать о чужом творчестве. Автор романа или рассказа вправе изменить если не характер, то поведение своих героев. Чехов переделал развязку рассказа «Невеста», а когда я писал о Чехове, я не мог ничего изменить ни в его природе, ни в его творчестве.

Я много работал, написал предисловия к книгам И. Бабеля и Марины Цветаевой, перевел баллады Франсуа Вийона, сонеты дю Белле, старые французские песни, напечатал очерки о некоторых чертах французской культуры (о Стендале, о художниках-импрессионистах, о Пикассо, о Поле Элюаре). В 1957 году я побывал в Японии и Греции, эссе об этих странах вместе с написанными раньше «Индийскими впечатлениями» составили книгу. Потом я занялся чешским художником середины прошлого века Карелом Пуркине и наконец сел за книжку о моем любимом писателе А. П. Чехове.

Мы увидели, что Запад не знает ни нашей литературы, ни нашего искусства. В памяти некоторых людей старшего поколения на Западе остались гастроли театров Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, «Броненосец «Потемкин», «Двенадцать» Блока. Люди помоложе ничего не помнили, они восхищались Шостаковичем, чтили Маяковского, которого знали скорее по биографии и по фотографиям, нежели по стихам, и с уверенностью говорили, что русские лишены пластического гения — они хорошо поют, особенно хором, а за границу посылают огромные холсты, похожие на раскрашенные фотографии. Никто не знал стихов Пастернака, и «Доктора Живаго» приняли как произведение никому не ведомого гения. Когда показались молоденькие задорные поэты Евтушенко и Вознесенский, их ждал на Западе подлинный триумф. На вечера поэзии Евтушенко пришло больше французов, чем приходили ког-

да-либо на встречи с французскими поэтами (исключаю похороны Гюго). Дошло до явных курьезов — в Италии вышла специальная монография о «выдающемся художнике новой России» Илье Глазунове.

Наша молодежь ничего не знала о Мейерхольде, никогда не читала стихов Мандельштама или Марины Цветаевой, не видела холстов прекрасных наших художников — раннего Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Шагала, Малевича, Фалька. Холсты живописцев Запада — Мане, Дега, Моне, Сезанна, Матисса, Пикассо — были спрятаны в таинственные «фонды». Кафку критики поносили, это было общеобязательным, но никто, даже критики не знали, что Кафка писал.

Когда в 1957 году в книжный магазин Истры привезли несколько экземпляров рассказов И. Бабеля, они долго лежали на полке: никто не слыхал о Бабеле, и его путали с немецким социал-демократом Бебелем. Для молодых людей, вошедших в жизнь после XX съезда, слишком многое было неизвестно. Я перешел к новому для меня жанру не от душевной лени, а от сознания своей ответственности перед читателями.

В начале мая 1957 года я вернулся в Москву из Японии. Ко мне пришел взволнованный В. А. Каверин и сказал, что завтра состоится встреча писателей с руководящими товарищами — намечается крутой поворот к лучшему. Хотя я и сомневался в оптимистическом прогнозе Вениамина Александровича, на встречу пошел. В дверях я столкнулся с Д. Т. Шепиловым, который почему-то сказал мне: «Вам необходимо выступить». Н. Грибачев резко нападал на московских писателей. Выступали многие писатели, отстаивавшие право писателя говорить правдиво или, наоборот, вспоминавшие «клуб Петефи» и нападавшие на тех, кто показывает «теневые стороны жизни». Я выступил и попытался поспорить с теми, кого потом произвели в «автоматчиков». В итоге Н. С. Хрущев сказал, что он согласен с суждениями «автоматчика» Н. Грибачева.

Неделю спустя нас снова пригласили на встречу, которая должна была состояться на правительственной даче, расположенной довольно далеко от Москвы. Сначала все бродили по аллеям вокруг пруда. Навстречу шел тот или иной ответственный товарищ, окруженный братьями писателями. Потом настал час обеда. Народу было много. Все расселись за длинными столами. Разразилась гроза с проливным дождем. Столы стояли под навесом, но прихо-

дилось то и дело приподымать брезент — на нем образовался второй пруд. Промокшие музыканты и певицы жались поближе к сухому месту. Обстановка была шекспировская — гром то и дело громыхал, да и реплики хозяина стола были грозными, их не могли скрасить ни коньяк, ни жареная рыба, изловленная, по заверению меню, в местном пруду. Н. С. Хрущев нападал на К. Симонова, М. С. Шагинян и почему-то особенно на Маргариту Алигер. К. А. Федин покаялся в том, что чего-то не додумал. Л. Соболев горячо поддержал хозяина стола. Я не выдержал и ушел до конца обеда.

В августе в газетах было напечатано «сокращенное изложение» выступления Н. С. Хрущева под заголовком «За тесную связь литературы и искусства с жизнью». В нем мало говорилось о литературе и искусстве, зато автор неизменно возвращался к своей новой оценке Сталина: «Строительство социализма в СССР осуществлялось в обстановке жестокой борьбы с классовыми врагами и их агентурой в партии — с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и буржуазными националистами... В этой борьбе Сталин сделал полезное дело. Этого нельзя вычеркивать из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции нашей страны за социализм, из истории Советского государства. За это мы ценим и уважаем Сталина. Мы были искренними в своем уважении к И. В. Сталину, когда плакали, стоя у его гроба. Мы искренни и сейчас в оценке его положительной роли в истории нашей партии и Советского государства».

Нападки на писателей были связаны не с критикой литературных произведений, а с изменением политической ситуации.

Московскую организацию писателей Н. С. Хрущев корил за то, что некоторые писатели отнеслись серьезно к тому, что он год назад рассказывал о Сталине. Н. С. Хрущев упоминал о Венгрии, хотя слишком очевидным было различие между страной, которой еще недавно управляли фашисты, и социалистическим государством, родившимся сорок лет назад, где трудно было сыскать человека, жаждущего восстановления капитализма. Хотя была отстранена «антипартийная группа», слишком связанная со сталинской эпохой, Н. С. Хрущев пытался реабилитировать Сталина.

Наступали заморозки. Люди старались не вспоминать о XX съезде и, конечно, не могли предвидеть XXII. Молодежь пытались припугнуть, и студенты перестали говорить на собраниях о том, что думали, — говорили между

собой. Страх, заставлявший людей молчать при Сталине, исчез. Он заменился обычными опасениями, существующими в любом обществе: если много кричать, пошлют на работу подальше от Москвы. Вместо объяснений предшествующего периода молодое поколение получило шотландский душ: Сталина то низвергали в бездну, то прославляли, тем самым мораль подменили карьеризмом.

К сорокалетию Октября была созвана юбилейная сессия Верховного Совета. Собралась она на Центральном стадионе; впереди сидели депутаты, а за ними свыше десяти тысяч приглашенных. Хрущев читал длинное выступление, делал это он редко, обычно, прочитав страничку, засовывал текст в карман и переходил к живой речи. На этот раз он читал, часто ошибаясь, и лицо у него было сердитое. За ним сидел громоздкий Мао Цзэдун с непроницаемым лицом. Хрущев повторил восхваление Сталина: «Как преданный ленинист-марксист и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное». Раздались аплодисменты.

Поворот был резким, и я это почувствовал на оценке моих скромных литературных работ. Еще в 1956 году я написал предисловие к избранным стихам Марины Цветаевой. Книга задерживалась, и мое предисловие напечатал альманах «Литературная Москва». Хотя на совещаниях никто о предисловии не упоминал, много говорили об альманахе — он приводился как доказательство «ревизионистских настроений» московских писателей.

Статья о моем предисловии была озаглавлена «Про смертяшкиных», и в ней говорилось: «По древней заповеди надлежит о мертвых ничего не говорить или говорить только хорошее. Цветаева умерла в 1941 году. Пятнадцать лет — это слишком большой срок для поминок. И. Г. Эренбург, задержавшись на поминках, продолжает возжигать светильники, кадить ладан, плакать и рвать на себе волосы... Цветаева повторяет зады Смертяшкина... Нам жаль усилий Эренбурга. Положительно зря возводит он в перл поэтического творения «дорожные грехи праздношатающейся музы» (выражение П. Вяземского)». Другая статья заключала такое суждение: «Эренбург дал в альманах предисловие к книге стихов Марины Цветаевой, книге, еще не вышедшей в свет, пытаясь утвердить за декадентствующей поэтессой, чье имя и поэзия не нашли отклика в сердце народа и давно канули в реку забвения, право на сочувственное внимание массы читателей».

Стихи Цветаевой были изданы пять лет спустя, и «канули в реку забвения» не ее имя и поэзия, а имена и статьи ее хулителей...

Осуждали решительно все, что я писал. О Бабеле, например, я говорил чересчур хвалебно: «Запутанность мировоззрения делала И. Бабеля художником крайне ограниченным». Разругали две странички, написанные для сборника памяти Л. Н. Сейфуллиной. Не обошлось дело и без художников — президент Академии художеств воскликнул: «Писатель Эренбург восхваляет творчество таких формалистов, как Леже и Брак!»

Однако наибольший шум вызвал мой очерк «Уроки Стендаля». Я перечитал теперь несколько статей и откровенно скажу — не понимаю, почему так рассердил блюстителей «основоположных принципов» именно этот очерк. Видимо, он появился в неподходящее время — ведь два года спустя на меня не накинулись за книжку «Перечитывая Чехова», хотя уроки Антона Павловича совпадали с уроками Стендаля, да и были куда понятнее молодому русскому читателю. Критики меня упрекали за «маскировку», но на самих критиках были маски: они много рассуждали о романтизме и реализме, об отношениях между Стендалем и Бальзаком, о замалчивании мною трудов российских стендалеведов, о раскрытии, на их взгляд неуместном, сердечных дел Анри Бейля (хотя Стендаль это делал во многих своих книгах). Вероятно, критиков разозлил Стендаль, написавший на полях рукописи «Люсьена Левена»: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор».

Прошу читателей простить мне столь длинный рассказ о давних литературных неприятностях. Право же, я сделал это не для того, чтобы пококетничать былыми царапинами. Я хотел показать все бессилие атаковавших и стихи Марины Цветаевой, и прозу Бабеля, и живопись импрессионистов, и художественное мышление Стендаля. Конечно, люди, читавшие тогда «Знамя» или «Октябрь», не могли познакомиться с поэзией Цветаевой или с холстами Сезанна, но критикам не удалось оттолкнуть читателей от меня. Критики «согласовывали» свои оценки с тем или иным товарищем, но согласовать со временем ни своей хулы, ни своих острот они не могли. Время подтвердило одно, перечеркнуло другое.

Может быть, думали нападками сломить меня? Когда-то молодой Тихонов написал стихи о людях, из которых можно было делать гвозди. Из моих сверстников многие погибли, многие, не выдержав испытаний, умерли, но некоторых уцелевших время переплавило; мы действительно стали гвоздями. Мы стали неисправимыми и печальными оптимистами. «Гвозди» оказались склонными к тому, что в литературе называют романтической иронией: они посмеивались и друг над другом, и над различными молотками. Это воистину особое племя. Для меня те годы были хорошим испытанием, я понял: можно писать и нужно писать. Когда я отходил от машинки и спускался по крутой тропинке моего сада к речке, я думал о том, что стало последним заданием моей жизни, — о книге воспоминаний.

11

В апреле 1957 года, как я упоминал, я поехал в Японию; об этом путешествии я написал очерк, в котором главным образом хотел показать общность истоков культуры, путь эллинского Диониса в Индию, Китай, Корею, а оттуда в японскую Нару, влияние японских эстампов на художников Франции второй половины прошлого века и многое другое. В книге воспоминаний я хочу рассказать о забавных мелочах, да и отметить, какую роль сыграла поездка в Японию в моей жизни.

В Японию я поехал с Любой, нас пригласил специальный комитет, созданный для «приема Ильи Эренбурга». В комитет входили представители Общества дружбы Япония — СССР, переводчики русской литературы и работники японского комитета мира. Деньги дали большая газета «Асахи» и радио. Все было поставлено на широкую ногу. В Фукуоке молодой человек вынес из комнаты гостиницы наши чемоданы в коридор. Люба удивилась. Тогда, поклонившись, он протянул ей визитную карточку, как то делают все в Японии. Текст был напечатан по-японски и по-русски, и мы узнали, что молодой человек «третий секретарь комитета в Фукуоке по приему советского писателя Ильи Эренбурга». Не знаю, что было сказано на его обычной визитной карточке, но, видимо, он гордился временным титулом.

Токио самый большой город мира, в нем тогда было около десяти миллионов жителей, он и самый беспорядочный — многие улицы не имеют названия, дома часто

без номеров, адрес скорее рисуют, чем диктуют. Сами японцы путаются. Мы прожили там две недели, много колесили и в итоге находили все, что искали.

Япония — своеобразная страна — то живешь в Азии, то в Америке, то в Европе. Универмаги, большие заводы, вокзалы, аэродромы напоминают Америку. Увеселительная часть Токио скопирована с парижского Монмартра. Приходя в себя, японец у входа в дом снимает обувь и начинает жить по-японски. Японские дома светлы и пусты, о такой современной архитектуре не смели мечтать Корбюзье или наши конструктивисты двадцатых годов: раздвижные стены, комнаты путешествуют, вещи в стенных шкафах, на стене одна картина, в нише одна ваза.

Я привык к особенностям японского быта, но мои ноги не могли к ним привыкнуть. В городе Нагоя мы остановились в японской гостинице. Вечером стелили на полу постели. Одеваться было очень трудно, а отдохнуть невозможно. Молодой переводчик Хара пришел к нам в комнату и вскрикнул от ужаса: увидел на циновке туфли Любы. Она его долго успокаивала: вынимая платье из чемодана, она вынула туфли — она в них не пришла с улицы.

Помню ужин в Киото: нас угощал мэр города, социалист, он вел серьезный политический разговор о сближении между нашими странами. Это не помешало ему пригласить гейш, которые дали нам розовые визитные карточки, угощали рисовой водкой, улыбались, а потом танцевали и пели. Ужин происходил в японском ресторане. Мы сняли обувь на улице и прошли в зал в носках. Я вытянул ноги под столом и часа два спустя почувствовал, что они замлели. В беседу о развитии экономических и культурных связей ворвались неподходящие мысли: как я встану, чтобы не уронить престиж Советского государства?

Один японский писатель, показал мне низенький игрушечный столик: «Здесь я написал мой роман...» Я изумился: романов я написал вдоволь, но написать шестьсот страниц, сидя на полу, показалось мне чудом.

На собраниях, в клубах, в университетах грязно — циновок нет, японцы сидят обутые и кидают окурки на пол. Зато в любом доме идеальная чистота. Крестьянский дом похож на дом городского богача. Люба, конечно, замечала, что циновки другого качества, но для мужского глаза они кажутся одинаковыми.

Религий и сект много. Если взять статистику, то окажется, что синтоистов и буддистов вместе взятых больше, чем всех японцев: многие крестьяне молятся в синтоист-

ских храмах, а хоронят умершего по буддийскому обряду. Однако я не назвал бы Японию страной религиозной: молятся скорее по привычке, чем от обилия чувств. В Токио я видел, как шла по улице парочка: элегантный японец, сноб, с хорошенькой девушкой. Они оживленно о чем-то разговаривали. Подойдя к синтоистскому храму, оба захлопали в ладоши — так молятся синтоисты, а потом пошли дальше, продолжали разговор, останавливались у витрин модных магазинов. В Фукуоке вокруг буддийского храма бегали спортсмены, касаясь ладонями камней. Оказалось, что это больные, жаждущие исцеления. Чудо не заменяет для них медицины, но почему бы не попробовать: а вдруг вылечатся?..

Меня удивила откровенность в разговорах. Того флера, к которому я привык в Европе, не было. Нас повели в дом богатого японца; выяснилось, что тридцать лет назад он переделал для театра мой роман «Трест Д. Е.». Одновременно портные принесли дорогие материи, чтобы Люба выбрала ту, что ей нравится, для кимоно. Люба отказывалась — ей не нужно кимоно, но пришедшие с нами японцы объяснили: хозяин хорошо заработал на инсценировке «Треста Д. Е.», следовательно, материя должна быть самой дорогой. В другой раз Хара — молодой, уговаривая нас выпить чай с тостами, добавил: «Это очень дешево, не стесняйтесь». Жены писателей рассказывали Любе, как изменяют им мужья. В эссе «Похвала тени» знаменитого писателя Танидзаки я нашел рассуждения, что нет ничего прекраснее, чем писсуары из криптомерии, и по тону, и по аромату дерева, и по его акустическим возможностям.

Условностей много. Встречаясь, японцы низко кланяются и стараются как можно медленнее выпрямиться. (Один советский работник, только что приехавший в Японию, высказал свое удивление. Посол решил пошутить: «Почти все японцы страдают ревматизмом — климат такой...» Новичок перепугался — сказал, что у него предрасположение к ревматизму.) Встречаясь, также усиленно нюхают друг друга: вдыхают аромат. Секретарь японского Комитета мира, пять лет спустя, когда у нас возникли политические трудности, будучи благовоспитанным, всякий раз тщательно меня обнюхивал.

В первую неделю моего пребывания в Токио я дивился: мы сидели в ресторане с японцами и ели, а позади другие, не прикасаясь к еде, что-то записывали. Потом один из переводчиков показал мне большую газетную статью, в которой довольно фантастически излагалось все, что я го-

ворил за обедом. Я рассказал об этом пригласившим меня японцам, они удивились моему удивлению: «За обед заплатила редакция, естественно, что она не хочет зря бросать деньги». После этого я стал за едой помалкивать.

Я все же не хочу, чтобы читатель подумал, будто мои впечатления от Японии сводились к тяготам сидения на татами, церемонии приветствий или множеству других церемоний, хотя бы чайной. Страна меня поразила своей глубокой тревогой. Напомню редкие способности ее народа. За два года, когда кончилась изоляция Японии (1871 — 1872), была построена первая железная дорога, начала выходить первая ежедневная газета, было введено всеобщее начальное обучение, открылся первый университет. Началась индустриализация страны, огромные заводы изготовляли современное оружие, текстильные фабрики, благодаря дешевизне труда, заполнили все континенты своими товарами. Выиграв войну против царской России, правящая верхушка начала готовиться к завоеванию Китая и Сибири. Самураи, в рассказах, совершали подвиги или вспарывали себе живот. Легенды о шпионах и полицейских изготовлялись на конвейере. Тем временем родилась интеллигенция, росло сознание пролетариата. В годы второй мировой войны Япония завоевала почти всю Азию, и тут наступил крах: конец третьего рейха, атомные бомбардировки, капитуляция, Америка сделала все, чтобы поработить Японию, это оказалось очень легким и невозможным.

Япония — это горы, вулканы, узкая прибрежная полоса; только одна шестая территории обрабатывается. Я был в университете Васада, там учатся двадцать шесть тысяч студентов; а всего в Японии пять миллионов студентов на девяносто миллионов жителей. Естественно, что официанты, бухгалтеры, приказчики оказываются людьми с высшим образованием.

Я вспоминаю судьбу писательницы Хаяси Фумико, которая умерла в 1951 году в возрасте сорока восьми лет. Русский перевод шести ее рассказов вышел в 1960 году. Я написал предисловие. Мне понравилось в этих новеллах что-то незнакомое и, вместе с тем, человечное; не знаю, как это определить, пожалуй, вернее всего уничтожающими словами наших присяжных искусствоведов — «смесь барокко с натурализмом». В жизни ей пришлось работать на фабрике, быть официанткой, приказчицей, прислугой, она хорошо знала грубую плоть жизни и ко всему была поэтом.

Женщинам в Японии тяжело: они живут еще в прошлом быту и, вместе с тем, знают, понимают многое не хуже мужчин: из любви к традициям их продолжают угнетать, как карликовые растения, культурой которых японцы гордятся. Однако появились студентки, глаза их выражают ту же тревогу, что и глаза юношей.

Читают молодые очень много, стоят в книжных лавках и читают книгу, не покупая ее. Тиражи все же большие. Нет ни одного советского или западноевропейского прозаика, хоть сколько-нибудь известного, чьи книги не были бы тотчас переведены. На выставках Пикассо, Матисса, Шагала побывали миллионы японцев. Сотни различных театров, от древнейшего Но, где актеры в масках, а позади хор комментирует происходящее, до ультрасовременного «театра абсурда». Сто восемьдесят шесть газет выходят общим тиражом в тридцать пять миллионов. На шесть душ один радиоприемник.

Искусство Японии выдает беспокойство. Японские фильмы имели успех в странах Европы, но зрители добавляли: «Какие они жестокие!» То же самое говорят о переводах японских романов. Что поражает в них? Та пугающая европейцев искренность, о которой я шутливо рассказывал, становится совсем не шутливой в показе войны, голода или одиночества.

Мне понравился поэт и романист Таками. Он был красив, печален и говорил коротко, то со взлетом над миром, то неожиданно грубо. Потом он побывал в Москве, а в 1963 году заболел раком. Его оперировали. Он успел написать короткие стихи о встрече со смертью и вскоре умер.

Прежде европейцы, попадая в Японию, интересовались гейшами и цветущей вишней: Японию они знали по роману Лоти «Госпожа Хризантема» и по опере Пуччини «Госпожа Баттерфляй». Теперь перед туристами маячат атомные «грибы». В Хиросиму я не попал, но был в Нагасаки. Трудно было представить себе, что этот город всего двенадцать лет назад уничтожила атомная бомба: он выглядел оживленным, даже цветущим. На месте, где разорвалась атомная бомба, — колонна; неподалеку памятник жертвам.

В музее фотография профессора Токаси Нагаи: он лежит и смотрит в микроскоп — на себе изучает последствия радиации. Он написал книгу «Мы из Нагасаки» и умер. Девяносто процентов жертв бомбардировки умерли сразу или в первые недели, но десять процентов умирали медленно. В 1957 году, когда я был в Японии, я видел лю-

дей с обожженными лицами, японцы продолжали заболевать лучевой болезнью, женщины рожали уродцев. В Нагасаки я еще сильнее понял, что совесть не успокоится, пока продолжает изготовляться и накопляться ядерное оружие.

Я вдруг ощутил связь между Нагасаки и всеми бесчисленными конгрессами, конференциями, сессиями, заседаниями, на которых мы говорили о борьбе против ядерного оружия. Мы говорили вчуже, а японцы уже испытали это оружие на себе: первую черновую репетицию уничтожения жизни. Над нами посмеивались — одни злобно («закамуфлированные коммунисты»), другие добродушно («наивные простачки»). В Японии я понял, что не оставлю этой борьбы, пока смогу двигаться и говорить. Может быть, история мельком упомянет о попытках сторонников мира предотвратить катастрофу, может быть, она признает, что мы сыграли некоторую роль в отказе от ядерного оружия, а может быть, и не будет уж никакой истории. Можно бросить все — и литературу, и политику, но не это — не борьбу за право ребенка на жизнь.

12

В августе 1957 года газета «Ле монд» поместила заметку своего специалиста по русским делам, подписанную А. П. — Андре Пьер, который, ссылаясь на израильского журналиста Бернара Турнера, обвинял меня в гибели группы еврейских писателей. Бернар Турнер утверждал, что он был арестован в Москве в 1943 году и отправлен в концлагерь возле Братска. Там в 1949 году он встретил нескольких еврейских писателей, среди них Бергельсона и Фефера, которые ему завещали, если он встретит меня, сказать, чтобы я возложил цветы на могилу загубленного мною Неизвестного мученика.

Друзья прислали мне номер французской газеты. Я отправил короткое письмо в редакцию, написал, что среди погибших еврейских писателей были мои друзья и что вкладывать измышления в уста людей, которых больше нет, прием далеко не новый. Редакция поместила мое письмо под заголовком «Антисемитизм г. Эренбурга».

Статью Турнера перепечатали разные газеты Запада, а в 1959 году в Париже вышла книга Леона Ленеманна, который рекомендует себя корреспондентом израильских, американских и южноафриканских газет. Одна глава посвящена мне. Автор не довольствуется измышлениями

Турнера, он приводит также рассказ американского журналиста доктора Шошкеса: «Был еще один свидетель обвинения. Вдовы и сироты убитых писателей знают его имя: это Илья Эренбург. Он приезжал на заседание трибунала в своем автомобиле. После того, как он отягчал судьбу подсудимых своими показаниями, он спокойно возвращался к себе, в свою квартиру на одной из самых центральных улиц Москвы — улице Горького».

Я не знаком ни с Турнером, ни с Ленеманном, ни с доктором Шошкесом. Не только семьи погибших еврейских писателей, но и все советские люди, имевшие близких среди жертв Ежова и Берии, знают, что тех, кого намеревались расстрелять, не отправляли ни в какие лагеря. Военный трибунал в Москве в 1952 году приговорил к расстрелу еврейских писателей, в том числе Д. Бергельсона и И. Фефера. О процессе и судьбе писателей я узнал только после их посмертной реабилитации. Никогда меня не привлекали к следствию и, разумеется, не вызывали ни на какой суд. Единственное правильное в сообщении доктора Шошкеса, что я жил и живу на улице Горького.

Есть старая русская пословица: «Господь любит праведника, а господин ябедника». Я встречал в жизни праведников. Не знаю, как к ним относится господь бог, но честные люди их почитали. Зато я хорошо знаю, как различные господа жаловали ябедников и расплачивались с ними не на далеком небе, а здесь, на земле. В Нью-Йорке, Тель-Авиве, в Париже, как во всех городах мира, живут люди честные и бесчестные. Каждый теперь сможет судить о порядочности моих обвинителей.

В шестой части этой книги я рассказал о нападках на «космополитов», которые почти всегда обладали еврейскими фамилиями, а «Крокодилом» изображались с положенными им носами. После 1953 года антисемитизм перешел из высокой политики в закоулки быта, он, однако, не исчез. Я расскажу далеко не все, что знаю, приведу только несколько примеров, чтобы не показаться голословным.

В Дагестане живут горские евреи. По наружности они не походят на евреев Европы, многие проживают в аулах, занимаются виноградарством и скотоводством. Осенью 1960 года ко мне неожиданно пришли четверо горских евреев и возмущенно рассказали, что в газете Буйнакского района появилась статья, критиковавшая разные религии. Обличая иудаизм, автор статьи утверждал, что набожные евреи подмешивают к питьевой воде немного мусульманской крови. Правда, два дня спустя в газете появилось

опровержение, а месяц спустя редактора сняли за допущенную им «политическую ошибку»; но приехавшие в Москву делегаты горских евреев требовали, чтобы в газете была опубликована статья, опровергающая древнюю клевету — ритуальное употребление евреями крови инаковерующих. Я пробовал их успокоить, пытался (безуспешно) им помочь. Они прожили в Москве месяц, ходили всюду, куда могли; характер у них был пылкий и твердый. Ничего не добившись, они уехали. Тем временем выяснилось, что буйнакскую газету получали в одной из соседних стран и злополучная статья была напечатана в некоторых газетах Запада.

Осенью 1959 года два хулигана подожгли синагогу в московском пригороде Малаховка. Об этом вскоре стало известно за границей. Поджигатели оставили на месте преступления и расклеили на Казанском вокзале листовку, подписанную инициалами БЖСР — боевым кличем, казалось мне, забытым, белогвардейцев «Бей жидов, спасай Россию!». При поджоге от дыма задохлась сторожиха. Нашли виновников по одной рассеченной букве в канцелярской машинке. Преступники оказались двумя комсомольцами. Ко мне пришел следователь, спрашивал, какое впечатление произведет на Западе открытый процесс. Я ответил: «Прекрасное». Однако решили иначе: суд был закрытым, поджигателям дали по шести лет исправительных лагерей. Комитет по делам религий сообщил о приговоре некоторым иностранцам, но советские люди, даже обитатели Малаховки, ничего о суде не узнали.

В 1961 году в «Литературной газете» было напечатано стихотворение Е. Евтушенко «Бабий Яр». «Литература и жизнь» напечатала сразу стихи Маркова, утверждавшего, что Евтушенко носит узкие брюки и что он — не русский; и длинную статью Д. Старикова. Желая доказать читателям, что нельзя говорить о национальности жертв фашизма, Стариков приводил мои стихи о Бабьем Яре, написанные во время войны, и обрывал цитату до слов: «Моя несметная родня». Я знаю, что во время оккупации фашисты в Бабьем Яру убивали участников сопротивления — русских, украинцев, но в народной памяти запечатлелись сентябрьские дни 1941 года, когда гитлеровцы убили в Бабьем Яру всех евреев, не сумевших выбраться из Киева, — стариков, больных, женщин, детей. По данным, оглашенным на Нюрнбергском процессе, в течение двух дней гитлеровцы убили там около сорока тысяч советских граждан еврейской национальности.



А. Моравиа и И. Эренбург.
Рим, 1957 г.



Р. Гуттузо и И. Эренбург.
Москва, 1950-е гг.



И. Эренбург и К. Леви.
Москва, 1962 г.



А. Монтегю в гостях на даче И. Эренбурга. 1960-е гг.



Выступление И. Эренбурга в Лондоне. 1951 г.



И. Эренбург и Ф. Жолио-Кюри. Берлин, 30 марта 1957 г.



Обложка брошюры И. Эренбурга «Фредерик Жолио-Кюри» (Москва, 1958 г.)



Л. М. и И. Г. Эренбурги,
П. Неруда и Ж. Амаду (спиной)
в усадьбе Неруды. Чили, 1954 г.



И. Эренбург и В. Незвал.
Прага, 1950 г.



И. Эренбург и П. Неруда.
Москва, Кремль, 1951 г.



И. Эренбург вручает
Сун Цинлин Международную
Сталинскую премию мира.
Пекин, 4 октября 1951 г.



Чжоу Эньлай и И. Эренбург.
Пекин, октябрь 1951 г.



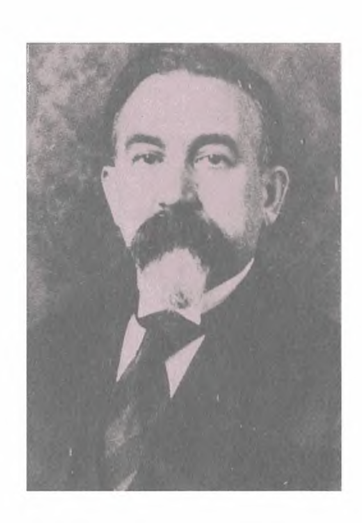
И. Эренбург на официальном
приеме в Пекине. 1951 г.



И. Эренбург и китайская
писательница Дин Лин. 1951 г.



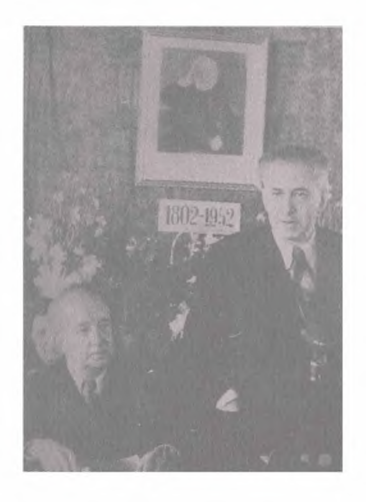
Э. Эррио и М. Литвинов в Лиге Наций. 1930-е гг.



Я. З. Суриц



Выступление Н. Хикмета на вечере И. Эренбурга в Литмузее. Москва, февраль 1956 г.



П. Элюар и И. Эренбург на вечере, посвященном 150-летию В. Гюго. Москва, 1952 г.



Выступление И. Эренбурга на церемонии вручения ему Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Москва, Кремль, 27 января 1953 г.



Р. Вайян, А. Зегерс, И. Эренбург, Л. Арагон, Э. Триоле после вручения И. Эренбургу премии мира в Кремле. 1953 г.



И. Эренбург, К. Федин,
Н. Тихонов и Л. Леонов
у гроба Сталина



Ив Фарж



Выступление И. Эренбурга на
митинге памяти И. Фаржа.
Внуково, 1953 г.



Борис Слуцкий



Виктор Некрасов



И. Эренбург и К. Паустовский.
Москва, февраль 1956 г.
Фото А. Лесса



Выступление И. Эренбурга на II съезде советских писателей. Москва, 1954 г.



И. Эренбург, Н. Гильен, Ж. Амаду. Москва, декабрь 1954 г.



Маргарита Алигер



Суперобложка книги Ольги Берггольц. «Верность». Художник Н. Альтман



И. Эренбург, Клод Руа, Пабло Пикассо. Валорис, 1954 г.



И. Эренбург в гостях у Ж. П. Сартра. Париж, 1955 г.



И. Эренбург и П. Кот



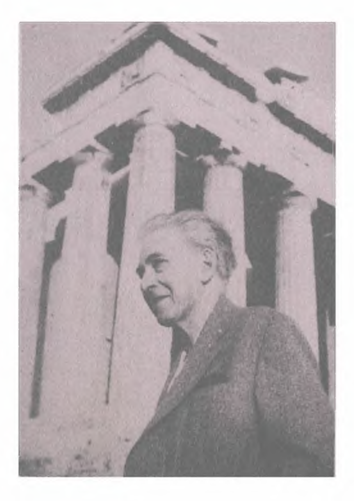
И. Эренбург и доктор Балига.
Бомбей, 9 февраля 1956 г.



Р. Неру поздравляет Эренбурга
с днем рождения. Дели,
27 февраля 1956 г.



И. Эренбург и Е. Шварц.
Ленинград, 1947 г.



И. Эренбург в Афинах. 1957 г.



Выступление Н. С. Хрущева
на XX съезде КПСС. 1956 г.



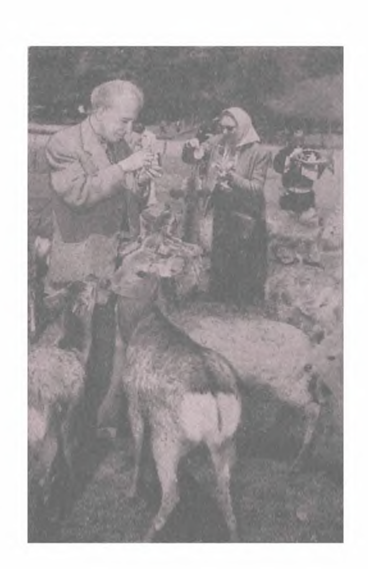
Будапешт, октябрь 1956 г.



И. Эренбург принимает
избирателей. Даугавпилс,
10 декабря 1957 г.



И. Г. и Л. М. Эренбурги
в Японии. 1957 г.





Л. Мэр и И. Эренбург.
Стокгольм, 1961 г.



М. Сарьян работает
над портретом И. Эренбурга.
Ереван, 1959 г.



И. Эренбург на приеме
у католикоса всех армян Вазгена I.
Эчмиадзин, 1959 г.



И. Эренбург, Л. Мкртчян,
Г. Эмин и Л. Эренбург.-Козинцева.
Ереван, 1959 г.



Премьер-министр Франции
Э. Фор в гостях у Эренбурга.
Москва, 1956 г.



Дж. Бернал и И. Эренбург.
1950-е гг.



И. Эренбург беседует с
Н. С. Хрущевым (впереди
К. Ворошилов). 1960 г.



К. Попович и И. Эренбург – сопредседатели конференции «Круглого стола». Белград, 1965 г.



Генерал Пети на даче И. Эренбурга, где были написаны мемуары «Люди, годы, жизнь»



Марк Шагал. Нью-Йорк, 1946 г.

Я напечатал тогда в «Литературной газете» письмо: протестовал против использования моего имени Стариковым для утверждения мыслей, противоположных моим.

Люди, нападавшие тогда на стихотворение Евтушенко, говорили, что нельзя говорить о зверском истреблении фашистами евреев, потому что фашисты убивали, вешали, расстреливали гражданских лиц других национальностей — русских, украинцев, белорусов. Я достаточно писал в годы войны о зверствах гитлеровцев, не буду повторяться. Укажу только, что русских или украинцев фашисты убивали, подозревая их в скрытом сопротивлении, в связи с партизанами, в укрытии евреев или коммунистов, в нарушении своих приказов; требовался донос бургомистра, старосты или соседа, подозрительность любого эсэсовца. Евреев гитлеровцы убивали только за то, что они были евреями, убивали всех поголовно, стариков и новорожденных. В Праге нацисты предполагали устроить «Музей исчезнувшего народа». Именно это определило понятие «геноцида», значащееся в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Стихи Евтушенко сделали доброе дело: право евреев Киева на каменную плиту четверть века спустя после злодеяния было признано.

В декабре 1962 года на встрече правительства с писателями и художниками Н. С. Хрущев обвинил Евтушенко в выделении национальности убитых гитлеровцами жителей Киева и добавил, что в том же повинен также Эренбург. Евтушенко — молодой русский, я — старый еврей. Н. С. Хрущев заподозрил меня в национализме. Каждый читатель может сам рассудить, правда ли это.

Я зашел далеко вперед. После выступления Хрущева некоторые антисемиты почувствовали себя окрыленными. Украинская академия наук выпустила книгу «Иудаизм без прикрас». Книга относилась к антирелигиозным и на украинском языке рассказывала читателям о противоречиях и корыстности иудаизма. Эта книга была воспроизведена за границей. Я находился в Стокгольме, когда миролюбивый швед, незадолго до этого побывавший в Москве и приезжавший ко мне на дачу, принес книгу и попросил объяснить, что все это значит. Давно не было на свете ни Сталина, ни Берии, нельзя было отнести книжонку к ошибкам прошлого. Я долго разглядывал рисунки. Они напоминали журнал гитлеровца Штрейхера, положившего свою жизнь на изобличение евреев. Господь бог, согласно Писанию, сорок лет водил евреев по

16 Зак. 92

пустыне. Автор иллюстраций показывал, что он водил их на поводке, водил за носы и носы евреев, естественно, удлинились. Поведение носатых евреев показано в книге своеобразно: они поклонялись сапогу гитлеровцев, и носатый Бен-Гурион договаривался в Освенциме с эсэсовцами в то время, как там страдал человек с явно не еврейским носом. Мне пришлось отменить пресс-конференцию в Стокгольме. Месяца два спустя книжка была дезавуирована, и поехавший во Францию А. И. Аджубей сообщил, что она изъята из продажи.

Другое, еще более расистское произведение — «Дорогами жизни» — было напечатано в журнале «Дніпро». Там описываются козни рода Ляндеров против украинского народа. Родоначальник Исаак Ляндер нашел «гешефт» — получил у поляков в аренду несколько православных церквей, этот «нехристь» обирал украинцев. Внук Исаака Хаим Ляндер учел перемену обстановки: «Зачем раздражать гоев, если можно потихоньку спаивать их и обирать до последней нитки?» Гайдамаки сожгли корчму. «С той поры в семье Ляндеров украинцев не называли иначе, как «эти проклятые хохлы». Наш современник Соломон Ляндер становится сначала бундовцем, а потом большевиком и работником ГПУ.

Третье произведение — «Тля» — было написано по-русски и называлось романом-памфлетом. Роман был направлен против двух врагов — художников-«модернистов» и евреев. Все персонажи имеют явных прототипов: это так называемый роман с ключом. Положительный герой Михаил Герасимов, он же А. М. Герасимов, рассуждает: «Пастернак? Трава такая, вроде петрушки» — или: «Говорят, формалистскую мазню Фалька и Штеренберга из подвалов вытащили». Художник Борис Наумович рассказывает: «Вот последняя хохма». Когда одна русская спрашивает, что значит «хохма», Борис Наумович удивляется: «самое что ни есть русское слово». В романе действует крупный интриган с темным прошлым «Лев Барселонский». Он повторяет цитаты из статей Эренбурга, во время войны он делал агитплакаты против гитлеровцев, после войны приступил к иллюстрациям Стендаля, а теперь мечтает занять место Михаила Герасимова. К счастью, правительство отправляется в Манеж на выставку, где красуется формалистическая мазня евреев, и расчеты Льва Барселонского рушатся.

После октября 1964 года я не встречал в печати никаких антисемитских вылазок. Но не было и статей, направ-

ленных против антисемитизма. Предшествующая эпоха оставила в наследство немало тяжелого. В моей жизни этот вопрос продолжает играть не только скверную, но, я бы сказал, малопристойную роль. Для одних я некто вроде Льва Барселонского, чуждый элемент, существо если и не обладающее длинным носом, то все же занятое темными «гешефтами». Для других я — человек, потопивший Маркиша, Бергельсона, Зускина. Как это слишком часто бывает, торжествуют не праведники, а ябедники.

Однако куда больше, чем моя биография, меня тяготит вопрос о положении евреев в нашей стране. В последние годы Сталина в Москве рассказывали анекдот: еврей заполняет анкету для поступления на службу и, дойдя до пункта пятого, где нужно проставить национальность, вздохнув, пишет «да». Это отнюдь не смешная история. Память о гитлеровском геноциде, преследования евреев в 1948—1952 годах, неприязнь тех или иных соседей — все это вызвало среди советских евреев настороженность, повышенный интерес к своей национальности. А об этой национальности помнят лица, выдающие паспорта, но не лица, ограждающие национальную культуру. В советском обществе евреи сыграли видную роль. Напомню хотя бы о русской советской литературе и назову только имена писателей, которых больше нет в живых: Бабель, Пастернак, Багрицкий, Мандельштам, Тынянов, Светлов, Маршак, В. Гроссман, Ильф. Нельзя, однако, стоять за освоение евреями русской культуры и одновременно не бороться против антисемитизма.

Конечно, я убежден, как и шестьдесят лет назад, не только в гнусности, но и в обреченности любого расизма. Однако сейчас это звучит почти как абстрактная истина, и я чуть ли не каждый день получаю письма от евреев, ущемленных и обиженных. В таких жалобах, разумеется, немало преувеличений, но если задуматься над происходившим и даже над происходящим, они естественны.

Недавно я был в Праге и видел там в Государственном еврейском музее зал, где на камнях, покрывающих стены, мелкими буквами выдолблены имена трехсот тысяч евреев Чехословакии, убитых гитлеровцами. Рядом древнее еврейское кладбище; плиты на могилах астрономов или праведников, стоявшие века, кажутся восставшим в гневе народом. Я ушел оттуда и долго думал: когда же поймут все народы, все люди душевный мир евреев, уцелевших от нацистского геноцида? Обязательно поймут, но не завтра и не послезавтра.

13

В июне 1957 года по приглашению посла в Афинах М. Г. Сергеева я направился в Грецию вместе с С. В. Образцовым, Б. Н. Полевым, эллинистом А. А. Белецким и архитектором М. В. Посохиным. Групповые поездки не всегда бывают легкими, но мои попутчики оказались хорошими товарищами, все мы понимали нашу задачу: постараться наладить добрые отношения с греческой интеллигенцией. Образцов беседовал с режиссерами и актерами, Полевой с журналистами, Белецкий с учеными, Посохин с архитекторами, а я с писателями. Разумеется, мы встречались и с людьми других профессий, в частности, я познакомился с политическими деятелями различных партий, побывал на собраниях двух организаций, выступавших за мир, но враждовавших между собой: для одних ЭДА, для других либералы были пугалом куда более страшным, чем все водородные бомбы мира.

Многое из древнего искусства показалось мне новым, хотя я увидел Грецию в третий раз, я, например, прежде не бывал ни в Микенах, ни на Крите. Очерк об уроках эллинской культуры я дал в один из толстых журналов, но редактор, напуганный шумом вокруг моих «Уроков Стендаля», усмотрел в страницах, посвященных искусству Византии, некий скрытый подтекст. Я включил эссе о Греции в книгу очерков и не стану сейчас повторяться. Да и время не очень способствует размышлениям о причинах гибели минойской цивилизации — я пишу эту главу в дни, когда мир взволнован военным переворотом в Афинах, который чем-то напоминает мне переворот, осуществленный испанской военщиной в 1936 году. Судя по французским газетам, многие греческие писатели, с которыми я познакомился, а с некоторыми и подружился десять лет назад, арестованы. Мысли невольно возвращаются к трагической судьбе современной Греции.

Помню, как два замечательных человека — Ив Фарж и Поль Элюар — рассказывали мне о мужестве греческих партизан. Когда они были в Греции, исход гражданской войны был уже предрешен и защитники горы Граммос сражались, зная, что их ждет верная смерть. Осенью 1949 года злато и булат взяли верх. Одних партизан расстреляли, других отправили на острова смерти — Макронисос, Агиос, Евстратиос. В 1957 году я увидел первых вернувшихся с острова, их не реабилитировали, даже не амнистировали, они числились в отпуску, не имели права ме-

нять резиденцию и должны были регулярно представляться в полицейские участки. Среди них были поэты, художники. Я долго смотрел рисунки, сделанные на клочках оберточной бумаги: люди в концлагере; слушал стихи на непонятном языке, мне казалось, что они посвящены безнадежной любви, но мне переводили — это были стихи о хлебе, верности, о глотке воды, о потерянной свободе.

Когда мы осматривали Акрополь, один из молодых писателей познакомил меня с Манолисом Глезосом. Что о нем рассказать? Все знают, что в 1941 году двадцатилетний Манолис взобрался на Акрополь, где красовался флаг третьего рейха, сорвал его и поднял национальный флаг Греции. Гитлер приказал поймать наглеца и казнить его, но Глезоса не поймали — он участвовал в Сопротивлении и умел прятаться, его приговорили к казни заочно. После изгнания из Греции гитлеровцев новые власти, поддерживаемые новыми оккупантами, арестовали Глезоса и приговорили его к казни, но, натолкнувшись на протесты Западной Европы, заменили казнь тюрьмой. В 1951 году афиняне избрали Глезоса депутатом, выборы были признаны недействительными. Теперь он снова арестован, и жизнь его снова в опасности. Я разговаривал возле колонн Парфенона, как бы твердивших о мудрости, красоте, гармонии, с милым, застенчивым человеком, судьба которого была продиктована Акрополем и оказалась несовместимой с ним. Говорил он мне, конечно, не о древнем зодчестве, а о том, как ему удалось сорвать флаг со свастикой.

С писателем, книги которого я знал и любил, с Никосом Казандзакисом мне не суждено было встретиться. Его жена мне написала, что он хотел познакомиться со мной, но когда он был в Москве, я был в Греции. Он умер год спустя. Его книги известны далеко за рубежами Греции, особенно роман «Христа распинают вновь». Это судьба бедных крестьян в деревне Анатолии, и это судьба Греции: Христа распинают века, тысячелетия.

Казандзакис умер в возрасте семидесяти четырех лет. Поэту Костасу Варналису теперь восемьдесят три года. Мы с ним подружились свыше тридцати лет назад, когда плыли на советском теплоходе из Одессы в Пирей, — Варналис приезжал на Первый съезд советских писателей. О многих греческих друзьях я промолчу: не хочу способствовать работе ищеек военной хунты, которые хвастают своим весьма сомнительным гуманизмом — на первый завтрак они арестовали всего-навсего шесть с половиной тысяч «коммунистов», которых намерены содержать на без-

людных островах. Но о Варналисе все всем известно: он — поэт, получил Ленинскую премию мира. Мы с ним пили вино в таверне Пирея. Он почти оглох, но, как пушкинский пророк, услышит, как растет трава и как бьется далекое сердце.

Незадолго до отъезда мы поехали с греческими писателями в Дельфы. В Древней Греции Дельфы были храмом бога солнца и искусств — Аполлона. Во время празднеств в Дельфах приостанавливались все военные действия. Здесь, у подножия горы Парнас, рядом с прославленным родником вдохновения, мы дали друг другу клятвы блюсти мир и дружбу. Среди писателей, старых и молодых, был высокий плотный Стратис Миривилис. Он побывал в Москве, он — академик, это не ветреный юноша — ему семьдесят пять лет. Он много провоевал, знает, что даже первая мировая война, которая после Хиросимы нам кажется «войной в кружевах», была страшной, он много прожил, знает человеческую беду, он говорил мне: «Не нужно повышать голос ни в искусстве, ни в жизни. Мы не знаем, о чем пророчествовали пифии, но эти барельефы требуют сдержанности, самоограничения. Наши правители (он чуть усмехнулся), да и не только наши, скромностью не отличаются, но многое зависит от людей, которые не вправе управлять даже своим домиком...»

Я подружился с прекрасным поэтом Яннисом Рицосом. Он принадлежит к более молодому поколению — ему теперь пятьдесят восемь лет; пять из них у него украли — с 1948-го по 1953-й он промучился на острове смерти. Год назад он прислал мне книгу — сделанный им на греческий перевод моего сборника стихотворений «Дерево». Когда я был в Афинах, начиналась кипрская трагедия, и он читал мне отрывки из поэмы о кипрском шофере, который двое суток, сидя в пещере, отбивался от батальона английских солдат; там были строки:

> С кем поговорить? Может быть, с этой улиткой?
> Она ползет по камню. На ее спине часовня.
> Ей рассказать? Но она не услышит,
> У нее своя часовня, она молчит.
> Мне двадцать девять лет, и мне хочется жить...

Я вспоминаю мою встречу с одним из руководителей Сопротивления киприотов, с архиепископом Макариосом, который незадолго до того был освобожден англичанами — они его сослали на далекий остров (острова, видимо, есть у всех). Я думал, что попаду в монастырь, но архи-

епископ принял меня в небольшом доме, курил, говорил вполне по-светски. Его позвали к телефону, и, вернувшись, Макариос сообщил мне о новом смертном приговоре, вынесенном на Кипре англичанами, он тихо добавил: «Этих насильников ничего больше не может устыдить...»

Все знают, что Байрон хотел сражаться вместе с восставшими греками и умер в Месолонгиосе. Он был английским поэтом, а правителей Англии не тревожила кровь греков. Свыше ста лет Греция была негласной колонией Великобритании. Англичане выдали грекам короля — баварского принца, а когда баварская династия окончательно скомпрометировала себя, ее заменили датской, к которой подмешали германскую: мать молодого короля Фредерика — внучка императора Вильгельма II. В Дании короли ведут себя тихо, но, оказавшись в Греции, датчане видоизменились, начали активно вмешиваться в политическую жизнь, заключили союз с армией и явно путают, какой век стоит на дворе. На улице Ирода Итакского, вдоволь пышной и уродливой, помещается король Греции и посол Соединенных Штатов. Вряд ли переворот застал их врасплох.

Смена попечителей произошла в 1947 году; решение американского президента могло быть названо «манифестом» или «энцикликой», но у американцев склонность к университетскому языку, и Трумэн окрестил свои притязания «доктриной». Англичане скромно отошли на второй план, конечно, не потому, что вспомнили стихи Байрона, а потому, что страна вековых колонизаторов превратилась в полуколониальную базу Америки.

Упомяну о моем знакомстве с лидером либеральной партии Георгиосом Папандреу, который семь лет спустя стал премьером, был смещен королем, а теперь находится в госпитале под арестом. Его сына, депутата Андреоса Папандреу, военная хунта грозит отдать под суд «за измену родине». Папандреу-отец принял меня у себя дома, угостил на террасе чашечкой кофе, а потом предложил погулять по садику. Цвели южные — небрежные и сладкие — розы. Папандреу говорил мне, что он не любит ни коммунистов, ни левую партию ЭДА, но он рад встретиться со мной: Греция хочет жить в мире и торговать с Советским Союзом. Говорили мы мирно о том о сем, о том, что в Греции превосходные маслины, что правый премьер Караманлис бессмысленно обозляет студентов, что либералы должны получить на выборах абсолютное большинство, чтобы составить правительство без помощи левых и правых.

В конце беседы Папандреу пояснил мне, что не хотел разговаривать со мной в доме, так как не убежден, что ретивые полицейские не понаставили у него магнитофонов. Я поблагодарил хозяина за любезный прием.

Вполне возможно, что военная хунта причислит не только сына, но и отца Папандреу к «прокоммунистам». Испанские генералы называли либерала Асанью, каталонских автономистов, баскских католиков «красными» — таковы традиции военных переворотов.

Коммунистическая партия Греции была запрещена. До 1956 года она грешила сектантством. Художник-«отпускник», пробывший много лет на каторжном острове, рассказывал мне, что один догматик грозил ослушнику, читавшему греческий перевод «Оттепели», лишением пайка воды. Это похоже на скверный анекдот. Когда я был в Греции, молодые коммунисты радостно говорили о происшедших переменах. (Много позднее я прочитал о VIII съезде Коммунистической партии Греции, осудившем политику генерального секретаря, мешавшего объединению левых сил страны.)

ЭДА была подлинным объединением различных левых групп и партий. Я увидел многих ее депутатов: один был крупным буржуа и пользовался влиянием в деловых кругах, другой социалистом, третий радикалом во французском значении этого слова, четвертый коммунистом, пятый аристократом из бывших монархистов. Казалось, они не могут ужиться друг с другом, но в Греции все возможно: уживались.

Я не случайно упомянул Испанию, говоря о последнем перевороте в Афинах, много раз передо мной вставала Старая Кастилия или Арагон. Дело не только в пейзаже: зеленую античную Грецию давно уничтожили завоеватели от древних римлян до гитлеровцев: леса не способствуют поддержанию порядка. Рыжие скалы, каменные домишки, прилепившиеся к склону горы, неистовое солнце, все это роднит Грецию с Испанией. Но есть и сходство народных характеров. В обеих странах буржуазия поражала меня своим невежеством, любовью к уродливой мишуре, политической дикостью, но нищие греческие крестьяне, как арагонские или кастильские, дорожат совестью куда больше, чем деньгами.

В представлении многих грек — торгаш, подобно еврею или армянину. Трудно сказать, на чем основаны ошибочные представления, может быть, на баснословном богатстве одинокого Базиля Захарова, одного из королей не-

фти, а может быть, на оборванце, старающемся всучить английскому лорду обломок танагры, на династии банкиров Ротшильдов или на злосчастных лавочниках в гетто Нью-Йорка, торгующих селедками и солеными огурцами, на реальном, а может быть, мнимом богатстве десятка армян в Париже, в Каире, в Америке или на пословице об армянском хитроумии. Все это чепуха, попытка объяснить свои неудачи чужими подвохами, жажда сорвать душу на ком-то постороннем. Презрение бедных греческих крестьян к деньгам велико: накормят, чем есть, напоят и ласково отвернутся от денег.

Однажды вечером мы решили пойти без греческих друзей (А. А. Белецкий знал прекрасно не только древнегреческий, но и современный языки) в один из бедных кварталов Афин, посидеть на улице при таверне, поглядеть на будничный вечер города. Нищета там ужасающая — это один из верхних пригородов, построенных после проигранной войны с Турцией, когда по мирному договору Греции пришлось принять полтора миллиона греков, выселенных из Малой Азии. Здесь не увидишь ни роскошных псевдоклассических дворцов улицы Ирода Аттического или улицы королевы Софии, ни небоскребов, ни домов центра города, лишенных стиля и лица, ни блистающих витринами магазинов, нет, здесь то ли лачуги, то ли бараки, множество детишек на улицах, запах оливкового масла смешивается с вонью нечистот. Мы сели за столик, расположенный на пустой мостовой, и попросили хозяина таверны дать нам бутылку рицины (так называется вино с примесью смолы, чтобы оно не скисло, это напиток всей Греции, кроме Крита, где вино свободно от смоляного привкуса). Хозяин долго рассматривал меня, потом принес бутылку и позвал соседа, который тоже на меня уставился; пошептавшись с соседом, хозяин наконец-то спросил Андрея Александровича Белецкого, правда ли, что с ним пришел советский писатель Илья Эренбург. Четверть часа спустя наш столик был заставлен помидорами, огурцами, колбасами, бутылками вина — все это принесли жители улицы. Матери представляли нам малышей. В доме, где, казалось, и мебели нет, нашлись книги, и меня просили подписаться на зачитанных экземплярах «Оттепели». Все это было невыразимо трогательно, с той лаской, с тем благородством, которых не увидишь в центре Афин. Настала полночь, мы хотели заплатить хозяину за вино, он сердито замахал руками. Как нам добраться в гостиницу? Мы ведь ехали сюда чуть ли не час — далеко. Откуда-то вызвали

такси, и когда, приехав в гостиницу, мы хотели заплатить шоферу, тот ответил: «Все уплачено наверху вашими друзьями». Этот вечер описал Борис Полевой, но я не мог не вспомнить о нем, рассказывая про Грецию.

Недавно ко мне пришла студентка, которая хочет посвятить себя изучению Стендаля. Мы оба говорили о том, что автора «Красного и черного» увлекали политические бури века. Несколько неожиданно студентка мне сказала: «А я, знаете, охладела к политике...» Потом она начала рассказывать, что не важно — где капитализм, важно — какие люди — хорошие или дурные, а политика ей просто опостылела.

Разве могут разделить чувства этой студентки жители Вьетнама, будь то любитель Стендаля или даже наимудрейший буддист? Разве скажет испанский художник или греческий поэт, что ему теперь не до политики? Люди, которые говорят о красоте, о гармонии, которые пристойно вздыхают на панихидах, отнюдь не забывают о политике, конечно, о своей: они швыряют бомбы на вьетнамские города, расстреливают студентов в Сан-Себастьяно и сажают в тюрьму поэта Янниса Рицоса. Таковы уроки Греции: сколько бы у меня ни было сомнений и раздвоенности, я твердо знаю, что совесть не терпит, когда снова и снова попирают справедливость, человеческое достоинство, свободу.

14

15 января 1958 года скончался Е. Л. Шварц.

В Ленинграде издан сборник «Мы знали Евгения Шварца» — это воспоминания писателей, главным образом ленинградцев, которые в течение долгих лет встречались с Евгением Львовичем и действительно знали его. Мне обидно, что познакомился я с ним поздно, виделся редко, помню, как я пытался спасти в 1944 году «Дракона», помню его у меня в Москве (ему нравилось жаркое из баранины на французский лад, нашпигованное чесноком), встречались мы и в Ленинграде — у О. Ф. Берггольц, у Г. М. Козинцева, приходил он ко мне в гостиницу, но всего этого было мало, чтобы его узнать, и если я пишу о нем, то не потому, что я подметил какие-то не открывшиеся другим черты, а только потому, что полюбил его. (Я хорошо знал некоторых писателей, часто встречался с ними, порой они вмешивались в мою жизнь, но порога этой книги не перешли.)

Почти всегда люди, которым удавалось смешить миллионы людей, сами были мрачными. Можно припомнить описания Н. В. Гоголя современниками, можно — и это куда ближе — задуматься над природой М. М. Зощенко. Оба в определенное время пренебрежительно отзывались о своих прекрасных произведениях и безуспешно старались написать книги высокой морали. Е. Л. Шварц не походил на них, хотя и умел рожать улыбку, он был человеком жизнерадостным, общительным, любил выступать, дурачиться, ходить в гости, много ел, много пил и запомнился всем как веселый собеседник. Однако не это притягивало меня к нему, а доброта и глубокая постоянная печаль, она, скорее, скрывалась, никогда не была навязчивой, но я ее неизменно чувствовал.

Не всегда и шутки Евгения Львовича были веселыми. Помню вечер вскоре после конца войны у О. Ф. Берггольц. Мы долго рассуждали, что означают некоторые перемены в составе правительства. Шварц молчал. Потом, мягко улыбаясь, сказал: «А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте». Это было неожиданно, и, конечно же, мы рассмеялись, но смех был невеселым.

В другой раз я рассказывал Шварцу московские новости, сказал, что над Камерным театром снова нависли тучи. Шварц огорчился: он хорошо относился к А. Я. Таирову, да и наступление сил, враждебных искусству, не могло не опечалить его. Однако пять минут спустя он не выдержал и начал декламировать шутливые стихи А. К. Толстого:

Таирова поймали.
Отечество, ликуй!
Таирова поймали.
Ему отрежут нос.

Потом он начал рассуждать: «Конечно, Александр Яковлевич не знал этих стихов, когда выбрал актерский псевдоним. В общем, псевдонимы опасное дело. Лидин — хороший псевдоним, у Пушкина «смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет». А вот Андрей Белый стал почти что красным, Демьян Бедный, по нашим понятиям, жил богато, Артема Веселого посадили — это совсем не весело...»

Мы шли по ленинградской улице в книжный магазин. Шварц был, как всегда, весел. Потом он спросил меня, кого из русских писателей я больше всех люблю. Я ответил, что Чехова. Евгений Львович остановился и отвесил мне церемонный поклон, как придворный в одной из его ска-

зок: «Приветствую! Чехова любят, наверно, миллионы, но миллионы одиночек. А Льва Николаевича любят дивизии, мощные коллективы, дружные семьи...»

Когда в 1948 году шла борьба с «низкопоклонством», Шварц рассказывал о том, что мы открыли, и добавил: «У Чехова патриот говорит: «Русские макароны лучше итальянских». Антон Павлович многое предвидел. Небо в алмазах мы тоже видели — в сорок первом, на крыше...»

Я долго рассказывал Шварцу о домике Андерсена в Оденсе, о чемоданах, о большущих зонтиках; он расспрашивал детально, как будто речь шла о доме его прадеда. А потом сказал: «Андерсена датчане сильно прорабатывали. Это очень старая привычка... В общем, короли не любят, чтобы их показывали нагишом, их можно понять — это прежде всего неуютно».

Шварц был прирожденным сказочником, и, на его счастье, много лет его называли «детским писателем», хотя его сказки зачастую были понятны только взрослым. Детям у нас везло, я говорю это без иронии, скорее с гордостью, даже в самые черные годы советские дети знали лагеря пионеров, а о других лагерях не догадывались. «Детским» писателям было легче, чем тем, которые писали явно для взрослых. Любой тупой педагог все же менее страшен, чем следователь. Шварц как-то сострил по этому поводу: «Лучше получить кол, чем попасть на кол...» Помню, на Втором съезде писателей одну из сказок Шварца назвали «вредной пошлостью». Евгений Львович был болен и тяжело пережил обиду. Но это был глупый укол булавкой, копьем его не прокалывали. Да на этом же съезде О. Ф. Берггольц взяла под защиту Шварца.

Были, однако, у Евгения Львовича долгие и унылые неприятности. Я думаю сейчас о пьесе, которая мне кажется самой сильной из всего, что он написал: о «Драконе». Он начал эту пьесу еще до войны, а написал ее в Душанбе в 1943 году. Год спустя Н. П. Акимов поставил «Дракона» в Москве. Пьеса была разрешена Главреперткомом, одобрена всеми, кому полагалось одобрять или не одобрять, а после первого спектакля ее неожиданно запретили.

Я никогда не вмешивался в решения Комитета по делам искусств: не верил, что у искусства есть «дела», которыми могут ведать люди, весьма далекие от искусства. Но на этот раз я не выдержал и пошел на совещание, посвященное «Дракону», в Комитет по делам искусств. Я не говорил ни об искусстве, ни о той вечной правде, которой посвящена пьеса Шварца. Шла война, совещание проис-

ходило 30 ноября 1944 года — за две недели до того наши войска прорвались в Восточную Пруссию. Я говорил о том, что «Дракон» — удар по моральной стороне всех закамуфлированных покровителей фашизма. Защищал пьесу Н. Ф. Погодин, страстно говорил С. В. Образцов. Никто из присутствовавших ни в чем не упрекал Шварца. Председатель Комитета, казалось, внимательно слушал, но случайно наши глаза встретились, и я понял тщету всех наших речей. Действительно, в заключение он сказал, что из всех мнений вытекает: над пьесой нужно еще подумать. Он хорошо знал, что совещание — пустая формальность. «Дракон» был поставлен восемнадцать лет спустя, четыре года спустя после смерти автора.

Евгений Львович всегда мучился над последними актами своих пьес, они ему давались с трудом. Он хотел, чтоб его пьесы были поставлены, а это далеко не всегда удавалось. В «Дракона» он внес много изменений; он, например, выбросил трогательное воспоминание об убитом драконе. (Не помню точно текста, но был в первом варианте горожанин, который грустно вспоминал, что, когда дракон дышал на город, можно было приготовить глазунью, не зажигая печи.) Однако и в исправленном виде сказка не потускнела. Я еще раз убедился, что художественное произведение, написанное на злободневную тему, если оно создано подлинным художником, не умирает.

Недавно опубликовали фантастический роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный тридцать пять лет назад. Ершалаим — живой город, и главы, посвященные Понтию Пилату, я читал как замечательное повествование о нашем современнике, а главы, сатирически изображающие московский быт двадцатых годов, на мой взгляд, устарели. «Дракон» Шварца не зависит от того, какой канцлер теперь в Западной Германии, — и пьеса, кажется, будет волновать даже наших внуков. Перед нами город, который находится под властью дракона четыреста лет. Каждый год дракон убивает девушку, и вот отец очередной жертвы говорит: «У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается... На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это уже не такое большое событие». Странствующий рыцарь Ланцелот удивляется: «А дракон?» — «Ах, это? Но ведь мы так привыкли к нему... Он так добр... Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпи-

демии... Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного». Кот понимает, почему его хозяин и дочка накануне гибели веселы: «Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются». Обреченная девушка рассказывает, что после ее смерти горожане три дня не будут есть мяса, «к чаю будут подаваться особые булочки под названием «бедная девушка» — в память обо мне». Сын бургомистра называл дракона «дракошка... драдра». Бургомистр, как испытанный подхалим, говорит своему сыну: «Он, голубчик, победит! Он победит, чудушко-юдушко! Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, как люблю его!.. Ну вот так и доложи!» Отец знает, что сын подослан драконом, и в умилении говорит ему: «Ах ты, мой единственный, ах ты, мой шпиончик!.. Карьеру делает крошка...» Дракон презрительно поучает Ланцелота: «Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушной, и только... Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души».

Конечно, в итоге пьеса кончается хорошо: в сказке, где имеется дракон, шапка-невидимка и ковер-самолет, плохой конец был бы такой же нелепостью, как счастливая развязка в «Анне Карениной» или в «Госпоже Бовари». Шварца ругали не за концы, а за начала. Евгений Львович шутя говорил: «Знаете, почему запретили «Дракона»? Освобождает город некий Ланцелот, который заверяет, что он дальний родственник знаменитого рыцаря, возлюбленного королевы Геньевры. Вот если бы вместо него я показал бы Тита Зяблика, дальнего родственника Алеши Поповича, все было бы легче...» Однако у запретивших пьесу были куда более веские резоны: Шварц бичевал деспотизм, жестокость, приспособленчество, подхалимаж. «Цепкие» души рассердились: это было в 1944 году не по сезону.

Е. Л. Шварц был не только большим художником, но и воистину добрым человеком. Доброта, вопреки мнению многих, не столь распространенное свойство, это скорей дефицитный товар.

Незадолго перед смертью Шварц написал сценарий по «Дон Кихоту» для режиссера Г. М. Козинцева. Все эпизоды фильма созданы Сервантесом, но в картине нет ни одной фразы, переписанной из романа: диалог написан

Шварцем. «Дон Кихот» Шварца и Козинцева резко отличается от того образа рыцаря Печального Образа, который был распространен в нашей стране, он соответствует пониманию испанцев Мигеля Унамуно и Антонио Мачадо: Дон Кихот и Санчо — два выражения одного лица и нельзя отделить Дульцинею от Альдонсы; жесткий реализм сплавлен с вечной романтикой.

Я смотрел «Дон Кихота» в Стокгольме и чувствовал, как оттаивали сдержанные молчаливые шведы. А когда, умирая, Дон Кихот прощается с «дамой его сердца», когда он садится снова на Росинанта, а Санчо на своего осла, чтобы продолжать странствия, я настолько был растроган, что не сразу очнулся.

Что к этому добавить? Когда Евгению Львовичу исполнилось шестьдесят лет, я его поздравил и в ответ получил от него ласковое письмо. Я и раньше замечал, что руки Шварца часто дрожали; в последний год его жизни это, видимо, усилилось. Я гляжу на лист с большими буквами, которые содрогаются, как фигуры людей на рисунках Джакометти. Так мог бы подписаться Дон Кихот, избитый «реалистами», или смертельно раненный Ланцелот.

15

Двенадцать лет — с 1954 года по 1966-й — я был депутатом от различных районов Латгалии, из них восемь лет от города Даугавпилса и соседних районов. Вероятно, избирательные участки доставались мне потому, что в них жили люди различных национальностей: русские, латгальцы, евреи, поляки, белорусы, литовцы; разговорным языком почти всюду был русский. Когда перед выборами я приехал в одно старообрядческое село возле Даугавпилса, колхозники, бородатые и похожие на дореволюционных русских крестьян, встретили меня с подносом — хлеб, соль. Они говорили: «Слава тебе, господи, прислали русского!..» (Я был «русским» в отличие от латышей.)

Депутат Верховного Совета должен тратить свои силы не на коротких сессиях, где он слушает и голосует, а в любое время года — он выполняет просьбы местных властей и куда чаще обиженных судьбой избирателей, он адвокат, ходатай, толкач. Даугавпилс стоил мне много трудов, и, вспоминая о нем, я до сих пор чувствую шишки на лбу — от пробитых и непробитых стен. Трудно назвать этот город благополучным и спокойным. Он менял наименова-

ния, некогда был Невгиным, потом Динабургом, потом Двинском и после присоединения Латгалии к Латвии сделался Даугавпилсом. Правили им различные власти: рыцари Литовского ордена, Речь Посполита, шведские короли, русские губернаторы, Совет рабочих депутатов, айзсарги Ульманиса, наконец, Советское правительство.

В Динабургской крепости томился Вильгельм Кюхельбекер, Кюхля, над судьбой которого мы вздыхали, читая роман Тынянова. В военном городке я увидел мемориальную доску, которая напоминала об этой давней трагедии. Почти полтора века Двинск был уездным городом Витебской губернии, и накануне первой мировой войны в нем числилось сто двенадцать тысяч жителей — больше, чем в губернском Витебске.

Я никогда не бывал в дореволюционном Двинске и сужу о нем по книгам да по рассказам старожилов. Один пенсионер в Даугавпилсе восторженно вспоминал 1905 год: «Все, знаете, кипело. С утра до ночи митинги. Я помню, как выступал один большевик, его звали Александром, у них были совсем другие имена, чем на самом деле, он вышучивал царя, как цыпленка. У большевиков был клуб, туда ходили все, даже солдаты из крепости. Там был товарищ Мефодий, так если случалось скандальное происшествие, идут не к приставу, а к Мефодию, честное слово! Пели «На бой кровавый, святый и правый, марш, марш вперед, рабочий народ!..». Митинги устраивали и на площади, и в театре, и в синагоге. Раввин прибежал, кричит «ша!», не тут-то было...» (Потом я узнал, что Мефодием был Д. З. Мануильский, с которым я в молодости встречался в Париже.)

По официальным данным, в Двинске в 1914 году было четыре театра и три кинематографа. Первый русский театр открылся в Динабурге в 1857 году; антрепренер, он же актер Медведев, писал, что Динабург был «беднейшим и грязнейшим городом России», но любители пробирались в театр по темным улицам.

Треть жителей в дореволюционном Двинске были евреи. За шесть недель до начала первой мировой войны в Двинск приехал Шолом-Алейхем — читал в театре свои рассказы. Он писал одному из своих друзей: «Такого приема, как в Двинске, я не видел нигде. Вокзал был заполнен еврейской молодежью, засыпан цветами... и всю дорогу от вагона до кареты покрыли цветами... Офицеры, жандармы, полиция чрезвычайно удивлялись. Одни говорили, что приехал знаменитый раввин, другие, что это, наверно, ев-

рейский Чехов или Горький». На вечер пришло столько народу, что пришлось его повторить.

В Двинске родились советские беллетристы Л. И. Добычин, А. Т. Кононов и Александр Исбах. По словам Литературной энциклопедии, Добычин — автор трех книг — был талантливым писателем, но критика его обвиняла в том, что «он сгущает мрачные краски, описывая действительность». В 1936 году, не дожидаясь оргвыводов, Добычин, которому было сорок два года, кончил жизнь самоубийством. Не знаю, как сложилась жизнь Кононова. А. Исбах хлебнул горя — его обвинили в «космополитизме» и отправили в концлагерь, где его грозили убить бендеровцы, в свою очередь не жаловавшие «космополитов»; однако он вернулся живой и сохранил до сего времени энтузиазм былого комсомольца.

В годы 1919—1940 Даугавпилс захирел. В нем осталось сорок тысяч жителей, уехали ремесленники, лавочники, позакрывали многие фабрики. Большая Советская Энциклопедия писала, что во времена Ульманиса Рига рассматривала Латгалию как «полуколониальную страну». Домов не строили, кроме одного, который должен был доказать жителям Даугавпилса мощь Латвии; это было здание с двумя большими залами — театр и концертный зал, с бассейном для плавания, гостиницей и музеем. Жилищного кризиса не было, так как население уменьшилось втрое.

Во время войны было разрушено полностью 1687 жилых домов и частично 1490. В 1914 году в Двинске было 6300 жилых домов. После Отечественной войны две трети домов были разрушены. А население начало расти. Правда, меньше стало уроженцев города. Евреев, не успевших эвакуироваться (Даугавпилс был занят гитлеровцами на четвертый день войны), сначала переселили в гетто, а потом убили в одном из пригородов. Часть чиновников Ульманиса убежала в Швецию. Зато многие демобилизованные поселились в Даугавпилсе — у одного гитлеровцы сожгли дом, у другого убили семью, третий за годы войны отвык от прежнего быта и пытался устроиться на новом месте.

Когда в начале 1954 года я впервые приехал в Даугавпилс, многие семьи ютились в темных подвалах, в бараках, даже в военных убежищах, где люди прятались от бомб. На одну душу приходилось четыре квадратных метра жилплощади — чуть больше, чем полагается мертвецу на кладбище.

Разрушенные частично дома залатали. Счастливчики устроились — кто получил квартиру, кто построил домишко. В 1956 году приходилось на человека пять метров, в 1960 году — шесть. Однако эти цифры не отражали действительности — ведь были в городе и люди, занимавшие просторные квартиры. А были и семьи из четырех-пяти душ, которые задыхались на шести квадратных метрах. Передо мной были не цифры, а живые люди, ждавшие меня с раннего утра в приемной. Чуть ли не каждый день я получал письма, и большие кривые буквы кричали: «Мы не живем, мы мучаемся и гибнем. Спасите!»

Мне сейчас тесно от множества папок с письмами из Даугавпилса. Меня обступает давняя тоска. Я взял наугад несколько десятков писем. Л. Мацкевич писала: «Я понимаю, что вы тоже человек, хотя и больших заслуг». Она пишет, что живет с мужем и двумя детьми в комнате из одиннадцати квадратных метров, стоит на очереди остронуждающихся в жилплощади с 1950 года, а пишет она в 1958 году. Инвалид Дермидович жил на чердаке с вертикальной лестницей — пять с половиной метров, с ним жена и четырехлетний ребенок, который дважды падал с лестницы, получая тяжелые ушибы. В 1959 году Дадыкин с женой и двумя детьми и с братом помещались на десяти квадратных метрах. Дворник пединститута Сергеенко жила у родителей, там было шесть душ и девять квадратных метров. Адвокат Гейн шестидесяти лет жил со старшей сестрой в конуре; они спали по очереди на одной кровати, поставить другую не было места, — спали на табуретах, тринадцать лет он стоял на очереди. Чумилова жила на десяти метрах с мужем, у которого был острый туберкулез, и с тремя детьми. Она была на очереди с 1957 года 689-й, а в 1960—676-й. «По такому расчету я получу комнату через тридцать лет — после смерти». Сергеева проживала в аварийном доме — лестница обвалилась, печь не действовала, прожила она так семь лет. Пасторс с ребенком жила в сырой каморке — пять с половиной квадратных метров — шесть лет, я писал о ней, просил, наконец ей дали комнату: «Вы спасли моего ребенка от верной смерти». Семья Шутова из восьми человек ютилась в развалившейся комнате на пяти квадратных метрах. Актер городского театра Демидов вместе с другими актерами жили в служебном помещении — шесть квадратных метров, с ними ночевала молодая актриса, которая, не вытерпев таких условий, уехала в другой город. Уборщица Дмитриева должна была платить частнику за угол десять рублей, а получала она тридцать руб-

лей в месяц. Мужа не было, но был ребенок. Жуковы с ребенком имели пять квадратных метров — прикухонное помещение. Скреба, бывшая подпольщица при немецкой оккупации, с мужем и тремя детьми жила на шести квадратных метрах. А. А. Анцаинс писала: «Живу с матерью, которой семьдесят три года, на кроватном месте, три сына матери погибли на Отечественной войне, четвертый получил контузию и стал инвалидом... Разве не смехотворно, что за пять лет мы продвинулись всего на четыре номера?» Работница «Красного мебельщика» молила: «Не могу дольше жить с мужем и четырехмесячным малышом в кладовке, притом прохладной, — семи метров...» Муж Созоненковой погиб, она работала и получала (в старых рублях) в месяц 230 рублей, из них она платила частнику за комнатку 60 рублей, за свет 15. Жила она за городом, и 15 рублей обходился проезд трамваем к месту работы; у нее был сынишка: «Остается 135 рублей, на них мы никак не можем прожить... Сейчас зима, холодно — не отапливают. Как дальше быть?» Мосляковой дали десять метров, но в аварийном доме, печь не действовала, и дверь была стеклянная, с нею жил отец восьмидесяти трех лет и больной ребенок. Педагоги Семеновы и дочь восьми лет жили в четырех километрах от города на семи квадратных метрах. Хватит считать квадратные метры и мерить человеческое горе, я мог бы привести сотни сходных жалоб, но я пишу не доклад председателю исполкома, а книгу воспоминаний. Пусть читатель представит себя на полутора-двух квадратных метрах — здесь ему не до чтения мемуаров, а повеситься только, как это сделал один рабочий даугавпилсского завода.

В 1957 году пленум горсовета принял резолюцию: «Исполком Горсовета допускал серьезные ошибки в распределении и закреплении жилплощади. Зачастую жилплощадь предоставлялась гражданам без установленной очереди. Так, в этом году из 111 семей, получивших жилплощадь, 44 семьи не стояли на очереди». Местные власти объясняли мне, что им приходится предоставлять квартиры специалистам, советским и партийным работникам, которых присылает Москва или Рига. Были, наверно и злоупотребления. Я много раз предлагал, чтобы списки стоящих на очереди были вывешены в горисполкоме — каждый мог тогда бы проверить, кому дали квартиру или комнату в построенном доме, но мои предложения неизменно отклонялись. Все же дело было не в ломтях хлеба, неправильно распределенных, а в недостатке муки. С 1960 года начали больше строить жилые дома, и положение несколько улучшилось.

(Конечно, все условно: в справке, представленной мне исполкомом 1 августа 1960 года, в Даугавпилсе жили в домах аварийных и подлежащих сносу 1267 человек, а на очереди за получением жилплощади числилось 3336 душ; следовательно, всего 4603 человека жили в тесноте и в обиде; но дома строили — и у злосчастных обитателей лачуг или подвалов появилась надежда.)

Я не раз обращался к Председателю Совета Министров СССР и в Секретариат Центрального Комитета и в 1954-м, и в 1957-м, и в 1960 году — просил ускорить строительство жилых домов и промышленных предприятий, которые позволили бы дать работу женщинам.

В 1957 году в Даугавпилсе на заводах и фабриках, в различных мастерских работали всего 8400 человек, а о трудоустройстве просили 6000 — главным образом женщины, которые не могли рыть землю или таскать камни. Я поддержал просьбу горкома и горисполкома: построить часовой завод, кабельный завод, крупную трикотажную фабрику, расширить завод «Электроинструмент», фабрику «Красный мебельщик» и мясокомбинат. Часть предложений была принята, и в этом вопросе, чрезвычайно остром, также наметилось улучшение.

Остро стоял вопрос о пенсиях: старые обитатели Даугавпилса по большей части не обладали документами о прежней работе. Передо мной одно из последних дел — Т. Д. Трофимову назначили в 1950 году пенсию, а десять лет спустя перестали ее выплачивать: пересмотрели документы и заявили, что он не доработал до срока трех месяцев. Старику было восемьдесят три года, и работать больше он уже не мог. Выяснилось, что отдел социального обеспечения при эвакуации сжег документы. Дело перешло в латвийское министерство, и год спустя признали, что виноват отдел, и удовлетворились свидетельскими показаниями: он начал получать, как указывал документ, «30 рублей 71 коп.».

Порой я помогал местным властям. Я раздобыл, например, четыре километра рельсов для ремонта трамвайного пути. Порой мне приходилось бороться с затверженными навыками прежней эпохи. Парк и скверы были в жалком состоянии, отвечали — «нет средств»; между тем отпущенные на озеленение города деньги потратили на часы из цветов, которые вскоре остановились. Освещали, как Бродвей, центральную площадь возле гостиницы и путь до нее от вокзала, а улицы окраин вовсе не освещались, и остряки называли их «костоломными». Я написал об этом статью в местной газете, которая не всем понравилась. До

часа дня в городе нельзя было позавтракать — рестораны предпочитали вечерние часы, когда посетители пьют не чай, а водку. Командированным в гостинице ничего не отпускали. Конечно, это мелочь по сравнению с проблемами трудоустройства и жилплощади.

Почему я посвятил Даугавпилсу главу, может быть, скучную для читателя? В этом неблагополучном городе я узнал изнанку жизни. Мне было под семьдесят, изнанка не могла скрыть от меня лицевой стороны, я видел несчастье и успехи, пот людей и горы канцелярской бумаги — писателю нужно знать все. Я знаю молодых авторов, которые написали по одной хорошей книге, а потом, перекочевав в Москву, стали ездить в международных вагонах в Ялту и встречаться только со своими коллегами. Немудрено, что ничего путного они больше не писали. Учиться надо и в старости, иначе придется умереть задолго до смерти.

Я рад, что участвовал в повседневной жизни города, не знаю, почему именно мне пожалованного. Знаю я философов, которые, прочитав такое, пренебрежительно отмахиваются: «То малые дела». Обычно подобные рассуждения исходят от людей с весьма передовыми идеями, но с душевной ленью. Нет малых дел: есть работа и есть безделие, есть участие и холод сердца.

Вот почему я и написал про мой Даугавпилс.

16

В седьмой части этой книги я писал о годах, о людях и куда меньше о своей жизни. Правда, события, о которых я рассказывал, разуверения и надежды были тесно связаны с моей судьбой, но они не отделены ни от меня, ни от читателей длинными десятилетиями, их помнят даже молодые; перестав быть газетными новостями, они еще не стали историей. Это заставило и заставляет меня многое опускать, повествование становится суше, чем того хотелось.

Осенью 1957 года я неожиданно для себя начал писать стихи. Это было в яркий холодный день осени. Я стучал на машинке, поглядел в окно.

И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листы,
Давно растоптаны, поруганы
И все же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,

Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми?
А что ни слово — невпопад.
Они живут, но не написаны,
Они взлетели, но молчат.

Так я закончил первое стихотворение, написанное после перерыва в десять лет. Все, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе: эти мысли выходили из рамок исторических оценок, становились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни.

Помню, как Фадеев, защищая поэзию Ольги Берггольц, советовал ей отказаться от термина «самовыражение». Действительно, много слов, начинающихся с предлога «само», звучат скорее порицательно: самовластие, самоуправство, самохвальство, самочинство, самообожание, самонадеянность, самодовольство и так далее. Однако лирическая поэзия слишком часто является именно самовыражением или, если слово не нравится, дневником. В отличие от дневников, стихи могут быть связаны с одним часом или с долгими годами жизни, но они неизменно рассказывают о том, чем жил автор, об его мыслях и чувствах. Разумеется, не каждый читатель примет то или иное стихотворение за выражение его мыслей и чувств, но каждый, прочитав то или иное стихотворение, неожиданно удивится: как точно выразил поэт то, о чем он смутно думал.

Шестьдесят лет назад Брюсов провозглашал: «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов»; это было одним из многочисленных литературных манифестов, и, конечно, для самого Брюсова многие события — и личные, и общественные — были не средством, а сущностью. Мой поэтический дар и мастерство весьма ограниченны, и, вспомнив еще раз слова на «само», я вправе сказать, что никогда не страдал самообольщением. Мои стихи — это дневник; в списке членов Союза писателей я значусь «прозаиком». Если в книге воспоминаний я не раз останавливался на моих стихах и теперь снова к ним возвращаюсь, то только для того, чтобы рассказать о самом себе. Стихи отвлеченнее и, вместе с тем, конкретнее прозы, в них можно рассказать о большем, не впадая в ту нескромность, которая всегда мне претила.

Я рассказывал, как XX съезд потряс и моих соотечественников, и граждан зарубежных стран, как в любой

советской семье шли разговоры, полные страсти, как один из французских догматиков мне говорил: «У вас происходит термидор», как Роже Вайян плакал одновременно и над Сталиным, и над его жертвами. Может быть, иному читателю может показаться, что я наблюдал события 1956 года со стороны, как бесстрастный летописец. Нет, я многое передумал, и буря противоречивых страстей трепала меня, как утлое суденышко среди разъяренного моря.

В 1938 году, думая над тем, что происходит в нашей стране, я писал стихи, полные отчаяния:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась...
. . . .
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули.
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Двадцать лет спустя, узнав и пережив многое, я думал над тем, «что с нами в жизни случилось». Обращаясь к воображаемым «детям юга», я говорил:

Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.

Я говорил, что не мог поверить во многое из того, что писали или говорили о «врагах народа», никогда я не подписывал обращений, требовавших смерти мнимых «предателей». Однако я не хочу выставлять себя как мудрого и смелого изгоя. Подобно всем моим соотечественникам, я «вжился» в зимы сталинских лет. В декабре 1949 года я написал статью «Бóльшие чувства» и в ней рассказывал о том обожании Сталина, которое я видел и у нас на фронте, и в Испании, и среди французских партизан. Эта статья может быть справедливо отнесена к «потоку приветствий». Обожествление человека тогда мне казалось цементом нашего общества, порукой, что идеи

Октября будут ограждены от врага. Я не думал оправдывать себя: не веруя, я поддался всеобщей вере. Я проклинал слепую веру:

Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы.
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
. . . .
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля.
Видел я небо в пепле.
Вере не верю я.

Порой, задумываясь о недавнем прошлом, я сурово судил и себя, и всех, с которыми встречался, плотное молчание, как густой туман стоящее вокруг, шепоток — такой-то «загремел» — и обычные каждодневные заботы. Я писал о том, что казалось мне воздухом в шахте, глотком воды в каменной пустыне:

Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.
. . . .
Она скулит, что день напрасно прожит
И что не лезет вон никто из кожи,
Что убивают лихо изуверы
И что вздыхают тихо маловеры.
Она скулит, никто ее не слышит —
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
Да что тут слушать? Это ведь не дело,
И это всем смертельно надоело.

Что меня поддерживало? Верность. Я повторялся: еще в 1939 году я написал стихотворение «Верность» (так назывался и сборник стихов).

Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу.
Верность смерти и верность обидам.
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

В 1957 году я кончал стихотворение о вере:

Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.

Вспоминая пути и перепутья моей жизни, я видел в них некоторую единую линию:

Одна судьба — не две — у человека,
И как дорогу тут ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.

«Грязь и кровь» для меня были не логическим следствием идей Октября, а их попранием. Я не мог понять некоторых зарубежных друзей, которые еще недавно прославляли не только Сталина, но его опричников, одописцев и богомазов, а услышав правду о недобрых годах, усомнились в самой возможности более справедливого общества. Религии знали фанатиков и отступников — они держались на вере и на отказе от веры, но как все это далеко от поединка между старым и новым миром! Меня поддерживал героический труд нашего народа, его самоотверженность в годы войны, его творчество, загнанное под землю и все же пробивавшееся из-под земли живыми родниками. Стихи я писал не в 1956 году, а в 1957—1958 годы, когда наступили заморозки, когда Н. С. Хрущев перед Мао Цзэдуном восхвалял Сталина, когда любой расторопный газетчик выливал на меня ушаты грязи; и все-таки я знал, что земля вертится, что к прошлому нет возврата. Я писал о часовом:

Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он — ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.

Мои стихи не ограничивались теми сложными и трудными вопросами, которые стояли перед всеми нами после 1956 года. Я впервые ощутил свой возраст. Нужно было многому научиться в той науке, которой не преподают ни в какой школе. Я говорю о «соседе», которого знал слишком хорошо:

Погодите, прошу, погодите!
Поглядите, прошу, поглядите!
Под поношенной, стертой кожей
Бьется сердце других моложе.

Я писал о подмосковном саде, в котором многие цветы зацветают накануне первых заморозков, и признавался:

И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

Я впервые усомнился в том материале, с которым связал свою длинную жизнь, — в верности и точности слова. Конечно, я и раньше страстно любил стихи Тютчева о молчании и часто повторял про себя: «Молчи, скрывайся и таи», но те опавшие листья, с которых я начал первое стихотворение, были именно словами, бессилием выразить себя. Мне казалось, что я чувствую природу слова, его цвет, запах, нежность или грубость оболочки, но любое слово падало в бессилии, повышавшее или принижавшее. Я видел, что не могу сказать того, что хочется:

Ты помнишь — жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».
. . . .
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

Это было не только признанием своей поэтической беспомощности, да и не только самовыражением. В повести И. Грековой, напечатанной пять лет спустя, я нашел такой разговор молодых сотрудников лаборатории о моих стихах:

« — Ведь он не нов... ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ... мы разгребаем... да, кажется, разгребаем... мы разгребаем груду слов — ведь мир другой... он не таков... слова швыряем мы в окно и с ними славу заодно...

— Что это? Постой, что это?

— Не что, а кто, дурья голова.

— Ну, кто это?

— Это он. Эренбург».

Мне кажется, что в этой главе я хотя бы условно и, наверно, художественно маловыразительно рассказал о моей жизни тех лет, о клубке, где сплелись различные нити. Может быть, читатели о многом другом догадаются — они ведь не далекие потомки, а мои современники.

17

Осенью 1959 года я впервые увидел Армению. «Слишком поздно», мог бы я сказать себе, но в старости любовь глубже.

На ереванском аэродроме меня и Любу встретили М. С. Сарьян, писатели, старые и молодые. Нас отвезли в

гостиницу; все поднялись в номер, и, подойдя к окну, один писатель воскликнул: «Отличная комната — не видно памятника!..» Над городом высилась огромная статуя Сталина; подобные памятники можно было увидеть еще в любом городе, но по размерам он был исключительным — вместе с постаментом свыше пятидесяти метров. Виден он был отовсюду, и жители Еревана сокрушались, что не успели его убрать в 1956 году.

(После XXII съезда памятник снесли. Остался постамент, а поэт Геворг Эмин писал:

> Стоят без монументов пьедесталы.
> Пусть пьедестал,
> Но все еще тяжел.
> . . . .
> Пора разрушить камни пьедестала!
> Разрушим их, чтоб никогда не встала
> На них гранитная пята...)

Вечером в ресторане официант принес нам бутылку шампанского, вставленную в корзину с фруктами. Я удивился, он пояснил: «Посетители подносят». Я знал кавказское гостеприимство, но меня удивило, что люди, заплатившие за шампанское, не подошли к нашему столику с пышным тостом. Вскоре я понял, что в армянах страстность и непосредственность сочетаются с душевной сдержанностью.

Мне придется напомнить об истории. В 1926 году я был в Трапезунде. Работник советского консульства показывал мне изуродованные статуи древнего армянского храма и рассказывал, как десять лет назад турки по приказу министра внутренних дел Талаата-паши уничтожили всех армян; они загоняли злосчастных на транспорты, уверяя, что отвезут их в Сивас; транспорты вскоре вернулись пустые; армян сбросили в море.

Во всей Турции армян якобы переселили в другие области, на самом деле их уничтожали, убивали в горных ущельях, кидали в море, оставляли без воды в пустыне; некоторое количество красивых девушек поместили в публичные дома для солдатни, а вообще убивали всех — и женщин, и стариков, и грудных младенцев. Это было первым опытом геноцида. Гитлеровцы убили шесть миллионов евреев, младотурки — полтора миллиона армян. Если восемьсот тысяч армян добрались до России, до стран Арабского Востока, до Франции и Соединенных Штатов, то объясняется это отсутствием немецкой акку-

ратности, отсталостью техники — у турок не было газовых камер.

Нацисты учли опыт турецких изуверов: в 1939 году на секретном совещании фашистов в Оберзальцбургере Гитлер, изложив план поголовного истребления евреев, добавил: «Нечего обращать внимание на «общественное мнение»... Кто теперь помнит об истреблении армян?»

В наш век национализм повсеместно торжествует. Однако нужно уметь отличить память об убитых от памяти убийц. Чувства армян мне понятны. Исчезла Западная Армения — изумительные памятники древнего зодчества, традиции — от высоких мастеров раннего средневековья до молодых писателей начала нашего века. Уцелевшие рассеяны по всему свету. Из трех армян один далеко от Еревана, может быть, в Бейруте, в Лионе или в Детройте. Для любого армянина Арарат, который высится над Ереваном, — тень растерзанной Западной Армении. Арарат изображают на холстах и на пачках сигарет, на коньячных ярлыках и на пригласительных билетах.

После второй мировой войны двести тысяч армян переехали в Советскую Армению. Многие прижились, но были и не поддающиеся пересадке. Вероятно, они поддались своим чувствам и недостаточно знали о социальном строе и о быте нашей страны. Один мастер-ювелир мне жаловался: в Каире он изготовлял художественные безделки и жил припеваючи. А что ему делать в Ереване? Дантист привез из Бейрута оборудование зубоврачебного кабинета, а тут ему сказали, что он не имеет права заниматься частной практикой. Со многими мне пришлось разговаривать по-французски — не знали русского языка. На толкучке женщины продавали привезенное из Франции барахло. Подросток, приехавший с отцом из Франции, называл себя сюрреалистом, писал стихи на французском языке и мечтал вернуться к матери, которая осталась в Париже.

Я пошел в мастерскую художника Галенца. Он приехал в Армению из Ливана. Он жил и работал в сарае, который трудно было назвать мастерской. Он не жаловался, хотя интервью со мной три дня держали в редакции, уговаривая снять имя «формалиста» Галенца. Ему помогал в Москве известный физик А. И. Алиханьян. Время еще было трудное — в 1959 году холсты А. Герасимова среди некоторых чиновников считались образцами искусства. Галенц в конце концов победил: в Ереване выставили его холсты. Вскоре после этого он умер.

Патриотизм армян обострен, подчас он может показаться исступленным, но никто не спутает его с шовинизмом, отрицающим чужую культуру, и никто не назовет его провинциализмом. Кажется, среди армян я не встречал людей, чуждых идее интернационализма.

Я вспоминаю встречу в Москве с Аветиком Исаакяном. У него было лицо с множеством морщин, похожее на древний пергамент, лицо философа и ашуга. Александр Блок писал: «Поэт Исаакян — первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет». Исаакяну повезло, его переводили задолго до стандартизации переводов, переводили поэты — Блок, Брюсов, Пастернак, Ахматова. Стихи его не всегда были «светлыми». Он умер восьмидесяти двух лет, половину из которых прожил далеко от родины. В старой поэме об Абу Ала Маари, посвященной уходу от жизни знаменитого арабского поэта XI века, он писал:

Людей и народ покинули мы? Закон, справедливость, отчизну, права?
Иди все вперед! Покинули мы лишь оковы и цепи, обман и слова!
Что слава? Сегодня возносят тебя, именуя, ликуя, к последней черте,
А завтра с презреньем каменьями бьют и топчут, повергнув, в своей слепоте.
...Да что и отчизна? Глухая тюрьма! После брани и злобы, где правит толпа,
Где тиран беспощадный во славу свою в пирамиду слагает жертв черепа.
...Ненавижу я чернь! Раболепна, тупа, она повторяет любой глупый толк,
Но, духа гонитель, насилья упор, она, власть почуяв, свирепа, как волк.
И общество что? Только лагерь врагов, где все неизменно в презренном плену,
Оно не выносит паренья души, стремленья свободной души в вышину,
Общество — обруч, сжимающий дух! Ужасающий бич, свистящий под смех,
Ножницы жизни, что режут людей, чтобы равными сделать, похожими всех...

Это — перевод Брюсова, один из лучших, но все же помеченный тяжелым шагом поэта, который называл свою мечту «волом». Я прочитал давно поэму о багдадском поэте во французском переводе, там не было рифм, и поэтому более верными были эпитеты и внутренний ритм стиха. Часто потом я вспоминал Абу Ала Маари. Кто же, прочитав эту поэму, скажет, что поэзия Армении носит ограниченно национальный характер?

Ереван — новый город, он вырос из большого восточного села с домиками, окруженными садами. Новая ар-

хитектура всех советских городов мало чем отличается: Дворец культуры в Таллине родной брат бакинского или иркутского. Ереван отличает строительный материал — дома здесь розовые. Отличает этот город и другое: в 1959 году я увидел памятник поэту Егише Чаренцу; потом мы поехали с Сарьяном к арке Чаренца; там на камне его стихи, а перед глазами горы и необычайно зеленая долина Арарата. Главное, что отличает Ереван от других советских городов, — это характер обитателей. Не будучи злопамятными, они никак не хотят отказаться от памяти, видя в ней прерогативу человека. Они необычайно трудолюбивы — достаточно сказать, что многие виноградники выращены на земле, принесенной к уступам скал, или что в горных местах, накануне холодной континентальной зимы, виноградники укрывают, как в подмосковных садиках розы. У армян нет нашего «авось». В то же время это мечтатели, философы, поэты. Будучи людьми вполне современными, прекрасными физиками, астрономами, химиками, инженерами, в глубине домов, вернее, в глубине сердец они помнят язык горного ключа. Они меня многому научили.

Я напишу в одной из следующих глав о М. С. Сарьяне, я лучше понял его живопись, увидев Армению. Это — край искусства. Стоит посмотреть на развалины храма V века, на скульптуру средневековья или много позднее на портреты Овнатаняна в картинной галерее Еревана, увидеть собрание древних миниатюр, чтобы понять не только творчество Сарьяна, но особенности армянского глаза, веками воспитанного на подлинном искусстве. Вот почему выставка Фалька открылась в Ереване прежде, чем в Москве.

Как-то поехали с поэтом Эмином в «священный город» — Эчмиадзин. Там много памятников прошлого, и там резиденция католикоса. Вазген I незадолго до этого приехал из Румынии и кроме армянского прекрасно владел французским языком. Он пригласил нас к себе, и я увидел в его кабинете хорошие монографии — Матисс, Ренуар, Боннар. Я спросил его, любит ли он современную живопись. Он, улыбнувшись, ответил: «Я люблю все прекрасное». Видимо, он не только «католикос всех армян», но отменный дипломат, да и живой человек.

Наири Зарьян пережил в отрочестве страшную резню армян — он родился в Западной Армении. Такие вещи делают человека мудрым. В марте 1963 года, побывав на

встрече, где меня ругали, он пришел ко мне и сказал: «Не обращайте внимания...»

Мне пришелся по душе веселый и печальный Эмин — в нем жива извечная самозащита поэта — романтическая ирония.

Я встречался со многими писателями; одни говорили, что наилучший жанр — лирика, другие восхваляли эпопею, третьи — короткую новеллу; были среди них и критики; одни были смелыми, другие осторожными, одни талантливыми, другие бездарными; но, кажется, ни один не увлекался жанром, который нельзя назвать иначе, чем доносами, и это было так же приятно, как хлеб лаваш или душистые персики.

Воздух Армении придал мне силы.

18

Иногда незначительные происшествия остаются в памяти и заставляют о многом задуматься. Я хочу рассказать злополучную историю моих многолетних попыток ввести в наш обиход зимний салат, который на Западе называют «витлуфом» («белая головка») или «брюссельским цикорием». Бельгийцы действительно усердно выгоняют этот салат, экспортируют его в различные страны Запада, за что получают ежегодно около восьми миллионов долларов.

Почему прельстил меня этот салат? Я много лет прожил в Париже и привык зимой есть свежий салат. У нас свежие овощи можно найти в магазинах или на рынке с мая по октябрь, а в остальное время года ничего свежее квашеной капусты, соленых огурцов или в лучшем случае зеленого лука не достанешь.

Как-то давно я привез из Парижа пакет семян брюссельского цикория, посеял, выросли огромные изумрудные листья, я их попробовал и долго отплевывался — салат оказался горче хинина.

Оказавшись в Брюсселе, я рассказал Изабелле Блюм о своей неудаче; она повезла меня в Высшую сельскохозяйственную школу, где меня научили, как следует выращивать витлуф. Оказалось, что его высеивают в начале лета, после первых заморозков листья отрезают, а корнеплоды, похожие на крупную морковь, кладут в погреб. Витлуф можно выгонять с октября по апрель — в ящиках с любой землей, под стеллажами теплиц или в другом темном помещении. Ровно через месяц получают кочаны, они

не зеленые, а почти белые. Этот салат как бы предназначен для условий центральной и северной России — зимой дни у нас куцые и ничего другого не вырастишь без дорогого подсвечивания.

Я подружился с молодым научным сотрудником Тимирязевской академии Н. Г. Василенко, человеком одаренным и, как у нас говорят, по своей природе «новатором». Я дал ему семена и бельгийскую книгу о культуре витлуфа, он увлекся. Мы оба выгоняли зимний салат, я для того, чтобы его есть, а Николай Григорьевич, скорее, для торжества правильной идеи. В конце 1959 года мы решили, что следует попытаться открыть широкий путь для витлуфа. Мы предложили «Вечерней Москве» напечатать небольшую статью, оба ее подписали. Василенко уже успел защитить работу о капусте и стал кандидатом сельскохозяйственных наук. В январе та же газета поместила отчет о лекции Василенко перед специалистами о культуре витлуфа и статью почетного академика В. И. Эдельштейна — восьмидесятилетнего ученого, пользовавшегося большим авторитетом, который горячо поддерживал наши апологии витлуфа. Мы живем в век повсеместного увлечения самодеятельной медициной (достаточно напомнить, что журнал «Здоровье» у нас самый распространенный), и статья Виталия Ивановича должна была восхитить читателей «Вечерки» — он рассказывал, что витлуф не только вкусен, но чрезвычайно полезен — он содержит неведомые мне вещества — индин и инулин.

В марте 1960 года «Вечерняя Москва» устроила встречу различных влиятельных людей, как, например, управляющего конторой «Сортсемовощ» и директоров крупных овощных совхозов, со мной и с Василенко. Приглашенных Николай Григорьевич угостил заправленным салатом витлуф. Кушали, хвалили, напечатали отчет с фотографиями; но дальше дело не пошло, нужно было купить семена в Бельгии, а никто не решался использовать на это несколько сотен долларов: «Режим экономии». На дегустации в редакции «Вечерней Москвы» присутствовал корреспондент бельгийской коммунистической газеты, который поспешил сообщить о внедрении витлуфа в меню советских граждан.

Во время сессии Верховного Совета А. Е. Корнейчук решил передать Н. С. Хрущеву медаль Всемирного Совета Мира. Во время перерыва он повел Н. С. Тихонова, М. И. Котова и меня в коридор, куда вышел Н. С. Хрущев. Поблагодарив нас за медаль, он вдруг обратился ко мне:

«Я вашу статью о зимнем салате прочитал дважды. В первый раз я думал, что вы пишете о политике, — я ведь не знал, что вы занимаетесь и огородничеством...» Я понял, что фортуна может улыбнуться витлуфу, и спросил Никиту Сергеевича — не хочет ли он попробовать салат, он ответил: «Охотно». В тот же вечер я разыскал Василенко и попросил его послать Хрущеву витлуф — в Тимирязевке кочаны получились красивее и крупнее, чем у меня.

Месяц спустя Николай Григорьевич рассказал мне, что салат, видимо, пришелся по вкусу — часто приходят и требуют кочаны.

Прошел еще месяц, и Василенко вызвали в учреждение, ведающее закупкой семян, спросили, сколько нужно купить семян для того, чтобы вывести достаточное количество отечественных. Василенко ответил: «Сорок килограммов». «Что так мало?» — удивился человек, принадлежавший к тем людям, которых во Франции называют «крупными овощами», а у нас «ответственными». Николай Григорьевич объяснил, что семена салата очень легки и что сорока килограммов вполне достаточно.

Различные бельгийские газеты сообщили об успехе в Советском Союзе брюссельского цикория; одна сильно антисоветская даже запротестовала против продажи семян, уверяя, что русские собираются выгонять зимний салат на всю Европу, хотят вытеснить бельгийцев.

Семена пришли, большую часть корнеплодов оставили на второй год в грунте, чтобы получить семена. Казалось, дело сделано. Однако, как ни старался Василенко убедить различных директоров и управляющих, что необходимо напечатать маленькую инструкцию, он оказался бессильным.

Год спустя в одном из овощных магазинов появился витлуф — не зимой, а летом и не «вкусный овощ», а совершенно несъедобные зеленые кочаны.

На покупку семян в Бельгии потратили триста или четыреста долларов. На инструкцию не хотели выложить триста или четыреста рублей.

Прошло года два, и наконец инструкцию напечатали, но здесь встала новая непреодолимая трудность — торговая сеть не захотела утруждать себя незнакомым овощем: «У нас в списке двенадцать различных овощей, хватит». Совхозы прекратили выгонку. Хрущев больше не интересовался салатом, а вскоре «крупные овощи» перестали интересоваться Хрущевым. Из нашей затеи ничего не вышло.

17 Зак. 92

Говорят, что виноват консерватизм потребителей, это неверно. На моей даче жил сторож Иван Иванович со своей семьей. Когда он впервые увидел, что на грядке огорода взошел обыкновенный латук, он удивился: «Траву коровы едят, а не люди...» Потом он попробовал кочан и сказал: «Неплохо». Прожив у меня десять лет, он построил себе хороший кирпичный дом и вышел на пенсию, его жена Прасковья Алексеевна недавно рассказала мне: «Иван Иванович за стол не садится, если нет салата...»

Николай Григорьевич успел жениться, скоро его сын пойдет в школу. Вышла книга Н. Г. Василенко «Малораспространенные овощи». Один из описанных им овощей — салат витлуф — продолжает оставаться у нас редкостью. Зато весьма распространены у нас те люди, которых французы называют «крупными овощами». О них никто еще обстоятельно не написал.

19

В 1958 году умер Фредерик Жолио-Кюри, это было тяжелым ударом по Движению сторонников мира, которое он создал и которым почти десять лет руководил. В области науки он был непримирим, и когда некоторые влиятельные руководители Движения попытались уговорить его быть сдержаннее в прогнозах и не утверждать, что термоядерная война угрожает существованию человечества, он хотел отказаться от функций президента. Но он умел сочетать верность принципам с необычайной мягкостью, ему удавалось помирить индонезийцев с голландцами или израильцев с арабами. При нем все старались быть строже к себе, снисходительнее к другим. За два или три года до своей смерти на одном из совещаний он включил в текст резолюции, протестовавшей против атомных испытаний, молоко, как обладающее высоким процентом стронция. А. Е. Корнейчук умоляюще сказал: «Наши мамаши только-только могут купить молоко, а прочитав про стронций, будут бояться дать молоко малышам...» Жолио улыбнулся и вычеркнул молоко из списка.

Он подготовил послание Всемирному конгрессу за разоружение, состоявшемуся в июле 1958 года; он убедительно писал о необходимости прийти к соглашению об отказе от термоядерного оружия. Месяц спустя я стоял в Сорбонне у его гроба.

Мы избрали председателем Всемирного Совета Мира друга Жолио профессора Джона Бернала, это крупный ученый, кристаллограф, он может установить структуру вещества, но он не смог установить структуру нашего движения и секретариата, работавшего в Вене. Он был сух в резолюциях — как истинный англичанин не любил громких слов, а к людям снисходителен. Его меньше слушались, чем Жолио, однако все поняли, как он был нужен в роли председателя, когда в 1965 году, после тяжелой болезни, с трудом приехав на конгресс в Хельсинки, он сказал, что больше не сможет выполнять работу президента.

Третьего президента мы не нашли. Мы попросили члена президиума, неутомимую Изабеллу Блюм, выполнять функции президента-координатора.

Конечно, я не хочу сказать, что огромное мировое движение может ослабнуть только от потери двух выдающихся руководителей. Многое зависит от объективных условий. В Соединенных Штатах впервые в истории значительное большинство мыслящих людей осуждают военную политику правительства; но репутация нашего движения мешала объединению сотен союзов, лиг, групп, движений в ряды Всемирного Совета Мира. Западная Европа стала куда более инертной, она то поддается иллюзиям, связанным с краткосрочной разрядкой международного положения, то фаталистически относится к постоянным разговорам о неизбежности атомной катастрофы. Азия и Африка не всегда связывают справедливую ненависть к колониальным державам с необходимостью предотвратить мировую войну. Мы не смогли осуществить обещаний, сформулированных в 1956 году Жолио-Кюри, о расширении нашего Движения и о тесном контакте со всеми миролюбивыми силами. Прежние формы борьбы за мир в известной степени одряхлели, а новых мы не придумали.

Я продолжаю работать в Движении сторонников мира: несмотря на ошибки и неудачи, мы остаемся единственным широким движением, которое стремится оградить мир. Я не политик, не историк и не хочу браться за слишком трудное для меня дело: проанализировать причины некоторого ослабления Движения сторонников мира. Это — книга воспоминаний, и я остановлюсь на тех помехах, которые чинили нам представители Китая, тем паче что в предшествующих частях моей книги я об этом молчал.

Помню заседание Исполнительного комитета осенью 1957 года в Лозанне. В длинной и довольно обычной для

наших встреч резолюции была фраза: «Споры между государствами должны решаться путем переговоров». Один из секретарей, китаец Чен Шень, предложил поправку — вставить «и» — «и путем переговоров». Кто-то спросил, какие другие пути Чен видит для разрешения споров между государствами, отвечающие задачам Движения за мир. Чен ответил: «Различные». Час был поздний, все хотели спать и поручили мне согласовать фразу с Ченом. Мы сидели в маленьком салоне гостиницы, и пять часов подряд я пытался убедить китайского секретаря. Он обладал терпением, и мне тоже пришлось быть терпеливым. Погасили свет — швейцарцы люди аккуратные. В полутьме я видел блестящие глаза Чена и капли пота на лице переводчика. Когда я рассказал Жолио о разговоре с Ченом, он нахмурился: «Они не понимают, что такое атомное оружие. В Пекине работает один из моих учеников, талантливый физик. Может, он им объяснит...»

(Я знаю ученика Жолио — приезжал на заседание Бюро в Осло. Вряд ли он занимался просвещением политических деятелей Китая, скорее, работал над созданием китайской атомной бомбы.)

Споры бывали по разным поводам. Однажды в Вене на заседании Бюро мы напрасно просидели половину ночи, пытаясь уговорить Чен Шеня. Речь шла о приветствии папе Иоанну XXIII, который осудил термоядерное оружие. Предложение внесли итальянские коммунисты, и Чен тотчас выступил против: «Папа не любит китайский народ, китайский народ не любит папу». Ничего другого он не говорил и не соглашался воздержаться: «Пусть его приветствуют итальянцы».

Другой раз в Праге осенью 1959 года Президиум составлял приветствие Всекитайскому комитету защиты мира по случаю десятилетия Китайской Народной Республики. Проект приветствия написал Чен Шень. При обсуждении текста выступил индиец Сундерланд, по убеждениям последователь Ганди, который предложил приветствовать новый Китай как оплот мира. Это был человек преклонного возраста. На беду, рядом с ним сидел Чен Шень. Вскочив, китаец ударил Сундерланда по плечу, заставил его опуститься на стул. Я ушел, чтобы несколько успокоиться: знал, что Корнейчуку придется поддержать китайский текст и что никто не упрекнет Чен Шеня в недостатке вежливости.

Менялись китайские представители: был Уч Пао; был бывший священник Чу Веньпо, бывший священник, хо-

рошо говоривший по-английски. Менялись и приемы работы. В Стокгольме китайцы перед отъездом устроили пресс-конференцию и, обращаясь к буржуазным журналистам, клеймили резолюцию сессии. В Вене они заставили нас просидеть всю ночь — вносили поправки в резолюцию, а в пять часов утра заявили, что резолюция им не нравится и они не будут за нее голосовать. В Дели они привезли суданца, который проживал в Пекине; он демонстративно лег, когда обсуждали проблему разоружения, и, стараясь хорошо сыграть роль, даже похрапывал. Албанцы, разумеется, старались превзойти своих учителей. В течение двух-трех лет китайцев поддерживали часть японцев, индонезийцы, а корейцы и вьетнамцы соблюдали нейтралитет. Мы долго не отвечали на грубые обвинения китайцев, это, однако, не только их не сдерживало, а, наоборот, воодушевляло. Китайцы перестали с нами здороваться. Когда-то они называли меня «Эйленбо», что означало «замок чести». Времена изменились. Один из китайских делегатов, выступая против меня, говорил: «Некто сказал», — не хотел осквернить свои уста моим именем.

В декабре 1961 года китайские делегаты перешли от слов к действиям. Они требовали, чтобы намечавшийся конгресс в Москве назывался «конгрессом за национальное освобождение». В чинном зале шведских кооператоров они затеяли доподлинную драку, а в одной из комиссий, оттолкнув оратора, отобрали у него микрофон, швыряли в «ревизионистов» наушниками. Собрания сессии Всемирного Совета были открытыми, к счастью, ни один американский журналист не заглянул к нам — считая, что никаких сенсаций не предвидится; и только много времени спустя один англичанин, узнав о скандале от шведского привратника, написал: «Сторонники мира воюют между собой».

На конгрессе в Хельсинки летом 1965 года китайцы чувствовали себя господами положения. Я работал в культурной комиссии, ее председателем был избран американский негр доктор Гудлетт. Мы обсуждали текст обращения ко всем деятелям культуры. Китайцы все время прерывали выступавших. Собралось бюро комиссии. Китаец оскорблял меня как мог. Я сдерживался и не отвечал. Когда я вышел в коридор, у меня хлынула кровь из носа. Я попросил одного из советских делегатов заменить меня на Бюро. Меня отвели в санитарный пункт, там финка уло-

жила меня на диван. Я все же решил пойти в гостиницу и отдохнуть, выйдя из помещения, я оступился и упал на каменные ступени, словом, хлебнул горя.

Приходится признаться, что некоторые представители западных стран долго относились с симпатией к китайцам; одни увлекались ролью посредников, считали вполне серьезно, что именно им удастся помирить Пекин с Москвой; другие поддавались революционной фразе — «в Китае энтузиазм, даже если они ошибаются, они верны духу Ленина»; третьи хотели показать свою независимость по отношению к государству, которое долго было в их представлении непогрешимым. Я встречал во Франции, в Италии, в Бельгии, в Швеции различных поклонников Мао Цзэдуна, они, организовав малочисленные прокитайские партии, издавали газеты — денег у них было много; во всем этом было сочетание наивности и политиканства, ребяческого мятежа и снобизма. На сессиях Всемирного Совета некоторые друзья, которых я хорошо знал, бегали к китайцам, показывая им не только проекты резолюций, но и речи, которые они собирались произнести, многозначительно рассказывали мне: «Китайцы обещали не возражать...» (Китайцы час спустя, разумеется, возражали.) Были и простачки, считавшие, что если мы не отвечаем на брань, то, следовательно, нам нечего сказать и что наши обвинители правы.

Были и малопристойные сцены. В конце 1963 года в Варшаве собралась сессия Всемирного Совета. Французский писатель Мадоль предложил почтить вставанием память убитого незадолго до того Кеннеди. Китайцы начали кричать, хотели отобрать у Мадоля микрофон; это было в порядке вещей, но, признаюсь, меня удивило, когда два представителя Запада, один бывший миссионер в Китае, а другой — бельгийский барон, набожный католик и не менее набожный последователь Мао Цзэдуна, вытянули вперед свои ноги, показывая, что в отличие от «ревизионистов» не хотят почтить память «империалиста».

Разумеется, поведение делегатов Китая не было эмоциями отдельных людей, оно было продиктовано партийным руководством. Это руководство в своей внешней политике было скорее осторожным: на воинственные безобразия чанкайшистов или их американских попечителей Китай отвечал «серьезными предупреждениями» — «серьезное предупреждение триста восемнадцатое»; посол Китая в Пекине периодически встречался с послом Соединенных Штатов. Однако Движение сторонников мира они рассмат-

ривали как трибуну, где могут поносить политику Советского Союза. В пропаганде они никогда не отличались сдержанностью. Готовя у себя термоядерное оружие, они в 1963 году бурно протестовали против соглашения о запрете атомных взрывов, называя его «сговором американских империалистов с советскими ревизионистами».

Лет десять назад я читал, будто Мао Цзэдун сказал, что разговоры об уничтожении жизни на земле после большой термоядерной войны неправильны. Если погибнет половина китайцев, другая половина спокойно сможет строить коммунизм. Не знаю, были ли произнесены эти слова для успокоения людей, незнакомых с азами ядерной физики, или руководители Китайской Республики действительно принимали Америку за «бумажного тигра». Я попытаюсь найти объяснение брани и дракам, которые слышал или видел в течение многих лет на наших заседаниях и конгрессах. Встречи сторонников мира часто напоминали матчи своеобразного бокса, где один бил кулаком, а другой молчал или говорил о несоответствии такого вида спорта с идеями и духом движения за мир.

В начале 1967 года китайцы изменили свою тактику и вышли из Движения сторонников мира. Я все-таки неисправимый оптимист, и я продолжаю надеяться, что разумные люди или, как говорил Жолио, «люди доброй воли» сумеют предотвратить ядерную войну. Я не хочу осуждать китайцев, вероятно, все, о чем я писал в этой главе, временное заблуждение и Китай рано или поздно окажется среди защитников мира.

20

Осенью 1958 года Георг Брантинг приехал повидать меня в Новый Иерусалим — он отдыхал перед этим в Крыму. Брантинг был сложным человеком, полным противоречий. Не знаю почему, он стал политиком. Может быть, под влиянием своего отца, который был создателем шведской социал-демократии. Люди, знавшие Яльмара Брантинга, рассказывали, что он был веселым, в молодости мятежным, потом показал свое уменье объединять, примирять и примиряться, организационные таланты: он не только пережил, но и в меру своих сил способствовал переходу отсталой крестьянской Швеции с ее степенной аристократией в страну передового капитализма и образцовой буржуазной демократии. (С Яльмаром

Брантингом дружила известная С. В. Ковалевская, шведы называли ее «профессор Соня», и сестру Георга окрестили Соней.)

Все же мне трудно понять, почему Георг Брантинг стал политиком, социал-демократом, пусть левым, сенатором. Он был адвокатом, но это его не устраивало. Да и кресло сенатора мало отвечало его природе. Во внутренней политике Швеции он играл неприметную роль, но многое сделал в борьбе против фашизма в тридцатые — сороковые годы — процесс о поджоге рейхстага, Испания, твердая вера в Советский Союз в черные дни сорок первого. Он был, скорее, поэтом — не потому, что писал порой стихи, а по своей душевной структуре: позади сенаторского кресла, мнимо, но для него вполне реально бушевал неистовый самум. В старости он был одинок, плохо видел, но никак не походил на образцового пенсионера.

В 1958 году, с которого я начал эту главу, Брантингу было за семьдесят, он перенес тяжелый инфаркт, но жаждал деятельности. Мы долго беседовали о неустойчивости международного положения. Брантинг говорил, что Движение сторонников мира охватывает во Франции и в Италии, где сильны коммунисты, широкие круги, но в Англии или Скандинавских странах оно бессильно. «Вы представляете одну сторону, — говорит Брантинг, — а нужно, чтобы встречались политики не только различных стран, но и различных партий, это поможет преодолеть климат «холодной войны». Я спросил его, не хочет ли он попытаться организовать такие встречи; подумав, он согласился.

В апреле 1959 года состоялась первая встреча; ее окрестили «Круглый стол Восток — Запад». Собрались мы в Брюсселе, и было нас никак не больше пятнадцати человек. С тех пор прошло восемь лет. Мы собирались дважды в Лондоне, работали в помещении парламента, в готическом дворце, построенном после пожара в первой половине прошлого века. Потом мы собирались в Варшаве, в Риме, снова в Брюсселе, в Париже, в Москве, во Флоренции (там мы заседали в ратуше — Палаццо Веккио, окруженные потрясающими статуями старых флорентийцев), в Белграде и снова в Париже. Мы стали солидной организацией. Участников «Круглого стола» принимали в Кремле, в доме правительства Югославии, в бельгийском парламенте, в парижском муниципалитете. О наших встречах писали все крупные газеты Европы и Америки. Среди наиболее известных западных участников «Круглого стола» назову Филиппа Ноэль-Бейкера, старого депутата-лей-

бориста, лауреата Нобелевской премии мира, бывшего председателя бельгийского сената Анри Ролена, председателя иностранной комиссии норвежского парламента Финна Му, английских лейбористов Конни Зиллиакуса, Дениса Хили, Томсона, Микардо, Мендельсона, итальянских социалистов Ненни, Ломбарди, Витторелли, французских депутатов-голлистов Рене Капитана и Шмитлена, оппозиционера Пьера Кота, Жюля Мока, Миттерана, итальянских католиков депутатов Ля Мальфа и мэра Флоренции Ля Пира. В различных встречах участвовали свыше полутораста депутатов семнадцати стран, представители как правительственных партий, так и оппозиции, среди них около половины были вчерашними или завтрашними министрами.

Во Флоренцию летом 1964 года приехал тяжело больной Брантинг и предложил на свое место секретаря «Круглого стола» левого социал-демократа Яльмара Мэра. Год спустя Брантинг умер.

Из постоянных участников наших встреч скончались Конни Зиллиакус, крупный польский экономист Оскар Ланге и генерал советской армии, специалист по проблеме разоружения Н. А. Таленский.

Мне хочется вспомнить покойного Конни Зиллиакуса (приятели звали его Конни или Зилли). Разумеется, он был политиком, но с диковинной судьбой. Чудить он начал рано — будучи шведским финном, родился в Японии. Он стал подданным короля Великобритании и сражался в годы первой мировой войны в рядах английской армии. Потом он учился в университете в Йеле в Соединенных Штатах. Потом он стал лейбористом, а много спустя — депутатом палаты общин. Весной 1949 года, несмотря на запрет лейбористского руководства, он участвовал в первом Конгрессе сторонников мира. Его исключили из партии. Однако осенью того же года его исключили из Движения сторонников мира — он не согласился с анафемой, которая обрушилась на югославов. Два раза его исключали из партии и два раза восстанавливали. Он считался «enfant terrible» — «ужасным ребенком», люди сердились, но в конце концов привыкли. «Ничего не поделаешь — это ведь Зилли...»

Он свободно говорил на многих языках и не только тотчас переводил свои слова, но на первой встрече «Круглого стола», когда у нас не оказалось переводчиков, переводил выступления всех участников. В справочниках он проставлял «журналист», «член парламента». Он кончил универ-

ситет в Йеле — в Америке. Самым важным событием XX века он считал Октябрьскую революцию. Я слышал его выступление на большом митинге в Манчестере — он был депутатом этого рабочего города; говорил он хорошо, и обычно сдержанные англичане горячо ему аплодировали. Его слабостью была Организация Объединенных Наций (он там проработал несколько лет). Он неизменно требовал соблюдения «духа и буквы хартии». Часто он был наивным — когда на последних выборах победили лейбористы, он говорил: «Теперь все изменится. Вильсон — левый лейборист...» Оказалось, что лейбористское правительство вело правую политику. Зилли повздыхал, но немедленно организовал оппозицию и, радуясь, говорил: «Нас с каждым месяцем все больше...» Отец его жены изучал психологию зверей, и как-то, просидев вечер у Зиллиакуса в Лондоне, я рассказывал о В. Л. Дурове. С Конни редко кто соглашался, но его любили, и когда он умер летом 1967 года, о нем жалели его политические противники — в Вестминстерском дворце стало пусто: второго «ужасного ребенка» не было.

Оскар Ланге многое сделал для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, которое порой сказывалось на первых встречах «Круглого стола». Я с ним познакомился в 1946 году в Нью-Йорке и сразу оценил его «тихость». Он был не проповедником, а собеседником; именно это убеждало западных участников наших встреч.

В Брюсселе весной 1962 года «Круглый стол» обсуждал проект разоружения. Мы выделили маленькую комиссию специалистов — Ноэль-Бейкера, Жюля Мока, который много лет представлял Францию в комиссии ООН по разоружению, и советского эксперта Н. А. Таленского. Они заседали два дня и составили компромиссный проект, чрезвычайно детальный, однако приемлемый для всех. Выступая потом на большом митинге, Ноэль-Бейкер и Жюль Мок высоко отозвались о познаниях и миролюбии генерала Таленского. Я узнал Николая Александровича в 1943—1944 годы, когда он был редактором «Красной звезды». Он умел не только говорить, он умел и слушать, а это не столь распространенное качество, и оно повлияло на успех «Круглого стола». Его смерть — большая потеря.

Я говорил о том, что постепенно организаторам «Круглого стола» удалось привлечь к встречам политиков разных стран и разного толка. Читатели, наверно, заметили, что среди перечисленных мной имен нет ни одного видного общественного деятеля Западной Германии. Теперь

политика немецких социал-демократов стала несколько более гибкой, и, возможно, если наши встречи будут продолжаться, мы увидим «западных» немцев за одним столом с «восточными», но по 1966 год все попытки Анри Ролена, Зиллиакуса и других западных парламентариев привлечь немцев из Федеративной Республики кончались неудачей.

Расскажу забавный случай, происшедший в Москве в марте 1959 года — накануне первой встречи «Круглого стола». Брантинг попросил меня поговорить с двумя лидерами немецких социал-демократов Карлом Шмидом и Фрицем Эрлером, которые находились в Москве. Я позвонил немецким гостям; оказалось, что они завтра улетают на родину, они предложили мне, чтобы я их отвез на аэродром — в пути мы сможем поговорить. Они попросили меня подъехать к дому, где жили западногерманские дипломаты, и остановиться на углу — все было обставлено весьма конспиративно. Шмид и Эрлер хорошо говорили по-французски; я им рассказал о том, как понимают встречи «Круглого стола» Брантинг и Ролен. Они были любезны, поблагодарили за информацию — им рассказывали нечто другое, высказали надежду, что им удастся приехать в Брюссель. Когда мы подъехали ко Внукову, Шмид увидел автомобиль западногерманского посольства и попросил меня выпустить их, а самому не выходить из машины. Все было сделано безукоризненно. Увы, на следующий день, раскрыв «Правду», я увидел заметку: «Отъезд из Москвы руководящих деятелей СДПГ». Среди провожавших был назван я — очевидно, сотрудник ТАССа меня увидел...

Осенью 1961 года на встречу в Риме должен был приехать председатель иностранной комиссии сената Соединенных Штатов Хэмфри. Мы начали работу, все спрашивали, где Хэмфри, Брантинг отвечал: «Его задержали дела, он приедет завтра». Наконец пришла телеграмма: Хэмфри сообщал, что произошли дорожные неполадки, он вынужден заночевать в Лондоне и приедет только завтра. Мы приняли резолюции о разоружении, об ООН, о Западном Берлине и хотели закрывать встречу, когда действительно в зал вошел Хэмфри. Он внимательно прочитал резолюции, но отказался их комментировать — не присутствовал на дискуссии. Два часа он говорил о важности наших встреч, о значении диалога, о своей вере в торжество мира. Когда все встали, сенатор Хэмфри, отойдя со мной в сторону, начал говорить о смерти Хемингуэя и, понизив голос, высказал свое мнение о Западном Берлине. С тех пор

прошло шесть лет. Сенатор Хэмфри стал вице-президентом Соединенных Штатов, трудно назвать его политику слишком миролюбивой.

Ненни присутствовал на римской встрече как представитель оппозиции, потом он стал заместителем премьера. Финн Му принадлежал к правительственной партии и вдруг оказался в оппозиции. На московскую встречу приезжали лейбористы Денис Хили и Томсон. Первый стал военным министром Великобритании, а милейший Томсон, член нашего организационного комитета, — заместителем министра иностранных дел.

Не устарели, к несчастью, вопросы, которые мы обсуждали: разоружение, договор о нераспространении атомного оружия, европейская безопасность, германская проблема, нападение Соединенных Штатов на Вьетнам. Незачем говорить о наших резолюциях — это покажется не страницей мемуаров, а вчерашней газетной статьей.

Скептики спросят: в чем же видите пользу встреч? Все спорные вопросы, действительно, до сих пор не разрешены, но, на мой взгляд, они теперь стали более разрешимыми, и, может быть, в этом толика усилий «Круглого стола». Альтернатива слишком трагична: мирное сосуществование или термоядерная война, то есть, говоря проще, — быть или не быть человечеству. Здесь нельзя беречь силы и время, все, что может хотя бы в мечтаниях содействовать миру, заслуживает рвения.

Лично мне встречи «Круглого стола» многое дали — я узнал лучше политиков Запада, пожалуй, лучших представителей буржуазной демократии.

В отдельности эти политики похожи на людей других профессий, среди них есть узкие специалисты и, что куда реже, люди всесторонне образованные, обаятельные и непривлекательные, талантливые и заурядные. Наиболее таинственной для меня является их подлинная профессия — политика. Алехин причислял шахматную игру к искусству, мне остается приравнять политику парламентской демократии к шахматной игре. Конечно, шахматы куда древнее, в них чувствуется известная окаменелость, дебюты давно разработаны, описаны, и все же талантливый шахматист порой находит неожиданный вариант, приносящий ему победу. Я рассказывал в этой книге, как один начинающий любитель выиграл партию у гроссмейстера Флора, который принял его невежество за некое загадочное мастерство. (Недавно В. Аксенов описал подобное происшествие в хорошем «Рассказе с преувеличениями».)

Впрочем, такие же случаи бывали в политической жизни Запада. Незнание Гитлером правил игры помогло ему выиграть партию у Веймарской республики.

Считается, что парламентская демократия построена на равенстве избирательных голосов. Это, конечно, иллюзия. Дело решают политические партии, в которых активное участие принимают узкие круги специалистов в присутствии некоторого количества болельщиков. Ораторское искусство может подействовать на часть избирателей, но в большинстве случаев соперничающие партии говорят то же самое, все они за мир, за свободу и за благосостояние. Атакуют они одна другую, почти всегда настаивая на неудаче того или иного шага правительства: мало строили жилых домов, повысили безработицу, допустили финансовый скандал и так далее. Говорят, что решающую роль играет пресса, а в последнее десятилетие — телевидение. В Швеции, однако, нет ни одной крупной газеты, которая поддерживала бы партию, находящуюся у власти свыше тридцати лет (все попытки создать социал-демократическую газету, которую читали бы, кончались неудачей). Во Франции людей, которые читают «Юманите», куда меньше, чем тех, которые голосуют за коммунистов. Во время последней избирательной кампании шли споры, кто на экране телевизора выглядит красивее, но и это не решало дела. Многие голосуют по привычке — так уж заведено в семье. Другие голосуют всегда за оппозицию — попробую, может быть, будет лучше. Есть страны, где в парламенте представлено мало партий — в Соединенных Штатах две, в Англии три. Есть другие, где партий много, как, например, в Италии, там политическим деятелям приходится договариваться, чтобы создать коалиционное правительство. В отличие от шахмат, выборы, парламентская политика, министерские кризисы имеют элемент азартной игры или спортивного матча, чреватого непредвиденными обстоятельствами.

Какая специальность у депутата? На это можно ответить только таинственным и ничего не определяющим словом «политика». Добрая половина их получили юридическое образование и в начале карьеры или в период избирательных неудач занимались адвокатскими делами. Если вспомнить Третью республику, то виднейшие фигуры парламента в большинстве были адвокатами — Пуанкаре, Бриан, Мильеран, Думер, Барту, Лаваль, Рейно и другие. Да и за нашим «Круглым столом» больше половины заседавших получили юридическое образование —

Капитан, Миттеран, Пьер Кот, Ролен, Пирсон, Брантинг, Бенгстон, Юлиус Сильверман и многие другие. Были и экономисты, как Мендес-Франс или Ломбарди, был инженер Жюль Мок, который рассказывал мне, как он строил мост через Даугаву, но, конечно, политика давно стала его профессией.

В 1963 году все товарищи по партии Дениса Хили говорили, что если лейбористы победят на выборах, то он станет министром иностранных дел; действительно, он стал министром, но обороны. Я познакомился в Стокгольме с другом Яльмара Мэра Торстеном Нильсоном, человеком умным, деятельным и веселым. Он был министром транспорта, военным министром, министром социального обеспечения, а теперь он — министр иностранных дел.

Я понимаю, что министр финансов может меньше разбираться в балансе, чем опытный бухгалтер крупного банка или треста. Я знаю, что существуют интересы того или иного класса общества, которые определяют сущность политики. Я отнюдь не защищаю ни диктатуру одного человека, ни технократию. Я просто признаюсь в своем непонимании профессии образцового политического деятеля. Это не роботы, а люди, к сожалению, обладающие нервной системой и способные в критическую минуту оказаться подверженными гневу или страху, растерянности или чрезмерной уверенности.

Многие политики, с которыми я познакомился на встречах «Круглого стола», мне понравились, но порой я чувствовал себя самодеятельным актером, случайно оказавшимся на сцене с мастерами — первыми любовниками, фатами, резонерами или трагиками.

Вероятно, прав был Жолио, когда говорил, что человечество еще переживает свое младенчество — многое должно перемениться, если только благодаря азарту или глупости тех политических деятелей, которые никогда не хотели сесть за круглый стол, человечество не исчезнет до того, как оно достигнет совершеннолетия.

21

Осенью 1959 года я часто говорил себе, что нужно сесть за стол и начать книгу воспоминаний; я обдумывал план книги и, как всегда у меня бывало, оттягивал начало работы. Несколько месяцев я успокаивал себя тем, что мне

приходится отстаивать мои идеи о необходимости гармоничного развития человека, о роли искусства в воспитании культуры эмоций.

Разумеется, я был виноват в происшедшем: напечатал в «Комсомольской правде» письмо одной студентки, которую я назвал Нина, о том, как порвала с любимым человеком, Юрием, хорошим инженером, но современным вариантом «человека в футляре». Для меня было самым существенным не его равнодушие к искусству, а его душевная примитивность и сухость. Он не случайно смеялся над чеховским рассказом «Дама с собачкой», который волновал студентку... «Когда я пыталась разобраться с ним в наших отношениях, он или выходил из себя, или улыбался, говорил, что я нарочно все усложняю». Он сводил чувства к жилплощади и к «распишемся». Он посылал своей матери деньги, но когда она захотела приехать его повидать, он не согласился, объяснил своей возлюбленной, что мать у него «хорошая, но необразованная, так что и говорить не о чем». Все попытки студентки почитать ему стихи Блока или повести его в Эрмитаж кончались неудачей: «Нужно быть людьми атомного века».

Я никак не думал, что моя статья вызовет полемику. Однако молодежь спорила: главная вина за развязавшуюся войну, по-моему, лежит на человеке, приславшем в «Комсомольскую правду» письмо, оставлявшее в стороне душевные недостатки инженера Юрия и перенесшее спор совсем в другую плоскость — нужно ли нашим современникам искусство. Автор этого письма, инженер И. Полетаев, по своей специальности кибернетик.

Я упомянул, рассказывая о своей поездке в Америку, что весной 1946 года в Нью-Йорке мой старый друг Р. О. Якобсон ночь напролет рассказывал мне о новорожденной науке и о «мыслящих машинах». Два года спустя математик Винер сформулировал проблемы, которые сможет разрешить кибернетика. Не знаю почему, в эпоху Сталина кибернетику у нас называли шарлатанством: может быть, желание разучить думать людей было связано с недоверием или страхом перед «мыслящими машинами». Я вполне понимаю горечь И. Полетаева и его старшего друга профессора А. А. Ляпунова при мысли, как отнеслись в нашей стране к кибернетике.

Труднее понять, почему И. Полетаев обрушился не на подлинных виновников, а на искусство: еще раз вместо принца высекли нищего мальчика. В своем письме по по-

воду моей статьи Полетаев писал: «Некогда нам восклицать: «Ах, Бах! Ах, Блок!» Конечно же они устарели и стали не в рост с нашей жизнью... Общество, где много деловых Юриев и мало Нин, сильнее того, где Нин много, а Юриев мало».

Нужно сказать, что в письме Нины не было ни слова о музыке Баха, и упоминание о нем осталось для меня загадочным. Мне рассказывали друзья, недавно побывавшие в Академическом городке возле Новосибирска, где теперь работает И. Полетаев, что он любит музыку. Может быть, любовь к произведениям Баха заставила его упомянуть гениального композитора, работавшего двести лет назад, когда не было ни атомного века, ни «культа личности», а может быть, ему просто понравилось словосочетание «ах, Бах, ах Блок!». Не знаю.

Я писал не о превосходстве искусства над точными науками, а о необходимости развивать культуру чувств, то есть о том, о чем я говорил в шестой части этой книги: нельзя идти вперед на одной ноге. Однако дискуссия переключилась на вопросы, кратко сформулированные И. Полетаевым: искусство устарело, у деловых людей нет времени восхищаться Бахом и Блоком, сильнее то общество, где у каждого своя специальность и свое дело.

Я успел в 1959 году узнать, что записки на литературных вечерах пишут скорее наивные и глупые люди, и не судил об уровне нашей молодежи по тысячам писем, которые получила редакция или лично я. Сторонников И. Полетаева было немного, примерно одна десятая. Инженер Петрухин писал: «Как я могу восхищаться Бахом или Блоком? Что они сделали для России и для человечества?» Агроном Власюк заверял: «Понимать искусство надо, но восторгаться им прошло время». Капитан дальнего плавания М. Кушнарев старался проявить терпимость: «Я считаю так — нравится вам музыка Чайковского — идите, слушайте; нравится вам Блок — читайте на здоровье, но не тяните к этому остальных. Неужели кто-то думает, что мы будем хлопать в ладоши и восхищаться симфониями?»

Все письма последователей инженера Полетаева показывали низкий уровень душевного развития: и повторение бессмысленного сочетания имен Баха и Блока, и вопрос о том, что сделал Бах для России, и даже стиль — «читайте на здоровье». Однако и письма защитников искусства не были выше его хулителей. Тысячи авторов писем встревожились, считая, что Полетаев хочет им помешать пойти в театр или почитать в трудную минуту сти-

хи. Основным аргументом был следующий: В. И. Ленин любил слушать «Аппассионату», и это не помешало ему создать Советское государство. Для большинства «Аппассионата» была абстрактным понятием, запомнившимся по воспоминаниям Горького. Одна комсомолка писала, что человек даже в космос возьмет ветку сирени; это напоминало споры комсомольцев начала 30-х годов — нужна ли им ветка черемухи, хотя в те давние времена о космосе никто не думал. Вот фразы из писем, повторяющиеся в разных вариантах: «Как могут устареть Пушкин, Толстой, Чайковский, Репин?» — или: «Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы пойти вечером в театр на «Евгения Онегина». Одно письмо, напечатанное в газете, удивило меня глубиной. Юноша писал, что влюбился в девушку, она любила музыку, и ему пришлось с ней ходить на концерты, вначале он ничего не понимал, скучал, а потом понял, ему открылся новый мир, и, хотя девушка призналась, что любит другого, он ей будет благодарен до конца своих дней.

Один из участников дискуссии увещевал спорщиков: «не нужно ссорить математику с музыкой». Кстати говоря, их трудно рассорить. Эйнштейн в молодости увлекался скрипичной игрой и страстно любил до конца своих дней симфоническую музыку, находя в ней нечто общее с математикой. Никогда ученые не выступали против искусства. Жолио-Кюри любил музыку, живопись; когда он был вынужден остаться несколько месяцев в больнице, он начал писать пейзажи. Ирэн Жолио-Кюри увлекалась поэзией. Бернал в восхищении мне говорил о старом английском поэте-мистике Джоне Донне и о живописи.

Во время московской дискуссии физик А. И. Алиханов писал: «Однако если бы стимулом духовной деятельности человека была бы только утилитарность, то та сила, которая двигает науку, также исчезла бы. Стимул, толкающий к деятельности в науке и в искусстве, очень красочно изображен в следующем эпизоде: академика Амбарцумяна, астрофизика, спросили: «Какая польза от занятия астрофизикой?» На этот вопрос он ответил: «Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда поднимает голову и смотрит на звезды». Этот стимул, заставляющий человека думать не только о пище и продолжении рода, и привел к возникновению и науки, и искусства». (Хочу добавить, что в годы, когда подлинная живопись была изгнана из нашего быта, многие крупные физики покупали

холсты Фалька, Лентулова, Филонова и других запретных художников.)

В чем же идеал, предлагаемый Полетаевым и его куда менее сведущими сторонниками? В утилитаризме? Базаров говорил, что порядочный химик полезнее двадцати поэтов. В 1860 году это звучало вызовом либералам, помещикам, говорившим о красивости жизни. Теперь имеется большая и технически развитая страна Соединенные Штаты, где все знают, что быть не только видным химиком, но и обыкновенным инженером куда выгоднее, чем писать стихи. Об «американизации» мечтали не наши ученые, а некоторая часть техников, односторонне образованных и помеченных духовной сухостью и внутренней ленью.

Был в полемике и элемент спора. Когда комсомольцы устроили дискуссию, на которую обещали прийти Полетаев и я, зал был переполнен и болельщики двух команд неистовствовали. Сторонники Полетаева привезли электронную музыкальную машину; я ее слушал с интересом — в ней были элементы современной музыки Запада, но сторонники Полетаева в ужасе кричали: «Хватит!» — видимо, вкусы у них были вполне традиционные.

Задумываясь теперь над дискуссией 1959—1960 годов, я вижу, что наша молодежь не поняла ее трагической ноты: тяга к искусству во второй половине нашего века не ослабевает, а скорее усиливается, об этом свидетельствуют увеличение тиражей романов во всем мире, куда большая посещаемость выставок живописи, концертов симфонической музыки, театра, кино, даже литературных вечеров. Однако потолок произведений после войны неизменно падает. Большие живописцы и Франции, и наши, и Италии, обозначившие уровень искусства в первой половине века, почти все умерли.

22

Мы знаем великих художников, которые не раз в своей жизни чудодейственно менялись: Пуссен от увлечения венецианской красочностью перешел к строгому классицизму и кончил лиризмом; Сезанн выступил вместе с импрессионистами, а потом начал искать постоянство формы; на определении «периодов» Пикассо искусствоведы сломали себе голову. Шагал остался таким же, каким был в молодости. В этом году ему исполнилось восемьдесят лет, но его последние работы напоминают холсты, сде-

ланные свыше пятидесяти лет назад. Это не достоинство и не недостаток — это природа художника.

Для любого поэта или композитора время — неотъемлемое начало творчества, поэзия или музыка протекают во времени. Для художника или скульптора самое существенное — пространство. Конечно, было много художников, которые остро чувствовали ход времени, пространство для них менялось соответственно со сменой эпохи, но были и другие, которые не обращали внимания ни на ход часов, ни на листки календаря.

Когда Шагалу исполнилось пятьдесят лет, он написал картину «Время не знает берегов». Крылатая рыба летит над Двиной, к ней подвешены большие стоячие часы, стоявшие когда-то в доме родителей художника или его невесты. У Шагала летают не только птицы, но и рыбы, летают над городом бородатые евреи, скрипачи устраиваются на крышах домов, влюбленные целуются где-то ближе к луне, чем к земле. Однако, хотя все у него летит, кружится, он не замечает хода годов.

Я его встретил несколько раз в Париже в эпоху «Ротонды»: он в этом кафе бывал редко. Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встречал в Париже: Архипенко был одержим кубизмом, Цадкин походил на англичанина, Сутин молчал, глядел на всех и на все глазами испуганного подростка, Ларионов проповедовал «лучизм», а молодой Шагал повторял: «У нас дома...» Я его увидел много времени спустя в мастерской на авеню Орлеан, и там он писал домики Витебска. В 1946 году мы встретились в Нью-Йорке, он постарел, но говорил о судьбе Витебска, о том, как ему хочется домой. Последний раз мы увиделись в его доме в Вансе. Он был все тем же. Както он прислал мне длинное письмо — в Петрограде сорок лет назад он оставил холсты в мастерской рамочника. Он хорошо помнил дом на углу двух улиц, но не понимал, что значит сорок лет в жизни Ленинграда. Недавно, разговаривая со мной, он сказал о художнике Тышлере: «Молоденький». Тышлер остался для него двадцатилетним юнцом. Он никак не может поверить, что старого Витебска нет, что его сожгла фашистская авиация: он видит перед собой улицы своей молодости.

Шагал провел детство и отрочество в Витебске. Когда ему исполнилось двадцать лет, он уехал в Петербург, учился живописи у художника Бакста. Три года спустя ему удалось попасть в Париж. Весной 1914 года он вернулся в Витебск, женился на Белле и снова направился в Петер-

бург. Первый год революции он прожил то в Петрограде, то в Витебске, а осенью 1918 года Луначарский назначил его комиссаром по изобразительному искусству в Витебске. Он открыл там новую художественную школу, уговорил Малевича и Пуни приехать в Витебск — учить молодых энтузиастов живописи. Полтора года спустя преподаватели перессорились друг с другом. Шагал, разозлившись на «беспредметников», уехал в Москву, проработал там два года и переселился в Париж. Я рассказываю это, чтобы показать, каким чудодейственным родником остался для него Витебск, в котором он прожил относительно мало.

Кажется, вся история мировой живописи не знала художника, настолько привязанного к своему родному городу, как Шагал. Для Вермеера, при всей его привязанности к Дельфту, мир не ограничивался этим городом. Желая сказать нечто доброе о Париже, Шагал назвал его «моим вторым Витебском».

Он прожил несколько десятилетий в Париже, проводил летние месяцы в Бретани и в Пиренеях, в Оверни и в Савойе, жил да и теперь живет близ Лазурного берега, побывал в Испании, в Англии, в Голландии, Германии, в Италии, восхищался галереей Уффици и улицами Флоренции, два раза был в Греции, два раза в Палестине, глядел на Иерусалим, потом на пирамиды Египта, на пестрые краски Бейрута, шесть лет прожил в Нью-Йорке, съездил в Мексику. Что зрительно осталось от пятидесяти лет блужданий, от диковинных деревьев юга, от небоскребов, от развалин Акрополя? Да почти ничего: несколько пейзажей, Эйфелева башня, у верхушки которой порой обнимаются витебские влюбленные, вот и все. Деревянный захолустный Витебск, город молодости, врезался и в его глаза, и в его сознание. В 1943 году он написал в Нью-Йорке ночной пейзаж: улица Витебска, месяц и лампа, а под ней влюбленные витебчане. В 1958 году он пишет «Красные крыши»: дома Витебска, влюбленные и телега с русской дугой. Еще позднее, в «Женщине с голубым лицом», — телега на крыше дома и снова дуга выдают прошлое. В 1919 году Шагал в витебском сборнике «Революционное искусство» выступил против «сюжетной живописи», против «литературщины». Это может показаться парадоксом: он и тогда был самым «литературным», самым «сюжетным» из всех современных живописцев, да и потом всю свою жизнь он делал то же самое. Но здесь не измена себе, а условность словаря. Шагал отвергал тех мнимых живописцев, которые дума-

ли и думают, что можно воздействовать на глаз одной сменой сюжета. Он с отрочества знал, что у живописца свой язык, и протестовал против фотографической живописи. Ни протокол, ни опись бутафории не казались ему искусством. При этом он был и остался поэтом, не потому что в молодости иногда писал слабые стихи, а потому, что поэтичность присуща его живописи. Можно сказать, что яблоки или гора Сен-Виктуар — это главы романа, созданного Сезанном. А Шагал — поэт или, если точнее определить, сказочник, Андерсен живописи.

Сказки неизменно однообразны и многообразны: меняется свет и цвет, а действующие лица повторяются. Шагал показывает людей Витебска; влюбленные целуются, печальные и ясные; бородатые старые евреи то сидят пригорюнившись, то летают над городом; скрипачи не устают играть на крышах; кругом деревянные домишки; деревья, месяц или полная луна, река или небо, домашние животные, которые полюбились ему еще в детстве, — петух, корова, ослик, коза, рыба. Шагал опытный мастер, и он ребенок, влюбленный в сказку.

Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале, считает, что возникновение его живописи таинственно, по его мнению, при всем ее русском характере она никак не связана с народным искусством. Я не знаю, что подразумевает искусствовед под «народным искусством». В Витебске в начале нашего века не было ни гончаров, сохранявших старые традиции, ни мастеров народной игрушки, ни вологодских кружевниц, ни северных мастеров резьбы, но в этом городе, как и во всех русских городах, жили и работали мастера вывесок. Над лавками, где торговали фруктами или папиросами, над булочными и над парикмахерскими красовались жанровые сцены или натюрморты. Хотя на парикмахерской, где стриг и брил витебчан дядя Шагала, не было ничего изображено, начинавший художник, бесспорно, видел много увлекательных вывесок. Да и сам Шагал одно время, вынужденный заработать несколько рублей, писал вывески, и это занятие ему нравилось. Кончаловский рассказывал, как на него подействовали вывески: «Хлебы» он написал под прямым влиянием одного из народных кустарей-живописцев. Все ранние «бубнововалетцы» — и молодой Машков, и Лентулов, да и художники других групп — Малевич до того, как он написал знаменитый квадрат, и Ларионов — все они испытали двойное влияние — Сезанна и мастеров вывесок.

Конечно, в Париже Шагал испытал на себе различные влияния — и кубизма, и «диких», и даже сюрреализма, но эти влияния были кратковременными, и, обогатив художника, они не изменили его почерка. Бывают чудесные холсты Шагала, бывают похуже, но его картины никогда нельзя спутать с работами других мастеров.

Шагал — большое явление в мировой живописи XX века. В фондах Третьяковской галереи и ленинградского Русского музея хранятся прекрасные его холсты. Наши музеи их предоставляли для больших выставок в Париже, в Токио.

Может быть, пришло время показать работы витебчанина М. З. Шагала не только французам или японцам, но также его землякам? Ведь все созданное им неразрывно связано с любимым им Витебском.

Комментарии

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Книга пятая (окончание)[1]

Глава 14

Впервые под названием «1943-й» — *ЛГ,* 1962, 21 авг.

Стр. 9. *...майор Харченко...* — См. о нем статью «Во весь рост» (*КЗ,* 1943, 2 июля); там же о мл. лейтенанте Ионсяне и генерале Федюнькине.

Генерал Мартиросян в 1963 году написал мне... — Письмо С. С. Мартиросяна от 31 авг. 1962 г. было откликом на публикацию этой главы в «Литгазете» («Вы так тепло и сердечно отзываетесь о нашей незабываемой встрече с Вами и с тов. Гроссманом В. С. ...» — *ФЭ*).

...моя дружба с танкистами-тацинцами... — См. восп. А. М. Баренбойма «Почетный танкист» (Знамя, 1984, № 2; напечатаны с купюрами, полностью — под назв. «Гвардии рядовой Илья Эренбург» в газ. Тацинского РК КПСС Ростовской обл. «Свет Октября», 1982, 20, 23, 25, 27 ноября, 2, 4 дек.). Письмо тацинцев И. Э. — «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны». Кн. 1 (Лит. насл., т. 78. М., 1966, с. 607). Переписка И. Э. с И. В. Чмилем — «Писатели в Отечественной войне». М., 1946 (изд. Гослитмузея), с. 74 — 79.

Стр. 10. *Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина...* — Переписка И. Э. с Хандогиным — в кн.: «Писатели в Отечественной войне», с. 79 — 84.

Стр 11. *П. Л. Чепурченко рассказывал...* — См. статью «Земля Пирятина» (*КЗ,* 1942, 26 ноября) и «16 ноября 1943 года» (см. т. 5 наст. изд., 614).

---

[1] Условные сокращения при ссылках на произведения И. Эренбурга см. в т. 6 наст. изд., с. 567.

Я сидел ночью у Сожа. — См. статью «Дело совести» (Правда, 1943, 29 окт.).

...убили глубокого старика С. К. Полонского... — Прочитав об этом в статье И. Э. «Дело совести», сын убитого, гвардии старшина И. С. Полонский, в письме к И. Э. 1 февраля 1944 г. поблагодарил его и написал о том, как он мстит гитлеровцам за убитого отца (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 2556, л. 100).

Стр. 13. *В 1943 году я раза два или три ходил на собрания московских писателей.* — 27 окт. 1943 г. писатель Е. Ланн сообщал И. Э.: «Вчера слушал Вас в клубе ССП... Хочу сказать Вам, что я очень ясно почувствовал ту огромную общественную ценность Вашей работы, которую вы взяли на себя и с таким достоинством несете в течение двух с лишним лет. Вы — единственный среди наших крупных писателей, кто понял острей, чем все остальные, необходимость в наши дни отрешиться от высокомерной уверенности, что еще одна хорошая книга «над схваткой» более ценна, чем трудная, очень трудная работа, которую Вы избрали. Для этого необходимы не только большое мужество в преодолении честолюбия, но и самоотречение и большая душа» *(АЭ).*

Стр. 14. *Я запомню, как последний дар...* — Из стихотворения «В Белоруссии» (1943) (см. т. 1 наст. изд., с. 159).

...Мой век был шумным... — Из стихотворения «Я помню — был Париж» (1942) (см.: т а м ж е, с. 158).

Стр. 15. *Было в жизни мало резеды...* — Это и следующее стихотворение 1943 г. приведены полностью.

Редактор моей книги — П. И. Чагин, редактор сб. «Стихи 1938 — 1958» (М., Сов. писатель, 1959).

Скажи, здесь тоже жизнь была... — стихотворение 1943 г. (см.: Э р е н б у р г И. Стихотворения и поэмы. Новая библиотека поэта. СПб., 2000, с. 514).

Стр. 16. *По рытвинам, средь мусора и пепла...* — Это и следующее стихотворение 1943 г. приведены полностью.

...я не мог тогда предвидеть... судьбы многих честнейших людей, о которой написал А. Солженицын... — в повести «Один день Ивана Денисовича».

Глава 15

Стр.17. *Седьмого ноября 1943 года... в особняке на Спиридоновке пышный прием...* — В зап. кн. И. Э.: «Прием. Общий вид. Кончаловский: «Похоже на Манэ». Вспоминают 41 г. В. М. <Молотов> и пр. «Фронт — совершается победа» (подчеркивая). В. М.: «Тост без вопросов и комментариев: «За Эренбурга». Он же: «неутомимый». Он же в конце о немцах: «Они увидят... справедливость». Ш. пьяная с Толстым. Шапиро: «Впервые за 8 лет я чувствовал себя хорошо». Голландский посол: «Жаль, что нельзя увидеть Рублева»... Гарро о

статье в «Труде». В. М. о Черчилле: «Я видел, что он любит Францию, когда он был у Сталина». <А. М.> Герасимов не поздоровался. Шостакович: «8-я симфония — лучшее, что я написал, не потому, что последняя». Рейзен: «Вы один пишете о муках евреев». Корнейчук мне о разговоре со С<талиным?>: «Дело совести... Как живет? Работает? Хочу увидеть». Корнейчук: «Я ему сказал — стучит день и ночь. У него боевое сердце» *(ФЭ).*

Стр. 18. *6 ноября Сталин сказал...* — Из доклада «26 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции».

...из Лондона вернулся И. М. Майский. — Об одном из выступлений Майского С. Е. Голованивский писал, вспоминая годы войны: «Как выразился наш посол в Англии И. М. Майский на узкой встрече в Союзе писателей, тогда существовало только два человека, влияние которых можно было сравнивать: имя одного — Эренбург, второго он не назвал, как видно испугавшись собственной идеи — сравнивать» *(АЭ).*

Стр. 19. *Английский корреспондент Александр Верт* — встречался и переписывался с И. Э. и после войны. Вспоминая лето 1942 г., он писал: «Каждый солдат в армии читал Эренбурга; известно, что партизаны в тылу врага охотно обменивали лишний пистолет-пулемет на пачку вырезок его статей. Можно любить или не любить Эренбурга как писателя, однако нельзя не признать, что в те трагические недели он, безусловно, проявил гениальную способность перелагать жгучую ненависть всей России к немцам на язык едкой, вдохновенной прозы; этот рафинированный интеллигент интуитивно уловил чувства, какие испытывали простые советские люди. С идеологической точки зрения то, что он писал, было неортодоксально, но из тактических соображений в тогдашних условиях было сочтено целесообразным предоставить ему свободу действий» (В е р т А. Россия в войне. М., 1967, с. 295 — 296).

Я получил письмо от вице-президента... Уоллеса... — «Дорогой Илья Эренбург, я только что начал изучать русский язык. И мое первое письмо я пишу Вам. Я хочу Вам сказать, что, когда я говорю о нашем веке как о «веке простого человека», я имею в виду именно ту народную душу, которая спасла Вашу родину и которую Вы так мастерски описываете в Вашей статье «Заря». Я читаю Ваши статьи всегда с большим интересом, в них звучит такая вера в народную душу. Да, будущее принадлежит народам со стойкой душой и с любовью к свободе. Желаю Вам всего лучшего. Генри Уоллес» *(ФЭ).* И. Э. ответил 24 ноября 1943 г.: «Дорогой вице-президент, меня глубоко тронуло Ваше дружеское письмо. Вы, наверное, знаете, с каким вниманием следит наша общественность за Вашей работой и какой отклик находят среди советских людей Ваши выступления. Поэтому Вы поймете, как я обрадовался Вашей книге. Я недавно побывал на фронте, на Днепре, и мне хочется Вам сказать, что каждый красноармеец воодушевлен теми идеями справедливости и свободы, о которых Вы говорите в Вашем письме. Я посылаю Вам сборник моих статей («Война», т. 2. — *Б. Ф.*) и от души желаю Вам сил в Вашей столь ответственной работе. Искренне уважающий Вас Илья Эренбург» *(ФЭ).*

Стр. 20. *Один из помощников А. С. Щербакова — Кондаков — забраковал мой текст...* — В зап. кн. И. Э.: «10 июля (1943). Обращение к евреям. Кондаков не звонит: советуется. 13 июля. Разговор с Кондаковым: о еврейском обращении: только 4-м писателям и поменьше адресов. Потом о тексте. Выкиньте, что фашисты ненавидят евреев, что среди евреев было много ученых и поэтов. — «Почему?» — Значит, у других было мало. Выкиньте, что «не буду говорить о героях. Имена многих знает советский народ». — Бахвальство. Гурову (сотрудник Совинформбюро. — *Б. Ф.*) было неловко... Задержаны все 4 статьи о «14 июля». 14 июля. В «Известиях» и «Правде» — статьи о 14 июля (не И. Э. — *Б. Ф.*). В «Кр. звезде» и «Труде» нет моих. Карпов и (нрзб.) возмущены. Ортенберг: «Вы правы». 15 июля. Кондаков не пропустил статьи. 16 июля. Письмо А. С. <Щербакову>. Ночью звонок. Насчет евреев «вместе имеют право». Это не бахвальство» *(ФЭ)*.

Должна была выйти моя книга «Сто писем»... — В зап. кн. И. Э.: «3 авг. Статьи о предателях не пропускают. Писал А. С. <Щербакову> также о «100 письмах»... «100 писем» не пропускают». Верстка кн. «Сто писем» (изд. «Мол. гв.», разрешение Главлита 24.VI.43) в *АЭ*; в кн. 122 стр.; предисловие автора и 10 статей: «Июнь» (1942), «Мы выстоим» (1941), «Оправдание ненависти», «Немец», «Убей», «Испытание огнем», «Твое гнездо», «Россия», «Судьба России», «Свет в блиндаже» (все — 1942). После каждой из них идут фрагменты писем с фронта и тыла, связанные с темой статьи. В 1943 г. «Сто писем» изданы в Москве на фр. яз.; в 1945 г. вышли в Париже с предисловием Ж. Р. Блока.

Сельвинский написал хорошие стихи о России — «Россия» (Комс. правда, 1943, 11 июля). В зап. кн. И. Э.: «13 июля «Известия» обругали Сельвинского (ред. ст. «Неразборчивая редакция». — *Б. Ф.*)... 22 авг. Фадеев о стихотворении Сельвинского: «Государственная точка зрения» *(ФЭ)*. В 1944 г. Сельвинский прислал И. Э. свою книгу «Военная лирика» (Ташкент, 1943) с надписью: «Дорогому Илье Григорьевичу с уважением коллеги и восхищением фронтовика. Илья Сельвинский. 20.II.1944»; в стихотворении «Россия» автор восстановил все цензурные купюры *(АЭ)*.

«Правда» обрушилась на Платонова... — Статья Ю. Лукина «Неясная мысль» о рассказе «Оборона Семидворья» обвиняла Платонова в «погоне за оригинальностью во что бы то ни стало» (8 июля 1943 г.).

Стр. 21. *...осудили... книгу Федина о Горьком...* — Речь идет о статье Ю. Лукина «Ложная мораль и искаженная перспектива» (Правда, 1944, 24 июля). Л. Озеров вспоминал, что на писательском собрании П. Павленко назвал книгу Федина «клеветой», а М. Шагинян признала ее вредной (см.: *ВЛ,* 1987, № 11, с. 223).

«Пошлые выверты К. Чуковского...» — Из статьи П. Ф. Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского» (Правда, 1944, 1 марта; статья о книге «Одолеем Бармалея» — 1943 г.).

«Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом». — Из статьи С. Бородина «Вредная сказка» (Лит. и иск-во, 1944, 25 марта).

Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославлявшего опричнину. — В статье «Правды» «Лекция о Грозном» сообщалось о лекции докт. ист. наук, проф. Р. Ю. Виппера 17 сент. 1943 г. в Колонном зале Дома союзов: «Во второй части своей лекции профессор Виппер ярким и образным языком излагает материалы, разоблачающие и опровергающие созданное некоторыми историками представление о Грозном как о бессмысленно жестоком тиране» (Правда, 1943, 19 сент.); 30 сент. 1943 г. «Правда» сообщила об избрании Р. Ю. Виппера действительным членом Академии наук СССР.

Я... написал в издательство восторженное письмо... — 3 дек. 1942 г. И. Э. послал в Магаданское краевое издательство телеграмму: «Книги получил. Благодарю. Обрадован хорошим изданием. Прошу поблагодарить художника за прекрасные иллюстрации. Сожалею, его имя не обозначено» *(ФЭ)*. Ответная телеграмма: «Весьма признателен за положительную оценку книги. Фамилию художника не могли указать ввиду особых условий Дальстроя. Начальник отдела пропаганды Политуправления НР 817 Соколов» *(ФЭ)*.

...ко мне пришла жена художника Шребера... — Речь идет о художнике Исааке Яковлевиче Шермане (ск. в Магадане в 1951 г.; см. о нем очерк в «Магаданском комсомольце» 20 февр. 1988 г.). Причиной ошибки в фамилии стала неточная запись в зап. кн. И. Э.: «9 окт. 1944. Жена художника Шребера, который иллюстрировал «Падение Парижа». Из Риги. В 35 г. из Парижа. В 37 г. — 10 лет. На рудниках. Теперь плакаты (учился у Колена)» *(ФЭ)*. Отметим, что 8 рисунков тушью Шермана к «Падению Парижа» хранятся в Гослитмузее (№ 16554/1-8), где приписываются Б. М. Десницкому (бывшему лефовцу, потом зеку).

Стр. 22. *Один... педагог доказывал...* — См. статью «О раздельном обучении в школах» (Известия, 1943, 10 авг.).

Шостакович прислал мне записку... — «Дорогой Илья Григорьевич, если Вы будете свободны 10 ноября, то выполните, пожалуйста, мою большую просьбу: сходите в большой зал Консерватории и послушайте мою 8-ую симфонию. Д. Шостакович. 9.XI.1943» (см.: Нева, 1989, № 8, с. 206).

Глава 16

Написана в 1965 г. по настоянию В. А. Каверина, готовившего сборник воспоминаний «Юрий Тынянов, писатель и ученый», где и напечатана впервые (М., 1966, с. 182 — 186). Начало ее было таким: «Я спрашиваю себя: почему в первой редакции моей книги воспоминаний я уделил недостаточно места Юрию Николаевичу Тынянову? Я ведь признавался, что его книги были событиями в моей жизни. Вероятно, я боялся, что не понял их автора: наши разговоры по большей части были случайными, малозначительными. Я все откладывал рассказ о Тынянове: мне казалось, что в книге о жизни он покажется отрывком из литературной статьи. Пора исправить и эту

ошибку. Тынянов был человеком сложным, общительным, но замкнутым. Легче было им восхищаться, чем его понять. Он мог блистательно болтать о пустяках, мог добродушно отпускать язвительные реплики, мог, увлеченный, говорить о строке Дельвига или своего любимца Кюхельбекера, как астроном говорит о звездах или медик о болезнях, был неизменно учтив и, хотя родился в Режице, а учился в Пскове, казался мне воплощением идеального петербуржца».

Стр. 23. *Юрий Николаевич во время первых встреч меня смущал...* — Возможно, в этом сказались и статьи 1924 г., в которых Тынянов писал о прозе И. Э. («200 000 метров Ильи Эренбурга» и «Литературное сегодня»).

Стр. 24. *Весной 1936 года Юрий Николаевич приехал в Париж...* — В письмах из Парижа В. А. Каверину Тынянов упоминал сердечное отношение к нему Эренбургов («Люба за мной ходит, как за ребенком». — См.: Каверин В. Письменный стол. М., 1985, с. 84 — 85).

Стр. 26. *Вспоминаю нашу последнюю встречу...* — В. А. Каверин писал о «непостижимой точности», с которой И. Э. в ту встречу с Тыняновым предсказал начало Отечественной войны: «Первого июня 1941 года мы вместе поехали навестить Ю. Н. Тынянова в Детское Село, и на вопрос Юрия Николаевича: «Как вы думаете, когда начнется война?» — Эренбург ответил: «Недели через три» (*ВЭ*, с. 42); по зап. кн. И. Э. — это было 31 мая 1941 г.

Стр. 27. *Я был на его похоронах.* — В. Б. Шкловский 27 дек. 1943 г. писал Б. М. Эйхенбауму: «Двадцать третьего мы похоронили Юрия. Он умер в больнице 21-го в 10 часов вечера... С трудом устроили похороны. Тело было выставлено в Литинституте... На похоронах были серапионы, Чуковский, Маршак, Фадеев, Эренбург. Объявления в газетах не было» (*ВЛ*, 1984, № 12, с. 210).

Глава 17

Стр. 28. *...разговор с Иденом был куда интереснее.* — В зап. кн. И. Э.: «11 окт. 1944. Прием у Молотова. Разговор с Иденом: «Вы больше франкофил, чем англофил». Молотов: «Эренбург — наш агитатор, нет, более того, душа К<расной> А<рмии>... Он прав, нужно добить Германию. Вас немцы не забудут». — «Они не забудут нас». — «Правильно» *(ФЭ)*; со словами А. Идена перекликается выступление А. Вышинского 24 авг. 1944 г.: «Илья Эренбург очень перехваливает в своих публичных лекциях Францию, несмотря на наши предупреждения: не захваливайте де Голля, не кадите чересчур... вы франкофил, но умерьте немножко свой пыл, согласуйте это с общегосударственными задачами... Если объявлена лекция о Франции, там уже сидит весь шпи... пардон, весь дипломатический корпус во всех видах» (Знамя, 1990, № 6, с. 125).

Стр. 31. *Он знал войну... написал хорошие очерки.* — Очерки Л. Стоу из «Чикаго дейли ньюс» перепечатаны под названием «С Красной Армией на Ржевском фронте» в «Знамени» (1943, № 1).

Стр. 32. *Сталин ответил на вопросы... Кессиди.* — Письменные ответы на вопросы корреспондента Ассошиэйтед Пресс Кессиди Сталин давал дважды: 3 окт. и 13 ноября 1942 г.

Стр. 33. *Особенно радовался корреспондент «Таймса»...* — См. статью «Путь к Германии» (*КЗ,* 1944, 10 июля).

Глава 18

Впервые под названием «Лето 1944» — Советская Литва, 1962, 16 окт.

Стр. 34. *В Минск я попал 4 июля.* — Поездка И. Э. на фронт в Белоруссию и Литву описана в очерках «Путь к Германии» (*КЗ,* 1944, 19 и 20 июля), а также в книге Н. Денисова «1417 дней фронтового корреспондента» (М., 1969, с. 234 — 247).

Стр. 38. *Я говорил с... генерал-лейтенантом Окснером.* — Об этом разговоре И. Э. упомянул в статье «20 июля 1944 года» (см. т. 5 наст. изд., с. 637).

Гельвицер подписал обращение... — Оно заканчивалось словами: «Борьба против Гитлера — это борьба за Германию» (напечатано в «Правде» 26 июля 1944 г.). Фамилия упоминаемого И. Э. генерала в тексте «Правды» — Голльвитцер.

Глава 19

Стр. 43. *Пережил эвакуацию.* — 31 окт. 1941 г. Ж. Р. Блок писал И. Э. из Казани: «За последние две недели я увидел и узнал многое, что с ужасом напомнило мне другую недавнюю эвакуацию. Жду третью. Без философских размышлений... У Маргариты ангина. Я ужасно простужен, и у меня приступ желчного пузыря. А мы ведь еще среди самых привилегированных. Жилье сносное, но вот помыться или... В университетской библиотеке я даже нашел французские книги. Я снова принялся за работу. Столица Татарии — непроходимое болото. Но настроение остается хорошим. Кстати, стоит прислушаться ко всем пораженческим и паническим разговорам наших уважаемых литераторов разных национальностей, чтобы из чувства противоречия сразу собраться... Какие известия о Лапине?.. Дружески Ж. Р. Блок» *(ФЭ).*

Стр. 47. *Я не обращаюсь к политикам...* — Перевод И. Э.

Мне тоже хочется писать о женщине... — Из книги «Espagne, Espagne!» (Paris, 1936, p. 12), перевод И. Э. В сов. изд. книги — Ж. Р. Блок, «Испания, Испания!» (М., 1937) — эти слова не вошли.

Стр. 48. *У меня сохранился экземпляр «Судьба века» с надписью Жана Ришара...* — «Моему другу Илье Эренбургу с восхищением

Ж. Р. Блок. 7 марта 1931» *(АЭ)*; сохранились и более ранние автографы: на книге «...и компания» — «Илье Эренбургу — у меня с ним духовное сродство, а кроме того, сумма общих воспоминаний, уже немалая. Его старый друг Ж. Р. Блок. 1930»; на книге «Offrande à la musique» — «Илье Эренбургу, которым я восхищаюсь и которого я очень люблю. Ж. Р. Блок. Пуатье 1930 г.».

Стр. 49. *«Нужно ли говорить...»* — Из статьи «Сталинградец» в книге «Москва — Париж», 1947, перевод И. Э.

...я... упомянул о холстах Пикассо, изрезанных... фашистами. — В статье «Ноябрьские туманы» (*КЗ,* 1944, 16 ноября) И. Э. писал: «...они вандальски уничтожают пятнадцать картин крупнейшего художника Пикассо, только потому, что Пикассо с народом, а не с пятой колонной»; об этом же упоминал И. Э. в статье «Час искусства» (Сов. иск-во, 1944, 7 ноября).

Когда в одной редакции... — Публикуя эту главу, И. Э. пришлось заменить разговор «в одной редакции» на разговор «в трамвае»; см.: *НМ,* 1963, № 2, с. 143.

Стр. 50. *«Теперь время для военных корреспондентов...»* — Из предисловия к книге «Испания, Испания!», перевод И. Э.

Глава 20

Написана в 1965 г., впервые — Эренбург И. Люди, годы, жизнь, кн. 5, 6. М., 1966.

Стр. 50. *...один из его первых рассказов — «Четыре дня».* — Вошел в одноим. сб. рассказов В. Гроссмана (М., 1936).

Война отодвинула в сторону литературные распри — в этом смысле характерны взаимные высказывания Гроссмана и И. Э. об их военной публицистике. Гроссман: «И все же значимость работы Эренбурга — не в литературных достоинствах его статей, памфлетов, фельетонов, очерков, а в том, что с первых дней войны Эренбург в сотнях своих стремительных статей стал глашатаем тех скромных, простых людей в выцветших от ветра и дождя гимнастерках и пилотках, которые прошли через все испытания, сохранив богатство своего не грубеющего в боях сердца, своей человеческой души, своего разума, верного правде и свету» (Писатель — воин. — Лит. и иск-во, 1944, 6 мая). Эренбург: «Я применил к книге Гроссмана («Годы войны». — *Б. Ф.*) эпитет «честная»; он вообще хорошо определяет этого писателя, большого, несколько неуклюжего, лишенного блистательности, да, пожалуй, и блеска, традиционного в своем желании подумать и мыслями поделиться за письменным или за чайным столом, писателя, который силен тем, что он не штурмом, а упрямо, осадой проникает в душевный мир героев» (Глазами Василия Гроссмана. — *ЛГ,* 1946, 23 февр. См. т. 6 наст. изд., с. 276; цит. по рук.).

Стр. 52. *...немецкий писатель-эмигрант.* — Возможно, имеется в виду Вилли Бредель (в зап. кн. И. Э.: «8 ноября 1943. Гроссман о немцах: «Нельзя убивать страх... но вот Бредель»).

О Ленине он говорил с благоговением. — Речь идет о военных годах; о дальнейшей эволюции взглядов Гроссмана можно судить по повести «Все течет...», неизвестной И. Э. Возможно, что таким свидетельством И. Э. пытался помочь изданию книг, снятию запрета с имени Гроссмана.

...будто его повесть «Народ бессмертен» из списка... на премию вычеркнул Сталин. — При голосовании в Комитете по Сталинским премиям 4 марта 1943 г. повесть Гроссмана получила 18 голосов «за» при 22 голосовавших (8 — за премию 1 ст. и 10 — за 2 ст.); Комитет присудил повести премию 2 ст. Из списка награжденных была снята при «обсуждении» у Сталина, где премии 1 ст. дали Леонову (в Комитете «за» 14 — 4 за 1 ст. и 10 за 2 ст.; присуждена была премия 2 ст.) и Симонову (в Комитете «за» 10 голосов — 6 за 1 ст. и 4 за 2 ст.; премия присуждена не была). См.: РЦХИДНИ, ф. 82 (Молотова), оп. 2, ед. хр. 460, л. 59. Также перед войной Сталин вычеркнул из списка лауреатов роман Гроссмана «Степан Кольчугин» (см.: Огонек, 1987, № 40, с. 23).

Сталин должен был не любить Гроссмана... — В связи с этим утверждением Н. Роскина пишет: «Уж не знаю, за что Сталин не любил Гроссмана, за какие такие «пристрастия», но нелюбовь эта была взаимной, что я могу удостоверить. Отнюдь не любовь к Ленину была причиной всегда опального положения Гроссмана, а исключительно тот факт, что Гроссман никогда не искал любви Сталина» (Р о с к и н а Н. Четыре главы. Paris, YMCA-PRESS, 1980, с. 107 — 108).

Стр. 53. *...в «Правде» появилась статья одного писателя, напоминавшая... обвинительное заключение.* — Б у б е н н о в М. О романе В. Гроссмана «За правое дело» (Правда, 1953, 13 февр.).

Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса». — В. Ермилов (Правда, 1946, 4 сент.).

Я знал эту его черту... я не обижался. — Друг Гроссмана С. И. Липкин вспоминал: «Гроссману приятно было отношение к нему Эренбурга — внимательное, ласковое, уважительное. Гроссман ценил его талант, особенно ярко, по его мнению, выразившийся в «Хулио Хуренито», ценил его военные статьи, его образованность, превосходное знание живописи, ценил, как я заметил, то, что его хвалит писатель старше его годами, с мировой славой... Однажды, где-то в начале пятидесятых, мы с Гроссманом были в гостях у Каверина, заночевали у него на даче в Переделкине, об этом узнал Эренбург, живший тогда на соседней даче у Лидина, и пригласил нас к себе. Гроссман шел к нему раздраженный, — Каверин скупо выставил водку, и вот, когда мы пришли к Эренбургу, Гроссман на него обрушился как на борца за мир, выложил все, что он думал о его политической деятельности. Эренбург держался мужественно, оскорбительные слова Гроссмана выслушивал спокойно. Я был согласен с Гроссманом, но, признаюсь, не одобрял его поведения: со многими Гроссман рассорился, теперь рассорится с Эренбургом, который так любил его как писателя, да и как человека» (Л и п к и н С.

18 Зак. 92

Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М., Книга, 1990, с. 101 — 102). Гроссман успел прочитать первые книги мемуаров И. Э.; его отзывы были резкими: «Читается с интересом, но в 70 лет можно бы подумать поглубже, посерьезней» (т а м ж е, с. 71); «Это ведь исповедь, покаяться надо было, а то получился фельетон» (Дружба народов, 1989, № 2, с. 168).

Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. — Речь идет о романе «Жизнь и судьба», арестованном КГБ в 1961 г. В. Гроссман обратился с письмом к Хрущеву; он был принят Сусловым, который допускал возможность издания романа через 200—300 лет (Огонек, 1988, № 23, с. 21). Истоки неприязни Хрущева к Гроссману, ссылаясь на свидетельства писателя, приводит Н. Роскина: «Хрущев терпеть не мог Гроссмана... во время войны Хрущев, член Военного Совета, все приглашал Гроссмана зайти в его блиндаж, послушать его умные речи. Гроссман раз не пошел, два не пошел, ну, Хрущев и перестал его приглашать, да хорошенько это запомнил» (см.: Р о с к и н а Н. Op. cit., с. 108).

Похороны его были горькими... — По свидетельству С. Липкина, первоначальный текст некролога Гроссману был написан им вместе с И. Э., который сразу же согласился на предложение произнести речь на похоронах; Липкин пишет: «Умную, серьезную речь произнес Эренбург. Он поставил Гроссмана в один ряд с крупнейшими писателями России. Он честно признал, что Гроссман в последние годы относился к нему крайне критически, перестал с ним встречаться. «В некрологе напечатано, — сказал Эренбург, — что лучшие произведения Гроссмана останутся достоянием советского читателя. Но кто возьмет на себя право определять, какие произведения — лучшие?» Все поняли, что имел в виду Эренбург» (Л и п к и н С. Op. cit., с. 111). Г. Я. Суриц приводит такие слова И. Э. из его речи памяти Гроссмана: «Он... был тяжелый человек, тяжело жил и тяжело умер. Но он был до конца честный человек. Не обязательно у него учиться, как писать. Но обязательно учиться, что писать» *(СК)*. Руководство Союза писателей отвело предложение близких Гроссмана включить И. Э. в комиссию по наследию покойного писателя.

Глава 21

Эта глава, посвященная истории «Черной книги» об уничтожении еврейского населения на оккупированной гитлеровцами территории СССР была изъята из публикации мемуаров в «Новом мире». Впервые (с купюрами) — Э р е н б у р г И. Люди, годы, жизнь, кн. 5, 6. М., 1966. Полностью впервые — *ЛГЖ-90.*

В течение всей войны И. Э. собирал материалы о злодеяниях немцев на занятых ими территориях; их поток, шедший к писателю на адрес «Красной звезды», стал особенно большим, когда началось освобождение оккупированных районов. В архиве И. Э. оказалась масса

документов (дневники, письма, записки, фотографии); в 1943 г. у него возник план издания на основе этих документов книги об уничтожении немцами еврейского населения СССР. Издание такой книги И. Э. считал чрезвычайно важным и в силу чудовищности совершенного немцами преступления, и по причине набиравшего силу в СССР антисемитизма. Создание такой книги было не по силам одному человеку, и весной 1944 г. И. Э. создал литературную комиссию (в нее вошли помимо названных в этой главе М. Алигер, П. Антокольского, В. Гроссмана, Вс. Иванова, В. Каверина, П. Маркиша, Л. Сейфуллиной также В. Герасимова, А. Дерман, В. Ильенков, В. Инбер, Л. Квитко, В. Лидин, Г. Мунблит, Л. Озеров, А. Платонов, О. Савич, К. Федин, Р. Фраерман, О. Черный, В. Шкловский). Задача писателей состояла в литературной обработке документов, в создании обзорных очерков; весь материал располагался в книге по географическому принципу. Комиссия, созданная И. Э., собиралась в помещении Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). 13 окт. 1944 г. И. Э. говорил на заседании комиссии: «В течение долгого времени не было выяснено: будет ли санкционировано издание этой книги... Меня просили написать записку для представления о содержании, планах и цели книги. Основываясь на нашем первом собрании, я это изложил и представил. Ответа прямого не последовало, но мне было сказано так (через Еврейский комитет) — сделайте книгу, и, если она будет хорошей, она будет напечатана. Так как авторами книги являемся не мы, а немцы, а цель книги ясна, я не понимаю, что значит «если будет хорошей» — это не тот роман, содержание которого неизвестно» (*ЛГ*, 1990, 16 мая). Минуя ЕАК, издать книгу было нельзя, а в самом ЕАК существовал и другой план использования документов, собранных И. Э., — передать их в США для включения в «Черную книгу», там ее готовили А. Эйнштейн и Ш. Аш; этот второй план отстаивал И. Фефер, за спиной которого стояли влиятельные силы. И. Э. считал необходимым издать «Черную книгу» прежде всего в СССР; понимая, что передачу ее материалов в США в конце концов используют для сворачивания работы созданной им комиссии, он выступал против плана Фефера. Когда в начале 1945 г. материалы «Черной книги» были отправлены в США, И. Э. заявил протест. В письме к нему официальный председатель ЕАК С. А. Лозовский дипломатично просил И. Э. продолжать начатую работу, с тем чтобы впоследствии выпустить в СССР и книгу, подготовленную комиссией И. Э., и сборник документов, составленный ЕАК (см.: «Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941 — 1948». М., 1996, с. 251; ниже — *«ЕАК»*). И. Э. отказался, не считая возможным прикрывать своим авторитетом обреченную на неиздание работу. «По решению С. А. Лозовского, — написал И. Э. тогда же В. С. Гроссману, — издание «Черной книги» поручается непосредственно Еврейскому Антифашистскому комитету. Поэтому Литературная комиссия, созданная мной для подготовки к печати этой рукописи, прекращает свою работу. Приношу Вам, Василий Семенович, сердечную благодарность за Ваше

участие в работе Комиссии. Я глубоко убежден, что проделанная Вами работа не пропадет для истории» (РГАЛИ, ф. 1710, оп. 1, ед. хр. 123); аналогичные письма И. Э. отправил другим членам комиссии. Комиссия, однако, не была распущена, а продолжала функционировать под руководством ЕАК; возглавить ее работу согласился В. С. Гроссман. «Черная книга» на русском языке была выпущена впервые в 1980 г. в Иерусалиме (изд-во «Тарбут»), в 1991 г. это издание было повторено в Киеве. В 1993 г. в Вильнюсе по-русски вышел полный текст «Черной книги» (исправленное и дополненное издание подготовила И. И. Эренбург на основе архива отца).

Стр. 54. *...пришло время обнародовать документы...* — И. Э. собирал материалы о злодеяниях гитлеровцев на оккупированных советских территориях с самого начала войны.

Стр. 55. *...Я жил когда-то в городах...* — Из стихотворения «Бабий Яр» (1944); см. т. 1 наст. изд., с. 164.

Тургенев... вспоминал... — См.: Тургенев И. С. Литературный вечер у П. А. Плетнева (ПСС, т. 11. М., 1983, с. 13).

Стр. 56. *...я обнял узбекского поэта Гафура Гуляма...* — В зап. кн. И. Э.: «4 дек. 1943. Вечер в клубе. Гафур Гулям «Я — еврей». Державин перевел. Толстой: Михоэлс плакал... 5 дек. Вечер узбеков. Я о Гуляме — он кинул в лицо: «я — еврей» *(ФЭ)*.

Помню страстные строки Павло Тычины... — Стихотворение «Еврейскому народу» (1942), перевод Л. Озерова (см.: Тычина П. Избранное. М., 1946, с. 303 — 305; с 1946 г. не печаталось на русском языке).

...стихи Мартынова о нюрнбергском портном... — См.: Мартынов Л. Стихотворения и поэмы. Л., 1986, с. 79 — 81.

...в бараке находился... С. М. Дубнов... — См. очерк Е. Гехмана «Акция» (Черная книга. Вильнюс, 1993, с. 336; далее: *ЧК-93*).

Стр. 57. *Вот письмо учительницы... В. С. Семеновой...* — В издание «Черной книги» не вошло, как и приведенное ниже письмо лейтенанту Выпиху.

...Кравцов писал тестю... — Вошло в «Черную книгу» под названием «В местечке Ялтушков» (текст подготовлен И. Э.; *ЧК-93*, с. 39).

Стр. 58. *А. К. Беккер... прислал мне описание того, что пережил...* — См. очерк «В городке Хмельник» (*ЧК-93*, с. 33 — 38).

Дневник студентки Сарры Глейх. — Напечатан в обработке И. Э. в *ЧК-93*, с. 57 — 61; Сарре Глейх в 1941 г. было 33 года, перед войной она работала машинисткой.

Стр. 59. *Письмо двадцатилетней Буси...* — Под заголовком «Письмо из Краматорска» напечатано И. Э. в «Знамени» (1944, № 1-2).

Стр. 60. *...немецкий солдат спас женщину с детьми...* — Эпизод вошел в *ЧК-93* (с. 56), но без упоминания того, что освободивший Б. И. Тартаковскую человек был немецким солдатом.

Стр. 61. *Письмо от офицеров части, освободившей Дубно...* — Подготовлено к печати И. Э. (см. *ЧК-93*, с. 363 — 364).

Стр. 62. *...«Вы обязаны знать — вы ведь писатель!»* — В статье «Победа человека» (*КЗ*, 1944, 8 янв., см. т. 5 наст. изд., с. 618)

И. Э. рассказал о том, как спасли С. Мазура, не упомянув о том, что его пыталась выдать немцам жена.

Я должен рассказать о другой чете. — См. очерк И. Э. «Судьба Исаака Розенберга» (*ЧК-93*, с. 194).

Стр. 63. *В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог.* — См. заметку И. Э. «Как погибла женщина-врач Лангман» (*ЧК-93*, с. 33).

Я поместил в «Знамени» несколько отрывков. — «Народоубийцы» (Знамя, 1944, № 1-2); 1-я часть кн. «Народоубийцы» под ред. И. Э. вышла в Москве в 1944 г. на идиш, 2-я — в 1945 г.

В конце 1948 года... рассыпали набор «Черной книги»... — «Напечатать «Черную книгу» можно было только в том случае, если будет виза Жданова. От И. Г. Эренбурга, В. С. Гроссмана и Л. М. Квитко я знал, что рукопись у него. Она лежала долго. Чувствовалось, что Жданов тянет с ответом, боясь взять на себя ответственность даже в таком не государственного масштаба редакционно-издательском, вернее цензорском, деле... Наконец Жданов обратился к «хозяину», как тогда называли Сталина. Последовал немедленный отказ. По версии Эренбурга, Гроссмана, Квитко и др., Сталин якобы ответил так: «Зачем выделять именно эту пострадавшую нацию, если все нации у нас равны? Даже если мы знаем, что в этом рву, в этой могиле только одни евреи, мы должны говорить, что в ней все нации» (из письма комментатору поэта Л. А. Озерова, принимавшего участие в работе над «Черной книгой»). Еще 3 февраля 1947 г. нач. Управления пропаганды ЦК ВКП (б) Г. Ф. Александров счел нецелесообразным издание «Черной книги» в СССР (см.: *«ЕАК»*, с. 255). 20 августа 1947 г. цензура распорядилась прекратить печатание 30-тысячного тиража книги; письмо Михоэлса Жданову с просьбой разрешить ее издание осталось без ответа. Просьба И. Фефера допустить выпуск 150 — 200 экз. для закрытых фондов библиотек осталась также без внимания (см.: *«ЕАК»*, с. 261 — 265).

Стр. 64. *...дневник... Маши Рольникайте...* — Рольникайте М. Я должна рассказать (Звезда, 1965, № 2, 3). И. Э. принимал деятельное участие в подготовке рукописи этой книги к изданию. 28 авг. 1962 г. он писал ее автору: «Я прочитал Вашу рукопись не отрываясь, нашел ее очень интересной и надеюсь, что она будет напечатана... После того, как книга выйдет на литовском языке, я помогу Вам в напечатании ее перевода на западные языки». В 1966 г. книга вышла в Париже с предисловием И. Э.

Глава 22

Впервые (с купюрами) — в составе шестой книги (*НМ*, 1965, № 3).

Стр. 66. *...перевел с французского книгу Эмиля Бернара...* — См.: Бернар Э. Поль Сезанн, его неизданная переписка и воспоминания о нем. М., 1912.

Глава 23

Стр. 76. *Все тает, надежды и годы...* — Из стихотворения «Все тает» (см.: Фофанов К. Стихотворения. Л., 1962, с. 169).

Стр. 78. *Я написал об Ине...* — См. статью «Истоки героики» (Комс. правда, 1944, 5 ноября).

После войны дневник издали — чуть приглаженный... — См.: Дневник и письма Ины Константиновой. Калинин, 1957; предисловие И. Э.

Глава 24

Стр. 79. *«На забрызганном грязью «виллисе»...»* — Из статьи К. Симонова «Неистощимое сердце» (Лит. и иск-во, 1944, 6 мая).

...я сказал... что хочу поехать в Восточную Пруссию... — См. очерки «В Германии» (*КЗ*, 1945, 22, 23 и 25 февр.).

Стр. 89. *Признает даже смерть твои владенья...* — Из Ронсара; перевод И. Э.

Не раз в те грозные, больные годы... — начало стихотворения без назв. (1940); см. т. 1 наст. изд., с. 137.

Глава 25

Стр. 90. *...многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю.* — Едва ли не самым горьким переживанием И. Э. был заметный рост антисемитизма, особенно тылового и чиновничьего; об этом говорит почта И. Э., его зап. кн. (вот неск. записей: «21 мая 1942. — Антисемитизм среди партчиновников... 4 нояб. 1943. Кружков просит — снять «хасидская», заменить «восточная» (в статье «Душа России», см. т. 5 наст. изд., с. 611. — *Б. Ф.*). Аркин: «Лучше не говорить, что немцы убивают евреев»... 17 нояб. 1943. Украинский Наркомвнудел: евреев не пускают на Украину и говорят: «Они хотят приехать на все готовое». 8 окт. 1944. Бабий Яр — панихиду запретили. 15 окт. 1944. Был Бахмутский — не принимают в аспирантуру, как еврея. Написал Кафтанову...»). Эвакуированные из оккупированных районов писали И. Э. об издевательствах, которым подвергались («Недавно в трамвае, — писали из Ташкента, — мне пришлось наблюдать, как здоровенный верзила долго глядел на юношу без руки и изрек: «Нужно еще проверить, как этот жид потерял руку»). Писательница М. В. Алтаева-Ямщикова 14 мая 1944 г. обратилась к И. Э. с просьбой помочь ее друзьям — евреям, находившимся уже после освобождения в гетто Долмановка-Балта под Одессой, — местные власти не предоставили им транспорта, а идти пешком десятки километров изможденные узники уже не могли. Таких писем было много. Посольство США в Москве еще в 1943 г. докладывало в Вашингтон, что И. Э. в своих личных

беседах, при встречах разного рода выражает озабоченность в связи с ростом антисемитизма в СССР и отсутствием каких-либо препятствий этому со стороны властей (сообщено Дж. Рубенстайном).

С новым редактором мне было нелегко. — В марте 1945 г. Н. А. Таленского сменил И. Я. Фоменко.

Я напечатал это письмо в «Красной звезде»... — «Ответ леди Гибб» (15 окт. 1944 г.); откликам фронтовиков на письмо леди Гибб И. Э. посвятил статью «Говорят судьи» (*КЗ*, 1944, 3 ноября).

Стр. 91. *Брэйлсфорд... предлагал прежде всего помочь немцам...* — См. статью «Адвокат дьявола» (Война и раб. кл., 1944, № 15, с. 25 — 27).

Стр. 92. *...письмо... Б. А. Курилко...* — См. статью «Рыцари справедливости» (14 марта 1945 г.).

Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!». — Впервые в «Правде», 9 апр. 1945 г., а «Красная звезда» и «Веч. Москва» 11 апр. ее перепечатали. Она стала последней военной статьей И. Э. — по указанию Сталина его перестали печатать; о подоплеке дела см.: Новое время, 1994, № 8.

Стр. 93. *Александров выступил не по своему почину...* — 29 марта 1945 г. нач. Гл. управления контрразведки СМЕРШ Абакумов на основе агентурных сведений проинформировал Сталина, что вернувшийся из поездки в Вост. Пруссию И. Э. в своих публичных выступлениях в Москве «возводит клевету на Красную Армию», обвиняя ее вторые эшелоны в мародерстве, пьянстве и насилии на территории Германии. Верный себе, Сталин обвинил Эренбурга в том, против чего он выступал (см.: Новое время, 1994, № 8, с. 51 и Невское время, 1995, 14 апреля).

Стр. 94. *Мне предложили написать статью о боях за Берлин.* — Статья «В Берлине» впервые напечатана в кн. И. Э. «Летопись мужества» (М., 1974, с. 361 — 365).

...«Правда» поместила мою статью «Утро мира». — В черновом варианте: «Статью посылали Жданову. Я ее много раз переделывал — с каждым днем менялась обстановка».

Что касается союзников, то некоторые из них... всполошились... — И. Э. сохранил сводку сообщений из Совинформбюро: «Нью-Йорк, 15 апр. 1945. Ассошиэйтед Пресс распространило сообщение своего корреспондента о статье Александрова, в которой уточняется позиция Советского Союза в отношении Германии... Кессиди утверждает, что Александров отрекается от статей Эренбурга и что эта критика относится также к высказываниям Эренбурга по поводу второго фронта... Газета «Нью-Йорк таймс» полностью поместила сообщение АП из Москвы... Стокгольм, 15 апр. 1945. Газеты печатают сообщение Юнайтед Пресс из Москвы, в котором цитируется статья Александрова, критикующая точку зрения Эренбурга по вопросу ответственности немецкого народа за военные преступления... Нью-Йорк, 16 апр. 1945. Касаясь статьи Александрова, балтиморская «Сан» заявляет, что эта статья является обескураживающим признаком для держав оси... Лондон, 16 апр. 1945. Заголовок в «Дейли телеграф»: «Советы делают выговор Эренбургу» *(ФЭ).*

Стр. 95. *Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем.* — Корреспонденты И. Э. (фронтовики) относили статью Александрова на счет партаппаратчиков (но никак не Сталина) и высказывались об этом со смелостью победителей: «Прочитали мы на фронте статью Александрова «Тов. Эренбург упрощает»; прочитали и удивились. Неужели т. Александров только и делает, что слушает немецкое радио и делает из него выводы? Пусть лучше послушает наш фронтовой разговор с немцами снарядами и танками. Вы пишете правильно, что Германия есть одна огромная шайка. Надо дать запомнить немцам и *вообще всем,* чтоб со страхом сто лет смотрели на Восток... Майор Кобыльник»; «Мы одни, и только мы можем со всей глубиной нашей пламенной патриотической души понимать Вас так, как это есть в действительности. Для нас нет «упрощений», мы сами все видели собственными глазами (несколько подписей)»; «Читал все Ваши статьи. Читал и «Хватит!». Прочел не только сам, но и товарищам. Читал статью т. Александрова «Тов. Эренбург упрощает». Разумеется, т. Александров говорит от имени ЦК и отражает линию партии, однако мой голос и голос моих товарищей с Вами. С комсомольским приветом Н. Канищев»; «Недавно прочитал статью в газете проф. Александрова. Кто такой Александров, мне неизвестно. Но я хоч и рядовой человек, но имею определенный взгляд на жизнь... Согласно морали, выработанной проф. Александровым, злодей называется злодеем только ночью, когда он крадется. Великий писатель нашей свободной страны, Вы пишете не для «учителей морали», а для нас, для народа. Мы ждем Ваших статей. Вишняк Федор Михайлович, инвалид Отечественной войны, орденоносец»; телеграмма: «Редакция газеты Красная звезда И. Г. Эренбургу. Дорогой Ильюша, сегодня 3/5 — 45 мы летчики имеем удовольствие находиться в Берлине в районе рейхстага, на котором водружено Знамя Победы и где мы честно поработали, отличены в приказе Верховного Главнокомандующего. Очень удивлены, почему не слышно Вашего голоса? Кто тебя обидел? Мы летчики соединения генерал-майора Слюсарева читая Ваши призывы с первого дня войны мобилизовали нас работать с полной отдачей любимой Родине, ненавидим врага. Не унывай, дорогой друг, шуруй так, как ты начал. = Слюсарев, Назаров». Еще 18 февр. 1943 г. боец М. Иловиц написал с фронта письмо в «Красную звезду», восхищаясь работой И. Э., но были там такие слова: «Но я боюсь, чтобы этот же Илья Эренбург не изменил тона, когда мы дойдем до немецких границ, и не начал проповедовать, что все немцы — братья и виноват за все злодеяния и муки наших людей Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс и др.». И. Э. не изменил тона.

...охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли... Бонапарту. — В 1966 г. И. Э. обратился к министру иностр. дел Громыко с письмом: «В течение 20 лет у меня находится подаренное мне в 1945 г. нашими фронтовиками охотничье ружье Бонапарта... Теперь, когда наши отношения с Францией улучшились, предо мной встал вопрос о возвращении этой, ценной для французов, реликвии. Будучи в Париже, я говорил с Андре Мальро о передаче мною этого ружья парижскому музею «Эн Энвалид». Обращаюсь к Вам с просьбой

оформить разрешение на передачу мною ружья...» *(ФЭ)*. В янв. 1967 г. в Париже И. Э. вручил ружье Бонапарта министру культуры Франции Андре Мальро.

...Это не против вас, просто в его нравах... — И. Э. отправил Сталину письмо, в котором говорилось: «Прочитав статью Г. Ф. Александрова, я подумал о своей работе в годы войны и не вижу своей вины... В течение четырех лет ежедневно я писал статьи, хотел выполнить работу до конца, до победы, когда смог бы вернуться к труду романиста. Я выражал не какую-то свою линию, а чувства нашего народа... Ни редакторы, ни Отдел печати мне не говорили, что я пишу неправильно, и накануне появления статьи, осуждающей меня, мне сообщили из издательства «Правда», что они переиздают массовым тиражом статью «Хватит!». Статья в «Правде» говорит, что непонятно, когда антифашист призывает к поголовному уничтожению немецкого народа. Я к этому не призывал. В те годы, когда захватчики топтали нашу землю, я писал, что нужно убивать немецких оккупантов. Но и тогда я подчеркивал, что мы не фашисты и далеки от расправы. А вернувшись из Восточной Пруссии, в нескольких статьях («Рыцари справедливости» и др.) я подчеркивал, что мы подходим к гражданскому населению с другим мерилом, нежели гитлеровцы. Совесть моя в этом чиста. Накануне победы я увидел в «Правде» оценку моей работы, которая меня глубоко огорчила... Я верю в Вашу справедливость и прошу Вас решить, заслужено ли это мной...» (Литературный фронт. История политической цензуры. 1932 — 1946. М., 1994, с. 156 — 157). Ответа не последовало. И. И. Эренбург записывала в дневнике: «Дома полный мрак в связи со статьей Александрова. Мы ее передаем на Германию... Тупой взгляд Ильи, полное отсутствие интереса ко всему, нежелание ничего есть, за исключением укропа... Написал Сталину письмо и ждет... У Ильи требуют покаянной статьи. Он не будет ее писать» (Звезда, 1999, № 2, с. 107 — 108). И. Э. было неизвестно, что в начале 1945 г. Сталин обвинил Фадеева в том, что он окружил себя шпионами, которых пора разоблачить, и на прямой вопрос назвал имена П. Павленко, А. Толстого и «международного шпиона Илью Эренбурга» (*ВЛ*, 1989, № 6, с. 173); по неизвестной причине разоблачение «шпионского центра» в Союзе писателей не состоялось.

Глава 26

Стр. 101. *Живу и гибну и горю — дотла...* — Из стихотворения Луизы Лабэ; перевод И. Э.

Глава 27

Стр. 101. *«В Германии некому капитулировать...»* — Из статьи «Хватит!».

Стр. 104. *...Под гром пальбы прощались мы впервые...* — Из стихотворения А. Твардовского «В тот день, когда окончилась война».

Стр. 105. *Ну, а вас, разумных и ученых....* — Из стихотворения «Надо, чтобы дети или звери...» (см.: Слуцкий Б. Собр. соч., т. 1. М., 1991, с. 437).

Стр. 107. *О них когда-то горевал поэт...* — 1-е стихотворение из цикла «9 мая 1945»; см. т. 1 наст. изд., с. 172.

КНИГА ШЕСТАЯ

Над шестой книгой «Люди, годы, жизнь» И. Э. начал работать в окт. 1962 г.; в янв. — февр. 1963 г. был перерыв из-за поездок за рубеж. В марте 1963 г. мемуары И. Э. подверглись разносу Н. С. Хрущевым на встрече с творческой интеллигенцией. «На этой встрече, — свидетельствует Е. Евтушенко, — Хрущев поддался собственному нервозному настроению, созданному услужливой дезинформацией... Эта дезинформация исходила и от некоторых писателей, которые, теряя с развитием гласности свои посты и влияние, пытались монополизировать патриотизм, пытались обвинить во всех смертных грехах других, неугодных им писателей» (Огонек, 1987, № 14, с. 28). «Кто из нас, — вспоминала М. Алигер, — просидевших два долгих дня на этой встрече, может припомнить, за что, собственно, критиковали Илью Эренбурга? Но кто из нас может забыть, как чудовищно и безобразно это звучало?.. Я никогда не представляла, что Эренбург может быть так подавлен» *(АЭ)*. 10 апр. 1963 г. И. Э. писал Полонской: «Я долго тебе не отвечал: настроение соответствующее, да и организм, остановленный на ходу, дает знать, что такое limite d'âge (предельный возраст — фр.). В 3 номере «Нового мира» ты найдешь скоро сокращенный конец 5-ой части. Шестую, которую я писал, сейчас оставил en sommeil (до лучших времен — фр.)» (*ВЛ*, 2000, № 2, с. 287 — 288).

И. Э. вернулся к работе над шестой книгой в авг. 1963 г., после личной встречи с Хрущевым. И. Э. узнал, что Хрущев «критиковал» мемуары, оперируя надерганными для него цитатами, а прочитав книгу, не обнаружил в ней ничего вредного. И. Э. было сказано, что для писателей такого масштаба цензура не нужна — им можно доверять.

В марте 1964 г. шестая книга «Люди, годы, жизнь» была передана в «Новый мир»; многое в ней вызвало возражение редакции. 20 мая И. Э. писал Полонской: «Я все еще сижу над правкой шестой части; ее будут печатать в «Новом мире», кажется, начиная с июля». В конце июля, однако, уже набранные мемуары были сняты из готового номера журнала и верстка их отправлена Л. Ильичеву. Вопреки заверениям Хрущева, в ЦК КПСС мемуары И. Э. подвергли жесткой цензуре. В дневнике В. Лакшина 5 августа 1964 г. записано: «Твардовского вызвал Поликарпов (зав. отделом печати ЦК КПСС. — *Б. Ф.*) и показал докладную записку в Президиум ЦК... Семь страниц дикой хулы на врага человечества и русского народа Илью Эренбурга, а восьмая страница куцая — печатать, но с поправками. Твардовский сказал: «Не вижу логики. Запрещать так запрещать» (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева. М., 1991, с. 244). 14 августа 1964 г. И. Э. обратился с письмом к Хруще-

ву: напомнив об их беседе год назад, он просил помешать самоуправству аппарата. Ответа от Хрущева И. Э. не дождался (в августе 1964 г. Хрущев практически уже находился в изоляции). 17 сентября 1964 г. Президиум ЦК КПСС одобрил подписанную Л. Ильичевым и др. Записку Идеологического отдела ЦК КПСС о шестой книге И. Э., содержащую вывод: «Считаем нецелесообразным публикацию мемуаров И. Эренбурга в данном виде»; в заключение Записки говорилось: «Редакции журнала следовало бы обратить внимание автора на многочисленные случаи тенденциозного освещения фактов, на предвзятость, недобросовестность, политическую бестактность многих оценок и характеристик, потребовав от него внесения необходимых уточнений и исправлений. Что же касается содержащихся в мемуарах высказываний о литературе и искусстве и суждений *по еврейскому вопросу*, то, как видно, И. Эренбург не только не сделал выводов из партийной критики этих разделов в предыдущих книгах его воспоминаний, но фактически вступил в полемику с этой критикой, пытаясь отстоять свои неверные позиции. *Публикация в таком виде этих разделов представляется поэтому совершенно недопустимой.* Тов. Твардовский, ознакомленный с настоящей запиской, признал обоснованность содержащихся в ней критических замечаний по мемуарам И. Эренбурга» (Источник, 2000, № 2, с. 106). 20 октября 1964 г. А. Т. Твардовский сообщил в ЦК КПСС, что из 126 предложенных купюр или изменений Эренбург принял целиком 53 купюры или поправки, в 62 местах сделаны исправления, а в 11 текст оставлен неизменным. «В случае настояния на дальнейших купюрах, — писал Эренбург Твардовскому, — я предпочту отказаться от напечатания заключительной части. Это не моя первая книга, а, по всей вероятности, последняя. После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь» (т а м ж е, с. 107 — 108). 20 ноября 1964 г. в Записке Идеологического отдела ЦК КПСС признавалось, что «на этот раз писатель внимательно отнесся к высказанным ему замечаниям и пожеланиям», и допускалось, что оставшиеся «ошибки» могут быть оспорены в критике, а поэтому делался вывод: «Полагаем целесообразным *не рассматривать более в ЦК КПСС вопрос о публикации шестой книги мемуаров И. Эренбурга в журнале «Новый мир», передав его на решение редколлегии журнала.* При этом считаем необходимым обратить внимание т. Твардовского на изложенные выше принципиальные замечания и предложить ему продолжить работу с автором». На этой Записке резолюция: «Согласиться. Ильичев. Пономарев. Андропов. Суслов» — и помета: «Ознакомился А. Твардовский 29/XII 64» (т а м ж е, с. 108 — 109). В результате цензурной правки особенно сильно пострадали главы 2, 4, 15, 16, 24 и 31.

Шестая книга «Люди, годы, жизнь» печаталась в 1—3 номерах «Нового мира» за 1965 г. В первом номере, посвященном сорокалетию «Нового мира», напечатали статью Твардовского «По случаю юбилея», однако все добрые слова о мемуарах «Люди, годы, жизнь», сказанные в ней, цензура вымарала. Уже по ходу печатания редакция сообщила И. Э., что снимает главу о Хикмете, и только заявление автора, что в таком

случае он прекратит печатание всей шестой части, вынудило цензуру отступить.

Отдельное издание пятой и шестой книг вышло в «Советском писателе» в 1966 г. Без купюр шестая книга впервые напечатана в издании *ЛГЖ-90.*

На первых порах после смещения Хрущева в части советского общества существовала определенная надежда, что, освободившись от хрущевских шараханий, руководство страны продолжит линию XX съезда, но как только откровенное усиление просталинских тенденций показало тщетность этой надежды, критика, поначалу никак не откликнувшись на завершение многотомных мемуаров И. Э., выступила с несколькими статьями, негативно оценивающими работу писателя. А. Метченко в статье «Факты и пристрастия» (*ЛГ,* 1965, 28 декабря) обвинял И. Э. в потворстве модернизму и в размывании устоявшейся концепции истории советской литературы. А. Михалевич в длинном сочинении «Ядро интеллигентности» (Молодой коммунист, 1966, № 9 — 10) обвинял мемуариста в отступлении от «ленинской идейности». «Главный урок жизни Эренбурга, — утверждал он, — это урок интеллигента, который мог бы быть во всем главном с Лениным, который «дал петлю» от Ленина, и хотя самой жизнью во многом главном и существенном возвращен к Ленину, но не успел или не смог разобраться во всех действительно сложных уроках действительно сложной жизни». На этом ортодоксальная советская критика поставила точку в обсуждении эренбурговских мемуаров, с тем чтобы долгие два десятилетия уже к ним не возвращаться.

Глава 1

Стр. 111. *Это был сборник стихов Блока...* — Блок А. Стихотворения (кн. 3). М., Мусагет, 1916. Автограф на кн.: «Вере Аренс — Александр Блок, июнь 1919. «Nacht lag auf meinen Augen, // Blei lag auf meinen Mund...» (Глаза мне ночь покрыла, // Рот придавил свинец... — Из стихотворения Гейне «Лирическое интермеццо»); В. Е. Аренс-Гаккель — поэтесса и переводчица (см.: Лит. наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982, с. 27).

Один писатель — А. Т. Твардовский; см. об этом ж. «Юность», 1986, № 7, с. 90.

В 1965 г. в беседе с Ю. Оклянским И. Э. рассказывал: «Я взял да и вставил в мемуары слова Твардовского о собаках: «Один писатель мне говорил...» и далее его слова о барской прихоти и пустом времяпрепровождении. Прочитав, очень рассердился, кричал: «Так и напишите: «Главный редактор «Нового мира» Твардовский говорил...» — «А я не хочу!» — отвечаю. Так это в мемуарах и пошло: «Один писатель мне говорил...» (Оклянский Ю. Счастливые неудачники. М., 1990, с. 371).

Стр. 112. *Здесь лежала его треуголка...* — Из стихотворения «Смуглый отрок бродил по аллеям» (1911).

О, дайте вечность мне... — Из стихотворения «Статуя мира» (см.: Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1959, с. 134).

Стр. 113. *Берии присвоили маршальское звание.* — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1945 г.

Когда-то Юрий Олеша написал пьесу... — Имеется в виду «Список благодеяний» (1931).

Стр. 115. *Была трава, как раб, распластана...* — начало стихотворения без названия (см. т. 1 наст. изд., с. 167).

...Я с ними жил, я слышал их рассказы... — Из стихотворения «Умру — вы вспомните газеты шорох» (см.: там же, с. 173).

Стихи... были напечатаны в журналах «Звезда», «Ленинград». — 8 стихотворений в «Звезде» (1945, № 7) и 5 — в «Ленинграде» (1945, № 17-18).

...с нею жила дочь Таня. — Имеется в виду Татьяна Михайловна Андреева (1924 — 1981), впоследствии преподавательница литературы; см. также: Соммер Ядвига. Записки. — Минувшее, № 17. СПб., 1995, с. 116 — 161.

Стр. 116. *«Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей...»* — Идея поездки И. Э. принадлежала Сталину. Посол США в Москве А. Гарриман вспоминал, как Сталин, узнав от него об отправке в оккупированные СССР страны Восточной Европы очень сильного американского журналиста для подробного освещения того, что там творится, сказал ему: «Ну что ж, тогда мы пошлем туда Эренбурга» (сообщено Дж. Рубенстайном).

Глава 2

Стр. 119. *...я писал статьи для «Известий»...* — «В Болгарии» — 6, 10, 12, 14, 20 сент. 1945 г.; «В Югославии» — 14, 16, 21, 27 ноября 1945 г.; «В Албании» — 30 ноября 1945 г.; «В Чехословакии» — 23 дек. 1945 г.; «Дороги Европы» — 1 янв. 1946 г.; очерк «В Румынии» был напечатан в «Правде» (1945, 26 и 27 сент.). Эти очерки составили книгу «Дороги Европы» (М., 1946).

Стр. 122. *Черногорцев... погибло восемьдесят пять тысяч.* — В черновом варианте далее: «В Румынии до войны насчитывалось восемьсот тысяч евреев, пятьсот тысяч фашисты убили» *(ФЭ)*.

Стр. 123. *Румыния меня поразила своими противоречиями.* — С. А. Дангулов вспоминал поездку И. Э. в 1945 г.: «Он не без любопытства рассматривал Румынию, в частности ее столицу. Бывал в театрах. Хотел видеть ее живопись и не обошел выставочного зала Даллес. Побывал в издательстве «Карта руса», выпустившем эренбурговскую «Войну», и легко пообещал поставить свой автограф на пяти тысячах экземпляров книги... был у бухарестских собирателей живописи, встречался со знаменитыми собачниками... Одним словом, Эренбург осматривал Бухарест, и длинный хвост поклонников Ильи Григорьевича, тем более длинный, что между ним и жителями румынской столицы не было языкового барьера, так как здесь каж-

дый третий говорит по-французски, стремительно увеличивался в размерах, давая возможность бухарестским острякам при каждом новом скоплении народа на улицах столицы говорить: «Это Эренбург!» (Октябрь, 1985, № 6, с. 187).

Стр. 126. *...художник, чьи полотна... висели тогда во всех официальных местах...* — А. М. Герасимов, тогдашний президент Академии художеств, ярый антагонист неакадемической живописи; многолетний противник И. Э.; был личным другом Ворошилова, имевшего в своем кругу репутацию знатока живописи.

Стр. 127. *Настали горькие годы государственной размолвки.* — Все эти годы в советской печати шла массированная антиюгославская кампания; И. Э. не принимал в ней участия (ему, однако, пришлось согласиться с тем, что его имя поставили под письмом нескольких десятков советских граждан, отказавшихся от югославских наград, полученных за участие в антифашистской борьбе. — См.: Правда, 1950, 2 февр.).

Стр. 128. *Этот мир — тиран даже для тирана...* — монолог игумена Стефана из драматической поэмы Негоша «Горный венец» (1847); перевод И. Э.

Ярослав Сейферт... от которого я недавно получил письмо. — 20 янв. 1961 г. Сейферт писал: «Милый и уважаемый Илья Григорьевич!.. Прошло почти сорок лет с того дня, когда я с Вами впервые встретился в Праге. Было это на Овощной улице в подвальном ресторане. Мы лускали устрицы. При этом также были Роман Якобсон и Карел Тейге. Иногда страстно хотелось бы воскликнуть — где эти прекрасные годы? Вы же, однако, за это время выполнили великое дело и достигли славы великих писателей русского народа, а читатели всего мира обращаются к Вашим книгам с любовью. Я счастлив и считаю для себя честью, что мог стоять близко к тому делу, когда мы издали у нас в Чехословакии Ваши первые книги. В то время мы, самые молодые писатели, написали Ваше имя на своем знамени» *(ФЭ)*.

«Деветсил» — объединение молодых левых чешских писателей и художников.

«Дав» — словацкий литературно-художественный журнал 20-х гг.

Глава 3

Стр. 132. *Но путь науки строгий...* — из стихотворения «Нюрнбергский палач» (1907) (см.: С о л о г у б Ф. Стихотворения. М., 1978, с. 341 — 343).

Стр.133. *Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года.* — Б. Ефимов, карикатурист, находившийся тогда в Нюрнберге, вспоминал: «...предстояло получение пропусков на процесс. Нам объясняют, что выделенный для советской стороны лимит пропусков на процесс уже исчерпан... Илья Григорьевич постепенно доходит до белого каления... «Я приехал сюда только на два дня, и если мне немедленно не дадут пропуск, я сейчас же уеду. Пусть станет известно, что Эренбурга не пустили на процесс

гитлеровских разбойников»... Кончается это тем, что Эренбург просто берет пропуск одного из членов советской группы и преспокойно проходит в зал суда под чужой фамилией. Появление его лохматой седой головы и слегка сутулящейся фигуры в коричневом грубошерстном костюме с многочисленными орденскими ленточками на груди не остается незамеченным... Я вижу, как обращается в сторону вошедшего мутный взор Розенберга, слегка поворачивает надменную физиономию Кейтель, и «сам» Геринг косится на Эренбурга заплывшим, налитым кровью глазом» (Е ф и м о в Б. Работа, воспоминания, встречи. М., 1963, с. 174 — 176). В *ФЭ* хранится пропуск в нюрнбергский Дворец юстиции, выданный И. Э. американской канцелярией 28 ноября 1945 г.

...они меня разглядывали, как я их. — 19 дек. 1945 г. И. Э. писал Полонской: «В Нюрнберге немцы (Фриче и др). меня узнали...» (*ВЛ,* 2000, № 2, с. 281).

Стр. 135. <Штрейхер:> *«евреям нужно предоставить Палестину...»* — Неточно; информацию эту И. Э. получил от одного из помощников главного обвинителя от СССР. Переводчица Р. Б. Литвак писала в янв. 1966 г. И. Э.: «Я переводила весь допрос Штрейхера, который действительно сказал следующее: «Я по убеждениям сионист и последователь д-ра Герцля и всегда интересовался судьбой евреев. Я, в частности, предлагал переселить всех евреев на остров Мадагаскар и предполагал созвать с этой целью международную конференцию, однако Франция не согласилась уступить для этой цели Мадагаскар, и поэтому конференция не состоялась». Сказанное Штрейхером я привожу дословно, т. к. у меня сохранилась запись этого допроса» *(АЭ).*

Стр. 137. *Я вспомнил статью Марины Цветаевой...* — Имеется в виду эссе «Наталья Гончарова» (1929).

Глава 4

Стр. 138. *...текст к... фильмам о Югославии и о Болгарии.* — Оба фильма сделаны на ЦСДФ; «Югославия» (реж. Л. Варламов) — в 1946 г.; «Болгария» (реж. Р. Кацман) — в 1947 г.

...я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлехс». — Пьеса З. Шнеера; премьера — 23 июля 1945 г.

...одного убьют на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?.. — С. М. Михоэлса убили сотрудники МГБ 13 янв. 1948 г., а В. Л. Зускина арестовали в 1949 г. и расстреляли вместе с другими деятелями еврейской культуры в 1952 г.

С ним я познакомился еще во время войны. — О Суцкевере см. статью И. Э. «Торжество человека» (Правда, 1944, 29 апр.; см. т. 5 наст. изд., с. 627).

Борис Полевой писал в «Правде»... — Имеется в виду статья «От имени человечества» (Правда, 1946, 4 марта).

Стр. 139. *...над некоторыми стихотворениями из «Дерева»... редактор вздыхал...* — Сборник И. Эренбурга «Стихи 1938 — 1958» (М., 1959) редактировал П. И. Чагин.

...в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. — Он состоялся 3 апр. 1946 г.; председательствовал Н. Тихонов, выступали Н. Браун, А. Сурков, П. Антокольский, А. Ахматова, В. Инбер, О. Берггольц, С. Михалков, Б. Пастернак и др. (см.: Моск. большевик, 1946, 4 апр.).

Стр. 140. *Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы...* — В черновом варианте И. Э. писал, что «в двух или трех местах прибавили несколько слов», и привел пример первой главы «Бури», где говорилось о предвоенной Москве: «Прошли один за другим громкие процессы...», здесь дописали: «Судили за измену» (см.: Эренбург И. Избр. соч., т. 2. М., Гослитиздат, 1953, с. 5).

«Не имею возражений». — Когда 1 апреля 1948 г. И. Э. обратился к В. М. Молотову с просьбой разрешить ему поездку по странам Европы, ссылаясь на помощь 1945 г. в осуществлении публикации «Бури», он получил отказ (резолюция: «т. Эренбургу. Лучше отложить это дело. В. Молотов»); разрешение было дано лишь в 1950 г. лично Сталиным.

Стр. 141. *...вполне благожелательная статья о поэзии Анны Ахматовой.* — Неточно; в статье А. Лейтеса (Знамя, 1946, № 7) Ахматова лишь упоминалась положительно — этого хватило, чтобы статья «попала» в ждановское постановление.

А в середине августа опубликовали постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»... — Постановление ЦК напечатано в «Правде» 21 авг., доклад Жданова — 21 сент. 1946 г.

Стр. 142. *...каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами...* — 4 сент. 1946 г. на заседании президиума Правления ССП «критиковались» Б. Пастернак, А. Гладков, А. Межиров, П. Антокольский, С. Кирсанов; Зощенко и Ахматова были исключены из ССП (характерным для тона заседания было выступление В. Катаева: «Путь Зощенко был давно ясен... Отвратительное содержание и жалкая форма... Ахматова никогда не считалась крупной поэтессой, она всегда была поэтессой маленькой». — *ЛГ,* 1946, 7 сент.). «Критика» кинематографистов открылась публикацией Постановления ЦК «О кинофильме «Большая жизнь» (14 сент. 1946 г.).

...С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что в связи с очередным постановлением — на этот раз о музыке... — Постановление «Об опере «Великая дружба» (принято в 1948 г. и отменено в 1958 г.); в первонач. редакции (*НМ,* 1965, № 1, с. 123) рассказ излагался так: «Жданов пригласил композиторов и, желая показать, что такое «мелодичная музыка», не похожая на ошибочные произведения, что-то наигрывал на рояле». 19 февр. 1965 г. Шостакович написал И. Э., что здесь имеет место какая-то ошибка, т. к. «Жданов к роялю не подсаживался, а обучал композиторов методами своего красноречия... Легенды о том, что Жданов играл на рояле, распространяли подхалимы. Мне самому приходилось быть свидетелем «творимой легенды»: «Какой потрясающий человек Андрей Александрович! (Так звали Жданова.) Громя формалистов, выводя их на чистую воду,

он садился за рояль и играл мелодичную и изящную музыку, а потом, для сравнения, что-нибудь из Прокофьева или Шостаковича. Те буквально не знали, куда деваться от стыда и позора. Ах, какой человек!» И. Э. ответил Шостаковичу: «Мне кажется, что о встрече с Ждановым мне рассказывал С. С. Прокофьев. Помню в его рассказе, как он задремал во время доклада, не знал, что говорит Жданов, спросил, кто выступает. Но я не очень доверяю своей памяти, и возможно, что о рояле я слышал не от него. Я охотно сниму фразу о рояле... Я в ней вижу не легенду подхалимов, а смешной рассказ о мало сведущем человеке, вздумавшем поучать больших художников» (см.: Нева, 1989, № 8, с. 205 — 208).

Стр. 143. *«Ужасное сообщение — умер Жданов!..»* — 1 сент. 1948 г. «Литгазета» напечатала статью памяти Жданова «Друг советских писателей», под которой поставили свои подписи участники Вроцлавского конгресса Фадеев, Корнейчук, Леонов; Эренбург эту статью не подписал.

...несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»... — См.: Шкерин М. О романе Ильи Эренбурга «Буря» (Октябрь, 1948, № 1, с. 183 — 191).

Стр. 144. *«Тревог нет...»* — Из письма К. Симонова от 9 июля 1947 г. *(ФЭ)*.

В 1948 году я записал рассказ Фадеева... — Имеется также свидетельство К. М. Симонова, который был на заседании Политбюро 31 марта 1948 г.: «Когда обсуждали «Бурю» Эренбурга, один из присутствовавших (докладывавший от комиссии ЦК по премиям в области литературы и искусства Д. Т. Шепилов), объясняя, почему комиссия предложила изменить решение комитета и дать роману премию не первой, а второй степени, стал говорить о недостатках «Бури», считая главным недостатком книги то, что французы изображены в ней лучше русских. Сталин возразил: «А разве это так?.. Верно ли это?.. Может быть, Эренбург лучше знает Францию, это может быть. У него есть, конечно, недостатки, он пишет неровно, иногда торопится, но «Буря» — большая вещь. А люди, что ж, люди у него показаны средние. Есть писатели, которые не показывают больших людей, показывают средних, рядовых людей. К таким писателям принадлежит Эренбург. — Сталин снова помолчал и снова добавил: — У него хорошо показано в романе, как люди с недостатками, люди мелкие, порой даже дурные люди в ходе войны нашли себя, изменились, стали другими. И хорошо, что это показано» (Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1989, с. 162 — 163). До сих пор имеет широкое хождение легенда о телеграмме Сталина И. Э.: «С интересом прочитал «Бурю». Поздравляю с успехом И. Сталин», которую писатель якобы зачитал на московском писательском собрании, где его роман «разносили»; после чего литгромилы мгновенно изменили свой взгляд на роман (см., например: Борев Ю. Сталиниада. М., 1990, с. 338 — 339).

Стр. 145. *Да разве им хоть так, хоть вкратце...* — Из стихотворения «Да разве могут дети юга...» (1958) (см. т. 1 наст. изд., с. 189).

Глава 5

Стр. 146. *Я... нашел моих старших сестер...* — Самая старшая сестра И. Э., Мария Григорьевна, погибла во время оккупации Парижа; Евгения Григорьевна и Изабелла Григорьевна спаслись; только в 1952 г. И. Э. удалось добиться разрешения на их возвращение в СССР, и с тех пор до своей смерти в 1965 г. они жили на даче И. Э. в Новом Иерусалиме.

...теперь он не боится, что его снова задержат... — О Фотинском см. примеч. в т. 6, с. 619.

Стр. 147. *...пришлось сразу отправиться на конференцию.* — К. М. Симонов вспоминал: «Уже в день нашего приезда в Америку, когда мы без минуты отдыха — с самолета на поезд, с поезда на машину, с машины в зал, из зала на трибуну съезда американских издателей — вышли, а через тридцать секунд после первых вполне равнодушных приветствий получили первый публичный вопрос: «Что думает Эренбург, кто будет у вас премьером вместо Сталина, если его сейчас не изберут на этот пост?» Вспомним то время и представим себе всю меру издевки, с какой был задан Эренбургу этот первый вопрос на американской земле. Эренбург встал, немного наклонил к плечу голову, словно прицеливаясь в кого-то, и ответил без всякой паузы:

— Мы с вами разные люди, и у нас с вами разные взгляды на характер и длительность наших привязанностей. Вы каждые четыре года занимаетесь выбором очередной политической невесты, а мы женаты всерьез и надолго.

Американцы умеют ценить такого рода ответы — зал громыхнул смехом. Зал хохотал над автором вопроса, над человеком, решившим, что он загонит в тупик Эренбурга в первую же минуту его пребывания в Америке. Думаю, что не только потом, но и тогда Эренбург не испытывал особенно нежной любви к Сталину. Но Сталин был для Эренбурга человеком, стоявшим во главе воевавшей страны, и он, писатель, приехав из этой страны в Америку, не собирался допускать чьих бы то ни было издевок ни над собой, ни над своей страной...» *(АЭ).*

У меня сохранилось удостоверение... — Подписано 11 апреля 1946 г. Л. Ильичевым *(ФЭ).*

Стр. 149. *...его военный роман — бестселлер...* — Имеется в виду роман К. Симонова «Дни и ночи».

Глава 6

Стр. 152. *...образ мистера Бэббита.* — Имеется в виду герой сатирического романа Синклера Льюиса «Бэббит».

Стр. 155. *...недавно я снова увидел Стейнбека.* — Стейнбек приезжал в СССР в конце 1963 г.; вернувшись в США, он писал И. Э. 13 янв. 1964 г.: «Дорогой Илья! С запозданием выражаю свою признательность за отличный завтрак и интересную беседу во время нашего визита. Мы, конечно, постоянно слышали о Вас, но только по газетам. Увидеться с Вами снова было очень приятно, и, надеюсь, это не в последний раз. Во время этой поездки по Советскому Союзу мне хотелось провести с Вами больше времени, но Вы, видимо, знаете, какой насыщенной была программа. Еще раз благодарю и желаю Вам и Вашей жене всего наилучшего в наступающем году. Искренне Ваш Джон» *(ФЭ)*.

Стр. 156. *Роман Якобсон... говорил мне...* — См. статью «Илья Эренбург и Роман Якобсон» в «Новом лит. обозрении» (1995, № 12, с. 101 — 108).

Разноречивые впечатления я изложил в очерках. — Имеется в виду цикл «В Америке»; печатались в «Известиях» 16, 17, 24, 25 июля, 7 и 9 августа 1946 г.; вышли отд. изданием: Эренбург И. В Америке. М., 1947. В одном из очерков И. Э. привел резкое высказывание о них Уолтера Липмана: «Известный журналист Липман, прочитав мою статью об Америке, заявил, что я критикую то, что легко критиковать, — расовую нетерпимость; сами американцы знают об этом своем пороке, и они счастливы тем, что могут свои пороки обличать. Липман говорит, что когда мы, советские люди, будем способны оценить достоинства Америки и сможем критиковать свои недостатки, тогда он, Липман, согласится принять нас за «настоящих людей». И. Э. вынужден был заметить по этому поводу: «Да, я знаю, что лучшие люди Америки стыдятся своего отношения к неграм, но, по-моему, врачи хороши не тем, что они лечат, а тем, что они вылечивают» (Известия, 1946, 25 июля).

Стр. 158. *...один из них обиду перенес на искусство...* — Речь идет об инженере Полетаеве, о споре с которым в 1959 г. И. Э. рассказал в 7-й кн.

С увлечением я прочитал книгу Винера... — Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.

Глава 7

Впервые под названием «В южных штатах» — Юность, 1963, № 12.

Глава 8

Впервые — Юность, 1965, № 1.

Стр. 169. *...организация «Антиэйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты* — нацисты Филипп Ленард и Йоханнес Штарк.

Стр. 171. *Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги».* — См. об этом примеч. к гл. 21 5-й кн.

Глава 9

Стр. 177. *...сидели, как в бесте.* — Бест (п е р с.) — право убежища в помещении иностранных посольств, пользующихся экстерриториальностью. В черновом варианте дальше: «(Недавно я встретил в Стокгольме посла Белохвостикова, в 1946 году он был поверенным в делах в Оттаве; мы вспоминали далекие дни)».

Глава 10

Стр. 185. *Он опубликовал «Верден 1916 года», «Темп операции»...* — Имеется в виду книга М. Р. Галактионова «Темп операции. Ч. 1. Париж — 1914» (Воениздат, 1936).

Глава 11

Стр. 186. *...порой отчаянно спорили.* — См.: Минувшее, № 24. СПб., 1998, с. 213 — 228.

...Арагон возмутился нападением на меня одного критика... — Речь идет о статье Н. Таманцева «В чем же все-таки «Уроки Стендаля»?» (*ЛГ,* 1957, 22 авг.); Арагон писал о ней в ст. «Стендаль в СССР, или Живое зеркало»: «Обвинение Эренбурга выходит далеко за пределы статьи о Стендале. Сомнению подвергается весь Эренбург, его предыдущие статьи, само его творчество. Со стороны Эренбурга, возможно, и было неосторожно говорить, что если бы Стендаль жил в наше время в СССР, то, считая его дилетантом, его бы не приняли в Союз советских писателей... Но разве не видит Таманцев, что принимать эту фразу чересчур всерьез чревато опасностью? Это может по меньшей мере навести на мысль, что он странным образом лишен чувства юмора... Итак, Илья Эренбург *обязан* был оперировать чудесными результатами науки, к которой принадлежит Н. Таманцев: он не имел права основываться на самом Стендале, не поинтересовавшись сначала тем, что думают об этом признанные специалисты... Помягче на поворотах, мсье писатель, Стендаль больше вам не принадлежит, он принадлежит нам, литературоведам, мы его изучали, классифицировали, разнесли по карточкам, снабдили этикетками... И вы обязаны думать по-нашему...» (Les Lettres françaises, 1957, 19 — 25 сент.).

Стр. 187. *Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства.* — Имеется в виду резкий поворот политики в области искусства к сталинизму, начатый выступлением Хрущева на выставке в Манеже «XXX лет МОСХа» в дек. 1962 г.

...Сутин... умер без медицинской помощи. — Как пишет Б. Зингерман, «нашелся столичный врач, почитатель Сутина, который согласился поместить его в свою клинику. 9 августа 1943 года, на

следующий день после операции по поводу перитонита — увы, она была сделана слишком поздно, — Сутин скончался» (Театр, 1987, № 9, с. 153).

Стр. 188. *Наверно, изменился я...* — В 1946 г. И. Э. впервые приехал в Париж как гость, и мироощущение его после всего пережитого за годы войны было во многом иным, чем прежде. Вспоминая встречу с И. Э. в Париже 1946 г., И. Одоевцева писала: «Как он изменился! Просто до неузнаваемости... У него вид «недорезанного буржуя», барская осанка и орлиный взгляд. Одет он тоже не в пример прежнему, добротно, солидно и не без элегантности... Эренбурга как будто подменили. Другой человек, и только. Анненков согласен со мной: «Тот, прежний Эренбург просто пародия на теперешнего. Этот — сенатор, вельможа. Сам себе памятник» (Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989, с. 197 — 200).

Стр. 189. *В Анже... мосье Куантро... говорил...* — См. об этом статью И. Э. «Во Франции» (Известия, 1946, 25 окт.).

...я нашел мою статью о Франции... — «Во Франции» (Известия, 1946, 25, 29 окт., 2 ноября).

...владелец аптеки поэт Жан Буйе. — Сохранилась книга Ж. Буйе «Верлен и любовь» с надписью: «Советскому писателю Илье Эренбургу, другу Франции, с братским восхищением. Ж. Буйе август 1946» *(АЭ)*.

Стр. 191. *...правда ли, что в Москве закрыли Музей западной живописи...* — Музей был ликвидирован в 1948 г. по инициативе президента Академии художеств СССР А. М. Герасимова, поддержанного Комитетом по делам искусств. Герасимов обратился к зампреду Совмина СССР маршалу Ворошилову с предложением ликвидировать Музей новой западной живописи («главные фонды его состоят из формалистических произведений, пропаганда которых крайне вредна», — писал он маршалу); здание он предлагал отдать Академии художеств, а «лучшие реалистические произведения Музею изобразительного искусства им. Пушкина». Ворошилов это предложение поддержал и завизировал соответствующую бумагу Комитета по делам искусств, отправив ее Суслову и Вышинскому, которые тоже поддержали ее (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 125, ед. хр. 637, л. 18 — 26).

Глава 12

Стр. 194. *...под лицом красивого юноши...* <Матисс> *надписал: «По Эренбургу».* — Два рисованных изображения И. Э. Матисс включил в альбом «Портреты»; увидев их там, Арагон поразился несходству с натурой: «Объяснение я услышал от самого художника, когда не удержался и спросил: «Что с вами приключилось в тот день?» Мои слова относились к рисунку, по поводу которого в оглавлении репродукций значилось: *после просмотра фильма «Молодость нашей страны».* Речь идет о документальном фильме Сергея Юткевича, где снят спортивный парад на Красной площади в

Москве. А<нри> М<атисс> посмотрел его как раз перед тем, как ему позировал Илья Григорьевич. Это зрелище произвело на Матисса такое сильное впечатление, что он не мог *забыть* молодых атлетов, проходивших по площади, и, глядя на Эренбурга, увидел их в писателе, не мог помешать своей руке увидеть их вновь в писателе» (А р а г о н Л. Анри Матисс. Роман, кн. 2. М., 1978, с. 28).

Стр. 195. *Я увидел негритянскую скульптуру...* — Этот эпизод И. Э. привел впервые в статье «Писатель и жизнь» (*ЛГ*, 1951, 13 марта).

Стр. 196. *...я написал для «Литературной газеты» статью о борьбе за мир.* — Имеется в виду статья «Заметки писателя» (*ЛГ*, 1947, 24 сент.), в сборниках печаталась под названием «О врагах и друзьях»; и в последующих статьях И. Э. продолжал называть имена французских художников, чьи работы были тогда изъяты из экспозиций советских музеев, подобно тому как он неизменно упоминал о влиянии музыки Прокофьева и Шостаковича на западных композиторов в ту пору, когда их имена в советской печати шли только с клеймом «антинародных формалистов».

Глава 13

Стр. 200. *...«Культуру нельзя разделять на зоны...»* — Из «Заметок писателя» (*ЛГ*, 1947, 24 сент.).

Стр. 201. *...Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства...* — По свидетельству К. Симонова, эта задача была поставлена Сталиным перед руководителями Союза писателей 14 мая 1947 г. (см.: С и м о н о в К. Глазами человека моего поколения. М., 1989, с. 130).

«Мне отвратителен национализм...» — Из статьи «Некто Бидо» (Правда, 1949, 25 авг.).

Стр. 202. *Не знаю, что его рассердило...* — Сталин ждал от Симонова пьесы, посвященной борьбе с низкопоклонством, и, прочитав «Дым отечества», решил, что роман написан вместо пьесы и не соответствует поставленной задаче (см.: С и м о н о в К. Глазами человека моего поколения. М., 1989, с. 143 — 148).

...«Культура и жизнь» обругала «Дым отечества»... — в статье Н. Маслина «Жизни вопреки...» (30 ноября 1947 г.).

...у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича... — И. Э. опустил здесь конец письма: «Не много осталось на свете судей, чье мнение для меня так важно, как Ваше... Спасибо, Илья Григорьевич. Легче жить на свете, имея Ваше благоволение. С глубоким уважением Эм. Казакевич. 3.7.48» *(ФЭ)*. В черновом варианте И. Э. далее писал о Казакевиче: «Третья его книга получила снова премию, а четвертую — «Сердце друга» — снова признали «ошибочной». Литературные нравы были жестокими. Некоторые литераторы, недавно посвятившие скончавшемуся Казакевичу дружеские строки, резко на него нападали (имеется в виду Н. Грибачев. — *Б. Ф.)*. Он был любимой мишенью до конца, и, что меня удивляло, — будучи человеком твердых убеждений

и большого мужества, в человеческих взаимоотношениях он удивляет мягкостью, скромностью. Может быть, именно это раздражало некоторых литераторов? Не знаю. Я его любил и уважал: убеждения для него были выше, чем успех, премии, слава, а служение он никогда не подменял желанием выслужиться» *(ФЭ)*.

Стр. 203. *...кампания против молдавских писателей...* — Она открылась статьей «До конца искоренить буржуазный национализм в творчестве молдавских писателей» (Сов. Молдавия, 1948, 25 сент.). См. об этом статью «Выявить и наказать!» (Комс. правда, 1988, 30 авг.).

Глава 14

Стр. 208. *Эпоха санации* — обиходное название режима, установленного в Польше в 1936 — 1939 гг. Ю. Пилсудским.

В Париже... я встречал... архитектора Сениора. — Сениор в 1928 г. вместе с Л. М. Козинцевой оформил парижское издание романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца».

Стр. 209. *Янек, которого я видел возле Уэски* — Янек Барвинский, командир польского батальона Домбровского в дивизии генерала Лукача.

Стр. 211. *Я вспоминаю сейчас его новеллу...* — «Конгресс во Флоренции». В воспоминаниях об И. Э. Ивашкевич писал: «Он читал мой «Конгресс во Флоренции» (по-немецки) и первый сравнил его с «Вешними водами» Тургенева (*ВЛ*, 1984, № 1, с. 199).

Стр. 212. *Он* <Добровольский> *долго смеялся...* — 20 февраля 1964 г. С.-Р. Добровольский писал И. Э.: «Удалось мне недавно познакомиться в Польском Радио с эпизодом твоих воспоминаний, где пишешь о нашем совместном путешествии в Москву в 1947 году. Очень забавно: смеялся до упаду. Я не знал до сих пор кулисы этой истории и фантастического путешествия из Бреста в Москву. Только знал то, что ты мне рассказал во время нашей встречи в гостинице Алерон в Праге несколько лет тому назад» *(ФЭ)*.

Глава 15

Стр. 214. *...Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым-Потаповым...* — Театральный критик В. Голубов-Потапов писал и о спектаклях ГОСЕТа (см. его статью «Трагедия и буффонада» о спектакле «Фрейлехс». — Сов. иск-во, 1945, 31 авг.); он был уроженцем Минска и, по сценарию убийства Михоэлса, передал ему от друзей юности приглашение на еврейскую свадьбу, что стоило жизни и ему самому (по дороге «на свадьбу» оба получили смертельные ранения в висок). А. Г. Тышлер, присутствовавший при вскрытии тела Михоэлса, свидетельствует, что, кроме височного ранения, никаких иных повреждений не было (см.: М и х о э л с С. М. Статьи, беседы, речи. М., 1965, с. 504), поэтому версия о наезде грузовика многим уже

в 1948 г. не казалась правдоподобной. С. Аллилуева рассказывает в книге воспоминаний, что присутствовала при телефонном разговоре своего отца в день убийства Михоэлса и запомнила фразу Сталина: «Ну, автомобильная катастрофа»; после чего Сталин сказал ей: «В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс» (см.: Театр, 1988, № 12, с. 168). 2 апреля 1953 г. Л. Берия писал Г. Маленкову, что операция по уничтожению Михоэлса была организована министром госбезопасности по личному распоряжению Сталина: «Было принято следующее решение — черéз агентуру пригласить Михоэлса в ночное время в гости к каким-либо знакомым, подать ему машину к гостинице, где он проживал, привезти его на территорию загородной дачи, где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную (глухую) улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд грузовой машины... Так и было сделано. Во имя тайны убрали и Голубова... МВД считает необходимым... Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении участников убийства Михоэлса и Голубова отменить» (*«ЕАК»*. М., 1996, с. 357 — 358).

Когда арестовали Зускина... — После гибели С. М. Михоэлса народный артист РСФСР В. Л. Зускин был назначен художественным руководителем ГОСЕТа; арестован 24 декабря 1948 г.

...был вéчер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. — Запись речи И. Э. сохранилась в архиве ГОСЕТа: «На сегодняшнем вечере, посвященном памяти большого актера и большого человека Соломона Михайловича Михоэлса, я хочу еще раз напомнить — бессмертная жажда: это сухие губы народа, который издавна мечтал о справедливости, который, запертый в душных гетто, добивался правды, за других пел и для других бунтовал. Вот в чем я вижу почти необъяснимую и в то же время явственную связь между вопросами большого искусства и судьбой маленького народа... Михоэлс был страстным патриотом нашей великой Советской Родины, и Михоэлс был хорошим евреем... Сейчас, когда мы вспоминаем большого советского трагика Соломона Михоэлса, где-то далеко рвутся бомбы и снаряды: то евреи молодого государства защищают свои города и села от английских наемников. Справедливость еще раз столкнулась с жадностью. Кровь людей льется из-за нефти. Я никогда не разделял идей сионизма, но сейчас речь идет не об идеях, а о живых людях... Я убежден, что в старом квартале Иерусалима, в катакомбах, где сейчас идут бои, образ Соломона Михайловича Михоэлса, большого советского гражданина, большого художника, большого человека, вдохновляет людей на подвиги... В его жизни была трагедия народа, и он не отвернулся от нее: с народом жил и умер он, думая о народе» (РГАЛИ, ф. 2307, оп. 2, ед. хр. 523, л. 1 — 5; см. также: Театр, 1990, № 4, с. 34 — 35). В этой речи И. Э. упомянул и о своем выступлении на собрании в ГОСЕТе сразу после гибели Михоэлса (16 февраля 1948 г.). Сохранилось свидетельство и о словах, сказанных И. Э. на похоронах Михоэлса: «Евреи потеряли на войне шесть миллионов человек.

Соломон Михайлович — это седьмой миллион» (Год за годом. М., 1991, № 6, с. 386).

...я написал для «Правды» статью о «еврейском вопросе», о Палестине, об антисемитизме. — «По поводу одного письма» (Правда, 1948, 21 сент.); написана в форме ответа на письмо студента-медика из Мюнхена, еврея по происхождению, писавшего И. Э. о фактах антисемитизма в послевоенной Германии и спрашивавшего об отношении СССР к государству Израиль.

Стр. 215. *...«Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма...»* — «Об антисемитизме (ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки)», 12 янв. 1931 г. (Сталин И. Соч., т. 13. М., 1951, с. 28).

Стр. 218. *Я прочитал сборник хасидских легенд...* — С двумя томами хасидских легенд в художественном переложении Мартина Бубера («Рассказы о раби Нахмане» и «Легенды о Баал-Шеме». Берлин, 1906 и 1907) Эренбург познакомился впервые в Париже в октябре 1915 г.; тогда же он писал М. Волошину: «На днях вычитал в жизнеописании основателя хасидизма раби Бешта кое-что о своих стихах» (Звезда, 1996, № 2, с. 173).

Стр. 219. *Гитлеровцы... уверяли, что они воюют только против евреев, нужно было опровергнуть эту ложь.* — В черновом варианте далее так: «В конце войны я вместе с В. С. Гроссманом начал собирать человеческие документы, связанные с поголовным убийством евреев на захваченных фашистами территориях нашей страны, — предсмертные письма, дневники — рижского художника, харьковской студентки, стариков, детей. Мы назвали готовившийся сборник «Черной книгой» — она показывала злодеяния фашистов, но в ней было много светлого: мужество, солидарность, любовь. Книга была набрана, сверстана, и нам сказали, что она выйдет в конце 1948» *(ФЭ).*

Стр. 220. *Выступая по радио в день моего семидесятилетия...* — Выступление И. Э. передавалось Московским радио утром 27 янв. 1961 г. См. т. 6 наст. изд., с. 306.

...закрыли Еврейский антифашистский комитет... — Постановлением Политбюро от 20 ноября 1948 г. (последний его пункт: «Пока никого не арестовывать») — см.: *«ЕАК».* М., 1996, с. 371 — 372.

Первым эшелоном жертв стали писатели, писавшие на идиш... — Их аресты начались уже в сент. 1948 г.; наибольшая часть еврейских писателей была арестована с 13 по 28 янв. 1949 г. По сведениям А. М. Гольдберга, было арестовано 217 писателей, 108 актеров, 87 художников и 19 музыкантов (см.: Goldberg A. Ilya Ehrenburg. London, 1984, p. 232). В черновом варианте далее так: «Я впоследствии ломал себе голову, пытаясь понять, почему Сталин обрушился на евреев. Я. З. Суриц мне как-то рассказывал, что еще в 1935 году, когда он был нашим послом в Германии, он докладывал Сталину о политике нацистов и среди прочего рассказал о разгуле антисемитизма. Сталин вдруг его спросил: «Скажите, а немецкие евреи действи-

тельно настроены антинационально?»... Мне кажется, что Сталин верил в круговую поруку людей одного происхождения; он ведь, расправляясь с «врагами народа», не щадил их родных. Да что говорить о семье. Когда по его приказу выселяли с родных мест целые народы, то брали решительно всех, включая партийных руководителей, членов правительства, Героев Советского Союза. Антисемитизм имеет свои традиции, но я никогда не слыхал об антиингушизме или о калмыкофобстве. Говорят, что Сталин всегда руководствовался преданностью идее; что же, в таком случае следует предположить, что он обрушился на евреев, считая их опасными — все евреи мира связаны одним происхождением, а несколько миллионов из них живут в Америке. Это, разумеется, догадки, и ничего я не могу придумать — не знаю и не понимаю» *(ФЭ).*

«Какое представление может быть у А. Гурвича...» — Из ред. статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» (Правда, 1949, 28 янв.), в ней были названы также имена Ю. Юзовского и А. Борщаговского.

Два дня спустя появилась новая статья... — Статья президента Академии художеств А. Герасимова «За советский патриотизм в искусстве» (Правда, 1949, 10 февр.).

...в космополитизме начали обвинять критика Данина... — в статье Н. Грибачева «Против космополитизма и формализма в поэзии» (Правда, 1949, 16 февр.). 11 февр. 1949 г. «Правда» сообщила о партийном собрании в Союзе писателей, где разгрому «космополитов» был посвящен доклад А. Софронова и выступления Н. Грибачева, А. Суркова, В. Ермилова, А. Макарова и др. 19 февр. 1949 г. «Правда» сообщила о собрании драматургов и критиков Москвы, на котором о борьбе с «космополитами» докладывал К. Симонов, поддержанный Б. Ромашовым, С. Михалковым, Н. Погодиным, А. Сурковым, В. Пименовым, А. Первенцевым, А. Софроновым и др.

Перешли к кино... — 3 марта 1949 г. «Правда» напечатала доклад министра кинематографии И. Большакова «Разгромим буржуазный космополитизм в киноискусстве»; количество жертв этого разгрома было сравнительно невелико, т. к., по свидетельству М. И. Ромма, подавляющее число творческих работников кино не хотели губить своих товарищей, в отличие от литераторов, где кампанией руководили оргсекретарь ССП А. Софронов и секретарь парторганизации ССП Н. Грибачев (см. письмо М. И. Ромма в ЦК КПСС. — Сов. экран, 1988, № 11, с. 19).

Стр. 221. *...произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ.* — Вынужденный эвфемизм И. Э. (цензура не пропустила бы «произвол, осуществляемый Сталиным»). В черновом варианте далее: «Например, вдруг начали арестовывать жен — из моих знакомых арестовали жену писателя Горбатова, жену композитора Прокофьева; жен почему-то арестовывали предпочтительно на улице. Арестовывали геологов, греков, ветеринаров...» *(ФЭ).*

...с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. — 27 янв. 1949 г. «Лен. правда» напечатала заметку И. Э. «Наша

гордость»; следующая публикация — 31 марта 1949 г. (статья «Их пакт» — в газ. «Культура и жизнь»).

Стр. 222. *«...разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург».* — По сведениям А. М. Гольдберга, это заявление сделал ответственный сотрудник аппарата ЦК ВКП(б) Ф. М. Головенченко (см.: Goldberg A. Op. cit., p. 233). «Весной 1949 года, во время кампании борьбы против космополитизма, назначенный тогда специально для руководства ею на пост заместителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС профессор Головенченко разъяснял на партактиве в подмосковном городе Подольске: «Вот мы говорим — космополитизм. А что это такое, если сказать по-простому, по-рабочему? Это значит, что всякие мойши и абрамы захотели занять наши места». Было это сказано в конце кампании и использовано Сталиным, чтобы прогнать назад в институт сделавшего свое дело мавра» (Восленский М. Номенклатура. М., Сов. Россия, 1991, с. 414).

...Я написал короткое письмо Сталину. — См.: Источник, 2000, № 2, с. 107; опубликованный журналом текст не во всем совпадает с пересказом в мемуарах; на подлиннике письма помета: «Указание т. Молотова выполнено. Д. Шепилов. 23/III». Судьба И. Э. на самом деле была решена Сталиным еще в начале января 1949 г., когда министр госбезопасности Абакумов представил ему список лиц, намечаемых к аресту по делу ЕАК (И. Э. был одним из первых в этом списке). Сталин, поставив у многих фамилий галочку и начертав «Ар. <естовать>», против фамилии И. Э. поставил лишь полувопросительный значок, рядом с которым рукой Поскребышева написано: «Сообщено т. Абакумову» (см.: Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917 — 1953. М., 1999, с. 790).

Стр. 223. *Клевету подхватили некоторые газеты Запада.* — См. об этом гл. 12 в 7-й кн.

Стр. 224. *Почерк показался мне мучительно знакомым...* — Намек на Сталина.

Глава 16

Стр. 228. *...Рогге протестовал против нападок на Югославию...* — В ответ в статье «Кто же такой Джон Рогге» он был назван «полицейским осведомителем», «циничным провокатором», «лакеем двух палачей — мистера Эдгара Гувера из ФБР и кровавого Тито» (*ЛГ*, 1951, 29 ноября).

Стр. 230. *Ах, Куба, скажи мне, откуда...* — Из стихотворения «Моя родина кажется сахарной...» (см.: Гильен Н. Избранное. М., 1982, с. 89 — 91).

Стр. 231. *...к мудрому судье...* — В рукописи имя мудрого судьи названо не было; Твардовский написал на полях: «Соломон?», после чего имя царя Соломона вошло в текст эпизода, однако цензура эпизод не пропустила.

«Сохраним наш общий дом...» — См.: Правда, 1949, 25 апр.

Стр. 234. *...во время посещения Франции Н. С. Хрущевым...* — Речь идет о визите 1959 г.

Стр. 236. *Мать Зои* — Л. Т. Космодемьянская.

В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. — Имеется в виду статья П. А. Павленко «За мир и жизнь».

Стр. 237. *...весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов.* — Имеется в виду международный Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах — на земле, в воздухе и в море, подписанный в Москве в авг. 1963 г.

Глава 17

Стр. 240. *...процитировал его* <письмо Клементиса> *в очерке...* — «Первая встреча» (1928) (см.: *ВВ*, с. 205 — 206).

Стр. 243. *Хотел пересчитать я звездные отары...* — Из стихотворения «Испанское небо», перевод Д. Самойлова (см.: Н о в о м е с к и й Л. Избранное. М., 1966, с. 86 — 87).

В феврале 1949 года... устроили мой вечер — сорокалетие литературной работы. — Вечер состоялся 5 февр. благодаря усилиям К. Симонова, вопреки рекомендациям «сверху» не проводить его.

Стр. 244. *Лиду освободили два года спустя.* — Прочитав перевод этой главы в словацком еженедельнике, Л. Клементис писала И. Э. 22 сент. 1963 г.: «Позвольте мне выразить Вам мою глубочайшую благодарность по поводу Вашей статьи в «Культурны живот» № 37, в которой Вы таким блестящим и трогательным образом вспомнили моего покойного мужа В. Клементиса. Навсегда эти Ваши слова остаются в моей памяти и сердце!» *(ФЭ).*

Лучше стать на колени... — Из стихотворения «Мудрость», перевод Б. Слуцкого (см.: Н о в о м е с к и й Л. Избранное, с. 123).

...Пройдут по тебе... — Из стихотворения «Верность» (1930) (см. т. 1 наст. изд., с. 133).

Глава 18

Глава была отвергнута «Новым миром»; А. Твардовский написал на ее полях: «Ох, нет, это не Фадеев», а его заместитель А. Г. Дементьев в развернутой рецензии на 6-ю книгу утверждал: «Не получилась глава о Фадееве. Создается впечатление, что И. Г. Эренбург не любил Фадеева и не захотел скрыть это от читателей. Поэтому «портрет» получился однобоким, искаженным... Думается, что надо просить И. Г. снять главу и многое из его отдельных замечаний о Фадееве. На страницах «Нового мира» они были бы неуместными» *(АЭ).* 31 марта 1964 г. при встрече с И. Э. в редакции «Нового мира» «Твардовский спорил главным образом с главой о Фадееве, просил или переделать, или вовсе снять. Ссылался и на справедливость к покойному, и на личные

обстоятельства прошлой дружбы. Эренбург отвечал в том духе, что он как раз не думал унизить Фадеева, а хотел с симпатией объяснить его» (Лакшин В. Op. cit., с. 216). И. Э. действительно написал о Фадееве очень взвешенно, это не законченный портрет, а всего лишь раздумья о Фадееве и его драме. Устно И. Э. высказывался куда резче («Это был человек большого властолюбия, который многое из происходящего в стране, конечно, видел, понимал, не разделял часто сердцем, но то сделать ничего не мог, то руки опускались, да и верил в Сталина и боялся его. Тем и загубил себя». — Оклянский Ю. Op. cit., с. 370). И. Э. вынудили снять главу о Фадееве, и ему пришлось объяснить читателям, почему в журнальной публикации нет обещанной главы. 19 мая 1964 г. Твардовский писал ему: «Я еще и еще раз перечитал главу, посвященную Фадееву, и, к сожалению, решительно не считаю возможным ее опубликование в «Новом мире». Мотивы свои я высказал Вам на словах, могу лишь повторить здесь, что Фадеева Вы, конечно, не желая того, рисуете в таком невыгодном и неправильном, на мой взгляд, свете, что, напечатав ее, я поступился бы дорогой для меня памятью друга и писателя... Предложенная Вами «связка», которую Вы заключаете в скобки, соглашаясь опустить главу, не может быть принята, — это немыслимое дело — указать, что здесь опущена глава, которая не нравится редактору журнала, — это курам смех» (Твардовский А. Собр. соч., т. 6. М., 1983, с. 220). Впервые глава была напечатана в кн.: Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 5, 6. М., 1966.

Стр. 245. *«Я вас считал человеком издалека...»* — Первая жена Фадеева В. Герасимова вспоминала об И. Э.: «Он был нам («пролетарским», как долго именовалась обширная группа литераторов) не совсем понятен, чужд, даже и обликом своим — уже тогда в берете! с трубкой!.. Да и запах «заграничного» табака эренбурговской трубки был не наш, и усталое — какой-то особой усталостью — лицо хотя и импонировало, но казалось тоже каким-то заграничным» (*ВЛ*, 1989, № 6, с. 136).

Стр. 247. *В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии».* — В ред. статье «Правды» «Молодая гвардия» в романе и на сцене» отмечалось, что инсценировки романа подчеркнули его недостатки, при этом ценность романа не подвергалась сомнению (3 дек. 1947 г.). Однако были переделаны и роман, и фильм (31 авг. 1948 г. «Культура и жизнь» сообщила о выпуске новой, исправленной от «ошибок и недостатков» редакции фильма «Молодая гвардия»).

Стр. 253. *В марте 1953 года... я прочитал... статью Фадеева, в которой он резко нападал на роман Гроссмана...* — «Некоторые вопросы работы Союза писателей» (*ЛГ*, 1953, 28 марта) — изложение доклада Фадеева на заседании президиума ССП 24 марта 1953 г.; первый раздел его посвящен критике «Ошибок» Гроссмана, второй — ошибкам редакции «Нового мира», напечатавшей роман Гроссмана и повесть Казакевича «Сердце друга».

«Я думал, что начинается самое страшное...» — Фадеев опасался, что власть перейдет в руки Берии, который, как это Фадееву было известно, его ненавидел.

Глава 19

Стр. 259. *...я писал о его романе «Безразличные»...* — Об этом романе Моравиа И. Э. писал впервые в статье «Культура и фашизм» (1934): «Это правдивый рассказ о молодых людях, душевно опустошенных и мечтающих исключительно о деньгах» (см.: *ЗР*, с. 83).

Стр. 261. *«Похитители велосипедов»* — фильм В. де Сика (1948).

Стр. 262. *Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке.* — Полемичность этого сюжета в 1964 г. была настолько очевидна, что редакция «Нового мира» предложила И. Э. его опустить, однако он предусмотрительно напечатал итальянскую главу в газете ИКП «Унита» и, мотивируя этим, добился сохранения всего текста.

Глава 20

Впервые — Юность, 1965, № 1.

Стр. 274. *«Во дворе древней Сорбонны...»* — См.: Эренбург И. Г. Фредерик Жолио-Кюри. М., 1958, с. 7 — 8.

Глава 21

Стр. 275. *...когда Жолио-Кюри прочитал текст... нас охватило волнение.* — Текст Стокгольмского воззвания: «Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия как оружия устрашения и массового уничтожения людей. Мы требуем установления строгого международного контроля за исполнением этого решения. Мы считаем, что правительство, которое первым применит против какой-либо страны атомное оружие, совершит преступление против человечества и должно рассматриваться как военный преступник. Мы призываем всех людей доброй воли подписать это воззвание» (Правда, 1950, 1 июля).

Стр. 278. *«...в связи с событиями квартет распался...»* — Бойкот церемонии вручения Лундквисту премии, присужденной ему в Москве, был одной из акций в ответ на травлю Б. Л. Пастернака после присуждения ему Нобелевской премии.

Стр. 280. *Потом ему разрешили уехать во Францию.* — Сохранилось письмо матери Андре Берты Липшиц (жены скульптора Жака Липшица) И. Э. от 24 авг. 1957 г.: «Эренбург, дорогой, будьте другом и помогите Андрюше, объясните, кому это нужно, — Вы же знаете это с давних лет. Знаете, что Горький и Роллан были за то, чтобы его мне вернули. Сейчас я тоже хлопочу об этом и надеюсь, что ему разрешат вернуться к своей старой матери, тем более что он сам, так сказать, сейчас вроде как инвалид — туберкулез, ревматизм и т. д. и т. п.». К письму приложены сведения: Андре родился 20 февр. 1913 г. во Франции; в 1927 г. натурализовался в СССР; освободился из лагеря в авг. 1956 г. *(ФЭ)*.

Стр. 281. *...стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства* — «Последняя любовь». Эти стихи были близки и дороги И. Э.; в 1965 г. он написал об этом стихотворение «Последняя любовь» (см. т. 1 наст. изд., с. 201), в котором за словами о Тютчеве читается и его собственная судьба — стихотворение обращено к Лизлотте Мэр.

«Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду». — Речь идет о письме группы деятелей литературы и искусства Н. С. Хрущеву с призывом не возвращаться к сталинским методам «управления» культурой (дек. 1962 г.); 17 дек. 1962 г. на встрече Хрущева с представителями художественной интеллигенции обсуждалось и это письмо. Эренбург, один из его авторов, призывал на встрече к сосуществованию в советском искусстве различных художественных школ и направлений. 4 янв. 1963 г. «Правда» напечатала статью художника А. Лактионова, где говорилось: «Если бы мы прислушались к голосу И. Эренбурга, то давно бы следовало стать под знамена формализма, отказаться от любви к нашему русскому реалистическому искусству и возлюбить различных «истов», главным образом французского происхождения».

Глава 22

Стр. 281. *...я написал заявление...* — 2 января 1950 г. письмо Сталину; на нем резолюция Сталина «Удовлетворить» (Источник, 1997, № 2, с. 117). 3 января 1950 г. она была оформлена решением Политбюро о поездке И. Э. за границу (Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917 — 1953. М., 1999, с. 659).

...я прочитал длинную статью критика.... — Имеется в виду статья М. Шкерина «О романе Ильи Эренбурга «Буря» (Октябрь, 1948, № 1); цит. неточно.

Стр. 282. *...Сталин занялся вопросами языкознания...* — 20 июня 1950 г. в «Правде» была напечатана его статья «Относительно марксизма в языкознании».

...я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии... — Очерки об этих поездках под заголовком «Пять стран», печатавшиеся летом 1950 г. в «Литгазете», вошли в книгу Эренбурга «За мир!» (М., 1952).

Стр. 284. *...найти «желтых»...* — т. е. штрейкбрехеров.

Стр. 286. *...я тогда не мог себе представить, что... Жюль Мок скажет: «Мой друг Эренбург...»* — В конце 40-х гг. Мок был сторонником жесткой проатлантической политики и в статьях Эренбурга подвергался язвительным нападкам.

Стр. 287. *Когда я приехал в Швейцарию...* — Самолет, на котором И. Э. летел из Бельгии в Швейцарию, 6 мая 1950 г. приземлился в Париже, однако полицейские не позволили кавалеру ордена Почетного легиона Эренбургу выйти за пределы аэропорта Бурже. Поль Элюар, находившийся в это время в Москве, писал: «Нанесенное Эренбургу

оскорбление переживают все французы, достойные называться таковыми» (*ЛГ,* 1950, 10 мая).

Стр. 288. *Потом я прочитал его книги...* — В *АЭ* сохранилась книга Андре Боннара «Греческие боги» с надписью: «Илье Эренбургу с искренним уважением как писателю и борцу за мир. А. Боннар. 1950».

Стр. 289. *...мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость, Андре Боннара...* — Даже в 1955 г. в Швейцарии оказалось невозможным вручить Боннару международную премию «За укрепление мира между народами»; церемония состоялась в Вене.

Глава 23

Стр. 292. *...я почти весь день писал газетные очерки...* — «Пять стран».

Стр. 294. *Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не видел.* — Присутствовавший на этой пресс-конференции обозреватель Би-би-си А. М. Гольдберг вспоминал: «Только что разразилась корейская война, и западные журналисты, собравшиеся на конференции, были почти все воинственно настроены, так что от Эренбурга требовалась немалая смелость выступать перед ними. В течение двух часов он доблестно держал оборону, увертываясь от одних вопросов и парируя другие контрвопросами, скрываясь в полуправде и двусмысленности, отчаянно стараясь избежать прямой лжи» (Goldberg A. Op. cit, p. 11). Он писал, что в ответ на вопрос о подоплеке борьбы с космополитизмом в СССР И. Э. ответил: «Я не буду утверждать, что в моей стране не появляется ни одной глупой статьи, — гораздо труднее избавиться от дураков, чем от капиталистов». Самым трудным был вопрос о судьбе еврейских писателей Бергельсона и Фефера, к тому времени уже арестованных, но без каких-либо официальных об этом сообщений. Уйти от его обсуждения было невозможно, а о том, чтобы сказать правду, не могло быть и речи, — здесь у И. Э. не было иных альтернатив, кроме гибели. Заметив, что он два года с ними не виделся да и вообще редко встречался с ними, И. Э. заявил, что, если бы у них были какие-либо неприятности, он бы знал об этом; на состоявшейся позже другой пресс-конференции И. Э. ответил на аналогичный вопрос: «Я ничего о них не знаю».

Стр. 297. *...Капица на свободе, у него лаборатория.* — П. Л. Капица был по распоряжению Берии снят с должности директора Физического института и под домашним арестом жил на даче, понемногу работая.

Стр. 298. *...отрывок из письма, написанного профессором Берналом...* — Редакция «Нового мира» предложила И. Э. опустить текст этого письма, он отказался: «Не понимаю, почему письмо Бернала, критикующего гостиницу «Интурист» и показывающее живость и простоту его стиля, должно быть выпущено. Я просил разрешения Бернала опубликовать письмо и получил разрешение» *(АЭ)*; письмо напечатали.

«От жажды умираю над ручьем» — начало «Баллады поэтического состязания в Блуа» Ф. Вийона в переводе И. Э. (см. т. 6 наст. изд., с. 71).

Глава 24

Стр. 300. *...глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класса.* — См. статью «Капитуляция начетчиков» (Культура и жизнь, 1949, 11 дек.).

Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра... — В статье «Предел ночи» (первонач. назв. «В защиту культуры» — Большевик, 1949, № 2) И. Э. писал: «Инстинктивный, наблюдательный, хотя и слепой, чрезвычайно чувствительный, Фолкнер мне представляется куда более крупным художником, нежели хлесткий, рассудочный и салонный Сартр».

Стр. 301. *Во Франции... в других странах Запада все повторяли имя Сартра...* — Еще в 1946 г. И. Э. писал: «Среди молодежи буржуазного общества, молодежи душевно не молодой и обреченной, сейчас особенной любовью пользуется глава «экзистансиолистов» Сартр. Это талантливый и умный писатель, который видит зло, но не видит его истоков, не знает, как можно это зло победить. Когда Сартр описывает мюнхенские дни или тоску хорошо знакомых ему бездельников, он описывает правдиво, сильно. Когда он начинает философствовать, он кажется младенцем или, вернее, стариком, впавшим в детство» (Известия, 1946, 2 ноября); в сент. 1947 г. И. Э. писал: «Сартр — тень, рожденная послевоенным туманом обнищавшей, растерзанной Франции. Он был моден в окололитературных кругах Парижа полтора года назад. О моде стоит сказать две вещи: она быстро стареет и она всегда доходит с запозданием. Я убежден, что Сартр даже полтора года назад не мог бы заставить своих поклонников отказаться от стаканчика вермута. А я видел во Франции партизан, которые шли в бой со стихами Арагона «Роза и резеда» («Заметки писателя»).

После венгерских событий... — Имеются в виду события 1956 г., когда в Венгрию были введены советские войска для подавления вооруженного восстания. Об этом см. в 7-й кн.

Стр. 303. *«Нет на свете вопросов...»* — Из статьи «Мы голосуем» (Правда, 1950, 12 марта; стилист. выправлено).

«Я стою за мир...» — Правда, 1950, 20 ноября.

...в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров... — И. Э. восстановил их в сб. «За мир!» (М., 1952, с. 312) и «Люди хотят жить» (М., 1953, с.129).

...статья одного бывшего монархиста — статья бывшего профессора Коннектикутского колледжа А. Казем-Бека «Америка без прикрас» (*ЛГ*, 1957, 26, 28 февр.).

Я послал в газету письмо... — Письмо И. Э. было напечатано «Литгазетой» 23 марта 1957 г. с ред. примечанием: «Печатая письмо Ильи Эренбурга, редакция не видит достаточных оснований для такой оценки статьи А. Казем-Бека».

19 Зак. 92

Стр. 305. *Меня попросили показать один документ...* — о применении биологического оружия в корейской войне.

...китайский поэт Эми Сяо... — В черновом варианте так: «Китайским секретарем был поэт Эми Сяо, долго проживший в Советском Союзе, знающий Европу, да и хороший товарищ». Это было написано в пору культурной революции в Китае, и И. Э. опустил эти строки, опасаясь, как бы они не повредили Эми Сяо.

Стр. 306. *...в одном из старых романов...* — Имеется в виду роман Ж. Амаду «Красные всходы» (1946; рус. перевод — М., 1954).

Стр. 307. *Птица прилетела неживая...* — Из стихотворения «Моя родина кажется сахарной».

Стр. 308. *...я увидел Д. Д. Шостаковича...* — По поводу этого и некоторых других эпизодов 6-й книги А. Г. Дементьев во внутренней рецензии отметил: «Пожалуй, нужна несколько большая осторожность в характеристике некоторых современников. Так... Шостакович выглядит индифферентным к делу мира настолько, что выключает наушники во время конгресса» *(АЭ);* эпизод не был напечатан.

Глава 25

Стр. 312. *В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались...* — «Мне хочется от всего сердца поблагодарить человека, который помог мне, как всем нам, написать многое из того, что мною написано, и который поможет написать то, о чем я мечтаю. Этот человек был со мной и на фронте, и на шумных митингах, посвященных защите мира, и в тишине ночной комнаты, когда я сижу перед листом бумаги» (*ЛГ,* 1951, 30 янв.) — так, не называя по имени сурового бога, благодарил его И. Э. за то, что не отнял жизнь.

...у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции... — Имеется в виду письмо секретарю ЦК КПСС М. А. Суслову от 30 янв. 1953 г. «При работе над подготовкой издания моих сочинений в Гослитиздате вчера, 29 января, я ознакомился с замечаниями, сделанными в письменной форме работником ЦК КПСС т. Акшинским... — писал И. Э. — До ознакомления с заметками тов. Акшинского я считал, что национальное происхождение не может рассматриваться как порок или повод для обособления. Именно поэтому, описывая в 1933 — 34 гг. советское строительство, не отделял работы людей еврейского происхождения от работы граждан всех национальностей нашего государства. Я никогда не решился бы Вас побеспокоить, если бы те замечания, которые меня глубоко озадачили, не исходили бы от товарища, принадлежащего к аппарату ЦК КПСС. Я прошу Вас разъяснить мне, прав ли тов. Акшинский...» *(АЭ).*

Стр. 315. *Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью...* — Эпизод из «Девятого вала», где Осип Альпер, разыскивая квартиру приятеля-фронтовика, спросил дорогу у случайного человека, тот ответил и попросил папиросу, у Осипа ее не оказа-

лось, тогда ему было сказано: «У вас для других никогда ничего нет... Чего вы в Палестину не едете? У вас теперь свое государство» (Избр. соч., т. 3. М., 1953, с. 443).

«Литературная газета» опубликовала несколько приглаженный текст. — См. статью «Писатель и жизнь» (*ЛГ,* 1951, 13 марта).

Стр. 316. *В течение целого месяца ругали украинских писателей...* — Кампания началась публикацией ред. статьи «Против идеологических извращений в литературе» (Правда, 1951, 2 июля), а затем продолжалась статьями в литературной печати: В. Сосюру «критиковали» за стихотворение «Люби Украину», Корнейчука и Василевскую — за сценарий «Богдан Хмельницкий».

Другой месяц был посвящен критику Гурвичу... — Редакционная статья «Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике» (Правда, 1951, 28 окт.) утверждала, что появление статьи А. Гурвича в «Новом мире» (1951, № 9) «еще раз напоминает о необходимости покончить с либеральным отношением к попыткам протащить в литературную критику чуждые антипатриотические взгляды». Статья обсуждалась на партсобрании в ССП (докладчик Н. Лесючевский), где А. Сурков, рекомендовавший эту статью журналу, и А. Твардовский, напечатавший ее, каялись в совершенной ошибке (*ЛГ,* 1951, 27 ноября).

Стр. 317. *В то время ко мне часто приходил Мартынов.* — См. статью «Леонид Мартынов и Илья Эренбург» в сб. «Складчина-2» (Омск, 1996, с. 525 — 539).

Он написал стихи о Неруде... — «Песня» (см.: Мартынов Л. Стихотворения и поэмы. Л., 1986, с. 154).

Я написал в «Смене» о Винокурове... — Имеется в виду предисловие к публикации стихов Е. Винокурова (Смена, 1948, № 14); см.также воспоминания об И. Э. в кн.: Винокуров Е. Жизнь, творчество, архив. М., 2000, с. 269 — 275.

Стр. 318. *Недавно я получил от него первую книгу стихов.* — См.: Коржавин Н. Годы. М., 1963; надпись на кн.: «Илье Григорьевичу Эренбургу с благодарностью за многое, что он сделал в жизни вообще и лично для меня. Н. Мандель 28.IX.63 г.» *(АЭ).* О встречах с И. Э. Н. Коржавин написал в воспоминаниях (см.: *НМ,* 1992, № 8, с. 184 — 185).

Год спустя Володя Кокляев утонул... — В 1954 г. редакция газ. «Тимирязевец» выпустила посмертный сборник стихов В. Кокляева с предисловием И. Э.

В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. — Эта встреча произошла в 1949 г., что подтверждает и Слуцкий (Слуцкий Б. О других и о себе. М., 1991, с. 29) и зап. кн. И. Э.: «30 июня 1949 12 ч. Слуцкий». Об отношениях И. Э. и Слуцкого — см.: *ВЛ,* 1999, № 3.

Я решил, что это фольклор, и включил в роман. — См.: Эренбург И. Буря. М., 1948, с. 548, а также — Слуцкий Б. Записки о войне. СПб., 2000, с. 29 — 30.

Кони шли ко дну и ржали, ржали... — Из стихотворения «Лошади в океане», посвященного И. Э. (см.: Слуцкий Б. Собр. соч., т. 1. М., 1991, с. 126).

Стр. 319. *Потом я попытался ее* <поэзию Слуцкого> *определить...* — См. статью «О стихах Бориса Слуцкого» (*ЛГ,* 1956, 28 июля; см. т. 6 наст. изд., с. 290).

За статью меня обругали. — Статья «О стихах Бориса Слуцкого» была напечатана в отсутствие гл. ред. «Литгазеты» Вс. Кочетова. Л. И. Лазарев вспоминает: «Возвратившийся из поездки главный был вне себя от ярости. Если заместители видели в статье Эренбурга некоторое отступление от принятой литературной субординации, то Кочетов воспринял ее как дерзкий, возмутительный, недопустимый вызов тому порядку, который он изо всех сил старался утвердить в литературе. Скорее всего, стихов Слуцкого он не читал (кроме тех, что цитировал Эренбург), да его и не интересовало, хороши они или плохи. На планерке без каких-либо околичностей он заявил: «Надо выдать Илье сполна» (*ВЛ,* 1988, № 7, с. 213). 14 авг. 1956 г. «Литгазета» напечатала письмо «читателя» Н. Вербицкого «На пользу или во вред?» с критикой И. Э. и разносом Слуцкого. Через год вышла первая книга Слуцкого (Память. М., 1957), и, даря ее И. Э., автор написал: «Илье Григорьевичу Эренбургу. Без Вашей помощи эта книга не вышла бы в свет, а кроме того — от всей души. Борис Слуцкий» *(АЭ).*

Эпоха зрелищ кончена... — Из стихотворения «Современные размышления» (см.: С л у ц к и й Б., т. 1, с. 167); при жизни автора не публиковалось.

Глава 26

Стр. 323. *...кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых...* — Следующим исключением стала глава об О. Г. Савиче, написанная позже и вошедшая в 4-ю кн., а также глава о Шагале в 7-й кн.

Стр. 324. *Облака, как белые платочки расставания...* — Из стихотворения «Утро, полное бурь» в переводе И. Э. (см.: *ТД,* с. 197).

И по улицам кровь детей... — Из стихотворения «Объяснение» в переводе И. Э. (см.: *ТД,* с. 201 — 203).

...книгу стихов «Испания в сердце», я ее перевел на русский язык. — Книга издана в Испании в 1938 г.; в Литмузее хранится экземпляр, подаренный автором И. Э. с такой надписью: «Любимому, обожаемому Илье Эренбургу, который столько любви вложил в эту книгу печали и надежды. Прими братские объятия. Пабло Неруда. Париж 1939» (ГЛМ, И-1275); рус. перевод вышел отд. изд. в Москве в 1939 г.

...его стихи, посвященные Сталинграду... — «Песнь любви Сталинграду» (1942) и «Новая песнь любви Сталинграду»; фрагменты из них в переводе И. Э. см. в его предисл. к кн.: Н е р у д а П. Стихи. М., 1949, с. 17 — 20.

...сборник моих военных статей, который вышел в Мексике... — В предисловии к нему Неруда писал: «Эти корреспонденции Эренбурга, эти страницы описывают ад, который со свойственной ему страстностью воспроизвел бы Алигьери, и вихрь ненависти разметал бы

пышную пену его терцетов, чтобы достигнуть уровня этой разящей прозы, в которой смерть и надежда поднимаются, как соки в растениях — от земли до окровавленных листьев. Те, кто прочтут эту книгу, увидят Советский Союз в ореоле силы и чистоты...» *(ФЭ)*. В 1942 г. Неруда читал на многочисленных митингах солидарности с СССР «Письмо Илье Эренбургу» (рус. перевод см.: Н е р у д а П. О поэзии и о жизни. М., 1974, с. 168 — 170).

Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. — «Я умираю от гнева, видя, как молодой ацтек, молодой кубинец или аргентинец увлекается Кафкой, Рильке или Лоуренсом, в то время как в израненной стране склоняется убеленная сединами голова Эренбурга, озаренная умом, подстрекаемая ненавистью, чтобы указать нам горы человеческих страданий и пути настоящего и будущего» (из предисловия Неруды к мексиканскому изд. публицистики Эренбурга. — *ФЭ*).

Стр. 325. *Мир наступающему вечеру...* — Из поэмы «Пусть проснется лесоруб» в переводе И. Э.

Стр. 328. *...московские газеты пишут о «самоуправстве чилийских властей».* — 7 авг. 1954 г. «Известия» напечатали корреспонденцию ТАСС из Буэнос-Айреса «Произвол чилийских властей», а «Литгазета» поместила протест советских писателей; 16 авг. «Правда» сообщила о протестах в Уругвае в связи с преследованиями И. Э. 3 сент. 1954 г. «Правда» напечатала очерк И. Э. «Семь дней в Чили».

Стр. 329. *...М. И. Алигер рассказывала, как их там радушно принимали.* — См. очерки «Возвращение в Чили» (А л и г е р М. Собр. соч., т. 3. М., 1985).

Стр. 330. *А теперь оставьте меня в покое...* — Из стихотворения «Прошу тишины», перевод О. Савича (см.: Н е р у д а П. Плаванья и возвращенья. М., 1964, с. 28 — 30).

Моей религией те были корабли... — Из стихотворения «Строитель», перевод О. Савича (см.: Н е р у д а П. Собр. соч., т. 2. М., 1979, с. 207).

...Я очень устал от кур... — Из стихотворения «Особого рода усталость», перевод О. Савича (см.: Н е р у д а П. Плаванья и возвращенья, с. 50 — 52).

Глава 27

Стр. 340. *...по книге Пильняка...* — Речь идет о книге очерков «Корни японского солнца» (1927).

Сатирический роман посредственного французского автора — Л о т и П. Госпожа Хризантема (1888).

Глава 28

Стр. 341. *«Думая о судьбе века...»* — Из статьи «Судьба культуры» (Культура и жизнь, 1949, 31 дек.).

Нет, не страшит меня мой век... — Из стихотворения «Двадцатый век», перевод М. Павловой (см.: Хикмет Н. Избр. стихи. М., 1962, с. 219).

Стр. 342. *Он был из камня, из бронзы...* — первая строфа стихотворения без названия в переводе М. Павловой (*ЛГ*, 1962, 20 ноября; в советские издания Хикмета не включалось).

Стр. 343. *Одним знакомы виды трав...* — Из стихотворения «Автобиография», перевод Б. Слуцкого (см.: Хикмет Н. Избр. стихи, с. 13 — 17).

Я разучился верить, я учусь пониманью... — Из стихотворения «Я привыкаю к старости», перевод М. Павловой (День поэзии. М., 1963, с. 267).

Я часто думаю о судьбе N... — Вдова Хикмета В. Тулякова вспоминает: «В черновике главы о Назыме, переданном мне И. Г. Эренбургом, он пишет: «Назым часто говорил: «Я часто думаю о смерти Фадеева... Мне повезло, конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было жить в раю и смотреть, как ангелы жарят на сковородках товарищей» (Театр, 1988, № 11, с. 119).

Стр. 346. *Если я умру на чужбине, товарищи...* — Это стихотворение в советских изданиях Хикмета 1953 — 1987 гг. печаталось в других переводах.

С разорванным сердцем четыре месяца... — Из «Автобиографии» в переводе Б. Слуцкого.

Под дождем по московскому асфальту... — Из стихотворения «Под дождем» в переводе М. Павловой (см.: Хикмет Н. Московское лето. М., 1963, с. 19).

...был вечер... для читателей — в Политехническом... — 13 янв. 1962 г.; кроме И. Э. на нем выступали Б. Слуцкий, Ю. Завадский, А. Тверской, В. Комиссаржевский.

Дадим шар земной детям... — Из стихотворения «Детям» в переводе М. Павловой (см.: Хикмет Н. Московское лето, с. 8).

Стр. 347. *Я снял с себя идею смерти...* — Из стихотворения «Московское лето» в переводе М. Павловой.

Глава 29

Прочитав рукопись этой главы, Т. М. Литвинова писала И. Э.: «Спасибо за то, что дали мне почитать «дипломатическую» главу до печати. Читать было ее и сладко и горько, потому что, конечно, я не могу быть бесстрастным читателем... Вообще мне «Суриц» больше нравится, чем «Литвинов», — теплее. Это — больше с грустью, чем с укором. Вы Я. З. знали ближе, он был непосредственнее, и формация его более понятная. К тому же это — *Ваши* мемуары, хотя и *мой* отец. На самом деле мне все же жаль, и мне кажется, что некоторая сухость подачи у Вас не выражает Вашего личного отношения (непосредственного, т. е. художественного) к моему отцу, а всего лишь некоторую

скованность в подходе к теме. Я вижу обаяние (не как дочь, а как наблюдатель) фигуры моего отца в его сложности — сочетании силы и слабости, жизнелюбия и пессимизма, скептицизма и идеализма, оригинальности ума и «обывательщины», сухости-замкнутости и еврейской эмоциональности» *(ФЭ).*

Стр. 347. *Максима Максимовича я встречал в разные годы...* — Судя по зап. книжке И. Э., он несколько раз был у М. М. Литвинова и в Куйбышеве, где они жили на одной улице через дорогу друг от друга.

...Литвинов был человеком веселым, но... с весьма мрачными мыслями. — Т. М. Литвинова писала И. Э. 3 февр. 1964 г. о своем отце: «По его словам, они (ленинцы) шли на революцию, как на благородный риск, готовые к гибели и неудаче. Одно, чего они не могли представить себе до конца, это ее удачи, этой ее роковой удачи. При отце рассказывали анекдот о братьях Васильевых, которые будто бы сказали, что, если бы они могли предвидеть такой успех «Чапаева», они постарались бы сделать его лучше. Отец сказал: «Вот и мы так» *(ФЭ).*

Стр. 350. *Никакой работы ему не дали...* — В 1975 г. В. М. Молотов, сохранивший тупую верность сталинской идеологии, вспоминал: «Литвинов был совершенно враждебным к нам... У нас никакого доверия к нему не было... К Сталину он относился хорошо, но, я думаю, внутренне он не всегда был согласен с тем, какие решения мы принимали. Я считаю, что в конце жизни он политически разложился. Поэтому зря Эренбург в своей книге сетует, что Сталин отстранил его и не давал работы» (Сто сорок бесед с Молотовым. М., Терра, 1991, с. 96 — 98). Н. С. Хрущев свидетельствует в воспоминаниях (после рассказа об убийстве С. М. Михоэлса): «Так же хотели организовать убийство Литвинова. Когда подняли документы после смерти Сталина, допросили работников МГБ, то выяснилось, что Литвинова должны были убить по дороге из Москвы на дачу. Там есть такая извилина на подъезде к его даче, и в этом месте хотели совершить покушение» (Огонек, 1990, № 8, с. 22).

Стр. 352. *Американский посол Додд... отмечал дружеские беседы с Сурицем...* — См.: Дневник посла Додда. М., 1961, с. 247, 361, 380.

Глава 30

Стр. 356. *...он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели»...* — Иллюстрации Ж. Юго к 1-й части «Оттепели» напечатаны в ж. «В защиту мира», № 38 — 41 за 1954 г.

Стр. 357. *...я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции».* — Имеется в виду статья «Сюрреалисты» (см.: *ЗР,* с. 237 — 243).

Стр. 358. *Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве.* — Тогда Элюар посвятил И. Э. свое стихотворение «Счет к оплате», вошедшее потом в книгу «Посвящения» (1950).

Стр. 359. *Меня покинула лазурь...* — Из стихотворения «Чтобы здесь жить», перевод И. Э. В предисловии к первому Избранному Элюара на рус. языке И. Э. написал: «Я привожу стихи Элюара в прозаическом переводе. Я знаю, конечно, сколько они при этом теряют, но я боюсь, что они потеряют еще больше, если я попытаюсь перевести их стихами» (Элюар П. Стихи. М., 1958, с. 4). Некоторые строки Элюара И. Э. цитирует в этой главе в менее «прозаической» редакции.

Стр. 361. *Мы идем вдвоем, взявшись за руки...* — Стихотворение «Вдвоем» из книги «Феникс».

Стр. 362. *...Розенбергам... отказано в пересмотре дела.* — Американские физики Джулиус и Этель Розенберги, обвиненные в передаче СССР секретов атомного оружия, были в 1953 г. казнены на электрическом стуле. Н. С. Хрущев впоследствии подтвердил факт передачи Розенбергами информации, позволившей максимально ускорить создание атомного оружия в СССР.

Глава 31

Стр. 362. *В журнале печатался «Девятый вал», критики его хвалили...* — «Девятый вал» опубликован в «Знамени» (1951, № 11 — 12; 1952, № 1 — 5), заголовки рецензий были такие: «Книга, борющаяся за мир», «Роман, разоблачивший поджигателей войны», «Лучший роман И. Эренбурга».

Стр. 363. *Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили.* — Сборнику Винокурова (Стихи о долге. М., 1951) посвящена заметка М. Светлова «Первая книга поэта» (*ЛГ*, 1952, 8 июня).

...напечатали стихотворение Мартынова, редакцию за это поругали. — В статье «Правда и домысел» Н. Грибачев писал: «Странным рецидивом сумбура символики являются стихи Леонида Мартынова «Красные ворота» (журнал «Новый мир»)... Приходится лишь удивляться, что такие стихи напечатаны в журнале, главным редактором которого является замечательный поэт А. Твардовский» (*ЛГ*, 1952, 26 июня).

...я заметил под одним из них подпись Е. Евтушенко. — Видимо, имеется в виду стихотворение «Признание» (*ЛГ*, 1953, 1 мая).

Стр. 364. *В Праге осенью проходил процесс группы видных коммунистов.* — Процесс по делу так называемого «заговорщического центра» во главе с Генсеком ЦК КПЧ Рудольфом Сланским (кроме него судили также В. Клементиса, А. Лондона, Э. Лебла, А. Симона и др.).

...их назвали «жабами у чистого родника»... — в статье Иржи Марека «Чистый родник и грязная жаба» (*ЛГ*, 1952, 27 ноября).

Стр. 367. *Вдруг на последней странице я увидел: «Арест группы врачей-вредителей».* — Помимо хроники на последней странице на первой полосе «Правды» была напечатана вторая передовая статья: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей».

Стр. 368. *...два дня спустя Сталин принял Сун Цинлин и Го Можо...* — Неточно; китайских общественных деятелей Сталин принял 13 янв. 1953 г.; слух о его болезни относится к более позднему времени и вызван его отсутствием на заседании памяти Ленина 21 янв.; этот слух был опровергнут сообщениями о приеме Сталиным аргентинского посла Л. Браво (7 февр.) и посла Индии К. Менона вместе с С. Китчлу (18 февр.).

...указ о награждении орденом Ленина женщины-врача... — Речь идет о Л. Ф.Тимашук; 11 февр. 1953 г. «Правда» напечатала письмо Тимашук, в котором она сообщала, что в ее адрес «поступили многочисленные письма и телеграммы с выражением патриотических чувств по поводу разоблачения преступников врачей-убийц», и благодарила за поздравления с наградой.

Стр. 369. *«Каково бы ни было национальное происхождение...»* — См.: Правда, 1953, 28 янв. В февр. «Правда» заказала И. Э. очередную статью о поджигателях войны; он использовал эту возможность, чтобы хотя бы намеком сказать о том, что его мучило, и отвести обвинения от народа в целом; после редакционной правки эти слова выглядели так: «Конечно, в каждой стране есть предатели... Но нет страны, народ которой был бы предателем» (Решающие годы. — Правда, 1953, 23 февр.).

Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая «убийц в белых халатах». — Ч е ч е т к и н а О. Почта Лидии Тимашук (Правда, 1953, 20 февр.).

«Протоколы сионских мудрецов» — «сочинение» руководителя заграничной охранки в Париже черносотенца П. И. Рачковского; печаталось в России начиная с 1905 г. В 1935 г. суд в Берне после тщательной экспертизы установил, что «протоколы» являются фальшивкой, используемой для разжигания антисемитизма (см. кн. Нормана Кона «Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». М., 1990).

Эрве... прислал ее мне с трогательной надписью. — 13 авг. 1965 г. И. Э. писал Арагону: «В «Figaro Litteraire» появились выдержки из шестой части книги, подобранные весьма тенденциозно. Дело, однако, не в этом; после появления отрывков была опубликована статья Эрве, в которой он пытается доказать, что писал много мягче, чем другие. Но дело также и не в этом. Эрве пишет, что он никогда не посылал мне книги «Революции и фетиши» и не подписывал ее. Я очень прошу Вас опубликовать в «Les Lettres françaises» фотографию, которую я прилагаю и которая показывает, что Эрве либо обладает плохой памятью, либо решил очернить меня. Обнимаю Вас. Илья» *(ФЭ).*

Стр. 370. *...резкая статья о романе Гроссмана.* — Статья М. Бубеннова (Правда, 1953, 13 февр.), затем «Литгазета» напечатала ред. статью «На ложном пути» (1953, 21 февр.), а 3 марта — письмо гл. ред. «Нового мира» А. Твардовского и членов редколл. А. Тарасенкова, В. Катаева, К. Федина и С. С. Смирнова, пропустивших роман Гроссмана на страницы журнала («Редколлегия считает, что она дол-

жна извлечь все уроки из совершенной ею серьезной ошибки»). 24 марта 1953 г. роман обсуждался на заседании президиума ССП и был подвергнут разносу в докладе А. Фадеева и в прениях (В. Катаев, говоря о Гроссмане, заметил: «Я не люблю его претензии на философию», а А. Первенцев «выразил общее возмущение всех собравшихся тем, что В. Гроссман до сих пор ни в какой форме не ответил на справедливую критику». — *ЛГ,* 1953, 28 марта).

К счастью, затея... не была осуществлена. — Речь идет о задуманной Сталиным депортации еврейского населения СССР на Дальний Восток в порядке «спасения» от «народного гнева» (планируемая реакция на готовившийся процесс над врачами-убийцами с последующими публичными их казнями). Предполагалось, что наиболее известные деятели советской культуры — евреи подпишут соответствующее коллективное одобрение приговора «врачам-убийцам». По свидетельству проф. Я. Л. Раппопорта, лишь певец М. О. Рейзен, генерал Я. Г. Крейзер, композитор И. О. Дунаевский и Эренбург отказались подписать это письмо (см.: Раппопорт Я. Л. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года. М., 1988, с. 58). И. Э. не только не подписал письмо, хотя и сознавал, чем это ему грозит, но и предпринял попытку найти такие аргументы против готовившейся акции, которые смогли бы убедить Сталина в ее вреде с точки зрения престижа Советского государства за рубежом (другие соображения идеологического или гуманного порядка на адресата подействовать не могли). Письмо И. Э. Сталину начиналось со справки: «Тов. Минц (академик, историк. — *Б. Ф.*) и тов. Маринин (руководитель Совинформбюро Хавинсон. — *Б. Ф.*) сегодня ознакомили меня с проектом письма в редакцию «Правды» и предложили мне его подписать. Я считаю моим долгом изложить Вам мои сомнения и попросить Вашего совета» *(АЭ).* Отталкиваясь от речи Сталина на XIX съезде КПСС, в которой было указано на роль и значение западных компартий и на то, что СССР всегда будет заинтересован в их поддержке, И. Э. писал Сталину, что планируемая акция произведет нежелательное впечатление за рубежом, вызовет взрыв антисоветской пропаганды и очень осложнит работу компартий.

По свидетельству А. Н. Яковлева, непосредственным руководителем всей операции был член Президиума ЦК КПСС Д. Чесноков, от которого Минц и Маринин и получили текст обращения для сбора подписей знаменитостей еврейского происхождения. Письмо И. Э. было прочитано Сталиным. «Возможно, что Илья Эренбург, написав Сталину, что он против этого проекта и не подпишет письмо Чеснокова, — осторожно замечает Яковлев, — сыграл некоторую роль» (см.: Jakovlev Alexander. Ceque nous voulous faire del'Union Sovetique. Entretien avec Lilly Marcou. Paris, 1991). Отметим, что относящаяся к этому материалу публикация «Против попыток воскресить еврейский национализм. Обращение И. Г. Эренбурга к И. В. Сталину» (Источник, 1997, № 1, с. 141 — 146) фальси-

фицирует события, — см. наш комментарий «Помутневший «Источник», или О чем просили евреи Сталина» (*ЛГ*, 1997, 23 июля).

При подготовке этой главы к печати в 1964 г. текст, относящийся к событиям февраля 1953 г., был заменен существенно менее информативным (см.: *СС*, т. 9, с. 730).

Глава 32

В четвертой части «Люди, годы, жизнь» И. Э. пообещал читателям: «В последней части этой книги я попытаюсь подвести итоги, поделиться мыслями о И. В. Сталине, о причинах наших заблуждений, о всем том, что лежит камнем на сердце каждого человека моего поколения» (*НМ*, 1962, № 5, с. 152). Исполнение этого обещания оказалось для него крайне трудным. Б. А. Слуцкий вспоминал: «Очень долго писалась глава о Сталине. Несколько лет Сталин был одной из главных тем разговоров и размышлений (конечно, не у одного И. Г.). И. Г. пытался определить, выяснить закономерность сталинского отношения к людям — особенно в 1937 году — и пришел к мысли, что случайности было куда больше, чем закономерности. Однажды я спросил у И. Г., почему Сталин любил его книги. Отвечено было в том смысле, что ценилась их политическая полезность и международный охват. Вообще говоря, Сталин, смысл Сталина был орешком, в твердости которого И. Г. неоднократно признавался» (Огонек, 1991, № 3, с. 21). К задаче создания «портрета» Сталина И. Э. подходил как писатель, а не как ученый-историк: его прежде всего интересовала загадка личности. Стремление И. Э. разобраться в противоречиях личности и деяний Сталина было настойчивым и искренним, при том что ему было нелегко подняться над грузом десятилетий, над тем, что он сам говорил, писал и думал раньше. Попыткам разобраться в Сталине до конца мешали не только психологические факторы, но прежде всего отсутствие достаточной информации, закрытый доступ к документам. Существенно и то, что задача создания «портрета» Сталина возникла у И. Э. в контексте обширного повествования о прожитой жизни, самый жанр которого исключал смелые гипотезы, постоянно привязывал размышления о Сталине к рассказу о заблуждениях, иллюзиях и ошибках собственного прошлого. И. Э. не мог перечеркнуть значительную часть своей жизни, не мог и вычленить из нее Сталина. Противоречия самой жизни И. Э., в которой вера в «государственную мудрость» Сталина уживалась с неколебимой уверенностью в том, что, например, Н. И. Бухарин никогда не был «врагом народа», не могли не отразиться на страницах этой главы. Следы отмеченных противоречий прослеживаются в рукописи того «окончательного» варианта главы о Сталине, от которого И. Э. в итоге отказался. Рукопись испещрена замечаниями на полях О. Г. Савича, который был ее первым читателем. (Например, против слов И. Э.: «Может быть, это было раздвоение личности — он рассуждал, как бывший подпольщик, марксист, большевик, а поступал по-иному... Может быть, он поступал не так, как думал? А может быть,

гуманистические рассуждения о ценности человека были только искусная маскировка?» — Савич заметил: «А не ханжеская уловка? Или у Тартюфа тоже раздвоение? И уж очень мягко — поступал «поиному», а он поступал, как Иван Грозный»; в другом месте возле слов И. Э.: «Вряд ли Сталин расправлялся со старыми большевиками потому, что был жесток, наверное, он думал, что ограждает партию и народ от фракционеров, от непослушных, спорщиков, от людей, политически думающих и, следовательно, ненадежных» — Савич написал: «А не от тех, кто знал его прошлое?» — *Ф. Э.*).

В итоге И. Э. был вынужден отказаться от «портрета» Сталина, ограничив себя изложением того, что он думал и чувствовал в марте 1953 г.; глава о Сталине превратилась в главу о смерти Сталина.

Приведем три фрагмента из рукописи, не вошедшие в окончательную редакцию:

«Мне привелось несколько раз разговаривать с его ближайшими соратниками — Ждановым, Молотовым, Кагановичем, Щербаковым, Маленковым. Их слова были жестче, чем речи Сталина (это, конечно, естественно — боялись все). Как миллионы моих соотечественников, я очень долго думал, что Сталина обманывают, что он не знает, как живет народ, что его запугивают мнимыми заговорами».

«Сталин был чрезвычайно подозрителен. Его друг Гогоберидзе (впоследствии арестованный и убитый) рассказывал, что уже в конце двадцатых годов Сталин боялся покушения. Поздно вечером, когда Гогоберидзе уходил из скромной квартиры Сталина в Кремле, Сталин неизменно говорил: «Леван, погоди», опускал лампочку, висевшую на длинном шнуре, и глядел, нет ли кого-нибудь под кроватью и под диваном. С годами подозрительность возрастала, и, зная эту слабость, Ягода, Ежов, Берия стряпали очередные заговоры».

«Для него существовали две силы, строившие коммунизм: народ, который был не миллионы людей, работающих, сражающихся, бедствующих, а абстрактной политической категорией, народ и он, бывший Коба, бывший Джугашвили, продолжатель Ленина, генералиссимус Сталин».

Стр. 373. *Вера — очки и шоры...* — Из стихотворения «Верность» (см. т. 1 наст. изд., с. 187).

Стр. 374. *Барбюс писал...* — См.: Б а р б ю с А. Сталин. М., 1936, с. 352.

А стреляный воробей поверил... — В книге Л. Фейхтвангера «Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей» (М., 1937) оправдывались сталинские политические процессы 30-х годов; в главе «Сто тысяч портретов человека с усами» Фейхтвангер писал: «На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с

усами, портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще какие! — в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак, — сердито говорит Сталин, — приносит больше вреда, чем сотня врагов» (с. 64 — 65).

Стр. 375. *Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович* — Мейерхольд, Членов, Бухарин, Бабель. Из этого ряда редакция «Нового мира» требовала убрать «Николая Ивановича», но И. Э. категорически воспротивился. «Я не могу согласиться на то, — писал он Твардовскому в июне 1964 г., — чтобы Николай Иванович не упоминался вовсе, но если это широко распространенное имя и отчество шокирует Вас, как политически неприемлемое, я готов добавить Семена Борисовича и Григория Михайловича (Штерна. — *Б. Ф.*)» *(АЭ)*.

...ставили мне в пример Льва Толстого... — Речь идет о статье В. Ермилова «Необходимость спора» (Известия, 1964, 30 янв.).

Глава 33

Стр. 379. *Короткая речь Маленкова* — выступление на сессии Верховного Совета 15 марта 1953 г.

Стр. 380. *...когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик...* — Обстоятельства гибели И. Фаржа вызывали подозрения в том, что она была организована МГБ. По одной из версий, И. Фарж добивался в Москве встречи с арестованными «врачами-убийцами» и, получив такую возможность, понял, что к арестованным применяют пытки. Тогда и решили его «убрать». А. Д. Сахаров, рассказывая об этом в «Воспоминаниях», пишет, что такая версия не была опровергнута советскими высокопоставленными деятелями, в присутствии которых он ее высказал. По словам И. И. Эренбург, ни ее отец, ни вдова Фаржа не считали, что его гибель была умышленной *(СК)*.

Стр. 387. *...перед огромной картиной, где был изображен Сталин в поле...* — Имеется в виду полотно Ф. С. Шурпина «Утро нашей Родины», удостоенное Сталинской премии в 1949 г.

...его книги не станут переиздавать... — В 1959 г. в Москве вышло «Избранное» Ива Фаржа, куда вошли его рассказы, несколько статей, репродукции его пейзажей; предисловие к книге написал И. Э.

Глава 34

Стр. 388. *Это было напечатано в «Правде»...* — В «Сообщении Министерства внутренних дел СССР» указывалось также, что «лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности» (Правда, 1953, 4 апр.).

...у женщины-врача... орден отобрали... — Указ Президиума Верховного Совета о награждении Л. Ф. Тимашук орденом Ленина был отменен «как неправильный, в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами».

...Игнатьев, снятый теперь с работы... — 7 апр. 1953 г. ЦК КПСС сообщил, что С. Д. Игнатьев освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС и назначен секретарем Башкирского обкома КПСС.

...Рюмин, ныне арестованный. — Сообщение о суде над бывшим начальником следственной части по особо важным делам МГБ Рюминым М. Д., приговорившем его к расстрелу, опубликовали 23 июля 1953 г.

Стр. 391. *...события в Берлине...* — Речь идет о подавленных советскими войсками выступлениях в Восточном Берлине 17 июня 1953 г. (забастовки на ряде предприятий, уличные демонстрации). В. М. Молотов вспоминал: «Берия был в Берлине на подавлении восстания — он молодец в таких случаях. У нас было решение применить танки, подавить... не допустить никакого восстания, подавить беспощаднейшим образом» («Сто сорок бесед с Молотовым», с. 345 — 346). В советской печати эти события (со ссылкой на печать ГДР) трактовались как «авантюра иностранных наймитов». И. Э. не мог не сказать о них, но вынужден был ограничиться лишь упоминанием, не считая возможным пользоваться официальным клише.

...речь <Эйзенхауэра> *была напечатана в «Правде»...* — 25 апр. 1953 г. всю первую полосу «Правды» заняла редакционная статья «К выступлению президента Эйзенхауэра», а на третьей полосе был напечатан текст самого выступления президента США 16 апр. в Американском обществе газетных редакторов; 29 апр. «Правда» поместила иностранные отклики на свою статью.

Стр. 392. *...я вернулся к статье... «О работе писателя».* — См.: Знамя, 1953, № 10.

Стр. 393. *Я снова перечитал передовую «Правды»...* — «Несокрушимое единение партии, правительства, советского народа» (Правда, 1953, 10 июля).

Стр. 394. *Об «Оттепели» много писали.* — В прессе, порожденной «Оттепелью», центральной является полемика между К. Симоновым и И. Э. в «Литгазете» 1954 г.: К. Симонов, «Новая повесть Ильи Эренбурга» (17, 20 июля), И. Эренбург, «О статье К. Симонова» (3 авг.), и К. Симонов, «Письмо в редакцию» (23 сент.). Симонов не принял «Оттепели». Выступая на Втором съезде писателей, он

подтвердил свое критическое отношение к ней, однако М. Шолохов нашел эту критику недостаточной, заявив, что Симонов-де «спас Эренбурга от резкой критики». В 1957 и 1963 гг. «Оттепель» грубо ругал Н. С. Хрущев. С тех пор о ней предпочитали не вспоминать; это табу сняли лишь в 1988 г.

В «Литературной газете» цитировали письма читателей... — «О повести «Оттепель» И. Эренбурга. Обзор писем читателей» (5 окт. 1954 г.).

Глава 35

Стр. 397. *Х., который возмутил меня своими сентенциями* — Л. Д. Троцкий (см. примеч. т. 6, с. 602 — 604).

Стр. 399. *Мой друг Николай* — Н. И. Бухарин.

В глухую осень из российской пущи... — Из стихотворения «Спутник» (см. т. 1 наст. изд., с. 185).

Стр. 404. *Лет пять назад по моей вине... началась дискуссия...* — См. об этом 21-ю гл. 7-й кн.

На ленинградском симпозиуме писателей... — Имеется в виду полемика между К. Фединым (он отвергал «знамя» Пруста, Джойса и Кафки, заявив: «Мы не верим, будто в поисках новаторства следует возвращаться к декадансу этой разновидности») и И. Э., заметившим по поводу названных имен: «Я не делаю из них знамени и не делаю из них мишени для стрельбы» (*ЛГ,* 1963, 6, 13 авг.).

Стр. 406. *Сделали фильм, посвященный Сарьяну.* — Имеется в виду фильм «Мартирос Сарьян» (Арменфильм, 1965); сценарий и постановка Л. Вагаршяна; дикторский текст И. Э. см. в кн. «О Сарьяне» (Ереван, 1980, с. 316 — 322).

Повесть Сэлинджера о подростке — «Над пропастью во ржи».

Стр. 407. *Короткий и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына* — «Матренин двор» (*НМ,* 1963, № 1).

Я полюбил Виктора Некрасова... — В статье «Чаши добра и недобра» В. Некрасов писал: «Мне посчастливилось — я был знаком с Эренбургом. Увы — только знаком, не более, — но должен сказать, что встречи с ним были одними из интереснейших минут моей жизни. Когда мы с ним познакомились, он был уже на закате своих дней. Он недавно закончил книгу «Люди, годы, жизнь», но в свет она еще не вышла и путь ее сквозь цензурные рогатки был мучительно труден. И это чувствовалось во всем его облике. Это был уже очень немолодой и очень усталый (от всего — скажем так), грустный, не выпускающий изо рта трубки, седой, несколько заторможенный, но умный и если не все, то очень и очень многое понимающий человек» (Новое русское слово, Нью-Йорк, 1986, 19 янв.).

«Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров...» — См.: Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. третья и четвертая. М., 1963, с. 9.

По авторскому замыслу мемуары «Люди, годы, жизнь» завершались рассказом о событиях 1953 года, первыми страницами новой, послесталинской, эпохи. Однако, как свидетельствует В. Лакшин, еще в марте 1964 года в редакции «Нового мира» Эренбург сказал, что «о хрущевских временах он собирается написать, но печатать не рассчитывает» (Л а к ш и н В. «Новый мир» во времена Хрущева. М., 1991, с. 215). Смещение Хрущева в октябре 1964 г. подвело черту под «хрущевской оттепелью» и, надо думать, укрепило Эренбурга в его планах рассказать о только что пережитой эпохе. Однако до реализации этой идеи было еще далеко. 21 июля 1966 г. Ю. Г. Оксман писал В. Б. Шкловскому: «18-го ездили в гости к Эренбургам в Истру... Илья Григорьевич заметно постарел, производит впечатление усталого человека. Занимается своим цветником, ничего не пишет, но жизнью интересуется. Судит обо всем спокойно» (Звезда, 1990, № 8, с. 138 — 139).

Эренбург приступил к работе над седьмой книгой лишь в конце 1966 г. Как и прежде, он разработал подробный план следования глав — портретных и событийных. Книга, охватывающая события 1954 — 1963 гг., должна была состоять из 34 глав, 20 из них Эренбург завершил к авг. 1967 г. Сохранился листок, на котором И. Э. выписывал заголовки законченных глав: «1. Общая. 2. Съезд писателей. 3. 1954 — 1955. 4. Венгрия. 5. Индия. 6. XX съезд. 7. Роже Вайян. 8. Лето 1957. 9. Венгрия. 10. «Необходимые объяснения», «Уроки Стендаля». 11. Япония. 12. Еврейские дела. 13. Греция. 14. Шварц. 15. Двинск. 16. Стихи. 17. Армения. 18. Салат. 19. Всемирный Совет Мира и китайцы. 20. «Круглый стол» *(АЭ)*. Дальнейший план реконструируется так: 21. Полетаев. 22. Сарьян. 23. «Люди, годы, жизнь». 24. Франция. 25. Маршак. 26. 1962 год, XXII съезд. 27. Выставка в Манеже, обсуждение. 28. Хрущев. 29. Март 1963 г. Мальме. Собрание. Мрак. 30. Бухарин. 31. Шагал. 32. Ахматова. 33. Падение Хрущева. 34. Заключение *(АЭ, ФЭ)*. Судя по черновым заметкам, новая глава о Бухарине должна была начаться тем днем 1965 г., когда к И. Э. пришли вдова Николая Ивановича А. М. Ларина и его сын Юрий; глава об Ахматовой — вручением Анне Андреевне в Италии премии Этна Таормина; в некоторых черновиках плана упоминаются имена Ле Корбюзье и Паустовского.

В мае 1967 г. И. Э. сообщил о начатой работе Твардовскому, а также передал для публикации несколько глав в «Науку и жизнь» и «Литгазету».

Лето 1967 г. было тяжелым для И. Э. 19 июля умер О. Г. Савич — ближайший и давний друг... В августе И. Э. продолжал работу над мемуарами. 7 августа на даче, работая над вторым вариантом 21-й главы, за машинкой И. Э. почувствовал нестерпимую боль в руке. Оказалось, что это инфаркт. 30 августа его разрешили перевезти в город. 31 августа в половине девятого вечера, когда медсестра мерила пульс, сердце И. Э. тихо остановилось.

7 сент. 1967 г. А. Т. Твардовский писал Л. М. Эренбург: «Понимаю всю неловкость обращения к Вам в эти дни по делам, которые могут лишний раз напомнить Вам о том, что еще и без того не могло улечься, но, думаю, Илья Григорьевич не осудил бы меня. Незадолго до его болезни я получил (в ответ на мое письмо) уведомление от него о том, что 16 глав седьмой книги «Люди, годы, жизнь» написаны и что он мог бы дать их мне прочесть, но, — писал он, — может быть, лучше подождать, пока книга будет закончена. Это позволяет мне просить Вас, Любовь Михайловна, дать, если возможно, не откладывая, мне на прочтение все то, что было написано до рокового дня. Я быстро прочту и уведомлю Вас о видах редакции на конец этого или начало будущего года. Если же Вам решительно не под силу еще заниматься этим, то простите меня. Для девятой книжки «НМ» я написал об Илье Григорьевиче. Конечно, с расчетом, чтобы прошло, но все же, надеюсь, по-иному, чем другие. Позвольте пожелать сил и твердости душевной для выполнения тех задач, которые теперь встают перед Вами. С глубоким уважением А. Твардовский» *(ФЭ)*. Рукопись седьмой книги вместе с эссе о Шагале, написанным летом в 1967 г. для «Декоративного искусства», была передана в «Новый мир»; ее стали готовить для 4-го и 5-го номеров 1968 г. Из десяти глав, стоявших в № 4, цензура сняла две — о XX съезде и о Венгрии; из № 5 сняли главу о еврейском вопросе. В таком виде сохранилась верстка седьмой книги в «Новом мире» *(АЭ)*. Однако и этот вариант вскоре запретили. «Времена стали посуровее, — вспоминал А. И. Кондратович. — И самое печальное: не было самого И. Г. Живого его побаивались, мертвый никому не страшен. В новых главах были совсем невозможные куски, абзацы, строчки... Я отредактировал, а точнее говоря, изуродовал текст, хотелось любой ценой напечатать, мы набрали этот текст, но прочитала вдова, за ней В. А. Каверин и решили: нет, в таком виде не стоит печатать» (К о н д р а т о в и ч А. Новомирский дневник. 1967 — 1970. М., 1991, с. 109).

В течение последующих 20 лет не было и речи о публикации седьмой книги, более того, самое упоминание о мемуарах И. Э. в печати считалось нежелательным. Весной 1987 г. «Огонек» напечатал 17 глав книги (из них 15 впервые). Напечатал с купюрами, хотя в редакционном предисловии к публикации говорилось: «Когда мы готовили к печати рукопись, то иногда возникало желание убрать ту или иную фамилию, смягчить некоторые акценты — словом, «причесать» исповедь И. Г. Эренбурга. Видимо, срабатывала выработанная годами привычка. К тому же с рядом оценок людей и событий мы не были согласны. Однако, изменив что-либо в рукописи, мы невольно пытались бы скорректировать мысли, да и саму жизнь этого человека» (Огонек, 1987, № 22, с. 22). Полностью седьмая книга была напечатана в издании *ЛГЖ-90*.

Огоньковская публикация, как затем и первое полное издание мемуаров, выпущенное «Советским писателем» в 1990 г., не стали политической сенсацией, подобно первым шести книгам в «Новом мире», — изменилось время, планка гласности поднялась, уровень

политической информированности читателей вырос. Критика не отреагировала на издание мемуаров, которых ждали почти четверть века. Это не означает, что Твардовский ошибался, предрекая мемуарам «Люди, годы, жизнь» прочную долговечность. Они будут жить не как полузапрещенное острое чтение, а как литературная панорама, запечатлевшая не только уникальный жизненный путь автора с его иллюзиями, сомнениями, заблуждениями, надеждами и неизменной верой в вечную силу искусства, но и полстолетия истории Европы, ее политической жизни, ее культуры. Нынешняя полоса радикальных переоценок всего и вся так же преходяща, как и недавние незыблемости, и серьезным книгам она не опасна. Что же касается иных резвых суждений о мемуарах «Люди, годы, жизнь» и их авторе, то стоит привести слова из письма Н. Я. Мандельштам Илье Эренбургу, написанные весной 1963 г., когда политическому радикализму еще не грозила инфляция и он в полном объеме оплачивался судьбой его носителей. Вот эти слова: «Ты знаешь, что есть тенденция обвинять тебя в том, что ты не повернул реки и не изменил течение светил, не переломил луны и не накормил нас лунными коврижками. Иначе говоря, от тебя всегда хотели, чтобы ты сделал невозможное, и сердились, что ты делал возможное. Теперь, после последних событий, видно, как ты много сделал и делаешь для смягчения нравов, как велика твоя роль в нашей жизни и как мы должны быть тебе благодарны. Это сейчас понимают *все*» *(АЭ).*

Глава 1

Впервые — Наука и жизнь, 1967, № 7.

Стр. 409. *Ходить бывает склизко...* — Из стихотворения «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (см.: Толстой А. К. Полн. собр. стихотв. в 2-х томах, т. 1. Б-ка поэта. Л., 1984, с. 335).

Стр. 412. *Заячий соус без зайца, о котором когда-то говорил Достоевский* — в романе «Бесы».

Глава 2

Впервые (с купюрами) — Огонек, 1987, № 22.

Стр. 415. *Критик В. В. Ермилов корил Первенцева...* — в выступлении на II съезде писателей.

«Сталин выступал против культа личности...» — Из статьи В. Косолапова «Великий продолжатель дела Ленина» (*ЛГ*, 1955, 22 дек.).

Крупный писатель, неизменно причисляемый к классикам советской литературы — М. А. Шолохов. В хрущевскую оттепель в общественном сознании имена Эренбурга и Шолохова противостояли друг другу, символизируя противоположные — либеральную и консерва-

тивную — тенденции. В 1954 г. Шолохов публично выступал с неаргументированными нападками на «Оттепель» на съезде писателей Казахстана, на II Всесоюзном съезде писателей. К тому времени писатели давно находились в ссоре. И. Э. познакомился с Шолоховым в 30-е гг., встречался с ним в редкие наезды из-за границы в Москву; высоко ценил его талант. В зап. кн. И. Э. 1940 — 1941 гг. есть записи об их встречах. Вернувшийся из-за границы 29 июля 1940 г. и нигде не печатавшийся, И. Э. не был избалован вниманием коллег, и о телефонном звонке Шолохова 4 авг. 1940 г. записал в книжке. Есть две записи начала войны — 18 июля 1941г.: «Шолохов о казаках» — и 22 авг.: «Шолохов. Настроение неважное». Ссора произошла в Куйбышеве в ноябре 1941 г.; о ней две глухих записи: «6 ноября. Совещание у Лозовского. Ждем речь Сталина. Шолохов, Павленко, Иванов. Антисемитские разговоры»; «8 ноября. Рассказал Сурицу и Уманскому о Шолохове». В конце ноября 1941 г. В. С. Гроссман отправил с оказией из Воронежа в Куйбышев письмо И. Э., где, в частности, писал: «Несколько раз с болью и презрением — вспоминал антисемитскую клевету Шолохова. Здесь на Юго-западном фронте тысячи, десятки тысяч евреев. Они идут с автоматами в снежную метель, врываются в занятые немцами деревни, гибнут в боях. Все это я видел. Видел и прославленного командира I Гвардейской дивизии Когана, и танкистов, и разведчиков. Если Шолохов в Куйбышеве, не откажите передать ему, что товарищи с фронта знают о его высказываниях. Пусть ему стыдно будет» *(АЭ)*. Р. Орлова, беседовавшая с И. Э. о Шолохове в 1957 г., записала его рассказ, ошибочно отнеся их ссору к 1943 г.; вот слова И. Э.: «Трагедия Шолохова страшнее трагедии Фадеева. Он медленно умирает на наших глазах. С начала войны. Он был тогда не с нами, потому что казаки не с нами. А для него эта связь — кровная. И человечески, и творчески. Тогда начались водка, антисемитизм, позорная клика мелких людишек вокруг него. Мы с ним встретились в 43-м году, и он сказал мне: ты воюешь, а Абрам в Ташкенте торгует. Я вспылил, крикнул ему — не хочу сидеть за одним столом с погромщиком!.. Шолохов очень честный художник. Он не может лгать, не выносит двойного счета... И человек порядочный, никого не топил, по трупам не ходил. Все плохое — наносное, от окружения. Его поведение напоминает поведение Есенина накануне самоубийства. Тот говорил: сейчас пойду на улицу и крикну: «Жиды продали Россию!» Я его держал — нет, не пойдешь. Но тогда было другое время, могли и в милицию повести...» (О р л о в а Р. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993, с. 244). После всех наскоков на II съезде 1954 г. в февр. 1956 г. Шолохов прислал И. Э. телеграмму на вечер в Гослитмузее: «Дорогой Илья Григорьевич, в день твоего 65-летия прими от меня горячий привет и самые дружеские пожелания. Наши творческие разногласия не могут убавить высокой мужской любви к тебе, как художнику слова. Крепко обнимаю и целую тебя, дорогой Илья Григорьевич, и желаю, чтобы твое перо большого писателя нашей эпохи еще долго служило на славу нашей Родине. Твой Шолохов» *(ФЭ)*. Затем

все повторилось снова... За три месяца до смерти И. Э. Шолохов на IV съезде писателей использовал отсутствие И. Э. (ему поручили вручить в Риме Ленинскую премию мира Дж. Манцу) для публичных обвинений его в «пренебрежении к нормам общественной жизни», в попытке «ставить самого себя над всеми» и т. д. (см.: Правда, 1967, 26 мая); это выступление Шолохова вызвало резкую реакцию в Италии (см. статью «Атака Шолохова на Эренбурга». — Паезе сера, 1967, 26 мая). В СССР эти наскоки Шолохова публично не осуждались, он был вне критики. 14 декабря 1954 г. Твардовский записал в дневнике: «Жаль Шолохова. Он выступил постыдно. Каким-то отголоском проработок космополитов звучали его напоминания Эренбургу о том, что тот писал в 21 г. и издавал в Риге, что тот принижает русских людей и, наоборот, возвеличивает евреев. Ах, не тебе, Михаил Александрович, говорить эти слова. И хриплый задушенный голос, местами глохнувший, срывавшийся совсем, голос, относительно происхождения хрипоты которого не могло быть ни у кого сомнений» (Знамя, 1989, № 7, с. 150). Характерно, что отношения между Шолоховым и Эренбургом были источником всевозможных мифов. Один из них таков: «Вскоре после войны между Шолоховым и Эренбургом на национальной почве возникли напряженные отношения. Сталин счел необходимым вмешаться и сказал: «Ваши евреи проявили трусость во время войны, а ваши казаки — антисоветские настроения и еще в гражданскую войну боролись с Советской властью». Двусмысленность этого «примирительного» жеста достигла своей цели: взаимная неприязнь между писателями не исчезла» (Б о р е в Ю. Сталиниада. М., 1990, с. 280).

Но люди шли с котомками.. — Из стихотворения «Весна снега ворочала» (март 1921) (см. т. 1 наст. изд., с. 92).

Стр 416. *Стенографический отчет всех выступлений был опубликован.* — См.: Второй Всесоюзный съезд советских писателей. 15 — 26 декабря 1954 г. М., 1956; все выступления делегатов далее цит. по этому изд.

Стр. 417. *Некоторые... защищали кампанию 1949 — 1950 годов...* — В докладе А. Сурков сказал: «К числу наиболее устойчивых рецидивов чуждых реакционных влияний следует отнести также космополитические тенденции... Наша общественность в 1949 — 50 годах со всей резкостью выступила против этого вредоносного течения» (Отчет, с. 31 — 32).

Стр. 418. *В. Ф. Панову обвиняли в «объективизме».* — В содокладе К. Симонова эти обвинения адресовались книгам «Времена года» и «Кружилиха».

...почти все выступавшие осуждали речь Шолохова... — Это началось с «реплики» Ф. В. Гладкова: «Как ни тяжело мне было подниматься на эту трибуну, но долгом своей совести, партийным своим долгом я считаю, что необходимо выступить против непартийной по духу и, я бы сказал, мелкотравчатой речи товарища Шолохова. (Аплодисменты.)... Такому писателю, как М. А. Шолохов,

пользующемуся огромным авторитетом, не следовало ронять своего достоинства. Критиковать можно и нужно, резко, может быть, критиковать, но критика критике рознь. Принципиальная критика ничего не имеет общего с зубоскальством и балаганным зоильством. (Аплодисменты.)» (Отчет, с. 401).

Стр. 421. *На очерк обрушились самодеятельный проработчик Н. Таманцев, потом Е. Книпович.* — См.: Таманцев Н. В чем же все-таки «Уроки Стендаля»? (*ЛГ*, 1957, 22 авг.); Книпович Е. Еще об уроках Стендаля (Знамя, 1957, № 10) — эту статью 14 ноября 1957 г. поддержала «Литгазета» в ред. заметке «Точки над «и»; см. также примеч. к 11-й гл. 6-й кн. и «Письмо Светланы Сталиной Илье Эренбургу» (*ВЛ*, 1995, № 3, с. 293 — 304).

Глава 3

Впервые — Огонек, 1987, № 22.

Стр. 423. *...лично он* <Мендес-Франс> *против «европейского оборонительного сообщества»...* — Став премьер-министром, Мендес-Франс добился принятия Национальным собранием соглашений, предусматривающих восстановление армии в ФРГ; И. Э. ответил на это памфлетом «Путь господина Мендес-Франса» (Правда, 1955, 6 янв.).

Стр. 425. *...Майя, с которой я подружился в Коктебеле...* — Биограф М. П. Роллан вспоминал, как в 1956 г. И. Э., «торопливо черкнув на клочке бумаги телефон и адрес Марии Павловны, буркнул: «Советую выкроить время, не пожалеете. Это — женщина необычной судьбы. О многом может рассказать. И главное — о Роллане. Этого великого правдолюбца еще не поняли до конца. Поймут, наверное, в XXI веке» (Октябрь, 1989, № 5, с. 185).

Стр. 426. *«Советский гражданин, русский писатель...»* — напечатано под заголовком «Отстоять путь к миру» («Правда», «Известия», др. центр. газеты от 21 ноября 1954 г.).

Стр. 428. *Сталин смотрит с другого берега Влтавы...* — Имеется в виду стихотворение «Пражская весна, 1956», перевод В. Корнилова (см.: Новомеский Л. Избранное. Л. — М., 1966, с. 116).

Стр. 431. *Фадеева уже оттеснили от руководства...* — После II съезда писателей первым секретарем стал А. Сурков. А. Фадеев был избран в секретариат Союза; на XX съезде КПСС он был переведен из членов ЦК в кандидаты.

Стр. 432. *...только один раз меня попросили выступить...* — И. Э. дважды выступал на сессиях Верховного Совета СССР: 6 авг. 1955 г. в прениях по докладу Н. А. Булганина об итогах Женевского совещания и 16 июля 1956 г. в связи с обращением Верховного Совета к парламентам всех стран о разоружении.

Стр. 434. *Доклад был напечатан... в «Литературной газете».* — См. «Путь века», доклад на X сессии «Международных встреч при содействии ЮНЕСКО» (*ЛГ*, 1955, 6 окт.).

Глава 4

Впервые — Огонек, 1987, № 23.

Глава 5

Впервые — Наука и жизнь, 1967, № 7.

Стр. 436. *...очерк «Индийские впечатления».* — См.: *СС,* т. 6, с. 203 — 251; летом 1956 г. И. Э. принял предложение Р. Кармена написать текст для его документального фильма «Индия»; однако этот замысел реализован не был.

Стр. 438. *Стихотворение «Коровы в Калькутте»* (1964). — См. т. 1 наст. изд., с. 196.

Стр. 439. *Расскажу про вечер, который я провел в доме Неру.* — Здесь И. Э. использовал свои воспоминания о встречах с Неру, написанные для сб. «Наследство Неру (дань памяти)», не публ. на русском языке (см.: The legacy of Nehru. New York, 1965, p. 53 — 56).

Глава 6

Впервые — Огонек, 1987, № 23.

Стр. 443. *...все говорили о выступлении Микояна на съезде...* — Речь А. И. Микояна (16 февр. 1956 г.) была посвящена теоретическим вопросам; в ней содержалась критика сталинского наследства; это самое антисталинское выступление из всех опубликованных тогда материалов съезда.

Стр. 444. *...некоторые зарубежные главы социалистических государств называли Климента Ефремовича «соратником» Сталина.* — См.: Правда, 1956, 5, 6 февр. Речь идет о поздравлениях к 75-летию Ворошилова.

Сталинабад... Сталинири... Сталинск... Сталиногорск... Сталино. — В 1961 г. эти города были переименованы в Душанбе, Цхинвали, Новокузнецк, Новомосковск и Донецк.

Стр. 445. *Нет слов таких, чтоб ими передать...* — Из стихотворения К. Симонова «Как Вы учили» (Правда, 1953, 7 марта).

Вскоре в «Правде» появилась статья... Ю. Денниса... — См.: «Юджин Деннис о значении XX съезда КПСС» (Правда, 1956, 27 июня).

Стр. 446. *Один из сотрудников «Литературной газеты»* — Эрнст Генри, которого в июле 1961 г. И. Э. рекомендовал в Союз писателей; уже после смещения Хрущева распространил в самиздате «Открытое письмо Илье Эренбургу» — И. Э. не мог на него печатно ответить в силу условий тогдашней цензуры (см. также: Дружба народов, 1988, № 3, с. 231 — 239; Московские новости, 1988, № 15, с. 2; Московская правда, 1988, 18, 19 мая). Выступая 9 апр. 1966 г. на читательской конференции по книге «Люди, годы, жизнь» в московской районной библиотеке № 66, И. Э. сказал: «В письме ко мне, которое идет по

Москве, меня упрекают, что я называю Сталина умным. А как же можно считать глупым человека, который перехитрил решительно всех своих, бесспорно умных, товарищей? Это был ум особого рода, в котором главным было коварство, это был аморальный ум. И я об этом писал. Не думаю, что дело выиграло бы, если бы я добавил несколько бранных эпитетов в адрес Сталина. Я сделал то, на что я способен, сделал все в пределах того, что мне понятно, дал психологический портрет наиболее экономными средствами. Но тут граница моего разумения. И в этом я открыто признаюсь и признавался. Ведь исторически дело не в личности Сталина, а в том, о чем говорил Тольятти: «Как Сталин мог прийти к власти? Как он мог удержаться у власти столько лет?» Вот этого-то я и не понимаю. Миллионы верили в него безоглядно, шли на смерть с его именем на устах. Как это могло произойти? Я вижу петуха в меловом кругу или кролика перед пастью удава и не понимаю. Ссылки на бескультурье и отсталость нашего народа мне неубедительны. Ведь аналогичное мы видели и в другой стране, где этих причин не было. Я жажду получить ответ на этот главный вопрос, главный для предотвращения такого ужаса в будущем». Прочитав запись этого выступления, В. Т. Шаламов писал И. Э. 28 апр. 1966 г.: «Я совершенно согласен с главной мыслью — о необходимости реабилитации совести, о нравственных требованиях, которые предъявляет к человеку подлинное искусство. Ответ — в искусстве, а не в спутниках, не в лунах. Полеты в космос не сделают человека ни хуже, ни лучше... Верно и то, что не в Сталине дело. Сталин даже не символ. Дело гораздо, гораздо серьезней, как ни кровавы реки тридцать седьмого года. Вы отвели «неограниченное количество часов» для человека, который может ответить на этот вопрос. Ответ существует, только он ищется десятилетия, а выговаривается годами. О письме, адресованном Вам. Эрнст Генри — не из тех людей, которые имели бы право делать Вам замечания, наскоро сколачивая себе «прогрессивный» капитал. Я отказался читать эту рукопись именно по этой причине. Желаю Вам здоровья, сил духовных и физических, необходимых в Вашей огромной работе, за которой я много-много лет слежу с самым теплым чувством» (Советская культура, 1991, 26 янв.).

Стр. 448. *...передавали торжественное заседание по случаю двадцатилетия победы...* — Имеется в виду доклад Л. И. Брежнева; о подготовке этого доклада см. статью «Брежнев и крушение оттепели» (*ЛГ,* 1988, 14 сент.).

Глава 7

Впервые — Огонек, 1987, № 23.

Стр. 448. *Вот страница 1956 года...* — Все цитаты из Р. Вайяна И. Э. приводит в своем переводе.

Стр. 452. *...он* <Вайян> *написал хороший роман «Бомаск»...* — Получив от автора эту книгу, И. Э. писал ему весной 1955 г.: «Дорогой Вайян, спасибо за хорошую книгу. Мне она понравилась, особенно ее

героиня, бал, любовь в лесу... У нас начинает выходить журнал «Иностранная литература», который будет знакомить советских людей с культурной жизнью других стран. Я вхожу в редакционную коллегию. Редакция хочет напечатать Ваш роман в первом номере (в июле). В связи с этим у меня к Вам просьба: 1) разрешите сделать некоторые купюры, главным образом в той части, которая является перепиской двух представителей чересчур гнилого мира. Там есть места, которые будут непонятны нашим читателям. По моему скромному мнению, купюры не сильно повредят роману. Если Вы хотите, я лично присмотрю, чтобы ничего не было упущено или искажено. 2) В переводе героя придется назвать «Бомаск», а не переводить эти слова на русский. Прошу Вас дать для русского перевода другое название. Может быть, по имени героини?» В письмах Вайяна к И. Э. есть несколько упоминаний о «Бомаске» (1 авг. 1955 г. — «Закончен ли перевод «Бомаска»? Есть ли критические статьи в Советском Союзе о «Бомаске»?»; 5 янв. 1956 г.: «Как дела с отдельным изданием «Бомаска?» С Вашим предисловием? Я ничего не получил»; 28 июня 1956 г.: «Гонорар за «Пьеретту Амабль» пришел; уверен, что этим обязан в большой мере Вашей верной дружбе и Вашим хлопотам, от души благодарю Вас». — *ФЭ*).

Я написал предисловие к русскому переводу... — См.: Вайян Р. Пьеретта Амабль. М., 1956, с. 5.

Стр. 453. *Вайян... подписал одно из многочисленных коллективных заявлений...* — «Против советского вмешательства» (заявление в связи с событиями в Венгрии. Опубл. газ. «Франс обсерватер»).

Глава 8

Впервые — Огонек, 1987, № 23.

Стр. 455. *...мне хочется написать о том времени... чтобы напомнить о лихорадочном состоянии, в котором находились я, мои друзья и знакомые.* — Далее в черновом варианте было: «Весной я пошел на одно совещание, которое устраивал А. А. Сурков, руководивший тогда Союзом писателей. Говорили мы о том, чтобы заглянуть в будущее, осуждали прошлое. Не удержался и я: упрекнул Суркова за то, что с трибуны XX съезда сердито отозвался о моей «Оттепели». Все же вслед за этим я предложил не вспоминать о некоторых дурных страницах минувших лет, попытаться жить друг с другом в мире. Когда совещание кончилось, ко мне подошел Бабаевский и поблагодарил меня за предложение. (Год спустя я понял, что был чересчур простодушен.)»

Стр. 456. *Москва полнилась слухами...* — Предсмертное письмо А. А. Фадеева в ЦК КПСС было тогда засекречено и опубликовано лишь 34 года спустя (Известия, 1990, 21 сент.).

...собирались указать, что Александр Александрович выстрелил себе в грудь в состоянии запоя... — Спустя 10 лет И. Э. вспоминал:

«Я на похоронах сам видел, какой Молотов злой был, сказал: «Это он не в себя — в нас стрелял!» (О к л я н с к и й Ю. Счастливые неудачники. М., 1990, с. 370).

...газеты, сообщив о его хронической болезни... — В медицинском заключении о болезни и смерти А. А. Фадеева говорилось, что он «в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом... 13 мая в состоянии депрессии, вызванном очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством» (Правда, 1956, 15 мая).

Стр. 458. *...ко мне пришли... и предложили написать о стихах Бориса Слуцкого...* — См. примеч. к 25-й гл. 6-й кн.

...печальное стихотворение... напечатал только журнал... «Пионер». — См.: С л у ц к и й Б. Лошади в океане (Пионер, 1956, № 3). Напечатано по инициативе работавшего в редакции Б. М. Сарнова.

Стр. 459. *Клод Руа... после XX съезда потерял душевное равновесие* — что не повлияло на его дружбу с И. Э.; сохранилось много его книг, подаренных им И. Э. как до 1956 г., так и после; на книге «Солнце на земле» (1956) такая надпись: «Солнцу на земле — Илье и Любе в солнечном свете дружбы. Клод Руа» *(АЭ).*

Стр. 460. *Хермлин... поехал со мной во Флоренцию...* — В предисловии к книге Ст. Хермлина «Полет голубя» (М., 1963) И. Э. писал: «Однажды я ездил с Хермлином по Италии. Страна, где высокое искусство на каждом перекрестке, в каждом закоулке, позволяет лучше разглядеть душевный строй поэта. Я почувствовал, сколько в Хермлине поэтического сырья, и понял, что он не в кресле, а на вулкане, не кончает, а начинает. Этот высокий, светлоглазый, северный человек походил на бабочку, которая бьется в стекло, отделяющее ее от мира, омытого летним ливнем».

Адриатика зеленая, прости!.. — Из стихотворения «Веницейская жизнь» (1920) (см.: М а н д е л ь ш т а м О. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., 1993, с. 145).

Стр. 461. *Организовать ее* <выставку Пикассо> *было нелегко.* — Вспоминая послевоенную деятельность Эренбурга, М. Алигер писала: «В самые трудные времена он жил в состоянии мрачной подавленности, и с ним было нелегко общаться, но он всегда как-то действовал, кому-то помогал, всегда находил приложение своим силам. Вспомните хотя бы его многолетнюю, упорную борьбу с Александром Герасимовым всего только за право истинного искусства, всего только за право живописи быть многообразной и своеобразной — какой безнадежной и бессмысленной казалась тогда эта борьба, но Эренбург не отступал и не складывал оружия. И если в 60-х годах в Москве состоялись выставки Пикассо и Фалька, Тышлера и Гончаровой и многих других, если сейчас мы уже и думать забыли о том, сколь долго были лишены таких возможностей, — это в конечном счете итог борьбы, которую долгие годы вел Эренбург, в сущности, один. Это его победа, и мы не смеем забывать об этом» *(АЭ).* Однако и десять лет спустя, в 1966 г., И. Э.

писал зав. отделом культуры ЦК КПСС: «Мне передали, что у Е. А. Фурцевой есть возражения против организации юбилейной выставки графики Пикассо. Она их высказала перед своим отъездом в Японию. Однако до этого я был во Франции и беседовал с Пикассо и уже получил в Москве 142 гравюры, предназначенные для этой выставки. Не вывесить эти гравюры, мне кажется, было бы не только личной обидой художнику, но и политически неправильно по отношению к нашим французским друзьям. При сем прилагаю копию моего письма т. Фурцевой, которое она получит, вернувшись из Японии. Одновременно прошу Вас сделать все возможное, чтобы выставка открылась вовремя, без излишних препирательств» (Памятники культуры. Новые открытия. 1996. М., 1998, с. 145). В итоге и эта выставка была открыта, каталог к ней вышел с предисловием И. Э.

Художественными делами тогда еще ведал А. М. Герасимов... — Его ненависть к Эренбургу была едва ли не патологической. Вот одно из многих свидетельств, относящееся к 1947 г.: «В эту пору в Доме архитекторов была организована конференция, посвященная советской искусствоведческой критике. С докладом на ней выступил А. Герасимов. Докладчик держался весьма самоуверенно и развязно, тон его был директивен... Он, глумливо отзываясь о творчестве Матисса, вообще о произведениях новой французской живописи, заявил, что есть среди нас защитник подобного рода искусства и ярый его поклонник, этакий «французик из Бордо». Волна пробежала по залу... Мы все поняли, что подразумевается Эренбург, которого в зале не было. Когда А. Герасимов завершил свое выступление, то первым в начале открывшихся прений взял слово А. М. Эфрос. Поднявшись на сцену, Эфрос после небольшого вступления сказал: «Я не буду называть человека, писателя, искусствоведа, публициста, который был в речи Александра Михайловича упомянут как «французик из Бордо». Но я хочу сказать во всеуслышание, что если бы об этом человеке было бы сказано «французик из Бордо» в частях нашей Советской Армии, то «Бордо» потекло бы не из «французика»... Зал взорвался аплодисментами» (Театр, 1992, № 4, с. 109).

Глава 9

Впервые — Огонек, 1987, № 23.

Стр. 463. *В Польше оказался человек, сочетавший большой престиж с не меньшей волей.* — Имеется в виду Владислав Гомулка, один из организаторов Польской рабочей партии, осужденный в 1949 г. по фальсифицированному обвинению; после освобождения из тюрьмы в 1956 г. возглавил польское руководство.

Стр. 464. *Воззвание было опубликовано в «Правде» 6 ноября.* — «По поводу агрессии Израиля, Англии и Франции против Египта».

Стр. 466. *...я увидел в «Литературной газете» письмо — ответ советских писателей французским...* — «Видеть всю правду!» (*ЛГ*, 1956, 22 ноября). Ответ на заявление «Против советского вмешатель-

ства», опубл. в «Франс обсерватер» и подписанное Ж. П. Сартром, Веркором, К. Руа, Р. Вайяном, С. де Бовуар, Ж. Превером и др.; ответ подписали М. Шолохов, К. Федин, Л. Леонов, Вс. Иванов, В. Катаев, О. Форш, А. Твардовский, Н. Тихонов, К. Симонов, С. Маршак, К. Паустовский, Э. Казакевич, В. Каверин и др.

Вместе с Паустовским и другими писателями я присоединился к письму. — Неточно; под письмом присоединившихся (*ЛГ,* 1956, 24 ноября) стояли подписи М. Шагинян, П. Антокольского, И. Эренбурга, В. Ермилова, М. Рыльского, М. Алигер, В. Луговского, А. Бека, Л. Мартынова, С. Кирсанова, О. Берггольц и др.

Стр. 467. *1 декабря «Литературная газета» поместила мое «Письмо в редакцию»...* — отклик на «Ответ Сартру» Роже Гароди (*ЛГ,* 1956, 29 ноября), критиковавшего деятелей культуры, выступивших против советского вмешательства в Венгрии.

Обмен письмами был опубликован... — См.: Взаимное доверие — значительная сила. Письмо Веркора Илье Эренбургу. — *ЛГ,* 1956, 18 дек. «Мне показалось, — писал Веркор, — что в Вашем письме... я нашел отзвук своих чувств и своих надежд».

Глава 10

Впервые — Огонек, 1987, № 24.

В черновом варианте начало главы было иным: «В феврале 1957 года я напечатал в «Литературной газете» длинную статью «Необходимое объяснение» (9, 12 февр. 1957 г. — *Б. Ф.*); она была обращена к западноевропейской левой интеллигенции, которая тогда усомнилась во многом; другим адресатом был наш советский писатель — мне хотелось сказать ему, что, несмотря на международное напряжение, нужно продолжать то хорошее дело, которое началось после XX съезда. В статье я говорил о закулисных оценщиках и вспоминал, как авторы газетных статей, еще накануне хвалившие «Дым отечества» Симонова или «Времена года» Веры Пановой, вдруг начинали клеймить эти книги. Я говорил, что «Конармия» Бабеля никак не напоминает «Разгрома» Фадеева и что Мартынов пишет стихи иначе, чем Твардовский; трудно приписать столь различным художникам единый художественный метод, вернее, говорить об общности мировоззрения. В статье я говорил, что международные осложнения не должны помешать развитию культурных связей между нами и Западом» *(АЭ).*

Стр. 468. *Я... написал предисловия к книгам И. Бабеля и Марины Цветаевой...* — См.: Б а б е л ь И. Избранное. М., 1957, с. 5 — 10; предисловие к готовившейся к изданию книге М. Цветаевой первоначально опубликовал альманах «Лит. Москва» (Э р е н б у р г И. Поэзия Марины Цветаевой. — Лит. Москва. Сб. второй. М., 1956, с. 709 — 715; это первая в СССР статья о Цветаевой после ее гибели), однако после прекращения издания альманаха в 1957 г. книга Цветаевой появилась лишь в 1962 г., уже без статьи И. Э.; этому способство-

вали не только «критические» статьи, но и доносы (о таком доносе Е. Серебровской см.: Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988, с. 500).

...перевел баллады Франсуа Вийона... — Эти переводы и эссе И. Э. о французской культуре составили книгу «Французские тетради» (два изд. — 1958 и 1959).

...эссе об этих странах... составили книгу. — См.: Эренбург И. Индия, Япония, Греция. М., 1958; иллюстр. изд. вышло в 1960 г.

...я занялся чешским художником... Карелом Пуркине... — См.: Эренбург И. Карел Пуркине. М., 1960; не переизд.

...сел за книгу о моем любимом писателе А. П. Чехове — эссе «Перечитывая Чехова» (см. т. 6 наст. изд., с. 131 — 194); впервые в «Новом мире» (1959, № 5, 6).

Стр. 469. *В дверях я столкнулся с Д. Т. Шепиловым...* — Речь идет о секретаре ЦК КПСС по идеологии, о котором В. А. Каверин писал: «тот самый, «примкнувший к ним Шепилов», который при очередной перетасовке членов Политбюро «не угадал» победителей и о котором Эренбург говорил с сожалением, что «он уже начинал кое-что понимать» (*ВЛ,* 1989, № 5, с. 211).

Н. Грибачев резко нападал на московских писателей — за публикацию романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» в «Новом мире» и выпуск альманаха «Лит. Москва».

«Клуб Петефи» — литературный клуб в Будапеште 1956 г.

Стр. 470. *Л. Соболев горячо поддержал хозяина стола.* — Н. С. Хрущев в ответ заявил: «Не хочу скрывать, что мне, как секретарю ЦК КПСС, в вопросах партийности в литературе гораздо ближе позиция беспартийного писателя тов. Соболева, чем члена партии тов. Алигер, которая занимает фальшивую позицию и неправильно относится к критике ее ошибок» (см.: Хрущев Н. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа. М., 1957, с. 28); в итоге Л. Соболев был назначен главой созданного Союза писателей РСФСР и пожизненно занимал этот пост.

...была отстранена «антипартийная группа»... — На Пленуме ЦК КПСС, проходившем 22 — 29 июня 1957 г., Н. С. Хрущеву при решающей поддержке Г. К. Жукова удалось одержать победу над просталинским большинством Президиума ЦК — Г. М. Маленковым, В. М. Молотовым, Л. М. Кагановичем, К. Е. Ворошиловым, Н. А. Булганиным, М. Г. Первухиным, М. З. Сабуровым; первые трое были осуждены решением пленума как «антипартийная группа».

Стр. 471. *«Как преданный ленинист-марксист...»* — См.: Правда, 1957, 7 ноября.

Статья... о моем предисловии была озаглавлена «Про смертяшкиных». — Имеется в виду статья И. Рябова (Крокодил, 1957, № 5). О. Г. Савич писал И. Э.: «Иван Афанасьевич Рябов — старый правдист, очеркист и фельетонист, член ССП, член редколлегии «Крокодила», фигура довольно известная и видная... Единомышленник Софронова и пр. Статьи его о поэзии принимают характер кампании. По словам Слуцкого, поэзию хорошо знает и любит (!). Случайность, неосведомленность исключается. Конечно, знает судьбу Цветаевой и плюет в

могилу сознательно. Запойный пьяница... Вчера Слуцкий был в «Знамени», где все возмущаются Рябовым. Слуцкий считает, что ответить надо... Мне тоже кажется, что нельзя позволять плевать в могилу... Рябов может сорвать издание книги Цветаевой. Только что говорил с Кавериным. Редколлегия альманаха («Лит. Москва». — *Б. Ф.*) будет отвечать на все статьи против альманаха. Если их ответ не захотят печатать, подадут в отставку. Каверин считает, что ты, тем не менее, тоже должен ответить, считая выступление Рябова хулиганским» *(АЭ).*

«Эренбург дал в альманах предисловие...» — Из статьи А. Дмитриева «О сборнике «Литературная Москва» (Правда, 1957, 20 марта).

Стр. 472. *«Запутанность мировоззрения делала И. Бабеля...»* — Из статьи А. Макарова «Разговор по поводу» (Знамя, 1958, № 4); эти высказывания были поддержаны в ред. реплике «Литературные акафисты» (*ЛГ,* 1958, 24 апр.).

Разругали две странички, написанные для сборника памяти Л. Н. Сейфуллиной. — Речь идет об откликах на воспоминания И. Э. «Душевно сильная, скромная» (в кн.: Л. Н. Сейфуллина в жизни и творчестве. Новосибирск, 1957, с. 88 — 91; из переизд. 1958 г. исключены).

Президент Академии художеств — А. М. Герасимов.

Глава 11

Впервые — Наука и жизнь, 1967, № 7.

Стр. 473. *Об этом путешествии я написал очерк* — «Японские заметки» (см.: *СС,* т. 6, с. 252 — 286).

Стр. 475. *Посол решил пошутить...* — Послом СССР в Японии в 1957 г. был И. Ф. Тевосян.

Стр. 476. *Я написал предисловие.* — См.: Хаяси Ф. Шесть рассказов. М., 1960, с. 5 — 10.

Глава 12

Впервые (в сокращении) — Огонек, 1987, № 24.

Стр. 478. *«Ле монд» поместила заметку... подписанную А. П.* — «Антисемитизм в СССР во времена Сталина (израильский журналист обвиняет Илью Эренбурга)» (Ле монд, 1957, 22 авг.).

Я отправил короткое письмо в редакцию. — «Уважаемый господин редактор! В номере Вашей газеты от 22 августа с. г. опубликована заметка А. П., в которой содержится утверждение, будто бы я был повинен в аресте группы еврейских писателей в Советском Союзе. А. П. основывается на статье журналиста Бернарда Турнера в «Ди гольдене Цайт». Среди других жертв произвола людей, возглавлявшихся в то время Берия, был оклеветан и арестован ряд ни в чем не повинных советских писателей различных национальностей, в том числе и еврейских писателей; в их числе были мои личные друзья. Об их трагической судьбе мы узнали после того, как судебные

органы Советского Союза отвергли воздвигнутые на них обвинения и полностью их реабилитировали. Бернард Турнер утверждает, будто бы обвинения против меня он слышал от погибших писателей. Обвинить человека на основании вымышленных слов мертвых людей, слов, которые мертвые не могут опровергнуть, прием не новый. Но я не могу скрыть моего удивления тем, что газета «Монд», обычно помещающая серьезную информацию, сочла возможным предоставить место инсинуациям, почерпнутым из недобросовестного источника. Илья Эренбург»; это письмо было напечатано на 10 стр. газеты 26 сентября 1957 г. с примечанием редакции.

Стр. 479. *...я рассказал о нападках на «космополитов», которые... «Крокодилом» изображались с положенными им носами.* — См. рис. Б. Ефимова (Крокодил, 1949, № 7) и К. Елисеева (Крокодил, 1949, № 8).

...в газете Буйнакского района появилась статья... — «И без бога дороги широки» (Коммунист, 1960, 9 авг.); 6 сент. газета сообщила о решении бюро Дагестанского обкома КПСС считать эту статью политически вредной и снять редактора газеты Я. Б. Насимова с работы (30 июля за его подписью была статья «Синагога нам не нужна», открывшая соответствующую кампанию в этой газете). По свидетельству Н. И. Столяровой, редактора сняли с работы только после вмешательства И. Э. *(СК).* Н. И. Столярова вспоминала также и о втором горском деле — в Цхалтубо, где местный врач, по происхождению еврей, был арестован по обвинению в ритуальном использовании крови христианских детей; его сильно пытали в тюрьме, и он «признался» в преступлении. По этому делу И. Э. обращался к М. А. Суслову и в итоге, за естественным «отсутствием состава преступления», врач был освобожден из тюрьмы, однако жить в Цхалтубо ему не дали *(СК).*

Стр. 480. *...в «Литературной газете» было напечатано стихотворение Е. Евтушенко «Бабий Яр»* — 19 сент. 1961 г.; в течение 23 лет не перепечатывалось в СССР.

«Литература и жизнь» напечатала сразу стихи Маркова... — М а р к о в А. Мой ответ (Лит. и жизнь, 1961, 24 сент.). «Полемизируя» со строчками Евтушенко: «Я всем антисемитам как еврей. // И потому — я настоящий русский», Марков писал: «Какой ты настоящий русский, // Когда забыл про свой народ, // Душа, что брючки, стала узкой, // Пустой, как лестничный пролет... // Пока топтать погосты будет // Хотя б один космополит, // — Я говорю: я русский, люди! // И пепел в сердце мне стучит».

...и длинную статью Д. Старикова. — Статья «Об одном стихотворении» напечатана 27 сент. 1961 г. 30 сент. 1961 г. Б. А. Слуцкий сообщил И. Э. в Рим об этой статье: «Грязная статья Старикова получила широкий резонанс и наносит ущерб престижу нашей печати. Мне кажется, что́ было бы очень хорошо, если бы Вы телеграфировали свое отношение к попытке Старикова прикрыться Вашим именем — *немедленно* и в авторитетный адрес» (*ВЛ,* 1999, № 3, с. 293 — 294).

Стр. 481. *Я напечатал тогда в «Литературной газете» письмо.* — Письмо И. Э., написанное 3 октября 1961 г., Отдел культуры ЦК КПСС печатать «Литгазете» запретил. Когда, вернувшись из Рима,

И. Э. позвонил в Отдел культуры, ему предложили направить это письмо непосредственно в «Литературу и жизнь», с тем чтобы редакция сама решила, печатать его или нет. Зная позицию газеты, И. Э. понимал, что тем самым его лишают возможности публично осудить новую антисемитскую кампанию и использование в ней его имени. 9 окт. 1961 г., предварительно договорившись с референтом Хрущева В. С. Лебедевым, И. Э. отправил ему для передачи Н. С. Хрущеву письмо, в котором сообщил о международном резонансе, вызванном антисемитской публикацией «Литературы и жизни», и о том, в какое сложное положение его поставило это за рубежом. «Я никогда не был никаким националистом, в том числе и еврейским, — говорилось в этом письме, — и, конечно, никогда не был, да и не мог быть антисемитом. В беседе с т. Корнейчуком и мною в 1956 году Вы много говорили о событиях 1949 — 52 гг. и о том, какой характер приняла тогда борьба против «космополитизма». Именно тогда к космополитам был причислен и я. В своем стихотворении А. Марков говорит о «космополитах», оживляя в нашей памяти 1949 год. Что касается Д. Старикова, то он искаженно цитирует мои стихи и статьи военных лет... По позиции, занятой редакцией «Литературы и жизни», сказавшейся в опубликовании как стихов А. Маркова, так и в статье Д. Старикова, я понимаю, что моего письма они не напечатают. Это ставит меня в столь тяжелое положение, что я вынужден обратиться к Вам, хорошо зная, насколько Вы заняты в настоящее время. Я убежден, что Вы поймете, что я не могу писать, если мои мысли искажаются и я не в силах этого опровергнуть. Письмо мое, копию которого я прилагаю, составлено, мне кажется, так, чтобы не разжечь, а погасить очередную антисоветскую кампанию на западе, поскольку все увидят, что я могу опровергнуть приписываемые мне мысли» (*ВЛ*, 1999, № 3, с. 295 — 296). Письмо И. Э. появилось в *ЛГ* 14 октября, за три дня до открытия XXII съезда КПСС: «Находясь за границей, я с некоторым опозданием получил номер газеты «Литература и жизнь» от 27 сентября, в котором напечатана статья Д. Старикова «Об одном стихотворении». Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим». Публикации «Литературы и жизни» вызвали широкий резонанс и в СССР. 8 окт. 1961 г. Л. А. Кассиль писал И. Э.: «Т. к. на страницах газеты «Литература и жизнь», среди членов редколлегии которой значусь до сих пор и я, в статье «Об одном стихотворении» автор позволил себе бессовестно спекулировать на Вашем большом и всем нам дорогом имени, я считаю нужным поставить Вас в известность, что еще 25 сентября, на другой же день после напечатания отвратительнейших стихов Маркова «Мой ответ», я официально, в письменной форме заявил руководству Союза писателей РСФСР и редакции «Литературы и жизни», что не считаю себя больше членом редколлегии газеты и прошу снять мою фамилию из списка ее членов» *(ФЭ)*.

Н. С. Хрущев заподозрил меня в национализме. — Материалы декабрьской 1962 г. встречи не были опубликованы, но слухи о ней

(в частности, о выступлении Г. И. Серебряковой) быстро распространились за рубежом. 29 янв. 1963 г. И. Э. писал Арагону: «Дорогой Луи! Прошу Вас опубликовать это письмо в следующем номере «Леттр Франсэз» (я пишу на аэродроме, улетая из Парижа в Москву): «Дорогой Луи Арагон! В своем последнем номере «Фигаро литерер» опубликовало мое интервью, данное Пьеру Фессену. В последней части интервью помещены некоторые утверждения, которые я не могу не опровергнуть. Пьер Фессен вновь напоминает инсинуации, распространяемые некоторыми западными газетами в течение нескольких лет, обвиняющие меня в том, что я участвовал в травле (преследовании), направленной против еврейских писателей в СССР. Когда я впервые прочел эту клевету, я ее категорически опроверг. Я считал бы недостойным для себя вновь опровергнуть эту клевету, но Пьер Фессен в своем интервью приписывает эти обвинения советской писательнице Галине Серебряковой, что абсолютно лживо, наносит ущерб достоинству советских писателей и заставляет меня просить опубликовать настоящее письмо в «Леттр Франсэз». Илья Эренбург» *(ФЭ).*

Стр. 482. *Другое, еще более расистское произведение «Дорогами жизни»...* — Димаров Анатолий. Шляхами життя (Дніпро, 1963, № 9, 10).

Третье произведение «Тля» было написано по-русски... — Шевцов Иван. Тля (Роман-памфлет). М., Сов. Россия, 1964; предисловие академика живописи А. Лактионова. В изд. аннотации говорилось: «В сложных жизненных ситуациях автор показывает острую борьбу между представителями реалистического и формалистического искусства. Роман непосредственно перекликается с недавними решениями июньского (1963 г. — *Б. Ф.*) Пленума ЦК КПСС. Это наступательная, боевая книга».

Глава 13

Впервые под заголовком «В Греции» — *ЛГ,* 1967, 9 мая.

Стр. 484. *Я включил эссе о Греции в книгу очерков.* — Эренбург И. Индия, Япония, Греция. М., 1958.

Стр. 490. *Этот вечер описал Борис Полевой* — в статье «Нет, это не старость!» (*НМ,* 1966, № 1, с. 274 — 275).

Глава 14

Впервые — Огонек, 1987, № 24.

Стр. 490. *...сборник «Мы знали Евгения Шварца»* — вышел в изд-ве «Искусство» (1966); среди его авторов — Н. П. Акимов, Е. В. Юнгер, М. Л. Слонимский, Н. К. Чуковский, Л. Пантелеев, Л. Рахманов и др.

...познакомился я с ним <Шварцем> *поздно...* — В 1924 г. Е. Л. Шварц был на встречах с И. Э. в Ленинграде, но И. Э. его не

запомнил; 13 февраля 1953 г. Шварц записал в мемуарах впечатления о первых встречах с И. Э. (см.: Шварц Е. Живу беспокойно... Л., Сов. писатель, 1990, с. 294 — 295).

...я пытался спасти в 1944 году «Дракона»... — 9 декабря 1944 г. Е. Л. Шварц записал в «Дневнике»: «В ноябре пьесу читал на художественном совете ВКИ. Выступали Погодин, Леонов — очень хвалили, но сомневались. Много говорил Эренбург. Очень хвалил и не сомневался» (Шварц Е. Живу беспокойно..., с. 15).

Стр. 491. *Таирова поймали. // Отечество, ликуй!..* — Из «Оды на поимку Таирова» А. К. Толстого.

Стр. 492. *...одну из сказок Шварца назвали «вредной пошлостью».* — Так оценена сказка Шварца «Рассеянный волшебник» в докладе Б. Полевого (Отчет, с. 52 — 53).

О. Ф. Берггольц взяла под защиту Шварца. — В выступл. на II съезде: «Театры жалуются на отсутствие репертуара, а между тем у нас существует и такой замечательный, но не вошедший в «обойму» драматург, как Е. Л. Шварц. Напрасно т. Полевой говорил о нем только как об инсценировщике. Это талант самобытный, своеобразный, гуманный» (Отчет, с. 346).

Стр. 493. *Председатель Комитета* <по делам искусств>... — Совещание вел зам. председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР А. В. Солодовников.

«Дракон» был поставлен восемнадцать лет спустя... — Возобновление Н. П. Акимовым в Ленинградском театре комедии спектакля 1944 г.; в 1963 г. снова запрещен; лишь в 80-е гг. «Дракон» широко пошел на советской сцене.

Стр. 495. *...я его поздравил и в ответ получил от него ласковое письмо.* — Телеграмма И. Э. от 22 окт. 1956 г.: «Дорогой Евгений Львович, рад от всей души поздравить Вас, чудесного писателя, нежного к человеку и злого ко всему, что мешает ему жить. Желаю Вам здоровья и душевного покоя. Эренбург». 23 окт. 1956 г. Е. Л. Шварц писал: «Дорогой Илья Григорьевич! Спасибо от всей души за поздравление. Я с давних пор привык Вам верить, и слова показались мне особенно приятными. Простите за почерк. Не думайте, что это оттого, что мне шестьдесят. Всегда так было. Низкий поклон Любови Михайловне. Ваш Е. Шварц» *(ФЭ).*

Глава 15

Впервые — Огонек, 1987, № 25.

Стр. 496. *«Такого приема, как в Двинске, я не видел нигде...»* — Из письма Шолом-Алейхема издателю Ш. Шреберку от 6 (19) июня 1914 г. (см.: Шолом-Алейхем. Собр. соч., т. 6. М., 1961, с. 756).

Стр. 499. *...мои предложения неизменно отклонялись.* — О сложностях депутатской работы И. Э. в Даугавпилсе вспоминала

Н. И. Столярова, лит. секретарь И. Э., вместе с ним приезжавшая в Даугавпилс: «Начальство там всячески препятствовало общению И. Г. с избирателями. Однажды они сильно затянули ужин перед приемом, а люди ждали. Было уже 10 вечера. И. Г. решительно встал и направился к выходу. Большая толпа старух ждала его, и я подумала, что мы просидим всю ночь. «Разве вы не видите, что они все по одному делу?» — сказал И. Г., и оказалось, что он прав. Местное начальство пыталось присутствовать на этой встрече, проследовав за нами. «Скажите этим господам, — обратился ко мне И. Г., — что есть депутатская тайна». Они были недовольны, но остановились. Дело у старух оказалось такое. Сгорела католическая церковь. Они собрали деньги на постройку новой. Деньги у них приняли, долго тянули, а потом сказали, что построят на эти деньги клуб. И. Г. взялся им помочь и добился победы, вызвав своей настойчивостью удивление в Риге (им было бы понятнее, если бы он боролся за строительство синагоги)» *(СК).*

Стр. 500. *Я написал... статью в местной газете...* — «Заметки депутата» (Сов. Даугавпилс, 1960, 29 ноября).

Глава 16

Впервые — Огонек, 1987, № 25.

Стр. 501. *И вдруг, порывом ветра вспугнуты...* — Из стихотворения «Был тихий день обычной осени» (см. т. 1 наст. изд., с. 179).

Стр. 502. *Помню, как Фадеев, защищая поэзию Ольги Берггольц, советовал ей отказаться от термина «самовыражение»* — в речи на II съезде писателей (см.: Отчет, с. 345, 507).

Стр. 503. *Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...* — начало стихотворения без назв. (см. т. 1 наст. изд, с. 132).

Да разве им хоть так, хоть вкратце... — Из стихотворения «Да разве могут дети юга» (1958) (см.: т а м ж е, с. 189).

...я написал статью «Большие чувства»... — к 70-летию Сталина (см.: Правда, 1949, 13 дек.).

Стр. 504. *Есть надоедливая вдоволь повесть...* — Из стихотворения без назв., написанного в Нагасаки в 1957 г. (см. т. 1 наст. изд., с. 181).

Стр. 505. *Одна судьба — не две — у человека...* — Из стихотворения «Я смутно помню шумный перекресток» (1957) (см.: т а м ж е, с. 183).

Быть может, и его сомненья мучают... — Из стихотворения «Я слышу все и горестные шепоты» (1957) (см.: т а м ж е, с. 195).

Погодите, прошу, погодите!.. — Из стихотворения «Сосед» (1958) (см.: т а м ж е, с. 193).

И только в пестроте листвы кричащей... — Из стихотворения «Есть в севере чрезмерность» (1957) (см.: т а м ж е, с. 183).

Стр. 506. *Ты помнишь — жаловался Тютчев...* — начало стихотворения без назв. (1957) (см.: т а м ж е, с. 181).

В повести И. Грековой... — Имеется в виду рассказ «За проходной» (*НМ,* 1962, № 7).

Глава 17

Впервые (в сокращении) — Лит. Армения, 1968, № 2.

Стр. 507. *Стоят без монументов пьедесталы...* — Из стихотворения «Пьедестал», перевод Д. Самойлова (см.: *ЛГ,* 1987, 5 авг.).

Стр. 508. *Я пошел в мастерскую художника Галенца.* — Л. Мкртчян вспоминал: «В первых числах сентября 1959 года в номере ереванской гостиницы «Армения» Илья Григорьевич и Любовь Михайловна Эренбурги спрашивали у меня об одном художнике. Зовут его Галенц, они видели его работы в Москве у Лили Брик и теперь хотели бы побывать у него в мастерской. Эренбург был удивлен, что я, ереванец, не знаю такого художника. Прошло несколько дней, я пришел к писателю записать беседу для газеты «Коммунист»... Эренбург говорил об армянских художниках... сказал о Галенце, мастерскую которого помог ему разыскать Геворг Эмин. «Много смелого и интересного нашел в творчестве Галенца», — заметил Эренбург. 14 сентября Эренбург вылетел в Москву. Среди провожающих был Арутюн Галенц. Мы познакомились...» (сб. «Удивительный Галенц». Ереван, изд. «Айастан», 1969, с. 64; в этом сб. напечатана и заметка И. Э. о Галенце, написанная в 1962 г.).

...интервью со мной три дня держали в редакции... — «Страна древней и новой культуры» (газ. «Коммунист», Ереван, 1959, 13 сент.).

Стр. 509. *«Поэт Исаакян — первоклассный...»* — Из письма А. Блока А. А. Измайлову 28 янв. 1916 г. (см.: Б л о к А. Собр. соч., т. 8. М., 1963, с. 455 — 456).

Стр. 510. *...я лучше понял его живопись, увидев Армению.* — См. об этом статью И. Э. «Неистовый Сарьян» (см. т. 6 наст. изд., с. 298).

...выставка Фалька открылась в Ереване прежде, чем в Москве — в Картинной галерее Армении в 1965 г.

В марте 1963 года, побывав на встрече, где меня ругали... — Имеется в виду встреча руководства КПСС с советской интеллигенцией 8 — 9 марта 1963 г., где Н. С. Хрущев выступил с резкими нападками на И. Э.

Глава 18

Впервые — Огонек, 1987, № 25.

Стр. 512. *Мы предложили «Вечерней Москве» напечатать небольшую статью...* — Э р е н б у р г И л ь я, В а с и л е н к о Н и к. Салат витлуф (Письмо в редакцию). — См.: Веч. Москва, 1960, 9 янв. И. Э. был настолько увлечен идеей внедрения этого салата, что

В. Г. Лидин, даря ему свою книжицу «Слово о Чехове», надписал ее так: «Витлуфу I от Поррея XIV. В Москве марта 1960» *(АЭ).*

Отчет о лекции Василенко... и статью... В. И. Эдельштейна. — См.: «Еще о салате витлуф» (Веч. Москва, 1960, 25 янв.) и «Вкусный овощ» (Веч. Москва, 1960, 29 янв.).

Напечатали отчет с фотографиями — «Вкусен салат зимний» (Веч. Москва, 1960, 15 марта).

А. Е. Корнейчук решил передать Н. С. Хрущеву медаль Всемирного Совета Мира. — Вручение состоялось 15 янв. 1960 г.

Стр. 514. *Вышла книга Н. Г. Василенко* — «Малораспространенные овощи и пряные растения» (М., 1962).

Глава 19

Полностью впервые в *ЛГЖ-90;* фрагмент — Огонек, 1987, № 25.

Стр. 517. *Я попросил одного из советских делегатов заменить меня...* — Как свидетельствует Е. Шевелева в воспоминаниях «Прокси» от Эренбурга», И. Э. все же нашел в себе силы прийти на заседание: «Не успел Карлтон Гудлетт, издатель и главный редактор калифорнийской газеты «Сан репортер», занять председательское место и объявить начало заседания, как в зал вошел Илья Эренбург! Вот уж подлинно умел человек заставить себя быть здоровым!» (Шевелева Е. Улыбнется ли Бентен? М., 1969, с. 15).

Глава 20

Впервые — Огонек, 1987, № 25.

Стр. 520. *Участников «Круглого стола» принимали в Кремле, в доме правительства Югославии...* — Имеется в виду прием 7 дек. 1963 г. у А. И. Микояна и 7 июня 1965 г. у Э. Карделя.

Стр. 523. *...заметка «Отъезд из Москвы руководящих деятелей СДПГ».* — См.: Правда, 1959, 18 марта.

Стр. 524. *Сенатор Хэмфри стал вице-президентом Соединенных Штатов...* — Сохранилось письмо Хэмфри, направленное им И. Э. в ответ на телеграмму соболезнования в связи с убийством Дж. Кеннеди: «6 января 1964 г. Дорогой господин Эренбург! Очень благодарен Вам за Вашу прочувствованную телеграмму в связи с гибелью президента Кеннеди. Конечно же, он был, как Вы пишете, благородным и миролюбивым человеком, и я надеюсь, что наши страны смогут и дальше совместно работать на благо мира, чему он так ревностно служил. Можете не сомневаться, что я передам Ваше послание госпоже Кеннеди и американскому народу. С наилучшими пожеланиями искренне Ваш Губерт Хэмфри» *(ФЭ).*

В. Аксенов описал подобное происшествие... — См.: Аксенов В. Победа (рассказ с преувеличениями). — Юность, 1965, № 6.

Глава 21

Впервые — *ЛГЖ-90.*

Стр. 527. *...напечатал в «Комсомольской правде» письмо одной студентки...* — См.: Эренбург И. Ответ на одно письмо (Комс. правда, 1959, 2 сент.).

Я никак не думал, что моя статья вызовет полемику. — Газета отводила целые полосы откликам читателей — 11, 18, 25, 29 окт. и 12, 22 ноября 1959 г.; по просьбе редакции И. Э. подвел итоги дискуссии в статье «О воспитании чувств» (24 дек. 1959 г.).

Автор этого письма, инженер Полетаев... — См.: Полетаев И. В защиту Юрия (Комс. правда, 1959, 11 окт.).

Стр. 528. *Инженер Петрухин писал...* — См.: Петрухин А. Я с тобой, инженер Полетаев (Комс. правда, 1959, 18 окт.).

Агроном Власюк заверял... — См.: Власюк С. И я за Юрия (Комс. правда, 1959, 25 окт.).

М. Кушнарев старался проявить терпимость... — См.: Комс. правда, 1959, 12 ноября.

Стр. 529. *Одно письмо... удивило меня глубиной.* — Дмитрий Д. Я был глупцом (Комс. правда, 1959, 11 окт.).

...А. И. Алиханов писал... — Цит. по статье И. Э. «О воспитании чувств» (Комс. правда, 1959, 24 дек.).

Стр. 530. *...комсомольцы устроили дискуссию* — под названием «Эренбург или Полетаев?» 23 дек. 1959 г. в московском клубе им Войтовича.

Глава 22

Впервые под названием «О Марке Шагале» — Декоративное искусство, 1967, № 12.

Стр. 531. *Как-то он прислал мне длинное письмо...* — Письмо от 15 авг. 1946 г. было связано с готовившейся в Париже ретроспективой Шагала (1908 — 1947); художник просил И. Э. помочь ему получить для этой выставки свои полотна из советских музеев; сохранилось еще несколько писем Шагала И. Э. — см. альбом «Шагал. Возвращение мастера» (М., 1988, с. 324).

Стр. 533. *Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале...* — См.: Venturi L. Chagall. Paris — New York, 1956.

Стр. 534. *...пришло время показать работы витебчанина М. З. Шагала... его землякам...* — Первая выставка Шагала в СССР была открыта 20 лет спустя, в 1987 г., к столетию со дня рождения художника, в ГМИИ им. Пушкина.

Б. Фрезинский

СЛОВАРЬ ИМЕН
к книге «Люди, годы, жизнь»[1]

Абад-Миро Габриэла — секретарь М. Кольцова и О. Савича в Испании.

Абакумов Виктор Семенович (1908 — 1954) — министр госбезопасности СССР; в годы Отечественной войны — замнаркома обороны, начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ.

Абец Отто (1903 — 1958) — гитлеровск. резидент в Париже.

Абидин Дино (р. 1913) — турецк. художник.

Абрешков — болг. художник.

Аванцо Иван Иосифович (ум. 1900) — владелец магазина худож. изд. в Москве.

Аввакум Петрович (1620 — 1682) — протопоп, писатель, глава и идеолог русского раскола.

Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — римск. император.

Августинчич Антуан (1900 — 1979) — хорватск. скульптор.

Авдеенко Александр Остапович (1908 — 1996) — писатель.

Авелин Клод (1901 — ?) — франц. писатель.

Агасс Раймон — франц. рабочий.

Агафонов А. — журналист.

Агнивцев Николай Яковлевич (1888 — 1932) — поэт.

Адамсон Эрик Янович (1902 — 1968) — эстонск. дизайнер.

Аденауэр Конрад (1876 — 1967) — канцлер ФРГ.

Аджубей Алексей Иванович (1924 — 1993) — журналист, редактор, зять Н. С. Хрущева.

Адуев Николай Альфредович (1895 — 1950) — писатель.

Азеф Евно Фишелевич (1869 — 1918) — провокатор охранки.

Ай Цин (р. 1910) — китайск. поэт.

Айша Гобле — натурщица в «Ротонде».

Акимов Николай Павлович (1901 — 1968) — режиссер и художник.

Аксаков Иван Сергеевич (1823 — 1886) — публицист, биограф Тютчева.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791 — 1859) — писатель.

Аксенов Василий Павлович (р. 1932) — писатель.

Акшинский — сотрудник аппарата ЦК КПСС.

Алабян Каро Семенович (1897 — 1959) — архитектор.

---

[1] Составил Б. Я. Фрезинский.

Александр I (1777 — 1825) — русск. император с 1801 г.
Александр II (1818 — 1881) — русск. император с 1855 г.
Александр III (1845 — 1894) — русск. император с 1881 г.
Александр Невский (1220 — 1263) — русск. князь, полководец.
Александров Георгий Федорович (1908 — 1961) — философ, зав. отд. ЦК ВКП (б) в 1940-е гг.
Алексеев Михаил Васильевич (1857 — 1918) — генерал, Верховный Главнокомандующий в 1917 г.
Алексеев Михаил Павлович (1896 — 1981) — литературовед, академик.
Алексеева-Месхиева Варвара Владимировна (1898 — 1973) — актриса.
Ален (Эмиль Огюст Шартье; 1868 — 1951) — франц. философ, литературовед.
Алехин Александр Александрович (1892 — 1946) — чемпион мира по шахматам.
Алигер Маргарита Иосифовна (1915 — 1992) — поэтесса.
Аликата Марио (1918 — 1966) — итал. публицист, редактор газеты «Унита».
Алиханов Абрам Исаакович (1904 — 1970) — физик, академик.
Алиханьян Артем Исаакович (1908 — 1978) — физик, чл.-кор. АН СССР.
Аллилуева Светлана Иосифовна (р. 1926) — дочь Сталина.
Алтаев Ал. (Ямщикова Маргарита Владимировна; 1872 — 1959) — писательница.
Алферова Александра Сампсониевна — владелица моск. женск. гимназии на Плющихе.
Альбер Масель — франц. летчик, ст. лейтенант полка «Нормандия — Неман», Герой Сов. Союза.
Альберт (1875 — 1934) — король Бельгии.
Альберти Рафаэль (1902 — 1999) — испанск. поэт.
Альберто Санчес Перес (1895 — 1962) — испанск. скульптор, художник.
Альварес дель Вайо Хулио (1891 — 1975) — испанск. писатель, министр ин. дел Испании в 1936 — 1939 гг.
Альвинг (Смирнов) Арсений Александрович (1883 — 1942) — поэт.
Альенде Сальвадор (1908 — 1973) — чилийск. общ. деятель, президент Чили с 1970 г.
Альтман Натан Исаевич (1889 — 1970) — художник.
Альтолагирре Болин Мануэль (1904 — 1959) — испанск. поэт.
Альфонс X Мудрый (1221 — 1284) — король Кастилии и Леона.
Альфонс XIII (1886 — 1941) — король Испании в 1902 — 1931 гг.
Альшех Елиезер Натан (1908 — ?) — болг. художник.
Аля. — См. Савич А. Я.
Аля. — См. Эфрон А. С.
Алябьев — купец.
Амаду Жоржи (р. 1912) — бразильск. писатель.
Амаду Зелия (р. 1916) — жена Ж. Амаду.
Амаду Палома — дочь Ж. Амаду.
Амбарцумян Виктор Амазаспович (1908 — 1998) — астрофизик, академик.
Амманула-хан (1892 — 1960) — король Афганистана в 1919 — 1929 гг.
Амон Лео — франц. полит. деятель, сенатор.
Амп Пьер (1876 — 1945) — франц. писатель.

Амундсен Руаль (1872 — 1928) — норвежск. полярн. исследователь.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862 — 1938) — писатель.

Ананд Мулк Радж (1905 — ?) — индийск. писатель.

Ангаров А. И. (1898 — 1939) — сов. парт. работник.

Ангарский (Клестов) Николай Семенович (1873 — 1943) — издатель, критик.

Ангел — главарь одной из банд на Украине в 1919 — 1920 гг.

Ангелеску — министр просвещения бурж. Румынии.

Андворд Рольф Отто (1890 — 1976) — посол Норвегии в Москве в 1941 — 1946 гг.

Андерс Владислав (1892 — 1970) — польск. генерал.

Андерсен Ханс Кристиан (1805 — 1875) — датск. писатель.

Андерсен-Нексё Мартин (1869 — 1954) — датск. писатель.

Андерсон Мариан (1902 — 1993) — амер. певица.

Андреев Андрей Андреевич (1895 — 1971) — чл. Политбюро, соратник Сталина.

Андреев Вадим Леонидович (1902 — 1976) — писатель.

Андреев Леонид Николаевич (1871 — 1919) — писатель.

Андреева Татьяна Михайловна (1924 — 1981) — учительница, дочь Я. И. Соммер.

Андрич Иво (1892 — 1975) — сербск. писатель, нобелевский лауреат.

Андропов Юрий Владимирович (1914 — 1984) — секретарь ЦК КПСС.

Анисимов Г. И. — генерал, комкор.

Анисимов Шура — студент.

Анисимова Александра Петровна (1891 — 1969) — детская писательница.

Анненков Павел Васильевич (1812 — 1887) — критик, мемуарист.

Анненский Иннокентий Федорович (1855 — 1909) — поэт.

Аннет. — См. Лот А.

Ансерме Эрнест (1883 — 1969) — швейцарск. дирижер.

Антокольский Павел Григорьевич (1896 — 1978) — поэт.

Антонина Николаевна. — См. Пирожкова А. Н.

Антоний Марк (83 — 30 до н. э.) — римск. полководец.

Антониони Микеланджело (р. 1912) — итал. кинорежиссер.

Антонов — техник.

Антонов Сергей Петрович (р. 1915) — писатель.

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883 — 1939) — деятель большевистской партии, дипломат.

Антуан Андре (1858 — 1943) — франц. актер и режиссер.

Анцайнс А. А. — жительница Даугавпилса.

Апарисио Антонио (р. 1917) — испанск. поэт.

Аполлинер Гийом (1880 — 1918) — франц. поэт.

Аппель Элин — депутат датск. парламента.

Апухтин Алексей Николаевич (1840 — 1893) — поэт.

Арагон Луи (1897 — 1982) — франц. писатель.

Аранда Мата Антонио (1888 — ?) — испанск. генерал, участник мятежа против Республики.

Аргези Тудор (1880 — 1967) — румынск. поэт.

Аренс Ж. Л. (1889 — 1939?) — сов. дипломат.

Аренс-Гаккель Вера Евгеньевна (1890 — 1962) — поэтесса, переводчица.
Аринштейн Берка Зеликович (1827 — 1904) — дед Эренбурга по матери.
Аринштейн Михаил Борисович (1867 — 1917) — присяжный поверенный в Полтаве, брат А. Б. Эренбург.
Аристотель (384 — 322 до н. э.) — др.-греч. философ, ученый.
Аристофан (445 — 385 до н. э.) — др.-греч. поэт и комедиограф.
Аркин Давид Ефимович (1899 — 1957) — критик, искусствовед, архитектор.
Арконада Сесар Муньос (1898 — 1964) — испанск. писатель.
Аросев Александр Яковлевич (1890 — 1938) — дипломат, писатель.
Арсеньева Софья Александровна — владелица моск. женск. гимназии на Пречистенке.
Архангельский Александр Григорьевич (1889 — 1938) — поэт, пародист.
Архипенко Александр Порфирьевич (1887 — 1964) — скульптор.
Арцыбашев Михаил Петрович (1878 — 1927) — писатель.
Асанья Диас Мануэль (1880 — 1940) — президент Испании в 1936 — 1939 гг.
Асатиани Гурам Леванович (1928 — 1982) — критик.
Асеведо — испанск. архитектор.
Асеев Николай Николаевич (1889 — 1963) — поэт.
Аскасо (ум. 1937) — испанск. анархист, лидер ФАИ.
Асклепиад (128 — 56 до н. э.) — др.-греч. врач.
Ассаргадон — ассирийск. царь в 680 — 669 гг. до н. э.
Астафьев Николай (1888 — ?) — участник рев. гимназич. организации в Москве.
Астье де ла Вижери Эмманюэль д' (1900 — 1969) — франц. полит. деятель, писатель.
Ататюрк Кемаль (1881 — 1938) — президент Турции.
Аттольская герцогиня Катарина (1874 — 1960) — англ. аристократка, чл. палаты лордов.
Аугусто — шофер Эренбурга в Испании.
Афиногенов Александр Николаевич (1904 — 1941) — писатель.
Афиногенова Дженни (Евгения Бернардовна; 1905 — 1948) — жена А. Н. Афиногенова.
Ахматова Анна Андреевна (1889 — 1966) — поэтесса.
Ачесон Дин (1893 — 1971) — госсекретарь США в 1949 — 1953 гг.
Аш Шолом (1880 — 1957) — еврейск. писатель, с 1909 г. жил в США.
Ашингер — владелец сосисочной в Берлине.
Ашока — правитель др.-индийск. Магадхской империи в 268 — 232 гг. до н. э.

Бабаевский Семен Петрович (1909 — 1997) — писатель.
Бабель Исаак Эммануилович (1894 — 1940) — писатель.
Бабеф Гракх (1760 — 1797) — франц. утопист.
Багаутдинов Ибрагим — красноармеец.
Баграмян Иван Христофорович (1897 — 1982) — Маршал Сов. Союза.
Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895 — 1934) — поэт.
Багряна Елизавета (1893 — 1991) — болг. поэтесса.
Бадина Вера Степановна (1913 — 1942) — санитарка.

Бадольо Пьетро (1871 — 1956) — итал. маршал.

Бажан Николай Платонович (1904 — 1983) — укр. поэт.

Базанов Николай Иванович — сотр. Сов. комитета защиты мира.

Базаров Владимир Александрович (1874 — 1939) — философ, экономист.

Базилевский Андрей Борисович (р. 1957) — литературовед.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788 — 1824) — англ. поэт.

Бакланов Григорий Яковлевич (р. 1923) — писатель.

Бакст Лев Самойлович (1866 — 1924) — художник.

Бакунин Михаил Александрович (1814 — 1876) — теоретик анархизма.

Балига А. В. — индийск. хирург, профессор.

Баллер Мигель (Режи Санто) — командир венг. батальона 12-й интербригады в Испании.

Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873 — 1944) — литовск. и русск. поэт, дипломат.

Бальзак Жан Луи Гез де (1597 — 1654) — франц. писатель.

Бальзак Оноре де (1799 — 1850) — франц. писатель.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867 — 1942) — поэт.

Бальмонт Екатерина Алексеевна (1867 — 1950) — переводчица, жена Бальмонта К. Д.

Бальфур — советник англ. посольства в Москве в 1940-е гг.

Баратынский Евгений Абрамович (1800 — 1844) — поэт.

Барбюс Анри (1873 — 1935) — франц. писатель.

Барвинский Янек (Иозеф Стшельчик; погиб в 1942 г.) — командир польск. батальона 12-й интербригады в Испании.

Барга Корпус (Гарсия де ла Барга-и-Гомес де ла Серна Андрес; 1887 — 1975) — испанск. журналист, критик.

Бардин Иван Павлович (1883 — 1960) — металлург, академик.

Баренбойм Александр Менделевич (1916 — 1993) — танкист-тацинец, лейтенант.

Барзини Луиджи — корр. итал. газеты «Пополо д'Италиа».

Баррес Морис (1862 — 1923) — франц. писатель, националист.

Барт Карл (1886 — 1968) — швейцарск. протест. теолог.

Барто Агния Львовна (1906 — 1981) — детская писательница.

Барту Луи (1862 — 1934) — франц. полит. деятель.

Бассольс Нарсисо (1897 — 1959) — посол Мексики в Москве в 1940-е гг.

Бати Гастон (1885 — 1952) — франц. режиссер.

Батиста-и-Сальдивар Рубен Фульхенсио (1901 — 1973) — диктатор Кубы до 1958 г.

Батов Павел Иванович (1897 — 1985) — генерал армии, участник испанск. войны (под именем Фриц).

Батя Томаш (1876 — 1932) — чешск. промышленник, «король обуви».

Бауман Николай Эрнестович (1873 — 1905) — революционер, больш.

Бах Александр Николаевич (1857 — 1946) — химик, академик.

Бах Иоганн Себастьян (1685 — 1750) — нем. композитор.

Бах Лидия — писательница, журналистка.

Бахмутский — посетитель Эренбурга.

Бахрах Александр Васильевич (1902 — 1985) — критик, мемуарист, с 1920 г. в эмиграции.

главарь банды, грабившей банки.
Боннор — депутат франц. парламента.
Боннэ Жорж (1889 — 1972) — министр ин. дел Франции в 1938 — 1939 гг.
Бонтемпели Массимо (1878 — 1960) — итал. писатель.
Бор Нильс (1885 — 1962) — датск. физик, нобелевский лауреат.
Борджиа — знатный итал. род (XV — XVI вв.).
Борев Юрий Борисович (р. 1925) — писатель, критик.
Борзенко Сергей Александрович (1909 — 1972) — писатель.
Борис Годунов (1552 — 1605) — русск. царь с 1598 г.
Бородин Сергей Петрович (1902 — 1974) — писатель.
Борсари Паламед — бразильск. журналист, общ. деятель.
Борщаговский Александр Михайлович (р. 1913) — писатель.
Боссутру — франц. радикал.
Бостунич Григорий Вильгельмович (1883 — ?) — журналист, автор книги «Масонство и русская революция».
Боттичелли Сандро (1445 — 1510) — итал. художник.
Браве — портной в Полтаве.
Браво Л. — посол Аргентины в СССР в 1950-е гг.
Браиловские — семья, убитая гитлеровцами.
Брайнин Джозеф (1895 — 1970) — член Исполкома Американского комитета еврейских писателей, художников и ученых.
Брак Жорж (1882 — 1963) — франц. художник.
Брак (Александр Мари Деруссо; 1861 — 1955) — франц. социалист, депутат.
Бранден Франс ван ден — голландск. докер.
Брандес Георг (1842 — 1927) — датск. критик.
Брандыс Казимеж (р. 1916) — польск. писатель.
Братиану Ионель (1864 — 1927) — румынск. министр-президент с 1909 г.
Брантинг Георг (1887 — 1965) — деятель шведск. соц.-дем. партии.
Брантинг Карл Ялмар (1860 — 1925) — деятель шведск. соц.-дем. партии.
Браун Николай Леопольдович (1902 — 1975) — поэт.
Бредель Вилли (1901 — 1964) — нем. писатель.
Брежнев Леонид Ильич (1906 — 1982) — генсек КПСС с 1964 г.
Брем Альфред (1829 — 1884) — нем. зоолог.
Бранденберг Карл — вице-консул Швейцарии в Пруссии.
Бретон Андре (1896 — 1960) — франц. писатель, идеолог сюрреализма.
Брехт Бертольт (1898 — 1956) — нем. поэт, драматург.
Бриан Аристид (1862 — 1932) — франц. гос. и полит. деятель.
Брик Лиля Юрьевна (1891 — 1978) — художница, литератор, близкий друг В. В. Маяковского.
Брик Осип Максимович (1888 — 1945) — литератор.
Брильянт. — См. Сокольников Г. Я.
Брод Макс (1884 — 1968) — австр. писатель, критик.
Бродский Давид Григорьевич (1899 — 1966) — поэт, переводчик.
Бродский Исаак Израилевич (1883/84 — 1939) — художник.
Бродский Макс Израилевич — фабрикант.
Бровка Петр Устинович (1905 — 1980) — белорусск. поэт.

Вессель Хорст (убит в 1930 г.) — сутенер, ставший легендарным нацистск. героем.
Виардо Полина (1821 — 1910) — франц. певица, близкий друг И. С. Тургенева.
Виванкос — испанск. анархист, комдив.
Видали Витторио (1900 — 1983) — деятель ИКП, участник испанск. войны под именем Карлос Контрерас.
Видела. — См. Гонсалес Видела.
Вийон Пьер (1901 — ?) — франц. полит. деятель, один из лидеров Нац. фронта в 1940-е гг.
Вийон Франсуа (1431 — ?) — франц. поэт.
Вийяр Эдуард (1868 — 1940) — франц. художник.
Виктория (1819 — 1901) — королева Великобритании.
Вилкомир Леон (погиб в 1942 г.) — военкор «Красной звезды».
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859 — 1941) — герм. император в 1888 — 1918 гг.
Вильгельмина (1880 — 1962) — королева Голландии.
Вильдрак Шарль (1882 — 1971) — франц. писатель.
Вилье де Лиль Адан Филипп (1838 — 1889) — франц. писатель.
Вильморэн Роже (1905 — ?) — представитель династии франц. селекционеров.
Вильсон Гарольд (1916 — 1995) — премьер-министр Великобритании в 1960 — 1970-е гг.
Вильсон Томас Вудро (1856 — 1924) — 28-й президент США.
Вилья Франсиско (1877 — 1923) — руководитель крест. движ. в Мексике, известный под именем Панчо Вилья.
Вильяльба — полковник испанск. респ. армии.
Вильям-Вильмонт Николай Николаевич (1901 — 1986) — литературовед, переводчик.
Винер Норберт (1894 — 1964) — амер. математик, кибернетик.
Виноградова Евдокия Викторовна (Дуся; 1914 — 1962) — ткачиха-ударница.
Виноградовы — Е. В. и Мария Ивановна (1910 — 1990) — ткачихи.
Винокуров Евгений Михайлович (1925 — 1993) — поэт.
Виоллис Андре (1879 — 1950) — франц. писательница, журналистка.
Виппер Роберт Юрьевич (1859 — 1954) — историк, академик.
Виталий. — См. Елькин А. Я.
Вирт Карл Йозеф (1879 — 1956) — герм. рейхсканцлер в 1921 — 1922 гг.
Висконти Лукино (1906 — 1976) — итал. кинорежиссер.
Витенберг Ицик (1907 — 1943) — рабочий, руководитель партиз. орг. в вильнюсском гетто.
Витлин Юзеф (1896 — ?) — польск. поэт.
Витторелли Паоло — итал. социалист, участник конф. «Круглый стол».
Витторини Элио (1908 — 1966) — итал. писатель.
Вишневский Всеволод Витальевич (1900 — 1951) — писатель.
Вишневский — корр. ТАСС.
Вишняк Абрам Григорьевич (1895 — 1943) — издатель.
Вишняк Вера Лазаревна (ум. 1943) — жена А. Г. Вишняка.
Вишняк Марк Вениаминович (1883 — 1977) — эсер, публицист.
Вишняк Федор Михайлович — инвалид Отеч. войны, корреспондент Эренбурга.

Габо (Певзнер) Наум Абрамович (1890 — 1977) — скульптор.

Гавалевский — полковник Сов. Армии.

Гаджеро Андреа (р. 1916) — итал. священник, общ. деятель.

Газенклевер Вальтер (1890 — 1940) — нем. поэт, драматург.

Гай Юлиус — венг. писатель.

Гайдар Аркадий Петрович (1904 — 1941) — писатель.

Гайкис Леон Яковлевич (1898 — 1937) — полпред СССР в Испании в 1937 г.

Галактионов Михаил Романович (1897 — 1948) — генерал-майор, военный историк, журналист.

Галас Франтишек (1901 — 1949) — чешск. поэт.

Галеви Иегуда (1075 — 1141) — еврейск. поэт, философ.

Галенц Арутюн Тиратурович (1910 — 1967) — арм. художник.

Галилей Галилео (1564 — 1642) — итал. ученый.

Галифе Гастон (1830 — 1909) — франц. генерал, подавивший Парижскую коммуну.

Галкин Всеволод Семенович (1898 — 1957) — патофизиолог и нейрохирург, профессор Военно-морской медицинской академии.

Галковские — польск. художники-дизайнеры.

Галлиени Жозеф (1849 — 1916) — воен. генерал-губернатор Парижа в 1914 г.

Галушкин Александр Юрьевич — литературовед.

Галчиньский Константы Ильдефонс (1905 — 1953) — польск. поэт.

Гальперин Лев Соломонович (1886 — 1938) — живописец, скульптор.

Галя. — См. Элюар Г.

Гамсун Кнут (1859 — 1952) — норвежск. писатель, нобелевский лауреат.

Ган Отто (1879 — 1968) — нем. радиохимик, нобелевский лауреат.

Ганди Индира (1917 — 1984) — премьер-министр Индии, дочь Дж. Неру.

Ганди Махатма (1869 — 1948) — идеолог индийск. нац.-осв. движения.

Ганс Абель (1889 — 1981) — франц. кинорежиссер.

Гансен (Хансен) Антон (1891 — ?) — датск. художник.

Ганусевич — ксендз из г. Ракова.

Гарден Максимилиан (1861 — 1927) — нем. эссеист, критик.

Гарибальди Джузеппе (1807 — 1882) — народный герой Италии.

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852 — 1906) — писатель.

Гароди Роже (р. 1913) — франц. публицист, общ. деятель.

Гаррат — англ. журналист, корр. в Испании в 1936 г.

Гарри Алексей Николаевич (1902/03 — 1960) — писатель.

Гарриман Уильям Аверелл (1891 — 1986) — посол США в Москве.

Гарро Роже (1891 — ?) — франц. дипломат, представитель де Голля в Москве в 1942 — 1945 гг.

Гарсия Оливер Хуан (1901 — ?) — один из лидеров испанск. анархистов.

Гассоль — министр просвещения Каталонии в 1930-е гг.

Гастелло Николай Францевич (1907 — 1941) — летчик, Герой Сов. Союза.

Гастон Жак (погиб в 1944 г.) — летчик полка «Нормандия — Неман».

Демидов — актер даугавпилсского театра.

Де Милль Сессиль (1881 — 1959) — амер. кинорежиссер.

Демосфен (ок. 384 — 322 до н. э.) — афинский оратор.

Дени Роже (погиб в 1943 г.) — франц. летчик, лейтенант полка «Нормандия — Неман».

Дениз. — См. Монробер Д.

Деникин Антон Иванович (1872 — 1947) — генерал, один из организаторов белой армии.

Денисов Николай Николаевич — воен. журналист.

Денисьева Елена Александровна (1826 — 1864) — последняя любовь Ф. И. Тютчева.

Дениц Карл (1891 — 1980) — адмирал гитлеровск. флота.

Деннис Юджин (1904 — 1961) — лидер Компартии США.

Дервилль Реймонд (погиб в 1943 г.) — франц. летчик, лейтенант полка «Нормандия — Неман».

Дерен Андре (1880 — 1954) — франц. художник.

Державин Владимир Васильевич (1908 — 1975) — поэт, переводчик.

Державин Гавриил Романович (1743 — 1816) — поэт.

Дерман Абрам Борисович (1880 — 1952) — писатель, критик.

Дермидович — инвалид из Даугавпилса.

Дери Тибор (1894 — 1977) — венг. писатель.

Дерулед Поль (1846 — 1914) — франц. поэт, полит. деятель.

Де Сантис Джузеппе (р. 1917) — итал. кинорежиссер.

Де Сика Витторио (1901 — 1974) — итал. кинорежиссер.

Десницкий Борис Матвеевич (1903 — ?) — художник.

Деснос Робер (1900 — 1945) — франц. поэт.

Детердинг Генри (1866 — 1939) — англ. нефтепромышленник.

Детердинг Лидия — жена Детердинга Г.

Джавахишвили Михаил Саввич (1888 — 1937) — груз. писатель.

Джакометти Альберто (1901 — 1966) — швейцарск. скульптор, живописец.

Джалалова Людмила — актриса.

Джамбул Джабаев (1846 — 1945) — казахск. акын.

Джаппули — депутат итал. парламента.

Джеймс Генри (1843 — 1916) — амер. писатель.

Джемс Дженни — амер. кинозвезда.

Джойс Джеймс (1882 — 1941) — англ. писатель.

Джотто ди Бондоне (1266 — 1337) — итал. художник.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 — 1926) — председатель ВЧК.

Дзост — амер. биолог.

Диас Порфирио (1830 — 1915) — президент Мексики в 1877 — 1880 гг.

Диас Хосе (1895 — 1942) — глава Испанск. компартии.

Дивильковский Иван Анатольевич (1901 — 1935) — дипломат.

Дидро Дени (1713 — 1784) — франц. философ, писатель.

Диккенс Чарлз (1812 — 1870) — англ. писатель.

Дилевский Владимир Владимирович (1883 — ?) — художник, эсер.

Димаров Анатолий Андреевич — укр. писатель.

Димитров Георгий (1882 — 1949) — глава Болг. компартии и Коминтерна.

Дингоф фон — нем. помещик.

Дин Лин (1907 — 1986) — китайск. писательница.

Иеремия (VII — нач. VI в. до н. э.) — др.-еврейск. пророк.
Извольский Александр Петрович (1856 — 1919) — дипломат.
Издебская Галина — польск. поэтесса, переводчица, жена В. А. Издебского.
Издебский Владимир Алексеевич (1882 — 1965) — скульптор.
Изер Иосиф (1881 — 1958) — румынск. художник.
Измайлов Александр Алексеевич (1873 — 1921) — критик, пародист.
Изотов Никита Алексеевич (1902 — 1951) — шахтер-ударник.
Илемницкий Петер (1901 — 1949) — словацк. писатель.
Иллеш Бела (1895 — 1974) — венг. писатель.
Иллистратов — колхозник.
Иловиц М. — красноармеец.
Ильенков Василий Павлович (1897 — 1967) — писатель.
Ильичев Леонид Федорович (1906 — 1990) — секр. ЦК КПСС до 1964 г., редактор.
Ильичев — курсант.
Ильф Илья Арнольдович (1897 — 1937) — писатель.
Илюшин Тимофей Иванович (1880 — ?) — рабочий, участник рев. кружка в Москве.
Иммануил Римский (ок. 1268 — 1330) — еврейск. поэт, жил в Италии.
Имру Хайле Селассие (1892 — ?) — эфиопск. полит. деятель, сын императора Хайле Селассие.
Имханицкий Михаил Яковлевич — репетитор Эренбурга.
Инар Гюстав (1847 — 1935) — участник Парижской коммуны.
Инбер Вера Михайловна (1890 — 1972) — поэтесса.
Ингбер Мирон (Меер) Айзикович — сотрудник русск. соц.-дем. библиотеки в Париже.
Инденбаум Леон (1890 — ?) — скульптор.
Иннокентий VI (Этьен Обер) — римский папа в 1352 — 1362 гг.
Иоанн XXIII (Анджело Джузеппе Ронкалли; 1881 — 1963) — римский папа с 1958 г.
Ионов Илья Ионович (1887 — 1942) — поэт, издат. работник.
Ионсян (Ионосьян) Владимир Абрамович (1905 — 1943) — мл. лейтенант, Герой Сов. Союза.
Иофан Борис Михайлович (1891 — 1976) — архитектор.
Ио Фэй (1103 — 1142) — китайск. полководец.
Ирина. — См. Эренбург И. И.
Исаакян Аветик Саакович (1875 — 1957) — арм. поэт.
Исаев Младен (р. 1907) — болг. поэт.
Исаков Иван Степанович (1894 — 1967) — Адмирал Флота Сов. Союза.
Исбах Александр Абрамович (1904 — 1977) — писатель.
Истмэн Джордж (1855 — 1932) — глава амер. фирмы «Кодак».
Истрати Панаит (1884 — 1935) — румынск. писатель.
Истру Богдан (р. 1914) — молд. поэт.
Иш Лев (ум. 1942) — воен. журналист.

Кабальеро Ларго (1869 — 1946) — один из лидеров испанск. социалистов.
Кабанельяс Феррер Мигель (1862 — 1938) — испанск. генерал, участник фашистск. мятежа.
Кавальери Лина (1874 — 1944) — итал. певица.
Кавашима Ринхиро (1886 — ?) — японск. художник.

21 Зак. 92

Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1878 — 1956) — критик, театровед.
Караосманоглу Якуб Кадри (1899 — 1974) — турецк. писатель.
Каратыгин Василий Андреевич (1802 — 1853) — актер.
Карахан Лев Михайлович (1889 — 1937) — дипломат.
Карбучия — франц. журналист, фашист.
Кардель Эдвард (1910 — 1979) — югосл. гос. и полит. деятель.
Карденас Ласаро (1895 — 1970) — президент Мексики в 1934 — 1940 гг.
Карл XII (1682 — 1718) — король Швеции, полководец.
Карлос дон (1545 — 1568) — наследник испанск. престола.
Кармен Роман Лазаревич (1906 — 1978) — кинорежиссер-документалист.
Кармен Сильва — литер. псевдоним королевы Румынии Елизаветы (1843 — 1916).
Карно Эжен — франц. художник.
Карольи (Каройи) Михай (1875 — 1955) — венг. полит. деятель, граф.
Карпов Александр Яковлевич (1903 — 1945) — воен. журналист, зам. гл. редактора «Красной звезды» в 1941 — 1945 гг.
Карра Карло (1881 — 1966) — итал. художник, футурист.
Каррачи — семья итал. художников болонской школы.
Касадо Лопес Сихизмундо (1893 — 1968) — полковник испанск. респ. армии, руководитель переворота 1939 г.
Касарес Кирога Сантьяго (1884 — 1950) — министр вн. дел Испании в 1930-е гг.
Кассиль Лев Абрамович (1905 — 1970) — писатель.
Кассу Жан (1897 — 1986) — франц. писатель.
Кастаньон Сильверио — испанск. рабочий поэт.
Кастеллани Ренато (1913 — 1985) — итал. кинорежиссер.
Кастро Балтасар (р. 1919) — председатель чилийск. парламента в 1950-е гг.
Кастро Жозуэ (1908 — 1973) — бразильск. физиолог, общ. деятель.
Кастро Рус Фидель (р. 1926) — глава Республики Куба.
Катала Жан (р. 1906) — франц. писатель, журналист.
Катаев Валентин Петрович (1897 — 1986) — писатель.
Катков Михаил Никифорович (1818 — 1887) — публицист, издатель.
Катру Жорж Альбер (1877 — 1969) — франц. генерал, посол в Москве в 1945 — 1948 гг.
Катя. — См. Шмидт Е. О.
Каутский Карл (1854 — 1938) — один из лидеров герм. соц.-демократов.
Кафка Франц (1883 — 1924) — австр. писатель.
Кафтанов Сергей Васильевич (1905 — 1976) — предс. комитета по делам высш. школы в 1940-е гг.
Кацман (Григорьев) Роман Григорьевич (1911 — 1972) — кинорежиссер-документалист.
Качалов Василий Иванович (1875 — 1948) — актер.
Кашен Марсель (1869 — 1958) — деятель ФКП.
Квазимодо Сальваторе (1901 — 1968) — итал. поэт, нобелевский лауреат.
Квислинг Видкун (1887 — 1945) — лидер фашистск. партии в Норвегии.
Квитко Лев Моисеевич (1890 — 1952) — еврейск. детск. поэт.

Кеведо-и-Вильегас Франсиско (1580 — 1645) — испанск. писатель.
Кейтель Вильгельм (1882 — 1946) — фельдмаршал гитлеровск. армии.
Келлерман Бернхард (1879 — 1951) — нем. писатель.
Келлог Фрэнк (1856 — 1937) — госсекретарь США в 1925 — 1929 гг.
Кельин Федор Викторович (1893 — 1965) — литературовед-испанист.
Кемаль. — См. Ататюрк К.
Кеменов Владимир Семенович (1908 — 1988) — искусствовед, критик.
Кемпинский — владелец ресторана в Берлине.
Кеннеди Джон Фитцджеральд (1917 — 1963) — 35-й президент США.
Кеннеди Жаклин (1929 — 1998) — жена Дж. Кеннеди.
Кере — франц. сторонница мира.
Керенский Александр Федорович (1881 — 1970) — глава Врем. правительства в 1917 г.
Керженцев Платон Михайлович (1881 — 1940) — деятель большш. партии, дипломат.
Керзон Джордж Натаниел (1859 — 1925) — министр. ин. дел Великобритании в 1919 — 1924 гг.
Кериллис Анри де (1889 — 1958) — франц. журналист правого толка.
Керр Альфред (1867 — 1948) — нем. критик.
Керр Арчибалд Кларк (1887 — 1951) — англ. посол в Москве в 1942 — 1946 гг.
Кессиди Генри (р. 1910) — амер. журналист.
Кетлинская Вера Казимировна (1906 — 1976) — писательница.
Кетнер Курт — нем. летчик, пленный в Испании.
Кестлер Артур (1905 — 1983) — англ. писатель.
Киллиси Франсуа — франц. издатель газеты «Марсейез».
Киндлер Хельмут (р. 1912) — издатель из ФРГ.
Киплинг Редьярд (1865 — 1936) — англ. писатель, нобелевский лауреат.
Кир Феликс — франц. общ. деятель, мэр Дижона в 1945 — 1968 гг.
Киреева-Левина Мария Николаевна (1889 — 1973) — литератор, участница рев. движения.
Кирико Джорджо (1888 — 1978) — итал. художник.
Киркебю Анкер — датский журналист, редактор газ. «Политикен».
Киров Сергей Миронович (1886 — 1934) — деятель больш. партии, чл. Политбюро.
Кирпотин Валерий Яковлевич (1898 — 1990) — критик, литературовед.
Кирсанов Дмитрий (1899 — 1957) — франц. кинорежиссер.
Кирсанов Семен Исаакович (1906 — 1972) — поэт.
Киршон Владимир Михайлович (1902 — 1938) — драматург.
Кислинг Моиз (1891 — 1953) — польск. художник, работал в Париже.
Китс Джон (1795 — 1821) — англ. поэт.
Китченер Гораций Герберт (1850 — 1916) — англ. фельдмаршал.
Китчлу Сайфуддин (1885 — 1963) — индийск. общ. деятель.
Киш Эгон-Эрвин (1885 — 1948) — чешск. и австр. писатель.
Клауссон Аксель — шведск. переводчик Эренбурга.
Клеманс — уборщица квартиры Эренбургов в Париже.
Клемансо Жорж (1841 — 1929) — премьер-министр Франции

Меллер Вадим Георгиевич (1884 — 1962) — театр. художник.

Мельников Константин Степанович (1890 — 1974) — архитектор.

Мельников — нач. разведки в Мариуполе.

Мельниченко — полковник, участник «Черной книги».

Мемлинг Ханс (1440 — 1494) — нидерл. художник.

Мендельсон — деятель англ. лейбор. партии.

Мендельсон Рахиль — вильнюсская партизанка.

Мендес-Франс Пьер (1907 — 1982) — премьер-министр Франции в 1954 — 1955 гг.

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874 — 1934) — предс. ОГПУ.

Меннингсон Альфред — президент Акад. художеств Англии.

Менон Кришна (1896 — 1974) — индийск. дипломат.

Менье — депутат франц. парламента.

Меньшиков Михаил Осипович (1859 — 1918) — публицист, черносотенец.

Мера Сиприано (1897 — 1975) — испанск. анархист, военачальник.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866 — 1941) — писатель.

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897 — 1968) — Маршал Сов. Союза, воевал в Испании под именем Петрович.

Мериме Проспер (1803 — 1870) — франц. писатель.

Меринг Вальтер (1896 — ?) — нем. писатель.

Меркулов Василий Лаврентьевич (1908 — 1980) — физиолог.

Меркурьева Вера Александровна (1876 — 1943) — поэтесса.

Мерло Ангел — отец Э. Мерля.

Мерль Эжен — франц. издатель, предприниматель.

Мерсеро Александр (1884 — 1945) — франц. поэт.

Месторино — франц. ювелир.

Метерлинк Морис (1862 — 1949) — бельг. драматург.

Метценже Жан (1883 — 1956) — франц. художник, теоретик искусства.

Метченко Алексей Иванович (1917 — ?) — литературовед.

Мехлис Лев Захарович (1889 — 1953) — нач. ГлавПУРККА, один из ближайших сотрудников Сталина.

Мечников Илья Ильич (1845 — 1916) — биолог.

Мещанинов Оскар (1886 — 1956) — франц. скульптор, выходец из России.

Миаха Менант Хосе (1878 — 1956) — испанск. генерал, глава хунты обороны Мадрида в 1936 г.

Мийо Дариюс (1892 — 1974) — франц. композитор.

Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564) — итал. скульптор, живописец, поэт.

Микитенко Иван Кондратьевич (1897 — 1937) — укр. писатель.

Миклашевский Константин Михайлович (1866 — 1944) — искусствовед, режиссер.

Микоян Анастас Иванович (1895 — 1978) — чл. Политбюро, соратник Сталина.

Миллер Артур (р. 1915) — амер. драматург.

Миллер-Будницкая Рашель Зиновьевна (1906 — 1967) — критик.

Милославская Мария Марковна (Маруся Немирова) — жена Ф. Элленса.

Милош Оскар Венцеслав (1877 — 1939) — франц. поэт, выходец из Литвы.

Мильеран Александр (1859 — 1943) — президент Франции в 1920 — 1924 гг., социалист.

Мола Эмилио (1887 — 1937) — испанск. генерал, участник фашистск. мятежа.

Молино. — См. Малиновский Р. Я.

Молотов Вячеслав Михайлович (1890 — 1986) — чл. Политбюро, пред. Совнаркома в 1930 — 1941 гг., нарком ин. дел с 1939 г., соратник Сталина.

Молоховец Елена Ивановна — автор поваренной книги.

Мольер (Жан Батист Поклен; 1622 — 1673) — франц. комедиограф, актер.

Моль Клод (1840 — 1926) — франц. художник.

Монзи Анатоль де (1876 — 1947) — франц. гос. и полит. деятель.

Монмуссо Гастон (1883 — 1960) — франц. профсоюзн. деятель.

Монробер (по мужу Лекаш) Дениз (1905 — 1975?) — франц. актриса, подруга Эренбурга.

Монсени Фредерика — испанск. анархистка, министр здравоохр. Каталонии.

Монтгомери Бернард Лоу (1887 — 1976) — англ. фельдмаршал.

Монтегю Айвор (1904 — 1984) — англ. публицист, кинокритик, общ. деятель.

Монтегюс Гастон (1872 — 1952) — франц. шансонье.

Монтень Мишель де (1533 — 1592) — франц. философ, писатель.

Монтескьё Шарль Луи (1689 — 1755) — франц. писатель, философ.

Монфор Симон де (1208 — 1265) — глава оппозиции англ. королю Генриху III.

Мопассан Ги де (1850 — 1893) — франц. писатель.

Моравиа Альберто (1907 — 1990) — итал. писатель.

Моран Поль (1888 — 1976) — франц. писатель, дипломат.

Моран Рувим Давидович (1908 — 1986) — поэт, переводчик.

Моранди Джорджо (1890 — 1964) — итал. художник.

Морган Клод (1898 — ?) — франц. журналист, писатель.

Мориак Франсуа (1885 — 1970) — франц. писатель, нобелевский лауреат.

Морозов Иван Абрамович (1871 — 1921) — промышленник, коллекционер.

Моррас Шарль (1868 — 1952) — франц. публицист, полит. деятель.

Моруа Андре (1885 — 1967) — франц. писатель.

Москаленко Кирилл Семенович (1902 — 1985) — Маршал Сов. Союза.

Москардо Итуарте Хосе (1878 — 1956) — испанск. полковник, комендант Алькасара.

Москвин Иван Михайлович (1874 — 1946) — актер.

Мосли Освальд (1896 — 1980) — лидер англ. фашистов.

Мослякова — жительница Даугавпилса.

Мотылева Тамара Лазаревна (1910 — 1992) — литературовед.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756 — 1791) — австр. композитор.

Мстиславский Сергей Дмитриевич (1876 — 1943) — писатель, публицист.

Музалевская Римма — девочка трех лет, расстрелянная гитлеровцами.

Мунблит Георгий Николаевич (р. 1904) — писатель.

Муне-Сюлли Жан (1841 — 1916) — франц. актер.

Мунк Эдвард (1863 — 1944) — норвежск. художник.

Ноэль-Бейкер Филипп (1889 — ?) — англ. общ. деятель.
Нуланс Жозеф (1864 — 1939) — франц. дипломат.
Нусинов Исаак Маркович (1889 — 1950) — литературовед.
Ньепс Жозеф (1765 — 1833) — один из изобретателей фотографии.
Ньютон Исаак (1643 — 1727) — англ. физик, математик.

Обинье Теодор Агриппа д' (1552 — 1630) — франц. поэт.
Оборин Лев Николаевич (1907 — 1974) — пианист.
Образцов Сергей Владимирович (1901 — 1992) — актер и режиссер-кукольник.
Овечкин Валентин Владимирович (1904 — 1968) — писатель, очеркист.
Овнатанян Акоп (1806 — 1881) — арм. художник-портретист.
Огарев Николай Платонович (1813 — 1877) — поэт, революционер.
Огнев Н. (Розанов Михаил Григорьевич; 1888 — 1938) — писатель.
Оголевец Алексей Степанович (1894 — 1967) — музыковед.
Одоевцева Ирина Владимировна (1901 — 1990) — поэтесса, мемуаристка.
Озанфан Амедей (1886 — 1966) — франц. художник, теоретик искусства.
Озеров Лев Адольфович (1914 — 1997) — поэт.
Ойстрах Давид Федорович (1908 — 1974) — скрипач.
Окали Даниил (р. 1903) — словацк. публицист, критик.
Оклянский Юрий Михайлович (р. 1929) — критик, журналист.
Оксман Юлиан Григорьевич (1894 — 1970) — литературовед.
Окснер — генерал-лейт. гитлеровск. армии.
Октан — литератор, сотрудничавший с гитлеровск. оккупантами.
Окулов Алексей Иванович (1880 — 1939) — дипломат.
Олар Альфонс (1849 — 1928) — франц. историк.
Олендер Петр Моисеевич (полковник П. Донской; 1906 — 1944) — военкор «Красной звезды».
Олеша Юрий Карлович (1899 — 1960) — писатель.
О'Нил Юджин (1888 — 1953) — амер. драматург.
Орджоникидзе Георгий Константинович (1886 — 1937) — деятель больш. партии, чл. Политбюро.
Орион — испанск. герцог.
Орлов Николай Иванович (1895 — 1965) — генерал-майор, комдив.
Орлов-Давыдов Алексей Александрович (1872 — ?) — граф.
Орлова Раиса Давыдовна (1918 — 1989) — писательница.
Орлова Хана (1888 — 1968) — скульптор, уроженка Украины, с 1910 г. жила в Париже.
Орначуэлос — испанск. герцог.
Ороско Хосе Клементе (1883 — 1949) — мексик. художник.
Орс Эухенио д' (1882 — 1954) — испанск. писатель, критик.
Ортенберг Давид Иосифович (генерал Вадимов; 1904 — 1998) — редактор «Красной звезды» в годы Отеч. войны.
Осецкий Карл фон (1889 — 1938) — нем. публицист, антифашист.
Осколков Борис Иннокентьевич (1891 — ?) — участник рев. гимназич. орг.
Осмеркин Александр Александрович (1892 — 1953) — художник.

Пилат Понтий — римский наместник в Иудее, отдавший на распятие Иисуса Христа.
Пилсудский Юзеф (1867 — 1935) — диктатор Польши.
Пиль Гарри (1892 — 1963) — нем. актер, режиссер.
Пильняк Борис Андреевич (1894 — 1938) — писатель.
Пильский Петр Моисеевич (1876—1942) — критик, журналист.
Пименов Владимир Федорович (р. 1905) — критик.
Пинкас — брат Ю. Паскина.
Пино Кристиан (р. 1904) — франц. писатель, полит. деятель.
Пинэ Антуан (1891 — ?) — франц. полит. деятель, экономист.
Пипин Короткий (714 — 768) — франкский король.
Пиранделло Луиджи (1867 — 1936) — итал. писатель.
Пирожкова Антонина Николаевна (1909 — 1997) — жена И. Э. Бабеля.
Пиросмани (Пиросманашвили) Нико (1862 — 1918) — груз. художник.
Пирсон Дональд (ум. 1932) — король стали.
Пирсон Лестер (1897 — 1972) — канадск. гос. деятель.
Писахов Степан Григорьевич (1879 — 1960) — писатель, художник.
Писемский Алексей Феофилактович (1821 — 1881) — писатель.
Пискатор Эрвин (1893 — 1966) — нем. режиссер.
Писсарро Камиль (1831 — 1903) — франц. художник.
Питоев Жорж (1884 — 1939) — франц. актер, режиссер.
Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) — др.-греч. математик.
Плавник Наум — мл. лейтенант Красной Армии.
Плавт Тит Макций (ум. ок. 184 до н. э.) — др.-римск. комедиограф.
Пла-и-Бельтран (1908 — 1962) — испанск. поэт.
Пламмери — англ. лейборист.
Платон (428 — 348 до н. э.) — др.-греч. философ.
Платонов Андрей Платонович (1899 — 1951) — писатель.
Плаха Артуро Серрано — испанск. поэт, критик.
Плевако Федор Никифорович (1842 — 1908/09) — адвокат.
Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1872 — 1941) — профессор, медик.
Плетнев Петр Александрович (1792 — 1865/66) — поэт, критик.
Плеханов Георгий Валентинович (1856 — 1918) — один из лидеров РСДРП.
Пливье Теодор (1892 — 1955) — нем. писатель.
Плинье Шарль (1896 — 1952) — бельг. поэт.
Плутник Альберт — журналист.
По Эдгар Аллан (1809 — 1849) — амер. поэт, писатель, критик.
Поварцов Сергей Николаевич (р. 1944) — литературовед.
Погодин Николай Федорович (1900 — 1962) — драматург.
Подгаецкий Михаил Григорьевич — драматург.
Познанский — лодзинский фабрикант.
Покровский Михаил Николаевич (1868 — 1932) — историк.
Полан Жан (1884 — 1968) — франц. писатель, литературовед.
Полевой Борис Николаевич (1908 — 1981) — писатель.
Полежаев Александр Иванович (1804 — 1838) — поэт.
Полетаев И. — инженер, кибернетик.

Птолемей Клавдий (90 — 160) — др.-греч. астроном.

Пуан Роллан де ла — франц. летчик, ст. лейтенант полка «Нормандия — Неман», Герой Сов. Союза.

Пуанкаре Жюль Анри (1854 — 1912) — франц. математик.

Пуанкаре Раймон (1860 — 1934) — президент Франции в 1913 — 1920 гг.

Пугачев Емельян Иванович (1740 — 1775) — предводитель крест. восст.

Пудовкин Всеволод Илларионович (1893 — 1953) — кинорежиссер.

Пузин Николай Павлович (р. 1911) — литературовед, племянник А. А. Фета.

Пуни Иван Альбертович (1894 — 1956) — художник.

Пунин Николай Николаевич (1888 — 1953) — искусствовед.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870 — 1920) — депутат Думы, черносотенец.

Пуркине Карел (1834 — 1868) — чешск. художник.

Пуссен Никола (1594 — 1665) — франц. художник.

Путерман Иосиф Ефимович (1885 — 1940) — франц. журналист, издатель, выходец из России.

Пухов Николай Павлович (1895 — 1958) — генерал-полк.

Пуччини Джакомо (1858 — 1924) — итал. композитор.

Пушкин Александр Сергеевич (1799 — 1837) — поэт.

Пушкин Василий Львович (1770 — 1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина.

Пушкин Лев Сергеевич (1805 — 1852) — брат А. С. Пушкина.

Пшибышевский Станислав (1868 — 1927) — польск. писатель.

Пьер Андре — франц. журналист.

Пьяджио Алессандра — итал. католич. деятельница.

Пятаков Юрий Леонидович (1890 — 1937) — деятель больш. партии.

Рааб Юлиус (1891 — 1964) — канцлер Австрии в 1953 — 1961 гг.

Рабинович Исаак Моисеевич (1894 — 1961) — театр. художник.

Рабле Франсуа (1494 — 1553) — франц. писатель.

Равель Морис (1875 — 1937) — франц. композитор.

Радек Карл Бернгардович (1885 — 1939) — деятель больш. партии, публицист.

Радус-Зенькович Виктор Александрович (1877/78 — 1967) — деятель больш. партии.

Раевский Станислав — польск. соц.-демократ.

Раевский Стефан Александрович (1885 — 1937) — журналист, в 1927 — 1928 гг. представитель ТАСС в Париже, в 1928 — 1934 гг. зав. ин. отд. «Известий».

Разин Степан Тимофеевич (1630 — 1671) — предводитель крест. восст.

Райзман Юлий Яковлевич (1903 — 1994) — кинорежиссер.

Райк Ласло (1909 — 1949) — министр ин. дел Венгрии в 1946 — 1949 гг.

Райх Зинаида Николаевна (1894 — 1939) — актриса.

Раковский Христиан Георгиевич (1873 — 1941) — деятель больш. партии, дипломат.

Ракоши Матиаш (1892 — 1971) — до 1956 г. глава Венг. партии трудящ.

Рамэ — франц. художник.

Ранг Аркадий Михайлович — предс. Моск. судебн. палаты.

Рыбак Йозеф (р. 1904) — чешск. писатель.

Рыбак Натан Семенович (1912/13 — 1978) — укр. писатель.

Рыбаков Федор Евгеньевич — психиатр, профессор.

Рыков Алексей Иванович (1881 — 1938) — пред. Совнаркома в 1924 — 1930 гг.

Рылеев Кондратий Федорович (1795 — 1826) — поэт, декабрист.

Рыльский Максим Фаддеевич (1895 — 1964) — укр. поэт.

Рысс (Боберман) Дуся (1900 — ?) — франц. художница-прикладница.

Рюмин М. Д. (1913 — 1954) — нач. следств. упр. МВД.

Рюриков Борис Сергеевич (1909 — 1969) — критик.

Рютбёф (1230 — 1285) — франц. поэт, драматург.

Рябов Иван Афанасьевич (1902 — 1958) — журналист.

Рябушинский Николай Павлович (1876 — 1951) — промышленник, меценат.

Ряжский Борис Всеволодович (р. 1921) — воен. прокурор.

Саакянц Анна Александровна (р. 1932) — литературовед.

Сабашниковы — Михаил Васильевич (1871 — 1943) и Сергей Васильевич (1873 — 1909) — книгоиздатели.

Сабуров Максим Захарович (1900 — 1977) — гос. деятель, чл. Президиума ЦК КПСС до 1957 г.

Савинков Борис Викторович (1879 — 1925) — эсер-террорист.

Савинков Лев Борисович (ум. 1984) — сын Б. В. Савинкова.

Савич Альсгута Яковлевна (Аля; 1904 — 1991) — жена О. Г. Савича.

Савич Овадий Герцевич (1896 — 1967) — писатель.

Савонарола Джироламо (1452 — 1498) — итал. реформатор.

Савченко — большевичка.

Савченко Михаил — красноармеец.

Садовски Рихард — нем. фабрикант.

Садовские — семья актеров Малого театра.

Садовский Борис Александрович (1881 — 1952) — писатель.

Садовяну Михаил (1880 — 1961) — румынск. писатель.

Садофьев Илья Иванович (1889 — 1965) — поэт.

Садуль Жак (1881 — 1956) — франц. дипломат, журналист.

Сазонов Сергей Дмитриевич (1860 — 1927) — министр. ин. дел в 1910 — 1916 гг.

Сакко Никола (1891 — 1927) — амер. рабочий-революционер, казнен по ложному обвинению.

Салазар Антониу ди Оливейра (1889 — 1970) — фашистск. диктатор Португалии.

Салакру Арман (р. 1899) — франц. драматург.

Саландр Жорж (1890 — ?) — франц. скульптор.

Салес Перес — полковник испанск. респ. армии.

Саломеа Хорхе (1905 — 1969) — колумб. писатель, общ. деятель.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 — 1889) — писатель.

Сальмон Андре (1881 — 1969) — франц. писатель.

Самба Марсель — франц. искусствовед.

Самойлов Давид Самойлович (1920 — 1990) — поэт.

Самосенко — полковник Красной Армии.

Сандино — испанск. анархист.
Сандино Аугусто Сесар (1895 — 1934) — руководитель нац.-осв. движ. в Никарагуа.
Сандрар Блез (1887 — 1961) — франц. писатель.
Сан-Мартин Хосе (1778 — 1850) — нац. герой Аргентины.
Санов — критик.
Сантильяна, маркиз де (1398 — 1458) — испанск. поэт, воин, дипломат.
Санхурхо Хосе (1872 — 1936) — испанск. генерал, участник фашистск. мятежа.
Санчес Аркас Мануэль (1895 — 1962) — испанск. архитектор.
Сапата Эмилиано (1879 — 1919) — руководитель крест. движ. в Мексике.
Сапика Анхель (1886 — ?) — участник войны в Испании.
Сарагат Джузеппе (1898 — 1988) — итал. полит. деятель, социалист.
Сараджоглу Шюкрю (1887 — 1953) — министр ин. дел Турции в 1939 г.
Сарнов Бенедикт Михайлович (р. 1927) — критик.
Саррага Анжель (1886 — 1946) — мексик. художник.
Сартр Жан Поль (1905 — 1980) — франц. писатель, философ.
Сарьян Мартирос Сергеевич (1880 — 1972) — арм. художник.
Сати Эрик (1866 — 1925) — франц. композитор.
Сахаров Александр Михайлович (1894 — 1952) — издат. работник.
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 — 1989) — физик, академик, правозащитник, нобелевский лауреат.
Сахарова Вера Николаевна — участница гимназич. рев. орг.
Сац Наталия Ильинична (1903 — 1993) — режиссер детск. театра.
Свево (Звево) Итало (1861 — 1928) — итал. писатель.
Сверчук Алеша (р. 1932) — белорусск. мальчик, взявший в плен 52 гитлеровца.
Светлов Михаил Аркадьевич (1903 — 1964) — поэт.
Свифт Джонатан (1667 — 1745) — англ. писатель.
Свифт Густав Франклин (1839 — 1903) — амер. промышленник.
Севастопуло Матвей Маркович — советник русск. посольства в Париже.
Северин (Каролина Реми; 1855 — 1929) — франц. писательница.
Северини Джино (1883 — 1966) — итал. художник.
Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич; 1887 — 1941) — поэт.
Севрук Юрий Поликарпович (1912 — 1944) — критик, военкор.
Сегерстедт Торни (1876 — 1945) — шведск. профессор, редактор гетеборг. газеты.
Седергрен — шведск. пацифистка.
Сезанн Поль (1839 — 1906) — франц. художник.
Сеземан Дмитрий Васильевич (р. 1922) — литератор.
Сейн Морис де (ум. 1944) — франц. летчик, ст. лейтенант полка «Нормандия — Неман».
Сейферт Ярослав (1901 — 1986) — чешск. поэт, нобелевский лауреат.
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889 — 1954) — писательница.
Сект Ханс фон (1866 — 1936) — герм. генерал-полк.
Селивановский Алексей Павлович (1900 — 1938) — критик.
Селин Луи (1894 — 1961) — франц. писатель.
Селих Яков Григорьевич — гл. редактор «Известий» с 1937 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Содержание

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Эренбург И. Г.

Э 76 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Люди, годы, жизнь. Кн. пятая (гл. 14—27), шестая, седьмая /Сост., подгот. текста И. Эренбург и Б. Фрезинского; Коммент. Б. Фрезинского. — М.: Худож. лит., 2000. — 702 с.

ISBN 5-280-02071-0 (Т. 8)
ISBN 5-280-01055-3

В восьмой том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга входят 5-я (гл. 14 — 27) — 7-я книги воспоминаний «Люди, годы, жизнь».

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6-4

Илья Григорьевич
Эренбург

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Том восьмой

Подбор иллюстраций
Б. Фрезинского

Заведующий редакцией
В. Максимов

Редактор
Н. Новикова

Художественный редактор
Г. Клодт

Технический редактор
Л. Синицына

Корректоры
Н. Жильцова, Т. Меньшикова

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97.
Сдано в набор 11.01.2000. Подписано в печать 06.12.2000. Формат 84 × 108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,96 + альбом = 38,64. Усл. кр.-отт. 40,74. Уч.-изд. л. 44,18. Тираж 5000 экз. Заказ № 92

Ордена Трудового Красного Знамени государственное издательство «Художественная литература». 107882, Москва, ул. Ново-Басманная, 19

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32



